

## КНИГА ПЕРВАЯ

### ГЛАВА ПЕРВАЯ

Спектакль очень затянулся. Старуха Барбара не раз подходила к окну, прислушиваясь, когда же наконец загремят поблизости колеса карет.

Она нетерпеливее обычного поджидала Мариану, свою прекрасную госпожу, которая, играя водевиль в наряде молодого офицера, вызывала восторг зрителей. Обычно ее ждал лишь скудноватый ужин, зато нынче ей был приготовлен сюрприз — посылка, которую отправил с почтой Норберг, молодой богатый купец, желая показать, что он и вдалеке помнит о своей возлюбленной.

Барбара в качестве старой служанки, наперсницы, советчицы, сводни и домоправительницы пользовалась правом вскрывать печати, она и в этот вечер не могла устоять против соблазна, тем паче что щедрость тороватого обожателя трогала ее больше, чем самое Мариану. К великой своей радости, она обнаружила в посылке кусок тонкой кисеи и новомодные ленты для Марианы, а для себя — кусок миткаля, косынки и столбик монет. С каким же расположением, с какой благодарностью помянула она отсутствующего Норберга! С каким жаром дала себе слово в лучшем свете выставить его перед Марианой, напомнить ей, чем она ему обязана, какие надежды и ожидания он вправе возлагать на ее верность.

Кисея была разложена на столике, точно рождественский подарок, наполовину размотанные ленты оживляли ее своими красками, умело расставленные свечи подчеркивали великолепие этих даров; все было приведено в должный вид, когда старуха, заслышав шаги Марианы на лестнице, поспешила ей навстречу и тут же в изумлении подалась назад, когда девица-офицерик, отстранившись от ее ласк, прошмыгнула мимо, с непривычным проворством вбежала в комнату, швырнула на стол шпагу и шляпу с пером и беспокойно зашагала взад — вперед, не удостоив взглядом праздничное освещение.

— Что ты, душенька? — удивленно воскликнула старуха. — Господь с тобой, доченька, что случилось? Посмотри, какие подарки! От кого им быть, как не от твоего нежнейшего обожателя? Норберг шлет тебе кусок кисеи для спального наряда; скоро он и сам будет здесь; на мой взгляд, усердия и щедрости у него намного прибавилось против прежнего.

Старуха обернулась, чтобы показать дары, которыми он не обошел и ее, но Мариана, отмахиваясь от подарков, выкрикнула в страстном порыве:

— Прочь! Прочь все это! Сегодня мне не до того; ты настаивала, я тебя слушалась, ну что ж! Когда Норберг вернется, я опять буду принадлежать ему, тебе, — делай со мной что хочешь, но пока что я хочу принадлежать себе; отговаривай меня на тысячу ладов — все равно я настою на своем. Всю себя отдам тому, кто любит меня и кого я люблю. Нечего хмуриться! Я всецело отдамся этой страсти, словно ей не должно быть конца.

Старуха выложила весь запас своих доводов и возражений; но когда в разгаре спора она разозлилась и вспыхнула, Мариана накинулась на нее и схватила за плечи. Старуха громко захохотала.

— Придется позаботиться, чтобы вы вернулись к длинным платьям, иначе мне несдобровать. Ну-ка, переоденьтесь! Надеюсь, девица попросит у меня прощения за то, что учинил со мной ветреный молодчик. Долой мундир, долой все прочее! Это негожий наряд и, как я вижу, для вас опасный. Аксельбанты вскружили вам голову.

Старуха дала было волю рукам, Мариана вырвалась от нее.

— Нечего спешить, я еще жду сегодня гостей, — крикнула она.

— И плохо делаешь, — возразила старуха, — надеюсь, не того ласкового теленка, желторотого купеческого сыночка?

— Именно его, — отрезала Мариана.

— По-видимому, великодушие становится вашей главной страстью, — насмешливо заметила старуха. — Вы с большим рвением пестуете несовершеннолетних и неимущих, Верно, очень соблазнительно внушать обожание бескорыстными милостями.

— Смейся сколько угодно, я люблю его! Люблю! С каким упоением впервые произношу я эти слова! Вот та страсть, о которой я часто мечтала, не имея о ней понятия. Да, я хочу броситься ему на шею! Хочу так крепко обнять его, как будто задумала навек его удержать. Я хочу отдать ему всю свою любовь и в полной мере насладиться его любовью.

— Умерьте, умерьте свой пыл, — невозмутимо заметила старуха. — Я пресеку ваши восторги двумя словами: Норберг едет. Через две недели он будет здесь. Вот письмо, которое он приложил к подаркам.

— Пусть утренняя заря грозит похитить у меня друга, я не желаю об этом думать. Две недели! Целая вечность! Что может произойти, что может измениться за две недели!

Вошел Вильгельм. С какой живостью устремилась она ему навстречу! С каким восторгом обхватил он красный мундир, прижал к груди белую атласную жилетку. Кто отважится взяться тут за перо, кому дозволено пересказывать словами блаженство двух любящих. Старуха удалилась, ворча себе под нос; последуем и мы за ней, оставив счастливых наедине.

### ГЛАВА ВТОРАЯ

Когда Вильгельм назавтра пришел пожелать доброго утра своей матери, она сообщила ему, что отец весьма недоволен и намерен вскорости запретить ему ежедневное посещение спектаклей.

— Хоть я сама не прочь побывать в театре, — продолжала она, — все же я клянусь ему за то, что твоя неумеренная страсть к этому увеселению нарушила мой семейный покой. Отец не устает твердить: какая в нем польза, можно ли так губить время?

— Я тоже все это от него выслушал и ответил, пожалуй, слишком резко, — признался Вильгельм, — но во имя всего святого, матушка, неужто бесполезно все то, от чего не сыплются деньги прямо в кошелёк, что не дает незамедлительной прибыли? Разве не было нам просторно в старом доме? Зачем понадобилось строить новый? Разве отец не тратит каждый год чувствительную долю доходов с торговли на украшение комнат? Чем полезны эти шелковые шпалеры, эта английская мебель? Не могли бы мы разве удовольствоваться вещами поскромнее? Скажу прямо, мне, например, отнюдь не нравятся и полосатые стены, и цветочки, завитушки, корзинки, фигурки, повторенные сотни раз. Мне они, в лучшем случае, напоминают наш театральный занавес. Но совсем иное дело сидеть перед ним! Сколько бы ни пришлось ждать, все равно знаешь, что он поднимется, и мы увидим многообразие картин, которым дано развлечь, просветить и возвысить нас.

— Знай только меру, — заметила мать. — Отцу тоже хочется, чтобы его развлекали по вечерам. Вот он и начинает говорить, что ты совсем отбилась от рук, и в конце концов срывает досаду на мне. Сколько раз я упрекала себя в том, что двенадцать лет тому назад подарила вам на рождество проклятый кукольный театр, который с самого начала привил вам вкус к представлениям.

— Не браните кукольный театр, а себя не корите за свою любовь и за попечение о нас! Это были первые отрадные минуты, какие я пережил в пустом новом доме; я и сейчас вижу все это перед собой, я помню, как был удивлен, когда после раздачи рождественских подарков нас усадили перед дверью в соседнюю комнату; дверь растворилась, но не для того, чтобы можно было, как обычно, бежать взад-вперед; нам неожиданно преградило путь торжественное убранство входа. Ввысь поднимался портал, закрытый таинственной завесой. Сперва все мы держались вдалеке, однако нас все сильнее подстрекало любопытство посмотреть, что такое блестит и шуршит там, за полупрозрачным покровом; нам велели сесть на табуретки и набраться терпения.

Итак, все расселись и притихли; раздался свисток, занавес поднялся, и за ним предстала выкрашенная в ярко-красный цвет внутренность храма. Первосвященник Самуил появился вместе с Ионафаном, и их звучащие попеременно необычные голоса внушили мне великое почтение. Вскоре на смену выступил Саул, озадаченный дерзостью закованного в броню воина, бросившего вызов ему и его присным. Как же после Этого полегчало у меня на душе, когда малорослый сын Иессея[1] с пастушьим посохом, с пастушьей сумкой и пращой пробрался вперед и повел такую речь: «Всесильный государь и царь царей! Да не падет никто духом ради этого: ежели вашему величеству благоугодно мне позволить, я пойду и вступлю в единоборство с грозным могучим великаном». Первое действие окончилось, и зрители с живейшим интересом стали ожидать, что будет дальше; каждому хотелось, чтобы музыка поскорее кончилась. Наконец занавес поднялся снова. Давид обещал отдать труп страшилища птицам небесным и зверям земным. Филистимлянин долго поносил его и усердно топал ногами, пока не свалился как чурбан, чем благополучно и завершилось представление. Однако, хотя женщины и восклицали: «Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч!» — хоть голову великана и несли впереди маленького победителя, хоть он и получил в жены прекрасную царскую дочь, мне, при всей радости, было досадно, что счастливцев не вышел ростом. Ибо понятие о великане Голиафе и карлике Давиде было строго соблюдено и оба изображены весьма точно. Скажите, ради бога, куда девались все эти куклы? Я обещал показать их приятелю, которому доставил на днях немало удовольствия рассказом о нашем кукольном театре.

— Меня не удивляет, что ты так живо помнишь об этом; ты принимал во всем немалое участие. Я не забыла, как ты утащил у меня книжечку и выучил наизусть всю пьесу. Спыхватилась я, только когда ты однажды вечером вылепил из воска Голиафа и Давида и, поразглагольствовав за обоих, под конец дал пинка великану, а его уродливую голову насадил на булавку с восковой шляпкой и прилепил к руке малыша Давида. Я тогда по-матерински от души порадовалась твоей памяти и твоему красноречию и решила, что сама непременно отдам тебе труппу деревяшек. Тогда я не подозревала, сколько горьких часов ждет меня из-за них.

— Не надо укорять себя, ведь нам-то эта забава доставила немало веселых часов, — заметил Вильгельм.

Он тут же выпросил у матери ключи и поспешил на розыски кукол, нашел их и на миг перенесся в те времена, когда они казались ему живыми, когда живостью речи, движением рук он как будто вселял в них жизнь. Он унес кукол к себе в комнату и бережно схоронил их.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Если верно говорят мне со всех сторон, что первая любовь — прекраснейшее из чувств, какие человеческому сердцу рано или поздно суждено изведать, значит, мы должны почтить нашего героя трижды счастливым, ибо ему дано было насладиться этими дивными мгновениями во всей их полноте. Мало кому выпадает столь прекрасный удел, для большинства людей прежние их чувствования служат жестокой школой, где, испытав лишь жалкую усладу, они расстаются с лучшими своими упованиями и навсегда говорят прости тому, что мнилось им высшим блаженством.

Страсть Вильгельма к пленительной девушке воспарила ввысь на крыльях воображения; после краткого знакомства он заслужил взаимность и стал обладателем создания не только горячо им любимого, но и чтимого; недаром она впервые явилась перед ним в самом выигрышном свете, в свете театральной рамп, и тяготение к сцене слилось для него с первой любовью к женщине. Юность щедро дарил ему радости, которые украшались и утверждались поэтическим горением. Обстоятельства требовали от любимой такого поведения, которое всемерно поощряло чувства Вильгельма; боязнь, что возлюбленный прежде времени обнаружит другие стороны ее жизни, придавала ей трогательно-грустный и стыдливый вид; она любила его со всей искренностью, а тревога как будто даже приумножала ее нежность; в его объятиях она была само очарование.

Когда он, стряхнув с себя первое опьянение счастьем, оглянулся на свою жизнь и отношения с людьми, все ему показалось внове, обязанности стали священнее, увлечения живее, познания отчетливее, способности значительнее, намерения тверже.

Поэтому ему не составило труда придумать такой способ, чтобы, избегая укоров отца и успокаивая мать, без помех наслаждаться

любовью Марианы. Днем он добросовестно выполнял свои обязанности, спектакли посещал очень редко, вечером за ужином занимал близких беседой, а когда все укладывались спать, крался, завернувшись в плащ через сад и, сочетая в себе всех Линдоров и Леандров[2], неудержимо спешил к своей возлюбленной.

— Что там такое? — спросила однажды вечером Мариана при виде принесенного им свертка, который старуха разглядывала очень пристально в чайнии заманчивых даров.

— Ни за что не угадаете, — отвечал Вильгельм.

Как же удивилась Мариана и вознегодовала Барбара, когда салфетку развязали и глазам их предстала беспорядочная куча кукол с пядень величиной. Мариана, смеясь, смотрела, как Вильгельм разматывает перепутанные нити, чтобы показать каждую куколку в отдельности. Старуха в досаде поплелась прочь. Всякая малость может позабавить двух влюбленных, и наши друзья превесело провели этот вечер. Каждую фигурку кукольной труппы внимательно рассмотрели, над каждой посмеялись. Царь Саул в черном бархатном кафтане и в золотой короне совсем не понравился Мариане: очень узк он спесивый и строгий, заявила она. Тем больше пришлось ей по вкусу Ионафан — его безбородое лицо, его тюрбан и желтое с красным одеяние. Когда она дергала его, он у нее исправно прыгал взад-вперед, отвечивал поклоны и объяснялся в любви. Зато от пророка Самуила она решительно отмахнулась, сколько Вильгельм ни выхвалял перед ней его нагрудничек и ни толковал, что переливчатая тафта хламида взята из старого бабушкиного платья. Давида она находила слишком маленьким, а Голиафа слишком большим и никого знать не желала, кроме своего Ионафана; она так мило ласкала его, а потом переносила все нежности с куклы на Вильгельма, что и на сей раз ребяческая игра послужила прологом к часам блаженства.

От счастья сладостных сновидений их пробудил шум, доносившийся с улицы. Мариана кликнула старуху, которая, по своему обычаю, все еще прилежно приспособляла к нуждам следующей пьесы спорые для переделок лоскутья театрального гардероба. Она объяснила, что из соседнего итальянского кабачка вывалилась сейчас компания подвыпивших кутил, не пожалевших шампанского к свежим, только что полученным, устрицам.

— Жалко, что мы не спохватились раньше, — сказала Мариана, — не мешало бы и нам побаловать себя.

— Время не упущено, — возразил Вильгельм, протягивая старухе луидор, — коли достанете то, чего нам хочется, получите свою долю.

Старуха отличалась проворством, и вскоре перед влюбленной четой оказался чинно, по всем правилам, накрытый стол с отменной закуской. Старуху тоже усадили за него; все трое ели, пили и благодумствовали.

Как всегда при таких обстоятельствах, недостатка в развлечениях не было. Мариана снова занялась своим Ионафаном, а старуха искусно навела разговор на главный конек Вильгельма.

— Вы уже описывали нам однажды первое представление кукольного театра в сочельник, — сказала она. — Рассказ очень нас позабавил. Помнится, вы остановились на том месте, когда должны были начаться танцы. А теперь мы познакомились с великолепной труппой, способной произвести столь сильное действие.

— Да, да, расскажи нам до конца о своих впечатлениях, — подхватила Мариана.

— В самом деле, дорогая Мариана, — ответил Вильгельм, — большая отрада вспоминать о давних временах и давних безобидных заблуждениях, особливо в такие минуты, когда благополучно достигнув определенной высоты и оглядываясь вокруг, мы можем обозреть пройденный путь. Приятно с чувством внутреннего удовлетворения привести себе на память те преграды, что порой удручали нас, представлялись неодолимыми, сравнить то, чем мы были еще совсем незрелыми юнцами, с тем, чем стали, созревши вполне. Но превыше всего неизъяснимо счастлив я сейчас, в эти минуты, когда говорю с тобой о прошедшем, ибо одновременно я заглядываю вперед, в те пленительные края, по которым, быть может, нам предстоит идти вместе, рука об руку.

— А как же танцы? — перебила старуха. — Боюсь, не все там сошло гладко.

— Нет, напротив! Превосходно! — возразил Вильгельм. — У меня на всю жизнь сохранилось туманное воспоминание о необыкновенных прыжках арапов и арапок, пастушков и пастушек, карлов и карлиц. Наконец занавес упал, двери затворились, и вся малолетняя компания, шатаясь, как в дурмане, разошлась по постелькам. Но я твердо помню, что не мог уснуть; считал, что мне не все досказали, задавал множество вопросов и не хотел отпускать нянюшку, которая уложила нас спать.

Наутро сказочного сооружения, увы, как не бывало, таинственный покров сняли, через заветные двери можно было свободно ходить из комнаты в комнату, — словом, от стольких приключений не осталось и следа. Мои братья и сестры бегали туда и назад со своими игрушками; мне же казалось невысказанным, чтобы там, где вчера было столько волшебства, уцелел всего-навсего дверной косяк. Ах, даже тот, кто ищет утраченную любовь, не может быть таким несчастным, каким, казалось мне, был я тогда.

Упоенный счастьем взор, каким Вильгельм окинул Мариану, показал ей, что он не боится когда-либо попасть в такое положение.

#### ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

— С того дня единственной моей мечтой стало увидеть представление еще раз, — продолжал Вильгельм. — Я всячески упрашивал мать, и она попыталась в подходящую минуту уговорить отца. Однако ее старания пропали даром. Он считал, что человек дорожит лишь редкими радостями; дети и старики не умеют ценить повседневные блага.

Так мы и прождали бы еще долго, быть может, до будущего рождества, если бы самому создателю и закулискому режиссеру театра не захотелось повторить представление и под занавес показать свежее испеченного Гансвурста.

Молодой человек, служивший в артиллерии, богато одаренный вообще и особенно способный к механике, во время постройки дома

оказал отцу много существенных услуг, за что получил щедрое вознаграждение, и решил в знак благодарности порадовать на рождество меньших членов семьи, принеся в дом своего благодетеля этот самый полностью оборудованный театр, им самим выстроенный, вырезанный, выкроенный в часы досуга. Он-то с помощью одного из слуг управлял куклами и на разные голоса говорил за всех действующих лиц. Ему нетрудно было уговорить отца, который из любезности дал другу согласие на то, в чем из принципа отказывал детям. Словом, театр установили заново, пригласили кое-кого из соседских детей и еще раз показали представление.

Если в первый раз я был ошеломлен и восхищен неожиданностью, то во второй превыше всего меня увлекло наблюдение и познание. Теперь мне важно было понять, как это происходит. Я уже в первый раз смекнул, что куклы сами не говорят; что они не двигаются самостоятельно, я тоже заподозрил; по почему это так красиво получается, почему все-таки кажется, будто они двигаются и говорят сами, и где же находятся свечи и люди — эти загадки смущали меня тем более, чем сильнее хотелось мне быть в одно и то же время и очарованным и чародеем, скрытно участвовать в происходящем и в качестве зрителя вкушать радость иллюзии.

Пьеса закончилась; пока шли приготовления к дивертисменту, зрители повставали с мест и болтали наперебой. Я протиснулся поближе к двери и по стуку изнутри услышал, что там заняты приборкой. Приподняв нижний край ковра, я заглянул за кулисы. Матушка заметила это и оттащила меня; однако я успел увидеть, что всех попеременно друзей и врагов — Саула и Голиафа и остальных прочих — складывают в один ящик, так что любопытство, удовлетворенное лишь вполтину, получило новую пищу. К своему великому удивлению, я узрел орудующего в святилище лейтенанта. Сколько бы с этой минуты Гансвурст ни стучал каблуками, он потерял для меня всякий интерес. Я погрузился в глубокие размышления, ибо после сделанного открытия мне стало и спокойнее и беспокойнее на душе. Узнав лишь кое-что, я стал думать, что не знаю ничего; и в этом я был прав — моим знаниям недоставало взаимной связи, а в ней-то вся и суть.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

— В хорошо поставленном и строго налаженном доме, — продолжал Вильгельм, — дети ведут себя примерно так же, как должны себя вести крысы и мыши; они подмечают все щели и дырки, через которые можно добраться до запретного лакомства, и при этом испытывают такой затаенный сладостный ужас, который составляет значительную долю ребячьего счастья.

Я прежде всех своих братьев и сестер подмечал, что ключ оставлен в замке. В душе я питал великое благоговение перед запертыми дверями, мимо которых по неделям, по месяцам вынужден был проходить, и только изредка заглядывал туда украдкой, если матушка отмыкала святилище, где ей понадобилось что-то достать, — зато я же первый спешил не упустить случая, когда он представлялся мне из-за небрежности ключницы.

Нетрудно догадаться, что изо всех дверей самой для меня привлекательной была дверь кладовой. Мало найдется радостей жизни, предвкушение которых сравнится с тем чувством, какое я испытывал, когда, случалось, матушка звала меня помочь ей вынести что-то оттуда, и мне, по ее милости ильч благодаря собственной ловкости, перепало несколько черносливин. Наваленные в кладовой сокровища изобилием своим захватывали мое воображение, и даже особенный запах, составленный из сочетания разных пряностей, казался мне таким лакомым, что, очутившись поблизости, я торопился хотя бы подышать прельстительным воздухом, идущим из открытой двери. В одно воскресное утро, когда колокольный звон поторопил матушку, а весь дом застыл в праздничном покое, заветный ключ остался в замочной скважине. Только я это заметил, как, походив мимо двери и потершись о косяк, я тихо и быстро отпер ее, сделал шаг и очутился среди вожделенной благодати. Я окинул торопливым, нерешительным взглядом ящики, мешки, коробки, банки, склянки, не зная, что выбрать и взять; наконец запустил руку в свои излюбленные вяленые сливы, запасся горсткой сушеных яблок и прихватил в придачу засахаренную померанцевую корку, с каковой добычей и собрался улизнуть, как вдруг мне в глаза бросилось несколько поставленных в ряд ящиков; в одном крышка была плохо задвинута, и оттуда торчали проволоки с крючками на концах. Почувяв истину, я кинулся к ним; с каким же неземным восторгом обнаружил я, что там свален в кучу мир моих героев и радостей! Я собрался поднять верхний ряд, разглядеть его, достать нижние. Однако я сразу же запутал тонкие проволоочки, растерялся, испугался, особенно когда в расположенной рядом кухне зашевелилась стряпуха; как умел, затолкал все в ящик, задвинул крышку, только взял себе лежавшую сверху книжечку, где от руки была записана комедия о Давиде и Голиафе, и с этой добычей прокрался на цыпочках по лестнице в чердачную каморку.

Отныне каждый час, когда мне удавалось уединиться тайком, я читал и перечитывал свою книжицу, учил ее наизусть и в мыслях представлял себе, как чудесно было бы собственными пальцами оживлять фигурки. При этом я мысленно бывал и Давидом и Голиафом. Во всех уголках чердака, конюшен, сада я, отговорившись любым предлогом, изучал пьесу, вникал в каждую роль, все затвердил наизусть с той разницей, что сам-то обычно играл лишь главного героя, за остальных же, как сопутствующих, подыгрывал про себя. В памяти моей денно и ночью звучали великодушные речи Давида, коими он вызывал на бой малодушного хвастуна, даром что великана, Голиафа; нередко я бормотал их себе под нос, никто этого не замечал, кроме отца, а он, уловив мой возглас, втихомолку радовался на хорошую память сынишки, который столько запомнил из того, что слышал считанные разы.

Я же под конец совсем осмелел и однажды вечером почти полностью продекламировал пьесу перед матушкой, предварительно слепив себе актеров из комочков воска. Матушка насторожилась, стала допытываться, и я сознался.

По счастью, это разоблачение совпало с намерением лейтенанта посвятить меня в свои тайны. Матушка не замедлила осведомить его о неожиданно обнаруженном даровании сына, и он ухитрился выпросить себе в верхнем этаже две обычно пустовавшие комнаты, с тем чтобы в одной сидели зрители, а в другой находились актеры и чтобы просцениумом по-прежнему служил дверной проем. Отец разрешил другу оборудовать все это, сам же устранился от какого — либо участия, исходя из убеждения, что не следует детям показывать, как их любишь, им и так всего мало. Он считал, что не надо радоваться с ними заодно, не мешает даже иногда испортить им радость, дабы от баловства они не стали самомнительными и самовольными.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

— Лейтенант не мешкая установил самый театр и доделывал все остальное. Заметив, что на этой неделе он несколько раз являлся к нам в неурочное время, я догадался, ради чего он приходит, и не помнил себя от нетерпения, сознавая, что до субботы мне не позволят принять участие в том, что готовится. Наконец настал желанный день. В пять часов вечера пришел мой наставник и взял меня с собой

наверх. Я вошел, держа от радости, и увидев, что сбоку, на обе стороны подмостков, развешены куклы в том порядке, в каком им предстоит появляться; тщательно рассмотрев их, я встал на ступеньку, поднявшую меня над сценой, и будто вознесся над всем миниатюрным мирком. С благоговением смотрел я вниз» в щели между досками, вспоминая, каким чудесным все это представляется снаружи, и чувствуя, в какие тайны я посвящен. Мы устроили репетицию, и все сошло хорошо.

На другой день было приглашено целое общество детей, и мы не оплошали, если не считать, что в разгар действия я уронил своего Ионафана и принужден был запустить руку вниз и подхватить его; досадный этот случай порядком нарушил иллюзию, вызвал дружный хохот и несколько огорчил меня. А мой отец, с умыслом скрывавший, как радуют его способности сыночка, был даже доволен этим промахом и сразу после окончания спектакля придрался к нашим ошибкам, говоря, что все сошло бы отменно, не будь того или иного огреха.

Меня это глубоко обидело, весь вечер я ходил грустный; по наутро, проспав свою досаду, ликовал от сознания, что, кроме той незадачи, играл превосходно. К этому добавились похвалы зрителей, которые решительно утверждали, что лейтенант хоть и немало преуспел по части перехода от высокого к низкому голосу, однако же декламирует он не в меру выпрещенно и натянуто; зато юный дебютант прекрасно говорит за Давида и Ионафана; матушке особенно нравилось, с какой правдивостью выражения я вызывал на бой Голиафа и представлял царю скромного победителя.

К великой моей радости, театр так и остался на месте, а тут подоспела весна, можно было обходиться без огня, и все часы» отпущенные для игр и отдыха, я проводил наверху, храбро так и эдак орудуя куклами. Часто я звал с собой братьев, сестер и приятелей; когда же они отказывались, я отправлялся туда один. Мое воображение было всецело поглощено кукольным мирком, и он не замедлил принять новые формы.

Не успел я несколько раз повторить первую пьесу, для которой были сделаны и прилажены театр и актеры, как она уже прискучила мне. А тем временем среди книг деда я обнаружил «Немецкий театр»[3] и различные итальянские оперы, в которые погрузился с головой, и всякий раз» едва пересчитав действующих лиц, без дальних размышлений спешил сыграть пьесу. Царю Саулу в неизменной черной бархатной мантии приходилось изображать и Хаумигрема, и Катона, и Дария; признаться, пьесы никогда не ставились целиком, чаще всего разыгрывались одни пятые акты, где дело доходит до смертоубийств.

Вполне понятно, что заманчивее всего множеством разных превращений и приключений казалась мне опера. Здесь я находил и бурные моря, и богов, которые спускаются на облаке; особенный же восторг вызывали у меня громы и молнии. Материалом мне служили картой, краски и бумага; ночь я наловчился делать великолепно, молнии мои наводили страх, а вот гром получался не всегда; впрочем, это было не так уж важно. Кстати, в оперы легче было пристроить моих Давида и Голиафа, которые никак не вмещались в обыкновенные драмы. С каждым днем я крепче привязывался к тому тесному уголку, где черпал столько радостей; не стану скрывать, что запах припасов, которым куклы пропитались в кладовой, немало тому способствовал.

Постепенно получился у меня полный набор декораций — недаром с малых лет я был наделен способностью обращаться с циркулем, вырезать из картона и раскрашивать картинки; теперь это оказалось кстати. Тем обиднее было мне, что наличный состав моей труппы не давал возможности играть большие пьесы.

Сестры мои постоянно раздевали и одевали своих кукол и меня навели на мысль обзавестись для моих персонажей сменяемым платьем. Пришлось содрать лоскутки с фигурок, кое-как сшить их, скопить немножко денег, приобрести новые ленты и, мишуру и выпросить обрывки тафты; так был мало — помалу собран театральный гардероб, и главное внимание было обращено на дамские роброны.

Теперь труппа была по-настоящему обеспечена костюмами для любой самой большой пьесы, и следовало ожидать, что теперь-то уж представление последует за представлением. Однако со мной случилось то, что часто случается с детьми: они строят грандиозные планы, делают обширные приготовления, даже предпринимают кое-какие попытки, и на том все кончается. В таком грехе повинен и я. Занимательнее все» го мне было изобретать и давать пищу своему воображению. В каждой пьесе меня интересовала какая-нибудь одна сцена, для которой я сразу же заказывал новые костюмы. При таких порядках исконные одеяния моих персонажей порастрепались, попропадали, так что даже первую большую пьесу нельзя было поставить толком. Я дал волю своей фантазии, вечно что-то пробовал и готовил, без конца строил воздушные замки, не сознавая, что подрываю основу своего маленького предприятия.

Во время этого рассказа Мариана сугубой ласковостью обращения старалась скрыть от Вильгельма свою сонливость. С одной стороны, история показалась ей забавной, а с другой — чересчур простой для столь глубоких умозаключений. Девушка нежно поставила ножку на ногу возлюбленного, показывая ему притворное внимание и ободрение. Она пила из его бокала, и Вильгельм не сомневался, что ни одного слова его рассказа не пропало втуне.

— Теперь твой черед, Мариана! — помолчав немного, воскликнул Вильгельм. — Расскажи мне тоже о первых радостях твоих юных лет. До сих пор мы были слишком поглощены настоящим, чтобы вникнуть в прошедшую жизнь друг друга. Скажи мне, в каких обстоятельствах ты воспитывалась. Какие первые яркие впечатления запомнились тебе?

Эти вопросы поставили бы Мариану в крайне неловкое положение, если бы Барбара не поспешила прийти ей на помощь.

— Неужто, по-вашему, мы так же бережно храним в памяти все случаи прежней жизни и можем похвалиться столь же занятными приключениями? — спросила умная старуха. — А если бы и так, разве мы способны столь же умело описать их?

— Да в умении ли дело! — вскричал Вильгельм. — Я так сильно люблю это ласковое, доброе, милое создание, что мне постыло каждое мгновение, прожитое без нее. Позволь же мне хотя бы с помощью воображения стать участником былой твоей жизни! Расскажи мне все, и я все тебе расскажу. Попытаемся обмануть себя и вспомнить время, потерянное для любви.

— Коль вы так уж настаиваете, извольте, мы вас уважим, — заявила старуха, — но сперва расскажите вы нам, как росло ваше тяготение

к театру, сколько я успевала и как счастлииво преуспели, что впрямь можете считаться хорошим актером. Конечно, у вас при этом случалось немало походов. Спать ложиться еще рано, у меня в запасе есть непочатая бутылка: кто знает, скоро ли случится нам опять так мирно и приятно посидеть вместе.

Мариана бросила на нее печальный взгляд, не замеченный Вильгельмом, который продолжал свой рассказ.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

— Тихие, одинокие мои радости страдали из-за отроческих забав и все расширяющегося круга их участников. В зависимости от игры я попеременно изображал то охотника, то солдата, то всадника, но у меня всегда было перед остальными одно преимущество: я умел ловко мастерить нужные атрибуты. Мечи, например, обычно бывали моего производства; я разукрашивал и золотил салазки и по безотчетному побуждению не мог успокоиться до тех пор, покуда не обрядил всех наших стражников на античный лад. Тут были изготовлены и увенчаны бумажными султанами шлемы, сработаны щиты и даже латы; к таким трудам были привлечены сведущие в портняжестве слуги, а швеи сломали на этом не одну иглу.

Часть моих юных товарищей была у меня теперь снабжена всем, что положено, прочих тоже мало-помалу снарядили, хоть и похуже, — в общем же получился весьма внушительный отряд. Мы маршировали дворами и парками, бесстрашно лупили друг друга по щитам и головам; случались у нас и распри, однако они быстро улаживались.

Эта игра увлекла всех остальных, но стоило повторить ее несколько раз, как она перестала меня удовлетворять. Зрелище стольких вооруженных фигур, естественно, подстрекнуло мою тягу к рыцарству, которая овладела мною с тех пор, как я пристрастился к чтению старинных романов.

Попавший мне в руки копповский перевод «Освобожденного Иерусалима»[4] прекратил наконец разброд в моих мыслях, направив их на определенную стезю. Правда, всю поэму я не в силах был прочитать: зато некоторые места запомнил наизусть, и образы их носились передо мной. Особенно приковывала меня всеми своими помыслами и поступками Клоринда. На душу, только начавшую развиваться, больше оказывала воздействие мужественность этой женской природы и спокойная полнота ее внутреннего мира, нежели жеманные прелести Армиды, чьи сады, впрочем, я отнюдь не презирал.

Но когда я по вечерам прогуливался по площадке, устроенной между коньками крыши, и смотрел на окружающую местность, а от закатного солнца у черты горизонта поднимался мерцающий сумеречный отсвет, звезды проступали на небосводе, изо всех уголков и провалов надвигалась ночь и звонкое стрекотание кузнечиков прорезало торжественную тишину, — я сотни и сотни раз повторял в памяти историю прискорбного единоборства между Танкредом и Клориндой.

Хотя я, как и должно, был на стороне христиан, однако всем сердцем сочувствовал языческой героине, замыслившей поджечь гигантскую башню осаждающих. И когда Танкред встречал среди ночи мнимого воина, и под покровом тьмы возгорался спор, и они бились что есть силы, стоило мне произнести слова:

Но мера бытия Клоринды уж полна,

И близок час, в который смерть ей суждена! — [5]

как на глаза набегали слезы; они лились ручьем, когда злополучный любовник вонзал меч в ее грудь, снимал шлем с умирающей и, узнав ее, с дрожью спешил принести воду для крещения.

Но как же надрывалось мое сердце, когда в зачарованном лесу меч Танкреда поражал дерево и из надреза текла кровь, а в ушах героя звучал голос, говоривший, что и тут он нанес удар Клоринде и что ему суждено повсюду, неведомо для себя, ранить то, что ему всего дороже!

Эта книга до такой степени полонила мое воображение, что все прочитанные из нее отрывки смутно слились у меня в единое целое, столь сильно мною завладевшее, что я мечтал воплотить его на сцене. Мне хотелось сыграть Танкреда и Ринальдо, для чего нашлось двое полных доспехов, уже изготовленных мною. Один из темно-серой бумаги, с чешуей назначен был украшать сумрачного Танкреда, другой, из серебряной и золотой бумаги — блистательного Ринальда. Со всем жаром воображения я изложил замысел товарищам, которые пришли в восторг, только не верили, что это может быть представлено на сцене, да еще не кем иным, как ими.

Сомнения их я рассеял без труда. Прежде всего я мыслен\* по завладел несколькими комнатами в доме жившего по соседству приятеля, даже не заподозрив, что старуха тетка ни за какие блага не отдаст их. Так же обстояло дело и со сценой, о которой у меня не было определенного понятия: я знал лишь, что устанавливают ее на дощатом настиле, кулисы делают из разборных ширм, а для заднего плана нужно большое полотнище. Но откуда возьмутся потребные материалы и оборудование, над этим я не задумывался.

Для изображения леса нашелся отличный выход: улестили бывшего соседского слугу, ставшего лесником, уговорив его, чтобы он добыл нам молодых березок и сосенок, которые и были доставлены даже раньше, чем мы рассчитывали. Теперь у нас возникло новое затруднение — как наладить спектакль, пока не засохли деревья? Трудно обойтись без мудрого совета, когда нет ни помещения, ни сцены, ни занавеса. Ширмы — было единственное, чем мы располагали.

В своем замешательстве мы вновь приступили к лейтенанту, расписав ему все великолепие нашего замысла. Как ни плохо он понял нас, однако поспешил нам на помощь; он плотно сдвинул в маленькой каморке все столы, которые только мог собрать в доме и по соседству, установил на них ширмы, из зеленых занавесок сделал задний план; деревья тоже сразу же были поставлены в ряд.

Тем временем стемнело, зажглись свечи, служанки и дети расселись по местам: вот-вот должна была начаться пьеса, на всех действующих лиц надели театральные костюмы; тут каждый впервые понял, что не знает, какие слова говорить. В творческом чаду, всецело поглощенный своим замыслом, я упустил из виду, что каждому ведь надобно знать, о чем и где ему следует говорить; остальным

в спешке приготовлений это тоже не пришло на ум; им казалось, что нетрудно изобразить из себя героев, нетрудно действовать и говорить, как те люди, в чей мир я их перенес. В растерянности топтались они на месте, допытываясь друг у друга, с чего же начинать, и я, с самого начала представлявший себя Танкредом, один выступил вперед и принялся декламировать стихи из героической поэмы. Но так как отрывок очень скоро перешел на повествование, в результате чего я стал говорить о себе в третьем лице, а Готфрид, о котором шла речь, не желал выходить, то мне оставалось лишь удалиться под громкий хохот зрителей; я был больно уязвлен такой неудачей. Эксперимент не удался; зрители сидели и ждали зрелища. Мы были в костюмах; я взял себя в руки и решил, не долго думая, разыграть сцену Давида с Голиафом. Кое-кто из участников в свое время вместе со мной ставил ту пьесу на кукольном театре, и все много раз видели ее; мы распределили роли, каждый пообещал стараться вовсю, а один уморительный карапуз намалевал себе черную бороду, чтобы, случись заминка, сгладить все шутовским выпадом в духе Гансворста. Лишь скрепя сердце согласился я на такую меру, противную трагической Сути представления; однако тут же дал себе зарок: если мне удастся выпутаться из этой неприятности, впредь не братья за новый спектакль, толком не обсудив всего.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Сон совсем сморил Мариану, она склонилась на грудь возлюбленного, который крепко прижал ее к себе и продолжал свой рассказ, меж тем как старуха истово смаковала остатки вина.

— Неловкое положение, в которое угодили мы с друзьями, затеяв сыграть несуществующую пьесу, вскоре позабылось. В моем стремлении изображать на сцене любой прочитанный роман, любой услышанный от учителя эпизод истории — меня не отпугивал самый неподатливый материал. Я был совершенно убежден, что все, чем мы восхищались в повествовании, окажет в спектакле еще более сильное действие; все непременно\* должно произойти на подмостках, у меня на глазах. Когда нам в школе преподавали всемирную историю, я тщательно примечал, если кого-то закалывали или отравляли на особый манер, и в своем воображении перескакивал через экспозицию и завязку прямо к самому увлекательному пятому акту. Так я с конца и начал писать некоторые пьесы, ни в одной из них не добравшись до начала.

В ту же пору, частью по собственному побуждению, частью по совету друзей, которым приходила охота ставить спектакли, я прочитал целую уйму драматической стряпни, случайно попавшей мне в руки. Я был в том благодатном возрасте, когда нам еще нравится все, когда мы находим удовольствие в нагромождении и смене событий. К несчастью, мое суждение не было бескорыстным. Мне особенно нравились те пьесы, в которых сам я рассчитывал понравиться; и мало было таких, что не вводили бы меня в приятный самообман, а воображая себя в силу фантазии во всех ролях, я поддавался искусительной мысли, что способен все их сыграть; по этой причине, распределяя их, я чаще всего облюбовывал для себя наименее мне подходящие и при мало-мальской возможности даже брал себе две роли.

Играя, дети умеют делать все из всего: палка превращается в ружье, щепка — в меч, комочек тряпья — в куклу, любой уголок — в хижину. По этому принципу развивался и наш домашний театр. Не отдавая себе ни малейшего отчета в своих силах, мы брались за все, не замечали никаких *qui pro quo*[6] и думали: пускай каждый считает нас теми, за кого мы себя выдаем. К сожалению, все шло таким избитым путем, что я даже не припомню никакой примечательной глупости, о которой стоило бы рассказать напоследок. Сперва мы сыграли те немногие пьесы, в которых есть лишь мужские роли; потом стали переодевать женщинами кое-кого из своей компании, наконец, привлекли к делу своих сестер. В некоторых семьях смотрели на спектакли как на полезное занятие и приглашали на них гостей. Наш артиллерийский лейтенант не покинул нас и здесь. Он показал нам, как надо входить и выходить, как декламировать и жестикулировать; однако же благодарности за труды он от нас видел мало, поскольку мы считали себя уже более него сведущими в театральном искусстве.

Немного погодя мы переметнулись на трагедию; дело в том, что мы не раз слышали от других да и сами считали, что проще написать и сыграть трагедию, нежели блеснуть в комедии. При первой же попытке мы почувствовали себя в своей стихии; нам казалось — чем больше ходульности и высокопарности, тем ближе к идеалу трагика и к совершенству образов; о себе мы воображали невесть что, не помнили себя от восторга, когда могли бушевать, топотать ногами, а то и падать наземь в избытке бешенства и отчаяния.

Не успели мальчики и девочки некоторое время вместе поиграть на театре, как природа дала себя знать, и компания распалась на любовные дуэты, так что теперь по большей части разыгрывалась комедия в комедии. Счастливые парочки за кулисами нежно пожимали друг другу руки и млели от счастья, в этих нарядах и бантах представляясь друг другу идеалом красоты, между тем как несчастливые воздыхатели издали ревновали ревностью, упорно и злорадно устраивая им всякие каверзы.

Хотя предприняли мы наши театральные попытки без разумения и осуществили их без руководства, однако они оказались для нас не без пользы. Упражняя свою память и свое тело, мы приобрели больше сноровки в речах и манерах, чем положено в столь ранние годы. Для меня лично это составило целую эпоху, я обратился всеми помыслами к театру и не желал себе иного счастья, нежели читать, писать, а также играть пьесы.

Учителя по-прежнему давали мне уроки; меня готовили к торговому поприщу и определили конторщиком к нашему соседу; но как раз в ту пору я все сильнее отвращался душой от того, что считал низменным занятием. Все свои силы желал я посвятить театру, в нем обрести для себя счастье и удовлетворение.

Помнится, среди моих бумаг было стихотворение, где муза трагической поэзии и вторая особа женского пола — олицетворение ремесла — оспаривают друг у друга мою драгоценную персону. Идея довольно избитая, и не помню, стоят ли чего-нибудь сами стихи, однако их не мешает прочесть ради того ужаса, отвращения, любви и страсти, которыми они полны. Как подробно и придирчиво расписал я в них старуху хозяйку с прялкой у пояса, с ключами на боку и очками на носу, вечно в хлопотах, вечно в заботах, сварливую и прижимистую, мелочную и докучливую! Сколь жалостным изобразил я положение тех, кому приходится сгибаться под ее пятой, в поте лица зарабатывая себе пропитание каждодневным рабским трудом!

Сколь отлична была от нее другая! Что за явление для угнетенного сердца! Великолепно сложена, осанкой и поведением — истая дочь свободы. Чувство собственного достоинства вселяло в нее уверенность; облекая, но не стесняя тела, пышные складки ткани, точно тысячекратный отзвук, повторяли пленительные движения богоравной! Какое противопоставление! На чью сторону склонялось мое

сердце, тебе нетрудно угадать. Ни одно из отличий моей музы не было упущено. Короны и кинжалы, цепи и маски, завешанные мне моими предшественниками, были и тут присвоены ей. Спор был горяч, речи обеих особ являли достодожный контраст, ибо на четырнадцатом году стремишься в лоб сопоставлять черное и белое. Старуха говорила, как положено особе, поднимающей с полу булавку, а другая — как та, кому привычно раздаривать царства. Грозные предостережения старухи были отвергнуты; я уже повернулся спиной к богатствам, которые она сулила; нагой и ниимущий, предался я музе, а она, кинув мне свое золотое покрывало, одела мою наготу.

— Если бы я предвидел, любовь моя, — воскликнул он, прижимая Мариану к груди, — что явится другая, прекраснейшая богиня, укрепит меня в моем решении и будет сопутствовать мне на избранной стезе, насколько более радостный оборот приняли бы мои стихи, насколько увлекательней показался бы их финал! Но нет, не вымысел, а правду и жизнь обрел я в твоих объятиях; позволь же нам вкушать сладостное блаженство, сознавая всю его полноту.

Крепость объятия и возбужденный, повышенный звук голоса разбудили Мариану, поспешившую ласками скрыть смущение, ибо она ни словечка не слышала из последней части его повествования; надо лишь пожелать, чтобы наш герой впредь находил более внимательных слушателей для своих излюбленных рассказов.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Итак, Вильгельм проводил ночи в наслаждениях безмятежной любви, а дни — в ожидании новых блаженных часов; уже в ту пору, когда вождение и надежда влекли его к Мариане, он чувствовал себя как бы заново рожденным, чувствовал, что становится другим человеком; но вот теперь он стал близок с ней, удовлетворенное желание обратилось в сладостную привычку. Сердцем он стремился возвысить предмет своей страсти, умом — вести возлюбленную за собой. В минуты самой краткой разлуки его наполняло воспоминание о ней. Если прежде она была ему нужна, то теперь стала необходимой, ибо он был привязан к ней всеми узами человеческой природы. Чистой своей душой он ощущал ее как половину, нет, более чем половину самого себя. Его благодарность и преданность не имели пределов.

Мариана тоже до поры до времени обманывала себя, разделяя с ним весь пыл его счастья. Увы! Если бы только сердце ей не сжимала леденящая рука раскаяния, от которого она не могла укрыться даже на груди Вильгельма, даже под крылом его любви. А уж когда оставалась одна и, спустившись с облаков, на которые возносила ее страсть возлюбленного, возвращалась к сознанию действительности, ее стоило пожалеть.

Легкомыслие приходило ей на помощь, пока она вела непутевую жизнь и закрывала глаза на свое положение или, вернее, до конца не понимала его; обстоятельства, которым она покорялась, казались ей случайными, удача и неудача чередовались между собой, унижени) окупалось тщеславием, а бедность кратковременным изобилием; нужда и среда могли быть для нее оправданием и законом и до некоторых пор позволяли с часу на час, со дня на день отмахиваться от горьких дум. Но теперь бедняжка на краткие мгновения была перенесена в лучший мир и будто сверху, оттуда, где свет и счастье, взглянула на пустоту и порочность своей жизни, почувствовала, какое жалкое создание женщина, неспособная внушить вместе с желанием любовь и уважение, и осознала, что сама-то ничуть не стала лучше ни внешне, ни внутренне. У нее не было ничего, за что бы ухватиться. Заглядывая в себя, она видела в душе своей пустоту, а в сердце никакой опоры. Чем печальнее было ее состояние, тем крепче привязывалась она к возлюбленному; да, страсть росла в ней с каждым днем, как опасность потерять его с каждым днем надвигалась все ближе.

Зато Вильгельм блаженно витал в заоблачных высях, ему тоже открылся новый мир, притом богатый чудесными видами на будущее. Едва только первый порыв радостей улегся, как перед его внутренним взором в ярком свете предстало то, что прежде смутно его тревожило: «Она твоя! Она предалась тебе! Она, любимая, та, кого ты домогался, кого боготворил, она беззаветно предалась тебе; но человек, которому она вверила свою судьбу, не покажет себя неблагоприятным».

Всегда и повсюду он говорил сам с собой, сердце его то и дело переполнялось через край, в пышных выражениях он многоречиво изливал перед собой свои благородные чувствования. Он убеждал себя, что это явственное знамение судьбы, что через Мариану она протягивает ему руку, чтобы он мог вырваться из затхлого застоя мещанской жизни, от которой давно жаждал бежать. Разлука с отчим домом, с родными казалась ему пустым делом. Он был молод и, как новичок на пашей земле, полон отважной жадности искать на ее просторах счастья и удовлетворения, в чем любовь только укрепляла его. Отныне ему было ясно, что театр — его призвание; поставленная перед ним высокая цель станет ближе, если он устремится к ней об руку с Марианой; в своей самонадеянной скромности он уже видел себя великолепным актером, создателем будущего национального театра,[7] о котором вздыхают столь многие. Все, что до того дремало в сокровенных уголках его души, оживилось теперь. Из разнородных мечтаний он красками любви нарисовал картину, на туманном фоне которой отдельные образы, правда, сливались между собой; но тем заманчивее казалось целое.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Итак, он сидел дома и разбирался в своих бумагах, готовясь к отъезду. То, на чем был отпечаток прежнего его призвания, откладывалось прочь, — пускаясь странствовать по свету, он хотел быть избавлен от всех неприятных воспоминаний. Лишь творения, носившие печать искусства, поэты и критики были как добрые знакомые приобщены к сонму избранных, а поскольку он прежде мало обращался к трудам знатоков искусства и теперь, пересматривая свои книги, увидел, что теоретические сочинения по большей части еще не разрезаны, его вновь потянуло учиться. Будучи твердо убежден в необходимости подобных трудов, он покупал многие из них, но при всем желании ни одного не мог дочитать даже до половины.

Тем охотнее обращался он к самим предметам критики и даже пробовал себя во всех родах искусства, с какими успел познакомиться.

Вошел Вернер и, увидев, что друг перебирает знакомые тетради, воскликнул:

— Опять ты роешься в этих бумагах! Право же, ты не способен ничего завершить. Просмотришь одно, другое и непременно затеешь что-то новое.



— Завершать не подобает ученику, пусть пока пробует свои силы.

— Пусть, как умеет, доделывает начатое.

— Но тут встает вопрос, не следует ли ожидать многого от молодого человека, если он, взявшись за неподходящее дело и заметив, что работа не спорится, бросит ее и не станет тратить труд и время на нечто не могущее иметь ни малейшей цены.

Я знаю, не в твоей натуре доводить что бы то ни было до конца, ты всегда уставал, не дойдя даже до половины. Еще в бытность твою директором нашего кукольного театра сколько раз приходилось шить новые костюмы для нашей карликовой труппы, вырезать новые декорации! Ты решал ставить то одну, то другую трагедию, а давал всего по разу один лишь пятый акт, где творилась полная неразбериха и герои только и делали, что закалывали друг друга.

— Раз уж ты заговорил о тех временах, — чья вина, что у нас с кукол спарывали пригнанные и пришитые к ним платья и тратились на обширный и ненужный гардероб? Не ты ли постоянно старался спустить мне моток лент, подогревая в свою пользу мое увлечение?

Вернер рассмеялся и воскликнул:

— До сих пор с удовольствием вспоминаю, как я наживался на ваших театральных кампаниях, точно интенданты на войне. Когда вы снаряжались для освобождения Иерусалима, я извлек из этого немалую выгоду, как в старину венецианцы при подобных же обстоятельствах. На мой взгляд, в мире нет ничего разумнее, чем извлекать выгоду из людской глупости.

— А не благороднее было бы радоваться, излечив людей от глупости?

— Насколько я их знаю, это были бы тщетные старания. Великое дело и одному человеку стать умным и богатым, и обычно добывается он этого за счет других людей.

— Вот мне, кстати, попался под руку «Юноша на распутье», — подхватил Вильгельм, извлекая из груды бумаг одну тетрадку, — эту вещь я закончил — все равно, худо ли, хорошо ли.

— Отбрось ее, швырни в огонь! — возопил Вернер. — Идея ее отнюдь не похвальна; этот опус претил мне с самого начала, а на тебя навлек неодобрение отца. Стихи, может, и складные, но изображение фальшивое. До сих пор помню твою дряхлую, немощную колдунью — олицетворение ремесла. Верно, ты набрел на этот образ в какой-нибудь убогой мелочной лавчонке. О торговом деле ты тогда понятия не имел; я же не знаю человека, чей кругозор был бы шире, должен быть шире, нежели кругозор настоящего коммерсанта. Сколь многому учит нас порядок в ведении дел! Он позволяет нам в любое время обозреть целое, не отвлекаясь на возню с мелочами. Какие преимущества дает купцу двойная бухгалтерия! Это одно из прекраснейших изобретений ума человеческого, и всякому хорошему хозяину следует ввести ее в свой обиход.

— Извини меня, — усмехнувшись, заметил Вильгельм, — ты подходишь к делу с внешней стороны, как будто в ней вся суть; за своими суммированиями и сведениями баланса вы обычно забываете подлинный итог жизни.

— А тебе, друг мой, к сожалению, не попятно, что здесь внешняя сторона дела и суть его неразделимы, ибо без одной не может существовать другая. Порядок и точность усугубляют стремление копить и обретать. Человеку, плохо ведущему дела, неразбериха на руку; ему не хочется подводить счет своим долгам. Зато для хорошего хозяина нет лучше улады, как ежедневно подсчитывать, насколько прибыло его благосостояние. Даже если случится неудача, она, конечно, огорчит его, но не испугает; он сразу же прикинет — сколько скопленных барышей может положить на другую чашу весов. Я не сомневаюсь, дорогой мой друг, что, войдя со временем во вкус наших дел, ты убедишься, что тут найдется применение самым разнородным способностям ума.

— Может статься, предстоящее путешествие наведет меня на новые мысли.

— Ну конечно! Повидав дела крупного размаха, ты навсегда примкнешь к нам и, возвратясь, охотно войдешь в содружество с теми, кто всякого рода операциями и спекуляциями умеет урвать себе некоторую толику денег и благ, неукоснительно обращающихся в мире. Взгляни на естественные и искусственные продукты всех частей света, заметь себе, как один вслед за другим они становились предметами необходимости. И как же радуешься, когда, не пожалев стараний, разведаеться, на что сейчас самый большой спрос, что трудно достать, а что и вовсе пропало, и можешь легко и быстро доставить каждому то, что ему нужно, предусмотрительно сделав запас, так что каждое мгновение Этого грандиозного кругооборота приносит тебе прибыль. На мой взгляд, это великое наслаждение для человека с головой.

Вильгельм, по-видимому, не склонен был возражать, и Вернер продолжал:

— Побывай-ка в двух-трех больших торговых городах, в двух-трех гаванях, и у тебя дух захватит от восторга. Когда увидишь, какое множество людей занято работой, сколько всякого добра приходит и уходит, тебе, конечно, захочется, чтобы оно проходило через твои руки. Ничтожнейший товар, воспринятый в совокупности со всей торговлей в целом, не покажется тебе ничтожным, потому что и он приумножает оборот, каким питается твоя жизнь.

Совершенствуя свой практический ум в общении с Вильгельмом, Вернер привык думать о своем ремесле и своих делах в возвышенном духе и не сомневался, что имеет на это больше права, нежели его столь понятливый и почитаемый друг, который, казалось ему, полагал не в меру большую цену и отдавал душу чему-то совсем неосновательному. Порой он считал, что недолг час, когда несправедливый восторг будет преодолен и столь благородный человек наставлен на путь истинный. Уповав на это, он продолжал:

— Сильные мира сего захватили всю землю и пребывают в изобилии и роскоши. Малейший клочок земли в нашей части света уже стал чьим-то владением, и каждое владение за кем-то закреплено законом, а должность в магистрате и по другим ведомствам оплачивается скудно. Так где же искать дохода законнее, прибылька справедливее, нежели в торговле?

Ведь князья мира сего, наложив руку на реки, дороги и гавани, получают большой барыш со всего, что бы ни проезжало и не проплывало мимо: мудрено ли, что мы радуемся случаю нашими трудами взять дань с тех предметов, иа которые у покупателя возрос спрос — то ли в силу необходимости, то ли из суетности?

Смею тебя уверить, пожелай только дать волю своему поэтическому воображению, и ты смело можешь выставить мою богиню неоспоримой победительницей над твоей. Правда, она предпочитает масличную ветвь мечу, а кинжалов и цепей не признает совсем; но и она жалуется своих любимцев венцами, которые, не в обиду твоей богине будь сказано, сверкают настоящим, добытым из самого источника золотом и жемчугами, извлеченными со дна морского стараниями ее неутомимых слуг.

Этот выпад несколько задел Вильгельма, однако он не показал своей обиды, припомнив, как миролюбиво Вернер выслушивает его гневные тирады, к тому же он по справедливости считал, что каждому положено ставить свое ремесло выше других; пусть только не нападают на то ремесло, которому со всею страстью отдался он сам.

— Ты ведь так близко принимаешь к сердцу дела человеческие, — воскликнул Вернер, — как же увлекательно для тебя будет воочию созерцать то счастье, что сопутствует человеку в его смелых предприятиях! Может ли быть зрелище прекраснее, нежели корабль, что причаливает после благополучного плавания, раньше времени возвращаясь с богатым уловом! Не только родные, знакомые и причастные люди, но и любые посторонние зрители не могут без волнения смотреть, с каким восторгом, не дождавшись, чтобы судно причалило, моряк спрыгивает на берег и, освободясь от своего плена, может вверить надежной земле то, что отнял у неверных вод. Успех, друг мой, мы исчисляем не в цифрах; фортуна — это богиня живых людей, и чтобы по-настоящему ощутить ее милость, надо жить и видеть людей, которые работают и наслаждаются во всю полноту жизненных и чувственных сил.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Однако приспело время ближе познакомиться с отцами наших двух приятелей — с людьми совершенно разных взглядов, которые сходились лишь в одном: оба считали торговлю благороднейшим делом и оба всячески старались не упустить прибыли, которую могла принести им та или иная торговая операция. Старик Мейстер тотчас же после смерти своего отца обратил в деньги ценное собрание картин, рисунков, гравюр и антиков; заново в новейшем вкусе перестроил и меблировал родительский дом, остальной же капитал приумножил, пустив его в оборот. Значительную часть денег он вложил в торговое предприятие старика Вернера, который слыл дельным коммерсантом, ибо сделкам его всегда благоприятствовал успех. Однако заветнейшим желанием старика Мейстера было наделить сына теми качествами, коих недоставало ему самому, и завещать своим детям блага, которые он ценил превыше всего: например, его влекло к роскоши, к тому, что бьет в глаза, но одновременно имеет и внутреннюю долговечную ценность. Он хотел, чтобы у него в дому все было прочным, увесистым, припасы обильные, серебро тяжелое, посуда дорогая; зато гостей звали редко, потому что каждая трапеза обращалась в пиршество, которое трудно устраивать часто по причине больших затрат и хлопот. Хозяйство у него шло раз навсегда заведенным однообразным ходом, а если и случались новшества и перемены, так именно те, что никого не могли порадовать.

В корне противоположную жизнь вел в своем темном и угрюмом доме старик Вернер. Поработав у себя в тесном кабинете за прадедовской конторкой, он желал хорошо поесть, по возможности еще лучше выпить. Однако ему претило чревоугодничество в одиночку, — кроме домочадцев, по настоянию хозяина, за столом постоянно собирались и друзья и посторонние, мало-мальски причастные к его дому; стулья у него были ветхие, но гости сидели на них каждый день. Все внимание приглашенных было сосредоточено на вкусных яствах, и никто не замечал, что подают их в простой посуде. В погребе здесь хранилось не много вин, однако выпитую бутылку обычно сменяла другая, сортом лучше.

Так жили оба отца, часто встречались, обсуждали между собой общие дела и как раз нынче решили отправить Вильгельма в путешествие по торговой надобности.

— Пусть оглядится на белом свете и заодно займется нашими делами в чужих краях, — сказал старик Мейстер. — Заблаговременно приучить молодого человека к тому, чем ему предназначено заниматься, значит поистине облагодетельствовать его. Ваш сын воротился из поездки такой довольный, так умело справился с делами, что мне не терпится посмотреть, как поведет себя мой Вильгельм. Боюсь, его учение обойдется дороже.

Старик Мейстер, весьма высоко ставивший собственного сына и его даровитость, сказал так в надежде, что его приятель начнет возражать и превозносить отменные способности молодого человека. Однако в этом он обманулся: старик Вернер, в деловых вопросах доверявший лишь тому, кого испытал самолично, невозмутимо ответил:

— Следует все проверить; мы можем послать его по тому же самому пути, дав ему указания, которыми бы он руководствовался; надо взыскать кое-какие долги, возобновить старые знакомства, завязать новые. Он может также поспособствовать той торговой сделке, о которой я давеча вам говорил; не получив точных сведений на месте, трудно чего-либо добиться.

— Пускай собирается, — решил старик Мейстер, — и поскорее трогается в путь. Но где мы достанем лошадь, пригодную для такого рода путешествий?

— Долго искать не придется. Мелочный торговец в Х. недодал нам долга, но человек он неплохой и предложил в уплату лошадь, вполне сносно, со слов моего сына, который ее видел.

— Пускай съездит за ней сам; отправься туда в почтовой карете, он до послезавтрашнего утра смело обернется; тем временем ему тут будут приготовлены пожитки и письма, так чтобы в начале той недели он тронулся в дорогу.

Позвали Вильгельма и сообщили ему о принятом решении. Как же он обрадовался, когда получил способ осуществить свое намерение, когда случай сам, без его участия, шел ему в руки. Страсть его была столь велика и столь искренне убеждение в правоте своего желания избавиться от гнета преящей жизни, избрав новый, более достойный путь, что ни совесть, ни малейшая тревога не шевельнулись в нем; даже наоборот, он почел свою ложь святой ложью. У него не было сомнений, что родители и родственники впоследствии будут хвалить

его и благословяет на этот шаг; в стечении обстоятельств он усмотрел направляющий перст судьбы.

Бесконечно тянулось для него время до ночи, до того часа, когда он вновь увидит возлюбленную. Он сидел у себя в комнате, обдумывая план путешествия, как искусный вор или колдун, сидя в темнице, время от времени высвобождает ноги из крепких кандалов, дабы увериться, что избавление возможно, что оно даже ближе, чем думают недалёковидные надзиратели.

Наконец пробил ночной час; Вильгельм выскользнул из родительского дома, стряхнул с себя все, что его угнетало, и пошел по безлюдным улицам. На большой площади он воздел руки к небу и почувствовал, что прошлое осталось где-то внизу, где-то вдали; он освободился от всего и попеременно воображал себя то в объятиях возлюбленной, то вместе с ней на залитых светом театральных подмостках; он витал на крыльях надежды, и только возглас ночного сторожа напоминал ему, что он еще бродит по земле.

Возлюбленная выбежала навстречу ему на лестницу, и как она была хороша, как мила! Она встретила его в новом белом negligee; ему казалось, что он никогда еще не видел ее столь пленительной. Так обновила она подарок отсутствующего любовника в объятиях присутствующего, с неподдельной страстью одаряя любимого всем богатством любовных ласк, врожденным и благоприобретенным; падо ли спрашивать, какое это было для него счастье, какое блаженство.

Он рассказал ей о происшедшем и в общих чертах открыл свои планы и намерения. Обосновавшись, он тотчас же приедет за ней в надежде, что она не откажет отдать ему свою руку. Бедняжка, скрывая слезы, прижимала друга к груди, а он, хоть и толковал ее молчание в свою пользу, однако не прочь был получить ответ, особливо когда под конец застенчиво и ласково спросил ее, нет ли у него оснований считать себя отцом; но и на это она ответила лишь вздохом, лишь поцелуем.

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

На другое утро Мариана проснулась только для того, чтобы огорчиться заново: она чувствовала себя очень одинокой, не желала глядеть на белый день, не вставала с постели и плакала. Старуха села возле нее, старалась ее вразумить, утешить, но сразу не легко было исцелить раненое сердце. А тут ведь близилось мгновение, которое бедняжка считала последним в своей жизни. Да и можно ли представить себе положение тревожнее? Возлюбленный собирался уехать, непрошенный любовник грозился явиться, и впереди надвигалась самая главная беда — вполне вероятная встреча их обоих.

Успокойся же, душенька, — восклицала старуха, — смотри, ты у меня выплачешь свои прекрасные глазки! Неужели же такое несчастье иметь двух любовников? И если ты можешь дарить свою нежность только одному, так будь хотя бы благодарна другому, который за всю заботу о тебе, конечно, уж достоин зваться другом.

— Возлюбленный мой предчувствовал, что нам предстоит разлука, — со слезами твердила Мариана. — Ему привиделось во сне то, что мы так тщательно пытались от него скрыть. Он спокойно спал около меня. Вдруг я слышу, он испуганно бормочет что-то невнятное. Я в страхе бужу его. Ах! с какой любовью, с какой нежностью, с каким пылом обнял он меня! «О Мариана! — воскликнул он. — Из какого ужасного состояния ты меня вырвала! Как мне благодарить тебя за то, что ты избавила меня от этого ада. Мне снилось, — продолжал он, — будто я очутился вдали от тебя, в какой-то незнакомой местности; но твой образ витал передо мной: я видел тебя на красивом холме, все вокруг было залито солнцем, и какой прекрасной ты мне казалась! Но вскоре твой образ стал скользить вниз, все ниже и ниже; я протянул к тебе руки, они не дотянулись до тебя через такую даль. А образ твой все опускался, приближаясь к большому озеру, которое широко распростерлось у подножья холма, скорее это было болото, чем озеро. Вдруг какой-то мужчина протянул тебе руку, как будто желая отвести наверх, а вместо этого повел тебя куда-то в сторону и старался привлечь к себе. Я не мог достигнуть тебя и стал кричать в надежде тебя предостеречь. Когда я попытался идти, земля, казалось, держит меня, когда мне удавалось идти, путь мне преграждала вода, и даже крик мой застревал в стесненной груди». Так он рассказывал, бедненький, отды\* хая от испуга у меня на груди и радуясь, что страшный сои вытеснен счастливейшей действительностью.

Старуха по мере сил старалась своей прозаической речью низвести к обыденной жизни ее поэтический рассказ, пользуясь испытанным способом птицеловов, которые на своей дудке подражают голосам тех, кого желают побыстрее и почаще заманивать в свои сети. Она расхваливала Вильгельма, превозносила его стан, глаза, его любовь. Бедная девушка с удовольствием слушала ее, встала, согласилась одеться и как будто поуспокоилась.

— Дитяtko, душенька моя, — вкрадчиво продолжала старуха, — я не хочу ни огорчать, ни обижать тебя, я даже не думаю отнять у тебя твое счастье. Как смеешь ты превратно толковать мои намерения, разве ты забыла что я всегда пеклась больше о тебе, нежели о себе? Только скажи мне, каково твое желание, и мы уж придумаем, как его осуществить.

— Чего я могу желать? — возразила Мариана. — Я несчастна, на всю жизнь несчастна. Я люблю того, кто любит меня; вижу, что мне надо с ним расстаться, и не знаю, как Это пережить. Приезжает Норберг, ему мы обязаны всем существованием, без него мы обойтись не можем. Вильгельм очень стеснен в средствах и не в состоянии ничем мне помочь.

— Да, на беду, он из числа тех любовников, которые могут принести в дар только свое сердце, а притязают невесть на что.

— Не смейся над ним! Бедняга задумал бросить родной дом, поступить в театр и предложить мне руку.

— Пустых рук у нас и без того четыре.

— У меня нет выбора, — продолжала Мариана, решай ты сама. Толкай меня туда или сюда, но знай одно: кажется, я ношу под сердцем залог, который еще крепче свяжет меня с ним; подумай об этом и решай: кого мне бросить? За кем следовать?

Помолчав, старуха воскликнула:

— Зачем это молодежь всегда кидается из крайности в крайность! По мне же, проще всего согласить приятное с полезным. Одного любить, а платит пускай другой. А нам надо только исхитриться, как бы держать их подалеке друг от друга.

— Делай что знаешь, думать я ни о чем не могу, буду только слушаться\*

•- У нас есть один козырь: мы можем сослаться па то, что директору приспичило опекать нравственность труппы. Оба любовника уже привыкли действовать осторожно и скрытно. О часе и поводе позабочусь я; а ты должна потом разыграть роль, которой я тебя научу. Кто знает, какой случай придет нам на помощь! Вот бы Норберг приехал сейчас, в отсутствие Вильгельма! Кто тебе запрещает в объятиях одного думать о другом. Пусть тебе посчастливится родить сына, у него будет богатый отец.

Мариане лишь ненадолго полегчало от этих доводов. Ей никак не удавалось привести в соответствие свое положение со своим чувством и внутренним убеждением; она пыталась забыть все эти тягостные обстоятельства, но тысячи мелких случайностей поминутно напоминали ей о них,

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Вильгельм тем временем завершил свое краткое путешествие и, не застав дома купца, к которому был послан, вручил рекомендательное письмо его супруге. Но и та не могла толком ответить на его вопросы; она пребывала в сильнейшем волнении, и в доме царило большое замешательство.

Правда, она вскоре поверила ему (да и скрыть это не было возможности), что падчерица ее сбежала с актером, с человеком, который недавно ушел из маленькой труппы, где подвизался, и, задержавшись в здешних местах, стал давать уроки французского. Отец, обезумев от горя и гнева, бросился в магистрат просить, чтобы за беглецами нарядили погоню. Жена его всячески поносила дочь, смешивала с грязью любовника, не оставив за ними ни одного похвального качества, многоречиво сетовала на позор, покрывший всю семью, чем привела в немалое смятение Вильгельма, который чувствовал себя и свое тайное намерение заранее опороченными и осужденными через уста этой сивиллы, словно осененной духом провидения. Еще сильнее затронула его за живое скорбь отца, когда тот, воротясь из магистрата, со сдержанной горестью немногословно рассказал жене о своем походе и, прочтя письмо, велел вывести Вильгельму лошадь, не в силах сосредоточиться и скрыть свое расстройство.

Вильгельм собрался тотчас же сесть на коня и убраться подальше от того жилища, где при таких обстоятельствах ему несносно было оставаться; однако почтенный старик не хотел отпускать отпрыска купеческого дома, которому стольким был обязан, не угостив его и не приютив хотя бы на одну ночь.

Претерпев невеселый ужин и беспокойную ночь, наш друг поспешил как можно раньше поутру расстаться с людьми, которые, сами того не ведая, затерзали его своими рассказами и советами.

Медленно, в задумчивости ехал он по дороге, как вдруг увидел, что поalem приближается кучка людей, в которых по просторным длинным кафтанам, по широким лацканам, нескладным шляпам и неуклюжему вооружению, по походке вразвалку и отсутствию всякой выправки узнал отряд ланд — милиции. Остановившись под старым дубом, милицейские поставили ружья наземь и удобно расположились на траве выкурить трубочку.

Вильгельм задержался возле них и вступил в разговор с молодым человеком, подъехавшим верхом. На свою беду, ему пришлось наново выслушать памятный рассказ о двух беглецах, уснащенный замечаниями, не слишком лестными ни для молодой четы, ни для родителей. Тут же он узнал, что отряд прибыл, дабы законным порядком принять молодых людей, которых догнали и задержали в ближайшем городке. Немного погодя издали показалась тележка, скорее для смеху, чем для устрашения окруженная гражданскими стражниками. Нескладный на вид секретарь магистрата ехал впереди; у пограничной черты он и актуарий другой стороны (коим оказался собеседник Вильгельма) обменялись поклонами, торжественно и нелепо жестикулируя, не иначе, чем дух и заклинатель во время опасного ночного действия, — один внутри, другой вне круга.

Тем временем внимание зрителей было обращено на крестьянскую тележку; все не без жалости созерцали бедных грешников, которые сидели рядышком на охапках соломы, нежно глядели друг на друга и, казалось, не замечали окружающих. Их без умысла пришлось доставить от последнего селения таким неподобающим способом — дело в том, что сломался старый рыдвай, в котором везли красотку, и она, воспользовавшись случаем, попросила соединить ее с возлюбленным, коего до того вели рядом в кандалах, не сомневаясь, что он изобличен в тяжком преступлении. Кандалы, конечно, усилили интерес к чете влюбленных, особенно же потому, что молодой человек умудрялся, ловко передвигая их, беспрестанно целовать руки своей любимой.

— Мы очень несчастливы, но не так виновны, как можно думать, — обратилась она к окружающим, — жестокосердые люди так карают верную любовь, а родители, которым дела нет до счастья детей, беспощадно отторгают их от блаженства, обретенного после вереницы долгих унылых дней.

Пока окружающие на разные лады выражали им сочувствие, судейские покончили со своим церемониалом. Тележка покатила дальше, а Вильгельм, близко к сердцу принимавший участь любящих, поспешил вперед пешеходной тропой, чтобы до прибытия всего поезда познакомиться с амтманом. Но не успел он добраться до магистрата, где все суетились и готовились принять беглецов, как его нагнал актуарий и пространым рассказом о происшедшем, а главное, многословным дифирамбом своей лошади, которую он вчера лишь выменял у еврея, не дал возможности заговорить о чем-либо ином.

Незадачливую чету уже высадили у сада, сообщавшегося через калитку с магистратом, и без лишнего шума ввели туда. Вильгельм искренне похвалил актуария за такую деликатность, хотя тот хотел лишь наставить нос собравшейся перед зданием публике, лишив ее приятного зрелища униженной согражданки.

Будучи небольшим охотником до подобного рода чрезвычайных происшествий, которые не обходились у него без промахов и за все старания вознаграждались взбучками со стороны княжеского правительства, амтман тяжелым шагом направился в присутствие, куда за ним последовали актуарий, Вильгельм и несколько почтенных бюргеров.

Начала привлекать героиню, которая вошла непринужденно, скромно и с достоинством. И одежда ее, и вся повадка показывали, что эта девушка уважает себя. Не дожидаясь вопросов, она вполне вразумительно начала объяснять свое положение.

Актуарий велел ей замолчать и занес перо над сложенным пополам листом бумаги. Амтман собрался с духом, взглянул на него, откашлялся и спросил бедняжку, как ее звать и сколько ей лет.

— Простите, сударь, — возразила она, — мне странно слушать, что вы спрашиваете мое имя и возраст, когда вам доподлинно известно, как меня звать и что лет мне столько же, сколько вашему старшему сыну. А все, что вам угод\* но и надобно обо мне узнать, я расскажу вам без околичностей.

После второй женитьбы отца мне дома живется несладко. Мне представлялось несколько заманчивых партии, только мачеха, из боязни, что придется давать приданое, постаралась их расстроить. Но вот я встретила молодого Мелину и не могла не полюбить его; однако, предвидя препятствия, которые встанут на пути к нашему союзу, мы решили вместе искать на белом свете счастья, которое, как видно, не суждено нам дома. Я взяла с собой лишь то, что принадлежало мне лично; мы не бежали, точно воры и разбойники, и возлюбленный мой не заслуживает, чтобы его таскали в цепях и оковах. Государь наш справедлив, он вряд ли одобрит такую жестокость. Может, мы и достойны кары, но только не такой.

Тут старик амтман растерялся вдвойне и втройне. Высочайшие нагоняи так и звенели у него в голове, а складная речь девушки скомкала ему весь план протокола. Дело пошло еще хуже, когда на повторные обязательные вопросы она совсем отказалась отвечать, упорно держась того, что высказала ранее.

— Я не преступница, — говорила она, — ради пущего позора меня везли сюда на охапке соломы; но есть высшая справедливость, которая восстановит нашу честь.

Актуарий неукоснительно записывал каждое ее слово и шепотом понуждал амтмана продолжать допрос. Официальный протокол можно будет составить потом.

Старик опять набрался храбрости и принялся грубо, в сухих, казенных выражениях выспрашивать о сладострастных тайнах любви.

Краска бросилась в лицо Вильгельму, а щеки благонаправной преступницы зарделись пленительным румянцем стыда. Она запнулась, замолкла, пока само смущение не подстегнуло ее отвагу.

— Будьте уверены, у меня достало бы силы не скрыть правды, — воскликнула она, — хотя бы мне пришлось свидетельствовать против себя; зачем же мне колебаться и молчать, если правда служит к моей чести? Да, с той минуты, как я убедилась в его привязанности и верности, он для меня стал супругом; я без колебаний отдала ему все, что гребу ет любовь и в чем не может отказать доверившееся сердце. А теперь делайте со мной что хотите! Если я одно мгновение медлила сознаться, причиной тому был единственно страх повредить моему возлюбленному.

Из признания девушки Вильгельм составил себе высокое мнение о ее нравственных поцятнях, меж тем как должностные лица сочли ее бесстыжей девкой, а присутствующие при сем бюргеры возблагодарили господу за то, что подобные происшествия либо не случаются у них в семьях, либо не предаются гласности.

Вильгельм в эту минуту мысленно ставил свою Мариану перед судейским столом, вкладывал ей в уста еще более красивые слова, придавал еще больше чистосердечия ее откровенности и благородства ее признанию. Им овладело страстное желание помочь любящей чете. Он не стал таить его и шепотом попросил колеблющегося амтмана положить конец Этой канители, — ведь дело и без того яснее ясного и не требует дальнейшего расследования.

Его вмешательство привело лишь к тому, что девушку удалили, но ввели молодого человека, сняв с него за дверьми кандалы. Он явно был более озабочен своей судьбой, отвечал сдержаннее и если, с одной стороны, проявлял меньше героического прямодушия, зато располагал в свою пользу точностью и последовательностью показаний.

Когда был исчерпан и этот допрос, во всем совпадавший с предыдущим, если не считать, что молодой человек, щадя девушку, упорно отрицал то, в чем она сама уже созналась, опять ввели ее, и между обоими произошла сцена, окончательно завоевавшая им симпатии нашего друга.

Здесь, в неприятном присутственном месте, он воочию увидел то, что обычно бывает лишь в романах и драмах: борьбу взаимного великодушия, стойкость любви в несчастье.

«Значит, это правда, — мысленно твердил он, — что робкая нежность, скрываясь от солнечного ока и людского взора, лишь в укромном уединении и в глубокой тайне дерзает отдаться блаженству, но если враждебный случай извлечет ее на свет, она проявит больше мужества, силы и отваги, нежели иные бурные и кичливые страсти».

К его утешению, дело завершилось довольно скоро. Обоих подвергли нестрогому аресту, и если бы явилась такая возможность, Вильгельм в тот же вечер отвез бы молодую женщину к ее родителям. Про себя он твердо решил сыграть роль посредника и добиться того, чтобы благополучно, честь по чести соединить любящую чету. Он попросил у амтмана разрешения поговорить с Мелиной наедине и без труда получил согласие.

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Беседа двух недавних знакомцев очень скоро стала откровенной и оживленной. Едва только Вильгельм рассказал удрученному юноше о своих отношениях с родителями девицы, предложил себя в посредники и дал понять, что уповает на успех, как опечаленный и озабоченный пленник воспрянул духом, почувствовал себя уже свободным и примиренным с тестем и тещей, и речь пошла далее о

будущем заработке и пристанище.

— В этом у вас никак не будет затруднений, — заметил Вильгельм. — Мне кажется, обоим вам предназначено природой найти счастье на избранном вами поприще. Приятная наружность, благозвучный голос, чувствительная душа — лучше качеств не придумаешь для актера. А я почту для себя радостью услужить вам рекомендациями.

— Сердечно вам благодарен, — ответил Мелина, — но вряд ли мне придется воспользоваться ими; если возможно будет, я постараюсь не возвращаться на сцену.

— Вы совершите большую ошибку, — опомнившись от изумления, после паузы произнес Вильгельм; он был уверен, что актер, едва освободясь, вместе с молодой супругой поспешит вернуться в театр. Это казалось ему столь же естественным и необходимым, как лягушке прыгнуть в воду. Он ни минуты не сомневался в этом и был изумлен, когда услышал противное.

— Да, — объяснил Мелина, — я твердо решил не возвращаться на сцену, а поступить на любую казенную должность, лишь бы меня приняли.

— Странное решение — я не могу одобрить его; без особой причины никогда не следует менять однажды избранный жизненный путь, и к тому же я не знаю поприща, которое сулило бы столько приятностей, открывало бы столько заманчивых возможностей, как актерское.

— Сразу видно, что вы не были актером, — вставил Мелина.

На это Вильгельм ответил:

— Сударь мой, человек редко бывает доволен своим положением. Он непременно желает себе положение ближнего, из которого тот не чает вырваться.

— Однако существует разница между плохим и худшим, — возразил Мелина, — и меня побуждает к такому шагу не отсутствие терпения, а опыт. Вряд ли где в мире найдется еще такой нищенский, неверный и трудный кусок хлеба. Это немногим лучше, чем просить подаяния. Сколько натерпишься от зависти сотоварищей, от лицепрятия директора, от переменчивых вкусов публики! Право же, для этого нужно иметь шкуру медведя, которого водят на цепи в компании мартышек и собак и палкой заставляют плясать под волынку на потеху ребят и черни.

У Вильгельма зародились разные мысли, которые он воздержался высказать бедняге напрямик, лишь издали намеками подходя к главному предмету разговора. Тем откровеннее и многословнее становился собеседник.

— Разве не обидно, — говорил он, — что директор принужден валяться в ногах у каждого городского советника, вымаливая дозволения за месяц ярмарки выколотить у них в городке лишние гроши. Я не раз жалел нашего директора, человека в общем неплохого, хотя случалось, он давал мне повод к неудовольствию. Хороший актер требует большой оплаты, от плохих трудно отделаться; а только он соберется мало-мальски уравнивать сборы с затратами, как публика не желает тратить лишнее, театр пустует, и, чтобы не прогореть окончательно, приходится играть, терпя досаду и убыток. Нет, сударь, по вашим словам, вы принимаете в нас участие, так прошу вас — поговорите повнушительнее с родителями моей возлюбленной! Пускай устроят меня здесь, пускай добудут мне самую ничтожную должность — то ли писаря, то ли сборщика, и я почту себя счастливым.

Поговорив еще немного, Вильгельм удалился, дав обещание назавтра в самый ранний час отправиться к родителям девушки и по возможности уладить дело. Едва он оказался один, как отвел душу такого рода речами: «Несчастный Мелина, не в твоей профессии, а в тебе самом гнездится пагуба, с которой ты не в силах совладать. Любой человек на свете, избрав себе ремесло, искусство или какое-либо иное поприще без внутреннего к нему тяготения, непременно сочтет свое состояние невыносимым. Кто от рождения обладает даром стать даровитым, обретет в нем всю радость бытия. Ничто на земле не дается без тягот. Лишь внутренний порыв, лишь страсть и любовь помогают нам одолевать преграды, прокладывая пути и подняться над тем узким кругом, из которого тщетно рвутся другие. Для тебя подмости — только доски, а роли — все равно что школьнику уроки. Зрителей ты видишь такими, как они сами себя ощущают в будничной жизни. Тебе так же безразлично было бы корпеть за конторкой над линованными книгами, собирать подати или выживать недоимки. Ты не чувствуешь того сплавающего и сливающего воедино целого, что дано открыть, постичь и воспроизвести лишь посредством духа; ты не чувствуешь, что в человеке живет светлая искра, и если не давать ей пищи, не шевелить ее, если пепел повседневных нужд и равнодушия покроет ее густым слоем, она тем не менее заглохнет очень нескоро и чаще всего не до конца. Ты не чувствуешь в своей душе силы разжечь ее, в сердце твоём нет богатства, которое питало бы эту разгоревшуюся искру. Тебя отпугивает голод, неудобства тебе претят, ты не понимаешь, что на каждом поприще нас подстерегают эти же враги, одолеть их можно лишь мужеством и хладнокровием. Ты прав, когда стремишься замкнуться в пределах скромной должности; что бы ты делал там, где требуются ум и отвага! Внуши свой образ мыслей воину, государственному мужу или священнослужителю, и они с тем же правом будут сетовать на свое жалостное положение. Да разве не бывало людей, настолько лишенных жизненного интереса, что вся жизнь, все дела смертных были для них не чем иным, как только жалким прозябанием? Если бы у тебя в душе роились живые образы деятельных людей, и жар восхищения согревал бы твою грудь, и всем твоим существом владело чувство, идущее из глубины души, и звуки, исходящие из твоей гортани, слова, слетающие с губ, были бы приятны для слуха, если бы ты полностью прочувствовал себя в себе самом, то тебе, конечно, захотелось бы найти место и случай, чтобы прочувствовать себя в других».

С такими мыслями и настроениями наш друг разделся и, вполне умиротворенный, лег в постель. В душе у него сложился целый роман о том, что бы он стал завтра делать на месте недостойного героя; приятные мечты бережно проводили его в царство сна, а там передали своим сестрам — грезам, которые приняли его с распростертыми объятиями и окружили небесными видениями сонное чело нашего друга.

Проснулся он рано утром и стал обдумывать предстоящее посредничество. Он отправился в дом покинутых родителей, где его встретили с удивлением. Скромно изложил он свое ходатайство, встретив и больше и меньше затруднений, нежели ожидал. Что случилось, то

случилось, и хотя особо строгие и черствые люди неумолимо восстают против того, что произошло и чего не изменишь, и только усугубляют зло, над умами большинства происшедшее имеет неотразимую власть, и стоило невероятному совершиться, как оно становится на место рядом с обыденным. Итак, вскоре родители согласились, чтобы господин Мелина женился на их дочке; однако она за свою строптивость не получит никакого приданого и обязуется еще на несколько лет оставить против низкого процента в распоряжении отца доставшееся ей от тетки наследство. Второй пункт, касательно устройства жениха, натолкнулся на более серьезные затруднения. Непослушную дочь желательно убрать с глаз долой и не допускать, чтобы связь с каким-то проходимцем служила постоянным укором столь почтенному семейству, у которого в родстве числился даже один суперинтендант. [8] Кстати, навряд ли княжеские советники доверили бы ему какую-либо должность. И отец и мать были единодушно и решительно против, а Вильгельм с большим жаром ратовал за эту просьбу, потому что не желал возвращения на сцену человека, которого ставил так низко и считал недостойным такого счастья, — однако все его доводы ни к чему не привели. Знай он всю подоплеку, ему и в голову не пришло бы убеждать родителей. Дело в том, что отец рад был бы оставить при себе дочь, но он ненавидел молодого человека, который пригласился его жене, а та не желала постоянно видеть перед собой соперницу в лице падчерицы. Таким образом, Мелина вынужден был через несколько дней пуститься в путь, чтобы пристать к какой-нибудь труппе, взяв с собой молодую невесту, которая явно не прочь была и свет повидать, и себя показать,

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Счастливая юность! Счастливая пора, когда впервые приходит потребность в любви! Человек тогда похож на ребенка, который часами радуется, слушая эхо, один поддерживает разговор и вполне им удовлетворен, если незримый собеседник только подхватывает последние слоги выкликнутых слов.

Таков был Вильгельм в раннюю и особенно в позднейшую пору своей страсти к Мариане, когда все богатство своего чувства переносил на нее, а на себя смотрел как на нищего, который живет ее милостыней. И подобно тому, как ландшафт кажется нам пленительным, ни с чем не сравнимым, когда он освещен солнцем, так в глазах Вильгельма все, что ее окружало, все, чего она касалась, становилось прекрасным, обретало некий ореол.

Как часто стоял он за кулисами театра, испросив такую привилегию у директора! Правда, волшебство перспективы при этом исчезало, зато по-настоящему вступала в силу куда более властная магия любви. Часами простаивал он неподалеку от грязной рампы, вдыхал чад масляных плашек, выглядывая из-за кулисы на возлюбленную, и, когда она, воротясь, ласково смотрела на него, он утопал в блаженстве и чувствовал себя здесь, под остовом из балок и колосников, точно в раю. Чучела барашков, тафтяные водопады, картонные розовые кусты, соломенные хжины без задней стенки воскрешали в нем милые сердцу поэтические образы стародавних пастушеских времен. Даже танцовщицы, малопривлекательные вблизи, не были ему противны потому, что они попирали одни подмостки с его возлюбленной. Отсюда явствует, что любовь не только вдыхает жизнь в розовые беседки, миртовые рощи и в лунный свет, но может даже стружкам и обрезкам бумаги придать «вид живой природы». Любовь настолько пряная приправа, что самое пресное и тошнотворное варево от нее становится вкусным.

Такого рода приправа была и вправду необходима, дабы сделать сносным, а в дальнейшем и приятным вид, в котором он обычно находил ее комнату, а случалось, и ее самое.

Он вырос в чинном бюргерском доме, дышал воздухом порядка и опрятности и, унаследовав отчасти отцовскую любовь к пышности, еще мальчиком умел нарядно убрать свою комнату, которую почитал своим маленьким царством. Полог у кровати был заложен крупными складками и подхвачен кистями, как на изображениях тронов; на середине комнаты он разостлал ковер, а вторым, потоньше, покрыл стол, книги и вещи он почти инстинктивно расставлял так, что голландские живописцы смело могли бы воспользоваться ими для своих натюрмортов. Белый колпак он повязывал в виде тюрбана, а рукава шлафрока велел укоротить по образцу восточных одежд, ссылаясь на то, что длинные широкие рукава мешают ему в письме. Когда он оставался вечером один и мог не бояться, что ему помешают, он обычно опоясывался широким шарфом и даже иногда затыкал за пояс кинжал, взятый в старой оружейной кладовой. И в таком виде заучивал и репетировал предназначенные ему трагические роли и, согласно их духу, творил молитву, преклонив колени на ковре.

Каким же счастливец представлялся ему в те времена актер, обладатель помпезных одеяний, доспехов и оружия, который только и делает, что упражняется в благородном обхождении, и душа его — зеркало всего самого прекрасного, самого замечательного, чем богат мир по части чувств, помышлений и страстей. Домашняя жизнь актера также представлялась Вильгельму как цепь достойнейших поступков и занятий, высшей ступенью которых является выход актера на сцену, подобно тому как серебро долго перегоняется в тигле, пока не засверкает перед глазами работника, цветом и блеском указуя ему, что теперь оно очищено от посторонних примесей.

Как же озадачен был Вильгельм на первых порах, когда, находясь у своей возлюбленной, сквозь пелену счастья увидел, что творится на столах, стульях и на полу, — остатки минутных, непрочных и поддельных прикрас были разбросаны в диком беспорядке, точно блестящая чешуя обчищенной рыбы. Орудия человеческой опрятности — как-то гребни, мыло, полотенца, хотя и носили следы употребления, но тоже не были убраны; свернутые в трубку ноты, башмаки и белье, искусственные цветы, футляры, шпильки, баночки с румянами и ленты, книги и соломенные шляпки, не гнушаясь соседством друг друга, были объединены общей стихией — пудрой и пылью. Но Вильгельм в присутствии любимой почти не замечал всего остального, вернее, все, что ей принадлежало, от ее прикосновения становилось ему мило, и в конце концов он стал находить в этом несосветимом хаосе своеобразную прелесть, какую никогда не ощущал в парадном великолепии своего жилища. Ему казалось, когда он тут отодвигал ее корсет, чтобы добраться до фортепьяно, там клал на кровать ее юбки, чтобы сесть на стул, и когда она сама с бесцеремонным простодушием не думала скрывать от него многое из того житейского, что не принято показывать посторонним, — ему, я говорю, казалось, будто он с каждым мгновением становится к ней ближе, будто незримые узы крепче соединяют их.

Труднее бывало ему согласовать со своими понятиями повадки других актеров, которых он иногда встречал у нее в первое время. В праздные часы они были очень заняты, но поглощены отнюдь не своим делом и назначением; никогда не бывало у них разговоров о достоинствах новой пьесы, верных или неверных о ней суждений; только и слышалось: «Даст ли пьеса сбор? Ходкая ли она? Долго ли продержится?»

Часто ли можно ее ставить?» — и так далее, в том же роде. Затем все обрушивались на директора: он и прижимист с жалованьем, и заведомо несправедлив к тому или другому; затем перекидывались на публику: редко когда она рукоплещет по заслугам, а вообще-то немецкий театр совершенствуется день ото дня, искусство актера все более ценят и все — таки недооценивают. Много толковали затем о кофейнях и питейных заведениях и о том, что там приключилось, сколько долгов у такого-то сотоварища и как неприятно, что их вычитывают, — толковали о неравномерности недельного жалованья и о кознях противной партии, а под конец все-таки не забывали помянуть большой и заслуженный интерес публики и влияние театра на развитие нации и всего мира.

Такого рода впечатления, не раз уже стоившие Вильгельму многих беспокойных часов, теперь снова припомнились ему, пока неторопливый ход лошади приближал его к дому и он перебирал в памяти недавние события. Он собственными глазами видел, какое смятение побег дочери почтенного бюргера внес в ее семью и даже в целый городок; сцены на проезжей дороге и в магистрате, рассуждения Мелины и все прочие происшествия встали перед ним и настолько будоражили его живой, пылливый ум, что под конец ему стало невмоготу, он пришпорил лошадь и поспешил воротиться в город.

Но и на этом пути его ждали одни неприятности. Вернер, его друг и нареченный зять, дожидался его для серьезного, важного и непредвиденного разговора.

Вернер был из тех надежных, твердо определившихся в жизни людей, которых принято звать холодными, потому что они не вспыхивают по любому поводу мгновенно и явно; его отношения с Вильгельмом носили характер постоянной розни, только укреплявшей взаимную привязанность, ибо, невзирая на различие образа мыслей, каждый извлекал из другого для себя выгоду. Вернер похвалялся тем, что якобы способен смирить и обуздать возвышенный, но временами не в меру пылкий, не знающий себе удержу дух Вильгельма, а Вильгельм торжествовал победу, когда ему удавалось в горячем порыве увлечь за собой рассудительного друга. Так один упражнял свои силы на другом; они привыкли видеться ежедневно, и можно сказать, что потребность во встречах и беседах только росла от невозможности сговориться между собой. По существу же, они, будучи оба людьми порядочными, шли рядом, шли вместе к единой цели и никак не могли постичь, почему ни один из них не в состоянии подчинить другого своему образу мыслей.

С некоторых пор Вернер стал замечать, что Вильгельм бывает у него реже, что он рассеянно, на полуслове обрывает разговор на излюбленные темы и не углубляется в толкование своих причудливых идей, а между тем тут-то как раз и сказывается свобода духа, обретающего покой и удовлетворение в обществе друга. Дотошный и рассудительный Вернер сперва искал причину в своем собственном поведении, пока городские толки не навели его на верный след, а кое-какая оплошность в поведении Вильгельма не подтвердила их правильность. Вернер занялся расследованием и вскоре обнаружил, что Вильгельм с некоторых пор открыто посещает одну актрису, разговаривает с ней в театре и провожает ее домой; он пришел бы в полное отчаяние, если бы узнал и об их ночных свиданиях; вдобавок он услышал, что Мариана — девица обольстительная, она, несомненно, обирает его друга и при этом имеет содержателя, человека крайне недостойного.

Едва только он, насколько возможно, удостоверился в своих подозрениях и был уже во всеоружии, чтобы огорошить Вильгельма наскоком, как тот вернулся из поездки, раздосадованный и расстроенный.

В тот же вечер Вернер сперва спокойным тоном сообщил ему то, что узнал, а затем заговорил со всей внушительной строгостью благожелательной дружбы и без туманных недомолвок дал другу испытать всю горечь, которую уравновешенные, хладнокровные люди столь щедро, с благодетельным злорадством расточают влюбленным. Однако, как и следовало ожидать, он мало преуспел. С душевным волнением, но и с глубокой уверенностью Вильгельм возразил ему:

— Ты не знаешь этой девушки. Быть может, видимость и говорит не в ее пользу, но в ее верности и благонравии я уверен, как в своей любви.

Вернер настаивал на своем обвинении, предлагая представить доказательства и свидетелей. Вильгельм отклонил их и покинул друга, удрученный и потрясенный, как человек, которому неумелый зубодер пытался вырвать гнилой, но крепко сидящий зуб и только зря разбередил его.

С тягостным чувством убедился Вильгельм, что дорожная хандра, а затем наговоры Вернера сильно омрачили и чуть ли не совсем исказили прекрасный образ Марианы в его душе. Он прибег к вернейшему средству вернуть ее лику ясность и прелесть, привычным путем поспешив к ней ночью. Она приняла его с живейшей радостью; днем, по пути домой, он проехал мимо ее окон, и она поджидала его в эту ночь; надо ли удивляться, что все сомнения вскоре были изгнаны из его сердца\* Мало того, своей нежностью она вернула себе все его доверие, и он рассказал ей, как грешны перед ней и публика и его друг.

В одушевленной беседе они коснулись первой поры их знакомства, а такого рода воспоминания всего милей для двух любящих сердец. Так приятны первые шаги, которые приводят нас в лабиринт любви, первые упования так обольстительны, что великая отрада — воскрешать их в памяти. Каждый из двоих стремится превзойти другого, утверждая, что его любовь началась раньше, была самоотверженной, а каждый предпочитает быть в этом состязании побежденным, нежели победителем.

Вильгельм в который раз повторял Мариане, что его внимание скоро перешло от спектакля к ней одной, что ее облик, ее игра, ее голос очаровали его; в конце концов он стал бывать лишь на тех пьесах, где играла она, и часто, пробравшись за кулисы, стоял близ нее, не замеченный ею; и, наконец, восторженно заговорил о том счастливом вечере, когда нашел случай оказать ей любезность и затеять разговор.

Мариана же не хотела признать, будто долго не замечала его; она утверждала, что обратила на него внимание еще на променаде, и в доказательство описала, как он в тот день был одет; она утверждала, что отличала его перед всеми другими и очень желала с ним познакомиться.

Как рад был Вильгельм поверить ее словам! Как охотно дал себя убедить, что ее непреодолимой силой потянуло к нему, едва он приблизился к ней, что она нарочно становилась поближе к нему за кулисами, желая его разглядеть и свести с ним знакомство, а в конце



концов, увидев, что он не в силах преодолеть свою робость и церемонность, сама поощрила его, чуть что не вынудив принести ей стакан лимонада.

Часы текли незаметно за этими нежными препирательствами по поводу мельчайших деталей их краткого романа, и Вильгельм покинул возлюбленную совершенно успокоенный и полный решимости приступить к выполнению своего плана.

## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Обо всем потребном для его путешествия позаботились отец и мать. Лишь отсутствие кое-какой мелочи в экипировке на несколько дней задержало его отъезд. Вильгельм воспользовался свободным временем, чтобы написать письмо Мариане и наконец высказать то, о чем она упорно избегала с ним говорить. Вот что гласило это письмо:

«Под благодатным покровом ночи,[9] столько раз оберегавшим меня в твоих объятиях, я сижу и пишу к тебе, и все мои помыслы и чаяния заняты тобой. Ах, Мариана! Я, счастливейший из смертных, уподобляю себя жениху, который в предвосхищении нового мира, что откроется в нем и через него, стоит на праздничных коврах и во время священного обряда мыслями с вожделем тянется к скрывающим многое тайное завесам, откуда веет на него лаской любви.

Я решился через несколько дней покинуть тебя; это было нетрудно в надежде, что исполнится мое желание — я буду с тобой навсегда, буду всецело твоим. Нужно ли повторять, чего я желаю? Оказывается, нужно — ибо до сих пор ты как будто меня не понимала.

Сколько раз тихим голосом верной любви, которая, желая все удержать, боится много сказать, сколько раз допрашивал я твое сердце, согласна ли ты соединиться со мной навеки. Конечно же, ты меня понимала, ибо в твоём сердце должно было зародиться ответное желание: постигала все в каждом поцелуе, в баюкающем покое тех блаженных вечеров. Вот когда я оценил твою скромность, и как же возросла моя любовь! Другая на твоём месте всячески бы изощрялась, дабы от избытка солнечного тепла поскорее созрело решение в сердце любовника, дабы выманить у него объяснение и закрепить обещание, а ты вместо этого отстраняешься, хочешь, чтобы приоткрывшаяся было душа возлюбленного замкнулась вновь, и прячешь согласие под притворным равнодушием. Но я тебя понимаю! Надо быть отпетым негодяем, чтобы по таким признакам не распознать чистую, бескорыстную любовь, озабоченную лишь счастьем возлюбленного! Доверься мне и будь спокойна! Мы предназначены ДРУГ другу, и ни один из нас ничем не поступится и ничего не потеряет, если мы будем жить друг для друга.

Так прими же мою руку, торжественно прими этот из\* лишний залог верности. Мы испытали все радости любви, но сколько ещё неизведанного блаженства в сознании, что союз наш укреплен навеки. Не спрашивай, как. Отбрось все попечения. Судьба благосклонна к любви тем паче, что любовь довольствуется малым.

Сердцем я давно уже покинул родительский дом. Сердце мое с тобой, как дух привержен театру. О любимая! Кому ещё даровано, как мне, сочетать свои желания? Сон бежит от меня, и, словно незакатная заря, встают передо мной твоя любовь и твоё счастье.

Мне трудно сдержаться, не вскочить, не броситься к тебе, чтобы вынудить твоё согласие и сразу же, рано утром, устремиться вдаль, навстречу своей цели. Нет, я обуздаю себя, я не хочу поступать опрометчиво, безрассудно, очертя голову, у меня выработан план действий, и я спокойно примусь выполнять его.

Я знаком с театральным директором Зерло и направляюсь прямо к нему; год тому назад он не раз советовал своим актерам позаимствовать у меня воодушевления и любви к театру, и, конечно, он охотно возьмет меня; к вам в труппу я не желал бы вступать по многим причинам; кстати, труппа Зерло подвизается так далеко отсюда, что мне поначалу удастся скрыть свой шаг. Я наверняка сразу получу там сносное содержание и, приглядевшись к публике, познакомюсь с актерами, приеду за тобой.

Видишь, Мариана, как я умею владеть собой, лишь бы твердо знать, что ты будешь моя; а ведь даже страшно подумать, что я надолго расстанусь с тобой, что ты где-то далеко. Но если я почерпну силы в сознании твоей любви и если ты внимлешь моей мольбе прежде, чем мы разлучимся, и вручишь мне свою руку перед алтарем, я уеду успокоенный. Для нас это чистая формальность, но формальность достойная, благословение небесное к благословию земному! По соседству, на вольных дворянских землях,[10] это можно сделать легко и тайно.

На первых порах у меня денег хватит на нас обоих, а прежде чем они будут истрачены, небо нам поможет.

Да, любимая, я ничего не боюсь. То, что начато в такой радости, должно и кончиться счастливо. Я никогда не сомневался, что в жизни всегда преуспеешь, если серьезно возьмешься за дело, у меня же достанет воли с лихвой обеспечить многих, не то что двоих. «Свет неблагодарен», — твердят люди; я ещё ни разу не видел, чтобы он был неблагодарен, когда по-настоящему приносишь ему пользу. Вся душа у меня горит, как подумаю, что наконец-то буду со сцены говорить людям то, чего давно жаждали их сердца. А сколько раз у меня, благоговееющего перед величием театра, душа изнывала от досады, когда ничтожные людишки мнили, что могут тронуть наши сердца высокими и важными словами, уж куда лучше и тише звучит самая надрывная фистула; подумать страшно, что творят эти молодчики в своей грубой бездарности!

Театр не раз вступал с церковью в спор; на мой взгляд, им не следовало бы враждовать между собой, насколько разумнее было бы, чтобы и тут и там лишь люди благородные славил бога и природу! И это не мечты, любимая моя! Как у тебя на груди я почувствовал твою любовь, так же осенила меня эта прекрасная мысль, и я хочу сказать, — нет, не высказать вслух, а лишь лепетать надежду, что однажды мы явимся людям, как чета добрых духов, отверзнем их сердца, тронем их души и подарим им неземное блаженство; недаром же у тебя на груди я испытал радости, которые должны быть названы неземными, потому что в те мгновения мы вырывались за пределы естества и возносились над собой.

Никак не могу кончить; сказал я уже слишком много, но не знаю, все ли сказал, что касается тебя, ибо нет слов, какие описали бы вращение колеса, которое стучит в моём сердце.

И тем не менее прими этот листок, любовь моя! Я перечел его и нахожу, что надо бы начать сызнава. Однако в нем сказано все, что тебе следует знать, чтобы подготовить тебя к той минуте, когда я с ликованием сладостной любви поспешу в твои объятия. Я чувствую себя узником, который, прислушиваясь, распиливает в темнице свои кандалы. Желая спокойной ночи моим мирно спящим родителям. Прощай, любимая! Прощай! На сей раз я кончаю; глаза смыкались у меня не раз; сейчас уже поздняя ночь».

## ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

День тянулся без конца, но вот, бережно свернув письмо и положив его в карман, Вильгельм устремился к Мариане; не успело даже стемнеть, как он, против своего обыкновения, прокрался к ее жилищу. Он намерен был условиться о ночном свидании, а перед тем, как на короткий срок покинуть возлюбленную, — сунуть ей в руку письмо и, воротившись глубокой ночью, получить ее ответ, ее согласие или добиться его страстными ласками. Он бросился в ее объятия и едва успокоился у нее на груди. В пылу собственных чувств он сперва не заметил, что она не отвечает ему с обычной нежностью; однако надолго скрыть свою тревогу ей не удалось; она пыталась сослаться на болезнь, на недомогание, жаловалась на головную боль и отклонила его намерение вернуть\* ся попозже ночью. Не подозревая ничего дурного, он не на\* стаивал, но почувствовал, что сейчас не время отдавать ей письмо. Он оставил письмо при себе, но всеми повадками и речами она так явно, хоть и деликатно понуждала его уйти, что в дурмане ненасытной любви он схватил один из ее шейных платков, сунул его в карман и через силу оторвался от ее губ, от ее дверей. Тайком возвратился он домой, но не мог высидеть и там и, переодевшись, снова вышел на воздух.

Прохаживаясь взад-вперед по улицам, он встретил незнакомого мужчину, который спросил у него дорогу в одну из гостиниц. Вильгельм предложил проводить приезжего, тот осведомился о названии улицы, спросил, кому принадлежат большие дома, мимо которых они проходили, поинтересовался административными учреждениями города, и к воротам гостиницы они подошли в разгар оживленной беседы. Незнакомец уговорил своего провожатого войти и выпить с ним по стакану пунша; при этом он назвался, сообщил, откуда он родом, какие дела привели его сюда, и попросил Вильгельма оказать ему такое же доверие. Вильгельм не стал скрывать свое имя и место своего жительства.

— Не внук ли вы старого Мейстера, владельца прекрасного собрания картин? — спросил незнакомец.

— Да, я ему внук. Мне было десять лет, когда умер дед, и я очень огорчился, глядя, как продают такие красивые вещи.

— Вага отец получил за них большие деньги.

— Вы знаете об этом?

— Как же, я видел драгоценную коллекцию еще у вас в доме. Дедушка ваш был не только собиратель, но и настоящий знаток искусства; в доброе старое «ремя он добывал в Италии и вывез оттуда такие сокровища, которые не купишь теперь ни за какие деньги. У него были великолепные полотна лучших мастеров; не верилось глазам, когда он показывал свою коллекцию рисунков; среди собранной им скульптуры были поистине бесценные фрагменты, а подбор бронзы представлял большой научный интерес; монеты он приобретал лишь те, что имели историческую и художественную ценность; немногочисленные его геммы были выше всяких похвал. Вдобавок, все это было превосходно размещено, невзирая на несимметричное расположение комнат и зал в старом доме.

— Вам понятно, какими обездоленными почувствовали себя мы, дети, когда все эти вещи снимали и упаковали. Это были первые горестные часы моей жизни. До сих пор помню, как пусты показались нам комнаты, когда одни за другими стали исчезать предметы, с малых лет занимавшие нас и в нашем понятии столь же незыблемые, как самый дом и город.

— Если не ошибаюсь, ваш отец вложил вырученные деньги в торговое дело соседа, тем самым став его компаньоном?

— Совершенно верно! Причем их совместные торговые операции оказались на редкость удачными. 3 истекшие двенадцать лет они заметно приумножили свои капиталы, и от Этого оба еще ревностнее стремятся к наживе; только сын старика Вернера куда больше пригоден для этого дела, нежели я.

— Очень жаль, что город лишился такого украшения, каким был кабинет вашего дедушки. Я видел его незадолго до продажи и, должен признаться, послужил ее причиной. Богатый дворянин, большой любитель искусства, не полагавшийся, однако, на собственные суждения в таком крупном деле, послал меня сюда, желая моего совета. Целых шесть дней осматривал я кабинет, а на седьмой посоветовал моему другу не мешкая уплатить всю сумму, какая была назначена. Вы были тогда резвым мальчуганом и часто вертелись возле меня, объясняли мне сюжеты картин и вообще со знанием дела демонстрировали весь кабинет.

— Я помню, приходил такой человек, но никогда бы не сказал, что вы и он одно и то же лицо.

— Времени с тех пор утекло немало, и все мы меняемся, кто больше, кто меньше. Помнится, среди картин была одна, самая ваша любимая, от которой вы никак меня не отпускали.

— Верно! Она изображала историю того, как царский сын[11] чахнет от любви к отцовой невесте.

— Картина была не из лучших, и композиция неважная, и колорит неинтересный, и манера крайне вычурная.

— В этом я не разбирался и не разбираюсь до сих пор; меня в картине привлекает содержание, а не искусство.

— Ваш дедушка, очевидно, думал по-иному; львиная доля его коллекции состояла из превосходных вещей, в которых прежде всего восхищало мастерство художника, совершенно независимо от сюжета; а эту картину он повесил в первой прихожей в знак того, что мало дорожит ею.

— Нам, детям, разрешалось играть именно там, и картина эта неизгладимо врезалась мне в память. Очутись она сейчас перед нами,

ваша критика, конечно, весьма далеки от взгляда любителей искусства на творения больших художников; но, останься коллекция собственностью вашего семейства, вероятно, мало-помалу вы научились бы ценить произведения искусства как таковые, не относя их к самому себе и к своим чувствам.

— Такие понятия, конечно, весьма далеки от взгляда любителей искусства на творения больших художников; но, останься коллекция собственностью вашего семейства, вероятно, мало-помалу вы научились бы ценить произведения искусства как таковые, не относя их к самому себе и к своим чувствам.

— Конечно, я и тогда очень горевал о продаже кабинета, да и в более зрелые годы мне частенько недоставало его. Но ведь иначе у меня, пожалуй, не развилась бы та страсть, то дарование, которое много больше заставивших изображений повлияло на мою жизнь. Подумав об этом, я смиряюсь и преклоняюсь перед судьбой, которая все умеет повернуть мне во благо и во благо каждому.

— К сожалению, в который раз я слышу слово «судьба» из уст молодого человека того возраста, когда хочется приписать свои пылкие пристрастия некоей высшей воле.

— Значит, вы не верите, что есть судьба? Есть сила, которая опекает нас и все направляет к нашему благу?

— Здесь речь идет не о моей вере, здесь не место объяснять, как я пытаюсь хоть отчасти понять то, что для всех нас непостижимо; здесь вопрос в том, какие представления для нас благотворнее. Мир соткан из необходимости и случайности; разум человеческий становится между ними, умея подчинить себе ту и другую; необходимость он признает основой своего бытия, случайность он умеет направлять, исправлять и обращать себе на пользу, и лишь тот человек, чей разум тверд и непоколебим, заслуживает быть назван Цг. п-ным богом. Горе тому, кто с отроческих лет привык видеть в необходимости — произвол, приписывать случаю своего рода разум, обращая его для себя в некую религию. А Это означает ни больше ни меньше как отречься от собствен — ного разума, дать неограниченный простор своим страстям. Мы почитаем себя праведниками, когда бездумно бредем куда глаза глядят, рады подчиниться заманчивому случаю, а итог такого шатания по жизни именуем промыслом божьим.

— Неужели с вами никогда не бывало, чтобы ничтожное обстоятельство побудило вас избрать тот путь, где вы вскоре натолкнулись бы на благоприятный случай, а затем целый ряд неожиданностей привел бы вас к цели, которой сами вы не видели отчетливо? Конечно, это должно было бы внушить вам покорность судьбе и веру в мудрость провидения.

— С таким образом мыслей ни одна девушка не уберегла бы своей невинности и ни один человек — своих денежек; ведь поводов лишиться того и другого хоть отбавляй. Меня же радует лишь такой человек, который знает, что именно идет на пользу ему и людям, и не позволяет себе своевольничать. Счастье каждого у него в руках, как у художника — сырой материал, из которого он лепит образ. Но и это искусство подчинено общим законам; от рождения людям дана лишь одаренность, искусство же требует, чтобы ему учились и усердно упражнялись в нем.

О многом толковали они между собой и наконец расстались, почти ни в чем не убедив друг друга, однако же сговорились о месте встречи на следующий день.

Вильгельм еще побродил по улицам. Он услышал звуки кларнетов, рожков и фаготов, и сердце его радостно забило. Это заезжие музыканты исполняли премилую серенаду. Он заговорил с ними, и за небольшую плату они согласились последовать за ним к жилищу Марианы.

На площадке перед ее домом красовались высокие деревья; под ними он поставил своих певцов, сам же расположился поодаль, на скамейке, и всецело отдался легким звукам, журчавшим вокруг него в благодатной ночи. Он покоился под благодным светом звезд, и жизнь рисовалась ему сладостным сном. «Она тоже слышит звуки флейты, — в сердце своем твердил он, — она чувствует, чья память, чья любовь наполняют ночь прекрасной музыкой; даже на расстоянии мы связаны этими напевами, как на любом расстоянии нас связывают чуткие созвучия любви. Два любящих сердца все равно что двое магнитных часов — каждое движение в одних повторяется в других, ибо обоими движет, в обоих действует одна сила. Могу ли я в ее объятиях помыслить о разлуке? И все же я расстанусь с ней, чтобы найти приют для нашей любви и навсегда быть с нею вместе.

Сколько раз вдали от нее, в мыслях о ней, чего бы я ни касался, книги ли, одежды или чего-нибудь еще, мне чудилось прикосновение ее руки, настолько ее присутствие обволакивало меня. А вспомнить только те мгновения, которые не терпят дневного света, как взглядов холодного наблюдателя, мгновения, ради которых боги решались поступиться безмятежностью чистого блаженства. Вспомнить? Будто можно воскресить в памяти дурман от испитого кубка наслаждений, когда мы не помним себя, в плену неземных оков! А ее стан...» Он отдался мечтам о ней, умиротворение перешло в желание, он обхватил руками ствол дерева, прижался жаркой щекой к прохладной коре, и ночной ветер жадно поглотил взволнованные вздохи, исторгнутые из юношески чистого сердца. Он стал искать шейный платок, унесенный от нее; оказалось, платок остался дома в другой одежде. Губы его томилась жаждой, все тело трепетало желанием.

Музыка смолкла, и он словно упал с небес, оказавшись вне той стихии, что настраивала его чувства на высокий лад. Смятение его возросло, нежные звуки уже не питали и не смягчали его страстных порывов. Он сел на порог ее дома и немного успокоился. Он целовал медное кольцо, которым стучались в ее дверь, он целовал порог, который переступали ее ноги, и согревал его огнем своей груди... Потом утих и думал о ней, как сладко она спит за сдвинутыми занавесками, в белом ночном одеянии, с красной лентой в волосах, и думал о себе — раз он так близко от нее, значит, непременно должен сниться ей. Мысли его были приветны, как духи сумерек; покой и желание сменялись в нем; любовь трепетной рукой на тысячи ладов перебирала струны его души; музыка сфер как будто умолкла затем, чтобы подслушать нежные напевы его сердца.

Будь при нем ключ, обычно открывавший ему дверь Марианы, он не удержался бы и проник в святилище любви. Теперь же он медленно удалился неверным шагом, в полузабытьи стал бродить между деревьями, порывался уйти домой, но его тянуло назад; наконец, когда, поборов себя, он пошел прочь и на углу оглянулся, ему почудилось, что дверь Марианы отворилась и оттуда вынырнула темная фигура.

Он отошел слишком далеко и не мог ее толком рассмотреть, а пока он опомнился и как следует взгляделся, видение уже растаяло в темноте; ему показалось, что оно промелькнуло вдоль белой стены отдаленного дома. Он стоял и щурился, но прежде чем он овладел собой и бросился вдогонку, призрак исчез. Куда бежать за ним? Какая улица приняла в свои объятия этого человека, если то был человек?

Бывает, молния осветит один кусок местности, а потом тщетно стараешься ослепленными глазами отыскать в темноте возникшие на миг очертания и переплетения троп; то же было теперь перед глазами Вильгельма, то же было в его сердце. Бывает, что, смертельно испугавшись полуночного призрака, мы в следующую же минуту, овладев собой, готовы счесть его детищем испуга, но то страшное, что привиделось нам, оставляет в душе нескончаемые сомнения, — так и Вильгельм в величайшей тревоге стоял, прислонясь к угловой тумбе, не замечая ни рассвета, ни крика петухов, пока шум ранних трудов не вспугнул его.

Домой он возвратился, успев убедительнейшими доводами почти изгнать из души неожиданное видение; однако радостное состояние духа исчезло бесследно, словно тоже было ночным обманом чувств. Чтобы убаготворить свое сердце и укрепить возродившуюся веру, он достал шейный платок из кармана вчерашней одежды. Услышав шелест выпавшей записки, он оторвал платочек от губ, поднял записку и прочел:

«Как же я тебя люблю, дурочка! Что с тобой было вчера? Нынче я к тебе приду. Я понимаю, что тебе жалко уезжать отсюда; но наберись терпения, я приеду на ярмарку вслед за тобой. Сделай милость, не носи ты больше этой серо-бурой кофты; в ней ты похожа на Аэндорскую колдунью.[12] Разве не для того послал я тебе белое negligé, чтобы держать в объятиях белую овечку? Записки по-прежнему посылай мне через старую сивиллу; сам черт назначил ей быть Иридой!»

## КНИГА ВТОРАЯ

### ГЛАВА ПЕРВАЯ

Каждый, кто у нас на глазах, не щадя сил, стремится осуществить свое намерение, вправе рассчитывать на наше участие, независимо от того, одобряем ли мы или порицаем его замысел; но едва лишь дело определилось, мы сейчас же отворачиваем от него взор; все, что завершено, с чем покончено, уже не привлекает нашего внимания, особенно если мы заранее предрекали неудачный исход предприятия.

По этой причине мы не станем занимать читателей обстоятельным рассказом о муках и терзаниях, в которые погрузился наш горемычный друг после столь неожиданного крушения всех упований и грез. Лучше пропустим несколько годов и встретимся с ним позднее, в надежде найти его довольным и деятельным, но предварительно сообщим вкратце то, что необходимо для связности повествования.

Чума и зловредная лихорадка особенно бурно и быстро протекают в здоровом, полном жизненных соков теле; так злой рок, внезапно обрушившись на бедного Вильгельма, в один миг до основания потряс все его существо. Представим себе, что приготовленный для показа фейерверк нечаянно загорится, и все искусно пробуровленные и начиненные гильзы, которым надлежало зажигаться по намеченному плану и последовательно рисовать в воздухе одну огненную картину блистательней другой, — теперь шипят и свистят, смешавшись в угрожающем беспорядке; так же в душе у Вильгельма счастье и надежды, вожделение и восторг, действительность и мечта, рушась, смешались между собой. В такие бедственные минуты не имеет прибежавший на помощь друг, и хорошо тому, с кем стряслась такая беда, если у него помутился разум.

Затем последовали дни многоречивого, непрерывно возобновляющегося и намеренно растравляемого горя; однако и их надо почитать благодеянием природы. В такие часы любимая казалась еще не совсем потерянной для Вильгельма; страдания его были все новыми и новыми попытками хоть как-то удержать отлетавшее счастье, ухватиться за надежду на это счастье, ненадолго продлить угасшие радости. Нельзя назвать тело мертвым, пока оно разлагается, пока силы, напрасно стремящиеся осуществлять свое былое предназначение, продолжают действовать, но только разрушая каждую часть того, что ранее создавали; лишь когда все взаимно уничтожится и целое обратится в безликий прах, тогда у нас возникает жалкое в своем бессилии ощущение смерти, и лишь дыхание предвечного живит его.

В такой юной, цельной, нежной душе было что разрушить, растерзать, умертвить, и сама быстро врачующая сила молодости питала и усугубляла бушевание боли. Удар под корень подкосил все его бытие. Вернер, наперсник поневоле, ретиво взялся огнем и мечом без остатка истребить мерзкое чудовище — ненавистную ему страсть. Случай был благоприятен, доказательства очевидны, а сколько он еще приплел сказаний и слухов! Он принялся за дело так яростно, так жестоко и последовательно, не оставляя в утешение другу ни минутного обмана, закрывая все лазейки, куда бы ему укрыться от полного отчаяния, что природа, не желая, чтобы докончили ее любимца, позаботилась о нем и для передышки наслала на него болезнь.

Сильный жар с неизбежными спутниками — лекарствами, лихорадкой и упадком сил да еще заботы родных, любовь ближних, которая познается преимущественно в нужде и лишениях, вот и все, что скрашивало Вильгельму непривычное состояние и служило весьма скудным отвлечением. Лишь когда ему стало лучше, иначе говоря, когда силы его совсем истощились, он с ужасом заглянул в страшную бездну бесплодной тоски, как смотрят в полую, выжженную чашу вулкана.

Теперь он горько корил себя за то, что после такой великой утраты мог прожить хоть краткое мгновение спокойным, равнодушным, без страданий. Он презирал собственное сердце и жаждал улады в скорби и слезах.

Чтобы вызвать их, он воскрешал в памяти сцены утраченного счастья, живо воображал их, видел себя снова их участником. Достигнув в мечтах вершины блаженства, чувствуя, как согревают его тело солнечные лучи былых дней, как вздымается грудь, он оглядывался на ужасную бездну, тешил свой взор убийственной глубиной, бросался в нее, исторгая у природы горчайшие муки. Так с неослабной жестокостью вновь и вновь истязал он себя; юность, столь богатая нераскрытыми силами, сама не понимает, что она расточает, присовокупляя к скорби об утраченном столько насильственных мук, словно желая повысить цену утраты. К тому же он был твердо убежден, что это единственная, первая и последняя утрата в его жизни, и не желал слушать утешителей, старавшихся доказать, что горе

преходяще.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Привыкнув терзать себя таким образом, он теперь с пристрастием подверг всестороннему разбору все, что после любви и наряду с любовью было для него источником радостей и надежд, — свой поэтический и актерский талант. В творениях своих он увидел бездарное подражание избитым образцам, лишенное самостоятельной ценности; он нарочито усматривал в них лишь натужные школярские упражнения, без намека на органичность, правдивость и вдохновение. Стихи показались ему однообразным повторением стоп, по которым плелись затасканные мысли и чувства, скрепленные убогими рифмами; следовательно, с этой стороны у него не было ни малейшего шанса, ни малейшей охоты поднять свой дух.

С актерским талантом дело обстояло не лучше. Как мог он не понять раньше, что в основе такого рода притязаний лежит голое тщеславие! А чего стоят его осанка, походка, жесты и декламация! Он решительно отрицал за собой всякое преимущество, всякую заслугу, могущую поднять его над обыденностью, чем доводил свое немое отчаяние до предела. Конечно, несладко лишиться женской любви, но не менее мучительно сознание, что нужно расстаться с музами, навеки признать себя недостойным водиться с ними и поставить крест на самом приятном одобрении, которым непосредственно и открыто дарят нашу особу, наши манеры, наш голос.

Итак, друг наш вполне смирился и одновременно прилежно занялся торговыми делами. К удивлению своего друга и к величайшему удовольствию отца, никто усерднее его не трудился в конторе и на бирже, в лавке и на складе; с великим старанием и рвением вел он корреспонденцию и счетные книги и выполнял все, что ему поручали. Правда, это не было веселое старание, которое несет в себе награду за труд, когда мы последовательно и аккуратно выполняем то, для чего рождены; нет — это было тихое старание по чувству долга, в основе его лежат благие намерения, питается оно велением разума, наградой ему служит внутреннее удовлетворение, но зачастую, как бы оно ни было увенчано сознанием собственного благородства, ему едва удается сдержать невольный вздох.

Такой деятельной жизнью Вильгельм прожил некоторое время, убедив себя, что судьба ниспослала ему жестокое испытание ради его блага. Он радовался, что вовремя, в самом начале жизненного пути получил полезный, хоть и неприятный урок, между тем как другие куда позднее и тяжелее искупают ошибки, плод юношеского самомнения. Ведь обычно человек сколько может обманывает глупца, взлелеянного у себя в душе, прежде чем признать свое кардинальное заблуждение и смириться с той истиной, которая приводит его в отчаяние.

Как ни был он полон решимости отречься от самых своих заветных упований, однако потребовался некоторый срок, прежде чем он уверился, что беда его непоправима. В конце концов он вескими доводами вытравил в себе последнюю надежду на любовь, на поэтическое творчество и на лицедейство и, собравшись с духом, решил без остатка изничтожить все следы своей глупости, — словом, все, что так или иначе напоминало бы о ней. И вот в один прохладный вечер он разжег огонь в камине, достал шкатулку, где хранил свои реликвии, сотни безделок, которые в памятные мгновения он получил от Марианы или похитил у нее. Каждый засушенный цветок напоминал те минуты, когда он свежим цвел в ее волосах; каждая записка — те часы блаженства, вкусить которое она его звала; каждый бант — прекрасную грудь, где покоилась его голова. Разве не должно было тут пробудиться чувство, которое он давно считал мертвым? Разве при ви\* де этих безделок не должна была вновь разгореться страсть, которую он победил, расставшись с возлюбленной? Ведь мы чувствуем всю печаль и тоску пасмурного дня лишь после того, как один-единственный луч солнца, пробившись на миг, воскресит перед нами радующий сердце свет погожего утра.

Конечно, не мог Вильгельм равнодушно смотреть, как одна за другой в дыму и огне исчезают долго хранившиеся святыни. Несколько раз он останавливался, заколебавшись, и в руках у него еще задержались жемчужные бусы и газовая косынка, когда он решился оживить затухавшее пламя стихотворными попытками своей юности.

До сих пор он тщательно берег все, что вылилось у него из-под пера с самого раннего периода его духовного развития. Писания эти, связанные пачками, еще покоились на дне сундука, куда он их сложил, готовясь бежать из дому и намереваясь взять их с собой. Сколь различны были чувства, с какими он завязывал их тогда и развязывал теперь!

Если мы при особых обстоятельствах написали и скрепили печатью письмо к другу, но оно не попало к нему, мы получили его обратно, и когда спустя некоторое время мы вскрываем его, странное чувство возникает у нас: сломав собственную печать, мы беседуем с прежним своим «я», как с третьим лицом. Нечто подобное ощутил наш друг, когда, развязав первую пачку, швырнул в огонь листы тетрадей, запылавшие ярким пламенем в ту самую минуту, как вошел Вернер, удивился столь жаркому огню и спросил, что тут происходит.

— Я подтверждаю свою решимость отказаться от ремесла, для которого я не был рожден. — С этими словами Вильгельм бросил в огонь вторую пачку.

Вернер попытался его удержать, но опоздал.

— Не понимаю, к чему такие крайности, — сказал он, — пускай эти сочинения далеки от совершенства, но зачем их уничтожать?

— Затем, что стихи, если они несовершенны, не долж «ны существовать вовсе; затем, что всякий, кому не дано создавать прекрасное, не имеет права соприкоснуться с искусством и обязан неуклонно воздерживаться от подобного соблазна. В каждом человеке копошится смутная потребность воспроизводить то, что он видит; но такая потребность совсем не доказывает, что способность осуществить задуманное тоже живет в нас. Взгляни хотя бы на мальчишек: после того как в городе побывает канатный плясун, они ходят и балансируют по всем доскам и бревнам, пока новая приманка не привлечет их к другой сходной игре. А разве в кругу наших друзей ты не замечал этого? Как только у нас послушают музыканта-виртуоза, так сейчас же найдутся желающие обучаться играть на том же инструменте. И многие сби «ваются с толку на этом пути. Счастлив тот, кто вовремя поймет несоответствие между своими желаниями и силами.

Вернер возразил, беседа перешла в спор. Вильгельм разволновался, приводя те же доводы, какими так часто терзал сам себя. Вернер доказывал, что неразумно ставить крест на искусстве, в коем имеешь мало-мальские способности, отговариваясь тем, что не рассчитываешь достичь в нем совершенства. Плохо ли заполнять им досуг и со временем создать нечто такое, чем порадуешь и себя и других?

Придерживаясь совсем иных взглядов, Вильгельм тотчас же с горячностью возразил:

— Как же ты ошибаешься, любезный друг, если полагаешь, что идею будущего творения, которая, едва возникнув, должна захватить всю душу, можно воплощать на бумаге, урывая скудные часы досуга. Нет, поэт должен отдать всего себя, всецело вжиться в свои заветные образы. Раз внутренне он так щедро одарен небесами, раз в груди его заложено само собой умножающееся сокровище, значит, и жить ему надлежит в тиши, без помех извне, наслаждаясь своими сокровищами, которыми тщетно жаждет окружить себя богатч, накопивший груды добра. Взгляни, как люди рвутся к счастью и к развлечениям! Упорно растрачивают все желания, труды, деньги — и на что? На то, что поэту дано от природы — способность наслаждаться миром, ощущать себя самого в других и достичь гармонического слияния со многим между собой несовместимым.

Тем и мучаются люди, что не умеют согласовать свои понятия с действительностью, что наслаждение ускользает у них из рук, желаемое приходит слишком поздно, а все достигнутое и добытое не оказывает на их душу того действия, какое мнилось им издалека. Судьба точно бога подняла поэта над всем этим. Он видит водоворот страстей, бессмысленное волнение родов и царств, видит неразрешимые загадки раздоров, которые иногда можно распутать с полуслова, дабы они не влекли за собой гибельной смуты. Он сочувствует печалю и радостям каждой человеческой судьбы. Когда смертный человек влачит свои дни, снедаемый тоской по невозможной утрате, либо в необдуманном веселье стремится навстречу своей судьбе, тогда чуткая, отзывчивая душа поэта шествует, как солнце от ночи ко дню, и плавными переходами настраивает свою арфу на радость и скорбь. Зародившись в недрах его сердца, возрастает прекрасный цветок мудро сти, и, когда другие видят сны наяву, всеми своими чувствами ужасаясь собственным чудовищным измышлениям, поэт, бодрствуя, переживает сон жизни, и самое необычайное — для него одновременно и прошлое и будущее. Так поэт одновременно и наставник и провидец, друг богов и людей. А ты желаешь, чтобы он унивился до жалкого ремесленничества? Он, сотворенный как птица, дабы парить над миром, гнездиться на верхушках высоких деревьев, питаться почками и плодами, перелетать с ветки на ветку, — он, по-твоему, должен, как вол, тащить плуг, как пес, идти по следу или, чего доброго, сидеть на цепи и лаем своим охранять усадьбу?

Вполне понятно, что Вернер только дивился, слушая такие речи.

— Все бы хорошо, — возразил он, — если бы люди были как птицы небесные и без забот, без труда, в непрерывных наслаждениях проводили блаженные дни! Хорошо, если бы к зиме они с такой же легкостью переселялись в далекие края, дабы не знать голода и укрыться от стужи!

— Так поэты и яшли в те времена, когда высота духа была более в чести. Так им и следовало бы жить всегда! — воскликнул Вильгельм. — Богатые внутренним содержанием они мало чего требовали извне; своим даром воплощать для человечества прекрасные чувства и великолепные образы в пленительных и согласных с каждым понятием словах и напевах поэты искони завораживали мир и оставляли ценное наследство людям одаренным. При королевских дворах, за пиршественными столами богачей, у дверей влюбленных им внимали, замкнув слух и душу для всего другого, как замираешь от восторга на месте, когда проходишь лесом и из зарослей, беря за живое, зазвучит вдруг трель соловья! Повсюду встречали они радушный прием, а их якобы низкое рождение лишь возвышало их. Герой слушал их песни, покоритель мира воздавал хвалу поэтам, понимая, что без них его сокрушительное бытие промчится бесследно, как ураган; влюбленный жаждал столь же полно и гармонично восчувствовать свою страсть и упоение, как умели их воспевать вдохновенные уста; и даже в глазах богача его сокровища, его кумиры не были бы так великолепны, если бы не озаряло их сияние духа, которому дано познать и возвеличить все поистине ценное. Да что там, кто, по-твоему, создал богов, кто нас возвысил до них, а их низвел к нам, как не поэт?

— Друг мой, — подумав, заметил Вернер, — я всегда недоумевал, почему ты стараешься насильно вытравить из своей души то, что чувствуешь так живо. Может быть, я ошибаюсь, но, на мой взгляд, ты поступил бы правильнее, если стал бы менее придирчив к себе, а не терзался бы противоречиями, неумолимо отказываясь от столь невинной улады и тем лишая себя всех прочих радостей.

— Я должен покаяться перед тобой, мой друг, — подхватил Вильгельм, — и, надеюсь, ты не подымеешь меня на смех, если я признаюсь, что те же видения все еще пресле-» дуют меня, как я ни бегу их, и, заглянув к себе в сердце, вижу, что былые желания прочно, прочнее прежнего, гнездятся в нем. Но что сейчас остается мне, горемычному? Увы, когда душа моя протягивала объятия в бесконечность, стремясь охватить великое, тот, кто предсказал бы мне тогда, что длани ее сразу же будут отсечены, поверг бы меня в от-«чаяние. И сейчас еще, когда надо мной произнесен приговор, когда я утратил ту, что вместо божества должна была ввести меня в чертог моих мечтаний, мне остается лишь предаться горчайшим мукам. Ах, брат мой, — продолжал он, — я не бу «ду отрицать, что в тайных моих замыслах она была тем стержнем, на котором держится веревочная лестница; очертя голову воспарил искатель счастья ввысь, но крючок ломается, и он, разбившись, падает к подножью вожделенной цели. Мне нечем утешиться, не на что надеяться! Я не оставлю ни одной из этих жалких бумажонок, — воскликнул он, вскочил с места, снова схватил несколько тетрадей, разорвал их и швырнул в огонь.

Вернер тщетно пытался его удержать.

— Пусти меня! — крикнул Вильгельм. — Кому нужны Эти ничтожные листки? Для меня они уже не могут быть ни ступенью вверх, ни поощрением. Неужели они должны сохраниться, чтобы до конца дней моих мучить меня? Неужто они когда-нибудь станут посмешищем света, вместо того чтобы вызвать жалость и содрогание? Кто оплатит меня и мою долю? Мне понятны теперь жалобы поэтов, несчастливцев, ставших мудрецами поневоле. Долго почитал я себя несокрушимым, неуязвимым, но, увы, теперь я вижу, что нанесенная смолоду глубокая рана не даст мне воспрянуть и не затянется никогда; я чувствую, что унесу ее с собой в могилу. Да, ни на один день жизни не отпустит меня страдание, пока не доконает меня, и память о ней останется при мне до самой смерти, память о недостойной, ах, друг мой, — если говорить начистоту, не совсем уж недостойной! Сотни раз находил я ей оправдание в ее положении, в ее судьбе, Я был не в меру суров, ты безжалостно сковал меня твоей ледяной жестокостью, ты держал в плену мои смятенные чувства и домещал мне сделать то, что я обязан был сделать для нас обоих. Кто знает, в какое состояние я поверг ее, мало-помалу меня стали мучить угрызения совести, — как смел я бросить ее в таком отчаянном, беспомощном положении! А вдруг она могла оправдаться? Разве это невозможно?

Сколько недомолвок вносил в жизнь смуту, сколько обстоятельств могут снискать прощение тяжелейшему проступку! Часто я представляю себе, как она тихо сидит, углубясь в себя, опершись головой на руки. «Вот какова верность и любовь, в которых ты мне клялся! — говорит она. — Можно ли таким грубым ударом оборвать нашу прекрасную совместную жизнь?»

Он разрыдался, упав лицом на стол и оросив слезами оставшиеся листки.

Вернер стоял над ним в полной растерянности. Он не был готов к такому внезапному порыву страсти, несколько раз пытался он перебить друга или перевести разговор, — все напрасно! Ему не под силу было противостоять буре. Но и тут в свои права вступила испытанная дружба. Выждав, когда утихнет бурный прилив горя, он своим молчаливым присутствием лучше всего показал, сколь непритворно и бескорыстно его участие. Так они и провели этот вечер: Вильгельм затих, прислушиваясь к отголоскам горя, а друг с ужасом вспоминал новую вспышку страсти, которую он долго держал в узде, надеясь, что успел ее победить добрыми советами и усердными увещаниями.

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ

После таких рецидивов Вильгельм обычно еще ретивее брался — за свои дела и обязанности, что было лучшим способом убежать от лабиринта, который вновь манил его. Его обходительность с людьми посторонними, легкость, с какой он вел переписку почти на всех живых языках, подавали все больше надежд отцу и его компаньону, утешая их в болезни молодого человека, причины которой они так и не узнали, а также в заминке с составленным ими планом. Решение о поездке Вильгельма было принято вторично, и вот уже мы видим, как он верхом на лошади, с баулом за спиной, повеселевший от свежего воздуха и движения, приближается к нагорью, где ему придется выполнить несколько поручений.

Не спеша и ощущая огромное удовольствие, проезжал он горы и долины. Нависающие скалы, шумящие ручьи, лесистые склоны, глубокие пропасти — впервые созерцал он их воочию, но в самых ранних отроческих грезах уже не раз уносился в такие края. При виде их он будто снова помолодел, с души словно спали все перенесенные страдания, и он превесело повторял про себя отрывки из разных стихотворений, особенно из «Pastor fido», [13] которые в этих уединенных местах роем осаждали его память. Припомнил он и кое-какие места из собственных песен и продекламировал их с особым удовольствием. Он населял окружающий его мир образами прошлого, и каждый шаг в будущее был для него полон предвкушения значительных поступков и примечательных событий.

Путники, один за другим догонявшие и с поклоном опережавшие его, торопливо взбираясь в горы по крутым тропкам, несколько раз прерывали его безмолвную беседу, однако не привлекли к себе его внимания. Наконец, к нему присоединился словоохотливый попутчик и объяснил причину такого усиленного паломничества.

— В Хохдорфе сегодня играют комедию, — сообщил он, — и вся округа собирается там.

— Как! — вскричал Вильгельм. — Театральное искусство проложило себе путь в этих пустынных горах, сквозь эти дремучие леса и водрузило здесь свой храм? А я иду паломником на его праздник?

— Вы еще и не так удивитесь, когда услышите, кто устраивает представление, — подхватил незнакомец. — В Хохдорфе работает большая фабрика, которой кормится много народу. Хозяин живет, можно сказать, вдали от человеческого общества и не знает для своих рабочих лучше занятия на зиму, нежели игра на театре. Он не терпит, чтобы они тратили досуг на карты, и вообще мечтает смягчить их нравы. Так они коротают долгие вечера, а нынче день рождения старика, и в его честь устраивается особо торжественное празднество.

Вильгельм добрался до Хохдорфа, где ему предстояло переночевать, сошел с лошади у фабрики, хозяин которой числился у него в списке должников.

Когда он назвался, старик с удивлением воскликнул:

— Как, сударь мой, вы сын того благородного человека, кому я столь многим обязан, а до сих пор не отдал даже денежного долга? Ваш батюшка столько времени терпеливо ждал, что лишь отпетый злодей не расплатился бы на моем месте с поспешностью и готовностью. Вы прибыли очень кстати, чтобы поймать меня на слове.

Он позвал жену, которая тоже обрадовалась молодому человеку, принялась уверять его, что он очень похож на отца, и выразила сожаление, что из-за наплыва гостей не может приютить его на ночь.

Дело было ясное и сладилось быстро; Вильгельм сунул столбик монет в карман, пожелав себе, чтобы и прочие дела сошли так же легко.

Наступил час представления, ждали только главного лесничего, который наконец прибыл, вошел с несколькими егерями и был принят весьма почтительно.

Все общество направилось в театр, под который отвели амбар возле самого сада. Зрительный зал и сцена были убраны без особой изысканности, но вид имели веселый и приятный. Один из фабричных маляров какое-то время был подручным в столичном театре и тут несколько грубовато, но все же изобразил лес, улицу и комнату. Пьесу позаимствовали у странствующей труппы и перекроили на свой лад. В нынешнем своем виде она оказалась занимательной. Интрига заключалась в том, что два воздыхателя пытаются отбить любимую девушку у опекуна и попеременно друг у друга, и давала повод к забавным положениям. Это была первая пьеса, которую после долгого перерыва видел наш друг, и он про себя делал кое-какие выводы. Действия было много, но отсутствовала правдивая обрисовка характеров. Пьеса нравилась и развлекала. Таковы начатки театрального искусства. Дикарь готов радоваться всему, лишь бы что-то происходило, человек образованный желает чувствовать, и только высокообразованному приятно поразмыслить.

Вильгельму часто хотелось прийти на помощь актерам; немного было нужно, чтобы они играли намного лучше.

Его молчаливым рассуждениям мешал табачный дым, становившийся все гуще. Как только пьеса началась, главный лесничий зажег трубку, а за ним и многие другие позволили себе эту вольность. Да и огромные псы лесничего чувствительно нарушали порядок. Их,

правда, выгнали вон, однако они вскоре проникли через заднюю дверь, вскочили на сцену, накинулись было на актеров и, наконец, перепрыгнув через оркестр, устроились около своего хозяина, который занимал переднее место в партере.

Под конец состоялось чествование. На увитом гирляндами\* ми аналое был поставлен портрет старика в жениховском наряде. Все актеры склонились перед ним в смиренных позах «Младший сынок старика, одетый в белое, выступил вперед и прочитал приветствие в стихах, чем умилил до слез все семейство и даже главного лесничего, вспомнившего собственных деток. Так кончился спектакль, и Вильгельм не удержался, чтобы не подняться на сцену, взглянуть вблизи на актрис, похвалить их игру и подать им совет на будущее.

Прочие дела, которые наш друг постепенно налаживал в больших и малых горных селениях, не всегда сходили так же благополучно, а главное, так же весело. Одни должники просили об отсрочке, другие вели себя неучтиво, третьи и вовсе отпирались. В согласии с полученными полномочиями Вильгельму пришлось кое на кого подать ко взысканию, а сперва обратиться к адвокату, растолковать ему, как действовать, самому являться в суд, словом, выполнять ряд скучнейших обязанностей.

Так же тягостно чувствовал он себя, когда ему оказывали чрезмерный почет. Лишь у немногих мог он получить дельные сведения, с немногими завязать полезные торговые отношения. На беду, наступила дождливая пора, верхом ездить по этим местам стало сущей мукой, и он возблагодарил небеса, когда, спускаясь на равнину, под горой, в красивой цветущей ложбинке, у тихой реки увидел залитый солнцем нарядный городок, в котором у него дел, правда, не было, однако именно потому он решил провести здесь несколько дней, чтобы дать отдых себе и своей лошади, выбившейся из сил от дурной дороги.

#### ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Спрыгнув с лошади на площади возле гостиницы, он застал там веселую и, во всяком случае, шумную суету. Большая труппа канатных плясунов, клоунов и фокусников, где имелся и силач, нагрянула с женами и детьми и, готовясь к публичному выступлению, бесчинствовала вовсю. То кто-нибудь ссорился с хозяином, то друг с другом; если перебранки их были несносны, то проявления веселья совсем уж нестерпимы. В нерешимости, не зная, уйти ли ему или остаться, стоял Вильгельм в воротах и смотрел, как рабочие сколачивают на площади подмости.

Девочка, торговавшая розами и другими цветами, поднесла корзину к нему, и он купил красивый букет, перевязал его по-своему и сам залюбовался им. Как раз в этот миг растворилось окно в другой гостинице тут же, на площади, и в нем показалась привлекательная особа женского пола. Невзирая на расстояние, он заметил, какая приятная улыбка оживляет ее лицо. Белокурые волосы небрежно рассыпались по плечам; казалось, она разглядывает незнакомца. Немного погодя из дверей того дома вышел мальчик в белой куртке и парикмахерском фартуке, направился к Вильгельму, поклонился и проговорил:

— Дама у окна велит вас спросить, не уступите ли вы ей часть ваших красивых цветов?

— Все они целиком к ее услугам, — отвечал Вильгельм, протянул проворному посланцу букет и при этом отвесил красотке учтивый поклон, на который она ответила приветливым кивком и отошла от окна.

Раздумывая над приятным приключением, он стал подниматься по лестнице к себе в комнату, как вдруг навстречу выскочило юное существо, привлекавшее внимание Вильгельма, — короткий шелковый камзолчик с прорезными испанскими рукавами, узкие длинные панталоны с буфами премило шли к нему. Длинные черные волосы, убранные в локоны и заплетенные в косички, увивали курчавую головку. Вильгельм растерянно смотрел на странное явление, недоумевая, мальчик это или девочка. Наконец решил, что девочка, и остановил ее, когда она проходила мимо, поздоровался и спросил, чья она, хотя и сам мог определить, что она из компании плясунов и акробатов. Она скосила на него зоркие черные глаза, высвободилась и, не ответив, убежала на кухню.

Поднявшись наверх, посреди обширной прихожей он увидел двух мужчин, которые упражнялись в фехтовании или, вернее, состязались между собой в ловкости. Один из них, очевидно, принадлежал к труппе, расположившейся в гостинице, у второго вид был более благоприличный. Наблюдая за ними, Вильгельм не без основания дивился обоим, и когда немного погодя чернобородый, жилистый боец покинул поле сражения, второй с превеликой учтивостью предложил рапиру Вильгельму.

— Ежели вы согласны взять меня в ученики, я охотно попытаю с вами несколько выпадов, — согласился тот.

Они пофехтовали друг с другом и, хотя незнакомец был намного искуснее, у него достало деликатности заверить противника, что все дело в упражнении; да Вильгельм и вправду показал, что когда-то брал уроки у хорошего и достойного немецкого учителя фехтования.

Беседа их была прервана шумом и гамом, поднятым пестрой толпой фигляров, которые высыпали из гостиницы и отправились оповестить город о предстоящем представлении, разжечь интерес к своему шоукарству. З барабанщиком следовал, верхом на лошади, антрепренер, за ним танцовщица на таком же одре; впереди себя она держала ребенка, разукрашенного бантами и блестками. Дальше шагали пешком остальные участники труппы, причем некоторые легко и непринужденно держали на плечах ребятишек в самых причудливых позах, и среди них внимание Вильгельма снова остановило юное чернокудрое сумрачное существо.

Паяц, кривляясь, сновал в набежавшей толпе и с нехитрыми шутками, то чмокнув девушку, то ткнув палкой мальчишку, раздавал афишки и будил в людях непреодолимую жажду поближе с ним познакомиться. В печатных листках выхвалялись многообразные таланты труппы, особенно же неких мосье Нарцисса и мамзель Ландринетты, кои в качестве премьеров благоразумно уклонились от участия в шествии, дабы поднять себя в глазах зрителей и подхлестнуть их любопытство.

Во время шествия у окна вновь появилась прекрасная соседка, и Вильгельм не преминул навести о ней справки у своего собеседника. Тот — будем звать его пока что Лаэртом — вызвался проводить Вильгельма к ней.

— Мы с этой особой, — улыбаясь, объяснил он, — можно сказать, обломки театральной труппы, которая недавно потерпела крах. Красота местности побудила нас немного задержаться здесь и спокойно пожить на скопленную небольшую наличность, пока друг наш поехал искать, где бы устроиться и ему и нам.



Лаэрт незамедлительно проводил нового знакомого до двери Филины, где на минутку оставил его, чтобы сбегать в соседнюю лавку за сладостями.

— Не сомневаюсь, вы будете мне признательны за столь приятное знакомство, — заметил он, воротаясь.

Филина вышла к ним из комнаты в открытых туфельках на высоких каблуках. Она накинула черную мантилью на белое negligé, которое придавало ей уютный, домашний вид именно потому, что было не первой свежести. Из-под коротенькой юбочки виднелись очаровательнейшие в мире ножки.

— Милости прошу, — приветствовала она Вильгельма, — и благодарствую за красивые цветы!

Одной рукой она увлекла его в комнату, меж тем как другой прижимала к груди букет.

Когда они расселись и завели незначительный разговор, которому она умела придать своеобразную прелесть, Лаэрт высыпал ей на колени жареный миндаль, которым она не замедлила полакомиться.

— Посмотрите, до чего ребячлив этот молодой человек! — воскликнула она. — Он будет вас уверять, что я ужасная лакомка, а сам без сладенького жить не может.

— Признайтесь, что в этом, как и во многом другом, мы рады составить друг другу компанию, — подхватил Лаэрт. — Вот, а примеру, нынче превосходный день, по-моему, не худо бы покататься и отобедать на мельнице.

— Отлично, — согласилась Филина, — надо же развлечь нового знакомого.

Лаэрт вскочил и убежал, ходить он никогда не ходил, а Вильгельм собрался на минутку зайти к себе, чтобы привести в порядок волосы, сбившиеся за дорогу.

— Можете проделать это здесь! — заявила Филина, кликнула маленького слугу, любезнейшим образом уговорила Вильгельма скинуть кафтан и набросить ее пудермантиль с тем, чтобы его причесали тут же при ней. — Зачем понапрасну терять время, — пояснила она, — кто знает, сколько нам суждено пробыть вместе.

Скорее из упрямства и нерадивости, нежели от неумения, мальчик показал себя не в лучшем свете, драл Вильгельму волосы и возился без конца. Филина несколько раз выговаривала ему за неловкость, наконец нетерпеливо оттолкнула его и выставила вон. Теперь она сама взялась за работу, очень изящно и лоско взбила нашему другу волосы, хотя тоже не торопилась, поправляя то одно, то другое, причем ей каждую минуту непременно нужно было касаться коленями его колен и так приближать к его губам грудь с букетом, что у него не раз рождался соблазн запечатлеть на ней поцелуй.

После того как Вильгельм ножичком счистил пудру со лба, Филина сказала:

— Возьмите его на память обо мне.

Ножик был премило сработан: па инкрустированном стальном черенке стояли ласковые слова: «Помни обо мне».

Вильгельм спрятал его в карман, поблагодарил и попросил разрешения сделать ответный подарок.

Наконец все были готовы. Лаэрт явился с каретой, и началась превеселая прогулка. Каждому нищему Филина бросала через дверцу милостыню с приветливым, ободряющим словом в придачу.

Не успели они приехать па мельницу и заказать обед, как под окнами послышалась музыка. Это рудокопы под цитру и треугольник веселыми звонкими голосами исполняли разные благозвучные песни. Вскоре их окружила набежавшая толпа, а посетители одобрительно кивали им из окон. Заметив такое внимание, они расширили круг, очевидно, приготовляясь к главному своему номеру. После короткого перерыва вперед вышел рудокоп с киркой<sup>[14]</sup> и под строгий напев остальных стал изображать работу шурфовальщика.

Немного погодя из толпы выступил крестьянин и угрожающим жестом стал показывать рудокопу, чтобы тот убирался прочь. Публика сперва удивилась, но узнала в крестьянине переодетого рудокопа, когда он раскрыл рот и своего рода речитативом стал попрекать второго, как он смеет хозяйничать на его пашне. Тот не возмущился, а принялся утверждать, что имеет право проводить здесь выработку, и преподал крестьянину основные понятия горного дела. Не понимая чуждой терминологии, крестьянин задавал преглупые вопросы, а зрители, чувствуя свое превосходство, хохотали от души. Рудокоп старался просветить невежду, доказывая ему, что выгода придется и на его долю, если скрытые сокровища будут выкопаны из-под земли. Поначалу крестьянин грозился поколотить чужака, но мало-помалу смягчился, и расстались они в добром согласии; спор закончился к вящей славе рудокопа.

— Этот коротенький диалог служит ярким примером того, сколь полезен для всех сословий может быть театр, — говорил Вильгельм за столом, — какую выгоду получит само государство, если показывать на театре человеческие дела, труды и начинания лишь с хорошей, похвальной стороны, подавая их в том свете, в каком они должны быть чтимы и охраняемы самим государством. Ныне мы изображаем только смешные стороны людей; сочинитель комедий подобен егидному цензору, который бдительным оком повсюду выискивает проступки своих сограждан и радуется, когда может уличить их. Разве не приятным и достойным делом для государственного мужа было бы созерцать естественное взаимное влияние всех сословий и руководить трудом писателя, в достаточной дозе наделенного юмором? Не сомневаюсь, что таким путем могут быть сочинены весьма занимательные, а с тем вместе полезные и веселые пьесы.

— Куда меня ни заносила судьба, — заметил Лаэрт, — #9632; повсюду только и знают, что запрещать, препятствовать и отклонять, а руководят, поощряют и награждают очень редко. Все на свете может идти как попало, пока не обернется бедой, а тогда, спохватившись,

в гнев бьют и крушат.

— Бросьте вы государство и государственных мужей, — вставила Филина, — иначе как в париках я их себе не представляю, парик же, на ком бы он ни был, вызывает у меня в пальцах судорожные подергивания; мне хочется сорвать его с почтенного вельможи, прыгать с ним по комнате и дразнить плешивца.

Филина положила конец разговору, превосходно исполнив несколько веселых песенок, и поторопила с отъездом, чтобы успеть воротиться к вечеру, когда канатные плясуны будут показывать свое искусство. Не зная удержу озорным прихотям, она и на возвратном пути щедро одаряла бедняков, пока наконец у нее и у ее спутников не иссякли деньги, тогда она через дверцу бросила какой-то девушке свою соломенную шляпку, а нищей старухе — шейный платок.

Она пригласила обоих спутников к себе домой, потому что, по ее словам, от нее представление будет виднее, чем из окон другой гостиницы.

Приехав, они увидели, что подмостки сооружены и задний план сцены украшен коврами. Уже были устроены трамплины, слабый канат прикреплен к столбам, а тугой натянут на козлах. На площади собралось порядочно народу, а у окон расположилась избранная публика.

Сперва паяц, своим балагурством вызывавший взрывы хохота, подстрекнул интерес публики и настроил зрителей на веселый лад. Дети, чьи тела изгибались невероятнейшим образом, пробуждали то удивление, то ужас, и Вильгельм чувствовал глубокую жалость, глядя, как девочка, которая с первой минуты пробудила в нем участие, через силу принимает замысловатые позы. Но вслед за тем резвые прыгуны вызвали веселое оживление, начав кувыряться в воздухе вперед и назад, сперва поодиночке, потом друг за дружкой и, наконец, всем скопом. Публика разразилась рукоплесканиями и восторженными криками.

Но тут общее внимание обратилось на предмет иного рода: на канат один за другим стали взбираться дети, причем первыми умышленно пустили учеников, дабы они рядом упражнений продлили зрелище и наглядно показали всю трудность своего искусства. Несколько взрослых мужчин и женщин выступили тоже, проявив изрядную ловкость. Но это не были еще мосье Нарцисс и мамзель Ландринетта.

Наконец из-за красных занавесей сооружения в виде шатра выступили и эти двое, своим приятным обликом и красивыми нарядами оправдав самые радужные надежды зрителей. Он — черноглазый живчик среднего роста, с густой шевелюрой, она — не менее складного и крепкого телосложения; один за другим показали они на канате легкость движений, прыжков и сложнейших поз. Ее грация, его смелость, четкость в выполнении обоими головоломных трюков с каждым прыжком и шажком усиливали всеобщий восторг. Благо-\*родство манер, подчеркнутое почтение окружающих делали их как бы господами над всей труппой, и всякий счел их достойными такого ранга.

Воодушевление толпы сообщилось и зрителям у окон; дамы не спускали глаз с Нарцисса, мужчины — с Ландринетты. Толпа шумно выражала свой восторг, и даже публика поважнее не удержалась от рукоплесканий; шуткам паяца почти уже не смеялись. И очень немногие постарались улизнуть, когда несколько участников труппы протиснулись сквозь толпу с оловянными тарелками для сбора денег.

— На мой взгляд они хорошо справились со своим делом, — сказал Вильгельм Филине, которая рядом с ним полулежала на подоконнике. — Меня восхищает, с каким верным расчетом сумели они в надлежащее время один за другим подать даже самые пустяковые номера, дабы усилить впечатление, из неловкости детей и виртуозности мастеров скомпоновав нечто целое, которое сперва подстрекает любопытство, а затем приятнейшим образом развлекает нас.

Толпа мало-помалу разбрелась, и площадь опустела, меж тем как Филина и Лаэрт заспорили о стати и сноровке Нарцисса и Ландринетты, поддразнивая друг друга. Вильгельм заметил, что странная девочка стоит на улице, глядя, как играют другие дети, и указал на нее Филине, которая с присущей ей живостью стала звать девочку к себе, а когда та не пошла, сама, напевая и стуча каблучками, сбежала по лестнице и привела ее наверх.

— Вот эта загадка, — объявила она, втаскивая девочку в дверь.

Та остановилась на пороге, как будто намереваясь сразу вышмыгнуть вон, приложила правую руку к груди, левую ко лбу и низко поклонилась.

— Не бойся, милое дитя, — сказал Вильгельм, направляясь к ней.

Она нерешительно взглянула на него и сделала несколько шагов навстречу.

— Как тебя звать? — спросил он.

— Меня называют Миньонной.

— Сколько тебе лет?

— Никто не считал их.

— Кто был твой отец?

— «Большой черт» испустил дух.

— Что за вздор! — воскликнула Филина.

Девочке задали еще несколько вопросов; она отвечала на ломаном немецком языке и необычайно торжественным тоном, всякий раз прикладывая руку к груди и ко лбу и низко склоняя голову.

Вильгельм смотрел на нее не отрываясь. Его взгляд и сердце неотразимо влекла загадочность этого создания. На вид ей казалось лет двенадцать-тринадцать; она была хорошо сложена, только конечности ее обещали в дальнейшем большой рост или говорили о его задержке. Черты лица были неправильные, но примечательные; лоб, овеянный тайной, необычайно красивый нос, а губы хоть и были слишком плотно сжаты для ее лет и кривились временами, но никак не утратили юную искренность и прелесть. Смуглый цвет лица еле проступал сквозь румяна. Ее образ глубоко проник в душу Вильгельма; он неотступно смотрел на нее, в своем созерцании забыв об окружающих. Филина вспугнула его полузабытьем, сунув девочке остатки сластей и сделав ей знак удалиться. Девочка отвесила такой же, как раньше, поклон и мгновенно скрылась за дверь.

Прежде чем приспело время расстаться в этот вечер, новые знакомцы условились о прогулке на завтрашний день. Они задумали опять отобедать на новом месте, в охотничьем домике по соседству с городом. В течение вечера Вильгельм еще не раз принимался восхвалять Филину, на что Лаэрт откликался краткими игривыми репликами.

На другое утро они снова поупражнялись часок в фехтовании и направились к гостинице Филины, увидев, как туда подъехала заказанная карета. Но каково же было удивление Вильгельма, когда карета исчезла, а главное, самой Филины не оказалось дома. Им объяснили, что она села в экипаж и уехала вместе с двумя явившимися нынче утром незнакомцами. Наш друг, ожидавший приятного времяпрепровождения в ее обществе, теперь не мог скрыть досаду. А Лаэрт только засмеялся и заметил:

Вполне в ее духе! Тем мне она и нравится! Давайте — ка отправимся напрямик к охотничьему домику; пусть проводит время где хочет, а нам незачем по ее милости лишаться прогулки.

Дорогой, слушая, как Вильгельм не перестает возмущаться такой непоследовательностью поведения, Лаэрт возразил:

— Я не могу назвать непоследовательным человека, который следует своей натуре. Когда Филина что-нибудь задумает или обещает, под этим подразумевается, что она выполнит задуманное или сдержит обещанное, ежели это придется ей кстати. Она щедра на подарки, но надо быть готовым к тому, что она потребует подаренное обратно.

— Поистине странная натура, — заметил Вильгельм.

— Ничуть не странная, просто она не лицемерка. Потому я и люблю ее, потому я ей и друг, что она в столь чистом виде являет собой тот пол, ненавидеть который у меня достаточно причин. Я вижу в ней настоящую Еву, праматерь женского пола; все они таковы, только не желают это признать.

Когда за разговорами такого рода, в которых Лаэрт с большим жаром высказывал ненависть к женскому полу, — не объясняя, однако, ее причины, — они добрались наконец до леса, Вильгельм был в полном расстройстве духа, потому что речи Лаэрта живо привели ему на память его связь с Марианой. Неподалеку от бегущего в тени ручейка, под купой великолепных старых деревьев они увидели Филину, которая в одиночестве сидела у каменного стола. Она встретила их веселой песенкой, а когда Лаэрт спросил об ее спутниках, заявила:

— Я их хорошо проучила! Так над ними насмеялась, как они заслуживали. Еще по дороге я попробовала испытать их щедрость и, заметив, что они из тех, кто не охоч сорить деньгами, решила примерно их наказать. Приехав, они спросили слугу, что здесь можно получить, и тот привычной скороговоркой перечислил все, что есть и далее чего нет. Я увидел! их смущение: они переглядывались, запинались, спрашивали

10 ценах. «Что вы так долго ломаете головы! Кушанье дело женское, предоставьте эту заботу мне!» — вмешалась я и тут же принялась заказывать головокружительную трапезу, для которой кое за чем еще понадобилось отправить посыльных по соседству. Слуга, которому я украдкой подмигнула, вошел со мной в заговор, и мы так запугали их роскошью предстоящего пиршества, что они отговорились прогулкой в лес, откуда навряд ли воротятся. Я целых четверть часа хохотала одна, и опять меня смех берет, как только вспомню их рожи.

За столом Лаэрт привел схожие случаи, и оба наперебой принялись вспоминать смешные истории, разные проказы и подвохи; знакомый им молодой горожанин, бродивший по лесу с книжкой, подсел к их столу и стал восхищаться живописной местностью. Он призывал обратить внимание, как журчит ручей, как колышутся ветви, падают солнечные блики и поют птицы. Филина спела песенку про кукушку, явно не понравившуюся пришельцу; он поспешил откланяться.

— Только бы ничего не слышать о природе и картинах природы! — воскликнула Филина, едва он удалился. — Нет ничего противнее, чем предвосхищать удовольствие разговором о нем. Когда погода ясная — идешь гулять, как танцуешь, когда играет музыка. Но кто хоть на миг вспомнит о музыке или погоде? Нам интересен танцор, а не скрипка,[15] и голубым глазам куда как приятно глядеть в красивые черные глаза. Могут ли с этим сравниться всякие там источники, и ручейки, и замшелые старые липы?

Говоря так, она смотрела сидевшему напротив Вильгельму прямо в глаза таким взглядом, который, помимо его воли, проникал по меньшей мере до порога его сердца.

— Вы правы, — слегка смешавшись, признал он, — человек человеку интересней всего, да, пожалуй, это должно быть единственным, что ему интересно. Все остальное, что нас окружает, лишь атмосфера, в которой мы живем, или орудие, которым пользуемся. Чем больше мы задерживаем на них внимание, придаем им значение и печемся о них — тем слабее становится сознание собственной ценности и человеческой общности. Те, кто полагают большую цену в садах, домах, нарядах и украшениях, менее общительны и обязательны; они упускают из виду людей, порадовать и сплотить которых дано немногим избранным. Разве не наблюдаем мы того же на театре? Хороший актер сразу же заставляет нас забыть убогие, негодные декорации, меж тем как при богатстве постановки особенно чувствуется отсутствие хороших актеров.

После обеда Филипа расположилась в тени на высокой траве. А обоим своим друзьям наказала принести побольше цветов. Из них она свила себе и надела на голову пышный веночек, который необычайно красил ее. Цветов достало и на второй веночек; она принялась плести

его, а оба мужчины уселись рядом. Когда венки под шутки и намеки были за- кончен, она со всей возможной грацией увенчала им Вильгельма, передвигая его так и эдак, пока он не оказался на месте.

— Мне, как видно, суждено остаться ни с чем, — заметил Лаэрт.

— Вот и нет, — возразила Филина, — вы в убытке не бу «дете! — Она сняла венок с себя и надела на Лаэрта.

— Будь мы соперниками, — сказал он, — нам не миновать бы жаркого спора, кто из нас двоих более отличен.

— И оба показали бы себя дураками, — заявила она, перегнулась к Лаэрту и подставила ему рот для поцелуя, но тут же обернулась, обняла Вильгельма и крепко поцеловала его в губы. — Который вкуснее? — задорно спросила она.

— Чудо, да и только! — воскликнул Лаэрт. — Такое никогда не обернется польнью.

— Как и всякий дар, если его вкушать без зависти и тщеславия. А теперь мне хочется часок потанцевать, — заявила Филина. — Потом надо поспеть на представление наших прыгунов.

Когда они вошли в дом, там как раз играла музыка. Филина, превосходная плясунья, раззадорила обоих своих кавалеров. Вильгельм показал себя довольно ловким, но неискушенным в танцах. Новые друзья взялись его подучить.

К представлению они опоздали. Канатные плясуны уже начали демонстрацию своего искусства. На площади собралось изрядное количество зрителей, однако наших друзей, когда они вышли из кареты, озадачила суматоха у ворот гостиницы, где остановился Вильгельм, привлекая много народа. Вильгельм бросился туда посмотреть, что случилось, и, протиснувшись сквозь толпу, с ужасом увидел, что хозяин ин трупы канатных плясунов за волосы тащит из дома загадочную девочку и немилосердно колотит хрупкое тельце рукояткой хлыста.

С быстротой молнии ринулся на него Вильгельм и схватил его за грудь.

— Отпусти ребенка! — вне себя закричал он. — Иначе одному из нас несдобровать.

С такой силой, какую дает лишь гнев, стиснул он негодяю горло, едва не задушив его; тот выпустил девочку и стал отбиваться от противника. Кое-кто из тех, что жалели девочку, но не хотели ввязываться в драку, сразу же набросились на канатоходца и отняли у него хлыст, не скупясь на угрозы и поношения. А тот, лишившись всякого оружия, кроме языка, принялся браниться и сквернословить. Эта ленивая, негодная тварь отлынивает от своих обязанностей — не желает проплясать танец между яйцами, который обещан им публике. Он забудет ее до смерти, и никто не смеет ему помешать. Он пытался вырваться, чтобы поймать девочку, юркнувшую в толпу. Вильгельм держал его и кричал:

— Ты не увидишь девочку и не притронешься к ней, пока не признаешься перед судом, где ты ее украл; я тебя допеку, ты от меня не уйдешь!

Вильгельм произнес эту речь в запальчивости, не задумываясь, по какому-то неосознанному чувству или, если угодно, по наитию; однако она мигмом утихомирила разъяренного фигляра.

— На что мне нужна эта негодная тварь! — крикнул он. — Уплатите мне, сколько стоит ее платье, и можете оставить ее себе; мы нынче же с вами столкуемся.

С тем он бросился продолжать незаконченное представление и умиротворить зрителей рядом сложных трюков.

Когда шум улегся, Вильгельм стал разыскивать девочку, но ее нигде не было. Одни будто бы видели ее на чердаке, другие на крышах ближайших домов. Обыскав все вокруг, пришлось смириться и ждать, не явится ли она по своей охоте.

Тем временем в гостиницу воротился Нарцисс, и Вильгельм попытался разузнать у него о судьбе и происхождении девочки. Тот ничего о ней не знал, будучи в труппе новичком, но взамен пространно и весьма беспечно рассказал о собственной своей судьбе. Когда Вильгельм поздравил его с большим успехом у публики, он отнесся к этому весьма хладнокровно.

— Мы привыкли, чтобы над нами смеялись и удивлялись нашим фокусам; но от самого шумного успеха у нас ничего не прибывает. Антрепренер платит нам что положено, а сам управляет как знает.

Он откланялся и заспешил прочь.

На вопрос, куда он так торопится, молодой человек с улыбкой признался, что наружностью своей и талантом завоевывает себе успех более весомый, нежели рукоплескания публики. Несколько особ женского пола прислали ему записки, где высказываются настоятельные желания поближе познакомиться с ним, и он сомневается, что успеет покончить со всеми визитами до полуночи. Он пустился в откровенности на предмет своих походов и готов был указать имена, улицы и дома, но Вильгельм уклонился от таких нескромных излияний и учтиво спровадил его.

Лаэрт, тем временем занимавший разговором Ландринетту, уверял, что она вполне достойна быть и оставаться женщиной.

Затем начался торг с антрепренером касательно Миньоны, которая и была уступлена нашему другу за тридцать талеров с тем, что вспыльчивый чернобородый итальянец отказывался от всяких на нее прав, однако о происхождении девочки он сообщил лишь, будто взял ее к себе после смерти брата, а того за необычайную ловкость прозвали «Большим чертом».

Следующее утро почти полностью ушло на розыски девочки. Тщетно были обшарены все уголки в доме и по соседству; она исчезла, и уже

люди стали опасаться, что она бросилась в воду или порешила себя иным способом.

Прелести Филины не могли отвлечь нашего друга от беспокойства. Весь день он провел в печальных размышлениях. Да и вечером, когда прыгуны и плясуны надрывались, чтобы показать себя перед публикой в наилучшем свете, душу его ничто не могло рассеять и развлечь.

От притока народа из окрестных мест число зрителей неслыханно увеличилось, а следовательно, и снежный ком успеха вырос до грандиозных размеров. Чрезвычайное впечатление произвел прыжок через шпаги и сквозь бочку с бумажным дном. Ко всеобщему испугу, изумлению и ужасу, силач уперся головой и ногами в отодвинутые друг от друга стулья, а на его повисшее в пустоте тело водрузили наковальню, на которой несколько резвых кузнечных подмастерьев выковали подкову.

Все представление достойно завершила невиданная в здешних краях так называемая «геркулесова крепость», когда внизу стоит первый ряд мужчин, на их плечах — второй, на нем, в свою очередь, — ряд женщин и юношей, а все вместе образуют живую пирамиду, которую в виде шпилья или флюгера венчает поставленный на голову ребенок. Нарцисса и Ландринетту остальные участники труппы пронесли в портшезах на своих плечах по главным улицам города под восторженные клики толпы. Им бросали ленты, букеты цветов, шелковые платки и теснились, чтобы взглянуть им в лицо. Каждый почитал себя счастливым, увидав их и удостоясь их взгляда.

— Какой актер, какой писатель да и вообще любой человек не считал бы, что достиг вершины своих желаний, если бы вызвал столь дружный отклик благородным словом или добрым делом? Какое было бы счастье с той же молниеносной быстротой сообщать добрые, благородные, достойные человечества чувства, возбуждать такой же восторг, как эти люди своей физической сноровкой; если бы можно было внушить толпе сочувствие ко всему человечеству, если бы понятием о счастье и несчастье, мудрости и глупости, даже о безрассудстве и скудоумии можно было ее воодушевить, возмутить и дать толчок к свободному, живому и бескорыстному движению ее коснеющей души!

Так говорил наш друг, но, не видя ни у Филины, ни у Лаэрта расположения к дальнейшей дискуссии, он сам с собой продолжал рассуждать на свои излюбленные темы, допоздна гуляя по городу и со всей пылкостью и свободой не знающего узды воображения воскрешая давнюю свою мечту воплощать на сцене все доброе, благородное и великое.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

Назавтра, не успели с шумом, с гамом отбыть канатные плясуны, как тотчас же объявилась Миньона, придя в залу, где Вильгельм и Лаэрт вновь занимались фехтованием.

— Куда же ты запропала? — приветливо спросил Вильгельм. — Мы очень о тебе тревожились.

Девочка, не отвечая, смотрела на него.

— Теперь ты наша, мы тебя купили, — крикнул ей Лаэрт.

«— Сколько же ты заплатил? — сухо спросила девочка.

— Сто дукатов, — отвечал Лаэрт, — отдай их и будешь свободна.

А это много? — спросила девочка.

— Еще бы! Так что постарайся хорошо себя вести.

— Я буду служить, — отрезала она. С этой минуты она Зорко примечала, как прислуживает здешний лакей обоим приятелям, и уже назавтра не стала допускать его в комнату, все старалась делать сама и выполняла свои обязанности хотя медленно и нерасторопно, однако исправно и с великим тщанием.

То и дело подходила она к кувшину с водой и так усердно, так рьяно мыла себе лицо, что чуть не в кровь разодрала себе скулы, пока Лаэрт вопросами и насмешками не выведал у нее, что она любым способом хочет смыть румяна со щек, принимая красноту от трения за остатки неподатливых румян. Когда ее разубедили и уgomонили, у нее обнаружился прекрасный смуглый цвет лица, оживленный налетом румянца.

Сам не решаясь себе признаться, сколь сильно занимают его прельстительные чары Филины и фантастическое появление Миньоны, Вильгельм проводил беспорядочные дни в Этом странном обществе, оправдывая себя прилежными упражнениями в искусстве фехтования и танца, к чему, казалось ему, не так скоро вновь представится случай.

Немало удивился и даже обрадовался он приезду супругов Мелина, которые после радостных приветствий поспешили осведомиться о театральной директрисе и остальных актерах и, к ужасу своему, услышали, что антрепренерша выбыла уже давно, остальные же, за малым исключением, разъехались кто куда.

Молодая чета, союзу которой, как мы знаем, способствовал Вильгельм, безуспешно пыталась получить ангажемент и наконец направилась в здешний городок, где, по словам встреченных в пути людей, имелся порядочный театр.

При знакомстве Филине никак не пришлось по душе мадам Мелина, а пылкому Лаэрту — господин Мелина. Им хотелось поскорее избавиться от вновь прибывших, и Вильгельм не мог настроить их на более благосклонный лад, как ни доказывал, что приезжие — отличнейшие люди.

Правду сказать, увеличение компании во многом повредило развеселому житью троих наших искателей приключений; Мелина сразу же начал торговаться и придираться в гостинице (он взял номер там же, где квартировала Филина). За меньшую мзду он требовал, чтобы

ему дали компаньона, помнили пообильнее, угождали поусерднее. Вскоре хозяин и слуги уже встречали его с хмурой миной, и меж тем как остальные со всем миром, лишь бы жить беззаботно, и спешили расплатиться, лишь бы не вспоминать, сколько чего съедено, Мелина, аккуратно рассчитываясь за обед, пачинал обсуждать блюдо за блюдом, так что Филина, не долго думая, прозвала его жвачным животным.

Еще противней легконравной девице была мадам Мелина. Эта молодая особа обладала некоторым образованием, но ума и души была решительно лишена. Недурно декламируя, она рвалась декламировать без конца; однако вскоре обнаружилось, что это чисто словесная декламация, где выделялись отдельные места, но отсутствовало ощущение целого. При всем том она отнюдь не казалась неприятной, в особенности мужчинам. Напротив, те, что общались с ней, обычно приписывали ей ясный ум, ибо она была тем, что я бы определил одним словом восприимчива; другу, чье уважение ей было важно, она умела польстить особенно кстати, проследить как можно дальше ход его мыслей, когда же мысли эти совершенно выходили за пределы ее разума, восторженно приветствовать нечто столь новое.

Она умела и говорить и молчать, и хотя в натуре ее не было коварства, она умела неприметно нащупать слабую сторону собеседника,

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Мелина, не теряя времени, навел точные справки об остатках прежней антрепризы. Декорации и костюмы были отданы в заклад нескольким торгашам, а некий нотариус получил указание от антрепренерши, если найдутся охотники, на определенных условиях спустить все это с рук. Мелина решил осмотреть вещи и потащил с собой Вильгельма. Когда для них отперли кладовые, Вильгельм почувствовал к этому скарбу влечение, в котором не хотел признаться себе самому. Как ни плачевны были на вид грубо немалеванные декорации и неказисты турецкие и языческие одежды, старые карикатурные мужские и женские наряды, мантии колдунов, евреев и попов, — он не мог отделаться от ощущения, что счастливейшие минуты его жизни связаны с подобным хламом. Если бы Мелина мог заглянуть к нему в душу, он куда пастончивее потребовал бы от него достаточную сумму, чтобы выкупить, восстановить и наново соединить разрозненные части в прекрасное целое.

— Каким бы я мог стать счастливым, — воскликнул Мелина, — будь у меня две сотни талеров, чтобы для начала войти во владение этими основными предметами театрального обихода. Мигом сколотил бы я небольшую труппу, которая не замедлила бы прокормить нас и в здешнем городе, и в округе.

Вильгельм промолчал, и оба в задумчивости покинули вновь запертые сокровища.

С тех пор у Мелины не было другого разговора, кроме прожектов и предположений, как бы устроить театр, от которого можно получать выгоду. Он пытался вовлечь в дело Филину и Лаэрта, а Вильгельму было предложено ссудить денежек под поручительство. Нашему другу лишь теперь стало вполне ясно, что не следовало так долго задерживаться здесь; он отклонил предложение и стал было собираться в дорогу.

Между тем он все больше пленялся обликом и нравом Миньоны. Во всем поведении ее было что-то своеобразное. Вверх и вниз по лестнице она не ходила, а прыгала; то вспорхнет на перила, а не успеешь оглянуться, она уже на шкафу и некоторое время сидит там не шевелясь. Вильгельм подметил также, что с каждым она здоровадается по-разному. Его она с недавних пор приветствовала, сложив руки на груди крестом. Иногда она целые дни молчала, в другой раз лишь отвечала на вопросы, и всегда необычно, да так, что не поймешь, шутит она или плохо знает язык, говоря на ломаном немецком вперемежку с итальянским и французским. В исполнении своих обязанностей она была неутомима, вставала с рассветом, зато рано исчезала вечером, спала в каморке на голом полу и упорно отказывалась от кровати или соломенного тюфяка. Часто Вильгельм заставлял ее за умыванием. Да и одежда на ней была опрятная, хотя вся латаная-перелатаная. Вильгельму рассказали также, что каждое утро она ходит к ранней обедне; пойдя однажды за ней в церковь, он увидел, что она стоит в уголке на коленях и, перебирая четки, истово молится. Его она не заметила, а он, идучи домой, много думал, стараясь понять это своеобразное существо, но ни до чего определенного не додумался.

Когда Мелина снова стал кланяться денег на выкуп пресловутого театрального реквизита, Вильгельм еще больше укрепился в намерении уехать. Он решил нынче же, благо был почтовый день, написать своим, давно не имевшим о нем сведений; он и в самом деле начал письмо к Вернеру и уже порядком продвинулся в описании своих походов, причем незаметно для себя многократно отступал от истины, как вдруг с огорчением увидел на обратной стороне листка несколько стихов, которые раньше начал списывать из своей записной книжки для мадам Мелина. В сердцах порвал он листок и отложил повторение своих признаний до следующего почтового дня.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Наша компания снова собралась вместе, и Филина, которая внимательно следила за каждой лошадей, скакавшей мимо, за каждым проезжавшим экипажем, воскликнула, оживившись:

— Наш педант! Приехал наш милейший педант! А кого же это он привез?

Она кричала и кивала в окно, пока повозка не остановилась.

Оттуда слез жалкого вида персипаж, которого по серо — бурому сюртуку и поношепным панталонам можно было счесть за магистра, из тех, что плесневеют по ученым заведениям; приветствуя Филину, он снял шляпу, обнажив плохо напудренный, но очень туго завитой парик, а Филина ответила на поклон градом воздушных поцелуев.

Как ей нравилось любить одних мужичи и наслаждаться их любовью, так же не отказывала она себе в удовольствии бесцеремоннейшим образом поднимать на смех других, которых в данное время не любила.

Из-за шума, который она подняла при встрече со старым приятелем, все позабыли о следовавших за ним спутниках. Однако Вильгельму показались знакомыми и обе женщины, и вошедший с ними пожилой мужчина. Вскоре он и в самом деле припомнил, что несколько лет

Позад не раз видел всех троих среди участников труппы, игравшей в его родном городе. Дочери с тех пор выросли, но старик почти совсем не изменился. Обычно он играл добродушных ворчунов, которыми не скудеет немецкий театр, да и в обыденной жизни они встречаются нередко. Ибо в натуре наших соотечественников творить добро без лишнего парада, а потому им не приходит в голову, что существует способ облекать хорошие дела в изящную и привлекательную форму, и они из духа противоречия впадают в ошибку, прибегая к контрасту и сочетая добродетельнейшие поступки с самой что ни на есть хмурой миной.

Подобные роли паш актер играл очень хорошо, играл исключительно их и притом столько раз, что и в обыденной жизни усвоил такое же поведение.

Вильгельм разволновался, едва лишь узнал его, и тотчас же вспомнил, как часто видел этого человека рядом со своей возлюбленной Марианой; ему еще слышался сварливый голос старого ворчуна и ласковые увещевания, которыми она во мпогих ролях давала отпор его грубым выходкам.

На первый нетерпеливый вопрос к вновь прибывшим, можно ли где-нибудь устроиться, был, увы, получен отрицательный ответ с пояснением, что в какой труппе ни спросить, нигде вакансий нет, и мало того, некоторые еще беспокоятся, что из-за предстоящей войны даже те труппы, что есть, неминуемо распадутся. Сварливый старец с дочками из каприза и любви к перемене мест отказался от превосходного ангажемента и, встретив дорогой педанта, вместе с ним нашел карету, чтобы добраться сюда, а тут, оказывается, тоже не знают, как быть.

Пока остальные живо обсуждали свое положение, Вильгельм сидел, задумавшись. Ему хотелось наедине поговорить со стариком, — он мечтал и страшился услышать что-нибудь о Мариане и пребывал в жестоком смятении.

Его не могли оторвать от дум заигрывания вновь прибывших дам; но вспыхнувшая перебранка заставила его прислушаться. Выяснилось, что Фридрих, белокурый мальчуган, который прислуживал Филине, на сей раз решительно не пожелал накрывать на стол и сервировать кушанья.

— Я обязывался услужать вам, — кричал он, — а не быть на побегушках у всех на свете.

Они ожесточенно заспорили. Филина требовала, чтобы он исполнял свои обязанности, он же наотрез отказывался; тогда она, не долго думая, заявила, чтобы он убирался, куда ему заблагорассудится.

— Вы думаете, я не могу без вас прожить? — выкрикнул он, упрямо повернулся, вышел и, связав свой узелок, выбежал вон из дома.

— Ступай, Миньона, — приказала Филина, — добудь что нам надобно! Позови слугу и помоги подавать на стол.

Миньона подошла к Вильгельму и, по своему обычаю, лаконически спросила:

<- Это нужно? Это можно?

— Делай, Дитя мое, что велит тебе мамзель, — отвечал Вильгельм.

Девочка все приготовила и целый вечер исправнейшим образом прислуживала гостям.

После ужина Вильгельм постарался увести старика одного на прогулку; после расспросов о том, как ему жилось последнее время, разговор перешел на прежнюю труппу, и Вильгельм отваягился наконец спросить о Мариане.

— Не говорите мне об этой мерзкой твари, — вскричал старик, — я дал зарок не вспоминать о ней.

Вильгельма напугала такая вспышка, однако еще больше растерялся он, когда старик начал поносить ее распущенность и развращенность. Как был бы он рад пресечь этот разговор; но теперь ему поневоле пришлось выслушивать громогласные излияния старого чудака.

— Мне стыдно былой к ней привязанности, — продолжал тот. Но знали бы вы ее поближе, то, конечно, оправдали бы меня. Она была так мила, так проста и добра, так приветлива! Словом, во всех отношениях приятна. Никогда бы я не подумал, что наглость и неблагодарность — главные свойства ее натуры.

Вильгельм уже собрался с духом, готовясь услышать о ней наихудшее, но вдруг с удивлением заметил, как смягчился голос старика, — речь его стала прерывистой и совсем оборвалась, когда он достал из кармана носовой платок, чтобы утереть слезы.

— Что с вами? — воскликнул Вильгельм. — Что дало столь внезапный и крутой поворот вашим чувствованиям? Ничего не скрываете от меня, в судьбе этой девушки я принимаю больше участия, нежели вы полагаете; так откройте же мне все.

— Мне почти нечего рассказывать, — отвечал старик, вновь переходя на обычный строгий и досадливый тон. — В жизни не прощу ей всего, что мне пришлось из-за нее вытерпеть. Она всегда доверчиво относилась ко мне, — продолжал он, — я же любил ее, как родную дочь, и еще при жизни жены решил взять к себе, вырвав ее из рук старухи, наставления которой не сулили ей добра. Но жена умерла, и план мой рухнул.

К концу пребывания в вашем родном городе, — а тому без малого три года, — я подметил, что она загрустила, а на мои вопросы только отмалчивалась. Наконец мы собрались в путь. Она поместилась в одной со мною карете, и тут я заметил, да и сама она призналась, что ждет ребенка и очень боится, как бы наш директор не выгнал ее. Вскорости он тоже обнаружил это и тотчас расторг с ней контракт, все равно истекавший через полтора месяца; заплатил, сколько ей причиталось, и, не слушая никаких резов, бросил ее на дрянном постоялом дворе ближайшего городишка.

— Черт бы побрал всех гулящих девок! — сердито выкрикнул старик»- А эту особливо. Сколько она мне в жизни отравила часов! К чему рассказывать, какое участие я принимал в ней, что делал для нее, как болел за нее душой и даже па расстоянии о ней заботился. Лучше кинуть свои деньги в воду, лучше убивать время на дрессировку шелудивых псов, чем отдать\* хоть каплю внимания подобной твари. Как было дальше? Сперва я получал благодарственные письма и весточки из мест ее пребывания, а затем ни слова, ни даже благодарности за деньги, которые я послал к ее разрешению. Да уж, притворство и ветреность как нельзя удачнее сочетаются в женщинах, чтобы уготовить им легкую жизнь, а честным малым — много горьких минут!

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Нетрудно представить себе, в каком состоянии духа возвращался домой Вильгельм после этой беседы. Вскрылись все старые раны, и вновь ожило сознание, что она не так уж была недостойна его любви. Расположение к ней старика, похвалы, которые помимо воли прорывались у него, воскресили перед нашим другом все ее очарование; даже в явных обвинениях вспылчивого актера не было ничего такого, что могло бы ее опорочить в глазах Вильгельма. Ведь он сам признавал себя соучастником ее прегрешений, а за молчание, казалось ему, нельзя было ее порицать; наоборот, оно натолкнуло его на грустные думы, он представил себе, как она роженицей и молодой матерью без поддержки скитается по свету, скитается, должно быть, с кровным его детищем, и от Этих мыслей у него щемило сердце.

Миньона его дождалась и посветила ему на лестнице. Поставив свечу, она попросила дозволения развлечь его нынче вечером одним из своих акробатических фокусов. Он предпочел бы уклониться, тем более что не знал, чего ему ждать. Но отказать такой доброй душе никак не мог. Немного погодя она появилась вновь. Под мышкой у нее был ковер, который она расстелила на полу. Вильгельм ей не препятствовал. Вслед за тем она принесла четыре свечи и поставила по свече на каждый угол ковра. Когда она вслед за этим принесла корзиночку с яйцами, намерение ее стало яснее. Искусно отмеряя шаги, она принялась ходить взад-вперед по ковру и раскладывать яйца на определенном расстоянии, потом позвала гостиничного слугу, умевшего играть на скрипке. Он встал со своим инструментом в углу; Миньона завязала себе глаза, подала знак и, словно заведенный механизм, начала двигаться под музыку, подчеркивая кастаньетами такт и напев.

Ловко, легко, быстро и четко выполняла она танцевальные па. Так смело и решительно вонзалась носком между яйцами и рядом с ними, что казалось, вот-вот она либо раздавит одно, либо в стремительном повороте отшвырнет другое. Но нет! Она не задела ни одного, хотя проскальзывала сквозь ряды то мелким, то крупным шагом, а то и прыжками, под конец же почти что ползком.

Безостановочно, как часы, совершала она свой путь, и странная музыка всякий раз наново подхлестывала все возобновляющийся и набирающий размах танец. Вильгельм был заморожен странным зрелищем; он позабыл свои заботы, следя за каждым движением милого сердцу создания, и только изумлялся, насколько полно выражался в этом танце харак\* тер девочки.

Она была строга, суха, резка, а в плавных позах скорее величава, чем нежна. В эти мгновения он вновь испытывал к Миньоне то чувство, которое не раз уже являлось у него. Ему хотелось взамен собственного ребенка заключить в свое сердце это заброшенное существо и, прижав к груди с отцовской любовью, пробудить в нем радость жизни.

Танец пришел к концу. Миньона осторожно ногами подкатила яйца друг к дружке, собрала в кучку, ни одного не забыла, ни одного не повредила и сама стала рядом, сняв повязку с глаз и завершив выступление поклоном.

Вильгельм поблагодарил ее за то, что она так превосходно и неожиданно исполнила танец, который ему хотелось посмотреть. Он приласкал ее, пожалел за то, что она так посудилась, и обещал ей новое платье, на что она с жаром.

— Твоего цвета!

Это он тоже обещал, хоть и не знал толком, что она имеет в виду. Она сложила яйца, взяла под мышку ковер, сносила, нет ли у него каких приказаний, и вышмыгнула в дверь.

От скрипача он узнал, что все последнее время она из сил выбивалась, напевая ему мотив, пока с голоса не научила играть танец, который был знаменитым фанданго. Она даже предлагала заплатить за труды, но он ничего не взял с нее.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

После беспокойной ночи, которую друг наш частично провел без сна, частично мучась кошмарами, когда ему виделась Мариана то в расцвете красоты, то в самом жалком состоянии: то она держала на руках ребенка, то его отнимали у нее, — не успело рассвети, как уже явилась Миньона в сопровождении портного. Она принесла серое сукно и голубую тафту и в своей решительной манере объяснила, что желает иметь новую курточку и матросские штаны, в каких ходят городские мальчики, только с голубыми отворотами и лентами.

Потеряв Мариану, Вильгельм перестал носить яркие тона. Он пристрастился к серому, к цвету теней, и лишь голубая подпушка или воротничок того же голубого цвета несколько оживляли неброский наряд. Миньоне не терпелось носить его цвета, она торопила портного, который пообещал вскорости сдать работу.

Упражнения в танцах и фехтовании, которыми друг наш занимался с Лаэртом, нынче не ладились, к тому же были прерваны появлением Мелины, который вновь взялся доказывать, что налицо уже есть небольшая труппа, — значит, вполне можно ставить целый ряд спектаклей. Он возобновил предложение Вильгельму авансировать некоторую сумму на первое устройство, от чего тот вновь уклонился.

Вскоре к ним со смехом и гомоном ворвались Филина и девушки. Они придумали новую прогулку — перемена места и обстановки была для них самым желанным удовольствием. Каждый день обедать в другом месте было вершиной их стремлений. На сей раз они замыслили путешествие по воде.

Педант успел уясе заказать лодку, которая должна была везти их вниз по течению живописной реки, следуя ее извилам. Филина



поторапливала, никто не противился, и вся компания не мешкая погрузилась на борт.

— Чем же мы займемся? — спросила Филина, как только они расселись по скамьям.

— Проще всего симпровизировать спектакль, — предложил Лаэрт. — Пускай каждый возьмет роль по себе, и посмотрим, что у нас получится.

— Превосходно! — одобрил Вильгельм. — Ведь в такой компании, где никто не притворяется, где каждый следует лишь своим наклонностям, дружба и довольство очень непрочны, а там, где царит притворство, их и вовсе не бывает. Посему удачнейшая затея — допустить притворство заранее, а затем под маской позволить себе быть откровенным сколько вздумается.

— Да, — подхватил Лаэрт, — недаром так приятно годиться с женщинами, ведь они-то никогда не обнаруживают истинной своей натуры.

— Это потому, что они менее самонадеянны, нежели мужчины, — вмешалась мадам Мелина, — те считают себя неотразимыми в том виде, в каком сотворила их природа.

Тем временем лодка плыла между приятными глазу рощами и холмами, садами и виноградниками, и молодые женщины не уставали восторгаться ландшафтом. Особенно усердствовала мадам Мелина; она даже принялась с пафосом декламировать недурные стихи в описательном роде, где изображалась сходная картина природы; однако Филина прервала ее и предложила издать такой закон, чтобы никто не смел упоминать о неодушевленных предметах; зато она горячо поддержала затею с импровизированным спектаклем. Ворчливому старику она назначила быть отставным офицером, Лаэрту — безработным учителем фехтования, педанту — евреем; сама она пожелала сыграть тирольку, остальным же предоставила самим выбирать себе роли. Изображать им надлежало общество незнакомых между собой людей, только-только собравшихся на торговом корабле.

Филина сразу же начала разыгрывать сцену с евреем, вызвав всеобщий смех.

Не успели они проехать совсем немного, как лодочник tietBOBM судно, чтобы с разрешения всей компании взять на борт человека, подававшего знаки с берега.

— Это нам как раз и требовалось! — воскликнула Филина. — Среди путешественников не доставало безбилетного пассажира.

В лодку вошел статный мужчина, в котором по одежде и почтенной наружности нетрудно было признать духовное лицо. Он приветствовал присутствующих, которые поблагодарили его на свой лад, посвятив в свою забаву. Он тут же взял на себя роль сельского священника и, к общему удивлению, провел ее отменнейшим образом, то наставляя, то потешая остальных побасенками, не боясь показать кос-какие свои слабые стороны, но не поступаясь собственным досто\* инством.

Меж тем с каждого, кто хоть однажды выходил из своего образа, брали фант. Филина бережно собирала их, а главное, грозила при розыгрыше надавать кучу поцелуев пастору, хотя тот ни разу не проштрафился, зато Мелина разорился в пух и прах: запонки, пряжки, словом, все, что было на нем съемного, забрала Филина, потому что он пытался изображать путешествующего англичанина и никак не мог войти в роль.

Время текло наиприятнейшим образом, каждый изоощрялся как мог в выдумках и острологии, и каждый уснащал свою роль занимательными и забавными шутками. Так достигли они того места, где собирались провести весь день; и на прогулке у Вильгельма завязался интересный разговор о пасторе, как мы будем называть его по причине наружности и взятой на себя роли.

— Я считаю, что такого рода упражнение весьма полезно среди актеров да и в кругу друзей и знакомых, — говорил незнакомец. — Это наилучший способ оторвать человека от себя и окольным путем вновь его к себе вернуть. Следовало бы ввести в каждой труппе, чтобы там время от времени поупражнялись на такой манер, да и публика только выиграла бы, если бы каждый месяц ставилась ненаписанная пьеса, однако и к ней актеры, конечно, должны подготавливаться целым рядом репетиций.

— Разумеется, невозможно представить себе импровизированную пьесу как полный экспромт, — отвечал Вильгельм, — и для нее должен быть задан план, сюжет и деление на сцены, а уж исполнение надо предоставить актерам.

— Совершенно верно, — подтвердил незнакомец, — и что до исполнения, то подобная пьеса по-настоящему усовершенствуется, едва лишь актеры войдут в роль. Я подразумеваю не только исполнение в словах, коими мыслящий писатель призван украсить свой труд, но и в жестах, мимике, возгласах и во всем, что к тому причитается, короче говоря, ту игру, немую и приглушенную, которая у нас как будто совсем сходит на нет. Правда, есть еще в Германии актеры, чье тело выражает их чувства и мысли, у кого молчание, колебание, кивок, легкое грациозное телодвижение предваряют речь и паузы в диалоге связываются с целым путем изящной пантомимы; однако упражнение, которое пришло бы на помощь природной одаренности и научило ее соперничать с писателем, такого рода упражнение гораздо менее в ходу, чем было бы желательно на радость любителям театра.

— Но разве природная одаренность, альфа и омега всего, не может сама по себе привести актера и всякого другого художника, да, пожалуй, и человека вообще, к поставленной перед ним высокой цели? — возразил Вильгельм.

— Спору нет, она есть и будет альфой и омегой, началом и концом для художника; но посередине он вдруг почувствует, что ему чего-то недостает, если образование не сделало его тем, чем ему прежде всего надлежит быть, притом образование раннее; пожалуй, тому, кого признали гением, приходится хуже, чем просто одаренному человеку; ибо гения легко сбить с толку, его неудержимо влечет на ложные пути.

— Но ведь гений сам способен спасти себя и залечить причиненные себе увечья, — заметил Вильгельм.

— Отнюдь нет или с большим трудом, — возразил незнакомец, — не верьте, будто можно преодолеть первые юношеские впечатления.

Если человек рос в атмосфере разумной свободы, в красивой, благородной обстановке, в общении с хорошими людьми, если наставники учили его тому, что надо знать раньше всего, дабы легче постигать остальное, и то, чему он научился, никогда не придется переучивать, а первые его поступки так были направляемы, чтобы впредь ему легче и удобнее было творить добро, ни от чего не отучаясь, — такой человек, конечно, сделает свою жизнь чище, полноценней и счастливей, нежели другой, растративший юношеские силы на бунтарство и заблуждения. Столько у нас говорят и пишут о воспитании, а что-то мало я вижу людей, которые постигли бы простой, но глубокий смысл понятия, включающего в себя все остальное, и применили его к действительности.

— Это, пожалуй что, верно, — согласился Вильгельм, — ведь каждый человек от скудости ума старается воспитать другого по собственному подобию. А посему счастлив тот, о ком печется судьба, по-своему воспитывая каждого.

— Судьба солидный, но не дешевый гувернер, — с улыбкой возразил собеседник, — я скорее положился бы на разум наставника-человека. Пред мудростью судьбы я питаю должное благоговение, но у нее может оказаться весьма неловкий исполнитель в лице случая. Редко бывает, чтобы он верно и точно осуществлял наказания судьбы.

— Странную мысль высказали вы, — заметил Вильгельм.

— Отнюдь нет! То, с чем мы сталкиваемся в мире, по большей части оправдывает мое суждение. Разве не бывает так, что события, которые поначалу представляются очень значительными, частенько оборачиваются сущей ерундой?

— Это, конечно, шутка!

— Да ведь то же случается и с отдельными людьми, — продолжал незнакомец. — Допустим, судьба назначила кому-то стать хорошим актером (почему бы ей, между прочим, не обеспечивать нас хорошими актерами?), но, как на грех, случай натолкнул юношу на кукольный театр, где он не успел вовремя уклониться от участия в явной пошлятине, удовлетворился и даже увлекся заведомым вздором, а значит, с неверной стороны усвоил юношеские впечатления, которые не изглаживаются никогда, и мы навсегда сохраняем некую приверженность к ним.

— Почему вы упомянули кукольный театр? — спросил огорошенный Вильгельм.

— Я взял первый попавшийся пример; если он вам не нравится, возьмем другой. Допустим, судьба назначила кому-то стать великим художником, а случай пожелал загнать его юность в грязные лачуги, в хлева и сараи, Як неужто, по-вашему, подобный человек когда-нибудь поднимется до чистоты, до благородства и душевной свободы. Чем живее воспринял он в юности эту грязь и на свой лад облагородил ее, тем неотвратимее будет она мстить ему в дальнейшей жизни, ибо, стараясь ее побороть, он тесно сросся с нею. Кто провел ранние годы среди дурных, ничтожных людей, все равно, даже попав впоследствии в лучшее общество, будет стремиться к тем, кто в памяти его слился с юношескими, обычно неповторимыми радостями.

Естественно, что во время этого разговора остальное общество мало-помалу разбрелось. Первой свернула в сторону Филина. Но боковой дорожкой все снова вернулись к ним. Филина предъявила фанты, которые надо было разыграть на разный манер, причем незнакомец остроумной изобретательностью и непринужденной общительностью покорила всех, особенно дам, и день прошел наиприятнейшим образом, среди шуток, песен, поцелуев и шалостей.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Собравшись домой, они стали искать своего священника, но он исчез, и найти его нигде не удалось.

\_\_\_ Неучтиво со стороны человека, как будто благовоспитанного, не простившись, покинуть общество, столь приветливо его принявшее, — заявила мадам Мелина.

— А мне все время казалось, что я где-то уже видел этого чудака, — сказал Лаэрт. — Я решил спросить его об этом на прощание.

— То же было и со мной, — подхватил Вильгельм. — Я бы не отпустил его, не настояв, чтобы он рассказал о себе поподробнее. Могу поручиться, что однажды уже беседовал с ним.

— Не ручайтесь, — возразила Филина. — У него только видимость знакомого, потому что он похож на человека, а не на всякий сброд.

— Как так? — возмущился Лаэрт. — Мы что же — на людей не похожи?

— Я знаю, что говорю, — настаивала Филина, — если вам это непонятно, ничего не поделаешь. Недоставало еще, чтобы я объясняла свои слова.

Подъехали две кареты. Лаэрта, заказавшего их, похвалили за рачительность. Филина села рядом с мадам Мелина, Вильгельма посадила напротив, а все прочие разместились как могли.

Сам Лаэрт возвратился в город верхом на лошади Вильгельма, которую тоже привели.

Не успела Филина расположиться в карете, как стала надевать приятные песенки и направила разговор на повести, вторые, по ее словам, с успехом можно переделать в пьесы. JNbk ловким маневром она мигом привела нашего молодого ДДОга в отличное расположение духа, и он, черпая из своего богатого запаса образов, не замедлил составить целый спектакль с действиями, сценами, персонажами и перипетиями; решено было вставить туда несколько арий и песенок; их тут же и сочинили, а Филина, входившая во все, сразу же подобрала к ним известные мелодии и экспромтом спела их.

Сегодня она была на редкость в ударе, веселым поддразниванием раззадоривая нашего друга; ему стало легко на душе, как не бывало

уже давно.

После того как жестокое открытие оторвало его от Марианы, он оставался верен зароку не попадаться в ловушку женских объятий, избегать вероломного женского пола, замкнуть в груди свои муки, увлечения и сладостные желания. Неуклонная верность зароку втайне будоражила все его существо, и сердце не могло оставаться безутешным, настойчиво требуя любовного участия. Он ходил как в отроческом угаре, радостно схватывая взором каждый милый образ, и никогда ранее суждение его о привлекательных созданиях не бывало столь снисходительным. Увы, нетрудно предугадать, сколь опасна при таком состоянии была для него задорная девица.

Дома застали они комнату Вильгельма вполне готовой к приему, стулья для слушателей были составлены в кружок, а на середину выдвинут стол, на который предстояло водрузить пуншевую чашу.

В ту пору внове были немецкие рыцарские драмы,[16] привлечшие внимание и благоволение зрителей. Старый ворчун принес с собой произведение такого рода, и решено было его прочитать. Все расселись. Вильгельм завладел рукописью и приступил к чтению.

Рыцари в латах, старинные замки, прямодушие, правдивость и честность действующих лиц, особенно же их независимость встретили дружное одобрение. Чтец старался изо всех сил, слушатели не помнили себя от восторга. Между вторым и третьим актами была внесена огромная чаша с пуншем, и так как в самой пьесе очень много пили и поднимали заздравные чары, то вполне естественно, что присутствующие каждый раз ставили себя на место героев и пили в свой черед, возглашая здравие полюбившихся им персонажей.

Все были воодушевлены благороднейшими национальными чувствами. Как нравилось этим немецким актерам согласно их природе предаваться поэтическим восторгам на родной почве! Их потрясали сводчатые подвалы, полуразрушенные замки, мхи, дуплистые деревья, а превыше всего ночные сцены в цыганском таборе и тайное судилище. Каждый актер уже видел себя в шлеме и латах, каждая актриса жаждала, надев высоченный воротник, явить себя публике истой германкой.

Каждый хотел сейчас же присвоить себе имя из пьесы или из немецкой истории, а мадам Мелина уверяла, что окрестит ожидаемое дитя, сына или дочь, не иначе как Адельбертом или Мехтильдой.

К пятому акту успех стал еще шумнее и громогласнее, а под конец, когда герой избавился от своего угнетателя и тирана постигла кара, все в приливе восхищения твердили, что не знавали в жизни более счастливых часов. Мелина, разгоряченный возлияниями, шумел пуще всех, а после того, как была осушена вторая пуншевая чаша и близилась полпочь, Лаэрт клялся и божился, что ни один человек не достоин более пригубить от этих бокалов, и с тем швырнул свой бокал через плечо на улицу, разбив окно. Остальные последовали его примеру, и, невзирая на вопли прибежавшего трактирщика, была вдребезги разбита сама пуншевая чаша, дабы после такого праздника ее не осквернили другим, нечестивым напитком. Не в пример обеим девушкам, развалившимся на кушетке далеко не в пристойных позах, у Филины опьянение не сказывалось слишком явно, зато она злорадно подстрекала остальных к дебоширству. Мадам Мелина декламировала возвышенные вирши, а супруг ее, не очень учтивый во хмелю, честил неумелое приготовление пунша, утверждал, что умеет куда удачнее устроить пирушку, и под конец, когда Лаэрт велел ему замолчать, совсем распоясался и разорался так, что тот, не долго думая, швырнул ему в голову осколок чаши, чем довел шум до предела.

Тут подоспел ночной дозор и потребовал, чтобы его впустили в дом. Вильгельм, разгоряченный скорее чтением, нежели вином, ибо пил он немного, поспешил с помощью хозяина умаслить дозорных деньгами и уговорами, а затем Отвел по домам упившихся гостей. Едва он воротился к себе, сон сморил его, и он в прескверном состоянии духа, не раздевшись, бросился на кровать. Ни с чем не сравнишь то тягостное чувство, с каким он на другое утро, открыв глаза, цѣлѣвчѣм взором окинул вчерашний разгром и безобразие — \$6 недобрые следы, что остались от умного, яркого, благо — мысленного поэтического творения.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

По кратком размышлении он не мешкая вызвал к себе трактирщика и велел записать на свой счет и убытки и угощение. Тут же он с огорчением узнал, что Лаэрт вчера на возвратном пути так загнал его лошадь, что она, как говорят, засекается, и кузнец не обещает выправить ее.

Зато кивок Филины, которым она приветствовала его из своего окошка, привел его снова в веселое расположение духа, и он поспешил в соседнюю лавку купить ей подарочек, чтобы отблагодарить за ножик, но, надо сознаться, не удержался в пределах равноценного презента. Он купил ей не только хорошенькие сережки, но прибавил к ним шляпку, косынку и еще кое-какие мелочи, из тех, что она в первый день знакомства беспечно расшвыряла у него на глазах.

Мадам Мелина, увидевшая, как он преподносил свои дары, постаралась еще до обеда настоятельнейше предостеречь его против увлечения этой девицей, чем он был крайне озадачен, ибо считал, что менее всего заслужил такого рода упрёки. Клятвенно заверял он, что, зная образ жизни этой особы, даже не помышлял волочиться за ней; он, как мог, постарался оправдать свое учтивое и дружественное обхождение, однако ни в коей мере не убедил мадам Мелина; наоборот, она надулась больше прежнего, поняв, что лестью, которой она заслужила некоторое расположение нашего друга, ей не оградить свое завоевание против натиска более молодой, веселой, от природы щедрее одаренной особы.

Когда все собрались к столу, оказалось, что муж ее тоже прескверно настроен; он уже начал было придирааться ко всякой мелочи, но тут вошел хозяин и сообщил, что явился арфист.

— Вам, конечно, понравятся и песни и музыка старика, — уверял трактирщик. — Всякий охотно послушает его и не преминет наградить монеткой.

— Гоните его! — заявил Мелина. — Я нимало не расположен слушать какого-то шарманщика. Среди нас самих найдутся певцы, которые тоже не прочь заработать. — С этими словами он злобно покосился на Филину.

Уловив его взгляд, она еще пуще его озлила, взяв под защиту неизвестного певца. Оборотясь к Вильгельму, она сказала:

— Неужто мы не станем его слушать? Неужто не попытаемся избавиться от этой несносной скуки?

Мелина попытался ей возразить, и чуть было не разгорелся спор, но Вильгельм приветливо встретил вошедшего в этот миг человека и кивком подозвал его.

Облик неожиданного гостя поверг всех в изумление, а тот успел уже сесть на стул, прежде чем кто-нибудь собрался с духом задать ему вопрос или вымолвить хоть слово. Голый адреп его окаймляла узкая кромка седых волос, большие голубые глаза кротко глядели из-под пушистых седых бровей. От красиво очерченного носа спускалась длинная седая бровь ДОЗД ив закрывая приятного склада губ. И длинное темно — коричневое одеяние облекало статную фигуру от шеи до самых пят; поставив перед собой арфу, он взял вступительные аккорды.

©р извлекаемых им из инструмента мелодических звуков одисуетйющие сразу повеселели.

— Говорят, вы, дедушка, и петь умеете? — произнесла Филина.

— Спойте нам что-нибудь такое, чем можно усладить не только слух, но также ум и сердце, — попросил Вильгельм. — Инструменту доляно лишь сопровождать голос; ибо мелодии, пассажи и переливы без слов и смысла напоминают мне мотыльков или красивых пестрых птичек, которые мелькают перед нами в воздухе, будя в нас желание непременно схватить и присвоить их, песня же, как добрый гений, поднимается в небо, маня за собой наше лучшее «я».

Старик поглядел на Вильгельма, затем ввысь, взял на арфе несколько аккордов и запел. Он возносил хвалу песне, славил счастье певцов и призывал людей почитать их. Пел он так страстно и правдиво, как будто сочинял свою песню, сейчас и для этого случая. Вильгельм едва сдерживался, чтобы не броситься ему на шею; лишь боязнь вызвать взрыв смеха удерживала его на месте, потому что остальные уже обменивались вполголоса преглупыми замечаниями и спорили — поп это или еврей.

Когда старика спросили, кто сочинил эту песню, он дал ^определенный ответ и стал только уверять, что песнями он богат и желает одного — угодить ими. Компания в большинстве своем развеселилась и расходилась вовсю; сам Мелина стал общителен на свой лад. И под игривую болтовню собравшихся старик запел исполненную ума похвальную песнь дружеству. Проникновенными звуками славил он согласие и доброжелательность. Но голос его сразу стал сухим, резким и отрывистым, когда он начал порицать неприязненную скрытность, недалекновидную вражду и опасную рознь, и каждый рад был сбросить с души стеснительные путы, когда певец вознесся на крыльях взявшей верх мелодии, воспел миротворцев и блаженство душ, обретших друг друга.

Не успел он кончить, как Вильгельм вскричал: — Кто бы ни был ты, явившийся нам милосердным духом — покровителем, чей голос исполнен животворной благодати, — прими мою признательность и преклонение. Верь, что все мы восторгаемся тобой, и не таись от нас, если у тебя есть в чем-нибудь нужда.

Старик молчал, перебирая струны пальцами, затем громче ударил по ним и запел:

«Что там за звуки пред крыльцом?

За гласы пред вратами?

В высоком тереме моем

Раздайся песнь пред нами!..»

Король сказал, и паж бежит.

Вернулся паж, король гласит:

«Скорей впустите старца!»

«Хвала вам, витязи, и честь,

Вам, дамы, обожанья!..

Как звезды в небе перечесть?

Кто знает их названья?

Хоть взор манит сей рай чудес,

Закройся взор, не время здесь

Вас праздно тешить, очи!»

Седой певец глаза смежил

И в струны грянул живо,

У смелых взор смелей горит,

У жен поник стыдливо...

Пленился царь его игрой  
И шлет за цепью золотой —  
Почтить певца седого.  
«Златой мне цепи не давай.  
Награды сей не стою,  
Ее ты рыцарям отдай  
Бесстрашным среди бою,  
Отдай ее своим дьякам,  
Прибавь к их прочим тяготам  
Сие златое время!..  
По божьей воле я пою  
Как птичка в поднебесье,  
Не чая мзды за песнь свою —  
Мне песнь сама возмездье!  
Просил бы милости одной:  
Вели мне кубок золотой  
Вином наполнить светлым!».  
Он кубок взял и осушил  
И слово молвил с жаром:  
«Тот дом сам бог благословил,  
Где это — скудным даром!  
Свою вам милость он пошли  
И вас утешь на сей земли,  
Как я утешен вами!»[17]

Когда певец, окончив, взял наполненный для него бокал и, с приветливой улыбкой оборотясь к своим благотворителям, осушил его, общество восторженно зашумело. Ему хлопали и желали, чтобы вино пошло на пользу ему, на укрепление его немощного старческого тела. Он спел еще несколько романсов, все более поднимая дух слушателей.

— Старик, знаешь ты мотив песенки «Плясать отправился пастух»? — крикнула Филина.

— Конечно, — ответил он, — если вы пожелаете исполнить ее, за мной дело не станет.

Филина поднялась и встала в позу. Старик заиграл мелодию, и она спела песню, которую мы не решаемся передать нашим читателям, боясь, как бы они не нашли ее тривиальной, а то и вовсе непристойной.

Тем временем компания все более веселела, а опорожнив бутылок вина, стала изрядно шумлива. Но у нашего Друга еще свежи были в памяти недобрые следствия такого разгула, и дабы пресечь это, он сунул в руку старику щедрую плату за труды, остальные добавили что-то от себя, после чего его отпустили отдохнуть, предвкушая на вечер повторное удовольствие от его мастерства.

Когда старик ушел, Вильгельм обратился к Филине:

— По правде говоря, в вашей любимой песенке я не усматриваю ни поэтических, ни нравственных достоинств.

Однако же, если вы с той же наивностью и с тем же изяществом и своеобразием исполните когда-нибудь на театре нечто более благоприличное, всеобщее горячее одобрение вам обеспечено.

— Да, — отвечала Филина, — должно быть, приятно погреться об лед.

— А вообще, — продолжал Вильгельм, — этот старик может посрамить любого актера. Заметили вы, как правильно с точки зрения

драматический подавал он свои романсы? В его пении было куда больше выразительности, нежели в наших неповоротливых персонажах на сцене; исполнение некоторых пьес можно скорее считать за рассказ а в его музыкальных рассказах звучат живые человеческие чувства.

— Вы не правы! — возразил Лаэрт. — Я не считаю себя большим актером и певцом, но знаю одно: когда музыка управляет движениями тела, сообщая им жизнь и вместе с тем указывая такт, когда декламация и выражение заранее заданы мне композитором, я совсем не тот, каким бываю в прозаической драме, когда мне самому надо все это создавать, самому придумывать ритм декламации, с которого к тому же меня может сбить любой партнер.

— Мне ясно только, что старик устыдил нас в одном вопросе, и притом в вопросе кардинальном, — заявил Мелина. — Размер его талантов измеряется той пользой, которую он из них извлекает. Хотя нам вскоре, может быть, не на что будет пообедать, этот старик побуждает нас разделить с ним наш сегодняшний обед. Те деньги, на которые мы могли как-то устроиться, он выманивает у нас из кармана своей песенкой. Как видно, приятное дело — швыряться деньгами, вместо того чтобы обеспечить существование себе и другим.

Это замечание придало разговору малоприятный оборот. Вильгельм, к которому, собственно, и относился упрек, ответил довольно запальчиво, а Мелина, не отличавшийся особой деликатностью, высказал свое недовольство в достаточно резких выражениях.

— Прошло около двух недель, — заявил он, — с тех пор, как мы осмотрели оставленные здесь в залог театральные принадлежности и гардероб, — то и другое мы могли получить за весьма умеренную плату. Вы тогда обнадежили меня, что ссудите мне такую сумму, но пока что я не вижу, чтобы вы обдумали это дело и приблизились к какому-то решению». Помогите вы тогда, дело было бы уже на мази. Не осуществили вы и своего намерения уехать и на траты, как я успел заметить, не были скупы; кстати, есть такие особы, которые всегда найдут повод способствовать транжирству.

Не лишенный основания упрек живо задел нашего друга. Он принялся возражать с жаром, даже с возмущением, но, увидев, что присутствующие встают и расходятся, бросился к двери, недвусмысленно давая понять, что не желает долее находиться в обществе столь нелюбезных и неблагодарных людей. Раздосадованный, сбегал он вниз, сел на каменную скамью у ворот своей гостиницы, не замечая, что выпил лишнего, то ли на радостях, то ли с досады.

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Спустя некоторое время, когда он все сидел, понурясь, во власти разных тревожных дум, из дверей дома неторопливо выплыла Филина и под села к нему, можно сказать, прямо на колени, так тесно она придвинулась, и, опершись ему на плечо, играла его кудрями, гладила его, утешала самыми что ни есть ласковыми словами. Она молила не уезжать, не бросать ее одну в компании людей, среди которых пропадешь со скуки. Ей стало невозможно жить под одной кровлей с Мелина, и потому она переселилась сюда.

Тщательно старался он отделаться от нее, доказывал, что не может и не должен оставаться здесь дольше. Она не отступалась и вдруг обвила ему шею руками и принялась целовать его со страстным вожделением.

— Вы что, с ума сошли, Филина? — крикнул Вильгельм, дакясь высвободиться. — Зачем допускать всю улицу в свидетели таких ласк, которых я ничем не заслужил. Пустите Шя — я не могу остаться и не останусь.

— А я тебя удержу, — твердила она, — и до тех пор буду целовать при всех, пока не добьюсь, чего желаю. Ох, со смею умереть можно! После таких интимностей люди, конечно, сочтут, что у нас с тобой медовый месяц, и мужья, увидев эту прельстительную сцену, будут ставить женам в пример мое детское, непринужденное изъяснение чувств.

Тут как раз появились прохожие, и она принялась умильным образом ласкать его, а он, дабы не вышло конфуза, был вынужден играть роль терпеливого супруга. Вдогонку прохожим она строила гримасы и под конец до того утратила меру пристойности в своем озорстве, что Вильгельм поневоле пообещал ей остаться еще нынче, завтра и послезавтра.

— Бесчувственный чурбан, вот вы кто! — заявила она в ответ и отстранилась от него. — И ради чего я, дура, трачу на вас столько нежности?

Поднявшись в обиде, она сделала несколько шагов; но тут же воротилась, смеясь, и воскликнула:

— Впрочем, верно, оттого я и влюбилась в тебя. Пойду — ка я возьму спицы и буду вязать чулок, лишь бы не сидеть сложа руки. А ты побудь тут, чтобы я застала каменного истукана на каменной скамье.

На сей раз она была к нему несправедлива; как ни владел он собой, но, очутись они сейчас в укромной беседке, вряд ли ее ласки остались бы безответными.

Бросив ему задорный взгляд, она направилась в дом. Он совсем не был расположен следовать за ней, мало того, ее поведение даже усугубило в нем неприязнь; и все же он встал и, сам толком не понимая, почему, пошел следом.

Только он собрался переступить порог, как подоспел Мелина и смиренно заговорил с Вильгельмом, прося прощения за резкие слова, вырвавшиеся у него в пылу спора.

— Не обижайтесь на меня, если я в своем плачевном положении бываю не в меру вспыльчив: забота о жене, а может статься, и о будущем ребенке не позволяет мне жить беспечно день за днем, наслаждаясь приятностями жизни, как это еще доступно вам. Обдумайте все и, если есть у вас такая возможность, помогите мне приобрести имеющийся здесь театральный инвентарь. Должником вашим я буду недолго, но навеки сохраню к вам признательность.

Недовольный тем, что его задержали у двери, куда он недолимо стремился в порыве влечения к Филине, Вильгельм растерянно, с торопливой готовностью ответил:

— Незачем дольше и раздумывать, если это составит ваше счастье и благополучие. Ступайте и улаживайте все, как надобно. Я готов расплатиться нынче же вечером или завтра поутру.

В подтверждение своих слов он пожал Мелине руку и с удовольствием увидел, как тот поспешно удаляется по улице; но, увы, перед его вторжением в дом встала новая и более досадная помеха.

По улице поспешно приближался юнец с узелком за спиной; когда он подошел, Вильгельм сразу же узнал в нем Фридриха.

— Вот и я! — воскликнул тот, обводя радостным взглядом больших голубых глаз верхние и нижние окна. — А где же мамзель? Какого черта мне маяться, не видя ее?

— Она наверху, — сказал подошедший к ним хозяин, и юноша несколькими прыжками взбежал наверх, а Вильгельм как вкопанный застыл на пороге. В первое мгновение ему хотелось за волосы стащить мальчишку вниз; но затем жестокий пароксизм яркой ревности сковал его чувства и помыслы, а когда оцепенение мало-помалу прошло, им овладело такое томление, такая тревога, каких он еще не знал в жизни.

Он пошел к себе в комнату и застал Миньону за писанием. С некоторых пор девочка усердно записывала то, что знала наизусть, и давала своему другу и хозяину исправлять написанное. Она была сметлива и не знала устали, только буквы по-прежнему получались неровные, а строчки шли криво. И здесь, как видно, дух ее был не в ладу с телом. Обычно, когда Вильгельм бывал спокоен, его очень радовало прилежание девочки, но на сей раз он не проявил интереса к тому, что она ему показывала; она сразу это почувствовала и огорчилась тем сильнее, что на сей раз считала урок выполненным совсем хорошо.

Тревога гнала Вильгельма вверх и вниз по коридорам гостиницы, а затем снова к выходной двери. В этот миг подскочил всадник, весьма почтенный и по своим летам вполне бодрый на вид. Хозяин кинулся к нему навстречу, как старому приятелю протянул ему руку, восклицая:

— Наконец-то опять пожаловали, господин шталмейстер!

— Я только хочу задать корма коню, — отвечивал не — гйкаронец, — мне нужно поскорее добраться до имения и кое — чего приготовить. Граф прибывает завтра вместе с супругой, Он Пробудут некоторое время, чтобы оказать достойнейший прием принцу, который как будто намерен расположить в здешних местах свою главную квартиру.

— Жалко, что вам нельзя остаться, — посетовал хозяин, — у нас тут собралось отменное общество.

Конюх, подскакавший следом, принял лошадь у шталмейстера, который, беседуя с трактирщиком на пороге, искоса поглядывал на Вильгельма.

Заметив, что речь идет о нем, Вильгельм удалился и пошел бродить по улицам.

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Томясь досадливой тревогой, он надумал навестить старика, в надежде, что тот своей арфой спугнет злых духов. На его расспросы ему указали дрянной постоялый двор в дальнем конце городка, где он взобрался по лестнице на самый чердак, а там из одной каморки до него донеслись нежные звуки арфы. Струны звенели трогательной жалобой, им сопутствовала печальная, скорбная песня. Вильгельм приткнулся к двери: старец исполнял своеобразную фантазию, где напевно или речитативом повторялись одни и те же строфы, так что слушавший, напрягая внимание, кое-как разобрал следующее:

Кто с хлебом слез своих не ел,

Кто в жизни целыми ночами

На ложе, плача, не сидел,

Тот незнаком с небесными властями.

Они нас в бытие манят —

Заводят слабость в преступленья

И после муками казнят:

Нет на земле проступка без отмщенья![18]

Грустная, идущая от сердца жалоба глубоко проникла в душу к слушателю. Ему казалось, что временами слезы прерывают песню старика; тогда звучали одни лишь струны, пока к ним вновь не примешивался тихий срывающийся голос. Вильгельм стоял у дверного косяка, потрясенный душевно; скорбь незнакомца разрешала стеснение его сердца, ответное страдание захлестнуло его, он не мог и не хотел сдерживать слезы, которые наконец исторгла и у него из глаз задушевная жалоба старика. Разом нашли исход все муки, что щемили его грудь, он всецело отдался им во власть и, распахнув дверь каморки, предстал перед старцем, которому негде было сидеть, кроме как на убогой кровати, единственном предмете обстановки в этом жалком жилище.

— Какие чувства оживил ты для меня, славный старик! — воскликнул он. — Ты дал выход всему, что скопилось у меня в сердце; продолжай же без смущения дарить счастье другу, смягчая собственные горести.

Старик хотел встать и что-то сказать, но Вильгельм остановил его, еще за обедом заметив, что говорит он неохотно, и сам подсел к нему на тюфяк.

Старик утер слезы и с приветливой улыбкой спросил:

— Как вы сюда попали? А я думал явиться к вам нынче вечером.

— Здесь нам спокойнее, — - объяснил Вильгельм. — *Спои мне что хочешь, что отвечает твоему состоянию, считай, будто меня и нет здесь. Сдается мне, что нынче ты не можешь фальшивить. Ты мне представляешься счастливым оттого, что можешь столь приятно занять и развлечь себя в одиночестве, что, будучи повсюду чужим, ты обрел приятнейшего собеседника в собственном сердце.*

Старик глянул на струны арфы и, мягко сыграв вступление, запел:

Кто одинок, того звезда

Горит особняком.

Все любят жизнь, кому нужда

Общаться с чудачком?

Оставьте боль мучений мне.

С тоской наедине

Я одинок, но не один

В кругу своих кручин.

Как любящий исподтишка

К любимой входит в дом,

Так крадется ко мне тоска

Днем и при свете ночника,

При свете ночника и днем,

На цыпочках тайком.

И лишь в могиле под землей

Она мне даст покой.[19]

Как бы ни были мы многословны, нам не удалось бы передать все очарование удивительной беседы между нашим другом и диковинным незнакомцем. На все, что говорил юноша, старик отвечал гармоническим созвучием струн, пробуждавшим столь знакомые чувства, дававшим простор воображению.

Кто когда-нибудь побывал на собрании людей благочестивых, почитающих себя способными очистить, просветить и возвысить душу без содействия церкви, тот может составить себе некоторое понятие об этой сцене; он вспомнит, что литург[20] умеет так подобрать к своим словам стих песнопения, чтобы направить полет души, куда угодно ему, оратору; а вслед за тем другой член общины добавит стих другого песнопения на другой напев, за ним третий вступит с третьим стихом, вследствие чего хоть и приходят на память родственные мысли песнопений, из коих эти стихи почерпнуты, однако в новой связи каждая строка звучит по-новому, по-своему, словно ее только что сочинили; тем самым из знакомого круга понятий, из знакомых песнопений и речений для данного собрания, для данной минуты создается нечто целое, наслаждение коим оживляет, укрепляет и одушевляет собравшихся. Так и старик наставлял своего гостя знакомыми и незнакомыми песнями и строками, вовлекая в круговорот привычные и чуждые чувства, бодрствующие и дремлющие, отрадные и тягостные ощущения, что для нашего друга могло быть лишь благотворно при нынешнем состоянии его духа.

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

И в самом деле, на возвратном пути он живет, чем когда — либо прежде, нарисовал себе свое положение и, с решимостью вырваться из него, дошел до дому, где трактирщик доложил ему по секрету, что мамзель Филина покорила сердце графского шталмейстера, который, управившись со своим делом в поместье, поспешил воротиться сюда и теперь вместе с ней вкушает отменный ужин наверху, в ее комнате.

Тут как раз появился Мелина в сопровождении нотариуса; втроем направились они в комнату Вильгельма, и он не без колебания исполнил то, что обещал, под вексель выложил Мелине триста талеров, а тот незамедлительно вручил их нотариусу, против расписки о приобретении всего театрального оборудования, которое завтра должно поступить в его распоряжение.



Не успели они расстаться, как Вильгельм услышал страшный крик в доме. Он различил молодой голос, гневно и угрожающе прорвавшийся сквозь отчаянный плач и вопли. Он услышал, как жалостное стенание пронеслось мимо его двери сверху вниз, на площадку перед домом.

Когда наш друг, подстрекаемый любопытством, спустился вниз, он застал Фридриха в полном исступлении. Мальчик плакал, скрежетал зубами, топал ногами, грозил кому-то кулаками, словом, не помнил себя от ярости и обиды. Миньона стояла напротив, растерянно глядя на него. Хозяин в общих чертах объяснил происходящее.

Когда мальчик воротился, Филина приняла его благосклонно, и он был доволен, игрив, весел, прыгал и пел до той минуты, как шталмейстер познакомился с Филиной. Тут этот подросток, уже не мальчик и еще не юноша, начал проявлять свою досаду, хлопал дверьми, бегал вверх и вниз. Филина приказала ему нынче вечером служить к столу, отчего он озлился и заупрямился хуже прежнего; в конце концов вместо того, чтобы поставить миску с рагу на стол, он швырнул ее между барышней и гостем, сидевшими весьма близко друг к другу, за что шталмейстер вlepил ему две увесистые пощечины и выставил его за дверь. Л самому хозяину пришлось обчищать измаранную одежду на обоих.

Услышав об успехе своей мести, мальчишка громко расхохотался, хотя по щекам его еще катились слезы. Он радовался до тех пор, пока ему не припомнилась обида, нанесенная взявшим верх врагом; тогда он опять принялся реветь и грозиться.

Вильгельма эта сцена заставила призадуматься и устыдиться. Он увидел в ней отражение своих собственных чувств в огрубленном, преувеличенном виде: его тоже сжигала неодолимая ревность; не сдержки его благоприличие, он тоже дал бы волю своему бешенству, со злобным торжеством оскорбил бы предмет своей страсти и бросил вызов сопернику; он рад был бы уничтожить людей, которые существовали точно ему назло.

Лаэрт, подоспевший тем временем, услышав весь рассказ с коварным умыслом поддержал разъяренного мальчика, когда тот стал уверять и доказывать, что шталмейстер обязан дать ему сатисфакцию, — он еще ни разу не спустил ни одного оскорбления; а если шталмейстер откажется, он найдет, как ему отомстить.

Лаэрт был тут в своей стихии — он серьезнейшим образом отправился наверх передать шталмейстеру вызов мальчугана.

— Презабавный казус, — заметил шталмейстер, — никак не ожидал такого развлечения на сегодняшний вечер.

Они пошли вниз, и Филина последовала за ними.

— Сынок, — обратился шталмейстер к Фридриху, — ты славный малый, и я не отказываюсь драться с тобой; однако же неравенство лет и сил и так уж делает это предприятие рискованным, а посему я взамен всякого иного оружия предлагаю рапиры. Мы натрем головки мелом, и кто нанесет первый удар противнику или оставит больше отметин на его кафтане, тот будет считаться победителем, а побежденный угостит его лучшим вином, какое только сыщется в городе.

Лаэрт счел это предложение приемлемым, а Фридрих послушался его, как своего наставника. Принесли рапиры, Фи-4" лина уселась поблизости и, продолжая вязать, невозмутимейшим образом созерцала обоих дуэлянтов.

У шталмейстера, отличного фехтовальщика, достало снисхождения щадить противника и допустить, чтобы тот посадил несколько меловых пятен на его кафтане, после чего они обнялись и было подано вино. Шталмейстер пожелал узнать о происхождении и жизни Фридриха, и тот рассказал басню, которую повторял уже неоднократно и с которой мы намерены познакомить читателя в другой раз.

Меж тем для Вильгельма этот поединок явился завершающим штрихом в картине его собственных чувств; не мог же он отрицать, что сам не прочь был поразить шталмейстера рапирой, а еще лучше шлагой, хотя и сознавал, что намного уступает ему в искусстве фехтования. Филину он не достаивал ни единым взглядом, остерегался малейших слов, могущих выдать его переживания, и, подняв несколько раз бокал за здоровье дуэлянтов, поспешил к себе в комнату, где на него нахлынули сотни неприятных мыслей.

Ему припомнились времена, когда неудержимое, богатое надеждами стремление возносило его дух, когда он, как в родной стихии, купался в живейших наслаждениях всякого рода. Ему стало ясно, что в последнее время он бессмысленно слоняется по свету, лишь отхлебывая от того, что прежде пил бы залпом; но вполне ясно он еще не видел, какую непреодолимую потребность вменила ему в закон природа, а обстоятельства хуже растравили эту потребность, удовлетворив его лишь наполовину и сбив с прямого пути.

А посему надо ли удивляться, что, размышляя о своем состоянии и придумывая, как из него выбраться, он приходил в сильнейшее замешательство. Мало того что ради дружбы к Лаэрту, ради влечения к ФиLINE и сострадания к Миньоне он дольше, чем следовало, задержался в таком месте и в таком обществе, где мог потворствовать своей излюбленной склонности, словно бы украдкой уголяя свои желания, и, не ставя перед собой определенной цели, лелеять свои давнишние мечты; он считал, что найдет в себе силы вырваться из этих обстоятельств и уехать без промедления. Но ведь только что он пустился в денежную аферу с Мелиной, познакомился с загадочным стариком, чью тайну страстно жаждал разгадать. Однако, поразмыслив так и эдак, он решился, или полагал, что решился, всем этим пренебречь.

— Я должен уехать! Я хочу уехать! — восклицал он. Полон смятения, бросился он в кресло. Вошла Миньона и спросила, нужно ли завить ему букли. Она была очень тиха: ее глубоко уязвило то, как он нынче резко спровадил ее.

Ничего нет трогательнее той любви, что возрастала в тиши, той преданности, что крепла втихомолку, — когда в урочный час она наконец проявляет себя и становится очевидна тому, кто дотоле не был ее достоин. Расцвел долго и плотно закрытый бутон, а сердце Вильгельма было как нельзя более отзывчиво в этот миг.

Она стояла перед ним и видела его тревогу.

— Господин мой, что станется с Миньоной, если ты несчастлив? — воскликнула она.

— Милое дитя, — промолвил он, взяв ее руки, — ты тоже одно из больных моих мест. Мне должно уехать.

Она заглянула ему в глаза, блестящие от сдерживаемых слез, и порывисто опустилась перед ним на колени. Он не выпускал ее рук, а она прильнула головой к его коленям и затихла. Он ласково перебирал ее кудри. Она долго не шевелилась. Вдруг он почувствовал, что она дрожит, — сперва чуть заметная, дрожь становилась все сильнее, распространяясь по всему телу.

— Что с тобой, Миньона, — вскричал он, — что с тобой?

Она подняла голову, взглянула на него и вдруг схватилась за сердце, будто пытаясь сдержать боль; он поднял ее, и она упала к нему на колени; он прижал ее к себе и поцеловал. Она не отозвалась ни пожатием руки, ни малейшим движением. Она крепко держалась за сердце и вдруг испустила крик, судорожно дергаясь всем телом, вскочила на ноги и тотчас упала, словно у нее подломились все суставы. Зрелище было ужасное.

— Дитя мое, — воскликнул он, поднимая ее и крепко сжимая в своих объятиях, — что с тобой, дитя мое?

Судороги не унимались, передаваясь от сердца к трясущимся конечностям; она повисла у него в объятиях. Он прижимал ее к груди, орошая слезами. И вдруг она вся напряглась, как бывает, когда терпишь жесточайшую телесную боль, и тут же вновь бурно ожили все ее члены; с быстротой спущенной пружины она бросилась ему на шею, а внутри у нее будто что-то прорвалось; и в тот же миг из ее сомкнутых глаз к нему на грудь хлынул поток слез. Он крепко держал ее. Она рыдала, и не подыщешь слов, чтобы описать безудержную силу этих слез. Длинные волосы распустились и свисали на лицо плачущей, казалось, все ее существо неотвратимо исходит ручьем слез. Оцепеневшие конечности оттаяли, и вся душа ее как будто излилась в слезах, Вильгельму стало страшно, что она истает в его объятиях и ничего не останется от нее. Он все крепче и крепче прижимал ее к себе.

— Дитя мое, — восклицал он, — ты ведь моя, дитя мое! Если это слово может тебя утешить, ты моя, моя! Я останусь с тобой, я не покину тебя!

Слезы ее все еще текли. Наконец она выпрямилась. Лицо ее осветилось теплой радостью.

— Отец мой! — воскликнула она. — Ты меня не покинешь! Ты будешь мне отцом! Я ведь твое дитя.

Нежно зазвучали за дверью струны арфы; старик принес самые свои задушевные песни, как вечернюю жертву другу, который все крепче прижимал к себе свое дитя, исполненный чистейшего несказаннейшего счастья.

## КНИГА ТРЕТЬЯ

### ГЛАВА ПЕРВАЯ

Ты знаешь край лимонных рощ в цвету,

Где пурпур королька прильнул к листу,

Где негой Юга дышит небосклон,

Где дремлет мирт, где лавр заморожен?

Ты там бывал?

Туда, туда,

Возлюбленный, нам скрыться б навсегда.

Ты видел дом? Великолепный фриз

С высот колонн у входа смотрит вниз,

И изваянья задают вопрос:

Кто эту боль, дитя, тебе нанес?

Ты там бывал?

Туда, туда

Уйти б, мой покровитель, навсегда.

Ты с гор на облака у ног взглянул?

Взбирается сквозь них с усилием мул,

Драконы в глубине пещер шипят,

Гремит обвал, и плещет водопад.

Ты там бывал?

Туда, туда

Давай уйдем, отец мой, навсегда![21]

Когда наутро Вильгельм стал разыскивать по дому Миньону, он не нашел ее, но услышал, что она чуть свет ушла с Мелиной, который торопился вступить во владение гардеробом и прочими театральными принадлежностями.

Спустя несколько часов Вильгельм услышал музыку у себя за дверью. Сперва он подумал, что опять явился арфист, но вскоре различил звуки лютни, а вступивший вслед за тем голос был голосом Миньоны. Вильгельм отворил дверь, девочка вошла и пропела песню, которую мы только что привели.

Особенно нашему другу понравились в ней напев и выражение, хотя не все слова были ему вняты с первого раза. Он просил повторить и объяснить строфу за строфой, записал их и перевел на немецкий язык. Однако ему удалось лишь отдаленно передать своеобразие оборотов. Исчезло детское простодушие выражения, меж тем как обрывистая речь получилась гладкой, а непоследовательные мысли — связными. Да и ничто не могло идти в сравнение с прелестью напева.

Каждый стих она начинала торжественно и величаво, словно указывая на нечто необычайное и приуготовливая к чему-то важному. К третьей строке напев становился глуше и сумрачнее. Слова: «Ты там бывал?» — звучали у нее таинственно и вдумчиво; в словах: «Туда, туда!» — была безудержная тоска: а «уйти бы навсегда» она так видоизменяла при каждом повторе, что в них слышались то настойчивая мольба, то влекущий зов, то заманчивое обещание.

Вторично закончив песню, она на миг остановилась, пристально посмотрела в глаза Вильгельму и спросила:

— Знаешь ты тот край?

— Думается, это Италия, — отвечал Вильгельм, — а песенка у тебя откуда?

— Италия! — с ударением произнесла Миньона. — Поедешь в Италию, возьми меня с собой. Здесь я забну.

— Ты там уже бывала, душенька? — спросил Вильгельм.

Девочка промолчала, и больше от нее нельзя было вытянуть ни слова.

Вошел Мелина, осмотрел лютню и порадовался, что ее успели уже так хорошо исправить. Инструмент входил в инвентарь гардероба. Миньона выпросила его нынче утром, арфист тут же натянул струны, и девочка при этом случае проявила дар, какого у нее до сей поры не знали.

Мелина успел уже войти во владение гардеробом со всем к нему причитающимся; кое-кто из членов магистрата обещал добиться для него разрешения некоторое время давать здесь спектакли. И вот он вернулся с радостью на сердце и с улыбкой на лице. Он словно преобразился, стал кроток, учтив со всеми, даже предупредителен и заботлив. Он надеялся, что может теперь на какой-то срок дать ангажемент своим друзьям, прозябавшим в стеснении, без дела, и только сокрушался, что поначалу лишен возможности вознаградить соответственно заслугам и талантам тех великолепных актеров, с которыми свел его счастливый случай, — прежде всего ему надобно уплатить долг добросердечному другу, каким показал себя Вильгельм.

— Не нахожу слов, дабы выразить, какую услугу оказали вы мне тем, что помогли стать во главе театра. Ведь когда я вас встретил, положение мое было крайне щекотливым. Помните, как горячо при первой нашей встрече я ратовал противу театра, и все же, женившись, я был вынужден искать ангажемент в угоду жене, ожидавшей от сцены радостей и успехов. Ангажемент мне получить не удалось, по крайней мере постоянный, зато посчастливилось встретить дельцов, которым для экстренных случаев бывает нужен человек, владеющий пером, разумеющий по-французски и не совсем невежда в счетоводстве. Некоторое время мне жилось совсем неплохо, жалованье я получал сносное, кое-чем обзавелся и не краснел за свое положение. Но экстренные поручения моих благодетелей пришли к концу, у прочном устройстве нечего было и помышлять, а жена все настоятельнее желала играть на театре, хотя, к несчастью, теперешние ее обстоятельства не очень-то благоприятствуют успешным выступлениям перед публикой. Теперь я уповаю на то, что предприятие, которое мне с вашей помощью удастся затеять, послужит хорошим началом для меня и моих близких, и вам я обязан своим будущим счастьем, как бы оно ни сложилось.

Вильгельму приятны были эти признания, и все актеры не без удовольствия выслушали заявление новоявленного директора, втайне радовались непредвиденному ангажементу и готовы были для начала примириться с мизерным жалованьем, в большинстве своем рассматривая то, что им так внезапно предложили, как подарок, не входивший в их расчет. Мелина поспешил извлечь пользу из такого умонастроения, умело потолковал с каждым в отдельности, тем или иным доводом убедив одного за другим без промедления подписать контракт, так что актеры не успели толком обдумать новые отношения и утешались возможностью расторгнуть контракт, предупредив за шесть недель.

Теперь оставалось лишь должным образом оформить условия, и Мелина подумывал уже, какими спектаклями лучше всего приманить публику, как вдруг шталмейстер получил с курьером извещение о прибытии господ и приказал подавать подставных лошадей.

Вскоре к гостинице подкатил доверху нагруженный экипаж, с козел спрыгнули двое слуг, и Филина, по своему обычаю, поспешила первой выбежать к дверям.

— Кто такая? — входя, спросила графиня.

— Актриса, к услугам вашего сиятельства, — гласил ответ, причем плутовка с невинной миной, смиренно склонившись, облобызала складки платья знатной дамы.

Граф, увидев еще несколько человек, стоявших вокруг и назвавшихся актерами, пожелал узнать, велика ли труппа, где она подвизалась в последнее время и кто у нее директором.

— Будь это французы, — заметил он своей супруге, — мы могли бы сделать принцу приятный сюрприз излюбленным его развлечением.

— А на мой взгляд, не помешало бы, чтобы эти люди, хоть они, на беду, и немцы, играли спектакли в замке, пока у нас будет гостить принц, — возразила графиня. — Может статься, они не лишены умения. Большое общество лучше всего занять театром, а уж барон как-нибудь выдрессирует их.

С этими словами приезжие поднялись по лестнице, а наверху Мелина отрекомендовался им как директор.

— Созови-ка своих людей, — приказал граф, — и представь их мне, чтобы я сам мог судить, каковы они. Кроме того, я желаю просмотреть список пьес, которые они так или иначе могут сыграть.

Отвесив низкий поклон, Мелина поспешил прочь и вскоре возвратился вместе с актерами. Кто из них протискивался вперед, кто теснился позади, одни держались плохо от пушего желанья понравиться, другие — не лучше от старания быть развязными. Филина показывала величайшее почтение графине, которая была на редкость благосклонна и приветлива; меж тем граф внимательно оглядывал остальных, каждого спрашивал об его амплуа и, оборотясь к Мелине, заявил, что каждому должно придерживаться одного амплуа, каковое замечание было принято с великим благоговением.

Затем граф указал каждому, в чем ему надлежит совершенствоваться, что исправить в фигуре и осанке, наставительно разъяснил, чего всегда недостает немцам, и при этом обнаружил столь обширную осведомленность, что все, затаив дыхание, в величайшем смирении застыли перед этим просвещеннейшим знатоком и сиятельнейшим попечителем.

— Кто это там в углу? — спросил граф, бросив взгляд на личность, еще не представленную ему; и тощая фигура в истертом кафтане, с заплатами на локтях шагнула вперед; выношенный парик покрывал голову смиренника.

С этим человеком мы познакомились в предыдущей книге как с любимцем Филены; он обычно играл педантов, магистров и поэтов и часто брал на себя роли персонажей, которых били или обливали водой. Он усвоил себе особую раболепную, смехотворно пугливую манеру кланяться, а заикающаяся речь, под стать его ролям, вызывала у зрителей смех, так что на него все еще смотрели как на пригодного члена труппы, тем более что он вдобавок был очень услужлив и покладист. С привычными ужимками приблизился он к графу, поклонился и на каждый вопрос отвечал так, будто играл на театре. Некоторое время граф взирал на него с благосклонным вниманием, что-то при этом обдумывая; затем, оборотясь к графине, воскликнул:

— Дитя мое! Вглядиись попристальнее в этого человека! Ручаюсь тебе — он великий актер или может стать таковым.

Тот от полноты чувств отвесил такой шутовской поклон, что граф громко расхохотался, воскликнув:

— Он артистически исполняет свою роль! Держу пари, Этот человек может сыграть, что пожелает. Досадно, почему до сих пор ему не нашли применения более достойного.

Такое разительное отличие показалось остальным очень обидным, один лишь Мелина ничуть не был уязвлен, наоборот, он всецело признал правоту графа и угодливо подхватил:

— Увы, ему, да и многим из нас, недоставало такого благожелательного знатока, какого мы обрели сейчас в лице вашего сиятельства.

— Тут собралась вся труппа? — спросил граф.

— Некоторые участники сейчас в отсутствии, — дипломатично ответил Мелина, — впрочем, имея поддержку, мы вскорости могли бы набрать по соседству полный состав.

Тем временем Филина говорила графине:

— Наверху находится еще один молодой человек очень приятной наружности, который за короткий срок мог бы выйти в первые любовники.

— Почему же он не покажется? — удивилась графиня.

— Я пойду за ним, — вскричала Филина, устремляясь к двери.

Она застала Вильгельма все еще в заботах о Миньоне и убедила его сойти вниз. Он нехотя последовал за ней, хотя его и подстрекало любопытство: стоило ему услышать о важных господах, как его тянуло узнать их поближе. Он вошел в комнату, и тотчас же глаза его встретились с глазами графини, обращенными к нему. Филина подвела его к знатной даме, меж тем как граф занимался остальными. Вильгельм поклонился и не без замешательства стал отвечать на различные вопросы, которые задавала ему прекрасная дама. Ее красота, молодость, обаяние, гравия и тонкое обхождение положительно пленили его, тем более, что в ее речах и манерах чувствовалась застенчивость и даже, скажем прямо, смущение. Представили его и графу, но тот почти не обратил на него внимания и подошел к окну, возле которого сидела его супруга, должно быть, о чем-то спросить у нее совета. Видно было, что она всецело соглашается с его мнением, мало того, о чем-то настоятельно его просит в поддержку его намерения.

Вслед за тем он оборотился к труппе со словами:

— Сам я не могу сейчас задержаться здесь, но я пришлю к вам своего друга, и если вы поставите сходные условия и не пожалеете стараний, то я склонен допустить, чтобы вы играли в замке.

Все выразили по этому поводу величайшую радость, а Филина с особливым жаром принялась целовать руки графине.

— Смотрите, милая, — промолвила графиня, ласково потрепав ветреную девицу по щеке, — смотрите, голубушка, приходите ко мне. Я непременно сдержу обещание, только постарайтесь получше одеться.

Филина принялась оправдываться тем, что ей не на что обновлять гардероб, и графиня тут же приказала своим камеристкам принести английскую шляпку и шелковую косынку, положенные сверху.

Графиня собственноручно нарядила в них Филину, которая продолжала вести себя примерно, с притворно-невинной миной изображая из себя скромницу.

Граф предложил супруге руку и повел ее вниз. Мимоходом она приветливо кивала собравшимся и, обернувшись к Вильгельму, с благосклонной улыбкой промолвила: — Скоро мы увидимся вновь.

Столь радостные перспективы окрылили всех; каждый дал волю надеждам, желаниям и мечтам, говорил о ролях, которые думает сыграть, об успехе, которого думает добиться. Мелина прикидывал, как бы наскоро поставить несколько спектаклей, выкачать денежки у местных горожан и вместе с тем дать актерам поупражняться; остальные же отправились на кухню заказать обед получше того, каким их кормили обычно.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Через несколько дней прибыл барон, и Мелина не без Ыпаски встретился с ним. Граф аттестовал его как большого знатока, и Мелина боялся, что он сразу же обнаружит слабую сторону мизерной кучки актеров и поймет, что перед ним далеко не регулярная труппа, недостаточная даже для одной пьесы; но вскоре и директор, и все члены труппы совсем успокоились, ибо барон оказался величайшим энтузиастом отечественного театра и ему в радость были любые актеры, любая труппа. Он торжественно приветствовал их и заявил, что почитает за счастье нежданную встречу с немецкой труппой, возможность завязать с ней отношения и ввести отечественных муз в замок своего родственника. Вслед за тем он достал из кармана тетрадь, где Мелина рассчитывал найти условия контракта; однако она содержала нечто иное. Барон попросил актеров внимательно прослушать драму, которую сам он сочинил и желал бы увидеть в их исполнении. С готовностью собрались они в кружок, радуясь, что такой дешевой ценой могут утвердиться в расположении нужного человека, хоть и побаивались, судя по толщине тетради, что чтение займет немало времени. Так оно и вышло: пьеса была в пяти актах и относилась к тому роду опусов, которым не видно конца.

Герой — знатный, добродетельный, добросердечный, но непризнанный и гонимый человек — в конце концов одерживал победу над своими недругами, над которыми свершился бы строгий поэтический суд, если бы герой сразу же не простил их.

За время чтения каждый из слушателей успел задуматься над собой и плавно подняться от уничижения, к которому только что был склонен, к блаженному самодовольству и с Этих высот обозревать приятнейшие виды на будущее. Те, что не видели в пьесе подходящей для себя роли, втихомолку бранили ее, обзывая барона незадачливым писакой, другие же, к вящей радости сочинителя, расхваливали те места, в которых надеялись сорвать рукоплескания.

Денежные отношения были улажены без задержки. Мелина изловчился заключить с бароном выгодный для себя контракт, утаив его от прочих актеров.

О Вильгельме Мелина вскользь поговорил с бароном, определив его как весьма способного драматурга, кроме того подающего надежды стать недурным актером. Барон поспешил познакомиться с ним как собратом по перу, и Вильгельм прочитал несколько пьесок, случайно уцелевших наряду с дорогими его сердцу вещицами в тот день, когда он предал огню большую часть своих писаний. Барон похвалил и вещи и чтение, почел делом решенным, что Вильгельм тоже приедет в замок, на прощание пообещал всем радушный прием, удобное жилище, хорошую пищу, успех и подарки, а Мелина исходатайствовал еще определенную сумму на карманные расходы.

Можно вообразить, в какое хорошее расположение духа привел этот визит всю труппу, взамен шаткого приниженного состояния увидевшую впереди почет и довольство. Актеры радостно предвкушали будущий достаток, и каждый счел неприличным хранить в кармане последний грош.

Меж тем Вильгельм решал про себя, ехать ли ему вместе с труппой в замок, и находил, что по множеству причин ехать стоит. Прежде всего Мелина рассчитывал при таком выгодном ангажементе хотя бы частично погасить долг; кроме того, наш друг, исходя из своего стремления познать людей, не хотел упускать случай поближе увидеть большой свет и почерпнуть там много важного касательно жизни, искусства и себя самого. При этом он не смел себе признаться, как жаждет вновь встретить красавицу графиню, и общими рассуждениями пытался убедить себя в том, что близкое знакомство с кругом богатых и знатных людей должно принести ему немалую пользу. Свои мысли о графе и графине, о бароне, об их уверенном, непринужденном, приветливом обращении он, оставшись наедине, выразил вслух в исполненных восторга словах:

— Трижды блаженны те, что от рождения вознесены над низшими ступенями человеческого общества, кому не случается попадать, ни даже мимоходом, как гостю, заглядывать в те житейские обстоятельства, в которых многие хорошие люди маются весь свой век. Обобщен и точен их взгляд, исходящий из высшей точки зрения, легок каждый шаг их жизни! Они словно с рождения посажены на корабль, дабы, совершая тот путь, который всем нам суждено совершить, они могли пользоваться попутным ветром, противный же пережидать! между тем как плывущие в одиночку выбиваются из сил, не находя помощи в попутном ветре, а коли налетит буря, гибнут, вконец надорвавшись. Сколько дает удобств, как облегчает жизнь наследственное состояние! И как процветает торговля, основанная на солидном капитале, без риска пойти прахом при малейшей незадачливой авантюре! Кто лучше способен познать, сколь велика и ничтожна

цена земных благ, как не тот, кому удалось вкушать их и одновременно направить свои помыслы на нужное, насущное, истинное, уразумев многие свои заблуждения в те годы, когда еще есть силы начать новую жизнь!

Так воспевал наш друг счастье всех, кто обитает в высших сферах, да и тех, кому дано приблизиться к этим кругам и черпать из одних с ними источников, и славил своего доброго гения, приведшего его к заветным ступеням.

Меж тем Мелина долго ломал себе голову, как бы по воле графа и по собственному убеждению поделить труппу на определенные, строго разграниченные амплуа, а под конец, когда дошло до дела, мог только радоваться, что при такой малочисленности встретил у актеров готовность по мере сил приспособляться к той или иной роли. Обычно Лаэрт брал на себя роли любовников, Фигина — субреток, обе молодые женщины поделили между собой простушек и чувствительных любовниц; лучше всех было обеспечено амплуа старого ворчуна. Мелина считал, что может выступить в роли сановников, мадам Мелина, к великой своей досаде, принуждена была перейти на амплуа молодых жен и даже чувствительных матерей, а так как в новых пьесах редко выводятся и еще реже осмеиваются педанты или поэты, то отныне признанному графскому любимцу пришлось играть президентов и министров, так как они обычно изображались злодеями, которым худо приходится в пятом акте. Что касается Мелины, то он в качестве камер-юнкера или камергера охотно терпел поношения, на которые по традиции не скупилась честные немецкие мужи во многих популярных пьесах, — ведь тут он имел случай разрядиться на славу и щегольнуть аристократическими манерами, которыми, по его мнению, владел в совершенстве.

Вскороности из разных мест стали стекаться актеры, их принимали без особой проверки, но и не пытались удержать особыми условиями.

Мелина тщетно прочил Вильгельма на роли первого любовника, но хотя тот и старался помочь делу как мог, новый наш директор отнюдь не ценил его усердия и считал, что, приобретя звание, сам превзошел всю потребную премудрость; превыше всего любил он вычеркивать, сокращая каждую пьесу до надлежащих размеров и не принимая в расчет каких-либо иных соображений. Театр не пустовал, публика была очень довольна, и местные присяжные ценители утверждали, что театр в резиденции поставлен куда хуже, чем у них.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Наконец настало время готовиться к переезду; повозки и кареты, которые должны доставить всю нашу труппу в графский замок, не замедлят прибыть. Уже наперед вспыхивали споры, кому с кем ехать, как рассаживаться. Лишь с трудом и, увы, без особого успеха удалось наладить и утвердить порядок и распределение мест. В назначенный час было прислано меньше карет, чем ожидалось, и пришлось устраиваться как попало.

Барон, явившись вскоре верхом, объяснил неувязку тем, что в замке большая суета, ибо не только принц должен прибыть несколькими днями раньше, но вдобавок сейчас уже понаехало множество неожиданных гостей; в замке стало тесно, и потому актерам, к великому его, барона, огорчению, придется разместиться не так удобно, как было намечено раньше.

По каретам расселись как пришлось, но погода стояла сносная, до замка было всего несколько часов хода, и потому самые резвые предпочли отшагать этот путь пешком, нежели дожидаться возвращения экипажей.

Поезд с радостными кликами тронулся в путь, актеры впервые не знали забот, как расплатиться с трактирщиком. Графский замок маячил перед их мысленным взором, как сказочный чертог, на свзте не было людей веселее и счастливее их, и каждый дорогой представлял себе на свой лад, какие радости, почести, какие блага ждут его с нынешнего дня.

Внезапно полил дождь, но и он не мог нарушить радостное состояние их духа: однако дождь все усиливался, становился затяжным, и многие почувствовали себя не очень ладно. Надвигалась ночь, и ничто не могло показаться для них желаннее, чем графский дворец, освещенный сверху донизу и сиявший им навстречу с вершины холма.

Приблизившись, они отметили, что оба крыла тоже полностью освещены. Каждый прикидывал про себя, какая же комната достанется ему, и многие скромно удовлетворялись бы каморкой в мансарде или флигеле.

Теперь они проехали селом мимо постоялого двора. Вильгельм велел остановиться, чтобы сойти там; однако трактирщик принялся уверять, что не может предоставить никакого помещения. По причине приезда неожиданных гостей его сиятельство распорядился снять сразу весь трактир, на каждом номере со вчерашнего дня ясно мелом прописано, кто там должен жить. Итак, нашему другу пришлось поневоле вместе со всей труппой въехать во двор замка.

Актеры увидели, как в боковом строении вокруг кухонного очага тормозятся хлопотливые повара, и уже одно это зрелище подкрепило их; на крыльцо главного здания торопливо выбежали лакеи со светильниками, и при виде их у простодушных путников разыграли сердца. Как же были они поражены, когда такой прием обернулся жестоким поношением. Лакеи накинлись на кучеров за то, что те въехали сюда; пускай убираются прочь и поворачивают к старому замку, здесь не место подобным гостям! Это нелюбезное и неожиданное распоряжение слуги успашали всяческими издевками, попутно зубоскаля друг над другом за то, что сами дали маху и зря выскочили на дождь. А дождь все лил, в небе не было видно ни единой звезды, и нашу труппу волокли теперь по ухабистой дороге между двумя стенами к старому замку, ставшему нежилым с тех пор, как отец графа заслонил его, построив впереди новый. Повозки остановились частью во дворе, частью под глубоким сводом ворот; возницы, взятые с лошадьми в деревне, выпрягли коней и поскакали восвояси.

Не дождавшись, чтобы кто-нибудь явился их встретить, Е^теры вылезли из экипажей, кричали, искали: все тщетно! Повсюду было тихо и темно. Ветер свистел под пустыми сводами, а старые башни и двор, едва различимые во тьме, наводили жуть. Путникам было холодно и страшно, женщины дрожали и сетовали, дети плакали, нетерпение росло с минуты на минуту, столь быстрый непредвиденный поворот фортуны всех выводил из равновесия.

Ожидая каждую минуту, что кто-нибудь выйдет и отворит им, не раз слыша в обманчивых шумах ливня и бури желанные шаги замкового управителя, они долгое время только негодовали, ничего не делая; и никому не приходило на ум отправиться в новый замок, чтобы воззвать там о помощи к сердобольным душам. Они не могли понять, куда девался их друг, барон, и не видели выхода из своего

отчаянного положения.

Наконец в самом деле появились люди, по голосам в них узнали тех, что отправились пешком по дороге и отстали от ехавших в повозках. Они рассказали, что барон упал вместе с лошадей, сильно повредил себе ногу, а их, когда они с расспросами явились в замок, так же грубо прогнали сюда.

Актеры были в полной растерянности, долго совещались между собой, как быть, и не могли ни на что решиться. Наконец вдали замелькал фонарь, и все вздохнуло свободнее; однако надежда на скорое спасение вновь исчезла, когда видение приблизилось и стало видно отчетливее. Это конюх освещал дорогу знакомому нам графскому шталмейстеру, а тот, приблизясь, поспешил осведомиться о мамзель Филине. Не успела она выступить вперед, как он стал настойчиво предлагать ей отправиться с ним в новый замок, где для нее приготовлено местечко у камеристок графини. Она, не задумываясь, с благодарностью приняла предложение, схватила шталмейстера под руку и, поручив остальным свои пожитки, вознамерилась уйти с ним; однако им преградили дорогу, спрашивали, просили, умоляли шталмейстера, пока он, лишь бы поскорее высвободиться со своей красоткой, не наобещал чего угодно и не поклялся, что замок скоро отпрут и всех расквартируют как нельзя лучше. Вскоре отблеск его фонаря исчез из поля зрения актеров, и они долго уповали на новый огонек, когда наконец после бесконечного ожидания, божбы и брани он все же появился, оживив и утешив их малой толикой надежды.

Старый слуга отомкнул двери обветшалого строения, в которое актеры ворвались гурьбой. Каждый заботился лишь о своем добре, стремясь поскорее сгрузить и внести его. Почти все оно промокло не хуже своих владельцев. При одной свече дело подвигалось очень медленно. Внутри дома люди сталкивались, спотыкались, падали, просили дать еще свечей, просили топлива. Неразговорчивый слуга насилу соблаговолит отдать свой фонарь, а сам ушел и уже не возвращался.

Актеры принялись обшаривать дом; все двери стояли настежь; от былого великолепия уцелели огромные печи, тканые шпалеры, штучные полы, но ничего больше в доме не было — ни столов, ни стульев, ни зеркал, еще сохранилось лишь несколько широченных кроватей без всякого убранства» без необходимых постельных принадлежностей. Мокрые суп\* дуки и баулы заменили сиденья, часть усталых путников удовольствовалась голым полом. Вильгельм сидел на ступенях, положив Миньону себе на колени; девочка была неспокойна и на вопрос, что с ней, отвечала: «Я голодна!» При себе он не нашел ничего, чем утолить ее голод, остальные актеры поели последние свои припасы, и ему решительно нечем было подкрепить бедное создание. Ко всему, что происходило, он оставался непричастен, молчал, замкнувшись в себе, злясь и досадуя, что не настоял на своем и не вышел у постоянного двора, хотя бы ему отвели самую верхнюю чердачную каморку.

Из остальных каждый старался по-своему. Кое-кто притащил охапку трухлявых дров в гигантский камин и с превеликим ликованием зажег этот костер. К несчастью, последняя надежда обсохнуть и обогреться тоже рухнула самым плачевным образом, ибо дымоход был замурован сверху, и камин стоял только для украшения; дым сразу же повалил обратно и вмиг наполнил все комнаты; высохшие дрова занялись с треском, но и огонь стал выбиваться наружу; тяга из разбитых окон разметывала его во все стороны; испугавшись, как бы не поджечь дворец, актеры поспешили растащить горящие поленья, растоптать и загасить их; дым усилился, положение становилось нестерпимым, все были близки к полному отчаянию.

От дыма Вильгельм спасся в отдаленную комнату, куда за ним вскоре последовала Миньона и привела ливрейного лакея, который светил себе ярким двусвечным фонарем на длинном стержне; лакей приблизился к Вильгельму и, протянув ему красивую фарфоровую тарелку с конфетами и фруктами, заявил:

Это шлет вам из замка молодая дама и просит присоединиться к тамошнему обществу. Она велела сказать вам, что устроена отменно и желает разделить свое довольство с друзьями, — добавил лакей с игривой ухмылкой.

Меньше всего ожидал Вильгельм получить такое предложение, — после случая на каменной скамье он показывал Филине неуклонное презрение и так твердо решил не иметь с ней ничего общего, что собрался было отослать обратно лакомые дары, но просительный взгляд Миньоны побудил его принять их и поблагодарить от имени девочки. От приглашения же он отказался. Он попросил лакея по силе возможности позаботиться о приезжей труппе и осведомился о здоровье барона. Тот лежал в постели, но, насколько было известно лакею, уже приказал другому слуге лучше разместить страдающих от неустройства актеров.

Лакей ушел, оставив Вильгельму одну из свечей, которую, за неимением подсвечника, ему пришлось прилепить к оконному карнизу, но так он мог, по крайней мере, при свете созерцать четыре голые стены. А времени прошло еще немало, прежде чем нашим приезжим стали готовить ночлег. Сперва были принесены свечи, впрочем, без щипцов от нагара, затем несколько стульев; час спустя — перинки, затем подушки, все это промокшее насквозь; и лишь далеко за полночь появились, наконец, набитые соломой тюфяки и матрацы, которые следовало бы получить в первую очередь.

Тем временем доставили кое-что из еды и питья, все это было поглощено без особой критики, хотя и напоминало сваленные в одну кучу объедки и отнюдь не свидетельствовало об особом уважении к гостям.

#### ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Беспокойства и беды этой ночи множились от беспардонного бесчинства озорников, которые то и дело будили, дразнили друг друга и проказничали наперебой. Следующее утро началось с громких сетований на друга-барона за то, что он так обманул их, нарисовав совсем иную картину предусмотренного для них комфорта и порядка, но, ко всеобщему удивлению и утешению, чуть свет пожаловал собственной персоной граф с несколькими слугами и осведомился, как они устроены. Услышав об их злоключениях, он был крайне разгневан, а барон, который приковывал с помощью слуги, взвалил вину на дворецкого, который якобы действовал противу всех распоряжений — сам он уже задал ему жару.

Граф тотчас же приказал в своем присутствии сделать все возможное для удобства гостей. Тут подоспело несколько ос Ёиеров, поспешивших осведомиться об актрисах, а граф пожелал, чтобы ему представили всю труппу, к каждому обратился по имени, пересыпая беседу шутками, и все были очарованы обходительностью такого вельможи. Наконец, очередь дошла до Вильгельма и не отходившей от

него Миньоны. Вильгельм извинился за свой самовольный приезд граф же, видимо, счел его присутствие делом решенным.

Стоявший подле графа господин, которого сочли за офицера, хоть он и не был в мундире, разговаривал преимущественно с нашим другом и выделялся среди всех прочих. Из-под высокого лба сияли большие голубые глаза, белокурые волосы были небрежно откинуты назад, и вся его невысокая фигура говорила о деловитости, твердости и прямооте характера. Вопросы его отличались живостью, и чувствовалось, что он сведущ во всем, о чем спрашивает.

Вильгельм осведомился об этом господине у барона, который сообщил о нем не много хорошего. Носит он чин майора, главная же суть в том, что он слывет любимцем принца, вершит самые его секретные дела и считается его правой рукой; есть даже основание полагать, что он побочный сын его высочества. Он побывал с посольствами во Франции, в Англии и в Италии, повсюду приобрел большой престиж и невесть что возомнил о себе; считает, что досконально изучил немецкую литературу, и осмеливается неблагоприятно остричь на ее счет. Сам барон избегает вступать с ним в разговоры, и Вильгельму тоже лучше держаться от него подальше, ибо он всякого норовит поддеть. Называют его Ярно, но никому доподлинно не известно, что это за имя.

Вильгельм ничего не мог на это возразить, он почувствовал безотчетную симпатию к незнакомцу, хотя в нем и было что-то холодное и неприятное.

Актеров разместили в замке, и Мелина строжайше наказал км впредь вести себя пристойно, женщинам жить отдельно и каждому направить все интересы и устремления лишь на свои роли и на искусство. Ко всем дверям он прибил предписания и указания, состоявшие из множества статей. При это:: была назначена и сумма штрафа, которую каждый, кто преступит правила, обязан внести в общую казну.

Ио эти распоряжения остались втуне, молодые офицеры ходили туда-сюда, позволяли себе не слишком тонко шутить с актрисами, насмехались над актерами, словом, свели на нет.

Этот местный полицейский устав, прежде чем он успел вступить в силу. Они шмыгали из комнаты в комнату, переодевались, прятались. Поначалу Мелина попытался пустить в ход строгость, но всякими каверзами был доведен до иступления; а когда граф вызвал его к себе, чтобы осмотреть место, где должен быть устроен театр, бесчинствам не стало удержу. Молодые кавалеры измышляли глупейшие проказы, которые от участия в них некоторых актеров становились только пошлее: казалось, весь старый замок заполнен бешеной ордой; непотребная кутерьма длилась до самого обеда.

Граф повел Мелину в большую залу, которая принадлежала еще старому замку, а галереей соединялась с новым, в ней отлично мог уместиться небольшой театр. Предусмотрительный хозяин хотел на месте показать, как он все задумал устроить.

Работы были начаты без промедления, театральные подмостки сколочены и разукрашены, все, что в поклаже нашлось пригодного из декораций, сразу пошло в дело, остальное же было сработано заново трудами умелых графских мастеров. Вильгельм сам взялся помогать, показывал, как определить перспективу, отмерить шнуром границы, и всячески старался, чтобы не получилось огрехов. Граф был этим очень доволен, часто наведывался взглянуть на работы, поучал, как правильнее следует делать то, над чем люди добросовестно трудились, и при сем случае щеголял обширнейшими познаниями во всех видах искусства.

Наконец начались настоящие репетиции, для которых у актеров было бы вдоволь и простора и досуга, если бы им постоянно не мешали посетители. Что ни день, то прибывали все новые гости, и каждому хотелось посмотреть на актеров.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

Несколько дней барон обнадеживал Вильгельма обещаниями особо представить его графине.

— Я столько наговорил этой достойнейшей даме о ваших пьесках, проникнутых юмором и чувством, что ей не терпится побеседовать с вами и послушать в вашем чтении некоторые из них. Итак, будьте готовы по первому знаку явиться к ней, в ближайшее спокойное утро вас непременно позовут.

Затем он указал Вильгельму, какую из пьес ему следует прочитать для начала, чтобы сразу же особо зарекомендовать себя. Графиня крайне сожалеет, что приехал он в такое беспокойное время и, поселясь вместе с остальными в старом замке, вынужден терпеть тамошние неудобства.

С большим старанием занялся Вильгельм той пьесой, с которой ему предстояло вступить в большой свет.

«Доселе ты в тиши трудился для себя и слышал похвалы лишь от немногих друзей, — твердил он себе, — была пора, когда ты совсем отчаялся в своем даровании, и теперь еще не можешь быть уверен, что стоишь на правильном пути и что таланта у тебя не меньше, чем влечения к театру. Перед столь искушенными слушателями, в будуаре, где нет места иллюзиям, испытание куда страшнее, чем где бы то ни было, и все же я не пойду на попятный, я хочу присвокупить эту радость к прежним своим уладам и открыть большой простор надеждам на будущее».

Он перебрал после этого ряд пьес, прочел их с величайшим вниманием, поправляя кое-что, декламируя их вслух, дабы усовершенствовать речь и выражение. И в одно прекрасное утро, когда его потребовали к графине, сунул в карман ту из них, которая была разучена лучше всего и, как сам он надеялся, могла принести ему наибольший успех.

Барон уверил его, что графиня будет одна, с близкой своей подругой. Когда он вошел в комнату, баронесса фон К. встала ему навстречу, выразила удовольствие по поводу знакомства с ним и отрекомендовала его графине, которой как раз делали куафюру; она встретила его приветливыми словами и взглядами, но подле ее стула, к сожалению, стояла на коленях Филина и дурачилась напропалую.

— Эта прелестная малютка только что много пела нам, — пояснила баронесса, — окончи же начатую песенку, нам жаль что-нибудь упустить из нее.



Вильгельм терпеливо прослушал песенку, мечтая, чтобы куафер удалился прежде, чем он приступит к чтению. Ему принесли чашку шоколада, а баронесса самолично угостила его печеньем. Невзирая на это, он не нашел вкуса в завтраке, ему не терпелось прочитать прекрасной графине нечто такое, чем бы он мог заинтересовать ее и понравиться ей. Да и Филина была здесь совсем некстати, не раз уж она докучала ему как слушательница. С тоской следил он за руками куафера и с минуты на минуту ждал, чтобы тот окончил сложное сооружение.

Тем временем вошел граф и сообщил о прибывающих нынче гостях, о распорядке дня и о других домашних событиях.

Не успел он удалиться, как несколько офицеров передали графине просьбу засвидетельствовать ей почтение ввиду того, что им надобно уехать до обеда. Парикмахер тем временем закончил свое дело, и графиня велела пригласить господ офицеров.

Между тем баронесса старалась занять нашего друга, выказывала ему всяческие знаки внимания, которые он принимал почтительно, хотя и довольно рассеянно. Время от времени он ощупывал рукопись в кармане, ждал желанной минуты и чуть было окончательно не потерял терпение, когда в будуар ввели торговца галантерейными товарами, который принялся неумолимо раскрывать одну за другой картонки, коробки, шкатулки и с присущей этой породе людей назойливостью выхвалять каждый образец.

Общество все возрастало. Поглядев на Вильгельма, баронесса пошептала с графиней; он заметил это, но не понял, о чем идет речь, и лишь дома уяснил себе все, после того как, напрасно протомившись еще час, отправился восвояси. У себя в кармане он нашел превосходнейший английский бумажник. Баронесса ухитрилась незаметно всунуть его, а немного погодя арапчонок графини принес Вильгельму искусно расшитый камзол, не объяснив вразумительно, кем послан подарок.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Смешанное чувство досады и признательности испортило ему весь остаток дня, и лишь к вечеру он нашел, чем заняться, — Мелина поверил ему, что граф говорил о прологе,[22] который должен быть разыгран в честь принца в день его прибытия. Графу угодно, чтобы там были олицетворены достоинства этого великого воина и человеколюбца. Сии добродетели, выступив все вместе, воздадут ему хвалу, а затем обовьют его бюст цветами и лавровыми венками, меж тем как вензель, увенчанный княжеским убором, будет сверкать на транспаранте. Граф препоручил ему, Мелине, озаботиться стихотворным текстом и прочими подробностями представления; он же надеется, что Вильгельм, для которого это дело нетрудное, не откажет ему в помощи.

— Как! — возмущенно вскричал Вильгельм. — Неужто у нас не найдется ничего, кроме портретов, вензелей и аллегорических фигур, дабы почтить августейшего гостя, достойного совсем иной хвалы? Может ли человек разумный быть польщен тем, что его изображение выставлено напоказ, а имя блесит на промасленной бумаге! Боюсь я, как бы эти аллегии, да еще при нашем гардеробе, не дали повода для двусмысленностей и острот. Если вы намерены написать или заказать кому-нибудь такую пьесу, возражать я не могу, но от участия в этом прошу меня уволить.

Мелина стал оправдываться, уверяя, что это лишь примерные пожелания графа, вообще же постановка пьесы всецело предоставлена им.

— Я всей душой рад внести посильную лепту, дабы убогаторить столь достойных господ, — заявил Вильгельм. — Моя пуза не знала до сей поры задачи приятнее, нежели попытка возвысить свой еще неверный голос во славу государя, заслужившего всяческое уважение. Надо об этом поразмыслить; быть может, мне удастся выставить нашу маленькую труппу в таком свете, чтобы она произвела хоть какой-нибудь эффект.

С этой минуты он стал усердно обдумывать порученное ему дело. Прежде чем заснуть, он успел уже наметить все в общих чертах; к утру план был вполне готов, сцены набросаны, а важнейшие тирады и песни даже положены на стихи и запечатлены на бумаге.

Тут же утром Вильгельм поспешил к барону поговорить о своих делах и заодно показал ему план. Барону план очень понравился, но и несколько озадачил его. Накануне вечером граф говорил совсем об иной пьесе, которую по его указаниям надо было переложить на стихи.

— Мне не верится, чтобы в намерения его сиятельства входило поручить изготовление пьесы в том виде, в каком изложил ее Мелина, — заметил Вильгельм, — по-моему, он лишь намеками указал нам правильный путь. Любитель и знаток высказывают художнику свои пожелания и предоставляют ему заботу о том, как создать само произведение.

— Ничуть не бывало, — возразил барон, — граф не сомневается, что пьеса будет поставлена не иначе, чем в том виде, в каком он изложил ее. Правда, в том, что предлагаете вы, есть отдаленное сходство с его замыслом, и если мы хотим отстоять ваш вариант и отвлечь графа от его первоначальной идеи, нам надо действовать через посредство дам. Лучше всего такие маневры удаются баронессе, важно, чтобы он понравился ваш план и она взялась бы его провести, — тогда считайте, что дело сделано.

— Нам все равно понадобится помощь дам, — сказал Вильгельм, — нашего состава и нашего гардероба вряд ли хватит для такой постановки. У меня был расчет на миловидных детей, которые спуют по дому, — это отпрыски камердинера и дворецкого.

И он попросил барона рассказать дамам об его плане. Тот вскоре воротился с известием, что дамы желают выслушать его самого. Вечером, когда мужчины сядут за игру, которая, кстати, нынче обещает быть нешуточной ввиду приезда некоего генерала, дамы, сославшись на недомогание, удалятся к себе, его же проведут потайной лестницей и предоставят полную свободу излагать свой замысел. Налет таинственности делает затею заманчивой вдвойне, баронесса, как дитя, радуется этому рандеву, а еще больше тому, что все устроено так ловко, секретно и наперекор воле графа.

Под вечер, в назначенный час, за Вильгельмом пришли и тайком провели его наверх. Баронесса оказала ему в маленьком будуаре такой прием, что он на миг вспомнил счастливые минувшие дни. Она проводила его в апартаменты графини, и тут у него все стали спрашивать и

выпытывать. Он изложил свой план как можно подробнее и живее, так, что успел совершенно увлечь обеих дам, а читатели наши, надо думать, не откажутся вкратце познакомиться с ним.

Пьеса откроется сельской сценой, где дети изобразят ту игру, в которой один ходит по кругу, стараясь завладеть чужим местом. На смену этой забаве придут другие, а затем, снова закружившись в хороводе, дети запоют веселую песню. После этого на сцену выйдут арфист с Миньоном, подстрекнут любопытство и приманят поселян; старик пропоет несколько песен во славу мира, покоя и радости, а Миньона пропляшет танец между яйцами.

Эти невинные забавы будут нарушены звуками воинственной музыки и нападением отряда солдат. Мужчины обороняются, но их побеждают, девушки убегают, но их догоняют. Кажется, все гибнет в общей сумятице, как вдруг появляется некто, чью роль еще не уяснил себе сочинитель, и сообщением, что близится полководец, водворяет спокойствие. В этом месте образ героя рисуется самыми радужными чертами; под звон оружия сулит он безопасность, ставит препоны разгулу и насилию. Начинается всеобщее торжество в честь великодушного полководца.

Дамы весьма одобрили этот план, утверждали только, что в пьесе нельзя обойтись без аллегии, дабы угодить его сиятельству. Барон порекомендовал превратить предводителя отряда в демона раздора и насилия; в заключение должна явиться Минерва, наложить на духа зла оковы, возвестить прибытие героя и воздать ему хвалу. Баронесса взяла на себя задачу убедить графа, что намеченный им план будет выполнен лишь с незначительным изменением; но при этом она поставила непременным условием, чтобы в финале пьесы на сцене оказался и бюст, и вензель, и княжеский убор, — без них всякие разговоры бесполезны.

Вильгельм уже предвкушал, какую тонкую лесть герою вложит в уста Минервы, тем не менее долго сопротивлялся, прежде чем уступить в этом пункте, впрочем, и понуждали его наимприятнейшим образом. Прекрасные глаза графини и приветливость ее обхождения все равно побудили бы его отказаться от самых прекрасных и счастливых находок, от столь желанного автору единства композиции, от удачно найденных штрихов и поступиться своей поэтической честью. Да и бюргерской его чести пришлось выдержать жестокую борьбу, когда дело вплотную подошло к распределению ролей и дамы настойчиво потребовали, чтобы он принял участие в спектакле.

Лаэрту досталась роль кровожадного бога войны. Вильгельм должен был играть предводителя поселян и декламировать весьма складные чувствительные стихи. Он попытался было упираться, но в конце концов сдался. Доводы его окончательно иссякли после заявления баронессы, что и театр-то в замке устроен для любительской труппы, и сама она рада сыграть в нем, если ее выступление будет подобающим образом предварено. После этого дамы очень приветливо отпустили пашего друга. Баронесса уверяла, что равных ему нет на свете, и проводила его до потайной лесенки, где ласковым рукопожатием пожелала ему доброй ночи.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Воодушевленный непритворным участием дам, Вильгельм теперь ясно видел свой замысел, оживший перед ним в ходе рассказа. Большую часть ночи и следующее утро он прилежно занимался переложением на стихи диалогов и песен.

Работа была почти что закончена, когда его позвали в замок, где он узнал, что господа изволят завтракать и желают поговорить с ним.

Он вошел в залу, баронесса опять поспешила ему навстречу и, сделав вид, что здороваается с ним, успела ему шепнуть:

— О своей пьесе говорите лишь то, о чем вас спросят.

— Я слышал, вы усердно трудитесь над прологом, которым я хочу приветствовать принца, — крикнул ему граф. — Я одобряю ваше намерение ввести в действие Минерву и только хочу заранее обдумать, как одеть богиню, чтобы не оплошать с ее нарядом. Для этой цели я приказал принести из библиотеки все книги, где имеется ее изображение.

В эту минуту несколько слуг внесли в залу большие корзины, полные книг различного формата.

Монфокоң,[23] альбомы античной скульптуры, гемм и монет, всевозможные труды по мифологии были пересмотрены, изображения сравнены между собой. Но и этого оказалось мало! Отменная память графа рисовала ему всех Минерв, которые встречались на заглавных гравюрах, на виньетках и еще невесть где. Поэтому из библиотеки приказано было тащить одну книгу за другой, так что графа чуть что не завалило грудой книг. Наконец, когда у него в памяти не осталось ни одной Минервы, он воскликнул, смеясь:

— Готов поспорить, что во всей библиотеке больше нет ни одной Минервы, и это будет первый случай, что собрание книг начисто лишено изобраая; ения своей богини-покровительницы.

Эта острота развеселила все общество, и громче всех хохотал Ярно, подстрекавший графа требовать все новые книги.

— Теперь встает главный вопрос, — промолвил граф, обращаясь к Вильгельму. — Какую богиню имеете вы в виду? Минерву или Палладу? Богиню раздора или разума?

— Не уместнее ли будет, ваше сиятельство, не вносить ясности в этот вопрос и потому именно, что в мифологии она играет двоякую роль, здесь также вывести ее в двойном качестве, — отвечал Вильгельм. — Она возвещает прибытие воина, но лишь затем, чтобы умиротворить народ; она славит героя, восхваляя его человеколюбие, она берет верх над насилием и возвращает народу радость и покой.

Испугавшись, что Вильгельм выдаст себя, баронесса поспешила включить в разговор портного графини, чтобы он посоветовал, как лучше всего изготовить требуемые античные одежды. Портной, понаторевший в шитье маскарадных костюмов, миглом разрешил затруднения, и так как мадам Мелина хоть и была на сносях, однако взяла на себя роль небесной девы, портному тут же приказали снять с нее мерку, а графиня, к неудовольствию своих камеристок, перечислила платья из своего гардероба, которые можно для этого перекроить.

Баронесса опять изловчилась отвести Вильгельма в сторону и сообщить, что успела устроить все остальное. Она не мешкая прислала к нему дирижера графской домово́й капеллы, с тем чтобы тот частью сочинил какую понадобится музыку, частью отобрал подходящие мелодии из своего музыкального запаса. Все пошло теперь как по маслу, граф больше не спрашивал о пьесе, всецело занявшись транспарантами, которыми думал поразить воображение зрителей в финале спектакля. Благодаря его изобретательности и сноровке его кондитера получилась весьма недурная иллюминация.[24] Во время своих путешествий граф перевидал самые пышные празднества такого рода, много рисунков и гравюр привез с собой, и указания его отличались большим вкусом.

Тем временем Вильгельм дописал пьесу, роздал роли актерам, стал учить свою, а музыкант, очень сведущий также и в танцах, поставил балетные сцены — и все шло превосходно.

Лишь одно неожиданное препятствие встало на его пути, грозя чувствительным пробелом. Он ожидал большого впечатления от пляски Миньоны между яйцами, и как же был он поражен, когда девочка с привычной ей резкостью отказалась танцевать, заявила, что служит теперь ему, а на театре больше выступать не будет. Он пытался подействовать на нее уговорами и не отставал, пока она не заплакала горькими слезами и не упала перед ним на колени, приговаривая:

— Отец, милый! Уйди ты тоже с подмостков.

Он не внял предостережению и стал обдумывать, чем же теперь придать интерес спектаклю.

Филина от восторга не знала себе удержу: ей было назначено играть поселянку, солировать в хороводе и запевать куплеты для хора. Да и жилось ей как нельзя лучше, — у нее была отдельная комната, она постоянно вертелась возле графини, которую развлекала своим паясничаньем, и за это каждый день получала подарок; к пьесе для нее тоже шили новое платье, а так как натура она была гибкая, склонная к подражанию, то из общения со знатными дамами вынесла все для себя нужное и в короткий срок приобрела чинные светские манеры. Рвение шталмейстера не убывало, а скорее росло, да и офицеры усиленно обхаживали ее; и, оказавшись в таком выигрышном положении, она вдруг вздумала разыгрывать недотрогу, не без успеха стараясь придать себе горделиво — достойный вид. По природе хитрая и хладнокровная, она за неделю подметила слабые стороны всех обитателей замка, на чем могла бы составить свое счастье, если бы была способна преследовать определенную цель. Она же и здесь пользовалась своими преимуществами лишь забавы ради, лишь бы иметь право озорничать и дерзить, когда понимала, что Это пройдет безнаказанно.

Роли были выучены, генеральная репетиция назначена, граф пожелал на ней присутствовать, а супруга его забеспокоилась, как он это примет. Баронесса тайком вызвала Вильгельма. По мере приближения рокового часа общее замешательство все возрастало, ибо от замысла графа не осталось ни малейшего следа. Тут как раз появился Ярно, и его посвятили в тайну. Он посмеялся от души и выразил готовность помочь дамам.

— Плохо было бы дело, сударыня, если бы вам самим не удалось уладить его, — сказал он, — но на крайний случай я буду у вас в резерве.

Баронесса призналась, что за это время рассказала графу всю пьесу, только по частям и вразброд, так что он готов ко всему в отдельности, но о том, что посягнули на его основную идею, он и помыслить не может.

— Нынче вечером во время репетиции я сяду рядом с ним и постараюсь его отвлечь, — добавила она. — Я уж и кондитеру наказала, чтобы он обставил финал как можно помпезней, но при этом упустил бы кое-какие мелочи.

— Я знаю двор, где у нас крайняя нужда в таких мудрых и деятельных друзьях, как вы, — заявил Ярно, — а если нынче вечером ваши таланты окажутся бессильны, только кивните мне, я уведу графа и не впущу его прежде, чем не появится Минерва, а там в виде диверсии подоспеет иллюминация. Мне уже несколько дней надо сообщить ему известие, которое касается его кузена, а я все медлил по некоторым причинам. Теперь это будет для него отвлечение, хоть и не из приятных.

Дела помешали графу быть на репетиции с самого начала, потом баронесса заняла его разговором. Все обошлось без участия Ярно. Граф так был занят поправками, замечаниями и указаниями, что забыл думать об остальном. Выступление мадам Мелина было вполне в его духе, иллюминация удалась отлично, и он остался совершенно доволен. Когда репетиция кончилась и зрители поспешили за карточные столы, он начал представлять себе разницу и засомневался, ему ли принадлежит идея пьесы. По данному знаку Ярно поспешил на выручку, к концу вечера подтвердился вест о прибытии принца; верховые несколько раз выезжали посмотреть, как располагается по соседству авангард, весь дом был полон шума и суеты, нерадивая челядь нехотя прислуживала нашим актерам, и они, почти забытые всеми, коротали время в старом замке, ждали и репетировали.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Наконец пожаловал принц; генералитет, штабные офицеры и прочая свита, прибывшая в одно время с ним, множество людей, явившихся кто в гости, кто по делам, придавали замку сходство с ульем, который собрался роиться. Каждый стремился увидеть высокого гостя, каждый восторгался его доступностью и приветливостью, каждый был изумлен, увидя в герое и военачальнике учтивейшего светского кавалера.

Граф повелел всем домочадцам к прибытию князя находиться на своих местах, ни один актер не смел показаться, потому что предстоящие торжества готовились как сюрприз для принца; и вечером, когда его ввели в большую, ярко освещенную залу, украшенную шпалерами прошлого века, он явно даже не подозревал, что здесь будет разыгран спектакль, а тем более пролог в его честь. Все сошло превосходно, по окончании спектакля труппу позвали представиться принцу, и он каждого о чем-то приветливо спросил, каждому что-то благосклонно сказал. Вильгельм, как сочинитель, был отрекомендован особо и снискал свою долю одобрений.

О прологе никто больше разговоров не вел, через несколько дней его словно и не бывало, если не считать, что Ярно упомянул о нем при встрече с Вильгельмом, похвалил, проявив тонкое понимание, и добавил:

— Жаль только, что вы играете пустышками на пустышки.

Это выражение запомнилось Вильгельму, он долго ломал себе голову, как его истолковать, какое из него извлечь назидание.

Между тем труппа каждый вечер играла, по своим силам вполне сносно, и всячески старалась обратить на себя внимание зрителей. Незаслуженные похвалы приободрили актеров, и, сидя в своем старом замке, они на самом деле уверовали, что из-за них теснится столько народу, смотреть их представление устремляется столько гостей, что они и есть то средоточие, вокруг и ради которого все движется и вертится.

Только Вильгельм, к великой своей досаде, видел прямо противоположное. Не случайно принц, восседая в кресле, добросовестнейшим образом досмотрел первые представления от начала и до конца, а мало-помалу стал ими манкировать под самыми благовидными предложениями. И как раз те, что в разговоре показались Вильгельму наиболее понимающими, с Ярно во главе, — очень ненадолго задерживались в театральной зале, предпочитая сидеть в аванзале за картами или за деловой беседой.

Вильгельму было крайне досадно, что при всех своих упорных стараниях добиться вожделенного успеха ему не удалось. При выборе пьес, переписке ролей, при частых репетициях и всяких прочих делах он усердно помогал Мелине, а тот, втайне чувствуя свою некомпетентность, в конце концов предоставил ему свободу действий. Вильгельм разучивал роли прилежно, исполнял их искренне, живо, вполне благопристойно, в меру того умения, которое приобрел собственными силами.

Зато непрестанное внимание барона не допускало никаких сомнений у других участников труппы; он уверял их, что они добивались огромного эффекта, особенно когда играли одну из его пьес, и только сетовал, что принц питает решительное пристрастие к французскому театру, меж тем как часть его приближенных, и в первую очередь Ярно, страстно привержены к монстрам английской сцены.[25]

Как видим, искусство наших актеров не слишком было замечено и отмечено, зато сами они оказались небезразличны зрителям и зрительницам. Мы уже говорили выше, что актрисы с самого начала привлекли внимание молодых офицеров; однако в дальнейшем они преуспели еще более, одержав победы посущественнее. Но об этом мы умолчим и лишь заметим, что у графини день ото дня возрастал интерес к Вильгельму, как и у него потихоньку зарождалась склонность к ней. Когда он был на сцене, она не сводила с него глаз, а он в конце концов играл и декламировал для нее одной. Смотреть друг на друга стало для обоих неизъяснимой радостью, которой всецело отдавались их беспечные души, не питая более пылких желаний и не тревожась о последствиях.

Как часовые двух враждующих сторон, не помышляя о сойне, мирно и весело перекликаются через реку, которая их разделяет, так графиня и Вильгельм обменивались многозначительными взглядами через гигантскую пропасть рождения и положения в обществе, и каждый на своей стороне считал, что безнаказанно может дать волю чувству.

Меж тем баронесса остановила свой выбор на Лаэрте — ей понравились веселость и положительность молодого человека, который, при всей своей ненависти к женскому полу, не гнушался мимолетной интрижкой и на сей раз был готов не на шутку плениться обходительностью и обаянием баронессы, если бы барон случайно не оказал ему доброй, а может быть, дурной услуги, познакомив его с обычаями этой дамы.

Однажды, когда Лаэрт во всеуслышание восхвалял ее, ставя выше всех других женщин, барон шутливо заметил:

— Вижу, вижу, как обстоят дела! Наша милая приятельница опять загоняет жертву в свой хлев.

Это неделикатное сравнение достаточно ясно намекало на пагубные ласки Цирцеи.[26] Лаэрт был раздосадован свыше меры и не мог без возмущения слушать барона, который безжалостно продолжал:

— Каждый пришелец воображает, будто он первый одарен ее приветливой благосклонностью, однако он жестоко заблуждается; всех нас когда-то водили вокруг да около на такой же манер; кто бы то ни был, мужчина ли, юноша или мальчик, — каждый должен быть в положенный срок покорен ею, пленен ею, должен страстно ее помогать!

Счастливцев, едва вступивший в сады волшебницы и упоенный всеми чудесами повеявшей ему навстречу поддельной весны, ничем не может быть так неприятно поражен, как если до слуха его, внимающего пенью соловья, вдруг долетит хрюканье заколдованного предшественника.

После такого открытия Лаэрт ощутил непритворный стыд от того, что тщеславие в который раз подстрекнуло его подумать мало-мальски хорошо о какой бы то ни было женщине. С этих пор он совершенно пренебрег ею, ближе сошелся со шталмейстером, усердно с ним фехтовал и ходил па охоту, а к репетициям и к спектаклям относился как к делу второстепенному.

Граф и графиня иногда звали к себе по утрам кого-нибудь из актеров, дабы они поменьше завидовали незаслуженному счастью Филины. Граф целыми часами держал у себя во время туалета любимца своего — педанта. Того мало-помалу одели с головы до ног и снабдили всем вплоть до часов и табакерки.

Кроме того, участников труппы приглашали после трапезы пред очи высоких особ. Оки почитали это за великую честь, не замечая, что в то же самое время егерям и слугам приказывалось впускать в дом свору собак, а по двору замка вываживать лошадей.

Вильгельму посоветовали при случае похвалить принцева любимца Расина, а тем самым и себя выставить в выгодном свете. Подходящий случай представился ему, когда он тоже был приглашен однажды после обеда, и принц спросил его, с должным ли усердием читает он творения французских драматургов. Вильгельм поспешил ответить «да». Он не заметил, что принц, не дожидаясь ответа, отвернулся и собрался заговорить с кем-то другим. Но наш друг не отпустил принца от себя, а почти загородив ему дорогу, принялся уверять, что весьма ценит французский театр и упивается чтением великих французских мастеров; с искренней радостью услышал он,

что его высочество в полной мере отдает должное великому дару Расина.

— Можно себе представить, — продолжал он, — как особы знатного рода и высокого сана ценят сочинителя, умеющего столь совершенно и правдиво живописать выпавший им высокий удел. Корнель, осмелюсь сказать, изображал людей великих, Расин же — особ высокогородных. Читая его творения, я мысленно вижу перед собой поэта, который живет при блистательном дворе, лицезреет великого государя, встречается с избранными людьми и проникает в тайны человечества, скрытые за искусно сотканными шпалерами. Когда я углубляюсь в его «Британика», в его «Беренику», мне кажется, будто я и сам пребываю при дворе, будто я посвящен во все великое и малое, что творится в этих обиталищах земных богов, и глазами проникновенного француза вижу королей, коим поклоняется целый народ, и тех царедворцев, коим завидуют тысячи людей, вижу такими, каковы они на самом деле, с их недостатками и горестями. Говорят, Расин зачах с тоски от того, что Людовик Четырнадцатый отвернулся от него, давая ему почувствовать свое неудовольствие; я нахожу в этом анекдоте ключ ко всем его произведениям, и не может того быть, чтобы поэт такого дарования, чья жизнь и смерть зависят от королевского взгляда, не написал ничего, что было бы достойно королевского и княжеского одобрения.

Подошел Ярно и с изумлением слушал нашего друга; принц же, не ответивший ни слова и только благосклонным взглядом показавший свое одобрение, сразу же отвернулся, хотя Вильгельм, который еще не знал, что при подобных обстоятельствах неприлично продолжать беседу до исчерпания темы, не прочь был поговорить еще и доказать принцу, что он с пользой и с чувством прочитал его любимого сочинителя.

— Неужто вы не видели ни одной пьесы Шекспира? — спросил Ярно, отводя его в сторону.

— Нет, — ответил Вильгельм, — в ту пору% когда» Германии лучше познакомились с ними, я разнакомился с театром и сам не знаю, должен ли радоваться, что вновь вернулся к давнему юношескому увлечению и занятию. Да, по правде говоря, после всего, что мне рассказывали об этих драмах, я не любопытствовал побольше узнать о столь диковинных монстрах, сверх вероятия выходящих за пределы благопристойности.

— А я все-таки советовал бы вам попробовать, — заметил собеседник, — бесполезно даже на монстров взглянуть собственными глазами. Я могу вам ссудить несколько книжек,[27] и вы не найдете лучшего времяпрепровождения, чем удалиться от всех и в уединении своего старинного жилища заглянуть в волшебный фонарь этого неведомого мира. Поистине грешно тратить день за днем на то, чтобы обряжать в человеческий вид этих обезьян и обучать танцам этих собачонок. Я оговариваю лишь одно условие: не смущайтесь формой, в остальном же доверяюсь правильности вашего чутья.

Лошади ждали у подъезда, и Ярно вскочил в седло, дабы вместе с другими господами поразвлечься охотой. Вильгельм с грустью смотрел ему вслед. Он хотел бы еще о многом поговорить с человеком, хоть и довольно бесцеремонным, но внушавшим ему те новые мысли, в которых он нуждался.

Приближаясь к полному развитию своих сил, способностей и взглядов, человек нередко попадает в тупик, из которого его легко может вывести настоящий друг. Он подобен страннику, который падает в воду неподалеку от пристанища; если бы кто-нибудь вовремя пришел на помощь и вытащил его на сушу, он ограничился бы тем, что намок, меж тем как собственными силами он спасся бы, лишь выплыв на противоположном берегу, и до намеченной цели добирался бы трудным и дальним окольным путем.

Вильгельм начал догадываться, что мир устроен совсем не так, как ему представлялось. Он наблюдал вблизи исполненную важного смысла жизнь знати, власть имущих, и только дивился, какую беспечную видимость умеют они придать ей. Войско на марше, царственный герой во главе его, вокруг теснится множество соратников, хлопочет множество почитателей — все это возбуждало игру его воображения. В таком состоянии духа получил он обещанные книги, и вскоре, как и следовало ожидать, его подхватил великий поток гениальности и вынес к безбрежному морю, куда он сразу же погрузился и где полностью растворился.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Отношение барона к актерам за время их пребывания в замке претерпело ряд перемен. Поначалу все складывалось ко взаимному удовлетворению; барон, дотоле одушевлявший своими пьесами лишь любительский театр, впервые в жизни увидел одну из них в руках настоящих актеров, на пути к вполне сноному исполнению, пребывал в отличном расположении духа, показывал широту своей натуры, у каждого галантерейщика, из тех, кто частенько наведывался в замок, покупал подарочки для актрис, изощрялся, чтобы добыть для актеров бутылку-другую лучшего шампанского; зато и они на совесть трудились над его пьесами, а Вильгельм не цддил стараний, заучивая наизусть высокопарные речи образцового героя, роль которого досталась ему.

Но тут одно за другим стали вкрадываться мелкие недоразумения. День ото дня заметнее сказывалось пристрастие барона к определенным актерам, неизбежно вызывая досаду у остальных. Своих фаворитов он выделял совершенно открыто, внося зависть и раздор в актерскую среду. Мелина вообще не умел разрешать спорные дела, тут же он попал в крайне неприятное положение. Захваленные принимали похвалы без особой признательности, а обойденные всячески показывали свою досаду и старались тем или иным способом отравить пребывание в их кругу некогда столь высокопочитаемому благодетелю; немалую пищу для злорадства дали стихи неизвестного сочинителя, наделавшие много шума в замке. Ранее довольно деликатно подтрунивали над короткостью барона с комедиантами, рассказывали о разных его похождениях, приукрашали кое-какие случаи, подавая их в забавном, интригующем виде. Под конец уже стали говорить о профессиональном соперничестве между ним и некоторыми актерами, возомнившими себя писателями; на этих-то рассказах и основывалось вышеупомянутое стихотворение, которое гласило:

Я, горемыка, вам, барон,

Во всем завидовать готов.

И в том, что вам доступен трон,

И много так у вас лугов,

И что ваш замок родовой

Стоит среди чащи вековой.

Мне, горемыке, вы, барон,

Завидуете в том порой,

Что с детства не был обойден

Я щедрой матерью-судьбой,

Что с легким сердцем и умом

Я нищим был, но не глупцом.

Не будем, господин барон,

Мы изменять судьбы своей.

Вы — отблеск доблестных времен,

А я — сын матери моей.

Пускай не мучит зависть пас,

Пусть каждый сохранит свой титул,

Как не завиден вам Парнас,

Так не завиден мне Капитул.[28]

Мнения касательно стихов, ходивших по рукам в очень неразборчивых списках, в корне расходились, автора же никто не мог назвать, и когда по этому поводу начались злорадные пересуды, Вильгельм возмутился.

— Поделом нам, немцам, — вскричал он, — если наши музы доселе пребывают в небрежении, в котором прозябали с давних пор, раз мы не умеем ценить людей сановных, так или иначе занимающихся нашей литературой. Рождение, сан и состояние никоим образом не находятся в противоречии с талантом и тактом, что наглядно показали нам чужеземные нации, насчитывающие среди лучших своих умов множество людей знатного происхождения. В Германии доселе почиталось чудом, если человек родовитый посвящал себя паукам, и лишь немногие прославленные имена становились еще славнее через тяготение к искусству и науке, зато немало людей поднималось из безвестности и восходило на горизонте звездами, но так будет не всегда, и, если я не ошибаюсь, высшее сословие нации уже на пути к тому, чтобы впредь употреблять свои преимущества также и на завоевание прекраснейшего из венков — венка муз. Потому-то так несносно мне слышать, когда не только бюргер за пристрастие к музам поднимает на смех дворянина, но и особы родовитые, по неразумной прихоти и непохвальному зломыслию, отпугивают себе подобных с той стези, где каждого ждут почет и удовлетворение.

Последние слова, очевидно, метили в графа, ибо Вильгельм слышал, что стихотворение весьма одобрено им. В самом деле, этому вельможе, привыкшему выщучивать барона на свой лад, очень кстати оказался повод лишний раз уязвить своего родственника. У всех были свои догадки насчет автора стихов, и граф, не терпевший, чтобы кто-либо превзошел его остротой ума, напал на мысль, за которую тотчас встал горой: стихотворение может быть сочинено не кем иным, как его педантом. Это тонкая бестия, и он, граф, давно уже подметил в нем поэтический дар. Дабы позабавиться всласть, граф однажды утром велел позвать к себе педанта, и тот, по его приказу\* в присутствии графини, баронессы и Ярно прочитал стихотворение на собственный лад, за что был награжден похвалами, рукоплесканиями и подарком, а на вопрос графа, нет ли у него написанных ранее стихов, благоразумно воздержался ответить. Так за педантом утвердился слава поэта и острослова, а во мнении тех, кто был расположен к барону, слава пасквильянта и дурного человека. С той поры граф еще горячее рукоплескал ему, как бы небрежно он ни играл, так что бедняга чуть не рехнулся и уже рассчитывал получить, по примеру Филины, комнату в новом замке.

Если бы это намерение осуществилось, он избежал бы большой беды. Когда он однажды поздно вечером, возвращаясь в старый замок, наугад плелся по темной узкой тропке, на него напало несколько человек; одни схватили и крепко держали его, а другие принялись лихо колотить, да так впопыхах измолотили его, что он едва не остался на месте и лишь с превеликим трудом дотащился до своих братьев, а те, как ни прикидывались возмущенными, на деле втайне радовались его беде и едва не прыснули со смеху, когда увидели, как старательно его потрепали: новый коричневый кафтан весь был в белых пятнах, словно от потасовки с мельником.

Тотчас же оповещенный граф впал в неопишуемый гнев. Он объявил этот поступок величайшим злодеянием, заклеил его как покушение на общественную безопасность и приказал своему судье произвести строжайшее дознание. Главной уликой был признан засыпанный чем-то белым кафтан. Все, что в замке связывалось с пудрой или с мукой, было привлечено к следствию, но все тщетно.

Барон честью своей торжественно заверял: хотя такая манера шутить отнюдь не пришлась ему по вкусу, а поведение его сиятельства графа было далеко не дружественным, однако он постарался стать выше этого и к беде, постигшей пресловутого поэта или пасквильянта, — зовите его как хотите, — ни в малой мере не причастен.

Другого рода занятия гостей и тревожения домашних вскоре привели в забвение это происшествие, и незадачливый фаворит дорого

заплатил за удовольствие короткий срок покрасоваться в павлиньих перьях.

Наша труппа продолжала играть ежевечерне и на обращение, в общем, жаловаться не могла, но чем лучше актерам жилось, тем больше они начали предъявлять претензий.

Вскорости и еда, и питье, и услужение, и квартира стали для них недостаточно хороши, и они наседали па своего заступника, барона, чтобы он получше о них заботился и наконец-то обеспечил им те удобства и удовольствия, которые обещал. Жалобы становились все громче и все бесплоднее старания их друга удовлетворить эти жалобы.

А Вильгельм, если не считать репетиций и спектаклей, почти не показывался на люди. Запершись в одной из самых дальних комнат, куда имели доступ только Миньона и старый арфист, он жил и мечтал в шекспировском мире и более ничего вокруг себя не видел и не воспринимал.

Есть, говорят, чародеи, которые магическими формулами привлекают к себе в горницу несметное множество самых разнообразных духов. Сила заклинаний столь велика, что вскоре заполняется все пространство комнаты, и духи, скопившись у очерченного чародеем малого круга, вращаются вокруг него и над головой мастера, множась в непрерывном движении и превращении. Каждый угол забит ими, занят каждый карниз. Овы[29] раздуваются, гигантские фигуры съеживаются, превращаясь в грибы. На беду, чернокнижник забыл слово, которым мог бы ввести в берега буйный круговорот духов. Так сидел Вильгельм, и в душе его с неизведанной силой оживали тысячи ощущений и устремлений, которых он не подозревал и не предчувствовал. Ничто не могло вырвать его из этого состояния, он только раздражался, если кто-нибудь улучал случай наведаться к нему и рассказать, что происходит за стенами его комнаты.

Так он почти не обратил внимания на известие, что во дворе замка предстоит экзекуция, — будут сечь розгами мальчугана, который заподозрен в попытке проникнуть ночью в дом, а так как на нем был парикмахерский балахон, его сочли соучастником избиения. Правда, мальчик упорно отпирался, а посему его нельзя наказать на законном основании и решено его прогнать, проучив как бродягу за то, что оп несколько дней шатался по окрестностям, ночевал на мельницах, а в конце концов приставил лесенку к садовой стене и перелез в сад.

Во всей этой истории Вильгельм не усмотрел ничего примечательного, но тут в комнату вбежала Миньона и стала его уверять, что захваченный мальчик не кто иной, как Фридрих; повздорив с шталмейстером, оп покинул труппу и куда-то скрылся.

Вильгельм всегда симпатизировал мальчику и теперь поспешил во двор, где уже шли приготовления, ибо граф любил устраивать парад даже из таких случаев. Мальчика привели. Вильгельм вмешался и попросил подождать, потому что оп мальчика знает и хочет дать о нем кое-какие сведения. Он не без труда настоял на своем и в конце концов получил разрешение поговорить с преступником с глазу на глаз. Тот клялся, что ничего не знает об избиении кого-то из актеров. Он бродил вокруг замка и прокрался ночью внутрь, чтобы попасть к Филине, разведав сперва, где помещается ее спальня, и непременно добрался бы туда, если бы его не схватили на полпути.

Блюдя честь труппы, Вильгельм не пожелал вдаваться в подробности, поспешил к шталмейстеру и попросил его, как лицо, близкое к данной особе и к дому, быть посредником в Этом деле и выволить мальчика.

Охотник до выдумок, шталмейстер сочинил с помощью Вильгельма целую историю, будто бы мальчик состоял в труппе, сбежал из нее, потом захотел воротиться и быть снова принятым. Поэтому он замыслил ночью повидать своих покровителей и попросить их заступничества. Вообще же, по общим отзывам, поведения он всегда был хорошего; тут вступились дамы, и мальчика отпустили.

Вильгельм взял его к себе, и он отныне стал третьим в том удивительном семействе, которое Вильгельм с некоторых пор считал своим собственным. Старик и Миньона приветливо приняли вновь обретенного, и все троим обязались отныне усердно служить своему другу и защитнику и стараться ему угождать.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Филина умудрялась с каждым днем все более втираться в доверие к дамам. Когда они бывали одни, она обычно навела разговор на мужчин, которые появлялись, исчезали, и Вильгельм был не последним, кому уделялось сугубое внимание. Сметливая девица поняла, какой глубокий след оставил он в сердце графини, и рассказывала о нем, что знала и чего не знала; однако остерегалась проболтаться о чем-нибудь таком, что могло быть истолковано не в его пользу, зато превозносила его великодушие, щедрость, особливо же благонравие в обращении с женским полом. На все задаваемые ей вопросы она отвечала осмотрительно, а когда все возрастающее увлечение своей прекрасной приятельницы заметила баронесса, это открытие и ей пришлось очень кстати. Ее собственные отношения со многими мужчинами, к примеру, последняя ее связь с Ярно, не остались тайной для графини, чистая душа которой не могла без порицания и кроткого упрека стерпеть такое легкомыслие.

Таким образом, и баронесса, как и Филина, из собственного интереса старалась сблизить Вильгельма с графиней, а Филина к тому же рассчитывала потрудиться и в свою пользу, вернув себе при сем случае утраченное расположение молодого человека.

Однажды, когда граф вместе со всей компанией ускакал на охоту и возвращения мужчин ожидали завтра утром, баронесса придумала шутку, вполне в ее Екусе, — она обожала переодевания и являлась, на удивление обществу, то поселянкой, то пажом, то юным героем. Таким образом, она создала себе ореол маленькой вездесущей феи, которая непременно оказывается там, где ее меньше всего ожидают. Она ликовала, если ей удавалось неузнанной некоторое время прислуживать гостям или присутствовать среди них и наконец разоблачить себя тоже с помощью шутки.

Под вечер она вызвала к себе в комнату Вильгельма, са «ма занялась каким-то делом и поручила Филине подготовить его.

Он пришел и был несколько озадачен, вместо знатных дам застав в комнате ветреную девицу. Она встретила его с особого рода непринужденной благовоспитанностью, в которой успела напрактиковаться, чем и его обязала к учтивости.

Сперва она подтрунивала над удачей, которая вообще сопутствует ему, да и сейчас, очевидно, привела его сюда. Затем ласково

попеняла ему за обращение, коим он все время мучил ее, прицала и винала себя самое, сознаваясь, что заслуживает такого отношения с его стороны, как могла откровеннее описала свое состояние, называя его делом прошлым, а под конец заявила, что первая презирала бы себя, если бы не была способна перемениться и стать достойной его дружбы.

Вильгельм был озадачен этой тирадой. Слишком мало зная свет, он не успел убедиться, что самые легкомысленные люди, не могущие исправиться, частенько горячее всего обвиняют себя, охотно и чистосердечно признаются и каются в своих поступках, хотя ни в малейшей степени не способны сойти с того пути, куда увлекает их натура, чью власть они не в силах одолеть. Поэтому он не мог упорствовать в суровости к миловидной грешнице, вступил с ней в беседу и услышал от нее предложение сделать сюрприз красавице графине, устроив какой-то странный маскарад.

У него возникли на этот счет сомнения, которых он не утаил от Филины, но вошедшая в эту минуту баронесса не дала ему времени для колебаний и увлекла его за собой, уверив, что надо спешить.

Уже совсем стемнело, когда она ввела его в гардеробную графа, велела снять кафтан и облачиться в шелковый графский шлафрок, надела на него колпак с красной лентой, повела его в кабинет, сказала, чтобы он сел в большое кресло и взял книгу, сама зажгла аргандову лампу,<sup>[30]</sup> стоявшую перед ним, научила, что ему делать, какую роль играть.

Графине доложат, что ее супруг внезапно воротился в дурном расположении духа; она поспешит к нему, несколько раз пройдет вразд- вперед по комнате, затем присядет на ручку кресла, обнимет мужа за плечи и заговорит с ним. Вильгельму надлежит как можно дольше и лучше играть роль супруга; когда же настанет время открыться, он должен вести себя покорно и галантно.

Вильгельму было крайне неловко в этом нелепом обличье; предложение огорошило его, а осуществление опередило всякие возможности раздумья. Баронесса вышмыгнула из комнаты, прежде чем он сообразил, сколь опасно его положение. Он не лукавил перед самим собой, не отрицал, что красота, молодость и очарование графини оказали на него некоторое действие; но, будучи по натуре далек от пустого волокитства и по убеждениям своим не способен проявить малейшую предприимчивость, он испытывал в эти минуты немалое замешательство. Страх не успеть в милостях графини или добиться слишком легкого успеха был в нем одинаково велик.

Все женские чары, когда-либо пленявшие его, предстали вновь его воображению. В утреннем неглиже являлась перед ним Мариана и молила не забывать ее. Привлекательность Филины, ее красивые волосы и вкрадчивые повадки вновь волновали его после недавней встречи; но все это отступало назад, уходило в подернутую дымкой даль, когда ему представлялся благородный цветущий облик графини, чья рука через несколько минут обовьется вокруг его шеи, чьи невинные ласки должны найти у него ответ.

Он, разумеется, не подозревал, каким непредвиденным образом будет выведен из столь щекотливого положения. Как же был он изумлен и как испуган, когда за его спиной отворилась дверь и он с первого, украдкой брошенного в зеркало взгляда явственно увидел графа, который вошел со свечой в руке. Колебания, что делать, — сидеть ли или вскочить, бежать, признаться, отрицать или просить прощения, — длились считанные секунды. Граф, застывший на пороге, отступил назад и беззвучно закрыл за собой дверь. В тот же миг из боковой двери выскочила баронесса, погасила лампу, рванула Вильгельма с кресла и увлекла его за собой в гардеробную. Быстро скинул он шлафрок, который тут же был водворен на обычное место. Баронесса схватила одежду Вильгельма и вместе с ним через несколько комнат, коридоров и закоулков добежала до своей спальни, где, отдышавшись, рассказала ему, что она отправилась к графине сообщить вымышленное известие о прибытии графа. «Я уже знаю об этом, — ответила графиня. — Что такое могло случиться? Только что я видела, как он въезжал в боковые ворота». Баронесса в испуге тотчас бросилась за Вильгельмом в покои графа.

— К несчастью, вы опоздали! — воскликнул Вильгельм. — Граф до вас побывал у себя в кабинете и увидел, что я там сижу.

— Он вас узнал?

— Не знаю, он видел меня в зеркале, как и я увидел его, и прежде чем я разобрал, призрак ли это или он сам, он шагнул назад и захлопнул за собой дверь.

Замешательство баронессы возросло, когда слуга пришел звать ее и сообщил, что граф находится у своей супруги. С нелегким сердцем отправилась она туда и нашла графа притихшим и сосредоточенным, а в речах более кротким и приветливым, нежели обычно. Она не знала, что и думать. Разговор шел об охотничьих приключениях и причинах его преждевременного приезда домой. Обе темы вскоре иссякли. Граф умолк, и баронесса была озадачена вконец, когда он осведомился о Вильгельме и попросил позвать молодого человека, чтобы тот почитал им вслух.

Вильгельм, успевший одеться в спальне баронессы и до некоторой степени успокоиться, не без тревоги явился на зов. Граф протянул ему книгу, из которой, он не без смущения принялся читать повесть с приключениями. Голос у него срывался и дрожал, что, по счастью, соответствовало содержанию повести. Граф несколько раз знаками выражал удовольствие и, отпуская нашего друга, особенно похвалил выразительность чтения.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Вильгельм успел прочитать всего несколько пьес Шекспира и так был ими потрясен, что не мог читать дальше. Вся душа всколыхнулась в нем. Он стремился поговорить с Ярно и не находил слов, чтобы выразить благодарность за доставленное наслаждение.

— Я предвидел, что вы не останетесь равнодушны к высоким достоинствам удивительнейшего и замечательнейшего из всех писателей.

— О! — воскликнул Вильгельм. — Не припомню, чтобы какая-либо книга, или человек, или случай из жизни оказали на меня столь же сильное действие, как великолепные творения, с которыми я познакомился благодаря вашей доброте. Они как бы созданы небесным гением, который нисходит к людям, дабы нечувствительно открыть им глаза на самих себя. Это не сочиненные стихи! Когда их читаешь, кажется, будто стоишь перед раскрытыми, потрясающими душу книгами судьбы, в которых бушует ураган кипучей жизни, с неукротимой силой перелистывающий страницы. Я до такой степени поражен, так выведен из равновесия этой силой и нежностью, мощью и покоем,



что жду не дожудься того часа, когда я вновь буду в состоянии возобновить чтение.

— Bravo! — воскликнул Ярно, пожимая руку нашему другу. — Я этого и добивался, и последствия, надеюсь, не замедлят сказаться.

— Мне хотелось бы, — подхватил Вильгельм, — открыть вам то, что сейчас творится во мне. Все мои предчувствия касательно человечества и его судеб, которые с юности неосознанно сопутствовали мне, все их нахожу я в пьесах Шекспира осуществленными и разъясненными. Кажется, будто он раскрыл нам все загадки, но при этом нельзя указать, где именно поставлено решающее слово. Люди у него как будто обычные дети природы, и все же это не так. В его пьесах эти загадочные и многоликие творения природы действуют так, словно они часы, в которых циферблат и корпус сделаны из хрустала; согласно своему назначению они указывают бег времени, а нам видны колеса и пружины, движущие ими. Короткий взгляд, брошенный мною в шекспировский мир, более чем что-либо побуждает меня поскорее внедриться в мир действительный, смешаться с потоком судеб, предопределенных ему, и когда-нибудь, если мне посчастливится, зачерпнуть в необъятном море живой природы несколько кубков и с подмостков театра излить их на алчущих зрителей моей отчизны.

— Как радует меня состояние духа, в котором я нахожу вас, — сказал Ярно и положил руку на плечо взволнованного юноши, — не бросайте намерения перейти к деятельной жизни и торопитесь с толком употребить отпущенные вам счастливые годы. Я от всего сердца постараюсь помочь вам, если это будет в моих силах. Я не успел спросить вас, как вы попали в эту компанию, для которой заведомо не были ни рождены, ни воспитаны. Но я надеюсь, да и вижу, что вы очень не прочь избавиться от нее. Я понятия не имею о вашем происхождении и ваших семейных обстоятельствах; решайте сами, что именно вам желательно доверить мне. Я же скажу вам одно: мы живем в военное время, когда возможны стремительные перемены судьбы; ежели есть у вас желание отдать ваши силы и способности на службу нам, ежели вы не боитесь трудов, а в случае чего не убоитесь и опасности, то у меня есть сейчас возможность устроить вас на такую должность, на которой сколько бы ни побыли, вы в дальнейшем об Этом не пожалеете.

Вильгельм не находил слов для благодарности и готов был поведать новому другу и покровителю всю историю своей жизни.

За разговором они зашли далеко в глубь парка и достигли большой дороги, пролегавшей через него. Ярно остановился в раздумье, затем сказал:

— Обдумайте мое предложение и решайтесь, а через несколько дней дайте мне ответ и подарите меня своим доверием. Уверю вас, мне доселе было непонятно, что общего могли вы иметь с подобной публикой. С омерзением и досадой наблюдал я, как вы, лишь бы чем-то наполнить жизнь, могли прилепиться сердцем к бродячему уличному певцу и к придурковатому двуполому созданию.

Не успел он договорить, как к ним подскакал офицер в сопровождении стремянного с подручным конем. Ярно живо приветствовал офицера. Тот соскочил с лошади, приятели обнялись и завели разговор, меж тем как Вильгельм, пораженный последними словами своего воинственного друга, в глубоком раздумье стоял сбоку.

Ярно перелистал бумаги, которые вручил ему новоприбывший, а тот тем временем подошел к Вильгельму, протянул ему руку и с пафосом заявил:

— Рад встретить вас в столь достойном обществе, последуйте совету вашего друга, тем самым вы исполните желание неизвестного вам доброхота, принимающего в вас сердечное участие.

Сказав это, он обнял Вильгельма и горячо прижал к своей груди.

Тут к ним приблизился Ярно и сказал, обратясь к незнакомцу:

— Лучше всего мне будет сразу же воротиться с вами, дабы вы получили требуемые указания и могли уехать засветло.

С тем оба вскочили на коней и предоставили нашего удивленного друга его собственным размышлениям.

Последние слова Ярно все еще звучали в его ушах. Ему было несносно думать, что человек, глубоко им уважаемый, так низко судит о двух существах, в простоте сердечной завоевавших его привязанность. Неожиданные объятия незнакомца мало его тронули, лишь на миг заняв его воображение и любопытство; зато речи Ярно поразили его в самое сердце; он был глубоко уязвлен и на возвратном пути принялся корить самого себя за то, что мог понять превратно и позабыть хоть на миг холодное жестокосердие Ярно, которое сквозит в его глазах и сказывается во всех его движениях.

— Нет, — воскликнул он вслух, — даже не вообрази, что ты, бесчувственный великосветский сухарь, способен быть другом. Все, что можешь ты предложить мне, не стоит чувства, связывающего меня с этими горемыками. Какое счастье, что я вовремя понял, чего мне ждать от тебя!

Заклучив в объятия вышедшую ему навстречу Миньону, он воскликнул:

— Нет, ничто не разлучит нас с тобой, доброе мое дитя! Никакая мнимая житейская мудрость не внушит мне, чтобы я тебя покинул и позабыл, чем тебе обязан.

Девочка, чьи бурные ласки он обычно пресекал, обрадовалась этому неожиданному изъятию чувств и так крепко к нему прижалась, что он еле-еле высвободился.

С этих пор он пристально приглядывался к поведению Ярно и не все находил в нем похвальным. Так, например, он возымел сильное подозрение, что стихи против барона, за которые так жестоко поплатился бедняга педант, были сострепаны самим Ярно. А когда тот в присутствии Вильгельма позволил себе посмеяться над этим случаем, наш друг усмотрел здесь закоренелую душевную порочность, ибо что может быть зловреднее, чем осмеять невинного, пострадавшего по твоей вине, не подумав даже об удовлетворении или возмещении

причиненного ему урона! Вильгельм сам охотно бы постарался об этом, благо по странной случайности напал на след виновников ночного избиения.

До тех пор от него тщательно скрывали, что в нижней зале старого замка молодые-офицеры ночи напролет веселятся кое с кем из актеров и актрис.

Однажды утром, встав, по своему обыкновению, спозаранку, он по ошибке попал в этот покой и увидел молодых людей, которые весьма своеобразным способом совершали утренний туалет. Растерев мел в тазу с водой, они щеткой накладывали это тесто на свои камзолы и панталоны, не снимая их с себя, и таким образом наскоро придавали своей одежде опрятный вид. Подивившись таким приемам, он вспомнил засыпанный и замаранный белым кафтан педанта; подозрение усугубилось, когда он узнал, что в эту компанию входили родственники барона.

Желая пойти далее по следу, он пригласил молодых людей на легкий завтрак. Они были очень оживленны и рассказали кучу веселых историй. Один из них, некоторое время служивший по вербовке, особенно выхвалял ловкость и неутомимость своего начальника, умевшего привлечь к себе самых разных людей и уместить каждого по-своему. обстоятельно расписывал он, как отпрыски хороших фамилий, люди отменного воспитания, попадались на посулы получить солидную должность, и от души смеялся над простофилями, которым поначалу очень льстило, что столь почтенный, храбрый, умный и щедрый офицер ценит и отличает их.

Как благословлял Вильгельм своего доброго гения, нечаянным образом открывшего ему ту бездну, к самому краю которой он приблизился, не ведая зла! Теперь он видел в Ярно всего лишь вербовщика, и объятиям незнакомого офицера находил простое объяснение. Ему противен был замысел этих людей, и отныне он избегал общения со всеми, кто носит мундир, и только порадовался бы вести, что армия двигается дальше, если бы его не страшила мысль, что тем самым он, быть может, навсегда лишится общества своей прекрасной приятельницы.

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Баронесса меж тем целые дни проводила, мучась тревогой и неутоленным любопытством. Дело в том, что поведение графа после вышеописанного происшествия было для нее совершенно непостижимо. Он полностью изменил обычным своим повадкам; шуток его как не бывало. Требования к актерам и к слугам стали заметно скромнее. Куда девался его придирчивый, повелительный тон? Он как-то притих и замкнулся в себе, но при этом старался быть веселым и вообще словно переродился. Для чтений вслух, которые иногда устраивались по его желанию, он выбирал серьезные, зачастую релит гиозиые труды; и баронесса жила в постоянном страхе, что за его внешним спокойствием прячется затаенный гнев, скрытое намерение покарать проступок, случайно им открытый. Посему она решилась довериться Ярно, тем более что была с ним в таких отношениях, когда обычно у людей нет между собой тайн. С недавних пор Ярно стал ее интимным другом; однако у них хватило ума держать в тайне от окружающего их шумного света свое увлечение и свои улады. Лишь от глаз графини не ускользнула эта новая интрижка, и можно предположить, что баронесса старалась на такой же манер занять подругу, дабы избежать кротких укоров, которыми Эта благородная душа нередко донимала ее.

Не успела баронесса рассказать всю историю своему другу, как он, расхохотавшись, вскричал:

— Конечно же, старик уверен, что видел самого себя! Он испугался, что видение предрекало ему беду и даже, чего доброго, смерть; вот он и присмирел, как все получеловеки, когда подумают о развязке, от которой никто не ушел и не уйдет. Но об этом молчок! Надеюсь, он проживет еще долго, а потому лучше воспользуемся случаем и постараемся так перевоспитать его, чтобы он больше не был в тягость ни же\* не, ни домочадцам.

Отныне они, уловив всякую удобную минуту, норовили в присутствии графа навести разговор на предчувствия, видения и тому подобное. Ярно разыгрывал из себя скептика, его приятельница вторила ему, и оба довели дело до того, что граф под конец отвел Ярно в сторону, поставил ему на вид вольнодумство и на собственном своем примере постарался убедить его в том, что такие явления могут быть и бывают на самом деле. Ярно изобразил изумление, сомнения, а под конец признал себя убежденным; зато позднее, под сенью ночи, всласть посмеялся со своей подругой над малодушiem светского человека, который в один миг с перепугу укротил свой вздорный нрав и заслуживает похвалы лишь за то, что с таким присутствием духа дожидается надвигающейся беды или, чего доброго, смерти.

— К возможным естественным последствиям этого явления он никак не был готов! — воскликнула баронесса с обычной игривостью, к которой переходила, едва с души у нее снимали тревогу. Ярно был щедро награжден, и оба стали строить новые планы, как укротить графа и еще более разжечь и упрочить увлечение графини Вильгельмом.

В этих целях вся история была рассказана графине, которая сперва даже разгневалась, однако с той поры стала задумчивее и в спокойные минуты, казалось, обдумывала, переживала, воображала себе подстроенную для нее сцену.

Происходившие повсеместно приготовления решительно подтверждали слух, что войска скоро двинутся дальше и принц тоже перенесет свою главную квартиру; говорили еще, что одновременно и граф покинет свое поместье и возвратится в город. Нашим актерам нетрудно было представить себе свою дальнейшую участь; но один лишь Мелина принял в связи с этим меры на будущее, остальные же старались урвать от настоящего как можно больше удовольствий.

Тем временем Вильгельм был поглощен занятием особого рода. Графиня потребовала, чтобы он переписал для нее все свои пьесы, и это желание любезной дамы было им сочтено за наилучшую награду.

Молодой, ни разу не печатавшийся сочинитель прилагает в таком случае величайшее тщание, чтобы как можно опрятнее и красивее переписать свои произведения. Это как бы золотой век сочинительства: поэту кажется, будто он перенесен в те времена, когда печать еще не наводняла мир уймой никчемных опусов и лишь ценные творения ума удостоивались быть списанными и сохраненными благороднейшими людьми, а посему нетрудно впасть в ошибку, сделав вывод, что всякая аккуратно нацарапанная рукопись — тоже достойное творение ума, которое знатоку и меценату должно приобрести и выставить напоказ.

В честь принца, которому вскорости предстояло отбыть, был дан парадный обед. Приглашение получили многие из дам, обитавших по соседству, и графиня оделась заблаговременно. Для этого дня она выбрала более богатый наряд, чем обычно, прическа и убор были изысканнее, все ее драгоценности блистали на ней. Баронесса тоже приложила много старания, чтобы одеться попышнее и поизящнее.

Филина заметила, что обеим дамам скучно дожидаться гостей, и предложила позвать Вильгельма, которому не терпелось вручить готовый манускрипт и в дополнение почитать кое-какие мелкие вещицы. Он вошел и застыл на пороге, пораженный осанкой и грацией графини, подчеркнутыми роскошью наряда. По приказанию дам он начал читать, и читал так рассеянно и плохо, что дамы сразу отпустили бы его, не будь они так деликатны.

При каждом взгляде на графиню перед глазами его словно вспыхивала электрическая искра; под конец ему невольно стало декламировать, так у него захватило дыхание. Прекрасная графиня всегда нравилась ему, но сейчас ему казалось, что никогда он не видел ничего столь совершенного, и вот к чему примерно сводились те тысячи мыслей, которые переплетались в его уме:

«До чего же нелепо возмущение многих поэтов и так называемых тонко чувствующих людей богатством и блеском наряда и желание их видеть женщин любых сословий в простой, гармонирующей с природой одежде. Они ополчаются против нарядов, но того не понимают, что злосчастный наряд тут ни при чем, что нам противен вид уродливой или не очень красивой особы, богато и претенциозно одетой; хотел бы я созвать сюда всех знатоков мира и спросить у них, что им хотелось бы убрать вот из этих складок, из этих лент и кружев, из этих буфов, локонов и сверкающих камней? Не побоялись бы они нарушить приятность зрелища, представляющего им таким непринужденным и естественным? Да, именно естественным! Если Минерва в полном вооружении появилась из головы Юпитера, то нам кажется, что эта вот богиня во всем блеске своего наряда легкой поступью вышла из цветка».

Во время чтения он то и дело поднимал на нее взгляд, будто хотел запечатлеть ее облик навеки, несколько раз сбивался, но даже не думал смущаться, хотя обычно мог прийти в отчаяние от обмолвки в одном слове, одной букве, как От позорного провала.

Шум, ошибочно отнесенный к прибытию гостей, положил конец его чтению; баронесса ушла, а графиня, собираясь захлопнуть крышку секретера, взяла шкатулочку с перстнями и нанизала на пальцы еще несколько перстней.

— Мы скоро расстанемся, — вымолвила она, не отрывая глаз от шкатулки. — Примите это на память о доброй приятельнице, которая от души желает вам всякого благополучия.

Сказав это, она достала перстень, где в осыпи из драгоценных камней под хрусталем был помещен щит, красиво сплетенный из волос. Она протянула его Вильгельму, который стоял как вкопанный, принимая подарок, и не знал, что сказать, что сделать. Графиня замкнула секретер и села на софу.

— А я уйду ни с чем, — произнесла Филина, став на колени по правую руку графини. — Взгляните-ка на этого молодчика, который болтлив не в пору, а сейчас ни единым словечком поблагодарить не может. Живее, сударь, хотя бы мимикой постарайтесь отдать долг признательности, а если вы нынче не в силах что-нибудь придумать, так последуйте, по крайности, моему примеру!

Филина схватила правую руку графини и горячо облобызала ее. Вильгельм упал на колени, завладел левой рукой и поднес ее к губам. Графиня как будто смугилась, по неудовольствию не выразила.

— Ах! — вскричала Филина. — Столько украшений мне, конечно, случалось видеть, но ни разу не видела я дамы, в такой мере достойной их носить. Какие браслеты! Но и какая же рука! Какое ожерелье! Но и какая ясе грудь!

— Замолчи, лъстица! — прикрикнула графиня.

— Это изображает его сиятельство графа? — спросила Филина, указывая на богатый медальон, драгоценной цепочкой прикрепленный слева к груди графини.

— Он написан здесь женихом, — пояснила графиня.

— Неужто он был тогда так молод? — удивилась Филина. — Насколько я знаю, вы состоите в супружестве всего несколько лет.

— Молодость надо отнести за счет живописца, — заявила графиня.

— Красивый мужчина, — признала Филина, — но может ли статься, чтобы в этот заповедный ларчик ни разу не проник другой образ? — заключила она, кладя руку на сердце графини.

— Ты не в меру дерзка, Филина, — вскричала та, — я разбаловала тебя, но чтобы в другой раз я этого не слыхала.

— Горе мне — я вас прогневила! — С этим возгласом Филина вскочила и бросилась прочь из комнаты.

Вильгельм все еще не отпуская прелестнейшей руки.

Глаза его были прикованы к фермуару браслета, где, к величайшему его изумлению, из бриллиантов были выложены начальные буквы его имени.

— Неужели, получив этот бесценный перстень, я в самом деле стал обладателем ваших волос? — смиренно спросил он.

— Да, — приглушенным голосом ответила она; затем, овладев собой, пожала ему руку и сказала: — Встаньте и прощайте.

— Здесь стоит мое имя, — воскликнул он, показывая на фермуар. — Какое удивительное совпадение!

— Что вы? Это вензель моей подруги.

— Это начальные буквы моего имени. Не забывайте же меня. Ваш образ неизгладимо запечатлен в моем сердце. Прощайте, позвольте мне бежать от вас.

Он поцеловал ее руку и хотел встать. Но как во сне нас ошеломляет одно событие необычайнее другого, так графиня вдруг очутилась в его объятиях, ее губы прижались к его губам.

Сам, и жгучие поцелуи вселили в обоих такое блаженство, какое способны дарить лишь первые глотки со свежевспененного кубка любви.

Голова ее покоилась на его плече, о смятых локонах и бантах никто и не помышлял. Она обвила его рукой; он обнял ее и пылко прижал к своей груди. О, почему такое мгновение не может длиться вечно! Горе завистливой судьбе, поспешившей отнять эти краткие мгновения также и у наших друзей!

Как испугался Вильгельм, в каком смятении очнулся от блаженного забытья, когда графиня, вскрикнув, вырвалась из его объятий и схватилась рукой за сердце. В смятении стоял он перед ней. Она поднесла вторую руку к глазам и после паузы произнесла:

— Уйдите, не медлите!

Он не двигался с места.

— Оставьте меня! — повторила она, отняла руку от глаз, посмотрев на него неизъяснимым взглядом, добавила исполненным нежности голосом: — Бегите от меня, если вы меня любите!

Вильгельм бросился прочь и очутился у себя в комнате, не сознавая, где находится.

Несчастные! Кто же, случай или провидение, таинственным образом предостерег их и оторвал друг от друга?

## КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

### ГЛАВА ПЕРВАЯ

Лаэрт в задумчивости стоял у окна, опершись на руку и глядя на окрестные поля. Филина прокралась к другу через всю большую залу, прислонилась к нему и принялась подшучивать над его сосредоточенной миной.

— Нечего смеяться, — оборвал он, — страшно подумать, как летит время, как все меняется, всему приходит конец. Взгляни, вот здесь недавно был раскинут великолепный лагерь! Как весело глядели палатки! Какое оживление царило в них! Как тщательно охранялся весь округ! И вдруг все разом исчезло. Немного сохранятся последние следы — затоптанная солома, ямы от котлов, а там все перепашут, и память о пребывании в здешних краях многих тысяч храбрых молодцов застрянет лишь в памяти нескольких старческих голов.

Филина запела и потянула друга потанцевать по зале.

— Раз время прошло, догнать его мы не можем, — заявила она, — так давай же, пока оно еще весело идет мимо нас, красиво почествуем его, как прекрасное божество.

Не успели они сделать несколько туров, как по зале прошла мадам Мелина. У Филены достало злорадства пригласить ее тоже на танец и тем самым напомнить, как обезображена ее фигура беременностью.

— Хоть бы мне никогда не видать женщины на сносях, — сказала Филина ей вдогонку.

— А все-таки она рада своей ноше, — возразил Лаэрт.

— Но это ее ужасно уродует. Заметил ты, как подхвачена спереди юбка, как передние сборки торчат и выдаются при каждом шаге? У нее нет ни вкуса, ни способности взглянуть на себя со стороны и хоть чуточку скрыть свое положение.

— Оставь! — сказал Лаэрт. — Время само придет ей на помощь.

— А насколько было бы красивой, если бы детей стряхивали с деревьев, — заключила Филина.

Вошел барон и передал им несколько приветливых слов от графа и графини, уехавших рано утром, и наделил их небольшими подарками. После этого он отправился к Вильгельму, который занимался с Миньонной в соседней комнате. Девочка была очень ласкова, заботливо расспрашивала Вильгельма о его родителях, братьях, сестрах и родственниках и тем самым напомнила ему, что он обязан подать о себе весть своим близким.

Наряду с прощальным приветом от их сиятельств барон принес ему заверения, что граф остался весьма доволен им, его игрой, его поэтическими опусами и трудами по части театра. Дабы подкрепить такое расположение, он достал кошелек, сквозь красивое плетение которого соблазнительно сверкали новенькие золотые; Вильгельм отшатнулся, отказываясь принять его. Барон настаивал.

— Считайте этот дар возмещением потраченного вами времени, признательностью за ваши старания, но отнюдь не наградой вашему таланту. Если им мы приобретаем доброе имя и расположение людей, то вполне справедливо, чтобы прилежанием и усердием мы добывали средства удовлетворять свои потребности, ибо мы ведь не бесплотные духи. Находишься мы в городе, где все можно достать, эта небольшая сумма была бы превращена в часы, в перстень или тому подобное, а сейчас я передаю волшебную палочку непосредственно вам в руки; добудьте себе с ее помощью сокровище, которое вам понадобится или приглянется, и храните его на

память о нас. К кошельку относился бережно. Дамы собственноручно связали его, желая через вместилище сделать содержимое как можно привлекательнее.

— Простите мне смущение и колебание принять подарок, — отвечал Вильгельм. — Он как будто обесценивает то малое, что я сделал, и мешает мне свободно предаться счастливым воспоминаниям. Деньги — превосходный способ на чем-нибудь поставить точку, а я вовсе не хочу, чтобы на мне окончательно поставили точку в вашем доме.

— Для данного случая это не подходит, — возразил барон, — вы сами, как человек деликатный, не станете требовать, чтобы граф считал себя кругом у вас в долгу; ведь он из тех людей, которые величайшую свою гордость полагают в том, чтобы быть внимательным и справедливым. Для него не осталось тайной, сколько вы положили трудов, сколько времени посвятили его планам, мало того, он знает, что для ускорения кое-каких работ вы не жалели собственных денег. Как же мне показаться ему на глаза, если я не могу его заверить, что его признательность была вам приятна.

— Если бы я мог думать только о себе и следовать лишь собственным побуждениям, я бы, невзирая на все доводы, наотрез отказался принять этот дар, сколь он ни прекрасен и ни почетен, — ответил Вильгельм, — но не стану таиться: испытывая от него неловкость, я через него избавлюсь от неловкости по отношению к моим близким, которая втайне меня сокрушала. Мне должно отдать отчет и в деньгах, и во времени, которыми распорядился я не слишком похвально; теперь же великодушие его сиятельства позволит мне спокойно сообщить близким, какое богатство я приобрел столь неожиданным окольным путем. Во имя высшего долга я жертвую щепетильностью, подобно чуткой совести, предостерегающей нас в таких случаях, и ради того, чтобы смело предстать перед отцом, стою пристыженный перед вами.

— Удивительное дело, — заметил барон, — почему люди так стесняются брать деньги от друзей и покровителей, меж тем как всякий другой дар принимают от них с радостью и благодарностью! Человеческой натуре свойственно создавать и ревностно поддерживать в себе подобные предубеждения.

— Но разве это не относится ко всем вопросам чести?

— Ну да, и ко всем прочим предрассудкам, — подтвердил барон. — А мы боимся их искоренять, чтобы заодно не вырвать и ценные побеги. Но я всегда радуюсь, когда мне встречаются отдельные личности, сознающие, чем можно и должно пренебречь, и с удовольствием вспоминаю анекдот про остроумного писателя, который сочинил для придворного театра несколько пьес, коими снискал полное одобрение монарха. «Я желаю отменно наградить его, — заявил щедрый государь, — надо узнать, доставит ли ему удовольствие ценная вещь или он не побрезгует принять деньги». Отряженному для этого царедворцу писатель ответил на привычный ему шуточный лад: «Сердечно благодарю за высочайшую милость, но ра? государь ежедневно взимает с нас деньги, не вижу, почему мне должно быть зорно взять деньги у него».

Как только барон вышел из комнаты, Вильгельм живо стал пересчитывать капитал, доставшийся ему так неожиданно и, по его мнению, незаслуженно. Казалось, что стоимость и ценность золота, которую мы постигаем лишь в позднейшие годы, впервые смутной догадкой блеснула перед ним, когда красивые сверкающие монеты выкатились из нарядного кошелька. Произведя подсчет и приняв во внимание, что Мелина обещал тут же уплатить долг, он обнаружил, что в наличности у него оказалось столько же и даже больше, чем в тот день, когда по милости Филины он потратился на первый букет. С тайным удовлетворением думал он о своем даровании и с тихой гордостью об удаче, что напутствовала его и сопутствовала ему. Уверенно взялся он за перо, дабы сочинить письмо, которым сразу выведет всю семью из затруднения и в наилучшем свете выставит свой образ действий. Он избегал вдаваться в подробности и многозначительными туманными намеками предоставлял догадываться о своих приключениях.

Благополучное состояние его казны, достаток, которым он обязан был своему таланту, расположение сильных мира сего, успех у женщин, обширный круг знакомства, развитие телесных и духовных задатков, надежды на будущее — все вместе рисовало перед ним такой ослепительный воздушный замок, фантастичнее которого не могла бы соорудить сама фата-моргана.

В таком счастливом возбуждении продолжал он, запечатав письмо, вести долгий монолог, в котором повторял содержание написанного и сулил себе деятельное и достойное будущее. Пример столь многих благородных воителей воодушевил его, творения Шекспира открыли ему новый мир, а с губ красавицы графини он выпил неизъяснимый пламень. Все это не могло и не должно было остаться бесплодным.

Явился шталмейстер и спросил, сложены ли у них вещи. К несчастью, никто, кроме Мелины, еще об этом не подумал. А теперь надо было спешно уезжать. Граф обещал предоставить труппе средства перевозки на несколько дней пути; сейчас лошади были уже заложены, и долго задерживать их из следовало. Вильгельм потребовал свой сундук, — его присвоила мадам Мелина; он спросил свои деньги, — господин Мелина запрятал их на самое дно сундука.

— В моем сундуке найдется свободное место, — заявила Филина, взяла одежду Вильгельма и велела Миньоне принести остальное. Вильгельму пришлось поневоле согласиться.

Пока все собирали и складывали, Мелина сказала:

— Противно думать, что мы путешествуем, как ярмарочные фокусники и канатные плясуны; мне хотелось бы, чтобы Миньона надела женское платье и чтобы арфист сейчас же остриг бороду.

Миньона прижалась к Вильгельму и с горячностью заявила:

— Я мальчик! Не желаю я быть девочкой.

Старик молчал, а Филина отпустила несколько ехидных замечаний по поводу причуды графа, своего благодетеля.

— Если арфист обстрижет бороду, — говорила она, — пускай нашьет ее на ленту и хранит очень бережно, чтобы, встретясь где-нибудь

на белом свете с графом, он мог опять ее надеть, — только бородой он и заслужил милость его сиятельства.

Когда все приступили к ней, требуя объяснить это странное утверждение, вот что она заявила:

— Граф полагает, что сохранению иллюзии очень способствует старание актера сохранять и в обыденной жизни характерные черты своей роли; поэтому-то он и был благосклонен к педанту и находил, что арфист умно делает, нося привязную бороду не только вечером, на театре, но и днем не снимает ее, и очень радовался натуральности этого маскарада.

Пока все остальные потешались над заблуждением графа и над его странными понятиями, арфист отвел Вильгельма в сторону, стал прощаться и слезно просить, чтобы тот немедленно отпустил его. Вильгельм всячески увещевал старика, обещая оградить его от кого угодно, уверяя, что никому не позволит не то что обстричь, но даже тронуть на нем хоть волосок.

Старик был в сильном волнении, глаза его горели странным огнем.

— Не это гонит меня прочь! — вырвалось у него. — Уже давно корю я себя за то, что не оставляю вас. Нигде не следовало мне задерживаться, ибо злосчастье настигает меня и причиняет вред тем, кто водится со мной. Страшиться любых бед, если не отпустите меня. Только не задавайте мне вопросов, я не властен над собой и не могу остаться.

— Кто же имеет над тобой такую власть?

— Господин мой, оставьте мне мою ужасную тайну и освободите меня. Не земной судья обрек меня мщению; надо мной властвует неумолимый рок. Я не могу, я не смею остаться!

— В таком состоянии, как сейчас, я, конечно, не отпущу тебя.

— Промедление будет предательством против вас, моего благодетеля. Мне ничего не грозит возле вас, зато опасность грозит вам. Вы не знаете, кого пригрели близ себя; я виновен, но несчастье мое больше вины. Мое присутствие отпугивает удачу, и куда приближусь я, там доброе дело теряет свою силу. Вечно блуждать и скитаться обречен я, дабы не настиг меня мой злой гений, который непоспешно следует за мной и показывает свою власть, стоит мне лишь только приклонить голову, чтобы отдохнуть. Всего благодарнее покажу я себя тем, что покину вас.

— Станный ты человек! Доверие к тебе ты так же бессилен отнять у меня, как и надежду увидеть тебя счастливым. Я не хочу вторгаться в тайну твоего суеверия; но коль скоро живешь ты в предчувствии удивительных совпадений и предначертаний, так я скажу, дабы утешить и ободрить тебя: присоединись к моему счастью, и мы увидим, чей гений возьмет верх, твой ли черный, мой ли светлый!

Вильгельм не упустил возможности еще многое добавить ему в утешение, ибо с некоторых пор угадывал в странном своем спутнике человека, по воле случая и рока взвалившего на себя тяжкую вину и ныне влачащего за собой память о ней. Недаром за несколько дней до того Вильгельм подслушал его песню и заметил в ней следующие строки:

К нему луч утра огневой

Летит багряно из эфира,

И над повинной головой

Вдруг рушится прекрасный образ мира.[31]

Что бы ни говорил старец, Вильгельм всякий раз выдвигал довод более веский, умел все обернуть и показать лучшей стороной, умел найти такие добрые, душевные и утешительные слова, что старик как будто приободрился и отбросил свои мрачные помыслы.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Мелина питал надежду устроиться со своей трупой в небольшом, но зажиточном городке. Графские лошади доставили актеров до назначенного места, и теперь им предстояло добыть лошадей с повозками, чтобы ехать дальше. Мелина взял на себя эти хлопоты и, по своему обыкновению, отчаянно скряжничал. А у Вильгельма в кармане бренчали подаренные графиней блестящие дукаты, которые он считал себя вправе тратить в полное свое удовольствие, быстро позабыв, что хвастливо включил их в импозантный баланс, посланный родным.

Друг Шекспир, — в коем он с превеликим восторгом признал своего крестного, радуясь, что носит одно с ним имя, — познакомил его с неким принцем и будущим королем,[32] который проводит время в непочтенной и даже дурной компании и, невзирая на благородство своей натуры, услаждается грубыми, непотребными и нелепыми выходками этой простецкой братии. Пример пришелся тем более кстати, что позволял Вильгельму приравнять к нему и нынешнее свое состояние и давал необычайный простор самообольщению, к которому он испытывал неодолимую склонность.

Прежде всего он подумал о своем гардеробе и нашел, что камзольчик, на который в случае надобности можно набросить короткий плащ — одежда, вполне подходящая путнику. Длинные вязаные панталоны и пара башмаков на шнуровке как нельзя лучше пристали пешеходу. Далее он приобрел красивый шелковый шарф, которым повязался сперва под предлогом, что тело надо держать в тепле; зато шею он избавил от галстучного плена, приказавшить на рубашку несколько рядов кисеи, которые оказались слишком широки, по получилось полное впечатление старинных брыжей. Прекрасный шелковый шейный платок, уцелевшая память о Мариане, теперь свободно был повязан под кисейными брыжами. Круглая шляпа с пестрой лентой и большим пером давала маскараду последний штрих.

Женщины уверяли, что наряд этот превосходно ему идет. Филина представлялась совершенно очарованной и выпросила себе его

красные кудри, которые он безжалостно обстриг, дабы приблизиться к идеалу простоты. Тем самым Филина выставила себя в выигрышном свете, а наш друг, щедростью своей приобретший себе право обращаться с прочими на манер принца Гарри, скоро и сам вошел во вкус сумасбродных проказ, затевая и поощряя их. Молодые люди фехтовали, плясали, придумывали разные игры и в сердечном веселии неумеренно потребляли довольно сносное вино, которое им удалось добыть; а Филина в неразберихе беспорядочной жизни подстерегала неприступного героя, которого только и мог оберечь, что его добрый гений.

Отменным развлечением, имевшим особый успех у актеров, была импровизированная игра, в которой передразнивались и осмеивались недавние их покровители и благодетели. Некоторые актеры верно подметили внешние проявления благоприличия у разных знатных особ, и подражание таковым восторженно принималось остальной труппой, а когда Филина, заглянув в потайной архив личного опыта, извлекла оттуда кое-какие своеобразные способы объяснений в любви, обращенных к ней, — зрители совсем зашлись от злорадного хохота.

Вильгельм осудил их неблагодарность; ему возражали: они всемерно заслужили все, что было ими получено, и вообще обращение с такими достойными людьми, какими они себя мнили, оставляет желать лучшего. Посыпались жалобы на то, как невнимательно их встретили, как их унижали. Издевки, глумление и передразнивание возобновились, становясь все озлобленнее и несправедливее.

— Мне бы хотелось, — вмешался Вильгельм, — чтобы в ваших словах не сквозили зависть и себялюбие и чтобы вы с правильной точки зрения посмотрели на этих людей и на обстоятельства их жизни. Непростое это дело — быть по самому рождению поставлену высоко в человеческом обществе. Кто наследственным богатством совершенно избавлен от житейских забот, кто с малых лет, можно сказать, окружен всеми излишествами, доступными человеку, тот обычно привыкает почитать эти блага первыми и главными в жизни, а ценность людей, богато одаренных природою, ему не очень понятна. Обращение знатных особ с низшими, а также между собой сообразуется с внешними отличиями. У них всякому дозволено выставлять напоказ свое звание, положение, наряды, кареты — только не заслуги.

Слова эти были горячо одобрены труппой. Всех возмутило, что человек с личными заслугами постоянно остается в тени, что в высшем свете не найдешь и следа простых, сердечных отношений. Особенно долго, так и эдак, обсуждался последний пункт.

— Не хулите знатных за это, скорее пожалейте их! — вскричал Вильгельм. — То счастье, которое мы ценим выше всего и которое проистекает от богатства душевного, им редко суждено испытать в полную силу. Лишь нам, беднякам, малоимущим или вовсе неимущим, даровано по-настоящему познать счастье дружбы. Тех, кто дорог нам, мы не можем ни возвысить своею милостью, ни взыскать благоволением, ни осчастливить подарком. Кроме нашего «я», у нас нет ничего. Это «я» мы должны отдать всецело, и если оно чего-то будет стоить, навсегда оставить другу свой дар. И какое же это счастье, какое упоение для дающего и для принимающего. В какое блаженное состояние повергает нас верность! Она придает преходящей человеческой жизни неземную крепость; она составляет основную долю нашего богатства.

При этих словах к нему приблизилась Миньона, обняла его своими нежными руками и замерла, прижавшись головкой к его груди. Он положил руку на голову девочки и продолжал:

— Как легко сильному мира сего привлекать к себе умы, как легко покоряет он сердца! Снисходительное, ровное, мало-мальски человеческое отношение творит чудеса; а сколько у вельможи способов закрепить привязанность однажды завоеванных душ! К нам все приходит реже, все достигается труднее, и как естественно, что мы полагаем более высокую цену тому, что приобретаем и создаем. Сколь трогательны примеры верных слуг, пожертвовавших собой ради своих господ. Как прекрасно их показал нам Шекспир! В таких случаях верность — это стремление благородной души уподобиться тому, кто стоит выше. Через долгую привязанность и любовь слуга становится равен своему господину, который иначе вправе считать его оплаченным рабом. Да, подобные добродетели годны лишь для низшего сословия; ему без них не обойтись, и его они украшают. Кто легко может откупиться, тому грозит соблазн пренебречь признательностью. Да, с этой точки зрения я считаю себя вправе утверждать, что сильный мира сего хоть и может иметь друзей, но сам другом быть не может.

Миньона все теснее прижималась к нему.

— Так и быть, — заметил один из актеров, — мы в их дружбе не нуждаемся и никогда ее не домогались. Однако им бы следовало побольше смыслить в искусстве, которому они желают покровительствовать. Когда мы играли особенно хорошо, нас никто не слушал; все было основано на лицепрятии. К кому благоволили, тот и нравился, а кто имел право нравиться, к тому не благоволили. Уму непостижимо, сколько раз тупость и безвкусица удостоивались внимания и одобрения.

— Если откинуть злорадство и насмешку, то, мнится мне, с искусством дело обстоит, как с любовью, — сказал Вильгельм. — Легко ли светскому человеку при его рассеянной жизни сохранить непосредственность чувства, необходимую художнику, чтобы он мог создать нечто совершенное? Этой непосредственности не должен быть чужд и тот, кто хочет быть таким участником произведения, какого желает и на какое рассчитывает художник. Поверьте, друзья, дарование — то же, что добродетель, — их надо любить ради них самих или вовсе махнуть на них рукой. И все же оба они могут заслужить признание и награду не иначе, как будучи взлелеяны скрытно, точно опасная тайна.

— А пока нас отыщет настоящий знаток, мы умрем с голоду! — крикнул кто-то из угла.

— Ну, ну, не сразу же, — возразил Вильгельм. — По моим наблюдениям, куда живешь и двигаешься, пищу всегда себе найдешь, хоть и не в изобилии. Да и на что вам жаловаться! Разве нас не приютили и не накормили самым неожиданным образом, когда, казалось, дела наши совсем плохи? А сейчас, когда у нас ни в чем нет нужды, почему не подумаем мы поупражняться и хоть в малой степени продвинуться вперед? Мы занимаемся посторонними делами и, подобно школьникам, отмахиваемся от всего, что может нам напомнить заданный урок.

— В самом деле, — подхватила Филина, — это непростительно! Давайте выберем пьесу и тут же сыграем ее. Каждый должен стараться так, будто перед ним полна зала публики.

Полковаты не долгов, выбрали пьесу из тех, что тогда пользовались в Германии большим успехом, а ныне прочно забыты. Одни принялись насвистывать увертюру, другие поспешно восстанавливали в памяти свою роль, затем начали с великим усердием и проиграли всю пьесу до конца и справились сверх ожидания неплохо. Похлопали друг другу; редко случалось им держаться так хорошо.

Когда кончили, все испытали непривычное удовлетворение, частью от проведенного с пользой времени, частью оттого, что каждый справедливо был доволен собой. Вильгельм не поскупился на пространные похвалы, разговор шел веселый и радостный.

— Вы сами видите, — воскликнул наш друг, — как далеко бы мы продвинулись вперед, если бы продолжали упражнения в таком роде, а не ограничивались бы тем, чтобы зубрить, репетировать и лицедействовать чисто автоматически, по долгу ремесла. Куда похвальнее поступают музыканты, с каким увлечением, с каким усердием проводят они совместные упражнения. Как стараются согласно настроить свои инструменты, как тщательно держат такт, как тонко умеют усиливать и ослаблять звук. Когда один солирует, другому и в голову не придет выделить себя не в меру громким аккомпанементом. Каждый стремится следовать духу и мысли композитора и хорошо исполнить порученную ему, все равно большую или малую, партию. А нам разве не следовало бы так же тщательно и вдумчиво подходить к своему делу, раз мы служим искусству, которое несравненно деликатнее любой музыки, раз мы призваны тактично и вдохновенно изображать самые обыденные и самые редкостные проявления человеческой природы? Чего противнее, нежели скомкать репетицию и рассчитывать, что спектакль вывезут настроение и удача? А лучшей нашей удачей и радостью мы должны почитать взаимную согласованность игры, дабы понравиться друг другу, а успех у публики ценить лишь в той мере, в какой он у нас уже обеспечен совокупными стараниями. Почему капельмейстер более спокоен за свой оркестр, нежели директор за свою труппу? Потому что там каждому стыдно за свой промах, оскорбительный для внешнего слуха; но как же редко видел я, чтобы актер со стыдом признал свои простительные и непростительные промахи, несносно оскорбляющие слух внутренний! Хотелось бы мне, чтобы сцена была не шире проволоки канатного плясуна, дабы без умения никто не рискнул на нее взобраться, меж тем как ныне каждый считает себя способным гарцевать на ней.

Этот призыв был одобрительно принят актерами, ибо каждый был уверен, что речь идет никак не о нем, раз он только что показал себя не хуже других. Все дружно решили, что впредь, в дороге и на месте, если им не суждено расстаться, они неукоснительно, в том же духе, как начали, будут упражняться совместно. Однако отметили, что, поелику это дело благорасположения и доброй воли, никакому директору вмешиваться в него не следует. И, подумав, безоговорочно признали, что между порядочными людьми наилучшая форма правления — республиканская, при этом должность директора должна быть переходящей; он избирается всеми, а при нем состоит нечто вроде сената в миниатюре.

Все были так воодушевлены этой идеей, что желали тотчас приступить к ее осуществлению.

— Я не против того, чтобы вы проделали такой опыт в пути, — заявил Мелина, — согласен временно, вплоть до прибытия на место, отказаться от директорства. — Он рассчитывал на этом выгадать, возложив дороящие расходы на маленькую республику или на временного директора. Затем началось оживленное обсуждение, как придать наилучшую форму новому строю.

— Раз это кочующее государство, — заметил Лаэрт, — мы, по крайней мере, избавлены от пограничных споров.

Не мешкая принялись за дело, и первым директором избрали Вильгельма. Затем был назначен сенат; женщины получили в нем меето и голос; стали выдвигаться законы, их отклоняли, их утверждали. За этой игрой время шло незаметно, а так как проводили его приятно, казалось, что потрачено оно с пользой и новая форма открывает новые горизонты отечественному театру.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Видя актеров в столь добром расположении духа, Вильгельм надеялся, что теперь можно потолковать с ними о поэтических достоинствах пьес.

— Актеру недостаточна поверхностная оценка пьесы, — начал он, когда они снова собрались на другой день, — недостаточно судить о ней по первому впечатлению и, не проверив себя, хвалить или хулить ее. Это позволительно зрителю, который хочет умиляться и развлекаться, но отнюдь не выносит свое суждение. Актер же обязан давать себе отчет в причинах своего одобрения или порицания, а как может он Это сделать, не умея проникнуться духом автора, постичь его намерения? Я сам на днях уличил себя в столь явно порочной склонности судить о пьесе по одной роли, о роли без связи со всей пьесой, что хочу привести в пример этот случай, если вы благоволите приклонить слух к моим словам.

Вы знаете непревзойденного Шекспирова «Гамлета» по чтению в замке, доставившему вам большое удовольствие. Мы задумали поставить эту пьесу, и я, не ведая, что творю, вознамерился сыграть принца; мне казалось, что я изучаю роль, стараясь затвердить наизусть самые яркие места, монологи и те явления, где более всего простора силе душевной, высоте ума и где смятенные чувства находят себе живое прочувствованное выражение.

Вот я и считал, что по-настоящему войду в дух роли, если, можно сказать, взвалю на собственные плечи весь груз тяжелой тоски и с этой ношей постараюсь последовать за своим прообразом по прихотливому лабиринту переменчивых настроений и странностей поведения. Так зубрил я, так репетировал свою роль и воображал, что постепенно сольюсь воедино с моим героем.

Однако чем дальше, тем труднее становилось мне видеть перед собой человека, а под конец я уже просто не мог обозреть его полностью. Тогда я прошлудировал последовательно всю пьесу, но и тут многое не вмещалось в мое представление. То характеры, то выразительные средства вступали в противоречие между собой, и я чуть было не отчаялся найти тот тон, в каком мог бы сыграть свою роль целиком, со всеми ее отклонениями и нюансами. Долго и безуспешно плутал я по этим хитросплетениям, пока наконец у меня не мелькнула надежда приблизиться к своей цели совершенно особым путем.

Я прилежно искал каждый штрих, свидетельствующий о характере Гамлета в раннюю пору, до смерти отца; я подмечал, чем был бы этот незаурядный юноша независимо от трагического происшествия, независимо от дальнейших страшных событий, кем бы, не будь их, он



стал.

Нежный и благородный отпрыск королевского рода возрастал под прямым воздействием царственного величия; понятие права и монаршего достоинства, чувство добра и чести развивались в нем вместе с сознанием своего высокого рождения. Он был государь, прирожденный государь и желал править лишь затем, чтобы добрый мог без препон творить добро. Будучи приятен наружностью, отзывчив сердцем, благонравен по натуре, он мог служить образцом для молодежи и стать отрадой мира.!

Лишенная особой страстности, любовь его к Офелии была тихим предчувствием сладостных вожделений, усердие в упражнении рыцарских качеств не было присуще ему лично, скорее, оно поощрялось и разжигалось похвалами, расточаемыми другим; будучи чист чувствами, он умел распознать людей прямодушных и ценил покой, какой вкушает бесхитростная душа в открытых ей объятиях друга. Он до известных пределов научился понимать и чтить добро и красоту в искусствах и науках; пошлость претила ему, и если в нежной его душе зарождалась ненависть, она не заходила дальше, чем нужно, чтобы презирать увертливых и лживых придворных и насмешливо играть ими. Держался он непринужденно, был прост в обращении, не радовался праздности, но и не жаждал быть деятельным. Студенческую беспечность он, по виду, сохранил и при дворе. Веселость шла у него от настроения минуты, а не от сердца, товарищ он был хороший, покладистый, скромный, внимательный, без труда прощал и забывал обиды; но никак не мог быть близок с тем, кто преступал пределы справедливости, добра и честности.

Когда мы еще раз будем сообща читать пьесу, вы сами посудите, на верном ли я пути. Но я все же надеюсь подтвердить мое суждение цитатами.

Нарисованный им образ вызвал шумное одобрение; все считали, что теперь нетрудно будет объяснить и поведение Гамлета; всем нравился такой способ проникаться духом автора. Каждый намерен был самостоятельно изучить этим способом какую-нибудь пьесу и развить замысел автора.

#### ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Еще несколько дней пришлось актерам просидеть на месте, и сразу же для многих из них наметились не лишние приятности приключения, особенно пыталась соблазнить Лаэрта одна дама, жившая по соседству в своем поместье; однако он выказывал ей крайнюю холодность и даже неучтивость, за что терпел немало насмешек от Филены. Она воспользовалась случаем рассказать нашему другу незадачливую любовную историю, из-за которой бедный юноша ополчился на весь женский пол.

— Кто поставит ему в упрек, — говорила она, — что он возненавидел ту половину рода человеческого, которая столь злокозненно поступила с ним, дав ему испить всю чашу зла, какое только может грозить мужчинам от женщин. Судите сами: за одни сутки он успел быть влюбленным, женихом, супругом, рогоносцем, страстотерпцем и вдовцом! Не знаю, можно ли больше насолить человеку.

То ли посмеиваясь, то ли злясь, Лаэрт выбежал из комнаты, а Филина принялась в своей привычной манере рассказывать, как он, полемпадцатилетним юнцом, едва поступив в театральную труппу, встретил там четырнадцатилетнюю красотку, которая как раз собиралась уехать вместе со своим отцом, не поладившим с директором. Наповал влюбившись с первого взгляда, юноша всячески уговаривал отца не уезжать и в конце концов обещал жениться на девушке. После считанных приятных часов жениховства он обзвенчался, провел счастливую брачную ночь, а наутро, пока он был на репетиции, жена, как положено по званию, сделала его рогоносцем: в переизбытке нежности возвратившись слишком рано домой, он, увы, застал на своем месте пожилого любовника, в безрассудной ярости накинулся на того с кулаками, бросил вызов и любовнику и отцу и отделался довольно легкой раной. Отец с дочкой уехали в ту же ночь, а он, увы, остался раненный вдвойне. Злосчастная судьба привела его к худшему из всех фельдшеров в мире, и бедняга, увы, вышел из этой передрыги с почерневшими зубами и гноящимися глазами. Он достоин всяческого сожаления, тем более что в божьем мире вряд ли найдется второй такой славный малый.

— Особенно обидно мне, что бедный дурачок вообще возненавидел женщин, а что за жизнь тому, кто ненавидит женщин? — присовокупила она.

Мелина прервала ее, сообщив, что все готово к отъезду и завтра поутру можно трогаться в дорогу. При этом он показал им план размещения в пути.

— Если добрый приятель посадит меня на колени, — заметила Филина, — так я рада буду ехать в тесноте и неудобстве; впрочем, мне все безразлично.

— Конечно, беда невелика, — подтвердил подошедший Лаэрт.

— Нет, это очень досадно! — возразил Вильгельм и поспешно вышел; за свои деньги он нанял еще один весьма удобный экипаж, о котором умолчал Мелина. Места были распределены по-новому, и все радовались, что можно ехать удобно, как вдруг пришла тревожная весть, будто на дороге, памеченной ими, появился вооруженный отряд, от которого ждать добра не приходится.!

Жителей местечка всполошили эти сведения, при всей их зыбкости и противоречивости. Судя по расположению войск, враг едва ли мог пробраться сюда, а друг вряд ли так замешкался, — но всякий старался изобразить опасность, ожидавшую наших актеров, как можно опаснее и склонить их к выбору другого пути.

Многих в труппе это обеспокоило и напугало, и когда, согласно новому республиканскому строю, для обсуждения столь чрезвычайного обстоятельства были созваны члены правительства в полном составе, они почти единогласно решили, во избежание беды, задержаться здесь или отворотить ее, избрав другой путь.

Только Вильгельм, не поддававшийся страху, считал постыдным из-за пустых слухов отказаться от тщательно продуманного плана. Он успокаивал товарищей убедительными доводами, внушая им мужество.

— Пока что это лишь слухи, — говорил он, — а сколько таких слухов порождает война! Люди сведущие считают такой случай неправдоподобным и даже невероятным. Неужто в столь важном деле мы будем руководствоваться несвязными рассказами? Маршрут, который указан нам его сиятельством и прописан в\* нашей подорожной, считается наикратчайшим и весьма удобным. Он приведет нас в город, где вы встретите друзей и знакомых и можете рассчитывать на хороший прием. Окольный путь тоже доставит нас туда, но как же он будет труден и долгод! Удастся ли нам одолеть его в столь позднюю осеннюю пору и сколько времени и денег потратим мы зря! — Много еще говорил он и с такой выгодной стороны повернул дело, что у них постепенно страх убыл, а мужества прибавило. Столько толковал он им о дисциплине в регулярных войсках, такими ничтожными нарисовал мародеров и другой примазавшийся сброд, а самую опасность изобразил такой милой забавой, что все явно приободрились.

Лаэрт с первой минуты взял его сторону, твердя, что не намерен отступить и уступать. Старый ворчун изрек несколько слов ободрения в своей лапидарной манере, Филина подняла на смех всех подряд, а после того, как мадам Мелина хоть и была на сносях, но осталась верна врожденной отваге и нашла предложение героическим, сам Мелина не стал противиться, тем паче что надеялся порядком сэкономить, избрав ближнюю дорогу, на которую заранее подрядил возниц, и все единодушно согласились на предложение Вильгельма.

Однако на всякий случай были приняты меры защиты, закуплены большие охотничьи ножи и на расшитых ремнях повешены через плечо. Вильгельм сверх того засунул за пояс пару карманных пистолетов; у Лаэрта вдобавок имелось хорошее ружье; и все в приподнятом расположении духа тронулись в путь.

На второй день возницы, хорошо знакомые с местностью, заявили: они не прочь устроить послеобеденный привал на лесистой горной поляне, потому что до села далеко, а в ясные дни на эту поляну ездят охотно.

Погода стояла прекрасная, и все без заминки приняли предложение. Вильгельм быстрым шагом пошел вперед в горы, и каждый встречный немало дивился его странному виду. Резво и бодро поднимался он лесом, Лаэрт, посвистывая, следовал за ним, одни только женщины по-прежнему тащились в повозках. Миньона бежала рядом, гордясь охотничьим ножом, в котором актеры не могли ей отказать, когда принялись вооружаться. Шляпу она обвила жемчугом, единственным, что сохранил Вильгельм на память о Мариане. Белокурый Фридрих нес ружье Лаэрта. Самый миролюбивый вид был у арфиста. Длинное одеяние он стянул поясом, — так ему свободнее было идти. Он шел, опираясь на суковатую палку, инструмент его остался в одной из повозок.

Не без усилия достигнув вершины, путники тотчас же узнали указанное место по великолепным букам, окружавшим и осенявшим его. Обширная, слегка наклонная лесная поляна манила задержаться здесь; взятый в русло родник предлагал освежающую отраду, а по ту сторону ущелий и лесистых хребтов открывалась далекая, прекрасная, заманчивая панорама. Там, в ложбине, виднелись селения и мельницы, а на равнине — городки; другие, грядой встающие вдали горы делали панораму еще заманчивее, мягко ограждая горизонт.

Пришедшие первыми завладели местностью, расположились отдохнуть в тени, разожгли костер, резвились и распевали, поджидая остальных, а те собирались друг за другом и в один голос восторгались местоположением, прекрасной погодой и несказанно прекрасным кругозором.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

Если меж четырех стен они провели вместе немало веселых часов, то, конечно, им было не в пример вольнее здесь, где небесный простор и красота местности способны были очистить любую душу. Все чувствовали себя ближе друг другу, все рады были бы до конца жизни пробыть в столь приветном краю. Они завидовали охотникам, угольщикам, дровосекам, которых ремесло держит в таких благодатных местах, но превыше всего восхваляли они привольное житье цыганского табора.

Они завидовали этому удивительному племени, которому блаженная праздность дает право наслаждаться прихотливыми прелестями природы, и радовались, что могут до некоторой степени уподобиться ему.

Тем временем женщины принялись варить картофель, развертывать и готовить взятые с собой припасы. Несколько горшков стояло на огне, а все общество сгруппировалось под деревьями и кустами. Необычная одежда и разнородное вооружение придавали актерам довольно странный вид. Лошадям задали корм в стороне, и, если бы спрятать экипажи, зрелище маленького стана было бы романтическим до полного обмана чувств.

Никогда еще Вильгельм не испытывал такого удовольствия. Он смело мог вообразить себя предводителем странствующих колонистов. В таком смысле беседовал он с каждым по отдельности, придавая как можно более поэтичности мимолетному миру. Актеры заметно воспрянули духом, ели, пили, веселились, повторяя, что никогда еще не знавали лучших минут.

Избыток удовольствия подстрекнул энергию молодых людей. Вильгельм и Лаэрт взяли за рапиры и начали упражнения, на сей раз с театральными целями. Им хотелось изобразить поединок, который приводит Гамлета и его противника к трагическому концу. Вразрез театральному обыкновению, оба приятеля считали, что в столь важной сцене нельзя неуклюже колоть куда попало; им хотелось дать образец того, как можно во время представления показать зрелище, могущее порадовать даже знатоков фехтования. Их окружили кольцом, оба фехтовали с огнем и с оглядкой; от каждого выпада усиливался интерес зрителей.

Вдруг из ближнего куста раздался выстрел, вслед за ним второй, и все заметались в испуге. Вскоре показались вооруженные люди и ринулись к тому месту, где неподалеку от повозок с поклажей паслись лошади.

Женщины подняли крик, герои наши отбросили рапиры, схватясь за пистолеты, поспешили навстречу разбойникам и с громогласными угрозами потребовали отчета в их поведении.

После лаконического ответа в виде нескольких мушкетных выстрелов Вильгельм разрядил свой пистолет в курчавого молодчика, который забрался в повозку и разрезал веревки на поклаже. Меткий выстрел тотчас свалил его на землю, Лаэрт тоже не промахнулся, и ободренные приятели выхватили ножи, но тут часть шайки с ревом и бранью накинулась на них, дала по ним несколько выстрелов и в

противовес их отваге обнажила сабли. Наши молодые герои держались храбро и призывали прочих своих товарищей к дружной защите. Но вскоре свет затмился в глазах Вильгельма, и сознание покинуло его. От выстрела, ранившего его в грудь и задевшего левую руку, и удара, рассекшего ему шляпу и голову до самого черепа, он упал, оглушенный, и лишь впоследствии, по рассказам, узнал о несчастливом финале нападения.

Раскрыв глаза, он обнаружил, что находится в самом необычайном положении. Первое, что увидел он сквозь туман, еще застилавший ему глаза, было склоненное над ним лицо Филены. Он чувствовал большую слабость, и когда сделал попытку приподняться, то оказалось, что лежал он на коленях у Филены, и сразу же вновь откинулся на них. Она сидела на траве, бережно прижав к себе голову простертого перед ней юноши и устроив ему в своих объятиях насколько возможно мягкое ложе. Миньона с растрепанными, залепленными кровью волосами стояла на коленях у него в ногах и, обхватив их, плакала навзрыд.

Увидев свое окровавленное платье, Вильгельм срывающимся голосом спросил, где он находится, что случилось с ним и с остальными. Филина попросила его лежать спокойно; все прочие, сказала она, в полной безопасности, никто не ранен, кроме него и Лаэрта. Больше она ничего не стала рассказывать, настаивая, чтобы он лежал смирно, потому что раны его в спешке плохо перевязаны. Он протянул руку Миньоне и спросил, почему у нее кудри в крови, сочтя, что она тоже ранена.

Пытаясь его успокоить, Филина объяснила, что добросердечная девочка, увдя друга своего раненным и торопясь остановить кровь, без раздумья схватила собственные волосы, разметавшиеся вокруг головы, и стала затыкать ими раны, но вскоре принуждена была бросить тщетные старания. Потом его перевязали трутом и мхом, а Филина отдала для Этой цели свою косынку.

Вильгельм заметил, что Филина сидит, прислонясь к своему сундуку, который с виду был крепко заперт и неповрежден. Он спросил, посчастливилось ли и остальным спасти свое добро? Она пожала плечами и указала взглядом на поляну, где в беспорядке валялись сломанные ящики, разбитые сундуки, разрезанные баулы и куча мелкого скарба. Люди отсутствовали, и странная группа пребывала здесь в полном одиночестве.

Вильгельм мало-помалу узнал даже больше, чем ему хотелось: прочие мужчины, которые могли бы оказать хоть какое-то сопротивление, трусили и смирились, кто бежал, кто с ужасом созерцал происходящее. Возчики, те упорно бились за своих лошадей, но их одолели, связали, и все вмиг было дочиста разграблено и унесено. Как только страх за жизнь миновал, запуганные путешественники, оплакивая свои убытки, стремглав бросились в соседнее селение, взяв с собой легко раненного Лаэрта и унося ничтожные крохи своего имущества. Арфист прислонил к дереву свой поврежденный инструмент и вместе с остальными поспешил в деревню, чтобы отыскать лекаря и по мере сил прийти на помощь своему оставшемуся лежать замертво благодетелю.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Тем временем трое наших пострадавших путников продолжали оставаться в том же небывалом положении, никто не торопился помочь им; наступил вечер, надвигалась ночь. Хладнокровие Филены сменилось беспокойством, Миньона металась взад-вперед, и нетерпение ее росло с каждой минутой. Но когда я; еланне их наконец исполнилось и откуда-то появились люди, — новый страх овладел ими. Они явственно слышали топот лошадей на той тропе, по которой взбирались сами, — им стало страшно, что другая компания непрошенных гостей задумала посетить лесную поляну, чтобы подобрать остатки.

Как же приятно были они поражены, когда, выехав из кустов верхом на белом коне, перед ними явилась дама в сопровождении пожилого господина и еще нескольких всадников; за ними следовали стремянные, лакеи, а также отряд гусар.

Вытаращив глаза при виде этого зрелища, Филина собралась было позвать, попросить прекрасную амазонку о помощи, но та сама уже обратила изумленный взор на странную группу, тотчас же повернула коня, подскакала ближе и остановилась. Торопливо осведомилась она о раненом, чья поза на коленях игривой самаритянки весьма озадачила ее.

— Это ваш муж? — спросила она у Филены.

— Нет, только добрый приятель, — отвечала та таким тоном, который покоробил Вильгельма.

Он не спускал глаз с нежных, величавых, ясных, участливых черт наездницы. Никогда, казалось ему, не видел он лица благороднее и приветливее. Широкий мужской плащ скрывал ее фигуру; по-видимому, она одолжила его у кого — то из своих спутников, дабы защитить себя от вечерней прохлады.

Всадники приблизились, некоторые спешили, дама последовала их примеру и с сердобольной участливостью расспросила о беде, постигшей путников, особенно же о ранах простертого на земле юноши. Затем поспешно повернулась и вместе с пожилым господином пошла навстречу экипажам, которые медленно поднимались на гору и остановились посреди лесной поляны.

После того как молодая дама задержалась у дверцы одной из карет и переговорила со вновь прибывшими, с подножки спустился приземистый мужчина, которого она подвела к нашему раненому герою. По ящичку в руках, по кожаной сумке с инструментами легко было распознать в нем хирурга. Поводками он был скорее грубоват, нежели обходителен, но рука его была легка и помощь весьма уместна. Произведя тщательное обследование, он признал, что раны не опасны, их можно перевязать на месте, а затем уже везти больного в ближнее селение.

Но молодая дама не могла успокоиться.

— Вы только поглядите, — сказала она после того, как несколько раз отходила от больного, возвращалась к нему и вновь привела с собой пожилого господина. — Только поглядите, как его изувечили! И ведь страдает-то он по нашей милости.

Вильгельм услышал эти слова, но не понял их. Она беспокойно ходила то туда, то снова сюда, как будто не могла оторваться от созерцания раненого и вместе с тем боялась погрешить против приличий, если бы осталась, когда его с великим трудом начали

раздвигать. Хирург только что разрезал левый рукав, как пожилой господин подошел к ней и внушительным тоном заговорил о необходимости продолжать путь. Вильгельм не сводил с нее глаз, очарованный созерцанием, и едва ли чувствовал, что с ним происходит.

Филина между тем встала, чтобы облобызать высокородной даме руку. Когда они стояли рядом, наш герой подумал, что никогда не видел столь разительной противоположности. Никогда еще Филина не являлась ему в таком неблагоприятном свете. Она не смела, так думал он, даже приблизиться к этому благородному созданию, не то что коснуться его.

Дама вполголоса расспрашивала Филину. Затем повернулась к пожилому господину, который по-прежнему стоял безучастным свидетелем, и попросила:

— Милый дядюшка, разрешьте мне быть щедрой за ваш счет. — При этом она скинула плащ с очевидным намерением отдать его тому, кто лежал на земле израненный и раздетый.

Вильгельм дотопе не отрывал глаз от ее целительных взоров, а теперь, когда с нее упал плащ, был поражен красотой ее стана. Она подошла ближе и бережно укрыла его плащом. В это мгновение, едва он раскрыл рот, чтобы пролепетать слова признательности, ее присутствие оказало такое сильное и странное действие на его уже потрясенные чувства, что ему вдруг почудилось, будто чело ее окружено лучами и весь ее облик постепенно заливают ослепительным светом. Хирург в этот миг причинил ему резкую боль, сделав попытку извлечь пулю, застрявшую в ране. Сознание его помутилось, и лик святой исчез из его глаз; он лишился чувств, а когда пришел в себя, всадников, и повозок, и красавицы со свитой как не бывало.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

После того как нашего друга перевязали и одели, хирург поспешил прочь, а тут как раз подоспел арфист и с ним несколько крестьян. Они быстро соорудили носилки, положили на них раненого и осторожно стали спускать его с горы под предводительством верхового егеря, которого оставили проезжие господа. Арфист молча, замкнувшись в себе, нес свой поврежденный инструмент, кто-то тащил сундук Филины, она плелась следом с узлом в руках. Миньона то бежала вперед, то в сторону, через лес и кустарник, с тоской поглядывая на своего страждущего покровителя.

А тот спокойно лежал на носилках, закутанный в теплый плащ. Казалось, электрические токи тепла от мягкой шерсти проникают в его тело; словом, он пребывал теперь в самом блаженном состоянии. Прекрасная владелица этой одежды произвела на него сильнейшее впечатление. Он все еще видел, как плащ спадает с ее плеч, видел перед собой ее благороднейший облик, окруженный сиянием, и душа его через леса и скалы стремилась вслед за исчезнувшей.

Только в сумерках процессия добралась до селения и до постоянного двора, где собрались остальные и в отчаянии оплакивали невозместимый урон. Единственная в доме тесная горница была битком набита людьми: одни лежали на соломе, другие успели занять скамьи, некоторые забились за печку, а мадам Мелина с трепетом ожидала разрешения от бремени в соседней камерке. Испуг ускорила срок родов, а от помощи хозяйки, молодой неопытной женщины, трудно было ждать проку.

Когда новоприбывшие потребовали, чтобы их впустили, поднялся дружный ропот. Все теперь утверждали, что лишь по настоянию Вильгельма и под его водительством избрали они этот опасный путь, где и настигла их беда. Вину за печальный исход всецело взвалили на него, не желали впускать его в дверь и требовали, чтобы он искал себе другое пристанище. Филину совсем смешали с грязью. Досталось и арфисту с Миньонкой.

Недолго терпел эти пререкания егеря, которому прекрасная его госпожа строго наказала позаботиться о тех, кого бросили на произвол судьбы; с ругательствами и угрозами накинулся он на актеров, приказал им потесниться и очистить место для вновь пришедших. Все понемногу смирились. Егеря устроил Вильгельму место на столе, задвинув его в угол. Филина попросила поставить рядом ее сундук и уселась на него. Все стеснились, как могли, а егеря отправился поискать помещение поудобнее для супружеской четы.

Не успел он уйти, как недовольство снова подняло голос и упреки посыпались один за другим. Каждый описывал и преувеличивал свои убытки, все хором осуждали бравладу, которая так дорого им обошлась, даже не скрывали злорадства по поводу ран нашего друга, поносили Филину и пытались вменить ей в преступление те способы, какими она спасла свой сундук. Из разного рода колких и язвительных насмешек вытекало, что во время грабежа и разгрома она домогалась расположения разбойничьего главаря и бог весть какими уловками и уступками склонила его не трогать ее сундука. Говорили, что она куда-то надолго пропадавала. Она ничего не отвечала, только громыхала замками своего сундука, чтобы напомнить завистникам о его наличии и усугубить их отчаяние зрелищем своей удачи.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Хотя большая потеря крови ослабила Вильгельма, а явление милосердного ангела настроило на умиленный и кроткий лад, однако в конце концов его вывели из себя жестокие и несправедливые речи озлобленных актеров, вспыхивавшие все вновь и вновь, благо он не возражал ни словом. Наконец он почувствовал себя настолько окрепшим, чтобы привстать и высказать им, как гадко они поступают, оскорбляя своего друга и директора. С немалым усилием приподняв забинтованную голову и опершись о стену, он заявил им:

— Я понимаю вашу досаду на понесенный ущерб и готов простить вам, что вы оскорбляете меня, когда более пристало бы меня пожалеть; вы враждебно отталкиваете меня, когда я впервые мог бы ждать от вас помощи. За свои услуги и одолжения я до сей поры считал достаточной для себя наградой вашу признательность и ваше дружелюбие; не искушайте же мою душу, не побуждайте меня оглянуться и припомнить, сколько я для вас сделал; такой подсчет причинил бы мне лишь боль. Случай привел меня к вам, обстоятельства и затаенная склонность задержали у вас. Я был участником ваших трудов и ваших развлечений; малые мои познания были к вашим услугам. Если же сейчас вы наносите мне горчайшую обиду, обвиняя меня в стряпсней с нами беде, значит, вы забыли, что первоначальное предложение избрать этот путь исходило от чужих людей, было обсуждено всеми вами и одобрено каждым наравне со мной. Пройди наше путешествие благополучно, каждый похвалялся бы, что удачно присоветовал предпочесть этот путь; с

удовлетворением вспоминал бы, как мы совещались и как он кстати воспользовался правом голоса; ныне же вы возлагаете ответственность на меня одного, вы сваливаете на меня всю вину, которую я безропотно принял бы на себя, если бы не находил оправдания себе в чистой совести, а главное, если бы не мог сослаться на вас самих. Может быть, вы что-то против меня имеете, так скажите вразумительно, и я найду чем оправдаться; но коль скоро вам нечего предъявить мне достаточно веского, так молчите и не мучайте меня, я Очень нуждаюсь в покое.

Вместо ответа женщины вновь принялись хныкать и подробно подсчитывать свои убытки; Мелина совершенно не помнил себя, правда, и потерял он, по сравнению с прочими, много больше, чем мы могли предположить. Точно бесноватый, метался он по тесной комнате, бился головой о стену, бранился и сквернословил; когда же из соседней каморки вышла хозяйка и сообщила, что его жена разрешилась мертвым младенцем, он позволил себе недопустимо злобные выпады, а все остальные, вторя ему, выли, визжали, рычали, орали вразброд.

Всем сердцем сострадая их положению и досадуя на их низменные чувства, Вильгельм, невзирая на телесную слабость, ощутил прилив душевных сил.

— Как ни достойны вы сочувствия, я склонен презирать вас! — вырвалось у него. — Ни при каких несчастьях нельзя громоздить упреки на неповинного; ежели есть в этом неудачном шаге моя доля вины, так я и поплатился своей долей. Я лежу между вами израненный, и сколько бы ни потеряла трупка, я потерял больше всех. Все, что украдено по части гардероба, что сгинуло по части декораций, принадлежало мне, ибо вы, господин Мелина, еще не расплатились со мной, и я отныне полностью избавляю вас от всяких обязательств.

— Хорошо вам дарить то, чего никто больше не увидит! — закричал Мелина. — Ваши деньги лежали в сундуке у моей жены, и сами вы виноваты, что они пропали! — Он вновь принялся бегать, браниться и бушевать. Каждый припоминал нарядное платье из графского гардероба и пряжки, часы, табакерки, шляпы, которые Мелина так выгодно сторговал у камердинера. В памяти каждого вставали собственные, хоть куда более скромные, ценности, и все завистливо глядели на сундук Филены, недвусмысленно намекая Вильгельму, что он не прогадал, объединившись с ловкой красоткой, и через ее удачу сохранил свое имущество.

— Неужто вы полагаете, — наконец вырвалось у него, — что я оставляю себе какую-то собственность, покуда вы бедствуете; и в первый ли раз я честно разделяю с вами нужду? Отоприте сундук, и все, что есть в нем моего, я отдам на общую пользу.

— Это мой сундук, и я отопру его не раньше, чем пожелаю, — заявила Филина. — За какое-то там ваше тряпье, сбереженное мною, мало что выручишь даже у самого честного еврея. А вы подумайте о себе, о том, во что станет ваше лечение и что ждет вас в чужом краю.

— Не вздумайте ничего припрятать из принадлежащего мне, Филина, — возразил Вильгельм, — даже это малое поможет нам на первых порах выйти из затруднения. А кроме того, человек обладает еще многим, чем он способен облегчить участь друзьям и чего не пересчитаешь на звонкую монету. Все, что есть во мне ценного, будет отдано этим горемыкам, которые, опомнившись, конечно, пожалеют о теперешнем своем поведении. Да, я чувствую, как вы обездолены, и всем, чем могу, постараюсь помочь вам; подарите мне вновь свое доверие, успокойтесь хоть на миг, возьмите то, что я предлагаю! Кто от имени всех согласен принять мое ручательство?

На этом он протянул руку и промолвил:

— Обещаю расстаться с вами, покинуть вас не ранее, чем каждый вдвое и втрикрат возместит свой урон, не ранее, чем позабудется нынешнее ваше положение, кто бы ни был ему виною, и сменится более счастливым.

Он все еще протягивал руку, но никто не брал ее.

— Обещаю еще раз! — выкрикнул он и упал на подушки.

Все молчали, все были пристыжены, но не утешены, а Филина, сидя на сундуке, щелкала орехи, которые нашла у себя в кармане.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Вернулся егерь в сопровождении нескольких людей и распорядился перенести раненого. Он уговорил местного священника принять у себя супружескую чету; сундук Филены унесли, и она с невозмутимым достоинством отправилась за ним\* Миньона побежала вперед, и как только больной прибыл в дом священника, ему предоставили широкое супружеское ложе, которое уже с давних пор служило ложем для посетителей и почетных гостей.

Только здесь обнаружилось, что рана открылась и сильно кровоточила. Пришлось наново перевязать ее. У больного начался жар, Филина истово ходила за ним, а когда над ней брала верх усталость, ее сменял арфист; с твердым намерением бодрствовать, Миньона уснула в углу.

Утром, когда Вильгельм несколько приободрился, он узнал от егеря, что господа, пришедшие им на помощь накануне, недавно покинули свое поместье, дабы избежать военных передраг и вплоть до замирения побыть в более спокойной местности. Он назвал имя пожилого господина и его племянницы, объяснил, куда они сперва направляются, сообщил Вильгельму, как настойчиво барышня наказывала ему позаботиться о покинутых.

Вошедший хирург прервал поток благодарственных слов, который Вильгельм излил на егеря, дал обстоятельное опп — сатптс рап, уверил, что они легко заживут, ежели пациент будет вести себя спокойно и наберется терпения.

После того как ускакал егерь, Филина рассказала, что он оставил ей кошелек с двадцатью луддорами, священника отблагодарил за квартиру подарком и вручил деньги для платы хирургу за лечение. Она безоговорочно считается женой Вильгельма, раз и навсегда отрекомендована при нем как таковая и не допустит, чтобы он искал себе для ухода кого — либо иного.

— Филина, — начал Вильгельм, — я и так многим обязан вам в постигшей нас беде и не желал бы увеличивать свой перед вами долг. Мне беспокойно, доколе вы ухаживаете за мной, — ибо я не могу придумать, чем отплатить вам за труды. Отдайте мне вещи, которые вы сберегли для меня в сундуке, примкните к остальным участникам трупы, подыщите себе другое жилище и примите мою благодарность, а также золотые часы как скромное выражение признательности; только не оставайтесь со мной; ваше присутствие тревожит меня более, чем вы думаете.

Когда он кончил, она расхохоталась ему в лицо.

— Дурак ты и никак не поумнеешь, — заявила она. — Мне виднее, что для тебя хорошо; я останусь здесь и ни с места не сдвинусь. Я никогда не ждала благодарности от мужчин, не жду и твоей, а коли я люблю тебя, что тебе до того?[33]

Она осталась и вскорости успела снискать расположение священника и его семейства, потому что неизменно бывала весела, каждого одаривала, каждому поддакивала и при этом всегда добивалась своего. Вильгельм чувствовал себя сносно. Хирург, человек, лишенный образования, но не смекалки, положился на природу, отчего пациент не замедлил встать на путь выздоровления. Страстно мечтал он полностью поправиться, дабы деятельно взяться за осуществление своих планов и мечтаний.

Непрестанно возвращался оп мыслями к тому случаю, который оставил неугасимый след в его душе. Ему виделось, как прекрасная амазонка появилась из кустарника, как приблизилась к нему, сошла с коня и хлопотала вокруг него. Ему виделось, как с плеч ее спало широкое одеяние; как заволокло сиянием ее чело и ее стаи. Все его юношеские грезы слились с этим видением. Ему казалось, что наконец-то оп собственными глазами узрел благородную, отважную духом Клоринду:[34] вновь вспомнился ему больной царский сын, к ло- јку которого тихо и скромно приближается прекрасная, участливая принцесса.

«Кто знает, — порою втайне вопрошал он себя, — что, если в юности, точно во сне, картины грядущих судеб встают перед нами и как некое прозрение становятся видимы нашему неискушенному взгляду? Что, если семена того, что нас; кдет, уже посеяны рукой судьбы, и неужто дано нам заранее вкусить от тех плодов, которые мы надеемся со временем сорвать?»

Лежа на одре болезни, он имел время тысячи раз воскрешать ту сцену. Тысячи раз оживлял он в памяти звук того сладостного голоса, и как же завидовал он Филине, облобызавшей ту сострадательную руку! Иногда все случившееся представлялось ему сном, он счел бы даже, что это была сказка, если бы не плащ который подтверждал реальность видения.

Он тцательно оберегал это одеяние и вместе с тем страстно желал облачиться в него. Едва успев встать, он накинул плащ на себя и весь день боялся запачкать его или попортить еще как-нибудь.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Лаэрт навестил приятеля. При жаркой стычке на постоялом дворе он не присутствовал, так как сам лежал в чердачной каморке. В своих убытках он вполне утешился, успокоив себя обычной своей присказкой: «Невелика беда!» Он рассказал много занимательного о поведении актеров; и очень порицал мадам Мелина; она якобы оплакивает потерю дочери только потому, что лишилась удовольствия окрестить девочку на древнегерманский лад Мехтильдой. Что касается ее мужа, то теперь обнаружилось, что при нем было много денег, он и раньше пичуть не нуждался в ссуде, которую выклянчил у Вильгельма. А ныне Мелина намерен уехать с ближайшей почтовой каретой, потребовав от Вильгельма рекомендательное письмо к его приятелю Зерло — директору театра, в труппе которого рассчитывает устроиться ввиду крушения собственного предприятия.

Миньона в первые дни совсем присмирела, а когда стали допытываться причины, созналась наконец, что у нее вывихнута правая рука.

— Пеняй на свое удалство, — заявила Филина и рассказала, как во время стычки девочка достала охотничий пож и, видя своего друга в опасности, храбро кинулась разить грабителей. В конце концов ее схватили за руку и отшвырнули в сторону. Ее побранили, почему она раньше не призналась в своем увечье, правда, видно было, что она робеет перед хирургом, который все время принимал ее за мальчика. Увечье стали выправлять, и руку ей пришлось носить на перевязи. Этим она и вовсе огорчилась, потому что главные заботы и уход за Вильгельмом принуждена была уступить Филине, а прельстительная грешница рада была усугубить свое рвение и внимание.

Проснувшись однажды утром, Вильгельм обнаружил, что находится с ней в предосудительно близком соседстве. Во время беспокойного сна он скатился к заднему краю обширного ложа. По-видимому, она уснула, сидя на кровати и читая; книга выпала у нее из рук, голова откинулась назад и очутилась у самой груди Вильгельма, по которой волнами рассыпались распущенные белокурые волосы. Беспорядок сна более подчеркивал ее прелести, чем любые искусные прикрасы; мирная детская улыбка осеняла ее лицо. Он долго смотрел на нее и как будто хулил себя за то, что испытывал удовольствие, любуясь ею, и трудно сказать — благословлял ли он или хулил свое состояние, которое предписывало ему умеренность и покой. Так долго и пристально смотрел он на нее, что она зашевелилась. Он потихоньку закрыл глаза, но не мог устоять перед соблазном подглядывать за ней искоса, пока она приводила себя в порядок и пошла справиться насчет завтрака.

Один за другим являлись актеры к Вильгельму, более или менее неучтиво и нагло требуя рекомендательных писем и денег на дорогу и получая их, несмотря на возмущение Филины. Тщетно убеждала она своего друга, что егерь оставил всем собратьям тоже немалый куш, и они попросту водят его за нос. Кончилось это бурной ссорой, и Вильгельм окончательно потребовал, чтобы она, в свой черед, примкнула ко всей труппе и попытала счастья у Зерло.

Лишь на считанные мгновения изменила ей невозмутимость; быстро совладав с собой, она воскликнула:;

— Будь при мне мой блондинчик, я бы никого из вас знать не желала. — Она подразумевала Фридриха, который исчез на лесной поляне и больше не показывался.

Наутро Миньона явилась к ложу больного с известием, что Филина ночью уехала; в соседней комнате она аккуратнейшим образом сложила все принадлежащие ему вещи. Ее отсутствие было для него чувствительно; в ее лице он потерял преданную сиделку и веселую

собеседницу; он отвык оставаться один. Впрочем, Миньона быстро восполнила пробел.

С тех пор как ветреная красotka окружила раненого дружеским попечением, девочка мало-помалу отстранилась и молчаливо замкнулась в себе; теперь же, получив свободу действий, она со всей заботой и любовью выступила на передний план, была старательна, чтобы угодить ему, и весела, чтобы его развлечь.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Стремительными шагами приближался он к выздоровлению и надеялся через несколько дней тронуться в дорогу. Ему наскучило без смысла слоняться по жизни, впредь лишь целеустремленные шаги должны определять его путь. Прежде всего решил он отыскать своих благодетелей, дабы выразить им признательность; а затем поспешить к приятелю своему, директору театра, и обеспечить приличное устройство злосчастной труппы. Одновременно он думал навестить тех торговых партнеров, чьи адреса были ему даны, и выполнить возложенные на него поручения. Он лелеял надежду, что удача не покинет его и предоставит ему возможность удачной сделкой возместить недостачу в собственной казне.

Жажда вновь увидеть свою спасительницу росла в нем день ото дня. Для составления маршрута он обратился за советом к священнику, превосходно осведомленному в географии и статистике и владевшему порядочным собранием книг и карт. Дружно искали они место, где благородная фамилия намерена была обосноваться на время войны, искали сведений о ней самой; однако место не значилось ни в одной географии и ни на одной карте, а в генеалогических справочниках не упоминалась такая фамилия.

Вильгельм встревожился, и когда он поведал вслух свое беспокойство, арфист высказал подозрение, что егеря, неизвестно по какой причине, назвал фальшивое имя.

Вильгельм, уже чувствовавший себя близ своей красавицы, понадеялся получить о ней какие-то сведения, посплав на розыски арфиста, но обманулся и в этих надеждах. Сколько ни справлялся старик, он не напал ни на какой след. Как раз в эти дни в здешних краях происходили оживленные перемещения и непредвиденные перегруппировки войск; никто не обратил особого внимания на путешественников, так что посланцу пришлось воротиться, дабы не быть принятым за еврейского шпиона, и предстать перед своим господином и другом без масличной ветви.[35] Он дал точнейший отчет в том, как пытался выполнить поручение, стараясь снять с себя малейший упрек в нерадивости. Всеми способами пытался он смягчить огорчение Вильгельма, припоминая каждое слово, услышанное от егеря, и выдвигал разные догадки, среди которых мелькнуло наконец нечто, давшее Вильгельму нить к загадочным словам исчезнувшей красавицы.

Дело в том, что разбойничья шайка выслеживала вовсе не бродячую труппу, а тех важных господ, у которых вполне справедливо ожидала найти много денег и драгоценностей в о пути следования которых, должно быть, имела подробные сведения. Никто толком не знал, кому приписать нападение — отряду ли наемников или мародерам и разбойникам. Короче говоря, простые и бедные, на счастье знатных и богатых, опередили их караван и претерпели участь, что была уготована тем. К этому и относились слова молодой дамы, хорошо запомнившиеся Вильгельму. Если он мог лишь радоваться и ликовать, что осмотрительный добрый гений назначил ему быть жертвой во спасение совершеннейшей из смертных, то его доводило до отчаяния сознание, что вновь обрести и узреть ее, по крайней мере сейчас, нет ни малейшей надежды.

Эти противоречивые движения души усугублялись оттого, что он усматривал сходство между графиней и прекрасной незнакомкой. Они были похожи между собой, как две сестры, из коих ни одну не признаешь старшей или младшей, ибо их можно уподобить двум близнецам.

Воспоминание о пленительной графине было ему невыразимо сладостно. Он чересчур охотно воскрешал в памяти ее образ. Но теперь его заслонял облик горделивой амазонки — на смену одному видению являлось другое, и оба равно ускользали от него.

Как же после этого поразило его сходство их почерков! У него в бюваре хранилась прелестная песенка, записанная рукой графини, а в плаще он нашел записку, где с нежной заботливостью осведомлялись о самочувствии дядюшки.

Вильгельм не сомневался, что автор письма — его спасительница, что дорогой оно послано из одной комнаты гостиницы в другую, а дядюшка сунул его в карман. Он стал сверять почерки, и если буквы, изящно выведенные графиней, раньше очень ему нравились, то теперь в сходных, но более размашистых начертаниях незнакомки он видел неизъяснимо гармоничную плавность. При всем ничтожном содержании записки самый почерк, как ранее присутствие красавицы амазонки, поднимал его дух.

Мечтательное томление овладело им, и, словно вторя состоянию его души, именно в это время Миньона и арфист импровизированным дуэтом прочувственно запели песню:

Кто знал тоску, поймет

Мои страданья!

Гляжу на небосвод,

И душу ранит.

В той стороне живет,

Кто во всех желанней:

Ушел за поворот

По той поляне.

Шалею от невзгод,

Глаза туманит...

Кто знал тоску, поймет

Мои страданья.[36]

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Тихий зов милого сердцу ангела-хранителя, вместо того чтобы вывести нашего друга па твердую стезю, лишь питал и умножал прежнюю его тревогу, затаенный огонь разливался по жилам; светлые и смутные образы перемежались в его душе, возбуждая неутолимую страсть. Он мечтал то о коне, то о крыльях, не мыслил себе оставаться здесь и не мог бы определить, куда, собственно, стремится.

Нити его судьбы так удивительно сплелись; он жаждал распутать или разрезать этот непонятный узел. Часто, услышав топот копыт или громохание колес, он спешил к окну в чаянии увидеть, не приехал ли кто навестить его и не привез ли, пускай хоть случайно, весть, уверенность, радость. Он тешил себя сказками, будто в здешние края пожаловал друг его Вернер с неожиданным известием о возможном появлении Марнаны. Его волновал звук каждого почтового рожка. Должен же был Мелина сообщить о своем устройстве, а глав\* ное, должен был вернуться егерь с приглашением обожаемой красавицы.

### 1 Перевод Б. Пастернака.

К несчастью, ничего такого не происходило, и вновь он оставался наедине с собой; и когда он вновь перебирал в уме прошедшее, чем далее он обсуждал и всесторонне освещал одно обстоятельство, тем противнее и несноснее становилось оно. Это было его незадачливое верховенство, о котором он не мог вспомнить без горечи. Хотя он сразу же вечером того злосчастного дня обелил себя перед трупной, но сам не находил себе оправдания. Наоборот, в минуты уныния он приписывал себе всю вину целиком.

Себялюбие придает значительности не только нашим добродетелям, но и нашим порокам. Он пробудил доверие к себе, он управлял волей других и, руководимый неопытностью и смелостью, пошел впереди всех, но вот они столкнулись с угрозой не по силам. Громогласные и молчаливые укоры неотступно преследовали его, а после того, как он обещал потерпевшей от чувствительных утрат труппе не покидать ее, доколе с лихвой не возместит ей понесенные убытки, ему приходилось корить себя за новое удальство, за то, что он дерзнул взвалить на свои плечи беду, свалившуюся на всех. Случалось, он упрекал себя в том, что, уступив накалу страстей и требованию минуты, дал такое обещание; а случалось, он чувствовал, что протянутая им от чистого сердца рука, которую никто не удостоил взять, была лишь мелкой формальностью по сравнению с клятвой, в которую он вложил душу. Он обдумывал способы оказать актерам помощь, принести пользу и находил веские причины ускорить поездку к Зерлу. Итак, он сложил свои пожитки и, не дожидаясь полного выздоровления, не слушаясь советов ни священника, ни хирурга, в странной компании Миньоны и старика поторопился бежать от бездействия, в котором его снова и слишком долго томила судьба.

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Зерло встретил его с распростертыми объятиями, восклицая:

— Вас ли я вижу? Не ошибаюсь ли? Нет, вы мало или совсем не изменились. А ваша любовь к благороднейшему из искусств по-прежнему жива и сильна? Я так рад вашему приезду, что даже забыл о недоверии, которое пробудили во мне последние ваши письма.

Вильгельм в недоумении попросил объясниться подробнее.

— Вы поступили со мной не так, как положено старому другу, — отвечал Зерло — вы обратились ко мне, точно к важной персоне, которой можно без зазрения совести навязать никуда не годных людей. Участь наша зависит от мнения публики, а навряд ли ваш господин Мелина и его присные встретят у нас хороший прием.

Вильгельм попытался было вступить за них, но Зерло перебил его, дав такую беспощадную аттестацию, что друг наш только обрадовался, когда разговор был прерван вошедшей в комнату женщиной, которую друг отрекомендовал ему как свою сестру Аврелию. Она приняла его самым дружелюбным образом, а беседа ее оказалась столь приятной, что он даже не заметил явственную печать скорби, придававшую особую значительность ее умному лицу.

Впервые за долгое время Вильгельм вновь почувствовал себя в своей стихии. Находя себе обычно в разговоре разве что снисходительных слушателей, теперь он был счастлив беседе с художниками и знатоками, которые не только вполне его понимали, но и давали ему назидательные ответы. С какой быстротой произвели они обзор новейших пьес! Как точно судили о них! Как умели взвесить и оценить суждение публики! С какой быстротой подхватывали мысль друг друга!

При сугубом пристрастии Вильгельма к Шекспиру разговор, естественно, перешел на этого писателя. Высказав живейшую надежду, что превосходные шекспировские пьесы составят эпоху в Германии, наш друг не замедлил заговорить о своем любимом «Гамлете», столь сильно занимавшем его воображение.

Зерло стал уверять, что, явись такая возможность, он давно поставил бы эту пьесу и сам охотно сыграл бы роль Полония. И с улыбкой присовокупил:

— В Офелиях недостатка не будет, лишь бы нам раздобыть самого принца.

Вильгельм не заметил, что Аврелии не понравилась шутка брата, и по своей привычке пустился в пространные поучения, как, он считает, надо играть Гамлета. Он подробно изложил им те свои выводы, о которых мы говорили выше, и всячески отстаивал свои взгляды,



сколько бы сомнений ни выдвигал Зерло против его гипотезы.

— Ну, хорошо, — сказал тот под конец, — допустим, мы во всем согласились с вами; что, по-вашему, отсюда вытекает?

— Многое, всё! — заявил Вильгельм. — Представьте себе принца, каким я изобразил его. У него внезапно умирает отец. Честолюбие и властолюбие — страсти, ему не присущие; он мирился с тем, что он — сын короля; но лишь теперь вынужден он взглянуть в расстояние, отделяющее государя от подданного. Право на корону не было наследственным, и все же, проживи отец дольше, притязания его единственного сына стали бы прочнее и надежды на корону несомненнее. Теперь же, по воле дяди, невзирая па мнимые посулы, он сидит, что отстранен от власти, быть может, навсегда; он чувствует, что обездолен и благами и богатствами и отчужден от того, что с малых лет мог считать своей собственностью. Это дает первый толчок к безотрадному направлению его мыслей. Он чувствует, что значит не больше, а то даже и меньше любого дворянина; он выставляет себя слугой каждого, он не учтив и не снисходителен, нет, он унижен, он поневоле смотрит на людей не сверху вниз, а снизу вверх.

Прежнее его состояние представляется ему исчезнувшим сном. Напрасно дядя пытается его ободрить, изобразить его положение в ином свете; чувство своего ничтожества ни на миг не покидает его.

Второй удар, нанесенный ему, который поразил его глубже, сокрушил сильнее, было замужество матери. После кончины отца у него, преданного и нежного сына, оставалась мать; он думал вместе с вдовствующей королевой-матерью чтить героический образ великого усопшего; но вот он потерял и мать, и такая утрата хуже, чем смерть. Исчезло положительное представление благонравного дитяти о своих родителях; у мертвого тщетно искать помощи, а у живой — опоры. Она — женщина, и общее для ее пола имя — вероломство — относится и к ней.[37]

Лишь теперь он сокрушен по-настоящему, лишь теперь по-настоящему осиротел, и никакое счастье в мире не заменит ему того, что он потерял. Он не рожден печальным и задумчивым, а потому печаль и раздумье для него — тяжелое бремя. Таким он появляется перед нами. Мне кажется, я ничего не примыслил, не преувеличил ни одной черты.

Взглянув на сестру, Зерло спросил:

— Скажешь, я неверно обрисовал тебе нашего друга? Начало положено неплохо, а дальше он еще и не то нам порасскажет и в чем только нас не уговорит.

Вильгельм клялся и божился, что хочет не уговорить, а убедить, и попросил еще минуту терпения.

— Постарайтесь поживее вообразить себе этого юношу, этого королевского сына, — воскликнул он, — вдумайтесь в его положение, а затем посмотрите на него в тот миг, когда он узнает о появлении отцовского призрака; будьте с ним в ту страшную ночь, когда высокородный дух сам является ему. Невообразимый ужас охватывает его. Он обращает свою речь к удивительному видению и, повинуясь его знаку, следует за ним, слышит его слова — в ушах звучит страшное обвинение против дяди, призыв к мести и настойчивая многократная просьба: «Помни обо мне!»

А после исчезновения призрака кого мы видим перед собой? Пышущего местью юного героя? Прирожденного государя, для которого счастье, что он призван покарать узурпатора? Нет! Оставшись один, потрясенный и удрученный, он обрушивает свой гнев на подлецов с низкой ухмылкой, клянется не забывать усопшего и заключает глубокомысленным вздохом:

«Разлажен жизни ход, и в этот ад

Закинут я, чтоб все пошло на лад!»[38]

Эти слова, на мой взгляд, дают ключ ко всему поведению Гамлета, и мне ясно, что хотел показать Шекспир: великое деяние, тяготеющее над душой, которой такое деяние не по силам. Вот, по моему разумению, идея, проходящая через всю пьесу. Здесь дуб посажен в драгоценный сосуд, которому назначено было лелеять в своем лоне только нежные цветы; корни растут и разрушают сосуд.

Прекрасное, чистое, благородное, высоконравственное создание, лишненное силы чувств, без коей не бывает героев, гибнет под бременем, которое ни нести, ни сбросить ему не дано; всякий долг для него свят, а этот тяжел не в меру. От него требуют невозможного, не такого, что невозможно вообще, а только лишь для него. Как ни извивается, ни мечется он, идет вперед и отступает в испуге, выслушивает напоминания и постоянно вспоминает сам, под конец почти теряет из виду поставленную цель, но уже никогда больше не обретает радости.

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

В комнату вошли какие-то люди и прервали разговор. Это были музыканты, которые раз в неделю собирались обычно для домашнего концерта у Зерло. Он очень любил музыку и утверждал, что, не любя ее, актер никогда по-настоящему не постигнет и не почувствует своего собственного искусства. Подобно тому как легче и грациознее двигаешься по сцене, когда позами и жестами управляет, когда их направляет мелодия, так и актеру, исполняющему прозаическую роль, нужно мысленно так ее скомпоновать, чтобы не бубнить слова монотонно на собственный привычный лад, а разнообразить свою речь, должным образом соблюдая такт и размер.

Аврелия была явно безучастна ко всему происходящему, под конец даже увела нашего друга в боковую комнату, а там, подойдя к окну и глядя на усеянное звездами небо, промолвила:

— Вы многого не досказали нам о Гамлете, но я не стану вас торопить, пускай брат тоже послушает то, что осталось вам договорить, только мне хочется узнать, что вы думаете об Офелии.

— Долго о ней говорить не приходится, — ответил Вильгельм, — настолько четко обрисован ее характер всего несколькими

мастерскими штрихами. Все существо ее преисполнено зрелой и сладостной чувственности. Влечение к принцу, на супружество с которым она вправе претендовать, так непосредственно бьет из родника, чистое, мягкое сердце так беззаветно отдается своему желанию, что отец и брат, боясь за нее, оба остерегают ее напрямик, не стесняясь словами. Благопристойность, как легкий флер, прикрывающий ее грудь, не может утаить трепет ее сердца, он даже предательски выдает этот тихий трепет. Воображение ее воспламенено, молчаливая скромность дышит любовной жадью, и едва покладистая богиня — случайность — потрясет деревцо, спелый плод не замедлит упасть.

— И вот, — подхватила Аврелия, — когда она видит, что ее оставили, отвергли, отринули, когда в душе ее безумца — возлюбленного вершины оборачиваются безднами и он взамен сладостного кубка любви протягивает ей горькую чашу страданий...

— Сердце ее разрывается, — заключил Вильгельм, — все опоры ее бытия рушатся, ураганом налетает смерть отца, и прекрасное здание превращается в руины.

Вильгельм не заметил, сколько выражения Аврелия вложила в последние свои слова. Поглощенный лишь творением искусства, его совершенством и последовательностью мысли, он не подозревал, что Аврелия воспринимала его совсем иначе, что своя глубокая боль оживала в ней, пробужденная этими трагическими тенями.

Голова ее еще опиралась на руки, а полные слез глаза были обращены к небу. Наконец, не в силах сдержать тайную боль, она схватила обе руки друга, застывшего от изумления, и вскричала:

— Простите, простите моему стесненному сердцу! В труппе я скована, связана по рукам и по ногам; от моего безжалостного брата я должна таиться; ваше появление развязало все путы. Друг мой, — продолжала она, — мы только — только познакомились, и я уже доверяюсь вам. — С трудом выговаривая эти слова, она поникла к нему на плечо. — Не думайте обо мне дурно, оттого что я так скоро открылась вам и вы увидели меня такой малодушной. Будьте и останьтесь моим другом, я это заслужила.

Он от всего сердца старался ее утешить. Тщетно, — слезы лились ручьем, мешая ей говорить.

В эту минуту совсем непрошеным явился Зерло, ведя за руку совсем нежданную Филину.

— Вот и ваш друг, — обратился он к ней, — он почтет за радость приветствовать вас.

— Как? Вы тоже здесь? — с изумлением вскричал Вильгельм.

Скромно и степенно приблизилась она к нему, поздоровалась, с похвалой отозвалась о доброте Зерло, который без всяких заслуг с ее стороны, в одной лишь надежде, что она подучится, принял ее в свою образцовую труппу. С Вильгельмом она при этом держалась приветливо, но соблюдая почтительную дистанцию.

Однако это притворство длилось, лишь пока они не остались вдвоем. Как только Аврелия удалилась, не желая показывать свои слезы, а Зерло куда-то позвали, Филина поспешила к дверям — убедиться, что они в самом деле ушли, затем, как безумная, запрыгала по комнате, села на пол и, хохоча, задыхаясь от смеха, тут же вскочила, стала ластиться к нашему другу и непомерно хвалить себя за то, что она ухитрилась забежать вперед, нащупать почву и угнездиться здесь.

— Жизнь тут сумбурная, прямо по мне, — сообщила она. — У Аврелии была несчастливая связь с одним дворянином, по всей видимости, преинтересным мужчиной, с которым я не прочь бы встретиться. Сдается мне, он оставил о себе память. По дому бегают мальчонка годиков трех, не ребенок, а солнышко, видно, отец у него был красавчик. Вообще-то я детей терпеть не могу, но на этого мальчугана смотреть удовольствие. Я все сосчитала. Смерть мужа, повое знакомство, возраст мальчика, все сходится до капельки.

Но возлюбленный ушел от нее, не видится с ней уже около года. Она вне себя, она просто безумна. Вот дура! У брата в труппе есть танцовщица, с которой он разводит амуры, актерка, с которой у него интрижка, а в городе еще несколько женщин, за которыми он волочится, теперь я у него на очереди. Вот дурак! Об остальной компании ты узнаешь завтра. А теперь одно словечко о небезызвестной тебе Филине: эта архидура влюблена в тебя.

Она божилась, что говорит правду и что это всего забавнее. Она настоятельно просила Вильгельма влюбиться в Аврелию — вот когда начнется настоящая потеха.

— Она гонится за своим изменщиком, ты за ней, я за тобой, а братец — за мной. Если тут веселья не хватит на целых полгода, пускай я умру на первой же главе этого путаного и перепутанного романа. — Она заклинала его не портить ей коммерции и оказывать все то уважение, какое она заслужит своим поведением в обществе.

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

На другое утро Вильгельм задумал навестить мадам Мелина; он не застал ее дома, спросил о прочих членах странствующей труппы и узнал, что Филина пригласила их на завтрак. Из любопытства он отправился к ней и нашел всех довольными и утешенными. Смышленная девица собрала их, попотчевала шоколадом и дала понять, что не все надежды потеряны; пользуясь своим влиянием, она рассчитывает доказать директору, как для него выгодно принять к себе в труппу столь опытных людей. Ее слушали очень внимательно, попивали чашку за чашкой, рещали, что она совсем не такая уж плохая, и давали себе зарок говорить о пей одно хорошее.

— Неужто вы надеетесь, что Зерло еще надумает взять к себе наших товарищей? — спросил Вильгельм, оставшись наедине с Филиной.

— Совсем нет, — возразила Филина, — да я этого и не желаю; по мне, чем скорее они уберутся, тем лучше! Одного Лаэрта мне хотелось бы удержать; от всех прочих мы постепенно отделаемся.

Вслед за этим она высказала другу уверенность, что он не будет дольше зарывать свой талант в землю, а под руководством такого

директора, как Зерло, начат играть на театре. Она не могла нахвалиться порядком, вкусом и всем духом, царящим здесь; она так льстила нашему другу, так лестно говорила о его таланте, что сердцем и воображением он потянулся к этой мысли, а рассудком и разумом отталкивался от нее. Он утаил и от себя и от Филины свое влечение и провел беспокойный день, так и не собравшись посетить местных коммерсантов и получить письма, которые, возможно, лежат для него. Он отлично понимал, сколько за это время переволновались его близкие, и все же боялся в подробностях узнать об их тревогах, услышать их упреки, тем более что надеялся получить в этот вечер больше, ничем не омраченное удовольствие от новой пьесы.

Зерло не допустил его на репетицию.

— Для начала вы должны увидеть нас с лучшей стороны, — объяснил он, — а потом уж можете заглянуть нам в карты.

Но вечером друг наш в полной мере наслаждался спектаклем. Впервые видел он театр, доведенный до такого совершенства. Казалось, всем актерам присуща отменная одаренность, счастливые внешние данные, высокое и ясное понятие о своем искусстве, и все же они не были равны друг другу; но они взаимно поддерживали, подавали, воодушевляли друг друга и были очень точны и четки в своей игре. Сразу чувствовалось, что Зерло — душа всего этого, да и показал он себя в самом выгодном свете. Веселый нрав, сдержанная живость, точное чувство меры при большом имитаторском даровании — вот что восхищало в нем, едва только он выходил на подмостки, едва произносил первые слова. Душевное равновесие его как будто распространялось на всех зрителей, а тонкость, с которой он легко и непринужденно передавал малейшие оттенки ролей, доставляла тем больше удовольствия, что он умело скрывал мастерство, достигнутое упорными упражнениями.

Его сестра Аврелия не уступала ему и успех имела даже больший, глубоко трогая сердца людей, меж тем как он успешно старался их радовать и развлекать.

Через несколько дней, проведенных не без приятности, Аврелия позвала нашего друга к себе. Он поспешил к ней и застал ее лежащей на софе; она, по-видимому, страдала от головной боли и не могла скрыть сотрясающую все тело лихорадочную дрожь. Глаза ее просияли при виде входящего Вильгельма.

— Простите мне! — крикнула она ему навстречу. — Доверие, которое вы мне внушили, сделало меня малодушной. Раньше я втихомолку смаковала свои страдания и даже черпала в них крепость и утешение; а теперь, не знаю, как это случилось, вы разрешили узлы волчания, и вам придется помимо воли стать участником борьбы, которую я веду сама с собой.

Вильгельм отвечал ей приветливо и участливо и уверял, что ее образ и ее страдания неотступно стоят перед его внутренним взором, — он просит ее довериться ему и отдает ей свою дружбу.

Во время этой речи взгляд его привлек мальчик, который сидел на полу и возился со всевозможными игрушками. Как уже говорила Филина, ему было года три, и Вильгельм сейчас только понял, почему ветреная, не склонная к возвышенным выражениям девица назвала его солнышком. Над ясным взором и вокруг полненького личика вились чудесные золотистые кудри, ослепительная белизна лба была подчеркнута тонкими, темными, плавно изогнутыми бровями, а на щеках сияли живые краски здоровья.

— Сядьте ко мне, — сказала Аврелия, — я вижу, вы с удивлением смотрите на это удачнейшее дитя. Конечно, я с радостью приняла его в свои объятия и бережно опекаю его, но именно по нему я могу судить о степени своих страданий, ибо они редко дают мне почувствовать всю ценность подобного дара. Позвольте мне наконец, — продолжала она, — занять вас собой и своей судьбой — я не хочу, чтобы вы думали обо мне превратно. У меня как будто выпало несколько спокойных минут, потому я вас и позвала; вот вы пришли, а я потеряла нить. «Одним брошенным существом больше на свете», — скажете вы. Вы — мужчина и думаете: «Вот глупая! Разводит трагедию из-за неизбежной беды, неотвратимей смерти тяготеющей над женщиной, — из-за мужской неверности!» Увы, друг мой, будь моя участь так обычна, я бы без ропота стерпела обыденную беду; но она выходит за привычные пределы; почему не могу я показать ее вам в зеркале или поручить кому-нибудь поведать вам о ней! Если бы, если бы только меня заманили, соблазнили, а потом покинули, тогда в самом отчаянии было бы утешение; но мне пришлось куда хуже — я сама себя обманула, сама, того не ведая, себя предала, и вот чего я себе никогда не прошу.

— При благородстве вашего образа мыслей вам невозможно быть вполне несчастливой, — возразил Вильгельм.

— А знаете, чему я обязана таким образом мыслей? — спросила Аврелия. — Наисквернейшему воспитанию, каким только можно испортить девушку, пагубнейшему примеру, способному лишь растлить чувства и склонности. После ранней кончины моей матери я провела лучшие годы созревания у тетки, которая поставила себе за правило попирать правила благоприличия. Слепо отдавалась она любому увлечению, могла быть и повелительницей и рабой своего предмета, лишь бы забыться в разнузданном сладострастии.

Каким же должен был представиться мужской пол нам, детям, чистому и ясному взгляду нашей невинности? Как туп, настойчив, нагл и неловок был каждый, кого привлекала Эта женщина, каким пресыщенным, надменным, пустым и пошлым становился, едва удовлетворив свои вождедения. Годами я видела ее попранной и униженной самыми дрянными людьми; какое обращение приходилось ей терпеть и как же стойко держалась она перед лицом судьбы, как гордо носила свои постыдные цепи!

Так я узнала ваш пол, друг мой, и как яро возненавидела я его, заметив, что даже порядочные мужчины в обществе с нашим полом как бы отбрасывают всякие добрые чувства, на которые могут быть способны от природы.

К несчастью, попутно я сделала немало грустных открытий по поводу моего собственного пола, и, право же, шестнадцатилетней девушкой я была умнее, чем сейчас, когда я и себя-то понять не могу. Почему мы так умны в юности, — так умны, чтобы, чем дальше, тем становиться глупее!

Мальчик расшумелся, Аврелии это надоело, и она позвонила. На звонок пришла старая женщина, чтобы увести мальчика.

— Что, все еще зубы болят? — спросила Аврелия старуху, у которой было завязано лицо.

— Мочи нет терпеть, — отвечала та глухим голосом, подняла мальчика, который, по-видимому, охотно шел к ней, и унесла прочь.

Едва только ребенка удалили, Аврелия залилась слезами.

— Я могу лишь плакаться и стенать! — воскликнула она. — Мне стыдно лежать перед вами жалким червем. Трезвость мысли у меня исчезла, и дальше я рассказывать не могу. — Она запнулась и замолчала.

Не желая говорить пустые общие слова и не находя своих, значительных, Вильгельм жал ей руку и смотрел на нее долгим взглядом. Затем в смущении взял лежавшую на столике перед ним книгу; это был том сочинений Шекспира, раскрытый на «Гамлете».

Тут как раз в комнату вошел Зерло, осведомился о здоровье сестры, заглянул в книжку, которую держал наш друг, и воскликнул:

— Снова вы заняты вашим «Гамлетом»? Очень кстати. У меня возникли всяческие сомнения, снижающие значение Этой пьесы как некоего канона, в который вы хотите ее возвести. Сами же англичане признали, что главный интерес кончается на третьем действии, а два остальных кое-как увязаны с целым. И в самом деле, под конец пьесы топчется на месте.

— Охотно верю, что среди нации, могущей гордиться столькими превосходными творениями, найдутся личности, которые в силу ли предрассудков или ограниченности склонны к превратным оценкам, — ответил Вильгельм, — но это не должно мешать нам иметь собственные взгляды и судить справедливо. Я далек от того, чтобы критиковать план этой пьесы, наоборот, я считаю, что созрелее его ничего не придумаешь, да он и не придуман — вот оно что!

— Как вы это докажете? — спросил Зерло.

— Я ничего не собираюсь доказывать, — возразил Вильгельм, — я хочу изложить вам, что я под этим подразумеваю.

Аврелия приподняла голову с подушки, подперла ее рукой и смотрела на нашего друга, а он в твердом сознании своей правоты продолжал свою речь:

— Нам очень нравится, нам крайне лестно видеть героя, который действует по собственной воле, любит и ненавидит по велению сердца, сам замышляет и осуществляет нечто, устраняя все препоны, и достигает высокой цели. Историки и поэты рады убедить нас, что столь гордый жребий доступен человеку. Здесь же нас учат другому — у героя плана нет, зато вся пьеса поставлена по плану. Здесь не оправдывается упорно и упрямо проводимая идея мщенья — кара не постигает злодея, свершившееся страшное деяние разрастается в своих последствиях, увлекает за собой невиновных; преступник явно хочет избежать ожидающей его бездны и падает в нее именно тогда, когда мнит, что счастливо прошел свой путь. Ибо таково свойство преступления, что зло захватывает и невиновного, как доброе дело благоденствует непричастному, а свершители того и другого остаются без наказания и без награды. Как замечательно выражено это здесь, в нашей пьесе! Чистилище шлет своего духа и требует мщенья, но напрасно. Все обстоятельства сходятся так, чтобы способствовать мщенью, — и напрасно. Ни земным, ни подземным силам не дано осуществить то, над чем властен только рок. Наступает час расплаты. Грешник гибнет вместе с праведником. Одно поколение искоренено, другое дает всходы.

Оба помолчали, глядя друг на друга, затем заговорил Зерло:

— Вы не очень-то льстите провидению, превознося поэта, а затем, к вящей славе того же поэта, как другие к вящей славе провидения, приписываете ему конечные цели и планы, о которых он и не помышлял.

## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

— Позвольте и мне задать один вопрос, — промолвила Аврелия. — Я снова просмотрела роль Офелии, мне она нравится, и в определенных условиях я дерзну сыграть ее. Но, скажите, неужто поэт не мог придумать для своей безумицы другие песенки? Нельзя ли вместо них подобрать отрывки из меланхолических баллад? Куда годятся в устах этой благородной девицы разные двусмысленности и сластолюбивые пошлости?

— Дорогой друг, я и тут не уступлю ни на йоту. Даже в Этих странностях, в этой кажущейся непристойности заложен глубокий смысл. Ведь мы с самого начала пьесы знаем, чем полна душа милой девушки. Она жила мирно день за днем, но с трудом скрывала свое томление, свои желания. Тайно проникали к ней в душу звуки сладострастия, и кто знает, как часто пыталась она, подобно неосмотрительной няньке, ублажать сбою чувственность такими песенками, которые лишь будоражили ее. Под конец, когда она лишена всякой власти над собой, когда сердце ее просится на язык и язык предаёт ее, в невинности безумия она тешит себя перед королем и королевой отголоском своих любимых нескромных песен: про девушку, которую соблазнили, про девушку, что пробирается к юноше, и тому подобное.

Он еще не договорил, как у него на глазах разыгралась странная, ему совершенно непонятная сцена.

Зерло несколько раз прошелся по комнате, с виду без особой цели. Внезапно он шагнул к туалетному столу Аврелии, быстро схватил что-то лежавшее там и устремился со своей добычей к двери. Едва только заметив его жест, Аврелия вскочила, бросилась ему наперерез, с невообразимой яростью накинулась на него и умудрилась вцепиться в конец похищенного предмета. Они упорно дрались и боролись, извивались и вертелись друг вокруг друга. Он смеялся, она горячилась, и когда Вильгельм подоспел, чтобы разнять и усмирить их, Аврелия вдруг отскочила в сторону, держа в руке обнаженный кинжал, а Зерло с досадой швырнул на пол оставшиеся у него в руках ножны. Вильгельм в растерянности отступил, своим безмолвным недоумением как бы задавая вопрос, почему между ними возгорелся такой отчаянный спор из-за такого необычного в обиходе предмета.

— Будьте между нами судьей, — попросил Зерло, — на что ей этот острый клинок? Пускай покажет его вам. Актрисе не годится такой кинжал — острый, наточенный, не хуже иглы и ножа! К чему такие шутки? При своей вспыльчивости она, чего доброго, невзначай поранит себя. У меня внутреннее отвращение к подобным эксцентричностям; как серьезное намерение — это безумие, а как опасная игрушка —

попросту пошлость.

— Он снова у меня! — воскликнула Аврелия, подняв над головой сверкающий клинок. — Теперь я понадежнее спрячу моего верного друга. Прости мне, что я плохо хранила тебя, — вскричала она, целуя стальное лезвие.

Зерло, видимо, рассердился уже не на шутку.

— Понимай как хочешь, братец, — продолжала она, — откуда тебе знать, не дарован ли мне под этим видом драгоценный талисман, не обретаю ли я у него поддержку и совет в самые для меня тяжкие минуты. Неужто страшно все, что опасно на вид?

— Такие речи лишены малейшего смысла и способны свести меня с ума! — изрек Зерло и, затаив гнев, покинул комнату.

Аврелия бережно вложила кинжал в ножны и спрятала его на себе.

— Давайте продолжим разговор, прерванный моим злополучным братцем, — перебила она, когда Вильгельм попытался узнать причины столь странного спора. И продолжала:

— Я вынуждена согласиться с вашим толкованием Офелии. Нельзя же опровергать замысел автора; но я, со своей стороны, скорее сожалею о нем, нежели сочувствую ему. А теперь позвольте мне сделать замечание, к которому вы за короткий срок не раз подавали повод. Меня восхищает глубина и точность вашего суждения о поэзии и, главное, поэзии драматической; глубочайшие тайники замысла доступны вашему взору, и тончайшие черты его воплощения не ускользают от вас. Ни разу не видев самого предмета в природе, вы познаете правду в изображении, в вас будто заложено предощущение всего мира, которое получает толчок к развитию, соприкоснувшись с гармонией поэзии. Ведь, по правде говоря, — продолжала она, — ничто не проникает в вас извне; я не часто встречала человека, который так бы мало знал и так бы плохо понимал окружающих. Позвольте сказать вот что: когда слушаешь, как вы толкуете своего Шекспира, так и кажется, будто вы только что побывали на совете богов, где они обсуждали, каким надо творить человека; когда же вы общаетесь с людьми, я вижу в вас рожденное взрослым дитя творения, которое с необычайным изумлением и достойным подражания добродушием дивится на львов и мартышек, овец и слонов и в простоте сердечной заговаривает с ними, как с себе подобными, потому что они ведь тоже живут и шевелятся.

— Меня и самого тяготит мое школярское поведение, — заявил Вильгельм, — и я был бы вам весьма признателен, если бы вы помогли мне яснее разобраться в мире. С юных лет я направлял свой духовный взор скорее внутрь, нежели наружу, а потому не удивительно, что я лишь в ограниченной степени знаю человека, часто не понимая и не постигая людей.

— В самом деле, — подхватила Аврелия, — поначалу я заподозрила, что вы решили посмеяться над нами, когда наговорили столько хорошего о тех, кого прислали к моему брату, и когда я сравнила ваши рекомендации с заслугами Этих людей.

Хотя замечание Аврелии содержало в себе много справедливого и хотя наш друг охотно признал за собой этот недостаток, в словах ее было нечто тягостное и даже оскорбительное, отчего он замолчал и ушел в себя, отчасти не желая показать обиду, а отчасти стараясь проверить, справедлив ли ее упрек.

— Не огорчайтесь этим, — вновь заговорила Аврелия, — просветить свой разум мы как-нибудь сумеем, но полноты чувства не даст нам никто. Если вам назначено стать художником, то сохраните свое неведение и невинность елико возможно дольше: нет надежнее оболочки для молодого ростка; горе нам, если мы слишком рано сбрасываем ее с себя. И, право, не всегда хорошо знать тех, на кого мы работаем.

Да, и мне довелось некогда быть в этом блаженном состоянии, когда с самым высоким мнением о себе и о своей нации я вступила на театральные подмостки. Чем только не были немцы в моем воображении, чем не могли стать! И к Этой нации обращалась я, невысокий помост поднимал меня над ней и отделял от нее ряд ламп, свет и чад которых мешали мне отчетливо различать предметы, расположенные передо мной. Как отраден был мне звук рукоплесканий, поднимавшийся из толпы; с какой благодарностью принимала я этот дар, подносимый мне дружно множеством рук! Долго я Этим баюкала себя; то влияние, что оказывала я, в ответ оказывала на меня толпа; мы с моей публикой жили в полном ладу; я воображала, что между нами царит совершенное согласие и что я неизменно вижу перед собой благороднейший цвет нации.

К несчастью, не только талант и искусство актрисы привлекали любителей театра — нет, их притязания распространялись и на живое юное существо. Они недвусмысленно давали мне понять, что я обязана сама делить с ними те чувства, которые возбуждаю в них. Беда в том, что мне это было ни к чему; я стремилась возвысить их души, а то, что они называли своим сердцем, ничуть меня не влекло; мало-помалу мне опротивели одно за другим все сословия, возрасты и характеры, и меня несказанно удручало, что я не могу, как другие честные девушки, запереться в своей комнате, избавив себя от излишних тягот.

Мужчины по большей части оказывались такими же, какими я привыкла наблюдать их у тетки; они и на сей раз вселили бы в меня одно лишь отвращение, если бы не забавляли меня своими причудами и чудачествами, поневоле сталкиваясь с ними то ли в театре, то ли в общественных местах, то ли у себя дома, я принялась украдкой изучать их, и брат ретиво помогал мне в этом. И когда вы представите себе, что от вертлявого приказчика и наглого купчика до искушенного и осмотрительного светского человека, невозмутимого воина и нетерпеливого вельможи — все друг за другом прошли передо мной и каждый пытался завязать интрижку на свой манер, — вы не упрекнете меня в самонадеянности, если я могу считать, что неплохо узнала свою нацию.

Нелепо разряженного студента, конфузливо-смиренного в своей гордыне ученого, хлипкого тихоню-каноника, чванливого и настороженного чиновника, грубияна-помещика, гладко-сладкого пошляка придворного, сбившегося с пути молодого патера, бесшабашного или же прыткого и оборотливого купца — каждого из них наблюдала я, и — клянусь небесами — мало нашлось таких, что внушили бы мне хотя бы простой интерес; наоборот, для меня было истинной доуккой нехотя, через силу завоевывать одобрение каждого дурака в отдельности, меж тем как оно было мне так приятно, становясь общим, и так заманчиво все в целом отнести это

одобрение к себе.

Когда я надеялась услышать тонкий комплимент своей игре, когда ждала, чтобы они похвалили высоко мною ценимого автора, они сыпали глупость за глупостью и называли пошлейшую пьесу, в которой желали бы увидеть мою игру. Прислушиваясь к разговорам в обществе, надеясь поймать какое-нибудь тонкое, остроумное, меткое замечание, которое могло быть подхвачено в подходящую минуту, я редко улавливала нечто подобное. Нечаянный промах, оговорка актера или сорвавшийся у него провинциализм — вот те важнейшие вопросы, за которые цеплялись мои собеседники и никак не могли отстать. Под конец я не знала, куда мне деваться. Занимать их было ни к чему — они считали, что и так достаточно умны, и полагали, что занимают меня как нельзя лучше, приставая ко мне с нежностями. Теперь я презирала их всех до глубины души, у меня было такое чувство, будто сся нация в лице своих представителей является ко мне с намерением себя замарать. Такой неловкой, такой невоспитанной, необразованной, настолько лишенной всякой привлекательности и всякого вкуса казалась она мне. «Неужто ни один немец не может башмак застегнуть, не обучившись у другого народа!» — восклицала я порой.

Видите, как я была слепа, как несправедлива в своей ипохондрии, и чем дальше, тем заметнее усиливалась моя — болезнь. Мне было впору покончить с собой; однако я впала в другую крайность — вышла замуж, вернее — позволила выдать себя замуж. Брат мой стал во главе театра и хотел иметь помощника. Выбор его пал на молодого человека, который не был мне противен, но не имел ни одного из качеств моего брата — ни таланта, ни темперамента, ни ума, ни живости натуры, зато обладал всем, чего тому недоставало: любовью к порядку, прилежанием, драгоценным даром домоводства и бережливости.

Он стал моим мужем, сама не знаю как: мы жили вместе, не знаю толком почему. Так или иначе, дела наши шли хорошо. Мы делали большие сборы, чему причиной была деятельность моего брата; мы ни в чем не нуждались — ив этом была заслуга моего мужа. Я уже не рассуждала о мире и нации: с миром мне нечего было делить, а понятие нации я утратила. На сцене я выступала, чтобы жить, я раскрывала рот потому, что мне не положено было молчать, раз я вышла, чтобы говорить.

Впрочем, чтобы не сгущать красок, — я совершенно вошла в намерения брата; он гнался за успехом и деньгами: между нами говоря, он любит, чтобы его хвалили, и всего ему мало. Впредь я играла, повинаясь не собственному чувству и убеждению, а его указаниям, и сама была довольна, угодив ему. Он же потворствовал всем слабостям публики; деньги притекали, он мог жить в свое удовольствие, и между нами царило согласие. Вот так я и втянулась в ремесленническую рутину. Дни свои я влачила безрадостно и безучастно, брак мой оказался бездетным и длился недолго. Муж занемог, силы его падали на глазах, заботы о нем нарушили мое равнодушие ко всему. В ту пору у меня произошло знакомство, открывшее мне новую жизнь, новую и быстротечную, ибо скоро ей будет положен конец.

Помолчав некоторое время, она продолжала:

— Что-то у меня вдруг пропал болтливый стих и расхотелось даже рот раскрывать. Позвольте мне отдохнуть немножко. Только не уходите, пока не узнаете доподлинно всю меру моего несчастья. А сейчас позовите Миньону и спросите, что ей надобно.

В течение рассказа Аврелии девочка несколько раз входила в комнату. Но, заметив, что при ее появлении понижают голос, она бесшумно ускользала и, смирно сидя в зале, ждала. Когда ее наконец впустили, она принесла с собой книгу, в которой по формату и обложке нетрудно было признать небольшой географический атлас. Во время остановки у священника она с великим удивлением впервые увидела ландкарты, пылливо расспрашивала о них, кое-что успела оттуда почерпнуть. Потребность учиться как будто наново разгорелась в ней от этих свежих познаний; сейчас она пришла упрашивать Вильгельма, чтобы он купил ей эту книгу. Торговцу картинками она оставила в залог свои большие серебряные пряжки, и сегодня уже поздно, а завтра она непременно хочет выкупить их. Получив согласие, она принялась пересказывать то, что узнала, и задавать, по своему обыкновению, самые неожиданные вопросы. Здесь снова стало ясно, что при всех усилиях понимание стоит ей большого труда и напряжения. Над почерком своим она тоже трудилась немало. Объяснялась она все еще на ломаном немецком языке, и лишь когда начинала петь, когда дотрагивалась до лютни, казалось — это единственный для нее способ раскрыться, излить свою душу.

Говоря о ней, мы должны упомянуть, в какое замешательство она с некоторых пор то и дело приводила нашего друга. Приходя или уходя, желая доброго утра или доброй ночи, она так крепко обнимала его и целовала с таким жаром, что пылкость этой расцветающей природы часто пугала и тревожила его. Трепетная возбужденность с каждым днем сильнее отражалась на ее повадках; все ее существо, казалось, пребывает в тихом и неуемном движении. Ей постоянно нужно было крутить в руках шнурок, тереть платочек, жевать бумажку или щепку. Каждая ее игра, по-видимому, служила разрядкой какому-нибудь сильному внутреннему потрясению. Единственное от чего она немного веселела, было присутствие маленького Феликса, с которым она превосходно ладила.

Немного отдохнув, Аврелия вознамерилась до конца объяснить своему другу то, что так живо волновало ее душу, а потому была раздосадована настойчивостью девочки и дала ей понять, чтобы она уходила; когда же и это не помогло, пришлось попросту спровадить ее наперекор ее воле.

— Сейчас или никогда должна я досказать вам конец моей истории, — начала Аврелия. — Будь мой нежно любимый недобрый друг всего в нескольких милях отсюда, я бы попросила: скажите туда верхом, постарайтесь как-нибудь свести с ним знакомство, а воротись, вы, конечно, простите и пожалеете меня от души. Ныне же я только словами могу вам описать, как был он достоин любви и как я его любила.

Именно в ту трудную пору, когда мне приходилось волноваться за жизнь мужа, познакомилась я с ним. Он только что возвратился из Америки, где вместе с несколькими французами весьма доблестно служил под знаменами Соединенных Штатов.

Он повел себя со мною непринужденно и учтиво, прямодушно, без притворства, говорил обо мне самой, о моем положении, моей игре, точно старый знакомый, так участливо и вдумчиво, что впервые я могла порадоваться, увидев столь ясное отражение своего бытия в другом существе. Суждения его были верны без порицания, метки без злости. Ни капли черствости не чувствовалось в нем, его ирония была безобидна. По-видимому, он привык к успеху у женщин, и это меня насторожило; но он отнюдь не был вкрадчив и настойчив, и Это меня успокоило.

В городе он мало с кем водился, большей частью разъезжал верхом по округе, навещая множество своих знакомых и занимаясь делами своего поместья. На возвратном пути он заезжал ко мне, с теплой заботой ухаживал за моим мужем, которому было уже совсем худо; через посредство искусного врача облегчал страдания страждущего и, как сам входил во все, что меня касалось, так и мне поведал все, что касалось его. Он рассказал мне историю своего похода, говорил о своей непреодолимой тяге к военному ремеслу, о семейных своих обстоятельствах, о том, чем занят теперь. Словом, тайн от меня у него не было; он впустил меня в свой внутренний мир, позволил заглянуть в сокровеннейшие тайники своей души; мне открылись его способности, его увлечения. Впервые в жизни могла я насладиться общением с таким умным, сердечным человеком. Я потянулась к нему, увлеклась им прежде, чем успела призадуматься над собой.

Тем временем я потеряла мужа, примерно так же, как обрела его. Бремя театральных дел полностью свалилось на меня. От брата моего, незаменимого на театре, в хозяйстве проку никогда не было; я заботилась обо всем да еще усерднее прежнего разучивала новые роли. Я играла опять, как в былые годы, но с новой жизненной силой, хотя из-за него и ради него, но не всегда успешно, если знала, что благородный друг мой присутствует на спектакле; однако он несколько раз слушал меня тайком, и можете себе представить, каким приятным сюрпризом была его неожиданная похвала.

Правду сказать, странное я существо. Какую бы роль я ни играла, у меня неизменно было такое ощущение, будто я воспеваю его, играю в его честь, ибо так чувствовалось мое сердце, слова же могли быть любые. Зная, что он находится среди публики, я не осмеливалась играть в полную силу и словно открыто навязывать ему свою любовь, свою ласку; если же он отсутствовал, я была свободна, я играла как можно лучше, с внутренней уверенностью и неизъяснимым удовлетворением. Успех снова радовал меня, и когда я доставляла удовольствие публике, мне хотелось крикнуть со сцены: «Этим вы обязаны ему!»

Да, во мне каким-то чудом изменилось отношение к публике и ко всей нации. Я вдруг снова увидела ее в наилучшем свете и подивилась недавнему своему ослеплению.

«Как нелепо было хулить целую нацию именно потому, что она — нация, — нередко твердила я себе. — Должны ли, могут ли отдельные люди представлять такой же интерес? Отнюдь нет! А не поделено ли среди всей массы множество задатков, сил и дарований, которые развиваются через благоприятное стечение обстоятельств и через людей выдающихся приводят ко всеобщей конечной цели?» Теперь я радовалась, видя среди моих соотечественников так мало бьющего в глаза своеобразие, я радовалась, что они не гнушаются следовать руководству извне; я радовалась, что нашла себе наставника.

Лотар — позвольте мне называть моего друга просто дорогим его именем, — говоря мне о немцах, всегда подчеркивал их отвагу и доказывал, что в мире нет народа храбрее, если правильно руководить им; и мне стало стыдно, что я никогда не думала об этом первейшем качестве своего народа. Друг мой знал историю и был связан с большинством достойных мужей нашего времени. При всей своей молодости он не выпускал из поля зрения подрастающую и подающую надежды отечественную молодежь и неброские труды людей деятельных и занятых в столь многих областях. Он раскрыл передо мной общую картину Германии, какова она есть и какой может стать, и мне стало стыдно, что я судила о целой нации по суетливой толпе, которая теснится в театральных уборных. Он вменил мне в обязанность и в моем деле быть правдивой, пронизательной и способной воодушевить людей. Отныне и на меня сходило вдохновение, едва я вступала на подмостки. Серость в моих устах становилась золотом, и будь у меня в ту пору разумная помощь поэта, я могла бы достичь небывалых успехов.

Так много месяцев кряду жила молодая вдова. Он не мог обходиться без меня, а я была очень несчастна, когда он не приходил. Он показывал мне письма от родных, от своей примерной сестры. Он принимал к сердцу малейшие обстоятельства моей жизни; совершеннее, единокорнее не придумаешь союза. Слово «любовь» не произносилось между нами. Он уходил и приходил, приходил и уходил... А теперь, мой друг, пора уходить и вам.

## ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Долее Вильгельм не мог откладывать визит к своим торговым корреспондентам. Не без смущения направился он туда, предвидя, что его ждут письма от родных, и боясь упреков, которые, конечно, в них содержатся; должно быть, в торговой конторе уже известно о беспокойстве на его счет. После стольких рыцарских походов ему никак не улыбалось иметь вид школьника, а потому он решил держаться развязно, чтобы скрыть смущение.

Однако, к великому его удивлению и удовольствию, все сошло хорошо и благопристойно. В большой, многолюдной, поглощенной делами конторе едва нашлось время отыскать его письма; о его длительном отсутствии было помянуто вскользь. А вскрыв письма отца и своего друга Вернера, он нашел содержание их вполне сносным. Отец, как видно, надеялся на обстоятельный дневник, который настойчиво рекомендовал сыну вести в дороге и далее дал ему с собой расчерченный по графам образец, а посему не был на первых порах обеспокоен его молчанием и только сетовал на загадочность первого и единственного письма, посланного из графского замка. Вернер же шутил, по своему обыкновению, сообщал забавные городские новости и просил сведений о друзьях и знакомых, которых Вильгельм, конечно, не преминет завести в большом торговом городе. Несказанно обрадованный тем, что отделался так дешево, наш друг поспешил послать в ответ несколько весьма жизнерадостных писем и посулил отцу подробный путевой журнал со всеми требуемыми географическими, статистическими и коммерческими сведениями. Многое повидал он в пути, из чего надеялся составить порядочную тетрадь. Он сам не заметил, что оказался почти в таком же положении, как тогда, когда зажег свечи и созвал публику, чтобы показать пьесу, которая не была ни написана, ни, тем паче, заучена. Когда же он на самом деле принялся за сочинительство, тогда, на беду свою, увидел, что может поговорить и рассказать о чувствах и мыслях, о многообразных заметах ума и сердца, но только не о чисто внешних обстоятельствах, которым, как обнаружил сейчас, не уделял ни малейшего внимания.

В этом затруднении ему пришлось кстати познания приятеля его, Лаэрта. Привычка связала обоих молодых людей, сколь ни разны они были между собой, и Лаэрт, при всех своих недостатках, был человек незаурядный. Натура счастливого жизнерадостно-чувственного склада, он мог состариться, не задумавшись над своим положением, но несчастье и болезнь лишили его светлого ощущения молодости, открыв его взору бренность и несвязность нашего бытия. Отсюда возникла причудливая обрывочность в восприятии явлений, или, вернее, в непосредственной их оценке. Он неохотно бывал один, околачивался по кофейням, по харчевням, а если случалось ему

остаться дома, излюбленным, вернее сказать, единственным его чтением были описания путешествий. Теперь он мог сполна удовлетворить эту страсть, обнаружив в городе большую библиотеку, и вскоре в его памятной голове поселилось полсвета.

Понятно, что ему легко было ободрить друга, когда тот признался в полном отсутствии материала для торжественно обещанной режиссуры.

— Да мы такое сотворим чудо, какого еще мир не видывал, — пообещал он. — Разве Германию не объездили, не обходили, не обползали, не облетали вдоль и поперек, из конца в конец? И разве каждый немецкий путешественник не воспользовался несравненным правом возместить свои большие и малые затраты за счет читателей? Прежде всего дай мне твой маршрут до приезда к нам, в остальном положишься на меня. Я тебе разыщу источники и пособия к твоему труду; в квадратных милях, никем не измеренных, и в народонаселении, никем не сосчитанном, недостатка у нас не будет. Доходы государств мы заимствуем по справочникам и из таблиц, как известно, самых надежных документов. На них мы построим свои политические концепции; в попутных суждениях о правительствах тоже не должно быть недостатка. Двух-трех государей мы изобразим как истых отцов отечества, чтобы нам скорее поверили, когда нескольких других мы за что-то пожури́м; если не случится нам захватить прямо на месте пребывания каких-нибудь знаменитостей, так мы повстречаем их в трактире, где они доверительно наболтают нам всякий вздор. Лишь бы мы не забыли на самый изящный манер приплести сюда любовную интригу с девушкой-простушкой, и в итоге получится такое произведение, которое не только приведет в восторг отца с матерью, но и будет охотно откуплено у тебя любым книгопродавцем.

Оба приятеля приступили к делу и очень веселились за работой, а вечерами Вильгельм от души наслаждался спектаклем, обществом Зерло и Аврелии, и круг его мыслей, слишком долго бывший весьма ограниченным, становился все шире и шире,

## ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

С большим интересом прослушал он по частям биографию Зерло; этот удивительный человек не склонен был к откровенности и к связному повествованию. Если можно так выразиться, он был рожден и вскормлен на театре. Еще бессловесным ребенком он должен был трогать зрителей одним своим присутствием, потому что еще в те поры сочинителям были известны эти натуральные и невинные подспоря, и первые его «папа» и «мама» доставляли ему в популярных пьесах бурный успех, прежде чем он понял, отчего люди хлопают в ладоши. Амуром он не раз, дрожа от страха, спускался на летательном приборе, не раз арлекином вылупливался из яйца, мальчиком-трубочистом с ранних лет откалывал отменные шутики.

К несчастью, за блистательный успех на театральных подмостках он дорого расплачивался в родительском доме: отец его был убежден, что внимание поддерживается и закрепляется у детей лишь колотушками, и при заучивании каждой роли бил его через определенные промежутки — не потому, что ребенок был неспособен, а для того, чтобы он обрел большую уверенность и твердость в показе своих способностей. Так в былые времена, устанавливая межевой камень, стоящих вокруг ребятишек награждали увесистыми оплеухами, и старики по сей день точно помнят местоположение камня. Мальчик подрастал, выказывая редкостную ясность ума и ловкость тела, и был не менее гибок в манере исполнения, чем в действии и жесте. Он обладал поистине неправдоподобным даром подражания. Еще подростком он так умел подражать людям, что казался, видишь их воочию, хотя по облику, возрасту и самому существу они были совершенно отличны от него и несхожи между собой. Вдобавок не был он лишен дара устраиваться в жизни, и как только до некоторой степени осознал свои силы, почел за благо убежать от отца, ибо по мере того, как мальчик укреплялся разумом и преуспевал в ловкости, отец находил нужным способствовать этому крутым обращением.

Каким же счастливым почувствовал себя в свободном мире независимый юнец, за свои шутовские выходки повсюду встречавший радушный прием. Счастливая звезда первым делом привела его на масленицу в монастырь, где как раз умер патер, ведавший процессиями и убоготивлявший христианскую паству духовными маскарадами, вследствие чего Зерло был принят как благодетельный ангел-хранитель. Тотчас взял он на себя роль Гавриила в Благовещении и пришелся по вкусу хорошенькой девушке, которая в роли Марии с внешним смирением и внутренней гордостью премило приняла его каноническое приветствие. Вслед за тем он последовательно сыграл в мистериях все главные роли и возомнил о себе невольно, что, когда под конец в качестве самого Спасителя мира был предан поруганию, побит плетьюми и распят на кресте.

Некоторые воины, пожалуй, чересчур натурально сыграли свои роли; желая подобающим образом расквитаться с ними, он по случаю Страшного суда вырядил их в пышные одежды императоров и царей, и в ту минуту, когда они, весьма довольные своими ролями, вознамерились и на небо войти первыми, он неожиданно предстал перед ними в личине дьявола и, к великому удовольствию всех зрителей и нищей братии, крепко отлупил их кочергой и безжалостно низверг назад, в преисподнюю, где им навстречу устрашительно вырывались языки пламени.

У него достало ума понять, что коронованные головы неблагосклонно примут столь дерзкую выходку, не постеснявшись даже его почтенной должности обвинителя и карателя; а посему он не стал дожидаться, чтобы настало тысячелетнее царство, и потихоньку улизнул, а в соседнем городе с распростертыми объятиями был принят в сообщество, которое прозывалось тогда «Дети радости». Это были толковые, неглупые, деятельные люди, понявшие, что сумма нашего бытия полностью не поддается делению на разум, в итоге всегда остается некая сомнительная дробь. От этой неудобной, а при раскладке на всю массу даже опасной дроби они через определенные промежутки нарочито старались избавиться. Единожды в неделю они становились откровенными глупцами, путем аллегорических представлений взаимно бичевали все то глупое, что за остальные дни успели заметить в самих себе и в других. Пускай этот способ был грубее ряда привитых навыков, с помощью которых человек благонравный ежедневно одергивает, предостерегает и карает себя, но зато он был забавнее и надежнее; не отрицая в самих себе зачатков глупости, ее принимали как таковую, дабы она иным путем, с помощью самообмана, не могла добиться главенства в доме и скрытного порабощения разума, который воображает, будто давно уже избавился от нее. Шутовскую маску носили все по очереди, и никому не возбранялось в свой день украсить ее отличными чертами, собственными и заимствованными. В пору карнавала участники сообщества позволяли себе величайшие вольности, соперничая со стараниями духовенства в увеселении и привлечении народа. Торжественные процессии с аллегориями добродетелей и пороков, искусств и наук, частей света и времен года воплощали для народа множество понятий и давали ему представление о чуждых предметах, а потому забавы эти не лишены были пользы, между тем как духовные действия лишь поддерживали нелепое суеверие.

Молодой Зерло снова очутился в своей стихии; изобретательности как таковой он был лишен, зато превосходно умел воспользоваться



тем, что было по рукой, все облагораживая и подавать в лучшем виде. Его выдумки, остроумие, дар подражания и даже язвительная ирония, которую он по меньшей мере раз в неделю волен был пускать в ход даже против своих благодетелей, — все, вместе взятое, делало его не только ценным, но и необходимым для сообщества.

Однако беспокойство природы погнало Зерло из этих благоприятных условий в дальние концы его отечества, где ему пришлось пройти новую выучку. Он попал в ту образованную, но безобразную часть Германии,[40] где для почитания добра и красоты хоть и хватает правдивости, но никак не высшей одухотворенности; его маски оказались здесь непригодны, надо было найти, чем трогать сердца и души. Недолгий срок побывал он в малых и больших труппах, однако успел подметить особенности и пьес и актеров. Уловив однообразие, царившее тогда в немецком театре, бессмысленную цезуру и каданс александрийского стиха, напыщенно-плоский диалог, сухость и пошлость прямых нравоучений, он понял, что именно пленяет и умиляет публику.

Не только одна роль из ходкой пьесы, но вся пьеса целиком запоминалась ему так же, как и особая манера актера, с успехом подвизавшегося в ней. И вот когда у него почти совсем иссякли деньги, он в своих блужданиях набрел на мысль одному разыгрывать целые пьесы, особенно в барских поместьях и селениях, тем самым сразу добывая себе пищу и ночлег. В любой харчевне, в любой горнице или саду раскидывал он свой театр; плутовской серьезностью, напускной восторженностью умел он покорить воображение зрителей, заморозить их чувства, чтобы перед их взором старый шкаф обратился в замок, а веер — в кинжал. Юношеский пыл восполнял отсутствие глубокого чувства, запальчивость казалась силой, а крадчивость — нежностью. Тем, кто был знаком с театром, он напоминал все, что они уже видели и слышали, а в прочих будил предвкушение какого-то волшебства и желание поближе узнать его. То, что имело успех в одном месте, он неукоснительно повторял в другом, злорадно смакуя свою способность экспромтом дурочить всех на одип манер.

Обладая живым, независимым, не знающим преград умом, он быстро совершенствовался при повторении одних и тех же ролей и пьес. Вскоре он уже играл и декламировал осмысленнее, чем те образцы, которым вначале слепо подражал. Идя таким путем, он мало-помалу стал играть естественнее, не переставая притворствоваться. Он прикидывался воодушевленным, а сам смотрел, какой производит эффект, и превыше всего гордился, когда ему удавалось постепенно расшевелить людей.

Само его каторжное ремесло вскоре потребовало от него известной сдержанности, таким образом он частью поневоле, частью инстинктивно научился тому, о чем имеют понятие очень немногие актеры: экономии голоса и жеста.

Он умел укрощать самых неотесанных и хмурых людей, вызывая в них интерес к себе. Повсюду он бывал доволен и пищей и кровом, с благодарностью принимал любой подарок, порой даже отказывался от денег, если считал, что не нуждается в них, а посему один посылал его к другому с рекомендательным письмом, и он немалый срок кочевал из поместья в поместье, где доставлял и сам получал удовольствие и не обходился без приятнейших и премилых приключений.

По холодности природы он, собственно говоря, не любил никого; по зоркости взгляда он никого не мог уважать, ибо видел одни лишь внешние свойства людей и включал их в свой мимический арсенал. При этом самолюбие его бывало крайне уязвлено, если он не всем нравился и не всюду стяжал успех. А способы добиться успеха он постепенно изучил с такой тщательностью, так изошрился свой ум, что не только на сцене, но и в обычной жизни иначе не мог, как угождать. Склад его ума, талант и склад жизни так влияли друг на друга, что из него незаметно выработался полноценный актер. Да, в силу, казалось бы, странного, но вполне естественного действия и противодействия, путем осмысления и упражнения его дикция, декламация и мимика поднялись на высокую ступень правдивости, искренности и непринужденности, меж тем как в жизни и обхождении с людьми он становился все более скрытным, ненатуральным, даже лицемерным и мнительным.

О дальнейших перипетиях его судьбы мы, быть может, поговорим в другом месте, а теперь скажем лишь, что, став зрелым человеком с твердой репутацией и превосходным, хоть и непрочным положением, он приучился в беседе очень тонко, то ли иронизируя, то ли посмеиваясь, разыгрывать из себя софиста и тем пресекать всякий серьезный разговор. Чаще всего пользовался он этой методой в отношении Вильгельма, едва лишь тот, по своему обычаю, пытался затеять отвлеченную теоретическую беседу. Тем не менее они ценили общество друг друга, ибо различие в образе мыслей неизбежно оживляло их разговор. Вильгельм старался все выводить из усвоенных себе понятий и желал толковать искусство в общей связи. Он стремился устанавливать точно выраженные правила, определять, что справедливо, красиво и хорошо, что заслуживает одобрения; словом, все трактовал наисерьезнейшим образом. В противоположность ему, Зерло все воспринимал очень легко, ни на что не давая прямого ответа, умел подходящим рассказом или шуткой дать складное и забавное объяснение и просветить собеседников, увеселяя их.

## ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Чем приятнее проводил время Вильгельм, тем горше казалось Мелне и прочим их положение. Порой они представлялись нашему другу некими злыми духами, и не только своим присутствием, но и угрюмыми минами, колкими речами доставляли ему немало горьких минут. Зерло ни разу не выпустил их гастролерами, не говоря о том, что не подавал им надежды на ангажемент, и тем не менее постепенно познакомился со способностями каждого. Всякий раз, как актеры компанией собирались у него, он по заведенной привычке устраивал чтение вслух, в котором сам иногда принимал участие. Выбирал он отрывки из пьес, назначенных к постановке или давно не ставившихся. И после первого представления он также заставлял читать те места, в которых у него были какие-нибудь замечания, тем самым обостряя чутье актеров и укрепляя их уверенность в правильном выборе тона. Понимая, что человек посредственного, но здравого ума может больше порадовать других людей, нежели беспутный неотесанный гений, он поднимал средние дарования на поразительную высоту, ненавязчиво изошряя их пронзительность. С немалой пользой давал он читать им также и стихи, поддерживая в них то благодатное чувство, какое возбуждает в душе правильно переданный ритм, меж тем как в других труппах вошло в обычай читать лишь такую прозу, которая под силу всякому. На подобный манер он изучил всех приехавших актеров, понял, каковы они есть, какими могут стать, и про себя решил сразу же воспользоваться их талантами на случай грозящего его труппе переворота. До поры до времени он держал в тайне этот план, пожатием плеч отклоняя все ходатайства Вильгельма, пока не счел, что приспел срок, и огорошил нашего друга предложением самому поступить к нему в труппу, обещая на этом условии принять и остальных.

— Значит, не такие уж они бездарности, какими вы до сих пор их изображали, если можно вдруг ангажировать всех разом, — отвечал

Вильгельм, — а таланты их, полагаю, не померкнут и без меня.

На это Зерло под строгим секретом открыл ему, как обстоят дела: первый любовник думает при возобновлении контракта требовать прибавки, а он вовсе не намерен соглашаться, так как любовь публики к этому актеру заметно поостыла.

Если же он уволится, все его приспешники последуют за ним, вследствие чего труппа потеряет ряд хороших, но и ряд посредственных актеров. Затем Зерло признался Вильгельму, какое приобретение рассчитывает получить в лице его самого, Лаэрта, старого ворчуна и даже мадам Мелина. Мало того, он сулил бедному педанту громкий успех в ролях евреев, министров и вообще всяческих злодеев.

Озадаченный Вильгельм не без тревоги выслушал эту декларацию и, лишь бы что-то сказать, заметил, переведя дух:

— Вы весьма дружелюбно говорите только о том хорошем, что видите в нас и чего от нас ожидаете; а как же обстоит дело с нашими слабыми сторонами, разумеется, не ускользнувшими от вашей проницательности?

— Их мы через старание, упражнение и размышление не замедлим обратить в сильные стороны, — отвечал Зерло. — Все вы дикари и невежды, но среди вас нет никого, кто не подавал бы больше или меньше надежд; насколько я могу судить, дубин среди вас нет, а неисправимы одни лишь дубины, все равно неподатливы и несговорчивы ли они от самомнения, тупоумия или ипохондрии.

После этого Зерло кратко изложил условия, которые может и хочет предложить, попросил Вильгельма не медлить с решением и оставил его в немалой тревоге.

Занимаясь вместе с Лаэртом своеобразной и как бы в шутку предпринятой работой над вымышленными путевыми заметками, он внимательнее, чем прежде, стал приглядываться к положению дел и к повседневной жизни в реальном мире. Лишь теперь уразумел он, с какой целью отец так настойчиво рекомендовал ему вести дневник. Впервые почувствовал он, как приятно и полезно стать посредником между разнообразными промыслами и потребностями и содействовать распространению жизни и деятельности вплоть до самых дальних гор и лесов нашей земли. Неугомонный Лаэрт всюду таскал его с собой, и оживленный торговый город, где он теперь жил, явил ему наглядный пример огромного средоточия, откуда все исходит и куда все возвращается; и тут впервые созерцание такого рода деятельности по-настоящему покорило его ум. В подобном состоянии духа застигло его предложение Зерло всколыхнуло в нем прежнее желание, тяготение, веру в свой прирожденный талант и чувство долга перед беспомощной труппой.

«Вот я и снова очутился на распутье между двумя женщинами, что явились мне в годы юности, — думал он. — Одна из них не так уж, как прежде, жалка на вид, а другая не так горделива. Внутренний зов влечет тебя следовать и за той и за другой, и внешние побуждения одинаково сильны с обеих сторон; и, кажется, нет возможности сделать выбор; ты мечтаешь, чтобы толчок извне дал перевес тому или другому решению, однако, пристально допросив себя, ты поймешь, что тяга к промыслу, приобретению и владению внушена тебе чисто внешними причинами, а глубокое внутреннее влечение к добру и красоте порождает и питает жажду развивать и совершенствовать заложенные в тебе задатки, равно телесные и духовные. И как же не благословлять мне судьбу, которая без моего участия привела меня сюда, к цели всех моих желаний? Разве все, что я когда-то замыслил и предначертал себе, не осуществляется сейчас случайно, помимо меня? Ведь этому поверить трудно! Казалось бы, что человеку ближе, чем его надежды и упования, взлелеянные и хранимые им в сердце, и вот, когда они идут ему навстречу, можно сказать, навязываются ему, — он не узнает их, отшатывается от них. Все, о чем я мог лишь грезить с той злосчастной ночи, что разлучила меня с Марианой, стоит передо мной, само предлагает мне себя. Сюда стремился я бежать и был заботливо сюда приведен; я стремился попасть к Зерло, а он теперь заискивает во мне и предлагает условия, о которых я как новичок не смел и думать. Неужто лишь любовь к Мариане связала меня с театром? А может быть, любовь к театру соединила меня с Марианой? Был ли театр как выбор, как выход желанной находкой для безалаберного, беспокойного человека, которому хотелось продолжать жизнь, неприемлемую для бюргерского уклада, или все это было иначе, чище, достойнее? И что могло побудить тебя отступить от тогдашних убеждений? До сих пор ты как будто сам бессознательно следовал намеченному плану. Разве этот решительный шаг недостоин тем большей похвалы, что у тебя нет никаких побочных соображений и ты вместе с тем сдержишь торжественно данное слово, столь благородным образом сняв с себя тяжкую вину?»

Все, что будоражило его душу и воображение, теперь стремительно сменялось одно другим. Возможность оставить при себе Миньону и не изгонять арфиста давала немалый перевес на чаше весов, и все же весы не переставали еще колебаться, когда он, по заведенному обычаю, отправился навестить свою приятельницу Аврелию.

## ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Она лежала на софе и с виду была спокойна.

— Вы надеетесь, что будете в силах играть завтра? — спросил он.

— Конечно, — живо подхватила она. — Вы ведь знаете, тут мне ничто помешать не может. Только бы я нашла способ отвести от себя одобрение партера; намерения у них самые лучшие, но они еще доконают меня этим! Третьего дня я думала, сердце у меня разорвется! Обычно я ничего не имела против, если сама нравилась себе; когда я долго готовилась и учила роль, мне было приятно, если со всех концов слышалось желанное подтверждение, что роль удалась. Теперь я говорю не то, что хочу, и не так, как хочу; увлекшись, не помню себя, и моя игра производит гораздо больше впечатления. Рукоплескания нарастают, а я думаю: «Знали бы вы, чем восхищаетесь! Вас трогают, вас поражают эти мрачные, страстные, непонятные звуки, вы не чувствуете, что это скорбные стоны той несчастливцы, которую вы одарили своим благоволением».

Нынче с утра я учила роль, а сейчас повторяла и репетировала. Я утомлена, разбита, а завтра все начнется сызнова. Завтра вечером должен быть спектакль. Так вот я и влачу свою жизнь; мне скучно вставать и противно ложиться. Все во мне нескончаемо вращается по кругу. То передо мной встают жалкие утешения, то я отбрасываю и кляню их. Я не хочу покоряться, покоряться неизбежности, — почему должно быть неизбежным то, что сводит меня в могилу? Разве не могло быть по-иному? Я расплачиваюсь за то, что родилась немкой; в натуре немцев все отягощать для себя и собой отягощать все.

— Ах, друг мой! — прервал ее Вильгельм. — Простаньте сами оттачивать кинжал, который непрерывно раните себя! Неужто ничего вам не осталось? И ничего не стоит ваша молодость, наружность, ваше здоровье, ваши таланты? Если вы не по собственной вине потеряли что-то из своего Достояния, зачем же бросать вслед все остальное? Кому это нужно?

Она помолчала, потом встрепенулась:

— Я знаю, это пустая забава! Любовь — всего лишь пустая забава! Чего только я не могла и не должна была свершить! И все разлетелось прахом! Я несчастное влюбленное создание, влюбленное, только и всего! Пожалейте же меня, видит бог, какое я несчастное создание!

Она задумалась и после краткой паузы заговорила с жаром:

— Вы привыкли, чтобы все висли у вас на шее. Нет, вам этого не постичь. Ни один мужчина не способен постичь, чего стоит женщина, умеющая себя уважать. Всеми ангелами небесными, всеми образами блаженства, создаваемыми чистым, незлобивым сердцем, могу поклясться, что пет ничего возвышеннее женщины, всецело предающейся любимому человеку! Мы холодны, горды, неприступны, чисты, умны, когда заслуживаем зваться женщинами, и все эти достоинства складываем к вашим ногам, как только полюбим, как только понадеемся добиться ответной любви. Как сознательно и стремительно отреклась я от всего своего бытия! Ныне же я хочу предаться отчаянию, умышленно предаться отчаянию. Пусть будет наказана каждая капля моей крови, пусть ни одна жилка не уйдет от мучительства. Усмехайтесь же, смейтесь над таким театральным накалом страстей!

Но наш друг далек был от смеха. Слишком тягостно было ему ужасное, наполовину естественное, наполовину вымученное состояние приятельницы. Он на себе ощущал всю пытку такого страшного напряжения, мозг его был потрясен, кровь лихорадочно бурлила.

Аврелия встала и ходила взад и вперед по комнате.

— Я все доказываю себе, почему не должна его любить. Я отлично знаю, что он недостоин любви. Я отвлекаюсь мыслями на то, на другое, стараюсь, сколько возможно, занять себя чем-нибудь. Иногда берусь разучивать роль, которую мне даже не придется играть; твержу от начала до конца известные старые роли, все глубже и глубже вникаю в подробности, все твержу и твержу, — друг, задушевный мой друг, что за страшный труд насильственно отрывать от себя самой! Разум мой изнемогает, мозг напряжен до крайности, и, спасаясь от безумия, я снова уступаю сознанию, что люблю его. Да, я люблю, люблю его! — заливаясь слезами, вскричала она. — Люблю и с этим умру!

Он схватил ее руку и настойчиво просил не терзать себя.

— Увы, — говорил он, — какая бессмыслица, что человеку недоступно не только многое невозможное, но и многое возможное. Вам не суждено было найти преданную душу, которая вполне составила бы ваше счастье. Мне же было суждено связать все блаженство моей жизни с несчастной, которую я гнетом моей верности, точно тростинку, пригнул к земле, а может статься, и сломил.

Он успел поверить Аврелии историю своих отношений с Марианой и потому мог сослаться на нее. Пристально глядя ему в глаза, она спросила:

— Можете вы утверждать, что ни разу не пытались обмануть женщину беспечным волокитством, кощунственными клятвами, завлекательными уверениями не домогались ее милостей?

— Да, могу, — отвечал Вильгельм, — и притом без бахвальства, ибо жизнь моя была проста и мне редко представлялся соблазн кого-то соблазнить. И каким же предостережением явилось для меня то прискорбное состояние, до какого были доведены вы, мой прекрасный, мой благородный друг! Возьмите с меня зарок, в полной мере созвучный моему сердцу, через сострадание к вам обретший форму и выражение и освященный настоящей минутой: всякому мимолетному увлечению буду я противостоять впредь и даже самое глубокое чувство скрою в своей душе — признания в любви не услышит ни одна женщина из моих уст, если я не в силах буду отдать ей всю мою жизнь.

Она смотрела на него тупым, ужасающе безразличным взглядом, а когда он протянул ей руку, отпрянула на несколько шагов.

— Чему это поможет! — воскликнула она. — Женской слезой больше или меньше, от этого море полнее не станет. И все же, — продолжала она, — спасти одну из многих тысяч не так уж плохо, найти среди многих тысяч одного порядочного и вовсе хорошо! А вы понимаете, что обещали?

— Да, понимаю, — улыбаясь, промолвил Вильгельм и снова протянул руку.

— Что ж, принимаю, — промолвила она и сделала движение правой рукой; он решил было, что она подала ему руку; но она торопливо сунула ее в карман, с быстротой молнии выхватила оттуда кинжал и заостренным лезвием полоснула его по руке. Он отдернул руку, но кровь уже hq- текла.

— Вас, мужчин, нужно метить побольнее, чтобы вы почувствовали! — выкрикнула она с диким торжеством, которое тут же сменилось лихорадочной суетливостью. Она обмотала его руку носовым платком, чтобы остановить простую пившую кровь.

— Простите меня, одержимую, — вскричала она, — не жалейте об этих каплях крови! Я смирилась, я снова стала сама собой. На коленях буду я молить, чтобы вы меня простили, дайте мне в утешение исцелить вас.

Она бросилась к шкафу, достала холст и какие-то инструменты, остановила кровь и тщательно осмотрела рану. Порез шел через мякоть ладони, под большим пальцем и, пересекая линию жизни, оканчивался у мизинца. Она перевязала ранку молча, с какой-то сосредоточенной значительностью, уйдя в себя.

Он несколько раз спрашивал:

— Дорогая! Как могли вы поранить своего друга?

— Молчите, — отвечала она, приложив палец к губам, — молчите!

## КНИГА ПЯТАЯ

### ГЛАВА ПЕРВАЯ

Так у Вильгельма к двум едва залеченным ранам прибавилась третья, порядком его стеснявшая. Аврелия не позволяла ему прибегнуть к помощи хирурга, сама делала перевязки, уснащая свои труды фантастическими речами, церемониями и сентенциями, чем ставила его в крайне тягостное положение. Впрочем, не он один, а все окружающие страдали от ее нервозности и странностей; а всех более маленький Феликс. Живому ребенку невтерпех был подобный гнет, и чем чаще она его журила и одергивала, тем строптивее он становился. Мальчику были свойственны такие прихоти, на которые принято смотреть как на капризы, и она их не спускала ему. Так, он предпочитал пить не из стакана, а из бутылки, а кушанья явно казались ему вкуснее с блюда, чем из тарелки. Такое неприличие ему никак не прощали, а ежели он оставлял дверь открытой или громко хлопал ею, ежели, получив приказание, он либо не двигался с места, либо стремглав бросался прочь, то выслушивал длинную рацею, но не видно было, чтобы это способствовало его исправлению. А любовь к Аврелии заметно убывала с каждым днем; когда он называл ее мамой, в голосе его не слышалось нежности, зато он был страстно привязан к старухе няньке, которая, правда, потворствовала ему во всем.

Но старуха с некоторых пор так расхворалась, что пришлось перевезти ее из дому в более спокойное жилище, и Феликс оказался бы совсем один, если бы Миньона не явилась для него ласковым ангелом-хранителем. Дети превосходно ладили друг с другом; она учила его песенкам, а у него была отличная память, и он охотно повторял их, на удивление слушателям. Пыталась она растолковать ему и ландкарты, которыми сама по-прежнему увлекалась, однако избрала не самую удачную методу. В каждой стране ее по — пастоящему занимало лишь одно — тепло ли там или холодно. Зато она прекрасно умела рассказать о полюсах, какие там страшные льды, а чем дальше от них, тем становится теплее. Если кто-нибудь отправлялся путешествовать, она спрашивала только, куда он едет — на север или на юг, и старалась проследить его путь по своим маленьким картам. Особливо настораживалась она, когда о путешествии заговаривал Вильгельм, и огорчалась, если разговор переходил на другую материю. Насколько упорно отказывалась она сыграть какую-нибудь роль или хотя бы пойти на представление в театр, настолько охотно и прилежно заучивала наизусть оды и песни и всех приводила в изумление, когда неожиданно, словно бы экспромтом, начинала декламировать стихи, главным образом серьезного, возвышенного содержания.

Зерло, по своей привычке подмечать малейший признак зарождающегося дарования, всячески поощрял ее; но более всего одобрял он ее приятное, разнообразное, порой даже песелое пение; тем же искусством расположил его к себе и старик арфист.

Сам Зерло не имел способностей к музыке, не играл ни на одном инструменте, но музыку ценил высоко и как можно чаще старался доставить себе наслаждение ею, не сравнимое ни с каким другим. Раз в неделю он устраивал у себя концерт, теперь же Миньона, арфист, а также Лаэрт, недурно игравший на скрипке, составили для него небольшую, но превосходную домашнюю капеллу.

Он любил повторять: «Человека так тянет к пошлости, ум и чувства так легко становятся тупы к восприятию прекрасного и совершенного, что надо всячески оберегать в себе эту восприимчивость. Никто не может совсем обойтись без такого наслаждения, и только непривычка наслаждаться чем-то по-настоящему хорошим — причиной тому, что многие люди находят вкус в самой вульгарной чепухе, лишь бы она была внове. Надо бы, — говорил он, — каждый день послушать хоть одну песенку, прочесть хорошее стихотворение, посмотреть талантливую картину и, если возможно, высказать несколько умных мыслей».

При таком умонастроении, до известной степени присущем Зерло от природы, окружающие его проводили время не без удовольствия. Посреди столь приятного образа жизни Вильгельму однажды принесли письмо, запечатанное черным сургучом. Вернерова печать предвещала печальное известие, и друг наш был потрясен, узнав из короткого сообщения о смерти своего отца. Скончался отец после внезапной недолгой болезни, оставив домашние свои дела в образцовом порядке.

Нежданная весть до глубины души поразила Вильгельма. Всем сердцем осознал он, с каким холодным небрежением относимся мы часто к друзьям и родным, покуда они вместе с нами пребывают на земле, и каемся в своем упущении, когда блаженному этому состоянию на сей раз приходит конец. Единственное, что смягчало боль от безвременной кончины столь достойного человека, — это сознание, как он мало что в мире любил и как мало чем наслаждался.

Вскоре Вильгельм обратился мыслями к своим собственным делам и встревожился не на шутку. Хуже нет, как если внешние обстоятельства вносят коренные перемены в положение человека, когда он мыслями и чувствами не подготовился к ним. Тут возникает как бы эпоха без эпохи, разлад становится тем сильнее, чем меньше человек сознает, что он не дорос до нового положения.

Вильгельм почувствовал себя свободным в такой период, когда не успел еще прийти к согласию с самим собой. Помыслы его были благородны, цели ясны, а в намерениях, казалось бы, не было ничего предосудительного. Все это он признавал за собой с известной долей уверенности; однако у него не раз был случай убедиться, что ему недостает опыта, а потому он придавал непомерную цену опыту других людей и выводам, которые они безоговорочно отсюда извлекали, и тем самым терялся окончательно. То, чего ему не доставало, он надеялся в первую очередь обрести, запомнив и собрав все примечательное, что встретится ему в книгах или в раз\*» говорах. Поэтому он записывал чужие и свои мнения и мысли и даже целые разговоры, вызвавшие у него интерес, и на такой манер, к сожалению, держал в памяти ложь наравне с правдой, слишком долго носился с одной мыслью, вернее сказать, с одной сентенцией, забывая думать и действовать самостоятельно, следуя за светом чужих идей, как за путеводной звездой.

Ожесточенность Лврелни и холодное презрение к людям друга его Лаэрта чаще, чем следовало, воздействовали на его суждения. Однако всех опасней оказался для него Зерло\* человек, своим светлым умом справедливо и строго судивший современность, но

страдавший тем недостатком, что отдельным суждениям он придавал обобщающий характер, тогда как приговоры разума действительны лишь единожды и притом лишь в определенном случае, становясь неправильными при попытке применить их к следующему случаю.

Так, стараясь прийти к согласию с самим собой, Вильгельм все больше отдалялся от спасительного согласования чувств и мыслей, а при такой растерянности страстям его было легче обратиться в свою пользу все прежние планы, так что он окончательно потерялся, не зная, как ему быть.

Скорбная весть оказалась на руку Зерло? тем более что с каждым днем у него все прибавлялось причин для преобразования его театра. Ему надо было либо возобновить старые контракты, к чему он не очень стремился, так как многие участники труппы, считавшие себя незаменимыми, день ото дня становились нестерпимее; либо ему надо было придать труппе совсем новый облик, что отвечало и его желанию.

Воздерживаясь самому уговаривать Вильгельма, он подстрекал Аврелию и Филину; остальные собратья, жаждавшие ангажемента, в свой черед, не давали покоя нашему другу, так что он, в изрядном смущении, оказался на перепутье. Кто бы подумал, что следующее Вернерово письмо, написанное с противоположным умыслом, натолкнет его на окончательное решение. Мы опускаем вступительную часть и приводим письмо в несколько измененном виде,

## ГЛАВА ВТОРАЯ

«...Так оно было и так, видно, быть должно, чтобы любой человек в любых обстоятельствах занимался своим делом и поступал, как ему свойственно. Уже через четверть часа после того, как славный старик испустил дух, все в доме пошло наперекор заведенным им порядкам. Отовсюду стекались друзья, знакомые и родные, особенно же люди того сорта, которые находят чем поживиться при подобных обстоятельствах. Что-то приносили, уносили, платили, записывали и подсчитывали; одни подавали вино и пироги, другие пили и ели; но никого не видел я озабоченнее женщин, запятые выбором траурного платья.

А посему не сердись на меня, дорогой мой, если и я в Этих обстоятельствах подумал о своей пользе, постарался по мере сил быть поддержкой и помощью твоей сестре и, как только позволили приличия, дал ей понять, что впредь в нашей воле ускорить союз с которым отцы наши от чрезмерной педантичности медлили без конца.

Только не подумай, что мы замыслили занять больше и опустевший дом. Нет, у нас достало ума и скромности; послушай, что мы решили. Сейчас же после свадьбы твоя сестра переселится к нам, и даже матушка твоя поедет с нею.

«Да мыслимо ли это? — возразишь ты. — Вам самим тесно в вашей лачуге!» В этом-то все искусство, дружок! Нет ничего невозможного при умелом устройстве, и ты не поверишь, сколько находишь места, когда не требуешь простора. Большой дом мы продадим, к чему уже представляется подходящая okazия; а вырученные деньги дадут стократные барыши.

Надеюсь, ты не будешь возражать, и я только порадуюсь, если ты не унаследовал отцовых и дедовых бездоходных увлечений. Для деда высшим блаженством было обладание множеством невзрачных произведений искусства, которыми никто, смею утверждать — никто, не мог насладиться вместе с ним; отец жил среди роскошной обстановки, которой он никому не давал насладиться. Мы хотим все это изменить, и я надеюсь на твое согласие.

Правда, для меня самого в целом доме не найдется местечка, кроме как за конторкой, и я покамест не вижу, где в будущем уместится колыбель; зато тем больше простора вне дома. Кофейни и клубы для мужа, прогулки и катания для жены и прекрасные загородные увеселительные места для обоих. А самое большое преимущество я вижу в том, что за нашим круглым столом негде будет поместиться отцовым приятелям, которые тем небрежительнее о нем отзываются, чем усерднее он потчует их.

Не надо ничего лишнего в доме! Поменьше мебели и посуды, не надо карет и лошадей. Ничего, кроме денег, а тогда разумно проводи каждый день, как тебе заблагорассудится. Не надо лишнего гардероба, всегда ходи в самом новом и хорошем: пускай муж выкидывает сюртук, а жена продает платье, едва оно хоть чуточку выйдет из моды. Ничего нет для меня несноснее, чем хранение старого тряпья. Подари мне кто драгоценнейший из камней с условием носить его каждый день, я бы не принял подарка; какая может быть радость от мертвого капитала? Итак, вот тебе мой шуточный символ веры: дела свои справляй, деньги добывай, с домашними веселись, а с прочим миром не водись, разве только пользу из него извлекай.

Но ты спросишь: «Как же это в ваш отменный план не включен я? Куда мне деваться, если вы продадите мой отчий дом, а в вашем не найдется свободного уголка?» Это» конечно, братец мой, главный вопрос. И тут я приду тебе на помощь, сперва достоительно похвалив тебя за столь полезительную трату времени.

Скажи, как ты ухитрился всего за несколько недель приобрести столько нужных и важных сведений? Хотя я знаю тебя как обладателя многих дарований, однако же такой наблюдательности и такого прилежания я в тебе не предполагал. Твой дневник показал нам, какую пользу извлек ты из путешествия: описание железных и медеплавильных заводов сделано превосходно и свидетельствует о глубоком изучении дела. В свое время я тоже посещал их, но моя реплика сильно проигрывает при сравнении. Все письмо о полотняной мануфактуре весьма поучительно, а соображение о конкуренции метит прямо в цель. Кое-где ты допустил ошибки в подсчете, впрочем, вполне извинительные.

Но превыше всего меня и моего отца радуют твои основательные познания в управлении земельными угодьями, а главное, в усовершенствовании оных. У нас на примете большое поместье, которое расположено в очень плодородной местности и находится под секвестром. На уплату за него мы употреби» деньги, вырученные с продажи твоего родительского дома, остальное частью возьмем в долг, частью отсрочим платеж; мы рассчитываем, что ты переселишься туда и займешься нужными усовершенствованиями, дабы поместье за несколько лет повысилось в цене по меньшей мере на треть; тогда мы его сменяем на другое, побольше; оно, в свой черед, будет усовершенствовано и продано, и для всего этого ты самый подходящий человек. А тем временем и мы здесь не собираемся сидеть праздно, так что вскоре нашему положению можно будет позавидовать.

Пока что прощай! Пользуйся в своих странствиях всеми радостями жизни и отправляйся, куда найдешь для себя приятней и полезней. На первые полгода мы обойдемся без тебя, так что можешь в свое удовольствие повидать белый свет, ибо лучше образования, чем в путешествии, толковому человеку не найти. Прощай! Я рад, что, породнившись так близко, мы с тобой отныне сблизились и по роду деятельности».

Как ни складно было написано это послание и сколько Экономической премудрости ни содержалось в нем, Вильгельму оно не понравилось по ряду причин. Похвалы его мнимым статистическим, технологическим и агрономическим познаниям явились для него скрытой укоризной, а нарисованный затем идеал бюргерского благополучия отнюдь не соблазнял его; даже наоборот, тайный дух противоречия неудержимо увлекал его в противную сторону. Он убедился, что лишь на театре может завершить то образование, какого для себя желал, и, казалось, тем тверже укреплялся в своем решении, чем более явным противником становился ему Вернер.

Собрав воедино все свои доводы, он тем крепче утверждался в своем намерении, чем больше видел оснований выставить это намерение перед умным Вернером в самом благоприятном свете, следствием чего явился ответ, который мы также помещаем здесь.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

«Письмо твое так хорошо написано, так рассудительно, так продумано, что прибавить к нему нечего. Однако не посетуй на меня, если я скажу, что, думая, утверждая и делая обратное, можно тоже оказаться правым. Твой образ жизни и мыслей направлен на неограниченное обогащение и на пустые забавы и радости, и вряд ли стоит тебе говорить, что для меня в этом нет ничего соблазнительного.

Прежде всего я, увы, должен тебе признаться, что желание угодить отцу вынудило меня с помощью приятеля заполнить мой дневник выписками из различных книжек, и хотя то, что в нем написано, и еще многое другое мне известно, однако ни в коей мере не понятно и не привлекательно как занятие. Что проку мне фабриковать хорошее железо, когда собственная моя душа полна шлака? Что проку приводить; в порядок земельное угодье, когда сам я не в ладу с собой?

Скажу тебе без дальних слов: достичь полного развития самого себя, такого, каков я есть, — вот что с юных лет было моей смутной мечтой, моей целью. Я по-прежнему стремлюсь к тому же, только что способы осуществления этой цели стали мне несколько яснее. Я больше, чем ты полагаешь, повидал свет и лучше воспользовался своим с ним знакомством. А посему удели должное внимание моим словам, пускай даже они не вполне придутся тебе по нутру.

Будь я дворянин, спор наш быстро бы разрешился, но раз я всего лишь бюргер, мне надо избрать свой собственный путь, пойми ты меня. Не знаю, как в других странах, но в Германии только дворянину доступно некое всестороннее, я сказал бы, всецело личное развитие. Бюргер может приобрести заслуги и в лучшем случае образовать свой ум; но личность свою он утрачивает, как бы он ни исхищрялся. Дворянину, поскольку он общается со знатнейшими вельможами, вменено в обязанность самому усвоить вельможные манеры, а так как перед ним распахнуты все двери, манеры эти входят у него в плоть и кровь, а так как осанка и вся его персона отличаются его при дворе и в армии, то не мудрено, что он кичится ими и не скрывает этого. Своего рода величавая грация в обыденных делах, беспечное изящество в делах серьезных и важных вполне пристали ему, показывая, что он нигде и никогда не теряет равновесия. Он — лицо общественное, и чем лучше выработаны его жесты, чем звучнее голос, чем ровнее и рассчитаннее все его поведение, тем совершеннее он сам. Если же он одинаков с высшими и с низшими, с друзьями и родными, то упрекнуть его не в чем и желать, чтобы он был другим, не приходится. Пускай он холоден, зато рассудителен; пускай неискрен, зато умен. Раз в любую минуту жизни он способен владеть собой, значит, больше от него нечего и требовать, а все прочие способности, талант, богатство только лишь добавления.

Теперь вообрази себе бюргера, который посмел бы хоть отчасти претендовать на подобные преимущества; он всенепременно потерпит неудачу и будет тем несчастнее, чем больше оснований и тяготения к такого рода отличиям заложено в его натуре.

Если дворянин в обыденной жизни не знает себе преград, если из него можно сделать государя или фигуру государеподобную, то он повсюду со спокойной уверенностью может предстать перед теми, кто равен ему, он может повсюду выдвигаться вперед, меж тем как бюргеру более всего приличествует ясное и молчаливое сознание поставленных ему пределов. Он не смеет спрашивать: «Кто ты есть?» — только: «Что У тебя есть? Какие знания, какие способности, велико ли твоё состояние?» Дворянин лично, своей персоной, являет все, бюргер же своей личностью не являет и не должен являть ничего. Первый может и должен чем-то казаться, второй должен только быть, а то, чем он хочет казаться, получается смешным и пошлым. Первый должен вершить и действовать, второй — выполнять и производить; дабы стать па что-то годным, он должен развивать в себе отдельные способности, и уже заранее предreshено, что в самом его существе нет и не может быть гармонии, ибо, желая стать годным па что-то одно, он вынужден пожертвовать всем остальным.

Виной в этом разделении не гордыня дворян и не покорство бюргеров, а единственно лишь общественный строй; для меня не так уж важно, что и когда может тут измениться; при настоящем положении вещей мне впору подумать о себе, о том, как спасти себя и достичь того, что для меня — неистребимая потребность.

А влечет меня, непреодолимо влечет именно к тому гармоническому развитию природных моих свойств, в котором мне отказано рождением. После того как мы с тобой расстались, я немало добился путем телесных упражнений, в значительной степени поборол свою обычную застенчивость и умею держать себя с достаточным достоинством. Точно так же усовершенствовал я свой голос и свою речь и могу, не хвалясь, сказать, что встречаю одобрение в обществе. И, наконец, не стану скрывать, что во мне день ото дня становится непреодолимо желание быть лицом общественным, действовать и преуспевать на широком поприще. Сюда относится тяготение мое к стихотворству и ко всему, с ним связанному, а также потребность развить свой ум и вкус, дабы, наслаждаясь тем, без чего я не могу обойтись, мало-помалу научиться находить хорошим лишь по-настоящему хорошее и прекрасным — по-настоящему прекрасное. Теперь ты видишь, что обрести все это для меня возможно только на театре и что единственно в этой стихии дано мне свободно вращаться и развиваться. На подмостках человек образованный — такая же полноценная личность, как и представитель высшего класса; дух и тело при всяком труде должны идти нога в ногу, и здесь я так же могу и быть и казаться, как в любом другом месте.

Если же мне захочется добавочных заятий, так на театре достанет мытарств чисто технического свойства, чтобы упражнять свое

терпение изо дня в день.

Не пытайся спорить со мной, — прежде чем ты успеешь мне написать, решительный шаг будет сделан. По причине господствующих предрассудков я намерен изменить имя, мне и без того неловко, что прозванием своим я будто напрашиваюсь в мастера. Прощай. Имущество наше в столь надежных руках, что я о нем не беспокоюсь; если что мне понадобится, я спрошу у тебя; это будет немного, ибо я надеюсь, что искусство способно и прокормить меня».

Едва отослав письмо, Вильгельм поспешил сдержать слово и, к великому изумлению Зерло и остальных, сразу объявил, что посвящает себя театру и готов заключить контракт на самых скромных условиях. Столковались они быстро, потому что Зе^0 Уже ранее предложил такие условия, которые вполне могли удовлетворить и Вильгельма и остальных. Вся незадачливая труппа, коей мы так долго занимались, была принята сразу, причем из актеров никто, кроме Лаэрта, не счел нужным поблагодарить Вильгельма. Что они потребовали без доверия, то и приняли без благодарности. В большинстве своем они предпочитали приписать ангажемент Филине и благодарственные речи адресовали ей. Тем временем составленные контракты были подписаны, и по неисповедимому ходу мыслей, когда Вильгельм расписывался своим вымышленным именем, в его воображении встала лесная поляна, где он, раненный, лежал на руках у Филины. Верхом на белом коне из кустов выехала пленительная амазонка и, приблизившись, спрыгнула с седла. В сердобольных заботах о нем ходила она то туда, то сюда и наконец остановилась перед ним, одеяда упала у нее с плеч; от ее лица, от всего облика пошло сияние, и она исчезла. Под конец он поставил свое имя чисто автоматически, не сознавая, что делает, и, лишь подписавшись, почувствовал, что возле него стоит Миньона, держит его руку и осторожно пытается отвести ее.

#### ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Одно из условий, на которых Вильгельм соглашался поступить в театр, было со стороны Зерло принято с некоторыми оговорками. Вильгельм требовал, чтобы «Гамлет» был поставлен целиком, без купюр, а Зерло соглашался на столь немислимое требование лишь в тех пределах, в каких оно будет выполнимо. Об этом они и прежде неоднократно спорили, ибо на предмет того, что выполнимо или невыполнимо, что можно изъять из пьесы, не нарушая ее цельности, — мнения их в корне расходились.

Вильгельм переживал еще ту счастливую пору, когда мы не допускаем, чтобы у любимой девушки и у почитаемого писателя мог быть хоть малейший изъян. Наше восприятие их существа так цельно, так согласно с самим собой, что и в них мы предполагаем такую же совершенную гармонию. А Зерло разобцал слишком охотно и, пожалуй, слишком многое; острым умом своим он обычно видел в произведении искусства лишь более или менее несовершенное целое. Он считал, что с пьесами в их первоначальном виде нет причин обходиться очень уж бережно, а значит, и Шекспиру, особливо «Гамлету», надлежит претерпеть немало изменений.

Вильгельм даже слышать не желал, когда Зерло говорил, что нужно отделять пшеницу от плевел.

— Да это вовсе не мешанина из пшеницы и плевел, — восклицал он, — это ствол, ветви, сучья, листья, почки, цветы и плоды. Разве не едино одно с другим, не выходит одно из другого?

Зерло твердил, что всего ствола не приносят на стол; художник должен подавать своим гостям золотые яблоки в серебряных чашах.[41] Так они изощрялись в уподоблениях, и, казалось, взгляды их расходятся все более.

Наш друг чуть не впал в отчаяние, когда Зерло после долгого спора предложил ему простое средство: не мешкая взяться за перо, вычеркнуть из трагедии то, что никак не может и не должно идти, и соединить несколько действующих лиц в одно, а если у него еще нет навыка в такой работе или не лежит к ней душа, пусть предоставит все дело ему, Зерло, он медлить не будет.

— Это нарушает наш договор, — возразил Вильгельм, — как можете вы, обладая таким вкусом, поступать столь легкомысленно?

— Друг мой! — воскликнул Зерло. — Вы тоже придете к Этому! Уж я ли не знаю всю гнусность подобной методы, которая, пожалуй, еще не практиковалась ни в одном театре мира. Но сыщется ли второй такой обездоленный, как наш театр? Драматурги вынуждают нас столь омерзительно калечить пьесы, а публика мирволит нам. Много ли найдется у нас таких произведений, которые не превышали бы возможного количества персонажей, декораций, театральной механики, длительности действия и диалогов, а также физических сил актера? А между тем нам надо играть, играть, играть все наново! Как же не воспользоваться нашим преимуществом, когда и с искромсанными пьесами мы достигаем того же эффекта, что и с целыми? Сама публика дает нам это преимущество! Мало кто среди немцев, да, возможно, и среди представителей всех молодых наций, умеет ценить эстетическую цельность. Они хвалят и бранят лишь отдельные места, восторгаются отдельными местами; и кому от этого лучше, как пе актеру, поскольку театр все равно остается чем-то сборным и составным!

— Остается! — подхватил Вильгельм. — Но почему он и впредь должен быть таким, почему все должно быть таким, как оно есть? Не убеждайте меня в своей правоте — никакая сила на земле не принудит меня выполнять контракт, который я заключил, будучи введен в грубейшее заблуждение.

Зерло придал разговору шуточный оборот, попросив Вильгельма еще раз продумать их многократные беседы о «Гамлете» и самому измыслить способы успешной обработки.

Проведя несколько дней в одиночестве, Вильгельм вернулся сияющий.

— Вряд ли я ошибусь, сказав, что нашел выход из положения! — заявил он. — Да, я убежден, что Шекспир и сам сделал бы то же, если бы его гений был всецело сосредоточен на главном и если бы его не сбивали с верного пути новеллы, по которым он работал.

— Давайте послушаем, — произнес Зерло, с важным видом усаживаясь на софу, — слушать я буду спокойно, но тем строже буду судить.

— Меня не запугаете, — возразил Вильгельм, — только выслушайте. Тщательнейше изучив и глубоко продумав эту трагедию, я различаю в ее композиции две стороны. Во-первых, это сильнейшее внутреннее взаимодействие людей и событий, сокрушительные последствия,

вытекающие из характеров и поступков главных героев, а каждый из них в отдельности великолепен, и последовательность, в какой они выведены, безупречна. Нельзя калечить или извращать их какой — либо обработкой. Они таковы, что всем хочется их видеть, до них никто не смеет дотронуться, они проникают глубоко в душу и, как я слышал, почти все были показаны на немецкой сцене. Погрешность, как мне кажется, касается второй стороны трагедии, я имею в виду внешние обстоятельства, переносящие действующих лиц с места на место или связующие их между собой чисто случайным образом; обстоятельства эти почитаются слишком незначительными и потому упоминаются лишь вскользь, а то и вовсе опускаются. Правда, это очень топкие и слабые нити, но они проходят через всю пьесу и соединяют то, что иначе бы распалось и что в самом деле распадается, если их перерезать, а оставляя от них обрывки, считают, что больше ничего и не требуется.

К этим внешним обстоятельствам я причисляю смуты в Норвегии, войну с молодым Фортинбрасом, посольство к старику дяде, улаженную распрю, поход молодого Фортинбраса в Польшу и его возвращение в конце трагедии; равно как возвращение Горацио из Виттенберга, желание Гамлета отправиться туда, путешествие Лаэрта во Францию, приезд его обратно, ссылку Гамлета в Англию, пленение его морскими разбойниками, смерть обоих царедворцев как следствие предательского письма, — всех этих обстоятельств и событий хватило бы на объемистый роман, но единству трагедии, в особенности когда у героя нет плана действий, они наносят большой ущерб, а посему в высшей степени порочны.

— Вот что мне приятно слышать от вас! — воскликнул Зерло.

— Не перебивайте меня, — ответил Вильгельм. — Вы не все найдете достойным похвал. Эти пороки подобны временным подпорам, которые нельзя снять, не подведя под здание прочную стену. Итак, я предлагаю ничего не трогать в первых больших сценах, а наоборот, по возможности сберечь их, зато все внешние, отдельные, рассеянные повсюду и рассеивающие внимание мотивы отвести разом, заменив их одним-единственным.

— Каким именно? — восторженно спросил Зерло.

— Он и так заложен в самом произведении. Я только правильно применяю его. Мотив этот — смута в Норвегии. Вот вам для ясности мой план.

После смерти отца Гамлета среди недавно покоренных норвежцев вспыхивает волнение. Тамашний наместник посылает в Данию своего сына Горацио, старинного школьного товарища Гамлета, превзошедшего сверстников в отваге и житейской мудрости, дабы он поторопил со снаряжением флота, которое при новом, преданном распутству короле подвигается крайне туго. Горацио знал старого короля, был участником последних его битв и заслужил его благоволение, таким образом первая сцена с призраком ничего не потеряет. Новый король дает Горацио тут же аудиенцию и отправляет Лаэрта в Норвегию с известием, что флот не замедлит прибыть, меж тем как Горацио получает приказ ускорить снаряжение; мать же не позволяет Гамлету, как он желал, выйти в море вместе с Горацио.

— Слава тебе господи! — воскликнул Зерло. — Таким путем мы избавляемся от Виттенберга с университетом, который всегда был для меня камнем преткновения. Я всемерно одобряю вашу мысль: тогда, кроме двух отдаленных образов — Норвегии и флота, — зрителю ничего не нужно домысливать; все остальное он видит, остальное происходит перед ним, и у него нет надобности гонять свое воображение по всему свету.

— Теперь вам ясно, как я дальше буду соединять остальное, — продолжал Вильгельм. — Когда Гамлет открывает другу злодеяние своего отчима, Горацио советует ему тоже ехать в Норвегию, заручиться там поддержкой армии и вернуться с вооруженной силой. Так как Гамлет становится слишком опасен королю и королеве, они не видят удобнее средства отделаться от него, чем отправить его во флот, приставив наблюдать за ним Розенкранца и Гильденстерна; а так как тем временем воротился Лаэрт, распаленного смертоубийственным гневом юношу собираются послать ему вдогонку. По причине противного ветра флот остается в гавани; Гамлет возвращается снова, для его блуждания по кладбищу можно найти удачную мотивировку; поединок с Лаэртом в могиле Офелии настолько важен, что обойтись без него неделимо. После этого король может решить, что лучше избавиться от Гамлета здесь, на месте; пиршество в честь его отбытия и мнимого примирения с Лаэртом обставляется весьма торжественно, с рыцарскими играми, где Гамлет и Лаэрт фехтуют между собой. Без четырех трупов я закончить не могу, никто не должен остаться в живых. Народу вновь даровано выборное право, и Гамлет, умирая, передает свой голос Горацио.

— Живо садитесь за обработку пьесы! — распорядился Зерло. — Идею вашу я одобряю всемерно, лишь бы пыл у вас не пропал.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

Вильгельм давно уже занимался переводом «Гамлета»; при этом он пользовался проникновенным Биландовым трудом, через посредство которого и познакомился первоначально с Шекспиром. Он восполнил то, что было там опущено, и, таким образом, к моменту, когда они с Зерло пришли к относительному согласию насчет обработки, у него уже имелся полный текст. Теперь, следуя своему плану, он принялся изымать и вставлять, разделять и связывать, изменять и восстанавливать; ибо, как ни был он доволен своей идеей, но, когда он взялся за ее осуществление, ему все казалось, что он только портит оригинал.

Окончив работу, он прочитал ее Зерло и прочим участникам труппы; все остались очень довольны, особенно Зерло хвалил многое.

— Вы очень верно уловили, — в частности заметил он, — что пьеса основана на внешних обстоятельствах, однако им следует быть проще, нежели их подал великий писатель. То, что происходит за пределами сцены, чего зритель не видит, что он должен себе представить, — служит как бы фоном, на котором движутся действующие лица. Простая и широкая панорама флота и Норвегии придется здесь очень кстати; если полностью убрать ее, останется чисто семейная драма и великая идея гибели целой династии через внутренние злодеяния и непотребства не будет выражена во всей своей значительности. Если же сам фон будет многообразен, подвижен и сложен, он повредит выразительности действующих лиц.

Тут Вильгельм снова встал на защиту Шекспира, доказывая, что писал он для жителей островов, для англичан, которым привычный фон



— корабли да морские странствия, побережье Франции да каперы, а нас отвлекает и сбивает с толку то, что совершенно привычно для них.

Зерло вынужден был уступить, и оба согласились в том, что раз уж пьеса идет на немецкой сцене, такой строгий и про\*стой фон всего более будет соответствовать нашему восприя\*тию.

Роли были распределены еще раньше: Полония решил играть Зерло, Офелию — Аврелия; роль Лаэрта предопределило самое его имя; живой коренастый юноша-новичок получил роль Горацио; лишь насчет короля и призрака воз\*никли затруднения. На обе роли имелся один только старый ворчун. Зерло предложил в короли педанта, против чего решительно восстал Вильгельм. Вопрос так и остался открытым.

Затем Вильгельм сохранил в пьесе роли Розенкранца и Гильденстерна.

— Почему вы не слили их в один образ? — спросил Зер-\*ло. — Такую манипуляцию произвести как нельзя легче.

— Избави меня бог от сокращений, которые уничтожают и смысл и эффект! — возразил Вильгельм. — То, что собой представляют и делают эти двое, не может быть изображено одним. В таких мелочах сказывается все величие Шекспира. Э™ тихие повадки, эта угодливость и увертливость, это поддакивание, эта ласкательность и льстивость, это проворство, это пресмыкательство, эта всегодность и ничтожество, это истовое криводушье, эта бездарность — как может все оно быть выражено одним человеком? Да на это потребовалась бы целая дюжина, если бы их нашлось столько; но они ведь проявляют себя лишь в обществе, они и есть общество, и Шекспир показал большую скромность и мудрость, выведя всего два подобных образца. Кроме того, в моей обработке требуется именно пара таких, противопоставленных одному доброму, славному Горацио.

— Я понимаю вас, и вопрос этот мы уладим, — согласился Зерло. — Одного из них будет играть Эльмира (так звалась старшая дочь ворчуна); совсем неплохо чтобы они были недурны собой, а я наших кукол разряжу и вышкролю всем на загляденье.

Филина опомниться не могла от радости, что будет играть герцогиню во вставной комедии.

— Уж я сумею поестественнее показать, — восклицала она, — что можно впопыхах выйти замуж за второго, после того как без памяти любила первого. Надеюсь, что заслужу шумный успех, и каждый мужчина пожелает стать третьим.

Аврелия досадливо морщилась на такие речи; ее неприязнь к Филине росла с каждым днем.

— Очень жаль, что у нас нет балета, — заметил Зерло, — иначе вы станцевали бы па-де-де с первым и вторым мужем; и старый уснул бы в такт танцу, а ваши ножки и коленки имели бы премилый вид на заднем плане в кукольном театре.

— О коленках моих вам мало что известно, — вызывающе отрезала она, — а что до моих ножек, — и, достав из-под стола свои туфельки, поставила их обе перед Зерло, — вот вам мои ходульки, попробуйте сыскать вторые такие миленькие.

— Дело нелегкое! — согласился он, разглядывая миниатюрные полуботиночки. В самом деле трудно было представить себе что-нибудь изящнее.

Туфли были парижской работы; Филина получила их в подарок от графини, дамы, которая славилась красивыми ножками.

— Очаровательные вещицы, — воскликнул Зерло, — у меня сердце обмирает при виде их.

— Смотрите, какая чувствительность! — промолвила Филина.

— Ничто не сравнится с парой туфелек такой тонкой, превосходной работы! — восклицал Зерло. — Но звук их еще лучше, чем вид.

— Это что значит? Ну-ка, давайте их сюда! — потребовала Филина.

— Осмелюсь сказать, — начал он с притворной скромностью и с плутовато-серьезной миной, — наш брат холостяк, проводя ночи по большей части в одиночестве, испытывает страх не меньше других людей и в темноте жаждет общества, особливо на постоянных дворах и в незнакомых подозрительных местах, — вот мы и бываем утешены, если какая — нибудь добросердечная малютка пожалеет нас и составит нам компанию. Лежишь ночью в постели, вдруг вздрогнешь, услышав шорох, дверь отворится, ты узнал милый щебечущий голосочек, что-то подкрадывается бесшумно, шуршат занавески, тук, тук! — падают туфельки, шмыг! — и ты уже не один. Ах, этот милый, ни с чем не сравнимый звук падающих на пол туфелек! Чем они миниатюрнее, тем нежнее стук. Что бы мне ни толковали о соловьях, о журчании ручья, о шелесте ветерков, обо всем, что когда-либо звучало на флейте или на органе, я стою за тук, тук! Тук, тук! — чудеснейшая тема для рондо, которое хочется слышать все вновь и вновь.

Филина взяла туфли у него из рук и заметила:

— Как же я их стоптала! Они мне слишком велики. — Затем поиграла ими, потеряла подошвами друг о дружку. — До чего же они разогрелись! — воскликнула она, приложив одну подошву к щеке, затем потеряла их опять и протянула Зерло. Он простодушно собрался пощупать, горячо ли, а она, крикнув: «Тук, тук!» — так сильно ударила его каблуком, что он с криком отдернул руку.

— Я вас научу, что надо думать, глядя на мои туфли! — смеясь, заключила Филина.

— А я научу тебя, как обманывать старых людей, точно малых ребят! — в ответ крикнул Зерло, вскочил, стиснул ее в объятиях и похитил не один поцелуй, от чего она отбивалась с виду не на шутку.

В этой возне ее длинные волосы распались, опутали их обоих, стул опрокинулся на пол, и Аврелия, до глубины души возмущенная

подобным бесчинством, в досаде встала с места.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Хотя после новой обработки «Гамлета» некоторые действующие лица отпали, тем не менее для оставшегося количества едва хватало всей труппы.

— Если так пойдет дальше, — заметил Зерло — нашему суфлеру придется вылезти из будки и присоединиться к нам в качестве действующего лица.

— Я уже не раз восхищался его мастерством, — заметил Вильгельм.

— Вряд ли найдется более образцовый подсказчик, — согласился Зерло, — ни один зритель никогда не слышит его, а мы на сцене улавливаем каждое слово. Он будто создал в себе для этого особый орган и, как добрый гений, внятными шепотом выручает нас в беде. Он угадывает, какую часть роли актер усвоил вполне, и наперед чует, когда память готова ему изменить. Бывали случаи, когда я едва успевал просмотреть роль и с успехом играл ее, при том, что он подсказывал мне все от слова до слова; однако у него есть своя странность, которая всякого другого сделала бы непригодным к делу: он так близко принимает к сердцу сюжет пьесы, что в патетических местах не то что декламирует, а читает с выражением. Эта его причуда не раз сбивала меня с толку.

— А другой своей странностью он однажды подвел меня в очень рискованном месте, — подхватила Аврелия.

— Как это возможно при его внимательности? — удивился Вильгельм.

— Некоторые места до того трогают его, что он проливает горячие слезы и на какие-то мгновения теряет власть над собой, — пояснила Аврелия, — по приводят его в такое состояние вовсе не так называемые трогательные места, а скорее, сказала бы я, места прекрасные, откуда, словно ясным открытым оком, смотрит чистый гений поэта, те места, которые разве что радуют кое-кого из нас, а тысячи других людей оставляют безразличными.

— Почему бы ему при такой чувствительности не выступить на театре?

— Хриплый голос и неуклюжие повадки делают его непригодным для сцены, а ипохондрический склад характера — непригодным для общества, — пояснил Зерло. — Сколько трудов я положил, чтобы приручить его. Но тщетно! А читает он лучше всех, кого я когда-либо слышал; никто не способен так тонко разграничить декламацию и выразительное чтение.[42]

— Придумал! — воскликнул Вильгельм. — Я придумал! Поистине счастливая находка! Это и есть актер, который прочитает нам о свирепом Пирре.[43]

— Нужно обладать вашей страстностью, чтобы все оборачивать на пользу своей идеи, — заявил Зерло.

— Ну конечно, меня очень беспокоило, что это место придется, пожалуй, опустить и тем самым искалечить всю пьесу, — пояснил Вильгельм.

— Этого мне никак не понять, — заметила Аврелия.

— Надеюсь, вы сейчас согласитесь со мной, — сказал Вильгельм. — Шекспир вводит приезжих актеров, имея в виду двойную цель. Прежде всего, тот из них, что с таким неподдельным чувством читает монолог о смерти Приама, производит глубокое впечатление на самого принца, беря совесть нерешительного юноши; таким образом, эта сцена становится прелюдией к той, в которой маленькое представление оказывает столь большое действие на короля. Гамлет посрамлен актером, который полон такого большого участия к чужим вымышленным страданиям, и в нем тотчас же зарождается мысль тем же способом испытать совесть отчима. Что за великолепный монолог заключает второй акт! С какой радостью я произнесу его: «Какой же я холоп и негодяй! // Не страшно ль, что актер приезжий этот! В фантазии, для сочиненных чувств, // Так подчинил мечте свое сознание, // Что сходит кровь со щек его, глаза // Туманят слезы, замирает голос, // И облик каждой складкой говорит, // Что он живет! А для чего в итоге? // Из-за Гекубы! // Что он Гекубе, что ему Гекуба? // А он рыдает».

— Только бы нам удалось вытащить на сцену нашего чудака, — сказала Аврелия.

— Нам нужно мало-помалу подготовить его, — ответил Зерло. — Пусть он во время репетиций читает это место, а мы скажем, что ждем актера, который это сыграет, а там посмотрим, как к нему подступиться.

После того как они столковались на этот предмет, речь зашла о призраке. Вильгельм не решался доверить педанту роль живого короля с тем, чтобы ворчун сыграл роль призрака, и предлагал пока что подождать, ведь обещались же приехать еще актеры, среди которых может оказаться подходящий человек.

Легко вообразить себе, как изумлен был Вильгельм, когда в тот же вечер нашел на своем столе адресованную ему на его театральное имя начертанную диковинным почерком записку:

«Нам ведомо, удивительный юноша, твое затруднительное положение. Ты едва находишь людей для своего «Гамлета», не говоря уже о призраках. Твое рвение достойно чуда. Чудеса мы творить не умеем, но нечто чудесное должно свершиться. Имей веру, и в урочный час явится призрак! Будь мужествен и жди спокойно. Ответа не требуется, твое решение станет нам известно».

С этой загадочной запиской он поспешил снова к Зерло, который прочел ее раз, другой и, наконец, с озабоченным видом заявил, что дело нештучное; надо как следует продумать, можно ли и надо ли пойти на риск. Они долго обсуждали это на разные лады. Аврелия

помалкивала, только усмехалась время от времени, а когда спустя несколько дней речь снова зашла о том же, дала недвусмысленно понять, что считает это одной из шуток Зерло. Она убеждала Вильгельма откинуть всякие заботы и терпеливо дожидаться призрака.

Вообще Зерло пребывал в отличнейшем расположении духа: уходящие из труппы напоследок изо всех сил старались играть получше, чтобы их отсутствие было почувствительней, а любопытство публики к новому составу тоже сулило отменные сборы.

Да и общение с Вильгельмом благоприятно сказалось на нем. Он стал больше говорить об искусстве. Ведь как-никак он был немец, а эта нация любит давать себе отчет в том, что делает. Вильгельм записывал некоторые из таких бесед; но часто прерывать наше повествование не следует, и мы в другой раз познакомим с такого рода драматургическими опытами тех из наших читателей, кто ими интересуется.

Особенно весел был Зерло однажды вечером, говоря о Полонии и о своем толковании этой роли:

— Обещаю подать на сей раз в комическом виде весьма почтенного человека: постараюсь в тех местах, где надо, как можно выигрышнее изобразить присущее ему спокойствие и равновесие, суетность и важность, учтивость и развязность, независимость и опасливость, чистосердечное лукавство и лживую правдивость. Я куртуазнейшим образом представлю и преподнесу эдакого седовласого, добросовестного, неизменно приспособчивого полуплута, в чем большую помощь окажут мне грубоватые и резковатые мазки нашего автора. Я буду говорить, как книга, когда подготовлюсь заранее, и как шут, когда разойдусь. Я буду глупцом, подлаживаясь ко всякому, и хитрецом, не желая замечать, что меня поднимают на смех. Редко случалось мне с таким наслаждением и с таким задором братья за роль.

— Хотела бы и я возлагать такие же надежды на свою роль, — заметила Аврелия, — нет у меня ни молодости, ни мягкости, какие нужны для этого образа. Одно, к сожалению, ясно: то чувство, что сводит с ума Офелию, не покинет и меня.

— Не будем относить все к себе, — сказал Вильгельм, — как ни тщательно изучал я всю трагедию, признаюсь, от желания сыграть Гамлета я впал в жестокое заблуждение. Чем больше вникаю я в роль, тем яснее вижу, что во всем моем облике нет ни одной черты, похожей на шекспировского Гамлета. Вдумываясь, как безупречно в этой роли одно связано с другим, я теряю надежду произвести хоть мало-мальскоо впечатление.

— Вы весьма добросовестно подходите к новой своей деятельности, — заметил Зерло, — актер, как может, приспособливается к роли, а роль, как должно, подгоняется к нему. Каким же Шекспир обрисовал своего Гамлета? Неужто о: i так уж несхож с вами?

— Прежде всего Гамлет белокур, — отвечал Вильгельм.

— По-моему, вы много на себя берете, — вставила Аврелия. — Из чего вы это заключили?

— Как уроженец Дании, как северянин он непременно должен быть белокурым и голубоглазым.

— По-вашему, Шекспир об этом подумал?

— Точно это нигде не сказано, но в сочетании с другими местами мне это кажется неопровержимым. Ему трудно фехтовать, пот бежит у него по лицу, и королева говорит: «Он тучен, пусть дух переведет». Как же тут вообразить его иначе, нежели белокурым и в теле? Темноволосые редко бывают таковы в молодые года. А разве меланхолические колебания, мягкую грусть и деятельную нерешительность не вернее примыслить к такому облику, чем к стройному чернокудрому юноше, от коего ждешь больше решимости и расторопности.

— Вы отравляете мое воображение, — вскричала Аврелия, — прочь с вашим жирным Гамлетом! Не навязывайте нам вашего дородного принца. Лучше подайте нам какое-нибудь qui pro quo, которое увлекло и умилило бы нас. Нам куда важнее авторского замысла наше удовольствие, к мы требуем, чтобы нас увлекали красотами, которые нам сродни.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Однажды вечером в труппе заспорили, чему отдать предпочтение — роману или драме. Зерло утверждал, что это спор бесплодный, основанный на недоразумении; оба могут быть превосходны в своем роде, лишь бы они не выходили за его пределы.

— Мне и самому это не вполне ясно, — признался Вильгельм.

— Да кому оно ясно? — сказал Зерло. — А стоило бы разобраться в этом.

Они долго и много толковали и наконец пришли к такому выводу: в романе, как и в драме, мы видим человека и действие. Различие между этими двумя литературными родами заключается не только во внешней форме, не в том, что в драме персонажи сами говорят, а в романе о них обычно рассказывают. К сожалению, многие драмы — всего лишь роман в диалогах, и вполне возможно написать драму и письмах.

В романе должны быть преимущественно представлены мысли и события, в драме — характеры и поступки. Роману нужно развертываться медленно, и мысли главного героя должны любым способом сдерживать, тормозить устремление целого к развитию. Дrame же надо спешить, а характер главного героя должен сдерживаться извне в своем стремлении к концу. Герою романа надо быть пассивным, действующим в малой дозе; от героя драмы требуются поступки и деяния. Грандисон, Кларисса, Памела, Векфилдский священник и даже Том Джонс[44] — если не всегда пассивные, то, во всяком случае, тормозящие действие персонажи, а все события в известной мере соотносятся с их образом мыслей. В драме герой ничего с собой не соотносит, всё ему Противится, а он либо сдвигает и сметает препятствия со своего пути, либо становится их жертвой.

Все единодушно признали, что в романе допустима игра случая, однако направляет его и управляет им образ мыслей героев; зато судьба, толкающая людей без их участия, силой не связанных между собой внешних причин к непредвиденной катастрофе, вводится только в драму; что случай может создавать патетические, но отнюдь не трагические ситуации; судьба же непременно должна быть грозной и становится в высшем смысле трагической, когда роковым образом связывает между собой независимые друг от друга недобрые и добрые дела.

Эти рассуждения привели все к тому же несравненному «Гамлету» и к особенностям этой пьесы. Говорилось, что тут, собственно, даны лишь мысли героя и лишь события руководят им, отчего в пьесе есть длинноты романа; но коль скоро план начертан судьбой, а в основе лежит страшное деяние и героя все наталкивает на страшное деяние, пьеса в высшем смысле трагична и не терпит иного исхода, кроме трагического.

Наконец, была назначена пробная считка, в которой Вильгельм видел нечто вроде праздника. Он заранее сверил списки ролей, чтобы с этой стороны не было заминки. Все актеры знали пьесу, и он перед началом пытался лишь убедить их, сколь важна считка. Как от музыканта требуется, чтобы он в какой-то мере умел играть с листа, так и всякий актер, да и всякий порядочно воспитанный человек должен приобретать навык в чтении с листа, сразу улавливать характер драмы, стихотворения или рассказа и умело их передавать. Затверживание наизусть ничего не дает, если актер спервоначала не проникся духом и замыслом хорошего писателя: буква сама по себе бессильна.

Зерло уверял, что готов отнестись снисходительно к любой репетиции, вплоть до генеральной, лишь бы считка себя оправдала.

— Ведь обычно смешно слушать, когда актеры толкуют об изучении; для меня это все равно, как если бы вольные каменщики[45] говорили о кладке стен.

Считка прошла как нельзя лучше; можно прямо сказать, что эти немногие с пользой потраченные часы легли в основу репутации труппы и хороших сборов.

— Вы поступили разумно, друг мой, что так серьезно побеседовали с нашими сотоварищами, — заметил Зерло, когда они вновь остались наедине, — хотя я опасаясь, что ваши пожелания не будут осуществлены.

— Как так? — удивился Вильгельм.

— Вот что я подметил, — объяснил Зерло. — Насколько легко возбудить воображение людей, насколько любят они слушать сказки, настолько же редко случается встретить у них род самостоятельного творческого воображения. Особенно удивляет это у актеров. Каждый рад хорошей, выигрышной, блестящей роли; но редко кто способен на большее, чем самоуверенно поставить себя на место героя, ни капли не тревожась, примет ли его хоть кто-нибудь за такового. И очень немногим дано живо представить себе, что думал сказать автор данной пьесой, сколько надо вложить своего, личного, чтобы удовлетворить требованиям роли, как собственной убежденностью убедить и зрителя в том, что ты сейчас совсем другой человек, как внутренней правдой изображения обращать доски в храмы, а картон в леса. Эта внутренняя сила духа, одна лишь могущая обмануть чувства зрителя, эта вымышленная правда, одна лишь обладающая той силой воздействия, которая одна лишь способна создать иллюзию, — кто имеет о них понятие?

А посему не будем напирать на силу духа и на чувства. Куда надежнее просто-напросто растолковать сперва нашим друзьям буквальный смысл и дать им толчок к пониманию сути. У кого есть талант, тот сам поспешит отыскать умное, исполненное чувства выражение, а у кого таланта нет, тот не будет, по крайней мере, совсем уж фальшиво играть и декламировать. Ни у актеров, ни вообще у людей не встречал я ничего хуже самомнительной претензии проникнуть в дух, не поняв и не усвоив буквы.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Вильгельм заблаговременно пришел на первую репетицию и оказался на сцене совсем один. Вид помещения поразил его и наполнил волшебными воспоминаниями. Декорации леса и селения были расставлены в точности, как на сцене его родного города, тоже во время репетиции, в то утро, когда Мариана открылась ему в любви и обещала подарить первую блаженную ночь. Крестьянские домишки схожи между собой на театре, как и в жизни. Настоящее утреннее солнце проникало через полуоткрытое окно и освещало часть скамьи, плохо укрепленной возле двери, только не светило оно, увы, как тогда, на грудь и колени Марианы.

Он сел на скамью и задумался над этим удивительным совпадением, и ему захотелось верить, что, быть может, скоро он увидит здесь и ее. Увы, это были всего лишь декорации драматического водевиля, который бытовал в ту пору на немецкой сцене.

Размышления его спугнул приход остальных актеров, вместе с которыми явилось двое завсегдатаев театра и артистических уборных, и они восторженно приветствовали Вильгельма. Один из них, собственно говоря, состоял в обожателях мадам Мелина; второй был бескорыстным другом театрального искусства, и оба принадлежали к той породе друзей, каких только можно желать в каждой порядочной труппе. Трудно определить, были ли они больше знатоками или любителями театра. Они слишком любили его, чтобы знать по-настоящему, и достаточно его знали, чтобы ценить хорошее и осуждать дурное. Но при всем своем пристрастии они терпели посредственность, зато трудно описать упоение, с которым они предвкушали и смаковали хорошую игру. Техническая сторона радовала их, духовная приводила в восторг, и даже обрывочная репетиция давала им своего рода иллюзию. Недостатки неизменно отступали для них на задний план, а все хорошее близко их трогало. Словом, это были такие любители, каких желает себе каждый художник в своем деле. Излюбленная их прогулка была из-за кулис в партер, из партера за кулисы, любимейшее местопребывание — артистическая уборная, усерднейшее занятие — внесение поправок в позы, костюмы, чтение и декламацию актеров, предмет живейшего разговора — произведенный эффект. Они неусыпно пеклись о том, чтобы актер не переставал быть внимателен, деятелен, точен, старались быть ему полезны или приятны и без расточительства почаще баловать труппу. Оба завоевали себе исключительное право присутствовать на сцене во время репетиций и спектаклей. Касательно постановки «Гамлета» они не во всем соглашались с Вильгельмом; кое в чем он уступал, но большей частью отстаивал свое мнение; вообще же подобные беседы немало способствовали развитию его вкуса. Он показывал обоим друзьям, сколь высоко их ценит, они же, в свой черед, предрекали, что итог соединенных усилий составит ни мало ни

много как эпоху, в немецком театре.

Присутствие двух друзей было очень полезно на репетициях. С особой настойчивостью внушали они нашим актерам, чтобы позы и мимика, такими, как они будут показаны на представлении, уже на репетиции неуклонно связывались с речью, дабы соединение стало автоматическим, войдя в привычку. Репетируя трагедию, особенно следует воздерживаться от обыденных жестов; им всегда боязно, если трагик нюхает табак: весьма вероятно, что и на представлении его в том же месте потянет к понюшке. Мало того, они требовали, чтобы никто не репетировал в сапогах, если по роли полагалось быть в башмаках. Но ничто — уверяли они — так не огорчительно им, как если женщины на репетиции прячут руки в складках платья.

И еще в одном их уговоры принесли пользу, а именно в том, что все мужчины стали обучаться военному строю.

— Столько приходится актерам играть военных, — говорили эти друзья, — и как же прискорбно видеть, когда люди, начисто лишенные выправки, болтаются по сцене в мундире капитана или майора.

Вильгельм и Лаэрт первыми подчинились унтер-офицерской муштре, ревностно продолжая при этом упражняться в фехтовании.

Много трудов положили оба театрала на воспитание столь счастливо составившейся труппы. Они заботились о будущем ее успехе у публики, которая не упускала случая поиздеваться над их безоглядным увлечением, не ведая, сколь много причин у нее быть им признательной, тем паче что они не упустили случая объяснить актерам главную их обязанность — говорить громко и внятно. В этом пункте они встретили больше возражений и недовольства, нежели предполагали вначале. Большинство желало, чтобы их слышали, как бы они ни говорили, и лишь немногие старались говорить, чтобы их было слышно. Одни сваливали вину на акустические особенности здания, другие доказывали, что непозволительно кричать там, где нужно говорить то ли обычным, то ли тихим или нежным голосом.

Наши театрала терпеливейшим образом всячески старались рассеять это заблуждение и одолеть актерское упрямство. Они не жалели ни доводов, ни комплиментов и в конце концов добились своего, причем им много помог пример Вильгельма. Он упрямил их на репетициях садиться в дальние уголки и всякий раз, как они не вполне его расслышат, стучать ключом о скамью. Слова он выговаривал отчетливо, неторопливо, постепенно повышал тон и не надсаживался в самых бурных сценах. Стук ключа слышался все реже с каждой репетицией; постепенно этот метод приняли и остальные, и появилась надежда, что в конце концов пьесу будет слышно во всех углах театральной залы.

Из этого примера видно, как хочется людям достигнуть цели лишь собственными средствами, каких усилий стоит втолковать им то, что, собственно, понятно само собой, и как трудно внушить человеку, который чего-то добивается, что намерение его осуществимо лишь при соблюдении главных условий.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Подготовка декораций, костюмов и всего, что потребно, шла своим чередом. На предмет отдельных мест и сцен у Вильгельма были свои выдумки, которым Зерло не перечил, частью в силу контракта, частью по убеждению и в надежде угодить Вильгельма такой уступчивостью, чтобы в дальнейшем можно было подчинить его своим намерениям.

Так, например, на первой аудиенции король и королева должны были сидеть на троне, придворные стоять по бокам, а среди них, смешавшись с толпой, — Гамлет.

— Гамлет должен держаться спокойно, — объяснял он, — черная одежда и так достаточно отличает его. Ему следует скорее скрываться, чем выставять себя напоказ. Лишь когда окончится аудиенция, когда король заговорит с ним как с сыном, тогда пусть приблизится, и сцена пойдет обычным порядком.

Еще одну капитальную трудность составили те два портрета, о которых так страстно говорит Гамлет в сцене с матерью.

— На мой взгляд, — заявил Вильгельм, — надо, чтобы портреты в натуральную величину виднелись в глубине комнаты возле входной двери, причем старый король в тех же доспехах, что и тень его, должен находиться по ту сторону, откуда она появится. Мне хочется, чтобы правой рукой он делал повелительный жест, стоя вполоборота, как бы глядя через плечо, дабы вполне уподобиться удаляющейся через дверь тени. Если в эту минуту Гамлет будет смотреть на тень, а королева на портрет — впечатление получится грандиозное. Отчим должен быть изображен хоть и с королевскими атрибутами, но много невзрачнее отца.

Немало еще было нерешенных вопросов, о которых нам, возможно, случится поговорить.

— Вы по-прежнему неумолимо требуете, чтобы Гамлет в конце умирал? — спросил Зерло.

— Как я могу сохранить ему жизнь, если вся пьеса гонит его к смерти? — отвечал Вильгельм. — Мы уже столько раз Это обсуждали.

— Но публика хочет, чтобы он жил.

•- Я рад угодить ей в любых других случаях, но тут это невозможно; не раз приходится нам желать, чтобы достойный, приносящий пользу человек, который умирает от неизлечимой болезни, пожил бы подольше. Родные плачут, заклиная врача, но тот бессилён продлить его дни, и как врач не властен противостоять законам природы, так и мы не можем повелевать признанными законами искусства. Мы проявили бы неправильную уступчивость, пробуждая в толпе чувства, какие ей хочется испытать, а не те, какие она испытывать должна.

— Кто платит деньги, тот вправе требовать товар себе по вкусу.

— До известной степени. Но большая публика заслуживает, чтобы ее уважали, а не уподобляли малым ребятам, у которых только и норовят выудить деньги. Давая публике то, что хорошо, надо постепенно прививать ей интерес и вкус к хорошему, и она с удвоенным

удовольствием выложит свои денежки, потому что ни разум, ни даже благоразумие не поставят на вид эту трату. Публику можно улаживать, как любимого ребенка, и, улаживая, исправлять, а в дальнейшем и просвещать; но отнюдь не как вельможу и богача, с целью увековечить заблуждение, из которого сам извлекаешь пользу.

Так обсудили они еще многое, главным образом касательно вопроса, что следовало бы еще изменить в пьесе и что должно остаться неприкосновенным. Не будем далее вдаваться в подробности, но весьма вероятно, что когда-нибудь мы предложим эту новую обработку «Гамлета» тем из наших читателей, кого она может заинтересовать,

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Генеральная репетиция прошла; тянулась она нескончаемо долго. У Зерло и Вильгельма оказалось еще немало дел; хотя на подготовку ушла уйма времени, многое существенное было отсрочено до последней минуты.

Так, например, не были готовы портреты обоих королей, и сцена между Гамлетом и матерью, от которой ждали большого эффекта, все еще получалась довольно убогой, принимая во внимание, что отсутствовали и призрак, и его живописное подобие. Зерло в шутку говорил по этому поводу:

— Мы очутимся в прескверном положении, если призрак не явится вовсе, страже в самом деле придется сражаться с пустотой, а суфлеру из-за кулисы произносить монолог призрака.

— Не надо спугивать неверием нашего таинственного друга, — предостерег его Вильгельм, — он непременно придет, когда нужно, изумив нас не меньше, чем зрителей.

— Я только рад буду, лишь бы представление все же состоялось! — воскликнул Зерло — Оно доставило нам больше хлопот, чем я ожидал.

— Никто не будет радоваться больше моего, если пьесу сыграют завтра, — вставила Филина, — хотя роль моя меня никак не тяготит. Но больше мочи моей нет слушать бесконечные разговоры об одном и том же, когда в итоге получится всего-навсего спектакль, который забудется подобно сотням других. Бога ради, перестаньте вы мудрить! Гости, встав из-за стола, всегда найдут что осудить в каждом кушанье; а уж послушать их дома, так для них непостижимо, как онн вынесли такую муку.

— Разрешите мне, прекрасное дитя, истолковать ваше сравнение в мою пользу, — заявил Вильгельм. — Только подумайте, сколько соединенных трудов природы и искусства, торговли, промыслов и ремесел потребно для парадной трапезы. Сколько лет должен прожить олеп в лесу, рыба в реке или в море, пока не удостоится украсить наш стол. А какие хлопоты ждут хозяйку и кухарку на кухне! Как небрежно потягиваем мы за десертом плоды забот неведомого виноградаря, корабельщика и погребщика, словно так оно и надо. И неужто всем этим людям незачем работать, добывать и заготавливать, а хозяину незачем все старательно закупать и собирать, ежели в конце концов удовольствие оказывается преходящим? Но ни одно удовольствие не бывает преходящим; ибо впечатление от него остается жить, и то, что делано с сердцем и тщанием, даже зрителю сообщает скрытую силу, и никому не дано знать, сколь обширно ее действие.

— Мне до всего этого дела нет, — возразила Филина, — я только лишний раз убедилась, что мужчины вечно противоречат самим себе. При всем вашем истовом старании не искалечить великого автора, вы, однако же, убрали самую чудесную мысль в пьесе.[46]

— Самую чудесную? — удивился Вильгельм.

— Ну конечно. Недаром Гамлет похваляется ею.

— Что же это за мысль? — спросил Зерло.

— Будь на вас парик, — сказала Филина, — я бы осторожненько сдернула его. Вам, право же, не мешает просвежить мозги.

Собеседники задумались, и разговор оборвался. Час был поздний, все повставали с мест, решив, что пора расходиться. Покамест они мешкали, Филина запела на приятный, благозвучный лад:

Полно петь, слезу глотая,

Будто ночь длинна, скучна!

Нет, красотки, тьма ночная

Для веселья создана.

Коль прекрасной половиной

Называют ясен мужья,

Что прекрасней ночи длинной —

Половины бытия!

День лишь радости уводит,

Кто же будет рад ему?

Он хорош, когда уходит,  
В остальном он ни к чему.  
Но когда мерцают свечи,  
Озарив ночной уют,  
Нежен взор, шутливы речи  
И уста блаженство пьют,  
И когда за взгляд единый  
Ваш ревнивый пылкий друг  
С вами рад игре невинной  
Посвятить ночной досуг,  
И когда поет влюбленным  
Песню счастья соловей,  
А печальным, разделенным  
Горе слышится и в ней, —  
О. тогда клянем не даром  
Мы часов бегущих бой,  
Что двенадцатым ударом  
Возвещает нам покой!  
Пусть же всех, кто днем скучали,  
Утешает мысль одна:  
Если полон день печали,  
То веселья ночь полна.[47]

Когда она окончила с легким поклоном, Зерло громко крикнул «браво». Она выпорхнула в дверь и, смеясь, умчалась прочь. Слышно было, как она поет и стучит каблучками, спускаясь по лестнице.

Зерло ушел в соседнюю комнату, Аврелия же остановилась перед Вильгельмом, желавшим ей покойной ночи, и произнесла:

— До чего же она мне противна! Самому существу моему противна до мельчайших штрихов. Видеть не могу, что правая ресница у нее темная при белокурых волосах, которые так пленяют моего брата, а в щраме на лбу есть что-то для меня мерзкое, низкое, отчего мне всегда хочется отойти от нее на десять шагов. Недавно она как милую шутку рассказала, что в детстве отец швырнул ей в голову тарелку, вот след и остался по сей день; неспроста у нее меченые глаза и лоб, ее нужно остерегаться.

Вильгельм ничего не ответил, а Аврелия продолжала, все распаляясь:

— Я просто не в состоянии сказать ей приветливое, участливое слово, так я ненавижу ее; а вкрадчивости у нее хоть отбавляй. Я мечтаю от нее избавиться. Вы тоже, друг мой, равнодушны к этой девке, и ваше отношение, ваше внимание, чуть что не уважение к ней глубоко меня огорчает, — ей-богу, она не заслуживает его!

— Какова бы она ни была, я обязан ей благодарностью, — возразил Вильгельм. — Ее манеры достойны порицания, но свойствам ее души надо отдать должное.

— Души! — вскричала Аврелия. — Да разве у такой твари есть душа? О, мужчины, как это похоже на вас! Таких женщин вы и заслуживаете.

— Неужто вы подозреваете меня, дорогой друг? — сказал Вильгельм. — Я готов дать отчет в каждой минуте, что провожу с ней.

— Что уж там, время позднее, не стоит затевать спор, — возразила Аврелия. — Все, как один, и один, как все! Доброй ночи, друг мой! Доброй ночи, чудесная райская птица!

Вильгельм осведомился, чему он обязан таким почетным Званием.

— В другой раз, — сказала Аврелия, — в другой раз. Говорят, у них нет ног, они витают в воздухе, и питаются небесным эфиром. Но это

все басни, — продолжала она, — поэтический вымысел. Добрая ночь, пусть вам посчастливится увидеть прекрасные сны.

Она ушла в свою комнату, оставив его одного; он поспешил в свою.

В сердцах шагнул он из угла в угол. Шутливый, но категорический тон Аврелии оскорбил его до глубины души; он почувствовал, как она несправедлива к нему; не мог же он относиться к ФиLINE враждебно и неласково; она ничем против него не провинилась, а от увлечения ею он был настолько далек, что мог уверенно и гордо отвечать за себя перед самим собой.

Только он собрался раздеться, подойти к постели и раздвинуть занавески, как вдруг, к великому своему изумлению, обнаружил у кровати пару женских туфель; одна из них лежала, другая стояла. Это были туфельки ФиLINE, которые он запомнил слишком хорошо; вдобавок ему показалось, что и занавески в беспорядке, почудилось даже, будто они шевелятся; он стоял и не отрываясь смотрел на них.

Новое сердечное волнение, которое он почел за досаду, захватило его дух; после короткой паузы, овладев собой, он решительно крикнул:

— Встаньте, ФиLINE. Что это значит? Куда девалась ваша рассудительность и благопристойность? Вам хочется, чтобы завтра мы стали притчей для всего дома?

Ничто не шелохнулось.

— Я не шучу, — продолжал он, — таким шалостям я не пособник.

Ни звука, ни движения!

С решимостью и досадой направился он к кровати и раздернул занавески.

— Вставайте, — повторил он, — иначе мне придется уступить вам комнату на нынешнюю ночь.

К большому его удивлению, постель была пуста, подушки и одеяла в отменном порядке. Он огляделся, принялся искать, обыскал все и не нашел ни малейшего следа плутовки. Ни за кроватью, ни за печкой, ни за шкапами не обнаружилось ничего; он искал все усерднее и усерднее; ехидный наблюдатель подумал бы даже: он ищет, чтобы найти.

Ему не спалось, он поставил туфельки на стол и бродил по комнате, время от времени останавливаясь возле стола, в шаловливый дух, следивший за ним, клянется, что большую часть ночи он был занят прелестными ходулочками, с любопытством разглядывал их, брал в руки, играя ими, и лишь под утро одетый бросился на кровать и задремал, убаюканный самыми фантастическими грезами.

Он все еще спал, когда вошел Зерло и окликнул его:

— Где вы? Еще в постели? Невообразимо! А я-то ищу вас в театре, там еще пропасть дел!

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Утро и день прошли в спешке. Театр был уже полон, и Вильгельм поспешил одеться. Но не так тщательно, как примерял театральный костюм в первый раз, а лишь бы управиться поскорее. Когда он вышел к дамам в артистическое фойе, они в один голос закричали, что все сидит на нем кое — как, пыльное перо сдвинуто набок, пряжка не прилажена; все было заново распорото, пришто, пришпилено. Уже началась увертюра, а ФиLINE не понравилось, как лежат брыжи, Аврелия решительно не одобрила, как сидит плащ

— Отпустите меня, детки! — умолял он. — Небрежность — то и сделает меня настоящим Гамлетом.

Женщины не отпускали его и продолжали прихорашивать. Увертюра окончилась, и представление началось. Он оглядел себя в зеркало, надвинул шляпу на лоб и подновил грим.

В этот миг кто-то вбежал в комнату с криком:

— Призрак! Призрак!

Вильгельм за весь день не успел сосредоточиться на своей главной заботе — явится ли призрак? Теперь она отпала, и оставалось ждать загадочного гастролера.

Пришел заведующий сценой, стал спрашивать о том о сем; у Вильгельма не было времени посмотреть, что за призрак, он спешил занять свое место возле трона, где король и королева, окруженные двором, уже красовались во всем своем великолепии; он услышал только последние слова Горацио, который что-то растерянно лепетал о призраке, едва ли не забыв свою роль.

Второй занавес поднялся, и Вильгельм увидел перед собой переполненную залу.

После того, как Горацио произнес свой монолог и король отпустил его, он пробрался к Гамлету и, будто представляясь ему как принцу, вымолвил:

— Дьявол забрался в доспехи! Он перепугал нас всех!

В перерыве между сценами за кулисами оказалось лишь двое рослых мужчин в белых плащах и капюшонах, и Вильгельм, который был уверен, что из-за растерянности, тревоги и смущения ему не удался первый монолог, хотя уход его и сопровождался шумными рукоплесканиями, непритворно содрогнулся, вступая в страшную, роковую зимнюю ночь. Однако он овладел собой и с должным



хладнокровие произнес всяма уместные здесь слова о кутежах и попойках северян, что отвлекло и его и зрителей от призрака, и непритворно испугался, когда Горацио крикнул: «Смотрите, принц, вот он!» Вильгельм стремительно обернулся, и благородная статная фигура, неторопливая, неслышная поступь, легкость движений в таких тяжелых с виду доспехах оказали на него столь сильное действие, что он застыл на месте и лишь приглушенным голосом мог воскликнуть: «Святители небесные, спасите!» Он несколько раз перевел дух и, не отрывая глаз от призрака, проговорил обращение к нему так взволнованно, прерывисто, с таким усилием, что большей выразительности нельзя было бы ждать от самого высокого мастерства.

Собственный перевод этого места очень помог ему. Он как можно ближе придерживался оригинала, расстановка слов в котором только и могла по-настоящему выразить состояние испуганной, потрясенной, охваченной смятением души:

«Благой ли дух ты или ангел зла, // Дыханье рая, ада ль дуновенье, //К вреду иль к пользе помыслы твои, //Я озадачен так твоим явленьем, // Что должен расспросить тебя, и вот // Как пазову тебя: отец мой, Гамлет, // Король, властитель датский, отвечай!»[48]

На публику это явно произвело сильнейшее впечатление. Призрак поманил, принц последовал за ним под бурные рукоплескания.

Сцена переменилась, и когда они дошли до самой отдаленной точки, призрак неожиданно остановился и обернулся, вследствие чего Гамлет оказался прямо перед ним. С жадным любопытством заглянул Вильгельм за решетку спущенного забрала, но рассмотрел лишь глубоко запавшие глаза и благородной формы нос. С трепетом всматриваясь, стоял он перед ним; лишь когда первые слова раздались из-под шлема и благозвучный, чуть хрипловатый голос произнес: «Я дух родного твоего отца», — Вильгельм, содрогаясь, отступил на несколько шагов, и публика, как один человек, содрогнулась вместе с ним. Голос всем показался знакомым, Вильгельму почудилось даже сходство с голосом его отца.

Эти удивительные переживания и воспоминания, любопытство узнать, кто же он — загадочный друг, боязнь оскорбить его, невозможность по ситуации и по роли подойти к нему слишком близко, все эти соображения довели Вильгельма до полной растерянности. Пока длился рассказ призрака, он так часто менял место, казался таким неуверенным и смущенным, внимательным и рассеянным, что своей игрой вызвал всеобщее восхищение, как призрак — всеобщий ужас. А в речи призрака звучала скорее глубокая обида, нежели скорбь, обида благородного духа, неизбежная, беспредельная. Это была печаль высокой души, которая отрешилась от всего земного, но терпит безмерную муку. В конце концов призрак спустился под землю, но каким-то странным образом — легкая серая дымка, словно пар, поднявшаяся из люка, заволокла его и потянулась вслед за ним.

Тут возвратились друзья Гамлета и поклялись на мече. А старый крот был скор под землю, и где бы они ни становились, у них из-под ног слышался голос: «Клянитесь!» Они перебежали с места на место, словно под ними горел пол. И всякий раз там, где они стояли, над полом поднимался язычок пламени. Это усиливало эффект и производило на всех зрителей огромное впечатление.

Далее пьеса шла без задержек, все ладилось, все удавалось; публика была явно довольна; воодушевление и уверенность актеров росли с каждой сценой.

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Занавес упал, и живейшие рукоплескания раздались со всех концов и углов залы.

Четыре царственных покойника проворно вскочили на ноги и принялись на радостях обниматься. Полоний и Офелия тоже вышли из гробов и успели с превеликим удовольствием услышать, какими громовыми аплодисментами был встречен Горацио, когда вышел объявить следующее представление.[49] Ему не давали назвать какую-либо другую пьесу, бурно требуя повторить сегодняшнюю.

— Итак, мы победили! — воскликнул Зерло. — Сегодня обойдемся без разумных слов. Важнее всего первое впечатление. Кто осудит актера, если он скован и неподатлив во время дебюта?

Явился кассир с увесистой кассой.

— Мы дебютировали как нельзя лучше, — объявил он, — суеверие себя оправдывает. А где обещанный ужин? Сегодня нам не грех покутить.

Заранее было решено не расходиться, остаться в театральных костюмах и своими силами устроить пиршество. Вильгельм взял на себя заботу о помещении, а мадам Мелина — о кушаньях.

Комната, где обычно писали декорации, была отчищена на славу, обставлена мелкими декорациями и убрана так, что напоминала не то сад, не то колоннаду. Входящих ослепил блеск множества свечей, по-праздничному сиявших сквозь благовонный дым обильных курений, озаряя парадный, заставленный яствами стол. Гости громко восторгались всем устройством и чинно рассаживались по местам; казалось, будто члены королевской фамилии трапезничают в царстве теней. Вильгельм сидел между Аврелией и мадам Мелина, Зерло между Филиной и Эльмирой; все были довольны собой и своим местом.

Присутствие обоих театралов умножало радость труппы. Во время представления они несколько раз приходили на сцену и не уставали восторгаться сами и рассказывать о восторгах публики; теперь же они перешли к подробностям — каждому досталась щедрая доля похвал.

С невообразимым одушевлением подчеркивалась одна удача за другой, одна сцена за другой. Суфлер, скромно сидевший с краю, снискал большое одобрение за своего свирепого Пирра; фехтовальное искусство Гамлета и Лаэрта превозносилось до небес; печаль Офелии была невыразимо прекрасна и возвышенна; а об игре Полония и говорить нечего; каждый из присутствующих слышал хвалы от других и сам их расточал.

Однако и отсутствующий призрак получил свою долю восхвалений и восторгов. Каким проникновенным голосом и с каким глубоким

смыслом произносил о слова роли, а удивительнее всего была его осведомленность о делах труппы. Он так был похож на портрет, будто позировал художнику, а оба театрала не переставали восторгаться тем, как умел он навести жуть, когда возник возле картины и прошествовал мимо своего подобия, Тут удивительнейшим образом перемешались действительность и обман чувств, ведь на самом деле верилось, что королева не видит одной из фигур; попутно расхвалили мадам Мелина за то, что в этом месте она смотрела вверх, на портрет, меж тем как Гамлет показывал вниз, на тень.

В ответ на расспросы, каким образом удалось пробраться призраку, заведующий сценой объяснил, что одна из задних дверей, обычно заставленная декорациями, в этот вечер оказалась открытой, потому что понадобилась готическая зала, и в нее вошли две совершенно одинаковых фигуры в белых плащах и капюшонах; тем же путем они, долишо быть, и вышли после третьего акта.

Зерло особенно одобрял, что призрак не плакался на жалостный манер, а в конце даже добавил от себя слова, коими и надлежит столь великому герою поднять дух сына. Вильгельм запомнил их с тем, чтобы внести в рукопись.

В оживлении пира никто не заметил отсутствия арфиста и детей; однако вскоре они пожаловали, явив собой наиприятнейшее зрелище; вошли они вместе, разряженные самым фантастическим образом. Феликс бил в треугольник, Миньона в бубен, а старик повесил на себя тяжелую арфу и, неся ее перед собой, играл на ней. Они обошли стол с пением различных песенок. Их накормили, и гости, думая ублажить детей, всласть напоили их вкусным вином; сами-то они не оставили непочатыми, бутылки с драгоценной влагой, принесенные в нескольких корзинках как подарок к этому вечеру от друзей-театралов.

Дети прыгали и пели без усталости, особенно непривычно шаловлива была Миньона. Она била в бубен со всей возможной грацией и живостью, то с нажимом быстро водила пальцем по бубну, то стучала по нему тыльной стороной или кистью руки, а то еще в переменном ритме ударяла себя бубном по колену или по голове или же слегка потряхивала им, чтобы только звенели бубенцы, извлекая таким образом из этого простейшего инструмента самые разнообразные звуки. Вдоволь нашумевшись, дети расселись в кресле, оказавшемся пустым, как раз напротив Вильгельма.

— Прочь с кресла! — закричал Зерло. — Оно, как видно, оставлено для призрака; если он явится, вам будет худо!

— А я его не боюсь, — заявила Миньона. — Придет, так мы встанем. Он мой дядя и ничего плохого мне не сделает.

Ее слов не понял никто, кроме тех, кто знал, что она называла своего мнимого отца «Большим чертом».

Актеры переглянулись и окончательно утвердились в подозрении, что призрак появлялся не без ведома Зерло. Все по-прежнему болтали и пили, только девушки время от времени с опаской косились на дверь.

Сидя в глубоком кресле и, точно марионетки из ящика, выглядывая из-за стола, дети вздумали сыграть сценку в соответствующем роде. Миньона превосходно имитировала скрипучие марионеточные голоса, а под конец она и Феликс стукнулись головами друг о друга и об край стола, да так крепко, что это могли, пожалуй, выдержать лишь деревянные куклы. Миньона разыгралась до исступления, и гостям, которые поначалу искренне смеялись ее выдумкам, пришлось обуздывать ее. Но уговоры мало помогали, наоборот, теперь она вскочила с места и принялась носиться вокруг стола, потрясая бубном. Волосы у нее разметались, и когда она откидывала голову, а всем телом будто взвивалась в воздух, то напоминала менаду, чьи буйные и почти невыносимые позы не перестают изумлять нас на античных памятниках.

Раззадоренные искусством детей и поднятым ими шумом, все старались внести свою лепту в увеселение общества. Женщины пропели несколько канонов. Лаэрт пощелкал соловьем, а педант под сурдинку исполнил концерт на варгане.[50] Между тем соседи и соседки затевали всевозможные игры, где встречаются и сплетаются руки, и многие парочки не могли воздержаться от знаков обнадеживающей нежности. Мадам Мелина особенно живо проявляла склонность к Вильгельму. Время было за полночь, и Аврелия, одна только и владевшая своими чувствами, поднявшись, напомнила остальным, что пора расходиться.

На прощание Зерло изобразил фейерверк, до непостижимости точно воспроизводя губами звук ракет, шутих и огненных колес. Стоило закрыть глаза, чтобы получилась полная иллюзия. Тем временем все встали, и кавалеры предложили дамам руку, дабы проводить их домой. Вильгельм с Аврелией вышли последними. На лестнице им встретился заведующий сценой и сказал:

— Вот дымка, за которой скрылся призрак. Она застряла в люке, и мы только что нашли ее.

— Примечательнейшая реликвия! — вскричал Вильгельм, беря у него ткань.

В этот миг кто-то вцепился ему в левую руку, а вслед за тем он ощутил резкую боль. Притаившаяся Миньона схватила и укусила ему руку. Скатившись мимо него по перилам, она исчезла.

Выйдя на свежий воздух, все почувствовали, что нынче вечером забыли меру, и, не прощаясь, разошлись.

Вильгельм едва добрался до своей комнаты, как, скинув одежду и погасив свет, поспешил в постель. Сон начал уже его одолевать, однако, услышав за печкой шорох, он насторожился.

В его разгоряченном воображении сразу же всплыл образ короля, закованного в латы; готовясь заговорить с призраком, он привстал, как вдруг нежные руки обвили его, жаркие поцелуи замкнули ему уста, а к груди прильнула грудь, оттолкнуть которую у него не достало сил.

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

На другое утро Вильгельм проснулся с неприятным чувством и увидел, что постель его пуста. Он не выспался с похмелья, в голове стоял дурман, а воспоминание о неведомой ночной гостье наполняло его тревогой. Прежде всего он заподозрил Филину, однако же прелестное тело в его объятиях не напоминало ее.

Истомленный страстными ласками, друг наш уснул подле таинственной и безмолвной гостьи, а теперь уже не сыскать ее следов. Он вскочил и, одеваясь, заметил, что дверь, которую обычно держал на задвижке, была лишь притворена, и никак не мог вспомнить, замкнул ли он ее вчера вечером.

Но больше всего поразился он, найдя у себя на кровати ту дымку, которой был окутан призрак. Он принес ее с собой и, должно быть, сам бросил туда. На кромке серой прозрачной ткани черными буквами была вышита надпись. Он развернул полотнище и прочел: «В первый и последний раз! Беги, юноша! Беги!» Он был ошеломлен и не знал, что ду\* мать.

В эту самую минуту вошла Миньона и принесла завтрак. Вильгельма удивил, вернее сказать, даже испугал вид девочки. Казалось, она повзрослела за одну ночь; с величавым, горделивым достоинством приблизилась она к нему и так серьезно посмотрела прямо ему в глаза, что он не мог выдержать ее взгляд. Она даже не дотронулась до него, хотя обычно пожимала ему руку, целовала в щеку, в губы, в плечо, и, как только привела в порядок его вещи, молча удалилась.

Наступил час, назначенный для считки; актеры собрались, но все были в расстройстве чувств после вчерашнего пиршества. Вильгельм, как мог, постарался овладеть собой, чтобы сразу же не погрешить против своих столь горячо проповедуемых принципов. Ему помогла усердная выучка, ибо выучка и навык во всяком искусстве призваны восполнять пробелы, зачастую оставляемые талантом и настроением.

Кстати, по этому поводу сама собой напрашивается мысль, что не годится начинать с праздника любое дело, которое будет долговременным, став призванием и укладом жизни. Праздновать надо лишь то, что благополучно завершено; а помпезное начало только истощает охоту и силы, из которых рождается рвение, поддерживающее нас в длительных трудах. Среди всех торжеств неуместнее всех свадебное торжество; уж оно-то, как ничто иное, требует тишины, смирения и упования.

Так тянулся день, и Вильгельму он казался будничнее всякого другого. Вместо привычной вечерней беседы все безудержно зевали; интерес к «Гамлету» исчерпался, все даже были недовольны, что завтра должно состояться второе его представление.

Вильгельм продемонстрировал покрывало призрака; отсюда следовало заключить, что больше он не явится. Решительнее всех доказывал это Зерло который, по-видимому, был хорошо осведомлен о намерениях загадочного пришельца; но тогда слова: «Беги, юноша! Беги!»—были совсем необъяснимы. Как мог Зерло быть в сговоре с кем-то, кому явно хотелось удалить из труппы самого лучшего актера?

Теперь приходилось отдать роль призрака ворчуну, а роль короля — педанту. Оба заявили, что роли уже разучены, да это было не мудрено: при большом количестве репетиций и подробном обсуждении пьесы все так изучили ее, что смело могли бы меняться ролями. Однако кое-что наспех прорепетировали снова, а когда уже совсем поздно стали расходиться, Филина, прощаясь, шепнула Вильгельму:

— Мне нужно зайти за туфлями! Ты ведь не станешь запираешь дверь на задвижку?

Эти слова порядком озадачили Вильгельма, когда он воротился к себе, ибо тем самым подтверждалось предположение, что гостьей минувшей ночи была Филина, и нам ничего не остается, как присоединиться к этой догадке, тем паче что мы не вправе открыть причину его сомнений, натолкнувших его на другую, весьма странную мысль. Несколько раз он в беспокойстве прошелся по комнате, пока еще не решаясь запереть дверь.

Внезапно в комнату ворвалась Миньона и ухватила за него с криком:

— Мейстер! Спасай дом! Пожар!

Вильгельм кинулся к двери, и навстречу ему сверху повалили клубы дыма. На улице уже были слышны крики о пожаре, а сквозь дым, задыхаясь, держа в руках арфу, спускался по лестнице арфист.

Аврелия выбежала из своей комнаты и бросила маленького Феликса на руки Вильгельму.

— Спасайте ребенка! — крикнула она. — Мы вытащим остальное.

Опасность поначалу не показалась Вильгельму столь уж велика, и он решил прежде всего найти очаг пожара, чтобы загасить его в зародыше. Он передал ребенка старику, приказав бежать по витой каменной лестнице, которая вела через садовую пристройку в сад, и вместе с детьми оставаться снаружи. Миньона взяла свечу, чтобы осветить ему. Затем Вильгельм посоветовал Аврелии спасти свои вещи тем же путем. Сам оп сквозь дым пытался пробраться наверх, но лишь напрасно подвергал себя опасности. Огонь, по-видимому, перебрался из соседнего дома и уже охватил чердачные стропила и переносную лестницу; люди, которые бежали сюда спасения ради, страдали, как и он, от пламени и удушливого дыма. Он старался их ободрить, требовал воды, заклинал лишь шаг за шагом отступать перед огнем, обещая не оставлять их.

В этот миг Миньона взбежала наверх и закричала:

— Мейстер! Спасай своего Феликса! Старик взбесился! Старик убьет его!

Не помня себя, Вильгельм ринулся по лестнице вниз, Миньона следовала за ним по пятам.

На последних ступенях, ведших в пристройку, он в ужасе остановился. Сложенные там охапки соломы и хвороста горели ярким пламенем; Феликс лежал на земле и кричал. Старик, опустив голову, стоял сбоку у ступеней.

— Что ты делаешь, несчастный? — крикнул Вильгельм. Старик молчал.

Миньона подняла Феликса и с трудом поволокла мальчика к месту, меж тем как Вильгельм старался разметать и загасить огонь, отчего пламя только пуще оживилось. Наконец, опалив ресницы и волосы, он и сам принужден был бежать в сад, пробившись сквозь пламя и насильно таща за собой старика, у которого обгорела борода.

Прежде всего Вильгельм бросился искать по саду детей. Нашел он их на пороге отдаленной беседки; Миньона, как могла, успокаивала малыша. Вильгельм взял его к себе на колени, спрашивал, ощупывал и ни от одного из них не мог добиться ничего вразумительного.

Между тем огонь, продолжая бушевать, охватил окрестные дома и освещал всю местность. Вильгельм осмотрел мальчика при красном зареве пожара и не обнаружил ни ранки, ни крови, ни синяка. Он ощупал все тельце, но ребенок не показывал признаков боли, стал даже затихать, дивился огню и радовался, как красиво, точно на иллюминации, загораются подряд стропила и балки.

Вильгельм не думал о платье и прочих вещах, должно быть, сгоревших у него; он всей душой ощущал, как дороги ему эти два человеческие существа, избежавшие столь грозной опасности. С новым неизведанным чувством прижал он малыша к своей груди, хотел так же радостно и нежно обнять и Миньону, но она мягко уклонилась, взяла его руку и задержала в своей.

— Мейстер, — сказала она (ни разу до этого вечера она не именовала его так; вначале она звала его господином, а потом отцом). — Мейстер, мы избегли большой опасности, твоему Феликсу грозила смерть!

Долгими расспросами Вильгельм дознался наконец, что, едва они добрались до пристройки, арфист выхватил у нее из рук свечу и зажег солому. Потом посадил Феликса наземь, с какими-то странными ухватками положил руку ему на голову и достал нож, словно собрался принести мальчика в жертву. Тогда она подскочила и выхватила нож из его рук; потом принялась кричать, и какой-то человек, который вытаскивал вещи из дома в сад, бросился ей на помощь, но в суматохе убежал опять и оставил старика вдвоем с ребенком.

Два-три дома полыхали ярким пламенем. После того как загорелась пристройка, никто не мог выбежать в сад. Вильгельм беспокоился о друзьях куда больше, чем о своем имуществе. Он не решался оставить детей и только смотрел, как разрастается бедствие.

В такой тревоге провел он несколько часов. Феликс уснул у него на коленях, Миньона лежала рядом, крепко сжимая его руку. Наконец принятыми мерами огонь был обуздан. Сгоревшие дома рухнули, начало светать, детям стало холодно, а сам Вильгельм в своей легкой одежде совсем ооченел от павшей росы. Он повел детей к развалинам рухнувшего дома, и они обогрелись приятным теплом подле груды углей и пепла.

Наступивший день постепенно собрал всех друзей и знакомых. Все уцелели, и никто не потерпел особого ущерба.

Отыскался и Вильгельмов сундук, и когда время подошло к десяти, Зерло стал торопить на репетицию «Гамлета» или хотя бы нескольких сцен, где участвовали новые актеры.

Из-за этого у него вышли пререкания с полицией. Духовенство требовало, чтобы после такой кары божьей театр был закрыт, а Зерло доказывал, что отчасти ради возмещения понесенных этой ночью убытков, отчасти ради ободрения потрясенных умов более, чем когда-либо, уместно дать занимательный спектакль. Восторжествовало второе мнение, и зала была полна. Актеры играли с редким жаром, с большей свободой и подъемом, нежели в первый раз. Чувствительность зрителей обострилась от страшных ночных картин, а томительно-беспорядочный день усугубил в них жажду развлечений, отчего они стали восприимчивее к сверхъестественному. В большинстве своем это были новые, привлеченные молвой зрители, которые не могли провести сравнение с первым спектаклем. Ворчун в точности следовал игре загадочного призрака, а педант тоже отменно приноровался к своему предшественнику; собственный жалкий вид пришелся ему только кстати, и Гамлет не был несправедлив, когда, невзирая на пурпуровую мантию и горностаевый воротник, обозвал его карманником на царстве.

Чуднее короля никто не видал па троне; и хотя прочие актеры, а в особенности Филина, вдоволь потешались над его новым саном, он не преминул заявить, что граф, как большой знаток, предрекал ему с первого взгляда еще и не такой успех; в ответ Филина призвала его к скромности, уверяя, что при случае напудрит ему рукава кафтана, дабы он припомнил злополучную ночь в замке и со смирением носил королевский венец.

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Пришлось спешно искать себе пристанище, и труппа рассеялась по разным местам. Вильгельму полюбился садовый павильон, возле которого он провел ночь. Без труда получив ключи, он обосновался там; но поскольку Аврелии было тесно в новом жилище, ему пришлось оставить у себя Феликса, а Миньона не хотела расстаться с малышом.

Детям была отдана удобная горенка второго этажа. Вильгельм устроился в нижнем помещении. Дети спали, а он не находил себе покоя.

За красивым садом, чудесно озаренным светом взошедшей луны, маячили печальные развалины, которые еще кое — где дымились; воздух был приятен и ночь необычайно хороша. Выходя из театра, Филина коснулась его локтем и прошептала несколько слов, которые он, однако, не понял. Он растерялся, рассердился и не знал, чего ему ждать, что предпринять. Несколько дней Филина избегала его и лишь в нынешний вечер подала ему знак. На беду, теперь сгорела и дверь, которую ему не велено было закрывать, а туфельки испарились в дыму. Он не понимал, каким манером красotka проникнет в сад, если таковы ее намерения. Он совсем не хотел ее видеть, но при этом ему не терпелось объясниться с ней.

Еще больше тревожила его сердце судьба арфиста, который сгинул с той ночи. Вильгельм боялся, что при расчистке развалин его найдут мертвым под мусором. Вильгельм ото всех скрывал подозрение, что старик — виновник пожара. Не зря же он первым спустился ему навстречу по лестнице из охваченного пламенем и дымом чердака, а пароксизм отчаяния в садовой пристройке мог быть следствием Этого злосчастного события. Однако же расследование, без промедления наряженное полицией, со всем вероятием показало, что пожар возник не в том доме, где они жили, а в третьем от него, и тотчас же перекинулся по чердакам.

Все это продумывал Вильгельм, сидя в беседе, как вдруг услышал, что кто-то крадется по ближней дорожке. По скорбному пению, раздававшемуся вслед за тем, он узнал старика арфиста. Смысл пения сразу стал ему внятн, это было утешение несчастливцу, который чувствует, что на него надвигается безумие. К сожалению, Вильгельм запомнил лишь последнюю строфу.

Подойду к дверям с котомкой,

Кротко всякий дар приму,

Поблагодарю негромко,

Вскину на плечи суму.

В сердце каждого заноза

Молчаливый мой приход:

С силой сдерживает слезы

Всякий, кто мне подает.[51]

С этими словами он добрел до калитки, выходившей па отдаленную улицу; калитка оказалась заперта, и он собрался перешагнуть через ограду, ко Вильгельм удержал его и ласково заговорил с ним. Старик просил отпереть ему, потому что он хочет и должен бежать. Вильгельм убеждал его, что бежать он может из сада, но не из города, говорил, какие подозрения навлечет на него подобный шаг; все напрасно! Старик стоял на своем. Вильгельм не уступал и наконец почти что силой втолкнул его в павильон, заперся там вместе с ним, и между ними завязался странный разговор, который мы не станем излагать подробно и предпочтем не передавать вовсе, дабы не терзать читателя сумбурными понятиями и наводящими жуть чувствами.

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Из жестокого затруднения, как быть с несчастным стариком, проявившим явные признаки безумия, Вильгельма в то же утро вывел Лаэрт. Следуя старой своей привычке, он слонялся по городу и в какой-то кофейне встретил человека, до недавнего времени страдавшего тяжелыми приступами меланхолии. Бго отдали на попечение сельскому священнику, который посвятил себя выхаживанию такого рода больных. И на сей раз лечение было успешным; сейчас этот целитель еще в городе, и семья исцеленного оказывает ему всяческий почет.

Вильгельм поспешил отыскать его, рассказал о своем случае и столкнулся с ним. Под какими-то предлогами удалось сдать больного ему на руки. Вильгельм был искренне огорчен разлукой, и только надежда увидеть старика излеченным несколько умилила его грусть; уж очень он привык видеть старого арфиста возле себя и слушать его вдохновенную, берущую за душу музыку. Арфа погибла в огне, но удалось найти новую, чтобы дать ему с собой.

Пожар уничтожил и скромный гардероб Миньоны, и когда собрались купить ей что-то взамен, Аврелия предложила отныне одевать ее девочкой.

— Ни за что! — воскликнула Миньона и с горячностью принялась настаивать, чтобы ее одели по-прежнему; в конце концов пришлось ей уступить.

Актерам некогда было задумываться; представления следовали одно за другим.

Вильгельм часто прислушивался к разговорам в публике, по редко случалось ему услышать отзыв, какого он желал бы; чаще до него доносилось то, что огорчало и раздражало его. Так, к примеру, после первого представления «Гамлета» один молодой человек с жаром рассказывал, как приятно провел вечер в театре.

Вильгельм насторожился и был посрамлен, узнав, что Этот самый юноша назло сидящим позади не снял шляпы, весь спектакль упорно оставался в ней и с большим удовольствием вспоминал о столь героическом деянии.

Другой уверял, что Вильгельм превосходно сыграл роль Лаэрта, зато актер, игравший Гамлета, гораздо менее преуспел. Такая путаница имела основания — между Вильгельмом и Лаэртом было сходство, хоть и очень отдаленное.

Третий горячо расхваливал его игру, особенно в сцене с матерью, и только жалел, что в такой животрепещущий миг у него из-под камзола выглянула белая тесемка, что разрушило всю иллюзию.

Меж тем в самой труппе происходили большие перемены. С того вечера, когда случился пожар, Филина не делала ни малейшей попытки приблизиться к Вильгельму. По всей видимости, она намеренно сняла квартиру подальше, сдружилась с Эльмирой и реже бывала у Зерло, к вящей радости Аврелии. Зерло по-прежнему был к ней расположен, изредка навещал ее, особенно когда рассчитывал застать у нее Зльмиру, и однажды вечером взял с собой Вильгельма. Войдя, оба были огорочены, увидев в соседней комнате Фигину в объятиях молодого офицера, на котором был красный мундир и белые панталоны, а так как стоял он спиной, лица они ие видели. Филина вышла к гостям в прихожую, притворив за собой дверь.

— Вы застигли меня на необычайном приключении! — воскликнула она.

— Не так уж оно необычайно, — заявил Зерло»- покажите же нам этого хорошенького юного счастличика; вы достаточно нас выдрессировали, чтобы мы отважились ревновать.

— Придется на время оставить вас при подозрении, — игриво произнесла Филина, — однако заверяю вас — это всего лишь подружка, которая хочет побыть у меня несколько дней инкогнито. Вскоре вы узнаете о превратностях ее судьбы, а может статься, даже познакомитесь с этой увлекательной девицей, и у меня, по всей вероятности, будет причина поупражняться в скромности и снисходительности, ибо, боюсь, вы, господа, из-за новой знакомой забудете старую приятельницу.

Вильгельм словно прирос к месту — с первого взгляда красный мундир напомнил ему столь любимый им наряд Марианы; это был ее стан, ее светло-русые волосы, только ростом нынешний офицер был чуть повыше.

— Бога ради, расскажите нам побольше о вашей подруге! — взмолился он. — Покажите переодетую девицу. Ведь мы и так уже соучастники тайны! Мы обещаем, мы клянемся молчать, только покажите нам ее!

— Ишь как он загорелся! — вскричала Филина. — Но погодите, потерпите, нынче все равно ничего не выйдет.

— Скажите только, как ее прозывают, — попросил Вильгельм.

— Хороша же будет тайна! — воскликнула Филина.

— Ну, хотя бы, как ее имя?

— Коли угадаете, так и быть, скажу. Можете гадать до трех раз, не больше; а то вы вздумаете гонять меня по всем святым.

— Хорошо, — сказал Вильгельм. — Итак, Цецилия?

— Никаких Цецилий.

— Генриетта?

— Отнюдь нет. Берегитесь! Как бы ваше любопытство не осталось на бобах.

Вильгельм колебался и трепетал; он хотел заговорить, язык ему не повиновался.

— Мариана? — пролепетал он наконец. — Мариана!

— Bravo! Попали в точку! — выкрикнула Филина и, по своему обыкновению, повернулась на каблучках.

Вильгельм не мог вымолвить ни слова, а Зерло, не замечая его смятения, упорно требовал, чтобы Филина отворила дверь.

Как же поразились оба, когда Вильгельм резко прервал их шутивную перебранку и бросился к ногам Фирины, с неподдельным пылом умоляя и заклиная ее.

— Покажите мне эту девушку! — восклицал он. — Она моя, она моя Мариана. Та, по ком я тосковал все дни моей жизни, та, кого до сих пор мне не заменят все женщины мира! Подите хотя бы к ней и скажите, что я здесь, что здесь человек, для которого с ней нераздельна первая его любовь и все счастье его юности. Он хочет оправдаться в том, что неласково расстался с ней, он хочет просить у нее прощенья и сам простит ей все, в чем бы она перед ним ни провинилась, он не будет больше притязать на нее, лишь бы хоть раз ее увидеть, лишь бы увидеть, что она жива и счастлива!

Филина покачала головой и сказала:

— Говорите потише, друг мой! Не будем обманываться, и если эта женщина в самом деле ваша подруга, мы должны пощадить ее, — ведь она никак не ожидает встретить вас здесь. Ее привели сюда совсем другие обстоятельства, а вы и сами знаете, что лучше в неподходящую минуту увидеть привидение, чем отставного любовника, и мы вместе рассудим, как быть. Завтра я извещу вас записочкой, в котором часу вам приходиться и приходиться ли вообще. Не вздумайте ослушаться меня, ибо, клянусь, никто в глаза не увидит это милое создание наперекор моей и ее воле. Я накрепко запру свои двери, а с ломом и топором вы вряд ли вздумаете явиться ко мне.

Вильгельм молил ее, Зерло уговаривал. Напрасно! Обоим приятелям пришлось под конец сдаться, и они ретировались из комнаты и дома.

Нетрудно представить себе, в какой тревоге провел эту ночь Вильгельм, легко понять, как медленно тянулись часы, пока он дождался записки от Фирины. Как на грех, ему надо было играть в тот вечер; никогда не знал он такой пытки. По окончании спектакля устремился он к Фирине, не задаваясь вопросом, готовы ли его принять. Он нашел ее дверь на запоре, а прислуга и соседи сказали: «Мамзель отбыла нынче поутру с молодым офицером; хоть она и обещалась приехать через несколько дней, однако навряд ли она воротится; вещи свои она забрала с собой, за все расплатилась».

Вильгельм совсем обезумел от этого известия. Он бросился к Лаэрту с предложением пуститься за ней в погоню и любой ценой узнать правду о ее спутнике.

На это Лаэрт принялся укорять друга в несдержанности и наивности.

— Готов присягнуть, — заверил он, — что это не кто иной, как Фридрих; мне доподлинно известно, что он мальчик из хорошей семьи; он страстно влюблен в Фирину и, должно быть, выудил у родных достаточно денег, чтобы пожить с ней еще какое-то время.

Эти уговоры не убедили Вильгельма, однако заронили в нем сомнения. Лаэрт доказывал ему, как нелепа басня, сочиненная Фириной, как фигура и волосы сходны с Фридриховыми, как трудно догнать беглецов, опередивших их на полсутки, а главное, как невозможно для

Зерло обойтись без них в спектакле.

Под влиянием всех этих доводов Вильгельм наконец отказался самолично пускаться в погоню. Лаэрту удалось в тот же вечер раздобыть толкового человека, которому можно было бы дать такое поручение.

Это был человек положительный, служивший многим господам курьером и проводником в путешествии, а ныне сидевший без работы. Ему дали денег, изложили суть дела и поручили напасть на след беглецов, нагнать их, а затем не выпускать из виду и тотчас же сообщить нашим друзьям, где и как он их нашел. Он не мешкая сел на лошадь и поскакал вдогонку за двусмысленной парочкой, а Вильгельм хоть отчасти успокоился принятой мерой.

## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Ни в театре, ни среди публики исчезновение Филины не произвело особой сенсации. Сама она ни к чему не относилась всерьез; женщины все без изъятия терпеть ее не могли, а мужчины предпочитали видеть ее с глазу на глаз, чем на сцене; таким образом, ее прекрасное, поистине ценное артистическое дарование пропадало зря. Тем больше старались остальные; особенным усердием и вниманием отличалась мадам Мелина; как и прежде, она перенимала все взгляды Вильгельма, следовала его принципам, его примеру и с некоторых пор приобрела своеобразную привлекательность. В короткий срок научилась она играть по всем правилам, в совершенстве усвоила естественный разговорный тон и даже — отчасти — тон эмоциональный. Она умела приноровиться к причудам Зерло, ему в угоду занялась пением, в котором преуспела достаточно для развлечения общества.

Труппа пополнилась несколькими вновь прибывшими актерами, и меж тем, как Вильгельм и Зерло действовали каждый в своей области, — первый в любой пьесе старался уловить смысл и тон целого, а второй добросовестно разрабатывал отдельные части, — актеры, в свой черед, были одушевлены похвальным рвением, за что публика горячо одобряла их.

— Мы на верном пути, — сказал однажды Зерло, — и ежели будем продолжать в том же духе, то и публику скоро наставим на путь истинный. Нелепым и неумелым истолкованием очень легко сбить людей с толку; а преподнеси им ра- зумное и достойное в увлекательной форме, они непременно потянутся к нему.

Главный недостаток нашего театра, не признаваемый ни актерами, ни публикой, заключается в царящей там неразберихе, в отсутствии того предела, на который можно опереться в своем суждении. Я не вижу прока в том, что мы расширили наши подмостки до некой неограниченной естественной арены; но сузить для себя ее пределы теперь уже не могут ни режиссер, ни актер; быть может, со временем вкус нации укажет правильные границы. Хорошее общество, а также хороший театр существуют лишь в определенных условиях. Есть манеры и выражения, есть темы и поведение, которым не должно быть места. Люди не становятся бедными, когда умеряют свою расточительность.

Кое в чем они были здесь согласны, а кое в чем и не согласны между собой. Вильгельм и большая часть актеров были сторонниками английского театра, а Зерло и другие — французского.

Единогласно было решено в свободные часы, коих у актеров, к сожалению, слишком много, совместно прочесть самые прославленные пьесы того и другого театра, отмечая все лучшее и достойное подражания. Начало в самом деле было положено несколькими французскими пьесами. Аврелия удалялась всякий раз, как приступали к чтению. Поначалу Это приписывали недомоганию; но однажды Вильгельм, заметив это, спросил ее о причине.

— Ни на одном таком чтении я присутствовать не буду! — заявила она, — как могу я что-то слушать и обсуждать, когда у меня сердце разрывается. Французский язык я нена «вижу всей душой».

— Можно ли враждебно относиться к тому языку, кото- рому мы обязаны львиной долей своего образования? — возмутился Вильгельм. — Да и впредь будем обязаны многим, доколе не обретем собственного облика!

— Это отнюдь не предвзятость! — возразила Аврелия. — Тягостное впечатление, ненавистное воспоминание о моем вероломном друге отбило у меня вкус к этому прекрасному, до тонкости развитому языку. Как же глубоко я теперь ненавижу его! В пору нашей близости друг мой писал мне по-немецки, и на каком же сердечном, правдивом, сочном немецком языке! А как только ему захотелось избавиться от меня, он начал писать по-французски, к чему прежде прибегал лишь изредка и в шутку. Я почувствовала, я поняла, что это значит. То, чего на родном языке он не высказал бы, не краснея, совесть позволяла ему спокойно написать по-французски. Лучше не придумай язык для умолчаний, недомолвок и лжи! Это язык коварный! Хвала создателю, в нашем языке не найдется слова, полностью передающего французское *perfidie*! Наше «неверный» — невинное дитя рядом с ним. *Perfide* — это неверный со сладострастием, с задором и злорадством. Да, можно позавидовать развитию нации, уме\*\* ющей в одном слове дать столько тончайших оттенков! Фран- цузскому очень пристало быть светским языком, ему следова\* ло бы стать языком всеобщим, чтобы все вволю могли друг друга обманывать и дурачить. Французские его письма все еще приятно было читать. При должном воображении они звучали нежно и даже страстно. Но на трезвый взгляд это были фразы, ненавистные фразы! Из-за него для меня потеряли очарование и французский язык, и французская литература, и даже прекрасные, бесценные чувства высоких душ, выраженные на этом наречии; меня дрожь берет от каждого французского слова!

В таком роде она могла разглагольствовать часами, изливая свой гнев, перебивая или расстраивая всякую иную беседу. Рано или поздно Зерло умудрялся досадливым замечанием положить конец ее вздорным выпадам; но обычно разговор бывал испорчен на весь вечер.

К сожалению, так уж водится, что все, создаваемое совокупностью людей и обстоятельств, не сохраняется на долгий срок в совершенном виде. Для театральной труппы, как и для целого государства, для дружеского кружка, как и для целой армии, обычно настает минута, когда они достигают высшей точки совершенства, согласия, удовлетворения и деятельной энергии; но чаще всего действующие лица быстро сменяются, на сцену выступают новые участники, люди уже не согласуются с обстоятельствами, а

обстоятельства не согласуются с людьми; все становится иным, и что недавно было связано между собой, вскоре распадается. Один период труппа Зерло добилась, пожалуй, такого совершенства, каким не могли бы похвалиться все другие немецкие труппы. Большинство актеров было на своем месте, все были достаточно заняты своим делом и охотно занимались тем, что им полагалось делать. Личные отношения между ними были сносные, и каждый, казалось, обещал преуспеть в своем искусстве, потому что на первых порах работал с жаром и увлечением. Однако вскоре обнаружилось, что некоторые из них просто автоматы, которые могут чего-то достичь лишь там, где не требуется чувства, а скоро сюда примешались и страсти, встающие на пути всякого хорошего начинания и с такой легкостью разоряющие то, что людям разумным и благомыслящим хочется скрепить.

Уход Филины оказался не столь уж незаметным, как представлялось вначале; с великим искусством умела она развлечь Зерло и в большей или меньшей степени раззадорить всех остальных. Вспыльчивость Аврелии она сносила с великим терпением, а особой ее заботой было льстить Вильгельму. Таким образом, она была своего рода связующим всех звеном, и отсутствие ее вскоре оказалось весьма чувствительным.

Зерло не мог жить без интрижки. Эльмира, подросшая в короткий срок и, надо признать, сгчень похорошевшая, давно уже привлекала его внимание, а у Филины хватало ума поощрять это увлечение, как только она его подметила.

«Надо заблаговременно переходить на сводничество, — говаривала она, — к старости нам одно это и остается». Тем самым Зерло и Эльмира оказались настолько близки, что вскоре после отъезда Филины не замедлили сойтись, и эта интрижка развлекала обоих, тем более что у них были все основания держать ее в тайне от старика, который не потерпел бы подобных вольностей. Сестра Эльмиры была в заговоре, вследствие чего Зерло приходилось потворствовать обеим девушкам. Одним из их крупнейших пороков была непомерная страсть к лакомствам, — проще говоря, непозволительное обжорство, в чем они никак не походили на Филину, которая от сравнения только выигрывала в привлекательности, потому что она-то, можно сказать, питалась одним воздухом, очень мало ела и лишь на грациознейший манер слизывала пену с бокала шампанского.

А теперь Зерло, в УГ°ДУ своим красоткам, должен был соединять фриштык с обедом, а то даже и с ужином. Кроме того, Зерло лелеял прожект, выполнением коего очень был озабочен. Ему казалось, что он подметил склонность между Вильгельмом и Аврелией, он очень яселал, чтобы она обратилась в серьезное чувство. Он рассчитывал взвалить тогда на Вильгельма всю техническую часть театрального хозяйства и обрести в нем, как в первом своем зяте, надежного и усердного исполнителя. Пока что он незаметно успел передать ему большую часть хлопот. Аврелия ведала кассой, а Зерло, как в прежние времена, устроил себе жизнь по своему вкусу. Но было нечто, втайне уязвлявшее и его самого, и его сестру.

Публика своеобразно относится к известным личностям с признанными заслугами; она мало-помалу начинает охладевать к ним и переносит свое благоволение на новоявленные дарования куда меньшего размаха, к первым она предъясвляет непомерные требования, а у последних приемлет все.

У Зерло и Аврелии не было недостатка в такого рода наблюдениях. Все внимание, весь успех обратились на вновь прибывших актеров, особливо молодых и аванажных, а брату и сестре, невзирая на все усердие и старание, зачастую приходилось покидать сцену, не слыша столь желанного шума рукоплесканий. Правда, к тому были еще и особые причины. Гордыня Аврелии всем бросалась в глаза, и многие были наслышаны об ее презрении к публике. Зерло же умел польстить каждому в отдельности, но его язвительные отзывы о публике в целом неоднократно передавались из уст в уста. А из новых участников труппы одни были люди чужие и неизвестные, другие были молоды, ласкательны и нуждались в поддержке; потому все они нашли себе покровителей.

Вскоре к тому же начались внутренние неурядицы и обиды; едва только обнаружилось, что Вильгельм взял на себя обязанности режиссера, как многие актеры стали проявлять тем большую строптивость, чем настойчивее старался он, по своему обычаю, внести в дело порядок и точность и особо требовал, чтобы с технической стороны не было срывов и неполадок.

За короткий срок все отношения, бывшие некоторое время поистине идеальными, докатились до уровня самой последней бродячей труппы. К несчастью, как раз когда прилежными трудами и большим напряжением сил Вильгельм вполне усвоил себе требования актерской профессии, отдавшись ей всем своим существом и занимаясь только ею, ему в часы уныния стало казаться, что это ремесло менее всякого другого достойно такой затраты времени и сил. Работа докучна, а оплата ничтожна. Куда охотнее занялся бы он любым другим делом, окончив которое можно отдохнуть со спокойной душой, тогда как здесь, преодолев технические трудности, достигая цели своих стараний лишь путем величайшего душевного и умственного напряжения. Ему приходилось выслушивать сетования Аврелиина расточительность брата и пропускать мимо ушей намеки Зерло, когда тот пытался издали навести его на мысль о браке с сестрой. Притом ему надо было скрывать собственную свою печаль, угнетавшую его с тех пор, как гонец, посланный вслед сомнительному офицеру, не вернулся сам и не подавал о себе вести. Друг наш страшился, что вторично утратил свою Мариану.

Именно в это время по случаю всеобщего траура театр пришлось закрыть на несколько недель. Вильгельм воспользовался простоем, чтобы посетить священника, на попечении которого находился арфист. Местность оказалась приятная, а первый, кого увидел Вильгельм на церковном дворе, был старик, обучавший какого-то мальчугана игре на своем инструменте. Он очень обрадовался при виде Вильгельма, поднялся, протянул ему руку и сказал:

— Видите, я еще чем-то могу быть полезен на свете; дозвоьте мне продолжать, время мое распределено по часам.

Священник весьма приветливо встретил Вильгельма и рассказал, что здоровье старика налаживается и есть надежда на полное его исцеление.

В беседе речь, естественно, зашла о способе пользования помешанных.

— Помимо физической стороны, — начал священник, — которая зачастую ставит перед нами непреодолимые препятствия, так что мне приходится прибегать к помощи вдумчивого врача, средства исцеления помешательства, на мой взгляд, весьма просты. Это те же самые средства, коими здоровым людям не дают сойти с ума. Надо побуждать их к самостоятельной деятельности, приучать к порядку,



внушать им, что их бытие и судьба подобны судьбам многих других людей, что яркая одаренность, величайшее счастье и величайшее несчастье — лишь малые отклонения от нормы, — и тогда никакое безумие не найдет себе лазейки, а если оно уже зародилось, то мало-помалу исчезнет. Я распределил время старика по часам; он обучает нескольких ребят игре на арфе, помогает в садовых работах и уже заметно повеселел. Ему хочется поесть капусты, посаженной им самим, а так как он завещал арфу моему сыну, ему хочется как можно лучше выучить моего сына игре на арфе, чтобы она пригодилась мальчику. Как духовный наставник я не старался особенно вмешиваться в его непонятные душевные терзания, сама по себе деятельная жизнь влечет за собой множество событий, и он не замедлит почувствовать, что работа — лучшее лекарство против всякого рода сомнений. Я действую с осторожностью; а когда мне вдобавок удастся упразднить его бороду и хламиду, я сочту, что добился многого; ибо ничто так не приближает нас к безумию, как старание выделиться среди всех; и ничем мы так не сохраняем здравый смысл, как общностью с большинством окружающих людей. К несчастью, в нашем воспитании, в наших гражданских установлениях много такого, чем мы приуготавливаем себя и своих детей к сумасшествию!

Вильгельм пробыл у этого рассудительного человека несколько дней и наслушался презанимательных рассказов не только о свихнувшихся людях, но и о таких, которые слывут умными и даже мудрыми, однако по чрезмерной своеобычности недалеко от безумия.

Беседа оживилась втройне, когда явился лекарь, частенько навещавший своего друга священника и помогавший ему в человеколюбивых трудах. Это был пожилой мужчина, невзирая на слабое здоровье много лет отдавший своим благороднейшим обязанностям. Он был горячий сторонник сельской жизни и почти не мог жить иначе как на свежем воздухе; притом он был весьма общителен, деятелей и с давних пор имел особую склонность заводить дружбу с сельскими священниками. Всеми силами старался он содействовать тем, кто занимался полезным делом; другим, еще не нашедшим своего призвания, он старался придумать занятие по вкусу; а имея общение с дворянством, с чиновным и судейским сословием, он за двадцать лет успел без огласки немало поспособствовать развитию целого ряда отраслей сельского хозяйства, помогая процветанию всего, что полезно для пашен, животных и людей, и тем насаждая подлинное просвещение.

— Хуже нет для человека, — говаривал он, — ежели в голове у него засядет идея, не приобщающая его к деятельной жизни или, чего доброго, отвлекающая от оной. У меня в настоящее время перед глазами пример знатной и богатой супружеской четы, где все мое искусство до сей поры было бессильно; да, пожалуй, случай этот больше по вашей части, милейший пастор, а молодой человек, конечно, не станет его разглашать.

В отсутствие некоего вельможи приближенные его ради малопохвальной шутки нарядили одного молодого человека в домашнее платье хозяина, дабы ввести, в заблуждение его супругу. Хотя мне и представили это как безобидный фарс, я опасуюсь, что тут имелось намерение совратить благородную и любезную даму с пути истинного.

Внезапно возвращается супруг, входит к себе в спальню, воображает, что увидел самого себя, и с той минуты впадает в меланхолию, убедив себя, что скоро умрет.

Он попадает под влияние лиц, которые пичкают его религиозными идеями, и я теряюсь, не зная, как уговорить его, чтобы он вместе с супругой не вступал в общину гернгутеров и, не имея детей, не лишал своих родных большей части наследства.

— Вместе с супругой? — «яе удержавшись, выкрикнул Вильгельм.

— Вся беда в том, что дама эта удручена еще более тяжким горем и отнюдь не противится удалению от света, — объяснил врач, приняв возглас Вильгельма за выражение человеколюбивого участия. — Когда тот же молодой человек про-» шался с ней, у нее не достало осторожности скрыть зарождающееся чувство. Он, осмелев, заключил ее в объятия и при Этом вдавил ей в грудь осыпанный бриллиантами портрет ее супруга. Она ощутила сильную боль, которая постепенно утихла, только оставила легкую красноту, которая тоже про-» шла бесследно. Как человек я уверен, что ей больше не в чем себя упрекнуть, а как врач не сомневаюсь, что это по\* вреждение не будет иметь дурных последствий, однако ее не убедишь, что там нет затвердения, а когда ощупыванием стараешься побороть ее мнительность, она твердит, что хотя сейчас там ничего не заметно, но она уверена, что кончится Это раковой язвой, а значит, ее молодость и прелесть погибли и для нее самой, и для других.

— Злосчастный я человек! — вскричал Вильгельм, схватившись за голову, и Оросился от своих собеседников в поле. Никогда в жизни не испытывал он ничего подобного.

Врачу и священнику, пораженным таким неожиданным открытием, пришлось немало с ним повозиться, когда он вернулся ввечеру и подробно рассказал о происшедшем, горько себя укоряя. Оба приняли в нем живое участие, особенно после того, как он, под воздействием минуты, мрачнейшими красками обрисовал им теперешнее свое состояние.

На другой день врач без дальних просьб отправился с ним в город, дабы ободрить его и по мере возможности оказать помощь Аврелии, которую друг ее оставил в критическом положении.

Здоровье ее оказалось еще хуже, чем они ожидали. У нее объявилось нечто вроде перемежающейся лихорадки, которая тем меньше поддавалась лечению, что больная, в силу своего характера, умышленно поддерживала и усугубляла пароксизмы.

Незнакомец был введен к ней не как врач и держал себя очень ласково и тактично. Когда речь зашла о состоянии ее тела и духа, новый друг привел немало случаев, когда люди, столь же слабые здоровьем, доживали до преклонных лет; однако тут вреднее всего умышленно ворошить тягостные переживания. Он не стал скрывать, что считает счастливым удел тех, чье болезненное состояние, правда, не поддается полному излечению, но кто при этом исполнен истинно религиозных чувств. Он говорил об этом не назойливо, скорее в повествовательном духе, и пообещал новым друзьям дать «для прочтения интересный манускрипт, полученный им из рук ныне покойной замечательной женщины, его приятельницы.

— Рукопись эта бесконечно мне дорога, — сказал он, — я я вверяю вам ее подлинник. Только заглавие написано моей рукой: «Признания

На прощание врач преподал Вильгельму ценный совет касательно диетического и медицинского пользования потерявшей себя от горя Аврелии, обещал писать и, если представится возможность, приехать еще раз.

Между тем в отсутствие Вильгельма наметились перемены, которых он никак не ожидал. В бытность свою режиссером он вел дело независимо и с размахом, во главу угла ставил самую суть, не скупился на приобретение богатых и добротных костюмов, декораций и реквизита, а также потворствовал своекорыстью актеров, дабы поддержать в них рвение, видя, сколь бессильны более возвышенные доводы; он считал, что вправду поступать так, ибо сам Зерло не притязал на роль расчетливого хозяина, охотно слушал, как восхваляют великолепие его театра, и был доволен, когда Аврелия, заправлявшая всем хозяйством, заявляла, что, за вычетом Есех расходов, долгов у нее нет, и даже давала брату сколько надобно, чтобы погасить те долги, в которые он входил через расточительные траты на своих красоток и еще невесть какие расходы.

Ведавший гардеробом Мелина исподтишка, с присущим ему холодным коварством наблюдал, как идет дело, когда же Вильгельм отлучился, а болезнь Аврелии усилилась, не преминул ввернуть Зерло, что нехудо бы побольше зарабатывать, меньше расходовать и либо кое-что прикапливать, либо при; келайии жить еще веселее. Зерло благосклонно выслушал его, тогда Мелина отважился выдвинуть свой прожект.

— Я не хочу утверждать, — начал он, — что некоторые актеры получают сейчас слишком большое жалованье: это люди весьма достойные, они повсюду были бы приняты с распростертыми объятиями; однако же по тому доходу, который они нам дают, получают они слишком много. Я предложил бы перейти на оперу, а что касается драмы, скажу вам напрямик — такой человек, как вы, стоит целой труппы. И неужто вам самому теперь не видно, что ваши заслуги недооцениваются. Не потому, что партнеры у вас такие уж выдающиеся, а потому, что они попросту хороши, вашему замечательному таланту более не отдается должного. Возьмите, как прежде, все дело в свои руки, подыщите себе посредственных, осмелюсь даже сказать, плохих актеров за малую мзду, подтяните их в техническом смысле, что вы превосходно умеете делать, а главные усилия обратите на оперу, и вы увидите, что с той же затратой труда и средств добьетесь большего успеха у публики и не в пример более внушительных барышей, нежели сейчас.

Зерло был настолько польщен, что возражения его никак не могли звучать убедительно.

Он не утаил от Мелины, что, будучи любителем музыки, давно мечтал о чем-то подобном, однако ему ясно, что публика тогда совсем уж запутается в своих пристрастиях и при таком смешанном театре, не та оперном, не то драматическом, неизбежно утратит последние понятия о настоящем и полноценном произведении искусства.

Мелина грубовато поострил над Вильгельмовыми педантическими возражениями такого рода, над его притязаниями вести за собой публику, а не идти у нее на поводу, и оба единодушно согласились между собой, что надобно лишь загребать деньги, богатеть или весело жить, и не стали скрывать друг от друга, что только мечтают избавиться от людей, препятствующих исполнению их намерений. Мелина сокрушался, что по слабости здоровья Аврелия вряд ли долго протянет, на самом же деле лишь радовался этому. Зерло на словах жалел, что из Вильгельма не выйдет певца, давая этим понять, что вскорости он окажется лишним. Мелина представил целый реестр расходов, которые можно сократить, и Зерло убедился, что в его лице получит достойную замену своему первому зятю.

Оба, конечно, почувствовали, что должны сохранить свой разговор в тайне, и тем еще крепче связали себя друг с другом; теперь они постоянно искали случая наедине обсуждать все события, порицать все затеи Аврелии и Вильгельма и мысленно совершенствовали свой прожект.

Как ни умалчивали они о своих намерениях, как ни боялись выдать себя неосторожным словом, у них не доставало политичности, чтобы всем поведением не обнаружить своих замыслов. В целом ряде случаев, входивших в его сферу, Мелина резко восставал против Вильгельма, Зерло же, который никогда особо не мицдальничал с сестрой, теперь обращался с ней все грубее по мере того, как усиливалась ее болезнь, хотя вспышки и срывы в ее настроении, казалось бы, требовали сугубой бережности.

Как раз в эту пору решено было поставить «Эмилию Галотти». Роли распределились очень удачно, и всякий мог в узкой сфере этой трагедии блеснуть всем многообразием своей игры. Зерло был вполне на месте в роли Маринелли, Одоардо был подан превосходно, мадам Мелина очень проникновенно исполняла роль матери, Эльмира, играя Эмилию, показала себя с наилучшей стороны. Лаэрт с большим достоинством играл Аппиани, а Вильгельм потратил много месяцев на изучение роли принца. В связи с этим он и про себя, и совместно с Зерло и Аврелией не раз решал вопрос, есть ли разница в манере поведения между благородством и знатностью, непременно ли благородство сопутствует знатности, а знатность благородству — нет.

Зерло, изображавший Мариелли как царедворца в чистом виде, безо всякой карикатурности, высказал по этому поводу немало ценных мыслей.

— Трудно подражать достоинству человека знатного, — говорил он, — ибо оно негативно как таковое и усвоено длительным навыком. В поведении своем никак нельзя выставлять его напоказ, иначе можно впасть в подчеркнутую надменность; нужно лишь избегать всего недостойного, вульгарного, не забываясь ни на миг, внимательно следить за собой и за другими, себе не прощать ничего, в отношениях с другими соблюдать меру, не показывать ни умиления, ни волнения, никогда не поступать непродуманно, в каждую данную минуту владеть собой и сохранять внешнее равновесие, какая бы внутри ни бушевала буря. Благородный человек может в иную минуту утратить над собой власть, знатный же — никогда. Его можно уподобить разодетому щеголю, который и сам ни к чему не прислонится, и всякий остережется его задеть; он отличен от других, однако обособляться ему нельзя — в этом, как и в каждом искусстве, самое трудное должно выполняться с легкостью; так, знатный человек при всей дистанции должен показывать свою общность с другими, быть учтивым, а не чопорным, всюду быть первым лицом, но не навязывать себя как таковое.

Отсюда ясно, что казаться знатным может лишь тот, кто сам приобщен к знати; ясно также, почему женщинам, как правило, это дается легче, нежели мужчинам, почему придворные и военные скорее приобретают сановный вид.

Вильгельм чуть не дошел до отчаяния от своей роли, однако Зерло и тут помог ему тонкими замечаниями по отдельным деталям, добившись того, что на спектакле Вильгельм, хотя бы в глазах толпы, явился отменнейшим принцем.

Зерло обещал после спектакля сделать ему какие найдет нужным дополнительные замечания; однако неприятный спор между братом и сестрой помешал всякому обсуждению. Аврелия так сыграла роль Орсины, как, верно, не сыграет никто. Роль она знала очень хорошо и на репетициях подходила к ней как-то безразлично; на спектакле же она, можно сказать, сорвала все препоны с личного своего горя и достигла таких исполнительских высот, каких не измыслит ни один поэт в первом порыве вдохновения. Безудержный восторг публики был наградой ее мучительным усилиям, зато сама она почти без чувств лежала в кресле, когда к ней пришли после представления.

Как всегда в гневе, скрежеща зубами и топая ногами, Зерло уже высказал свое негодование по поводу того, как можно было, по его мнению, до такой степени пересаливать в игре и обнажать тайники своего сердца перед публикой, более или менее осведомленной об ее пресловутой драме.

— Оставьте ее! — потребовал он теперь, увидев, как лежащую в кресле сестру обступили остальные актеры. — Скоро она выйдет на сцену совсем голой, и тогда рукоплесканьям не будет удержу.

— Неблагодарный, неумолимый изверг! — выкрикнула она. — Скоро меня нагой понесут туда, где никакие рукоплескания не достигают нашего слуха!

С этими словами она вскочила и бросилась к дверям. Служанка не успела подать ей плащ, портшеза у выхода не оказалось. Прошел дождь, по улицам свистал пронизывающий ветер. Тщетно удерживали ее, видя, как она разгорячена; она умышленно шла не спеша и радовалась прохладе, жадно впивая холодный воздух. Домой она пришла совсем охрипшая, почти не могла говорить, но не сознавалась, что в затылке и вдоль спины чувствовала онемение.

Очень скоро у нее почти полностью парализовался язык, так что она говорила не те слова, какие хотела; ее уложили в постель; срочными мерами удалось остановить один недуг, зато обнаружился другой. Она тряслась в лихорадке. Положение ее было опасное.

Наутро ей ненадолго полегчало. Она велела позвать Вильгельма и дала ему письмо.

— Это послание давно уже ждет своего часа, — сказала она. — Я чувствую, конец моей жизни близок. Обещайте мне, что вы сами вручите письмо и несколькими словами отместите изменщику за мои муки. Он не совсем бесчувствен, и моя смерть хоть на миг причинит ему боль.

Вильгельм взял письмо, стараясь вместе с тем утешить ее и отвлечь от мыслей о смерти.

— Нет, не лишайте меня последнего упования! — возразила она. — Я долго ее ждала и радостно приму ее в свои объятия.

Вскоре пришла обещанная врачом рукопись. Аврелия попросила Вильгельма почитать ей оттуда; о воздействии этого манускрипта читатель лучше всего может судить, ознакомившись со следующей книгой. Пылкий и своевольный нрав нашей бедной знакомицы как-то сразу смягчился. Письмо она взяла назад и написала другое, по-видимому, в более миролюбивом духе; коль скоро известие о ее смерти опечалило бы неверного друга, она закланала Вильгельма утешить его и уверить в том, что она его простила и желает ему всяческого счастья.

С этой минуты она совсем затихла, казалось, всецело погрузившись в те немногие мысли, которые старалась усвоить из манускрипта, заставляя Вильгельма время от времени читать его вслух.

Силы ее убывали неприметно, и, придя ее навестить однажды утром, Вильгельм неожиданно застал ее мертвой.

Он питал к ней такое уважение и так привык постоянно общаться с ней, что очень болезненно ощутил утрату. Аврелия одна относилась к нему с настоящим доброжелательством, а холодность Зерло стала для него в последние дни слишком очевидной. Посему он поторопился исполнить поручение усопшей, и самому ему не терпелось побыть некоторое время вдалеке; с другой стороны, его отъезд был очень кстати для Мелины; ведя обширную переписку, он не замедлил сыскать певца и певицу, которые могли бы пока что, выступая в интермедиях, подготовить публику к будущей опере.

Это на первое время восполнило бы уход Аврелии из жизни и отлучку Вильгельма, а наш друг соглашался на все, что давало ему возможность пробыть в отсутствии несколько недель.

Он придавал чрезвычайную важность данному ему поручению.

Кончина женщины-друга глубоко затронула его и, видя, как рано сошла она со сцены, он, естественно, проникся враждой к тому, кто сократил ей жизнь, да и эту короткую жизнь обратил в муку.

Невзирая на исполненные кротости слова умирающей, он решил при вручении письма произнести суровый приговор вероломному любовнику, но, не желая полагаться на случайное настроение, надумал заготовить речь, которая вышла не в меру патетической. Вполне уверившись в образцовом построении своего опуса, он заучил его наизусть и стал готовиться к отъезду. Присутствовавшая при сборах Миньона спросила его, куда он едет — на юг или на север, — и, узнав, что на север, заявила:

— Тогда я буду здесь дожидаться тебя.

Она попросила подарить ей жемчужную нитку Марианы, и он не мог отказать милому созданию; шейный платок был уже отдан ей. Зато она сама сунула ему в чемодан серую дымку призрака, хоть он и говорил, что эта вуаль ни на что ему не нужна.

Мелина взяла себя режиссерские обязанности, а жена его пообещала материнским оком надзирать за детьми, от которых Вильгельм отрывался с нелегким сердцем. Феликс, прощаясь, был очень весел, а когда у него спросили, что ему привезти, он попросил:

— Послушай-ка! Привези мне папу.

Миньона взяла отъезжающего за руки, поднявшись на цыпочки, поцеловала его в губы чистосердечно и крепко, но без особой нежности и сказала:

— Мейстер! Не забывай нас и возвращайся поскорее.

Итак, мы покидаем нашего друга в ту минуту, как он пускается в дорогу, обуреваемый множеством мыслей и ощущений, и под конец приводим только стихи, которые Миньона не раз декламировала с большим чувством. Мы же никак не могли раньше познакомить с ними читателя под натиском такого множества удивительнейших событий.

Сдержись, я тайны не нарушу,

Молчанье в долг мне вменено.

Я б всю тебе открыла душу,

Будь это роком суждено.

Расходится ночная мгла

При виде солнца у порога,

И размыкается скала,

Чтоб дать источнику дорогу.

И есть у любящих предлог

Всю душу изливать в признание,

А я молчу, и только бог

Разжать уста мне в состоянье.[53]

## КНИГА ШЕСТАЯ

### ПРИЗНАНИЯ ПРЕКРАСНОЙ ДУШИ

До восьмого своего года была я совсем здоровым ребенком, однако вспомнить о той поре могу не более, чем о дне своего рождения. По восьмому году у меня пошла горлом кровь, и с той минуты душа моя вся обратилась в чувство и в память. Малейшие подробности этого события стоят у меня перед глазами, будто произошло оно только вчера.

Эти девять месяцев пребывания на одре болезни, с терпением перенесенные мною, заложили, как мне кажется, основу всего моего умственного склада, ибо духу моему впервые были преподаны тогда средства, способствующие самостоятельному его развитию.

Я терпела и любила — вот что составляло существо моего сердца. Во время приступов изнурительной лихорадки и жестокого кашля я была тиха, как улитка, что прячется в свой домик; а едва только наступала передышка, как мне хотелось испытать что-то приятное, но, будучи лишена всякой другой отрады, я старалась вознаградить себя через слух и зрение. Мне приносили игрушки и книжки с картинками, а кто желал посидеть у моей постели, обязан был что-нибудь мне рассказать. Из уст матери я охотно слушала библейские сказания; отец занимал меня рассказами о природе. У него был недурной естествоиспытательный кабинет. Оттуда он по мере надобности приносил мне ящик за ящиком, показывал их содержание и наглядно объяснял существо вещей. Засушенные растения и насекомые, разнородные анатомические препараты, человеческая кожа, кости и отдельные части египетских мумий приносились к постели больной девочки. Охотничью добычу отца показывали мне прежде, чем отправить ее на кухню; а чтобы прозвучал и голос князя мира сего, дьявола, тетушка рассказывала мне любовные истории и волшебные сказки. Все это воспринималось мною и пускало свои корни. Бывали минуты, когда я вступала в живую беседу с Незримым; мне еще памятливы стихи, которые я тогда продиктовала матери.

Часто я пересказывала отцу все слышанное от него же. Лекарство я соглашалась принять, лишь разузнав, где растет и как прозывается то, из чего оно сделано. Но и рассказы тетки падали не на каменистую почву. Я воображала себя разодетой в пышные наряды и встречалась в мечтах с красавчиками принцами, которые не желали знать ни сна, ни покоя, пока не разведают, кто эта прекрасная незнакомка. Подобную встречу с прелестным ангелочком в белых одеядах и с золотыми крылышками, который усердно увивался за мной, я воображала до тех пор, пока он чуть не стал мне видиться въяве.

Через год я почти совсем оправилась; однако от детской непосредственности во мне не осталось ни следа. Я и в куклы перестала играть, мне нужны были существа, которые отвечали бы на мою любовь. Очень радовали меня собаки, кошки, птицы, словом, все твари, которых держал мой отец, но чего бы не дала я, чтобы обладать тем созданием, которое играло весьма важную роль в одной из тетушкиных сказок. Это был ягненок, пойманный в лесу и выкормленный крестьянской девушкой; однако этот милый зверек был заколдованным принцем, и под конец он вновь обращался в прекрасного юношу и награждал свою благодетельницу тем, что женился на ней. Вот такого-то ягненка мне страсть как хотелось иметь.

Но ягненок не являлся, а вокруг все шло самым естественным порядком и я мало-помалу почти что утратила надежду на столь драгоценное приобретение, а покамест утешалась чтением книг, где описывались всякие чудеса.

Больше всего полюбился мне «Христианско-немецкий Геркулес»:[54] эта благочестивая любовная история была вполне в моем духе. Ежели что-либо случалось с его Валиской, а случались с ней невесть какие ужасы, герой поспешал ей на помощь, сотворив сперва молитву, и молитвы его были полностью прописаны в книге. Как это нравилось мне! Тяготение к Незримому,[55] смутно жившее во мне, только крепло от этого, — богу раз и навсегда надлежало быть также и моим наперсником.

Подрастая, я принялась читать все подряд без разбора; но пальму первенства отдавала «Римлянке Октавии».[56] Преследования первых христиан, облеченные в форму романа, живо интересовали меня.

Матушка журила меня за такое пристрастие к чтению; ей в угоду отец сегодня отбирал у меня книги, а назавтра снова отдавал их. Она была неглупа и понимала, что тут ничего не поделаешь, и только настаивала, чтобы Библия читалась мною столь же прилежно. Не терпя принуждения в этом, я, однако, по собственному почину с большим усердием читала Священное писание. Матушка не переставала опасаться, как бы мне в руки не попали соблазнительные книги, а я и сама отбросила бы всякое непристойное сочинение, ибо мои принцы и принцессы были в высшей степени добродетельны, впрочем, естественную историю рода человеческого я знала лучше, чем считала нужным показать, почерпнув свои сведения по преимуществу из Библии. Неясные места я сопоставляла со словами и предметами, мне знакомыми, и при своей изобретательности и сообразительности благополучно добиралась до истины.

Услышь я о колдуньях, мне бы приспичило познакомиться и с колдовством.

Стараниям матушки и собственной любознательности я обязана тем, что, при всем тяготении к книгам, я все же научилась стряпать; правда, тут было на что посмотреть. Истый праздник — взрезать курицу или поросенка! Я приносила внутренности отцу, и он объяснял мне их роль, словно юно\* ше-студенту, — с искренним удовлетворением называя меня своим незадавшимся сынком.

Но вот мне сравнялось двенадцать лет. Я обучалась французскому языку, танцам и рисованию. Наставляли меня, как положено, и в законе божием, пробуждая при этом новые чувства и мысли, не затрагивавшие, впрочем, моей души. Я слушала то, что говорили мне о боге, и была горда, что могу лучше своих сверстниц говорить о нем; теперь я ревностно читала те книги, которые давали мне пищу болтать о религии, но ни разу не подумалось мне, как же обстоит дело со мной самой, такова ли и моя душа, подобна ли она зеркалу, способна ли отражать вечное светило.

Французский язык я изучала с увлечением. Преподавал мне его человек положительный, не легковесный эмпирик и не сухой грамматист. Он много знал, он повидал свет. Вместе с обучением языку он питал мою любознательность разнообразными сведениями. Я так полюбила его, что всякий раз с сердцебиением ждала его прихода. Рисование давалось мне без труда, и я, конечно, преуспела бы в нем, обладай мой учитель умом и умением; у него же были только руки и навык.

Менее всего радовали меня поначалу танцы: я была — хрупкого сложения и уроки брала только в обществе сестры. Но танцмейстер наш затеял устроить бал для всех своих учеников и учениц, что могло только разогреть охоту к этому занятию.

Среди толпы мальчиков и девочек отметней всех оказались два гофмаршальских сына: младший — мой одноклассник, а другой — двумя годами старше; тот и другой, по общему признанию, дети невиданной красоты. Я, в свой черед, едва увидев их, больше ни на кого не глядела. С той минуты я стала внимательнее к танцам, и мне захотелось танцевать как можно красивее. Как случилось, что и оба мальчика отличили меня ото всех? Так или иначе, мы сразу же стали закадычными друзьями, и не успело маленькое празднество прийти к концу, как мы уже уговорились, к немалой моей радости, где встретиться в следующий раз. Окончательно пришла я в восторг, когда наутро получила от каждого из них по букету цветов и по галантной записке, в которой они осведомлялись о моем здоровье. Никогда более не испытывала я того, что испытала тогда! На учтивость я ответила учтивостью, на письмецо — письмецом. Церковь и прогулки стали отныне местом наших радеву.

Знакомые сверстники теперь уже постоянно приглашали нас вместе, но мы исхитрились так это скрывать, чтобы родители знали не более того, что мы считали нужным.

Итак, у меня сразу оказалось два воздыхателя, я не знала, кому из них отдать предпочтение; оба нравились мне, и мы все трое отлично ладили между собой. Внезапно старший тяжело заболел; сама я не раз тяжело болела и постаралась порадовать страдальца, посылая ему приятные пустячки и подходящие для больного лакомства; родители его оценили такое внимание и, вняв просьбе любимого сыночка, пригласили меня и моих сестер навестить его, едва только он поднялся с постели. Он встретил меня с недетской нежностью, и с того дня я сделала выбор в его пользу. Он сразу же предостерег меня от всякой откровенности с его братом; но пламень уже нельзя было утаить, а ревность младшего послужила за\* вершающим штрихом к роману. Братец стронл нам бесконечные каверзы, злорадно старался омрачить наше счастье, лишь умножая тем самым чувство, которое силится истребить.

Итак, я обрела желанного ягненка, и эта страсть оказала на меня то же действие, что и болезнь, я притихла и устранилась от шумных радостей. Умиленная душа искала уединения, и тут я вспомнила о боге. Он вновь стал моим наперсником, и мне ли забыть, какие слезы я проливали, молясь за мальчика, продолжавшего прихварывать.

Как ни много детского было в этих чувствах, они немало способствовали развитию моей души. Вместо обычных переводов наш учитель французского ежедневно требовал от нас писем собственного сочинения. Я изложила историю своей любви под именами Филлиды и Дамона. Старик учуял правду и, чтобы склонить меня к откровенности, всячески хвалил мое сочинение. Я расхрабрилась и разоткровенничалась, ни на йоту не отступая от истины. Не помню уж, на каком месте он нашел случай сказать:

— Как это мило, как натурально! Но пускай простушка Филлида поостережется, это может завести далеко!

Мне было обидно, что он не желает принять всю историю всерьез» и я с досадой спросила: что он понимает под словом «далеко»?

Он не стал церемониться и высказался так недвусмысленно, что мне едва удалось скрыть испуг. Но верх взяла досада; оскорбившись тем, что у него могут быть такие мысли, я овладела собой и, в стремлении оправдать свою прелестницу, заявила, вспыхнув до ушей:

— Однако ж, милостивый государь, Филлида девушка честная!

Но у него достало зловредства поднять меня на смех в моей честной героине и, жонглируя французским словом «honnete», применить к Филлиде все значение слова честность. Я почувствовала, что поставила себя в смешное положение, и была до крайности смущена. Не желая меня отпугнуть, он прервал разговор, но при случае не раз возвращался к нему. Сценки и рассказы, которые я читала на уроках, часто давали ему повод подчеркнуть, сколь слаба защита тая называемой добродетели против соблазнов страсти. Я перестала возражать, но возмущалась втайне, и намеки его ста\* ли мне в тягость.

С добрым моим Дамоном мы тоже мало-помалу разошлись. Каверзы младшего брата стали нам поперек дороги. Недолго спустя оба юноши умерли во цвете лет. Я погоревала, но вскоре забыла их.

Филлида быстро подрастала; окрепла здоровьем и увидела свет. Наследный принц женился и вскоре после кончины своего отца вступил на престол. Двор и город оживились. Для любопытства моего появилось теперь немало разнородной пищи. Спектакли сменялись балами и всем, что им сопутствует. И хотя родители по мере сил старались нас ограничить, однако я была представлена ко двору и мне приходилось там появляться. Отовсюду нахлынули чужеземцы, в каждом доме собирался большой свет; нам самим несколько кавалеров были рекомендованы, несколько других представлены, а у дядюшки моего был сбор всех наций.

Мой почтенный ментор не уставал остерегать меня деликатно, но наставительно, а я по-прежнему втайне на него злилась. Его утверждения ничуть не были для меня убедительны, и, может статься, права была тогда я, а он неправ, считая женщин во всех случаях столь слабыми; но говорил он так настойчиво, что в конце концов меня взяло сомнение, не прав ли он, и тут я с горячностью заявила ему: «Коль скоро опасность так велика, а сердце человеческое так слабо, мне остается молить бога, чтобы он оберег меня». Мой простодушный ответ явно порадовал его, и он похвалил мое намерение; но я-то отнюдь не думала так всерьез; на сей раз это были пустые слова, ибо тяга моя к Незримому почти совсем угасла. Оживленная толпа, которой я была окружена, рассеивала меня и, точно бурный поток, увлекала за собой. То были самые пустые годы в моей жизни. День-деньской болтать ни о чем, не иметь ни одной здоровой мысли, порхать, да и только, — вот каково было главное мое занятие. Даже любимые книги не приходили мне на ум. Люди, меня окружавшие, понятия не имели о науках; это была немецкая придворная среда, а у нее в ту пору не было и намека на культуру.

Весьма вероятно, что такой образ жизни привел бы меня на край гибели. Я жила бездумно, одними лишь чувственными радостями, не сосредоточиваясь, не молясь, не размышляя ни о себе, ни о боге; но я вижу в том милость провидения, что не пленилась ни одним из многих богатых и нарядных красавцев мужчин. Они были развратны и не скрывали этого, что и отпугивало меня; речь свою они уснащали двусмысленностями, что шокировало меня, и я держалась с ними холодно; их распущенность временами превосходила всякое вероятие, и я позволяла себе быть с ними грубой.

Вдобавок старик мой однажды доверительно поведал мне, что большинство этих распутных молодчиков ставили под угрозу не только что добродетель, но и здоровье девушки. Теперь уж они и вовсе стали для меня страшилищами: я боялась даже, чтобы кто-то из них близко подошел ко мне, я остерегалась коснуться их стаканов и чашек, а также стула, с которого встал один из них. Таким манером я нравственно и физически изолировала себя, все же расточаемые ими комплименты принимала горделиво, как заслуженный фимиам.

Из числа приезжих, обитавших в ту пору у нас, выгодно выделялся молодой человек, которого мы в шутку прозвали Нарциссом. Он снискал себе добрую славу на дипломатическом поприще и надеялся, ввиду больших перемен при нашем новом дворе, быть повышею в ранге. Он не замедлил познакомиться с моим отцом, и его познания, его поведение открыли ему доступ в замкнутый круг достойнейших мужей. Отец много говорил ему в похвалу, а красота его облика производила бы еще большее впечатление, если бы все его существо не дышало самодовольством. Я его видела и одобряла, но беседовать нам не случилось ни разу.

На одном большом балу мы с ним протанцевали менуэт, но и это не повело к более близкому знакомству. Когда начались быстрые танцы, которых я избегала в угоду отцу, озабоченному моим здоровьем, я удалилась в соседний покой и завязала беседу с пожилыми приятельницами, которые сели за карточную игру.

Нарцисс, попрыгав некоторое время, пришел в ту же комнату, что и я, и, оправясь от кровотечения из носа, которое случилось с ним во время танца, завел со мной разговор на разные темы. Не прошло и получаса, как диалог наш стал настолько увлекателен, хоть и без намека на нежности, что нам обоим сразу опостылели танцы. Дружья стали над нами подтрунивать по этому поводу, но нас это не смутило.

На следующий вечер мы, усердно оберегая свое здоровье, снова затеяли разговор.

Итак, знакомство состоялось. Нарцисс ухаживал за мной и за моими сестрами, и тут в памяти моей постепенно воскресло все то, что я знала, над чем думала, что прочувствовала и о чем умела поговорить. Новый мой знакомец постоянно вращался в лучшем обществе, кроме исторической и политической области, которые изучил досконально, обладал и обширными литературными сведениями; ни одна новинка, особенно из выходявших во Франции, не ускользала от его внимания. Он приносил и присылал мне много занимательных книжек, однако это держалось в секрете, не хуже чем заветное любовное признание. Ученых женщин у нас осмеивали, просвещенных тоже едва терпели, считая, должно быть, неприличным посрамление столь многих невежественных мужчин. Даже отец мой, хоть и был доволен, что представился новый случай развить мой ум, все же настаивал, чтобы Это литературное любезничанье сохранялось в тайне.

Наша дружба длилась год с лишним, и я не могу сказать, чтобы Нарцисс в какой-либо мере выказывал мне нежные чувства. Он был неизменно учтив и галантен, но не проявлял ни малейшего пыла; скорее он не остался равнодушен к прелестям моей младшей сестры, которая в ту пору была необычайно хороша. Он в шутку давал ей разные ласковые прозвища, черпая их из иностранных языков, коими владел отменно, и любил уснащать немецкую речь иноязычными оборотами. Сестрица не очень охотно откликнулась на его учтивости; у нее завязался другой интерес, притом же она была дерзка, а он обидчив, и между ними частенько происходили стычки из сущих пустяков.

Зато матери и тетущкам он умел угождать и мало-помалу сделался как бы членом нашей семьи.

Кто знает, сколько времени продолжалась бы такая жизнь, если бы непредвиденный случай разом не изменил наших отношений. Мы с сестрами были приглашены в один дом, где мне не нравилось бывать. Общество там собиралось слишком пестрое и зачастую попадались люди если и не совсем неотесанные, то весьма вульгарные. На сей раз Нарцисс был приглашен вместе с нами, и я склонялась пойти туда из-за него, будучи уверена, что мне обеспечен собеседник в моем вкусе. Уже за обедом нам пришлось немало натерпеться, потому что некоторые мужчины выпили лишнего и после трапезы затеяли играть в фанты. Шума и гама было много. Нарциссу выпало разыграть фант; ему присудили каждому сказать на ухо что-нибудь приятное. Он несколько замешкался возле моей соседки, жены одного капитана. Вдруг муж отвесил ему такую пощечину, что мне, сидевшей рядом, запорошило пудрой глаза. Протерев глаза и немного оправившись от испуга, я увидела, что оба мужчины обнажили шпаги. Нарцисс был окровавлен, а ревнивый супруг, не помня себя от вина и злобы, вырывался ото всех, кто пытался его удержать. Я взяла Нарцисса под руку, вывела на лестницу, поднялась с ним в другую комнату и, боясь, как бы взбешенный противник не настиг моего друга, заперла дверь на ключ.

Мы оба сперва считали рану неопасной, заметив лишь легкий порез руки; однако скоро мы увидели, что по спине у него струей течет кровь, и обнаружили большую рану на голове. Я в страхе выбежала на площадку, чтобы послать за помощью, но никого не было видно, все и вся толпились внизу, стараясь обуздать разъяренного пьяницу. Наконец наверх вбежала одна из хозяйских дочерей, и ее веселость окончательно вывела меня из равновесия, — она хохотала до упаду над этой дикой сценой и надо всей гнуснейшей комедией.

Я настоятельно попросила ее добыть мне хирурга, и она со свойственной ей необузданностью сама ринулась вниз по лестнице за врачом.

Я воротилась к своему раненому, руку обвязала ему своим носовым платком, а голову — висевшим у двери полотенцем. Кровотечение не унималось. Раненый побледнел, и казалось, вот-вот упадет в обморок. Поблизости не было никого, кто мог бы помочь мне; не задумываясь, я обняла бедняжку, старалась подбодрить, милоя и лаская его. Духовное врачевание, как видно, оказало целительное действие; чувств он не лишился, но был бледен как смерть.

Наконец прибежала хлопотливая хозяйка, и как же она испугалась, увидев, что Нарцисс в таком состоянии лежит в моих объятиях и оба мы залиты кровью. Никто не думал, что он ранен, все полагали, что мне удалось благополучно вызволить его.

Теперь уже в избытке появились и вино, и ароматическая вода, словом, все, что может оживить и освежить; прибыл теперь и хирург, и мне можно было удалиться, однако Нарцисс крепко держал мою руку; да и не держи он меня, я все равно не ушла бы. Во время перевязки я продолжала натирать его спиртом, не смущаясь присутствием всех обступивших нас гостей. Хирург кончил свое дело, раненый, прощаясь, поблагодарил меня, и его отнесли домой.

Хозяйка дома увела меня к себе в спальню; ей пришлось раздеть меня донага, и не скрою — пока с меня смывали кровь раненого, я случайно впервые обнаружила в зеркале, что и без покровов могу похвастаться красивой.

Ничего из своего наряда я надеть не могла, а все женщины в этом доме были либо меньше, либо толще меня, и потому я прибыла домой обряженная весьма странно, к великому изумлению родителей. Они были сильно раздосадованы и моим потрясением, и раной нашего друга, и вздорностью капитана, и всем происшествием в целом. Стремясь расквитаться за друга, отец чуть было сам не вызвал капитана. Он всемерно осуждал присутствовавших при сем мужчин за то, что они не нашли нужным покарать на месте столь гнусное Злодеяние; ибо не могло быть сомнений, что тотчас вслед за пощечиной капитан выхватил шпагу и сзади нанес удар Нарциссу, а руку поранил ему лишь после того, как Нарцисс сам взялся за шпагу. Я была до крайности шокирована и фраппирована, не знаю, как выразиться вернее; страсть, сокрытая в тайниках сердца, сразу во мне разгорелась, точно пламя, вырвавшееся на волю. Если веселье и радость споспешествуют зарождению любви и питают ее в тиши, то, будучи от природы отважна, любовь спешит стать решительной и явной, едва ее подстрекнет испуг. Дочурку успокоили лекарством и уложили в постель. Наутро отец поспешил к раненому другу, который лежал в жестокой лихорадке.

Отец не стал подробно передавать мне, о чем говорил с Нарциссом, постарался лишь успокоить меня на предмет последствий случившегося. Вопрос шел о том, можно ли удовольствоваться извинением, следует ли обратиться в суд, и о прочем тому подобном. Я слишком хорошо знала отца, чтобы поверить в его желание уладить дело без поединка; однако я помалкивала, памятуя отцовские слова, что женщинам не положено вмешиваться в дела такого рода. Да и навряд ли между обоими друзьями произошло нечто, затрагивающее меня; но вскоре отец открыл матери содержание дальнейшей их беседы. Нарцисс, по его словам, был очень тронут оказанной мною помощью, обнимал его, называл себя вечным моим должником, говорил, что не чаает счастья, которое не разделит бы со мной, и, наконец, испросил дозволения почитать его отцом. Матушка добросовестно пересказала все это мне, добавив от себя благомысленное напоминание, что на слова, сказанные в первом порыве, полагаться не следует. «Разумеется», — ответила я с напускным равнодушием, но один бог ведает, что я почувствовала при этом.

Нарцисс проболел два месяца. Из-за раны в руке не мог даже писать, зато всячески старался оказать мне знаки почтительнейшего внимания. Все его отнюдь не ординарные любезности я связывала с тем, что узнала от матушки, и голова у меня шла кругом. В городе только и было речи о случившемся. Со мной об этом говорили особым тоном, делая соответствующие выводы; я хоть и пыталась их отклонить, однако они живо меня затрагивали. То, что прежде было прихотью и привычкой, обратилось в серьезную склонность. Тревога, в которой я жила, становилась тем сильнее, чем решительнее старалась я скрыть ее от окружающих. Мысль потерять его пугала меня, а возможность более тесного союза повергала в трепет. Мысль о супружестве всегда вселяет страх в девочку-недоумка.

Все эти бурные переживания обратили меня к самой себе. Точно ветром сдуло пестрые картинки рассеянной жизни, денно и ночью стоявшие у меня в глазах. Душа моя вострепелась; однако полностью оборванное общение с незримым другом не так-то легко было восстановить. Отчужденность не проходила; зарождалось нечто новое, совсем отличное от прежнего.

Состоялся поединок, в котором капитан был опасно ранен, меня об этом не осведомили, а общественное мнение было всецело на

Смерть моего возлюбленного, который наконец-то вновь появился на сцене. Но первым делом он пожелал, чтобы его с забинтованной головой и рукой на перевязи принесли к нам в дом. Как при этом визите колотилось у меня сердце! Наша семья была в полном сборе; с обеих сторон все ограничилось благодарностями и учтивостями, однако же Нарцисс нашел случай украдкой выразить мне свою симпатию, отчего тревога моя еще усугубилась. Совершенно оправившись, он эту зиму бывал у нас в прежнем качестве и, при всех робких выражениях его нежных ко мне чувств, ничего не определилось.

Вследствие этого я не знала ни минуты покоя, не могла довериться ни одному человеку и слишком отдалилась от бога. За эти бурные четыре года я совсем забыла его; теперь я временами вспоминала о нем, однако охлаждение между нами не проходило; я ограничивалась официальными визитами и всегда при этом рядилась в парадные одежды, самодовольно красуясь перед ним своею добродетелью, чистосердечием и прочими преимуществами, которыми, мнилось мне, отличалась перед другими, а он как будто не замечал меня в моем пышном облици.

Царедворец обеспокоился бы таким отношением своего государя, от которого ждал всяческих благ, я же не видела в этом беды. У меня было все, что потребно, — здоровье и довольство, хорошо, если богу угодно мое напоминание, а нет, так я, по крайности, соблюла свой долг.

Конечно, так я в ту пору не думала, но такова была истинная сущность моей души. Однако уже надвигались события, долженствовавшие изменить и очистить мои помыслы.

Наступила весна, и Нарцисс без предупреждения явился однажды в такое время, когда я была дома совсем одна. Он предстал передо мной в роли влюбленного и спросил, согласна ли я отдать ему сердце, а когда он получит почетную и доходную должность — то и руку.

Он, правда, был принят у нас на службу; однако, опасаясь его честолюбия, поначалу ему не давали ходу и положили мизерный оклад, сославшись на то, что у него есть собственное состояние.

При всей моей склонности к нему я понимала, что он не из таких мужчин, с кем можно действовать напрямик. Поэтому я взяла себя в руки и адресовала его к отцу, в чьем согласии он, очевидно, не сомневался, и желал сперва заручиться моей взаимностью. В конце концов я сказала «да», поставив непременным условием одобрение родителей. После того как он сделал им формальное предложение, оба выразили живейшую радость, и слово было дано, с надеждой на скорое его повышение в ранге. Оповещены были и сестрицы и тетушки с наказом строго блюсти тайну.

Итак, обожатель превратился в жениха. Разница между тем и другим состоянием оказалась немалой. Если бы кто — нибудь мог делать женихами обожателей всех благомыслящих девиц, он оказал бы великое благодеяние нашему полу, даже если бы за этим не последовала свадьба. Любовь не убывает от жениховства, а становится благоразумнее. Бессчетные мелкие дурачества, кокетливые мины и причуды исчезают мгновенно. Скажет нам жених, что в утреннем чепчике мы ему милее, чем в наряднейшем уборе, и благомыслящая девица мигом станет безразлична к прическе, а ведь положительность взглядов как нельзя более натуральна в будущем супруге, желающем обрести хорошую хозяйку вместо куклы от куафера напоказ свету. Это можно отнести решительно ко всем областям.

А уж если девушке выпадет такое счастье, что жених у нее окажется умен и образован, то она получит больше знаний, чем от посещения любых университетов и чужих стран. Она не только воспримет все, что он преподаст ей, но постарается сама идти все дальше по пути просвещения. Любовь делает возможным многое невозможное, начиная со столь нужной и приличествующей женскому полу покорности; жених не повелевает, как супруг, он только просит, а возлюбленная старается подметить, чем ему угодить, еще раньше, чем он попросит.

Так опыт научил меня многому такому, без чего я не хотела бы обойтись. Я была по-настоящему счастлива, как бывают счастливы в нашем мире, то есть недолгий срок.

Лето прошло в этих мирных радостях. Нарцисс не давал мне ни малейшего повода к обиде, он становился мне чем дальше, тем дороже, я всей душой прилепилась к нему. Он это знал и умел ценить. А между тем ничтожные с виду мелочи, накапливаясь постепенно, отравляли наши отношения.

Нарцисс обращался со мной, как приличествует жениху, не осмеливаясь домогаться от меня того, что было для нас еще под запретом. Однако в понятии о границах нравственности и благопристойности мы с ним решительно расходились.

Я желала себе покоя и не допускала ни одной вольности, которая не могла бы стать известна всему свету. Он же, привыкший к лакомствам, находил такой режим чрезмерно строгим и тут вечно впадал в противоречие с самим собой, — хвалил мое поведение и старался подорвать мою стойкость.

Мне вспомнились слова старого учителя: «Это может завести далеко», а заодно и то возражение, которое я выставила тогда себе в защиту.

С богом знакомство мое стало несколько теснее. Он подарил мне такого милого жениха, и я была ему признательна за это. Земная любовь словно бы собрала воедино силы моего духа, всколыхнула их, и общение с богом не противоречило ей. Без смущения жаловалась я ему на свои страхи, не замечая, что сама желаю и жажду того, чего страшусь. Я казалась себе очень сильной и не думала молить его: «Не введи меня во искушение!» — считая, что мысленно давно одолела искушение. В таком фальшивом о мишурном блеске собственпол добродетели дерзала я предстать перед богом; он не отвергал меня, при малейшем порыве к нему оставлял умиленный отзвук в моей душе, и этот отзвук побуждал меня все вновь и вновь прибегать к нему.

Без Нарцисса весь мир был для меня мертв, кроме него, ничто меня не прельщало. Даже любовь моя к нарядам имела одну цель — понравиться ему; зная, что он меня не увидит, я и не старалась себя приукрасить. Я охотно танцевала, но в его отсутствие танцы чуть ли не претили мне. К самому блестящему балу, на котором он отсутствовал, я не делала себе обновок и далее не перекраивала старое платье на модный лад. Любой кавалер был мне одинаково хорош, а лучше сказать, одинаково докучен. Я считала, что отлично провела



вечер, когда могла составить партию в карты поживилым особам, к чему обычно не имела ни малейшей охоты, и, когда добрый старый приятель позволял себе подшучивать над Этим, я улыбалась, пожалуй, впервые за весь вечер. То же бывало и на прогулках, и на всех возможных светских увеселениях.

Он был избранник мой единый,

Себя связала с ним судьбиной,

Ища лишь склонности его.[57]

Таким образом, я нередко оказывалась одна в обществе, и полное одиночество было мне приятнее всего. Но деятельный мой ум не терпел ни спячки, ни мечтаний; я чувствовала и мыслила и выработала в себе способность беседовать с богом о своих чувствах и помыслах. Тем самым в душе моей развились много рода чувствования, не вступавшие в противоречие с первыми, ибо моя любовь к Нарциссу была согласна с общим планом мироздания и никак не шла вразрез с моими обязанностями. Оба чувства не противоречили друг другу, хоть и были различны до предела. Нарцисс был единственный образ, витавший передо мной, поглотивший всю мою любовь, а второе мое чувство не относилось к определенному образу и было неизъяснимо благодатно. Ныне я утратила его и не могу вновь возродить.

Мой возлюбленный, от которого у меня не было секретов, об этом чувстве не знал ничего. Вскоре я поняла, что он придерживается иных взглядов; он часто давал мне читать сочинения, где против всего, в чем можно усмотреть связь с Незримым, пущено в ход легкое и тяжелое оружие. Раз эти книги давал он, я читала их, но, закончив, не помнила ни слова из прочитанного.

С науками и познаниями дело тоже не обходилось без противоречий; следуя примеру всех мужчин, он насмеялся над учеными женщинами и сам же непрерывно старался меня развивать. Он говорил со мной обо всех предметах, за исключением юриспруденции, и постоянно приносил мне писания всякого рода, не уставая вспоминать сомнительную истину, что женщине следует тщательнее таить свои знания, нежели кальвинисту свою веру в католической стране; и в то время, как я естественным образом старалась не показать себя в обществе умнее и образованнее других, он первый не мог удержаться, чтобы не похвастать моим превосходством.

Знаменитый и весьма чтимый в ту пору за свое влияние, за свои таланты и ум светский человек пользовался большим успехом при нашем дворе. Он особо отличал Нарцисса и не отпускал его от себя. Однажды у них зашел спор о женской добродетели. Нарцисс подробно пересказал мне их беседу. Я не преминула вставить кое-какие замечания, и мой друг потребовал от меня письменного их изложения. Я довольно бегло писала по-французски, приобретая солидную основу у своего славного старика. Переписка с женихом шла у меня на этом языке, и вообще в ту пору все тонкости воспитания можно было почерпнуть только из французских книг. Моя статейка понравилась графу; он пожелал прочитать песенки, сочиненные мною незадолго до того. Словом, Нарцисс, очевидно, без удержу хвастал своей возлюбленной, и вся история завершилась, к его великому удовольствию, остроумным стихотворным посланием на французском языке, которое граф адресовал ему перед своим отъездом и где поминал их дружеский спор, почитая счастливец моего друга, коему после многих сомнений и заблуждений суждено в объятиях пленительной и добродетельной супруги вернее всего узнать, что такое добродетель.

Стихи эти раньше всего показаны были мне, а затем чуть не каждому встречному в отдельности, и каждый мог думать о них, что захочет. Так случалось уже много раз, и всех приезжих, которых Нарцисс почитал, ему непременно нужно было ввести в наш дом.

Одна графская семья ради лечения у нашего превосходного врача прожила здесь довольно долгий срок. В их доме Нарцисс тоже был принят как сын, и он не замедлил ввести туда меня; общение с этим достойным семейством доставляло много приятностей для ума и сердца, и даже обычное светское времяпрепровождение в их доме не казалось таким пустым, как у других. Все были осведомлены о наших отношениях и обходились с нами сообразно обстоятельствам, но главного не затрагивали. Я упоминаю об этом знакомстве потому, что в дальнейшем оно оказало немалое влияние на мою жизнь.

После нашего сговора прошел почти год, а с ним миновала и наша весна. Наступило лето, атмосфера сгустилась и накалилась.

Из-за нескольких внезапных смертей открылся ряд вакансий, на которые Нарцисс имел право претендовать. Приближался миг, который должен был решить мою судьбу, и пока Нарцисс вкупе со всеми друзьями выбивался из сил, чтобы сгладить при дворе кое-какие неблагоприятные для него впечатления и добиться вояжденного места, я обратилась с мольбой к незримому другу. Принята я была так благожелательно, что меня потянуло прибегать к нему вновь и вновь. Я открыто высказывала свое желание, чтобы Нарцисс получил возделенный пост, однако просьба моя не была назойлива, и я не требовала, чтобы все сбылось по моей молитве.

Пост был отдан куда менее достойному конкуренту. Известие это ошеломило меня, я бросилась к себе в комнату и заперла за собой дверь. Первое потрясение завершилось слезами, а следующая моя мысль была: «Это произошло не случайно», — и тотчас же возникло решение смириться, ибо и то, что мнилось мне злом, должно послужить к истинному моему благу. Сердце преисполнилось благодатнейших чувств, разогнавших тучи скорби; я поняла, что с такой помощью можно вытерпеть все. Приняв веселый вид, вышла я к столу и удивила всех домашних.

У Нарцисса было меньше выдержки, чем у меня, и мне пришлось его утешать. Да и в своей семье он столкнулся с неприятностями, сильно его угнетавшими, и, при нашем полном взаимном доверии, он не стал ничего скрывать от меня. В попытках поступить на иностранную службу он тоже потерпел крах; из-за всего этого я очень огорчилась за нас обоих и свои горести несла туда, где встречала к ним сочувствие.

Чем больше это давало отрады, тем чаще я стремилась вновь ее ощутить и почерпнуть утешение там, где получала его уже не раз; однако это не всегда удавалось; так бывает, когда хочешь погреться в лучах солнца, а на пути оказывается нечто, бросающее тень. «Что же это за помеха?» — задавала я себе вопрос.

Дисциплина причины, я увидела, что все зависит от состояния моей души; если она не была обращена напрямую к богу, я оставалась холодна, не ощущала встречного его воздействия и не слышала его ответа. Тогда возникал второй вопрос: что же препятствует прямому пути? Тут открывалось обширное поле для исследований, которыми я была поглощена почти весь второй год моего романа. Я должна бы раньше оборвать его, потому что очень скоро нашла на верный след, но не хотела сознаться себе в этом, находя тысячи отговорок.

Очень скоро я поняла, что идти прямым путем моей душе мешают глупые забавы и заботы о нестоящих делах; вопрос «как» и «где» я не замедлила разрешить. Но как мне быть в мире, где дарит равнодушие или безумие? Я бы рада была оставить все попечения, бездумно жить и благоденствовать, как другие люди; но это не было мне дано, все во мне противилось этому. Удалиться от света, изменить обстоятельства своей жизни я не могла. Я находилась в замкнутом круге и не могла порвать исконные связи, а в деле, столь близком моему сердцу, одна фатальная незадача громоздилась на другую. В слезах ложилась я спать и в слезах же вставала после бессонной ночи; я нуждалась в крепкой опоре, но бог отказывал мне в ней, покуда я не сбросила дурацкого колпака.

Тут я принялась взвешивать каждый из своих поступков: в первую очередь подверглись разбору игры и танцы. Все, что было против них говорено, думано или писано, я разыскала, обсудила, прочитала, взвесила, преувеличила, презрела и при Этом истерзалась вконец. Ежели бы я отказалась от них, то, без сомнения, огорчила бы Нарцисса — он превыше всего боялся показаться смешным, проявив перед лицом света сугубое прямодушие. Отныне я не по собственному тяготению, а только в угоду ему делала то, что почитала глупостью, вредоносной глупостью, все это и давалось мне теперь до крайности тяжело.

Без навязчивых длиннот и повторений я не могла бы описать, каких трудов стоило мне, предаваясь занятиям, которые отвлекали меня и нарушали мой душевный покой, так стараться, чтобы сердце мое оставалось открыто воздействию незримого существа, и как тягостно было убедиться, что таким путем не разрешить внутренней распри. Ибо стоило мне облечься в мишуру суетности, как дело не ограничивалось наружной маской, — нет, глупость тотчас же пропитывала всю меня насквозь.

Да будет мне позволено преступить здесь закон последовательного повествования и высказать кое-какие наблюдения над тем, что совершалось во мне. Что же настолько изменило мой вкус и образ мыслей, чтобы на двадцать втором году жизни и даже ранее того я перестала находить радость в забавах, которыми невинным образом наслаждаются люди этого возраста? Почему они уже не казались мне невинными? Могу сразу же дать ответ: потому что для меня они и не были невинными, потому что я, в отличие от моих сверстников, успела познать свою душу. Да, на опыте, который приобрела, не ища его, убедилась я, что существуют более высокие чувствования, дарующие подлинную усладу, которую тщетно искать в пустых увеселениях, и что в этих высших радостях таятся сокровища силы, придающие крепость в беде.

Но светские забавы и развлечения юности, конечно, имели еще для меня немалую прелесть, и я не могла участвовать в них, оставаясь безучастной. Будь только желание, теперь бы я была способна делать совершенно хладнокровно то, что тогда вводило меня в соблазн и угрожало забрать надо мною власть. Здесь не могло быть половинчатого решения: мне надо было лишить себя либо приманчивых увеселений, либо благодатных внутренних чувствований.

Но спор в моей душе был уже решен без моего ведома. Что-то во мне еще тяготело к чувственным радостям, однако наслаждаться ими я уже не могла. Как бы ни был человек пристрастен к вину, у него пропала бы охота выпить, если бы он находился среди полных бочонков в погребе, где не продохнешь от спертного воздуха. Чистый воздух слаще вина, это я живо сознавала и сразу же, без долгих колебаний, предпочла бы благо соблазну, если бы не страх лишиться благосклонности Нарцисса. Когда же наконец, после нескончаемой внутренней борьбы, после неустанных размышлений, я пристально взгляделась в связующие нас узы, то увидела, как они слабы, как легко их порвать. Мне вдруг стало ясно, что я томлюсь в безвоздушном пространстве, под стеклянным колпаком, — сделай маленькое усилие, расколи его пополам, и ты спасена!

Задумано — сделано. Я скинула маску и поступала отныне, как приказывало мне сердце. Нарцисса я по-прежнему нежно любила. Но термометр, который раньше был окунут в кипяток, теперь висел на открытом воздухе и не поднимался выше нормы.

К несчастью, атмосфера становилась все холоднее. Нарцисс начал отдаляться и сторонился меня; он был солен так поступать, но температура падала по мере его отдаления. Мои родные заметили это, стали меня расспрашивать, выказывали удивление. Я с неженской стойкостью отвечала, что мне надоело жертвовать собой, что я готова и впредь, до конца жизни, делить с ним все превратности судьбы, однако требую для себя полной свободы действий, ибо желаю, чтобы мои поступки согласовались с моими убеждениями: я не буду упрямо стоять на своем, охотно выслушаю любые доводы, по коль скоро дело касается моего личного счастья, решение должно зависеть от меня, и никакого рода принуждения я не потерплю. Как никакие рекомендации знаменитого врача не понудят меня взять в рот, может статься, весьма здоровую и многими любимую пищу, едва лишь я узнаю по опыту, что она мне неизменно вредит (в пример приведу кофе), так же и еще решительнее не позволю я навязывать мне в качестве моральной ценности поступок, смущающий меня.

Втайне я вооружилась уже давно, и потому такого рода словопрения скорее были мне приятны, чем докучны. Отводя душу, я сознавала, сколь ценно мое решение, я не уступала ни на волос и, не церемонясь, отваживала тех, кому не была обязана дочерним респектом. У себя дома я не замедлила одержать победу. Матушка смолodu держалась тех же взглядов, только не дала им созреть; ее не вынуждала к тому необходимость, что придает смелости отстаивать свои убеждения. Она радовалась, глядя, как во мне воплощаются ее заветные желания. Младшая сестра тоже, по-видимому, была мне союзницей; вторая прислушивалась и помалкивала. Больше всего возражений выставляла тетушка. Доводы, которые она приводила, казались ей непререкаемыми, да они и были таковы, будучи общепринятыми. В конце концов я была выпущена указать ей, что она ни в коей мере не имеет права голоса в этом деле; впрочем, она очень редко открыто отстаивала свое мнение. И она же, одна из всех, наблюдая происходящее, оставалась совершенно безучастна. Не преувеличивая и не возводя на нее клевету, могу сказать, что она отличалась полным бездушием и крайней узостью взглядов.

Отец вел себя соответственно своим понятиям. О главном предмете он говорил скупой и преимущественно со мной; доводы его были рассудительны и непререкаемы именно как его доводы; лишь глубокое сознание своей правоты придавало мне силы противоречить ему. Но вскоре тон изменился, мне пришлось взывать к его чувству. Под натиском его логики я впадала в патетические преувеличения, давая

волю языку и слезам. Я доказывала отцу, как сильно я любила Нарцисса, как принуждена была целых два года держать себя в руках и как теперь уверена, что поступаю правильно; свою уверенность я готова подтвердить потерей любимого жениха и надежды на счастье, а если понадобится, и всего, что имею, — я готова покинуть отчизну, родителей, друзей и зарабатывать себе хлеб на чужбине, лишь бы не поступиться своими убеждениями.

Не желая показать, как он потрясен, отец некоторое время молчал, а потом открыто принял мою сторону.

С той поры Нарцисс избегал бывать у нас в доме, а немного погодя и отец перестал посещать еженедельные собрания, где они обычно встречались. Это было отмечено при дворе и в городе. Пошли разговоры, как обычно в подобных распрях, когда публика жаждет воздействовать на их разрешение, будучи избалована податливостью слабодушных людей. Я достаточно знала свет и видела, что люди часто ставят нам в укор то, к чему сами же нас побудили, да и вообще при нынешнем моем состоянии духа такие неосновательные суждения не имели бы для меня ни малейшего веса.

Но я-то не могла отрешиться от привязанности к Нарциссу. Я его более не видала, однако в сердце своем не изменилась к нему. Я нежно его любила, хоть и по-иному, не так бурно, как прежде. Если бы он не стал препятствовать моим убеждениям, я не отказалась бы ему принадлежать; н<sup>л</sup> согласись он на эти мои условия, я отринула бы его вместе с целым царством. Долгие месяцы я вынашивала эти чувства и мысли, а когда ощутила в себе достаточно спокойствия и силы, чтобы действовать разумно и твердо, то написала ему учтивую, безо всякой нежности записку, где спрашивала, почему он больше не приходит ко мне.

Зная его обычай избегать объяснений даже в мелочах и без лишних слов делать то, что он считает правильным, на сей раз я требовала, чтобы он объяснился.

Я получила пространный и, на мой вкус, довольно пошлый ответ, изложенный многословными и пустыми фразами; не добившись солидного поста, он не может устроиться и предложить мне свою руку; я и сама отлично знаю, как несладко ему приходилось до сих пор; полагая, что столь длительные и бесплодные отношения могут повредить моей репутации, он просит дозволения придерживаться и впредь той же дистанции; а как только у него явится возможность составить мое счастье, он почтет для себя священным долгом сдержать данное мне слово.

Я тут же ответила ему, что наш альянс известен всему свету, значит, поздно вато ограждать мою репутацию, коей моя совесть и добродетель служат вернейшей порукой; ему же я без раздумья готова вернуть данное слово с пожеланием обрести свое счастье. Не прошло и часа, как я получила ко роткий ответ, в основном совпадавший с первым. Нарцисс стоял на своем — как только он получит место, так спросит меня, согласна ли я разделить его счастье.

Для меня это были ничего не значащие слова. Я объявила родным и знакомым, что между нами все кончено, так оно и оказалось. Когда, девять месяцев спустя, он получил желанную должность, то повторил свое предложение, но с оговоркой, что в качестве супруги человека, которому нужно поставить дом на широкую ногу, я должна переменить свои убеждения. Я вежливо поблагодарила, чувствами и помыслами поспешив отрешиться от этой истории, как торопятся покинуть театр, едва лишь упадет занавес.

А так как он вскорости без труда нашел себе богатую и знатную невесту и я понимала, что он счастлив на свой лад, — душа моя успокоилась окончательно.

Не могу обойти молчанием, что и до того, как он устроился на место, да и после мне неоднократно делали предложения руки и сердца, которые я отклоняла, не задумываясь, как ни желали отец с матерью видеть меня более сговорчивой.

Но вот после бурного марта и апреля, казалось, мне суждено насладиться чудеснейшей майской порой: наряду с добрым здоровьем я вкушала несказанный душевный покой; с какой стороны ни взглянуть, я только выиграла от своей утраты. Я была молода, чувствительна от природы, и мироздание представлялось мне во сто крат прекраснее, чем раньше, когда я нуждалась в балах и забавах, чтобы не стосковаться в прекрасном саду. Коль скоро я не стыдилась своего благочестия, теперь, расхрабрившись, я перестала скрывать и свою любовь к искусствам и наукам. Я рисовала, писала красками, читала и встречала немало людей, в которых находила поддержку; взамен обширного круга знакомых, который я отринула или, вернее, которым была отринута, вокруг меня образовался кружок поменьше, но куда интересней и ценнее. Я всегда тяготела к общественной жизни и не стану скрывать, что, порывая с прежними знакомыми, страшилась одиночества. Однако я оказалась вполне и даже с избытком вознагражденной. Круг моих знакомств стал по-настоящему широким не только среди соотечественников, разделявших мои воззрения, но и среди иностранцев. Моя история получила огласку, и многие любопытствовали посмотреть на девушку, которой бог был дороже жениха. Вообще в ту пору в Германии ощущалась своего рода тяга к религии. Многие представители княжеских и графских фамилий усердно радели о спасении своей души. Немало встречалось дворян, которые пеклись о том же, а в низших сословиях Это умонастроение было широко распространено.

Графское семейство, упомянутое мною выше, приблизило меня к себе. Оно тем временем умножилось, так как некоторые их родственники перекочевали в город. Эти почтенные лица искали общения со мной, как и я с ними. Родство у них было обширное, и я в их доме познакомилась с большинством князей, графов и вельмож всего нашего государства. Мои убеждения ни для кого не были тайной, и независимо от того, читли их или просто щадили, я все-таки достигла своей цели и никто не решался меня порочить.

Мне суждено было вернуться в свет еще и другим путем. Около того же времени сводный брат моего отца, обычно посещавший нас проездом, задержался у нас надолго. Он расстался со службой при своем дворе, где пользовался почетом и влиянием, лишь потому, что не все там пришлось ему по нутру. Он обладал здравым умом и строгим нравом, в чем был очень схож с моим отцом; только отец отличался большей мягкостью, что помогало ему быть уступчивее в делах, и хотя отказывался идти против своих убеждений, но терпел, когда это делали другие, зато потом негодовал либо про себя, втихомолку, либо в интимном семейном кругу. Дядя был намного моложе, а независимость его натуры еще укрепили внешние обстоятельства. У него была очень богатая мать, а от ее близкой и дальней родни он мог ждать большого наследства; ему не требовалось добавочной поддержки, меж тем как мой отец, при своем скромном состоянии, ради жалованья был накрепко привязан к службе.

Семейное несчастье сделало дядю еще непримиримее. Он рано потерял очень милую жену и подающего большие надежды сына и с тех пор словно бы решил отстранять от себя все, что не согласовалось с его волей.

В семье не без самодовольства поговаривали шепотком, что дядя вряд ли женится вторично, а значит, мы, дети, заранее можем считать себя наследниками его внушительного состояния. Я пропускала это мимо ушей; однако на поведении остальных заметно сказывались такие надежды. При всей твердости своего характера дядя приучил себя никому не противоречить в разговоре, наоборот, он приветливо выслушивал мнение каждого и даже подкреплял точку зрения собеседника собственными аргументами и примерами. Кто не рис л его, тот неизменно полагал, что они единоклюны во взглядах; он же, обладая незаурядным умом, легко мог воспринять любую точку зрения. Со мной ему бывало труднее, ибо тут шла речь о чувствах, ему неизвестных, и как ни бережно, участливо и вдумчиво говорил он о моих убеждениях, меня поражало, насколько непонятно ему то, что лежит в основе всех моих поступков.

Хотя был он очень скрытен, настоящая цель его непривычно долгого пребывания у нас не замедлила обнаружиться, — как оказалось, он из всех нас выбрал младшую сестру, чтобы осчастливить ее и выдать замуж по своему усмотрению; и, конечно, по своим физическим и духовным качествам да еще с добавлением внушительного приданого она вполне могла претендовать на первейшую партию. Отношение ко мне он также проявил безмолвным благодеянием, добыв мне место канониссы,[58] от которого я вскоре стала получать доход.

Сестра куда меньше, чем я, была обрадована и благодарна ему за такое попечение. Она открылась мне в сердечной привязанности, которую дотоле предусмотрительно таила, не без основания опасаясь, что я всячески буду отговаривать ее от союза с человеком, недостойным ее симпатии. Я употребила все старания и добилась своего. Намерения дяди были столь серьезны и ясны, а перспективы для сестры, при ее любви к свету, столь заманчивы, что ей не стоило большого труда *отказаться от склонности, которую сама она порицала разумом.*

Теперь она уже не уклонялась от дядиного ласкового руководства, и основы для выполнения его плана вскоре были заложены. Ее сделали фрейлиной при соседнем дворе, где он мог поручить ее попечениям и наставлениям своей приятельницы, которая, как обергофмейстерина, имела большой вес. Я сопровождала сестру к новому месту жительства. Мы обе могли быть вполне довольны оказанным нам приемом, и мне оставалось только втайне улыбаться той роли, которую я теперь в качестве канониссы, молодой благочестивой канониссы, играла в свете.

В прежние времена такое положение меня бы сильно смущало и, пожалуй, вскружило бы мне голову; ныне же я невозмутимо воспринимала все окружающее, преспокойно терпела, когда меня причесывали целых два часа, наряжалась и вполне мирилась с тем, что по своему рангу обязана носить Эту парадную ливрею. В переполненных залах я беседовала со всяким и каждым без того, чтобы чей-то внешний или внутренний облик произвел на меня заметное впечатление. Единственное, что я выносила с бала, была усталость в ногах. Тем не менее разум мой черпал пользу из этих многочисленных встреч; образцом всех человеческих добродетелей, достойного, благородного поведения мне явилось несколько женщин, и в первую голову обергофмейстерина, под чьим руководством посчастливилось воспитываться моей сестре.

Однако по возвращении домой я почувствовала, что путешествие неблагоприятно сказалось на моем здоровье. При величайшей воздержанности и строгой диете там я не располагала, как обычно, своим временем и своими силами. Пища, движение, вставание и отход ко сну, парады и выезды, прически и прогулки — не зависели, как дома, от моей воли и самочувствия. В круговороте светской жизни нельзя останавливаться, чтобы не показать себя неучливой, и я охотно делала все, что положено, почитая это своим долгом и зная, что скоро этому придет конец, да и чувствовала я себя лучше, чем когда-либо. Тем не менее такая непривычная, беспокойная жизнь подействовала на меня хуже, чем мне казалось. Едва я приехала домой и порадовала родителей благоприятным отчетом, как у меня случилось кровохарканье, хоть и не опасное и кратковременное, однако надолго оставившее заметную слабость.

Мне предстояло новое повторение моего искуса. Я только обрадовалась этому. Ничто не привязывало меня к свету. Я была уверена, что никогда не обрету в нем того, в чем нуждалась, а потому пребывала в самом веселом и безмятежном расположении духа и, отказавшись от жизни, сохранила себе жизнь.

Новое испытание ожидало меня: тяжело заболела матушка и промаялась еще пять лет, прежде чем заплатить долг природе. За это время мне многое довелось претерпеть. Когда ей становилось слишком худо, она приказывала ночью созвать всех нас к своей постели, чтобы наше присутствие хотя бы отвлекало, если не облегчало ее. Еще более тяжким, можно сказать, непереносимым, стало мое бремя, когда расхворался отец. Смолоду у него часто случались приступы головной боли, однако длились они не дольше полутора суток. Теперь они почти не проходили, и когда достигали высшего предела, у меня от жалости разрывалось сердце. Из-за этих невзгод я сильнее ощущала свою телесную немощь, потому что она мешала мне исполнять самые священные и дорогие для меня обязанности или, по меньшей мере, затрудняла их осуществление.

Теперь у меня был случай проверить, найду ли я истину или только пустое мечтание на избранном пути, не подчинялась ли я чужим мыслям или же предмет моей веры есть нечто существующее на самом деле, и всякий раз» к великому своему утешению, я убеждалась в последнем. Я искала и обрела прямой путь от сердца к богу, а также радость общения с «beloved ones»[59] и это служило мне большой поддержкой. Как путник стремится в тень, так душа моя, когда вовне все было так тягостно, устремлялась к этому прибежищу и никогда не возвращалась оттуда ни с чем.

В недавнее время некоторые поборники религии, отличавшиеся скорее рвением, нежели благочестием, просили своих единоверцев предавать гласности наглядные примеры того, как просимое исполнялось по молитве, — должно быть, им требовались письменные доказательства, чтобы во всеоружии дипломатических и юридических доводов напасть на противников. Как же чужда была им истинная вера и как скуден их собственный опыт!

Смею утверждать, что никогда не случалось мне вернуться ни с чем, если я под гнетом горя прибегала к богу. Этим уже сказано очень многое, и все же больше я ничего не могу и не смею сказать. Как ни важно было для меня пережитое мною в критические минуты, рассказ об отдельных случаях получится вялым, незначительным, неправдоподобным. Как дыхание является признаком жизни, так совокупность множества мелких событий, к счастью моему, так же неопровержимо доказывала мне, что живу я в мире не без бога; он был близок мне,

я была перед ним. Вот что я говорю, умышленно избегая терминологии богословских систем, и говорю истинную правду.

Мне и тогда еще хотелось не ведать никакой системы; но многим ли с юности дается счастье без чуждых образцов познать самого себя как некое гармоническое целое? Спасение души не было для меня пустым звуком. Смирненно доверялась я чужим воззрениям и всецело подчинялась системе обращения, принятой в Галле,<sup>[60]</sup> а между тем она в корне противоречила всему моему существу.

По этому плану перевоспитание сердца должно начаться с жестокого страха перед грехом — сокрушенное сердце больше или меньше мирится с заслуженной карой, а предвкушение ада отравляет сладость греха. Мало-помалу должна явиться уверенность в милосердии бонем, однако в дальнейшем эта уверенность часто исчезает, и надобно с усердием вновь искать ее.

Ничего из этого я не ощущала даже отдаленно. Когда я чистосердечно искала бога, он позволял найти его и не ставил мне в укор прошлые заблуждения. Задним числом я и сама понимала, чем была недостойна, в чем оставалась грешна; однако сознание своей греховности ничуть не пугало меня. Ни на миг не убоялась я ада, да и самая мысль о духе зла и о месте посмертной кары и загробных мук не входила в круг моих представлений. По моим понятиям, люди, которые живут без бога, чьи сердца закрыты для любви и доверия к Незримому, настолько несчастливы сами по себе, что ад и прочие наказания извне скорее обещают смягчить, нежели усугубить положенную им кару. Достаточно было мне взглянуть на живущих в нашем мире людей, которые допускают в сердце ненависть, а для добрых чувств замыкают его, которые себе и другим внушают злые помыслы и готовы днем ходить зажмуря глаза, лишь бы сказать, что солнце не светит, — какими же невыразимо жалкими казались мне эти люди! И кто бы мог измыслить такой ад, что ухудшил бы их положение!

В таком состоянии духа я пребывала день за днем целых десять лет. Оно не поколебалось ни от каких испытаний, ни даже у овра смертных мук любимой матери. От людей благочестивых, но приверженных традиционным верованиям, я в прямоте своей не таила, как светло у меня на душе, зато и выслушала от них не одно дружеское порицание. Эти люди почитали уместным указать мне, сколько потребно серьезности, чтобы в благополучные годы подготовить твердую почву для будущего.

Я и сама желала проникнуться серьезностью минуты и, ненадолго поддавшись уговорам, силсилась казаться печальной и уstraшенной, но как же была я удивлена, когда это раз и навсегда оказалось невозможным. Я думала о боге, и у меня на душе становилось радостно и светло; даже страдальческая кончина матушки не могла вселить в меня страх смерти. В эти незабываемые часы я познала многое, но совсем не то, что подразумевали мои непрошенные наставники.

Постепенно взгляды многих достославных личностей стали внушать мне сомнения, но мысли свои я хранила про себя. Приятельница, которой я сперва позволяла слишком многое, вздумала вмешиваться во все мои дела. С ней мне тоже пришлось порвать отношения, — однажды я напрямик заявила ей, чтобы она оставила свои попечения, в ее советах у меня надобности нет, я знаю своего бога и желаю иметь руководителем только его одного. Она разобиделась и, мне кажется, так и не простила меня.

Решение избавиться в духовных делах от советов и влияния друзей привело к тому, что и во внешних обстоятельствах у меня достало мужества идти своим путем. Без помощи моего верного незримого наставника мне пришлось бы худо, п я не устаю дивиться его мудрому и благому руководству. Никто не мог понять, что же со мной происходит, да я и сама не понимала этого.

То, донныне не познанное злое начало, что отдаляет нас от существа, коему мы обязаны жизнью, существа, коим держится все, что можно назвать жизнью, — злое начало, именуемое грехом, было совсем еще неведомо мне.

Общение с незримым другом было блаженством для всех моих жизненных сил. Потребность постоянно ощущать это счастье была столь велика, что я без колебаний отказывалась от всего, что мешало ему, и тут опыт был мне лучшим советчиком. Однако я напоминала больных, которые не хотят лекарств и пытаются излечиться диетой. Она помогает, но не надолго.

Я не могла вечно оставаться в одиночестве, хоть и считала, что это наилучшее средство против столь свойственной мне рассеянности в мыслях. Оказавшись в гуще толпы, я особенно остро ощущала ее воздействие. Счастливая моя особенность заключалась в том, что любовь к тишине брала верх и в конце концов я всегда спешила в свое уединение. Словно в тумане, ощущала я свою немощность и слабость и боролась против них тем, что старалась щадить себя и не испытывать свои силы.

Семь лет соблюдала я эти диетические предосторожности. Мне отнюдь не казалось, что я так уж плоха, я даже находила свое состояние завидным. Если бы не особые обстоятельства и отношения, я бы и остановилась на этой стадии, но мне пришлось идти дальше по весьма своеобразному пути. Не слушаясь совета всех своих друзей, я завязала новую дружбу. Единодушные уговоры сперва озадачили меня. Тотчас обратилась я к своему незримому руководителю и, получив его дозволение, без колебаний пошла дальше по своему пути.

Человек с умом, с душой и талантами приобрел себе поместье поблизости от нас. Среди моих новых знакомых оказался и он с семейством. У нас было много общего в обычаях, домашнем укладе и привычках, и немудрено, что мы вскоре подружались.

Филон — назовем его так — был человек в летах, по многим делам он оказался хорошей подмогой моему отцу, чьи силы начали убывать. Вскоре он стал близким другом нашей семьи и, не найдя во мне, по его словам, ни распушенности и пустоты большого света, ни черствости и пугливости деревенской тихони, — он вскоре сделался моим задушевным другом. Он был мне и очень приятен, и полезен.

Хотя я не отличалась ни способностью, ни привязанностью к мирским делам и не домогалась влияния в свете, но с интересом слушала рассказы о происходящем, желая знать обо всем, что творится вблизи и вдали. Я хотела иметь точное хладнокровное суждение о светских событиях, а чувство, сердечность и привязанность берегла для своего бога, своих родных и друзей.

Друзья, как мне кажется, ревновали меня к новому другу и были во многих смыслах правы, предостерегая меня. Я втихомолку немало выстрадала из-за этого, потому что и сама не могла признать их доводы совсем пустыми или пристрастными. С давних пор я привыкла подчинять свои взгляды, но на сей раз этому противилось собственное убеждение. Я молила господу моего остеречь, остановить, направить меня, но, не почувствовав в сердце своем колебания, спокойно пошла дальше своей стезей.

Во всем облике Филона было отдаленное сходство с Нарциссом, но благочестивое воспитание сдерживало и одушевляло его чувства. У

него было меньше тщеславия, больше воли, и если Нарцисс в светских делах был ловок, точен, упорен и неутомим, то Филон отличался ясным, острым и быстрым умом и работал с неправдоподобной легкостью. От него я получила сведения о внутренних обстоятельствах жизни почти всех знатных особ, которых по наружности знала в свете, и была рада издали, со своего дозорного поста, созерцать мирскую суету. Филон ничего не мог таить от меня; постепенно он поверил мне свои внешние и внутренние связи. Я боялась за него, заранее предвидя всякие сложности и хитросплетения; и беда случилась раньше, нежели я ожидала, — ибо кое в чем он не открывался вполне и даже под конец доверился мне лишь настолько, что я могла ожидать наилучшего.

Меня это поразило в самое сердце! Я узнала нечто такое, что дотоле было мне неизвестно. С неизъяснимой грустью смотрела я на Агатона, взлелеянного в дельфийских рощах,[61] не рассчитавшегося еще за учение и теперь обремененного непомерными процентами; и с этим Агатом меня соединяла тесная дружба. Я была преисполнена живейшего участия, я страдала с ним вместе, и мы оба находились в престранном положении.

Долгое время я была всецело поглощена помыслами о его душевном состоянии, но вот наконец я задумалась и над собой. «Ты не лучше его», — эта мысль облачком встала передо мной и, разрастаясь, омрачила мне всю душу.

Теперь я не только думала: «Ты не лучше его», — я Это чувствовала, и чувствовала так, как не желала бы почувствовать вновь; переход совершился не сразу. Больше года я жила с сознанием, что, не огради меня незримая рука, я могла бы обратиться в Жирара,[62] в Картуша, в Дамьена и невесту какое еще чудовище, задатки к тому я вполне явственно ощущала в своем сердце. Господи, что за открытие!

Прежде никакое испытание не давало мне усмотреть в себе ни легчайшего следа настоящей греховности, теперь же возможность греха с ужасающей ясностью встала предо мной, хотя самого зла я не ведала; я лишь страшилась его и чувствовала, что могу стать преступной, но не знала, в чем себя винить.

Правда, в том состоянии духа, в котором я находилась, трудно уповать на воссоединение до смерти с высшим существом, но, сознавая это, я не страшилась такого разрыва. Обнаружив в себе столько зла, я по-прежнему любила его, а чувства мои были мне ненавистны, и я желала лишь, чтобы они стали мне еще ненавистнее, а превыше всего желала избавиться от этого недуга и предрасположения к нему и не сомневалась, что Великий целитель придет мне на помощь.

Весь вопрос был в том, чем исцелить эту напасть? Упражнениями в добродетели? О них я и помыслить не могла; десять лет я только и делала, что упражнялась в добродетели, а тем временем открытая сейчас скверна таилась на дне моей души. И ведь могла же она вырваться наружу, как у Давида при виде Вирсавии,[63] а он тоже был другом господним, как и я веровала всей душой, что господь мне друг.

Значит, в этом непреодолимая слабость человечества? Значит, нам и должно мириться с тем, что рано или поздно мы подпадем власти своих страстей, и как бы мы ни противились, нам остается лишь проклинать свое падение, чтобы в сходных обстоятельствах снова пасть.

Учение о нравственности нимало не ободрило меня. Мне не внушали доверия ни строгость, с которой она старается обуздать наши страсти, ни услужливость, с которой силится превратить их в добродетели. Основные понятия, почерпнутые мною из общения с незримым другом, представлялись мне куда большей ценностью.

Как-то, читая внимательно псалмы, сочиненные Давидом после того несправедливого деяния, я поразились, что он узрел живущее в нем зло еще в той плоти, которая породила его, однако жаждал отмыться от беззакония и неотступно молил сотворить в нем сердце чистое.[64]

Но как же достигнуть этого? Ответ, который дают символические книги, был мне известен. Понимала я и библейскую истину, что кровь Христова очищает нас ото всех грехов. Но теперь лишь я увидела, что до сих пор по-настоящему не поняла этого речения, хотя столько раз слышала его. Денно и ночью не давали мне покоя вопросы: что это означает? Как это происходит? Наконец у меня забрезжила догадка, что до комое мною должно искать в вочеловечении предвечного слова, которое дало жизнь и нам, и всему земному. Изначально сущий простым смертным некогда спустился в нашу юдоль, которую он объемлет и проникает взором, прошел со ступени на ступень всю нашу жизненную стезю, от зачатия и рождения до могилы, и таким неисповедимым окольным путем вновь воспарил к горным высотам, где следует обитать и нам, дабы обрести блаженство: это смутно прозрела я в туманной дали.

Ах, зачем вынуждены мы, говоря о таких предметах, прибегать к чисто внешним образам! Где перед ним высота и глубина, тьма и свет? Мы знаем только верх и низ, день и ночь. Потому-то он и уподобился нам, что иначе мы не были бы причастны ему.

Как же можем мы причаститься этой бесценной благодати? «Через веру», — отвечает нам Писание. А что есть вера? Что будет мне за польза, ежели я почту истинным рассказ о каком-то событии. Мне надо проникнуться его воздействием, его последствиями. Эта проникновенная вера должна быть особым, не привычным обыкновенному человеку состоянием духа. «Ты, Всесильный, даруй мне веру!» — взмолилась я однажды, изнемогая под душевным гнетом. Опершись на столик, у которого сидела, я закрыла заплаканное лицо руками. В этот миг я была в таком состоянии духа, в каком должно быть, чтобы бог внял нашей молитве, только бывает оно очень редко.

Не знаю, кто мог бы описать мои чувства! Душа моя в неудержимом порыве устремилась ко кресту, на котором некогда испустил дух Иисус; да, это был порыв — иначе не назовешь его, во всем подобный тому, что влечет нашу душу к далекому возлюбленному, и такое приближение, пожалуй, много значительнее и подлиннее, нежели мы полагаем. Моя душа приблизилась к Вочеловечившемуся и Умершему на кресте, и в этот миг я постигла, что такое вера. «Это и есть вера!» — воскликнула я, вскочив, точно в испуге. Мне хотелось удостовериться в своем чувстве, в своем прозрении, и вскоре я убедилась, что дух мой обрел способность возноситься, способность, совершенно новую для него.

Для таких ощущений слов не подберешь. Я проводила четкую грань между ними и образами фантазии: в них не было ни фантазии, ни образов, и все же они давали твердую уверенность в предмете, к которому относились, уподобляясь силе воображения, которая

живописует перед нами черты далекого возлюбленного.

Когда миновал первый восторг, я припомнила, что у меня уже бывало подобное состояние духа, но в такой степени я не испытывала его ни разу. Я не умела удержать, усвоить его. Думается мне, каждой человеческой душе раз, другой хоть отчасти довелось его узнать. Без сомнения, это и есть то самое чувство, которое убеждает человека, что бог существует.

Прежде я вполне довольствовалась тем приливом душевных сил, какой ощущала время от времени, и если бы по воле рока на меня неожиданно не свалилась беда и если бы вдобавок сама я не усомнилась в своей власти над собой, то, пожалуй, по-прежнему довольствовалась бы таким положением.

Но теперь, с того великого мгновения, я обрела крылья. Я могла вознестись над тем, что мне грозило, как птица с пением беспечно пролетает над стремительным потоком, перед которым, испуганно таякая, останавливается собачонка.

Моя радость не поддается описанию, и хотя я ни словом не обмолвилась о ней, близкие заметили во мне непривычную веселость, но не могли понять, что послужило ей причиной. Ах, почему я не молчала и дальше и не постаралась сохранить в душе это светлое настроение! Почему я дала обстоятельствам соблазнить себя и открыла свою тайну! От какого долгого обходного пути была бы я избавлена!

В предшествующее десятилетие моей христианской стези той драгоценной силы не было у меня в душе, и я по примеру многих других благочестивых людей утешалась тем, что населяла свое воображение образами, напоминающими о боге, что само по себе не лишено пользы, ибо закрывает доступ иным пагубным образам и их недобрым последствием. Проникшись тем или иным духовным видением, душа наша хоть немного поднимается ввысь, подобно птенцу, который порхает с ветки на ветку. За неимением лучшего не следует до времени пренебрегать и этим упражнением.

Говорящие о боге образы и впечатления мы получаем от церковных обрядов, колоколов, органов и песнопений, особенно же от проповедей наших наставников. Я страстно тяготела к ним. Ни ненастье, ни телесная немощ не были мне помехой в посещении церкви, и только слыша воскресный благовест, я тяготилась одром болезни. Нашего придворного архипастыря, человека отменных качеств, я слушала с величайшим удовлетворением, ценила я и его собратьев, умея отыскать золотые яблоки божественного слова и в глиняных сосудах, среди обыкновенных овощей. К общественным упражнениям в благочестии добавлялись всевозможные так называемые частные наставления, они-то и давали пищу фантазии, изодряя мою чувствительность. Этот обычай так вошел в мой обиход, я так привыкла его чтить, что и теперь не видела ничего совершеннее. Ибо у моей души глаз нет, одни только щупальца. Она ориентируется на оцупь, не видя: ах, хоть бы она прозрела!

Меня и теперь влекли к себе проповеди; но, увы, что случилось со мной? Я более не находила в них прежнего интереса. Наши проповедники стачивали себе зубы о скорлупу, меж тем как я смаковала зерна. Понятно, что вскоре они прискучили мне, но я все еще была слишком избалована, чтобы знать лишь того одного, кто незримо жил в моей душе. Мне нужны были образы, я жаждала внешних впечатлений, а думала, что во мне говорит чисто духовная потребность.

Родители Филона были в свое время связаны с общиной гернгутеров,[65] у него в библиотеке сохранились многие сочинения графа.[66] Он несколько раз очень ясно и вразумительно рассказывал мне о них и уговаривал перелистать эти труды, хотя бы для того, чтобы познакомиться с любопытным психологическим феноменом. Я считала графа злейшим еретиком, а потому даже не стала раскрывать сборник эберсдорфских песнопений,[67] с теми же намерениями навязанный мне моим другом.

Не получая никаких отвлечений извне, я как бы случайно раскрыла упомянутый сборник и, неожиданно для себя, нашла там песни, правда, в своеобразной форме, говорившие о том, что сама я чувствовала, и привлечшие меня оригинальностью и наивностью выражения. Необычные чувства были здесь выражены на необычайный лад; полное отсутствие школярской терминологии, неизбежно отдающей чем-то избитым ильц ходульным. Я убедилась, что те люди чувствовали согласно со мной, и радовалась, заучив какой-нибудь стишок, с которым носилась несколько дней кряду.

С той минуты, когда мне была подарена истина, протекло месяца три. Наконец я решилась открыть все моему другу Филону и попросить у него те сочинения, которые чрезвычайно раззадорили теперь мое любопытство. Я и в самом деле ознакомилась с ними, хотя внутренний голос настоятельно отговаривал меня.

Я подробно рассказала Филону всю историю, в которой он играл одну из главных ролей, и так как мой рассказ явился и для него строжайшей покаянной исповедью, он был глубоко тронут и потрясен. Слезы хлынули у него из глаз. Я ликовала, полагая, что в нем совершился полный душевный переворот.

Он снабжал меня всеми сочинениями, какие я просила, и у меня теперь в избытке хватало пищи для воображения. Я успешно усваивала цинцендорфовскую манеру мыслить и говорить. Не надо думать, будто учение графа ныне поверяло для меня всякую цену. Я по сей день отдаю ему должное: он отнюдь не пустослов и не фантазер; он говорит о великих истинах, давая волю смелому полету воображения, а те, что его поносили, не умели ни ценить его, ни правильно судить о нем.

Я беззаветно полюбила его. Будь я хозяйкой своей судьбы, я бы, конечно, покинула отчизну и перекочевала к нему; мы, несомненно, не замедлили бы понять друг друга, но вряд ли смогли бы друг с другом поладить.

Да будет благословен мой добрый гений, замкнувший меня в тесном кругу домашних обязанностей. Прогулка по своему саду в ту пору составляла для меня целое путешествие. Уход за престарелым и немощным отцом причинял мне иного хлопот, а в часы досуга великодушная фантазия дарила мне отдохновение. Единственный, с кем я виделась, был Филон — его любил отец, а чистосердечная привязанность ко мне потерпела у него некоторый урон вследствие нашего последнего объяснения. Видимо, умиление его не было слишком глубоко, а попытки говорить моим языком плохо ему удались, и посему он избегал касаться этой материи, тем более что благодаря разносторонним познаниям умел изобретать все новые темы для разговоров.

Итак, я на свой страх сделала тас сестрой гернгутерской общины, но этот новый поворот в моей душе и новые мои склонности считала нужным скрывать от придворного архипастыря, хотя имела много причин ценить его как своего духовника, и его крайняя неприязнь к гернгутерам по сей день не может умалить в моих глазах его большие заслуги. К несчастью, этому достойному человеку пришлось перенести много огорчений через меня и других!

Много лет тому назад ему отрекомендовали за границей некоего кавалера как благородного и набожного человека, и он вступил с тем в постоянную переписку как с христианином, истово ищущим бога. Сколь прискорбно было духовному пастырю признать, что в дальнейшем этот кавалер связался с гернгутерами и долгое время примыкал к их братии; и сколь искренне был он обрадован, когда друг его разошелся с общиной, решил поселиться по соседству и, по-видимому, намеревался снова и окончательно подчиниться его руководству.

Новоприбывший был, можно сказать, с триумфом представлен налюбимейшим овечкам верховного пастыря. Только в нашдом его не ввели, потому что отец больше никого не принимал. Кавалер встретил единодушную апробацию; он обладал придворным лоском и приветливостью гернгутеров, в дополнение ко многим природным достоинствам, и вскоре стал кумиром всех, с кем встречался, к вящей радости своего духовного попечителя. К сожалению, он лишь по чисто внешним поводам разошелся с общиной, а в сердце оставался гернгутером. Он был привержен самому существованию их веры; но вместе с тем его тоже тешила суетная возня, которую граф затеял вокруг своего учения. Он привык к таким внешним формам и речам, а будучи отныне вынужден тщательно таиться от своего старого друга, все же спешил, едва вокруг собирался кружок благонадежных лиц, — пустить в ход свои стишки, литании и картинки, причем, конечно, имел большой успех.

Обо всем этом я понятия не имела и продолжала тешиться по-своему. Долгое время мы не были знакомы.

Как-то в свободную минуту я пошла навестить больную приятельницу. У нее я застала нескольких знакомых и сразу же заметила, что помешала их беседе, но не показала вида. Однако, к своему великому изумлению, я увидела на стене гернгутерские картины в изящных рамках. Быстро сообразив, что именно произошло здесь за время моего отсутствия, я приветствовала это новшество подходящими к случаю виршами.

Можно себе представить удивление моих подруг. Мы объяснились, и сразу же между нами установилось доверие и единодушие. Теперь я искала случая почаще бывать в обществе. Случай, увы, представлялся не чаще, чем раз в три недели, а то и в месяц, но все же я познакомилась и с высокопоставленным апостолом, а затем и со всей тайной общиной. Когда могла, я посещала их собрания, и, при общительности моего нрава, мне было бесконечно приятно слышать от других и самой поверять другим то, что дотоле я продумывала наедине с собой.

Я не была настолько увлечена, чтобы не заметить, сколь немногие чувствуют смысл умилительных слов и выражений, да и воодушевляются ими не более, чем прежде словами церковной символики. Невзирая на это, я не порывала с ними, поддаваясь сама обману и отнюдь не считая себя призванной вести дознание и испытывать сердца. Ведь и сама я многими невинными упражнениями была приуготовлена к более высокому назначению. Однако я не изменяла себе и, когда случалось высказаться, напирала на смысл, который в столь деликатных вопросах скорее затемняется, чем проясняется словами, а вообще-то с кроткой терпимостью предоставляла каждому поступать по-своему.

Мирные улады тайного общения сменились бурями публичных распрей и свар, вызывавших большую тревогу при дворе и в городе и принимавших, смею сказать, даже скандальный характер. Настала минута, когда наш архипастырь, ярый противник гернгутерской общины, к примерному своему посрамлению, обнаружил, что лучшие и преданнейшие его слушатели всем скопом перешли на ее сторону. Он был до крайности оскорблен, в первое мгновение забыл всякую сдержанность, а в дальнейшем, если бы и пожелал, — не мог уже идти на попятный. Возгорелись жаркие споры, в которых, по счастью, мое имя не упоминалось, ибо я была лишь случайной участницей пресловутых сборищ, а наш пылкий наставник не мог в делах мирских обойтись ни без моего отца, ни без моего друга. Я с тайной радостью хранила нейтралитет, ибо касаться подобных чувств и понятий даже в разговоре с благожелательными людьми было бы мне само по себе тягостно, раз они не пытаются проникнуть в самую глубину смысла и топчутся на поверхности.

А уж спорить с противниками там, где трудно поладить и с друзьями, казалось мне совсем бесполезным и даже вредным, ибо вскоре я убедилась, что многие сердечные, благородные люди, не умевшие в данном случае оградить свою душу от злобы и ненависти, вскоре скатились до несправедливости и чуть не загубили свою лучшую внутреннюю суть, цепляясь за внешнюю форму.

Как бы ни был тут неправ этот достойный человек и как ни старались восстановить меня против него, я не могла отказать ему в искреннем уважении. Я достаточно знала его, мне легко было стать в этих вопросах на его точку зрения. Я никогда не видела человека без слабостей, только у людей незаурядных они больше бросаются в глаза. Нам во что бы то ни стало хочется, чтобы тот, кто так отличен перед другими, не нуюсдался ни в скидках, ни в уступках. Я чтילה его как превосходного человека и надеялась своим молчаливым нейтралитетом поспособствовать если не миру, то хотя бы перемирию. Не знаю, чего бы я добилась; господь решил дело быстрее, прибрав его к себе. У его гроба плакали все те, что недавно вели с ним спор за слова. В его честности и богобоязненности не сомневался никто.

Мне тоже пришлось об эту пору бросить игру в бирюльки, которая из-за всех споров предстала передо мною несколько в ином свете. Дядюшка потихоньку привел в исполнение свои планы насчет моей сестры. Он представил ей в качестве жениха знатного и состоятельного молодого человека и назначил за ней, как и надо было ожидать, весьма внушительное приданое. Отец с радостью дал согласие, сестра была свободна и заранее расположена к замужеству. Свадьба состоялась в дядином поместье; приглашение получили родные и друзья, и все мы с веселым сердцем поспешили приехать.

Впервые в жизни дом, в который я вошла, поразил меня. Правда, я была наслышана о вкусе дяди, об его итальянском архитекторе, его коллекциях и библиотеке; когда я про себя сравнивала все эти рассказы с виденным ранее, в мыслях у меня возникал полный сумбур. Какой же неожиданностью было для меня впечатление строгой гармонии, которое возникало при входе и росло с каждой залой, с каждой комнатой! Если в других домах роскошь убранства лишь рассеивала меня, здесь я как-то вся притихла и внутренне сосредоточилась. Приготовления к торжествам и празднествам своим великолепием и благородством тоже рождали тихую радость, и мне равно было



неприятно, как один человек мог все это придумать и располжиться и как несколько человек могли объединиться для совместной работы такого высокого плана. Притом и хозяин, и его домочадцы держались вполне непринужденно — ни намека на чопорность или бездушную церемонность.

Само венчание неожиданно получилось очень трогательным; для начала нас пленила великолепная вокальная музыка, а священник сумел сообщить церемонии всю торжественность правды. Я стояла рядом с Филоном, и вместо того чтобы поздравить меня, он с глубоким вздохом промолвил:

— Когда я увидел, как ваша сестра протягивает руку, меня точно жаром обдало.

— Отчего? — спросила я.

— Со мной всегда так бывает при виде свадебного обряда.

Я посмеялась над ним, а потом мне не раз довелось вспоминать его слова.

Веселье, царившее в обществе, где было много молодежи, казалось зажигательным вдвойне на таком благородно-строгом фоне. Вся домашняя утварь: столовое белье, сервизы и приборы гармонировали с остальным, и если обычно мне казалось, что архитекторы и кондитеры вышли из одной школы, то здесь кондитер и дворецкий явно прошли школу у архитектора.

Гости пробыли несколько дней, и умный, заботливый хозяин постарался занять их разнообразнейшими развлечениями. Здесь не повторился мой печальный и многократный опыт: когда большое и смешанное общество предоставлено себе, он чувствует себя крайне неловко и хватается за любые пошлые забавы, из чего следует, что особенно тяготятся отсутствием приятного времяпрепровождения положительные, а не отрицательные персонажи.

Дядя все это устроил по-иному. Он назначил не то двух не то трех маршалов, если можно их так назвать: один должен был заниматься увеселениями юных гостей — в его ведении находились танцы, катания, салонные игры; а поскольку молодежь любит вольный воздух и не боится его воздействия, ей был предоставлен сад и обширный садовый павильон, причем для этого случая пристроили еще несколько галерей и беседок, правда, из досок и холста, но так искусно и пропорционально, что казалось, они сделаны из камня и мрамора.

Какая редкость — празднество, где тот, кто созывал гостей, почел своей обязанностью всемерно позаботиться об их удобствах и удовольствиях!

Охота, карты, короткие прогулки, уединенные уголки для душевных бесед были к услугам пожилых особ, а тех, кто привык рано отходить ко сну, поместили подальше от всякого шума.

Из-за такого образцового распорядка отведенное нам пространство казалось целым мирком, а между тем, если приглядеться, замок был вовсе не велик и, не зная каждого его закоулка, не обладая сообразительностью хозяина, трудно было приютить такую уйму народа и всякого убогатворить.

Не менее, чем вид складно сложенного человека, нас радует обстановка, где чувствуется присутствие тонкого и толкового ума. Приятно войти в обыкновенный опрятный дом, пускай даже безвкусно устроенный и убранный. Мы видим тут присутствие хотя бы отчасти образованных людей, а значит, нам должно быть приятно вдвойне, если человеческое жилище проникнуто духом высокой, хоть и чисто вещественной культуры.

Со всей ясностью ощутила я это в замке моего дяди. Об искусстве я много слышала и читала; Филон был большой любитель картин и собрал прекрасную коллекцию, да и сама я много занималась живописью, но отчасти я была поглощена своими переживаниями и превыше всего чаяла уяснить себе, что едино есть на потребу,[68] отчасти же все виденное мною дотоле лишь рассеивало меня, подобно прочим мирским делам. А тут нечто внешнее впервые побудило меня призадуматься, и я, к великому моему изумлению, поняла разницу между естественными благозвучными трелями соловья и четырехголосным «аллилуйя», с чувством пропетым человеческими голосами.

Радость из-за подобной перемены в себе я не скрыла от дядн, который особенно любил беседовать со мной, когда все прочие расходились по своим углам. С великой скромностью говорил он о том, чем владел и что создал, и с величайшей уверенностью объяснял, почему собирал и выставлял то или иное, и я видела, как он, из внимания к моим чувствам, подчеркивал, что остается верен себе и все добро, коим обладает и распоряжается, ставит ниже того, что почитает истинным и главным.

— Если мы верим, что творец мира сам принял образ своего создания и некоторый срок, уподобясь ему, прожил в мире, значит, и на создание это мы должны смотреть как на совершенство, коль скоро творец мог всецело слиться с ним. Значит, понятие человек ни в малейшей мере не может противоречить понятию божества, если же порой мы ощущаем несходство с ним и отчуждение от него, то долг наш не уподобляться адвокату дьявола,[69] видя одни лишь пороки и слабости нашей натуры, — а наоборот, отыскивать все, что есть в нас совершенного, тем укрепляя свои притязания быть равными богу.

Я отвечала с улыбкой:

— Милый дядя, не конфузьте меня свыше меры, из угождения мне стараюсь говорить моим языком! Для меня слишком важно все, что вы имеете мне сказать, и я хочу выслушать это на вашем собственном языке, а уж потом попытаюсь перевести на свой язык то, что не усвою до конца.

— Я могу, не меняя тона, перейти и на свой язык, — отвечал он. — Величайшая заслуга человека заключается в том, чтобы как можно более подчинять себе обстоятельства и как можно менее подчиняться им. Наш мир лежит перед нами как гигантская каменоломня перед зодчим, коюрий тогда лишь достоин этого имени, если из случайно нагроможденных природой глыб с большой бережностью,

целесообразности и уверенности в воссоздаем рожденный в его мозгу прообраз. Все вне нас — да осмелюсь утверждать, и в нас самих — лишь стихия, но в глубинах нашей души заложена творческая сила, способная создавать то, что быть должно, и не дающая нам ни сна, ни покоя, пока оно так или иначе не будет воплощено нами вне или внутри нас. Вы, дорогая племянница, пожалуй, избрали благую часть — свою духовную сущность, свою глубокую любящую натуру вы постарались согласовать с самой собой и с верховным существом, но и мы, люди иного склада, не заслуживаем порицания, когда желаем познать чувственную природу человека во всех ее аспектах и деятельно стараемся привести их к единству.

Подобные разговоры мало-помалу сблизили нас, и я добилась того, чтобы он говорил со мною без снисхождения, как с самим собой.

— Не думайте, что я льщу вам, хваля ваш образ мыслей и действий, — говорил мне дядя. — Я уважаю человека, который отчетливо знает, чего хочет, неутомимо совершенствуется, понимает, какие средства потребны для достижения его цели, умеет овладеть и воспользоваться ими; велика или мала его цель, заслуживает ли похвалы или хулы — это для меня вопрос второстепенный. Верьте мне, моя милая, львиная доля всех бед и того, что в мире именуют злом, происходит от беспечности человека, которому недосуг настоящему осознать свои цели и, даже осознав их, всерьез взяться за их осуществление. Так люди, коим известно, что можно и должно построить башню, расходуют на фундамент не больше камня и труда, чем потребно для шалаша. Вот у вас, мой друг, высшей потребностью было прийти в согласие со своими нравственными запросами, но если бы вы, не дерзнув пойти на столь большие жертвы, удовлетворились бы семейным кругом в угоду жениху, а может быть, и супругу, вам при вечном разладе с самой собой не знаять бы отрадной минуты.

— Вы произнесли слово «жертва», — подхватила я, — а мне не раз приходило на ум, что ради высшей цели, все равно что ради божества, мы приносим самую ничтожную жертву, хотя и любезную нашему сердцу, как охотно и радостно привели бы на заклание любимую овечку ради здоровья обожаемого отца.

— Что бы ни повелевало нам — разум или чувство — предпочесть одно другому, сделать выбор между тем или другим, — заявил он, — на мой взгляд, решимость и последовательность — достойнейшие качества человека. Нельзя одновременно иметь товар и деньги, и худо тому, кто льстится на товар, а деньги отдать жалеет; и одинаково худо тому, кто раскаивается в затрате, получив в руки товар. Но я и не думаю порицать людей за это, виноваты, в сущности, не они, а то сложное положение, в котором они находятся, не умея найти из него выход. Так, например, вы, как правило, встретите меньше плохих хозяев в деревне, чем в городе, и в мелких городах меньше, чем в крупных. Почему? Человек рожден с ограниченным кругозором; ему видны простые, близкие, определенные цели, он привыкает пользоваться теми средствами, что у него под руками; но, попав в менее ограниченные пределы, он перестает понимать, чего хочет, что от него требуется, и тут уж не имеет значения, теряется ли он от обилия новых предметов, или голова идет у него кругом от их великолепия и достоинства. Горе ему, если он вздумает домогаться того, с чем не может быть связан регулярной и самостоятельной деятельностью.

— Поистине, без должной серьезности ничего в мире не достигнешь, — продолжал он, — а у тех, кого мы именуем образованными людьми, немного видишь серьезности; я сказал бы, что к работе, к делам, к искусству и даже к развлечениям они подходят с опаской, словно обороняясь; люди живут, как прочитывают пачку газет, — лишь бы отделаться, и мне при этом приходит на память тот молодой англичанин в Риме, который вечером похвлялся перед собеседниками, что за нынешний день сбыл с плеч шесть церквей и две галереи. Люди хотят узнать и увидеть очень многое, но именно то, что их совсем не касается, а того не понимают, что, глотая воздух, голода не утолишь. Знакомясь с человеком, я первым делом спрашиваю, чем он занимается и как, в каком порядке. А выслушав ответ, я на всю жизнь определяю свое отношение к нему.

— Вы, милый дядюшка, пожалуй, чересчур строги, отнимая руку помощи у хороших людей, которым могли бы быть полезны, — заметила я.

— Следует ли осуждать за это человека, который понапрасну положил на них и для них столько труда? Мало ли приходится в юности терпеть от людей, которые мнят, что пригласили нас на веселый пикник, суля нам общество Данаид или Сизифа. Мне, слава богу, удалось от них отделаться, а если, на беду, такой индивид вотрется ко мне, я стараюсь куртуазнейшим образом спровадить его; ведь от таких-то и слышишь горчайшие жалобы на тщету мирской суеты, на бесплодность наук, на беспутство художников, пустоту поэтов и прочее. Им даже и в голову не приходит, что они сами и толпа им подобных не стали бы читать книгу, написанную в согласии с их требованиями, что истинная поэзия им чужда и даже хорошее произведение искусства может быть одобрено ими лишь из предвзятости. Однако довольно об этом, здесь не время хулить и сетовать.

Он обратил мое внимание на картины, развешанные по стенам. Взгляд мой останавливался на тех, что пленяли своей красотой или приковывали значительностью содержания. Он выждал некоторое время, а затем сказал:

— Уделите долю интереса и тому гению, кто создал все Это. Праведные души рады усмотреть перст божий в природе: почему бы не почтить своим вниманием руку его подражателя?

Он указал мне на невзрачные с виду картины и постарался убедить меня, что лишь история искусства может дать понятие о ценности и значительности произведения, что сперва нужно узнать, какие многотрудные ступени техники и ремесла столетиями одолевал человеческий талант, а затем уже постичь, как это мыслимо, что гению дано вполне вольно и радостно двигаться на вершине, на которую и глядеть нельзя без головокружения.

Руководствуясь этим принципом, он собрал целый ряд превосходных образцов, и когда он демонстрировал их мне, я не могла удержаться от сравнения с моральным совершенствованием. Когда я высказала свои мысли, дядюшка ответил мне:

— Вы совершенно правы, и отсюда явствует, сколь неразумно в одиночку, замкнувшись в себе, идти по стезе нравственного совершенствования. Правильнее будет понять, что тому, чей дух стремится к моральной культуре, надобно одновременно развивать в себе тонкую восприимчивость чувств, дабы ему не грозило соскользнуть со своих моральных высот, поддавшись соблазнам беспорядочной фантазии, и посрамить благородство своей природы увлечением безвкусной мишурой, если не чем-то худшим.

Я не заподозрила, что его слова относились ко мне, но почувствовала себя задетой, припомнив, что среди песен, утешавших меня, попадались и пошловатые, а картинки, отвечавшие моим религиозным воззрениям, навряд ли снискали бы расположение дяди.

Филон меж тем подолгу засиживался в библиотеке, а теперь привел туда и меня. Мы восторгались выбором книг при таком их количестве. Книги были во всех смыслах избранные, ибо среди них находились преимущественно такие, что ведут нас к ясному познанию либо учат правильному порядку, дают нам необходимые сведения либо доказывают единство нашего духовного строя.

В своей жизни я читала невероятно много, и в некоторых областях не было незнакомых для меня книг; тем приятнее была мне возможность делать общий обзор и отмечать лишь отдельные пробелы, привыкнув видеть либо сумбурную ограниченность, либо чрезмерную широту.

При этом случае мы познакомились с очень интересным и скромным человеком, врачом и естествоиспытателем. Его скорее можно было причислить к друзьям, нежели к обитателям дома. Он показал бам естественно-исторический кабинет, который, как и библиотека, размещался в застекленных шкафах, украшая стены комнат и скорее облагораживая, нежели стесняя занимаемое им помещение. Тут и я с удовольствием вспомнила свои детские годы и показала отцу те предметы, которые он когда-то приносил к постели своей больной дочки, не так давно увидевшей свет. А врач и здесь, и в последующих беседах не скрывал, что умышленно затрагивает со мной религиозные вопросы, при этом превозносил дюдю за терпимость и умение ценить все, в чем сказывается и поощряется достоинство и гармония человеческой природы; правда, того же он требует и ото всех других людей, превыше всего презирая и осуждая самовосхваление и непререкаемую ограниченность.

После свадьбы сестры дядя так и сиял от радости и не раз заговаривал со мной о том, как намерен осчастливить ее и будущих ее детей. Он владел богатыми поместьями, которыми сам управлял и надеялся в наилучшем состоянии передать племянникам. Касательно той усадьбы, где мы находились, у него, по-видимому, были особые планы.

— Ее я передам тому, — говаривал он, — кто способен насладиться всем неоценимо прекрасным, что находится в Ее, и кто понимает, как важно человеку богатому и знатному, особливо в Германии, создать нечто образцовое.

Мало-помалу разлетелась по домам большая часть гостей; мы тоже собирались уезжать, полагая, что все торжества отшумели, как вдруг нас наново поразила заботливость дяди, пожелавшего доставить нам достойное удовольствие. Мы не скрыли от него, с каким восхищением прослушали во время венчания сестры хор голосов без всякого инструментального сопровождения, и весьма прозрачно намекнули ему, что рады бы вторично испытать это наслаждение; казалось, он пропустил наш намек мимо ушей; как же были мы приятно поражены, когда однажды вечером он сказал нам:

— Бальный оркестр уехал, непоседливая молодежь нас покинула; сами новобрачные стали степеннее за несколько дней, и, прощаясь в такую минуту с сознанием, что, быть может, нам более не свидеться, во всяком случае, при подобных обстоятельствах, мы настраиваемся на торжественный лад, которому я не могу найти соответствие благороднее той музыки, повторение коей было вам желательно.

По его распоряжению усиленный и втихомолку еще лучше спевшийся хор исполнил для нас четырех — и восьмиголосные песнопения; слушая их, мы, смею сказать, заранее вкусили от райского блаженства. Дотоле я знала лишь молитвенное пение благочестивых душ, которые хрипловатыми голосами, точно птицы лесные, старались славить бога, ублажая самих себя; да еще суетную музыку концертов, где, правда, восхищаешься талантом артиста, но редко получаешь даже мимолетное удовольствие. А тут для меня зазвучала музыка, зародившаяся в душевных глубинах избранных человеческих натур и, через посредство назначенных и обученных для того голосов, своей слитной гармонией проникавшая в заповедные душевные глубины человека, так что он в эти мгновения поистине ощущал себя подобным богу. То были латинские духовные гимны, которые драгоценными камнями сверкали в золотом кольце просвещенного светского общества и, без попыток к так называемому поучению, настраивали меня на возвышенный лад и наполняли радостью.

Перед отъездом всех нас богато одарили. Мне дядя вручил крест моего ордена такой превосходной тонкой работы, с Эмалью, какую не часто приходится видеть. Висел он на крупном бриллианте, которым прикреплялся к ленте, причем дядя пояснил, что это один из драгоценнейших камней в его коллекции редкостей.

Сестра отправилась с супругом в его поместья, мы же все разъехались по домам, и нам казалось по внешним условиям, что мы воротились в самую будничную жизнь, словно спустились из волшебного замка на унылую землю и должны вновь устраиваться и приспособляться, каждый на свой лад. Необычайные впечатления от новой среды оставили по себе яркий след: однако вскоре они стали меркнуть, хотя дядя старался поддержать и оживить их, время от времени присылая мне самые лучшие и привлекательные из своих сокровищ и после того, как я вдоволь налюбуюсь ими, заменяя их другими.

Я слишком привыкла заниматься самой собой, приводить в порядок мои сердечные и душевные дела и беседовать о них со своими единомышленниками, а потому не могла внимательно созерцать произведения искусства, чтобы тут же не обратиться мыслями к себе самой. Я привыкла смотреть на картины и гравюры только как на буквы в книге. Красивая печать, конечно, ласкает взгляд, но кто возьмет в руки книгу ради печати? Так же и художественное изображение должно что-то говорить мне, поучать, трогать, совершенствовать меня; и как бы дядюшка в письмах ни старался истолковать посылаемую мне картину, я оставалась при своем.

Но больше, нежели свойства собственной природы, отвлекали меня от подобных размышлений и даже на время от себя самой события внешние, перемены в моей семье: непосильные труды и тревоги свалились на меня.

Незамужняя сестра всегда была моей правой рукой; здоровая, крепкая, необычайно добрая, она взяла на себя заботы по хозяйству, ибо меня всецело поглощал уход за стариком отцом. И вдруг она заболевает катаром, который переходит в грудную болезнь и спустя три недели сводит ее в могилу; ее кончина нанесла мне рану, рубцы которой не заживают по сей день.

Я слегла, прежде чем похоронили сестру; старый недуг, казалось, ожил в моей груди, я жестоко кашляла и так охрипла, что громко не

могла проронить ни слова. Замужняя сестра от потрясения и горя разрешилась до срока. Старик отец боялся, что одним ударом лишается и детей и надежд на потомство; его праведные слезы умножали мою скорбь; я молила господя вернуть мне хоть частицу здоровья и не отзывать меня к себе, пока жив мой отец. Я поправилась, по-своему чувствовала себя недурно и могла с грехом пополам исполнять свои обязанности.

Сестра забеременела снова. Многочисленные заботы, которыми в таких случаях делятся с матерями, она поверяла мне; с мужем она жила не очень счастливо и желала, чтобы об этом не знал отец; мне приходилось быть судьей между супругами, эту роль я исполняла неплохо, тем более что пользовалась доверием зятя, а оба они были превосходные люди, только оба не хотели друг другу уступать, вечно препирались между собой и от желания жить в полном согласии ни в чем не бывали согласны друг с другом. Таким образом, я научилась принимать к сердцу дела мирские и выполнять то, о чем раньше лишь рассуждала.

Сестра родила сына; недомогание не помешало отцу поехать к ней. При виде младенца он на удивление приободрился и повеселел, а во время крестин показался мне непривычно для себя одушевленным, словно каким-то двуликим божеством — один его лик был обращен вперед, к тем горным краям, куда он вскоре надеялся вступить, другой же созерцал новую, исполненную надежд земную жизнь, пробудившуюся в мальчике, его отпрыске. На возвратном пути он не уставал говорить со мной о ребенке, о его прелести, здоровье и о своем горячем желании, чтобы задатки нового гражданина мира получили счастливое развитие. Соображения его на этот предмет не иссякали и по прибытии домой. Лишь спустя несколько дней у него обнаружилась лихорадка, которая, без озноба, сказывалась после еды изнурительным жаром. Однако он не ложился в постель, выезжал по утрам, неуклонно выполняя свои служебные обязанности, пока упорные и грозные симптомы не пресекли его деятельности.

Никогда мне не забыть, с каким спокойствием духа, с какой ясностью и точностью он отдавал обстоятельнейшие распоряжения по дому и по устройству своих похорон, словно речь шла о делах постороннего человека.

С радостью почти что восторженной, обычно не присущей ему, обращался он ко мне:

— Куда девался страх смерти, который одолевал меня ранее? И почему бы я страшился умирать? Господь ко мне милосерд, могила не пугает меня, ибо мне дана жизнь вечная.

Вспоминать обстоятельства его кончины, наступившей вскоре, — величайшая отрада для меня в моем одиночестве, а что здесь явно проявилась высшая сила — это мое убеждение не оспорить никому.

Кончина любимого отца изменила мой образ жизни. На смену строжайшему послушанию, полнейшей зависимости пришла полнейшая свобода, и я наслаждалась ею, как кушаньем, которого долго не приходилось отвеждать. Прежде я редко отлучалась из дому даже на два часа; теперь я ни одного дня не проводила у себя в комнате. Друзья, к которым я, бывало, навещалась урывками, жаждали подольше общаться со мною, как и я с ними; теперь меня часто приглашали то па обед, то на прогулку или в увеселительную поездку, и я не уклонялась ни от чего. Когда же круг был пройден, я увидела, что бесценное счастье свободы не в том, чтобы делать все, чего пожелаешь и к чему влекут нас обстоятельства, а в том, чтобы без препон и оговорок, идя прямым путем, поступать по совести и справедливости; и зрелый мой возраст позволил мне прийти к этому прекрасному убеждению без горького опыта.

В одном я не могла отказать себе — мне не терпелось возобновить и укрепить отношения с членами гернгутерской общины; я поспешила посетить одно из их учреждений, расположенное поблизости; но и там все оказалось иным, чем мне представлялось. У меня достало прямодушия не скрыть своего впечатления, а меня старались убедить, что здешнее устройство не идет в пример с правильно поставленной общиной. Я согласна была примириться с этим, однако полагала про себя, что истинный дух должен равно проявляться как в большом, так и в малом сообществе. Находившийся там один из их епископов, непосредственный ученик графа, ревностно занялся мною; он в совершенстве владел английским, а из того, что я немного знала английский язык, сделал вывод, будто бы это перст судьбы, знаменующий наше единодушие; я же сделала обратный вывод: его общество пришлось мне отнюдь не по вкусу. Он был мастер-ножовщик родом из Моравии, и склад ума у него был ремесленнический. Скорее нашла я общий язык с господином фон Л., майором на французской службе; но к такому, как у него, покорству перед наставником я никогда не была бы способна, скажу больше, я испытывала такое чувство, словно мне дали пощечину, когда майорша и другие[70] в той или иной мере почтенные дамы лобызали епископу руку. Тем временем решена была поездка в Голландию, которая, однако, на мое счастье, так и не состоялась.

Сестра моя разрешилась дочкой, и теперь настал черед радоваться нам, женщинам, строя планы, как воспитать ее по своему образцу. А зять мой был очень недоволен, когда через год снова родилась девочка; при своих обширных поместьях он предпочел бы растить мальчиков, которые стали бы ему подмогой в делах управления.

Памятуя о слабости своего здоровья, я вела тихий, спокойный образ жизни, дабы сохранить некоторое равновесие духа и тела; смерти я не боялась, я даже желала умереть, но втайне чувствовала, что господь дает мне время познать свою душу и еще больше приблизиться к нему. Лежа по ночам без сна, я испытывала нечто такое, что никак не могла бы описать с достоверностью.

Мне казалось, будто душа моя мыслит без участия тела и даже смотрит на него как на чуждый предмет, так смотрим мы на сброшенное платье. С необычайной живостью рисовала она себе прошедшие времена и события, выводя из них то, что предстоит в будущем. Все эти времена миновали, и будущее минет тоже, тело износится, как платье, но «я», до последней черты известное «я» пребудет вечно.

Поменьше предаваться этому великому, возвышенному и утешительному чувству учил меня один благородный друг, с которым я сближалась все теснее; это был врач, встреченный мною в доме дяди и превосходно изучивший состояние моего духа и тела; он доказывал мне, до какой степени подобные ощущения, если поддерживать их вне зависимости от внешнего мира, можно сказать, опустошают нас и подрывают основы нашего бытия.

— Быть деятельным — первейшее назначение человека, — говаривал он, — а те промежутки, в которые человек вынужден отдыхать, ему следует тратить на познание внешнего мира, которое впоследствии, в свой черед, облегчит его деятельность.

Зная мое обыкновение смотреть на собственное тело как на посторонний предмет, зная также, что я неплохо осведомлена о своем организме, о своем недуге и о лечебных средствах против него, а по причине продолжительных своих и чужих болезней могу считаться почти что врачом, — друг мой перенес мое внимание с человеческого тела и лекарственных снадобий на прочие сопредельные предметы мироздания, он словно бы водил меня по раю и, осмелюсь продолжить мое сравнение, лишь под конец давал мне издали осязть присутствие творца, прохаживающегося в саду по вечерней прохладе.

Как отрадно было мне теперь созерцать бога в природе, непреложно нося его в сердце, как я дивилась созданию его рук и какую возносила благодарность за то, что ему угодно было оживить меня дыханием своих уст!

Мы с сестрой снова надеялись на мальчика, которого страстно жаждал мой зять, но, увы, так и не дождался. Этот достойный человек умер от несчастливого падения с лошади, и сестра вскоре последовала за ним, произведя на свет крепенького мальчугана. Я не могла без душевной боли смотреть на оставшихся после нее четверых сирот. Столько здоровых людей ушло из жизни, опередив меня, такую хворую; неужто мне суждено увидеть, как увянет один из этих сулящих столь многое цветков? Я неплохо знала жизнь и понимала, среди каких опасностей растет дитя, особенно в высоком сословии, мне даже казалось, что с юной моей поры опасности эти приумножились в современном мире. Я чувствовала, что при моей немощи мало чем могу быть полезна бедным детям; тем более порадовало меня решение дяди, естественное для его образа жизни, посвятить себя воспитанию милых малышек. И, право же, они заслуживали этого во всех смыслах; уродились они складными и, при всем несходстве между собой, одинаково обещали стать добронравными и разумными людьми.

С тех пор как наш славный врач пробудил мое внимание, я старалась подмечать фамильное сходство у детей и родственников. Отец мой бережно хранил портреты дедов и прадедов, заказывал неплохим мастерам писать себя и своих детей, не забывая матушку и ее родню. Мы хранили в памяти характерные черты всего семейства, часто сравнивали их между собой, а теперь находили фамильное внешнее и внутреннее сходство также и в детях. Старший сын сестры ходил на своего деда с отцовской стороны, превосходно написанный юношеский портрет которого находился в собрании нашего дяди; подобно деду, заслужившему репутацию храброго офицера, мальчик превыше всего любил оружие и возился с ним всякий раз, как навещал меня. Дело в том, что после моего отца осталась отменная коллекция оружия, и мальчуган не успокоился, пока я не подарила ему пару пистолетов и охотничье ружье и пока он не дознался, как обращаться с немецким затвором. Впрочем, и в поступках, и во всем его поведении не было и тени грубости, напротив, он отличался кротостью и рассудительностью.

Более всего я привязалась к старшей девочке, вероятно, потому, что она походила на меня и из всех четверых была самой мне преданной. Но должна сознаться, чем дальше наблюдала я ее развитие, тем сильнее чувствовала себя пристыженной и не могла без удивления, смею сказать, без уважения смотреть на нее. Редко встретишь осанку благороднее, строй души спокойнее, при размеренной, но отнюдь не ограниченной одним предметом деятельной энергии. Ни минуты не бывала она праздною, и каждое занятие в ее руках превращалось в значительную деятельность. Она ничем не смущалась, лишь бы выполнить то, чего требовали время и место, и оставалась столь же спокойна, не показывая нетерпения, если «никакого дела не было». Такой деятельной энергии без потребности в занятиях вообще я больше не встречала. Необычайно с юных лет было ее отношение к страждущим и беспомощным. Сознаюсь без стыда, что никогда не обладала даром создавать из благотворения дело; я не скупилась на бедняков и даже зачастую раздавала сверх своих возможностей, но до известной степени я только откупалась, и одни кровные родные получали право на мои заботы. А в племяннице меня подкупали прямо противоположные качества. Я ни разу не видела, чтобы она давала бедняку деньги, — то, что получала с этой целью от меня, она сперва обращала в самое засушное. Милее всего казалась она мне, когда опустошала мои платяные и бельевые шкафы. Всегда умудрялась она найти нечто такое, чего я не носила, чем не пользовалась, и величайшим для нее блаженством было переkreить и перешить старую вещь для какого-нибудь маленького оборвыша.

У ее сестрицы ясно сказывался совсем иной склад характера; она многое унаследовала от матери, с малых лет обещала стать грациозной и обаятельной, и по всему видно, что намерена сдержать обещание; будучи очень занята своей наружностью, она сызмала всех удивляла умением украшать себя и носить наряды. По сей день помню, с каким восхищением она совсем малюткой оглядывала себя в зеркале, когда я по ее настоянию надела на нее оставленный мне матушкой прекрасный жемчуг, который она случайно нашла у меня.

Думая о таком различии наклонностей, я наперед радовалась, что мое имущество после меня будет поделено между ними и через них оживет вновь. Мне уже виделось, как отцовы ружья мелькают по полям за плечами племянника, а из ягдташа у него вываливаются куропатки; весь мой гардероб мне виделся на маленьких девочках, выходящих из церкви в пасху после конфирмации, а лучшие мои материи я заранее видела на благонаравной мещаночке в день свадьбы, ибо Наталия имела особую склонность снабжать одеждой бедных детей и честных неимущих девушек, хотя сама она, надо признать, не обнаруживала ни намека на любовь, ни даже, если можно так выразиться, наималейшей потребности привязаться к какому-либо зримому или незримому существу — потребности, что так сильно проявлялась у меня в молодые годы.

Когда же я думала, что в то же самое время младшая племянница наденет ко двору мои жемчуга и украшения, меня умиротворяла уверенность, что достояние мое, подобно моему телу, возвратится в родную стихию.

Дети росли мне на радость здоровыми, красивыми и славными созданиями. Я безропотно терплю, что дядя держит их вдали от меня, и вижу с я с ними изредка, когда они бывают по соседству или же наезжают в город.

Необыкновенный человек, которого считают французским аббатом, толком не зная, откуда он явился, — приглашен надзирать за всеми детьми, хотя они воспитываются в разных местах и проживают пансионерами то здесь, то там.

Я не видела смысла в такого рода воспитании, пока мой врач не объяснил мне, что аббат убедил дядю, будто, стремясь по-настоящему воспитать человека, надобно посмотреть, куда направлены его склонности и желания, и вслед за тем поставить его в такие условия, которые позволили бы ему беспрепятственно следовать своим склонностям и беспрепятственно исполнять свои желания, дабы человек, совершив ошибку, вовремя понял ее, а найдя то, что ему по душе, неотступно держался бы облюбленной цели и усердно развивался в намеченном направлении. Я искренне желаю, чтобы столь своеобразный опыт удался; с такими хорошими натурами это, пожалуй,

ощущением.

В одном я порицаю этих воспитателей: они стараются устранить от детей все, что влечет их сосредоточиться на самих себе и на общении с Незримым, единственно верным другом. Я досажаю на дядю за то, что по этой причине он считает меня опасной для детей. На поверку никто по-настоящему не способен проявить терпимость. Даже человек, который уверяет, что готов мириться с любым посторонним суждением, не упустит случая пресечь деятельность того, кто мыслит роз\* но с ним.

Старание отдалить от меня детей огорчает меня тем сильнее, чем вернее я убеждаюсь в реальности моей веры. Как же может она не быть божественной природы, не иметь опоры в подлинно сущем, раз на практике она оказывается столь действенной? Если мы лишь на практике полностью осознаем собственное бытие, почему не можем мы тем же путем удостовериться в реальности того существа, которое ведет нас к добру?

Раз я непрерывно иду вперед, а не назад, раз в поступках своих я непрерывно приближаюсь к тому, что в моем представлении является идеалом, раз при всей моей телесной немощи мне все легче делать то, что я считаю справедливым, — неужто же все это исходит от человеческой природы, тленность коей я постигла слишком глубоко? По моему разумению — решительно нет.

Заповеди я помню нетвердо, ничего не возвожу в закон; внутреннее тяготение руководит мною и наставляет меня на правый путь; я свободно следую своим понятиям и не знаю ни стеснения, ни раскаяния. По милости господней мне ведомо, кому я обязана этим счастьем, и не иначе как со смирением я помышляю о дарованной мне благодати. Никогда не дерзну я возгордиться своим знанием и умением, однажды уразумев, какие чудовища могут быть взращены и вскормлены в человеческой душе, если не оградят нас вышние силы.

## КНИГА СЕДЬМАЯ

### ГЛАВА ПЕРВАЯ

Весна пришла во всей своей красе; ранняя гроза, надвигавшаяся с утра, разразилась в горах, дождь пролился над равниной, солнце засияло в полном блеске и на сером фоне туч раскинулась великолепная радуга. Вильгельм ехал верхом ей навстречу, с грустью глядя на нее. «Увы! — говорил он про себя, — не на таком ли точно фоне предстают перед нами самые приманчивые краски жизни? И зачем струятся капли, когда мы исполнены восторга? Ясный день подобен хмурому, когда мы равнодушно созерцаем его, и что может взволновать нам душу, как не затаенная надежда, что заложенное в нас от природы влечение не останется беспредметным? Душу нам волнует и рассказ о каждом добром поступке, и созерцание каждого гармонического образа; нам кажется тогда, что мы уже не совсем на чужбине, нам мнится, что мы ближе к той отчизне, куда нетерпеливо стремится все лучшее, что сокрыто в тайниках нашего сердца».

Тем временем его нагнал пешеход, который присоединился к нему, размашисто шагая рядом с конем, и после нескольких безразличных слов обратился к всаднику:

— Если не ошибаюсь, мы с вами уже где-то встречались?

— Я тоже как будто признаю вас, — отвечал Вильгельм. — Помнится, мы вместе совершили веселую прогулку по реке.

— Совершенно верно! — подтвердил попутчик.

Вильгельм пристально взгляделся в него и, помолчав, добавил:

— Не пойму, что за перемена произошла с вами. Тогда я принял вас за лютеранского пастора, теперь вы скорее похожи на католического патера.

— Нынче, по крайней мере, вы не заблуждаетесь, — сказал тот, сняв шляпу и обнажив тонзуру. — А куда девалась ваша труппа? Долго вы состояли при ней?

— Дольше, чем следовало; когда я вспоминаю время, которое провел в ней, я с сожалением убеждаюсь, что гляжу в беспредельную пустоту. Память моя ничего не сохранила от той поры.

— В этом вы ошибаетесь; с чем бы мы ни столкнулись, все оставляет по себе след и незаметно способствует нашему развитию; однако опасно стараться дать себе в этом отчет. В итоге нас одолеет либо гордыня, либо уныние и малодушие, и одно не менее вредоносно, чем другое. Вернее всего заниматься своим ближайшим делом, а в данную минуту, — с улыбкой добавил он, — это значит поспешать к месту назначения.

Вильгельм спросил, далеко ли до имения Лотарио, попутчик ответил, что оно расположено за горой.

— Может быть, я вас там застану, — добавил он, — мне надо только закончить кое-какие дела по соседству. Итак, до скорого свидания!  
— С этими словами он свернул на более крутую тропу, очевидно, сокращавшую дорогу через гору.

«Да, конечно же, он прав, — про себя решил Вильгельм, продолжая путь, — надо думать о ближайшем деле, а для меня нет сейчас ничего ближе печального поручения, которое надлежит мне выполнить. Посмотрим-ка, полностью ли сохранилась у меня в памяти речь, которой я должен пристыдить жестокосердого друга».

И он принялся повторять про себя этот литературный опус, он не пропустил ни полслова, и чем вернее служила ему память, тем более росли в нем негодование и отвага. Страдание и смерть Аврелии живо встали перед его внутренним взором.

— Осени меня, душа моей подруги! — вскричал он. — И, если можешь, подай мне знак, что ты примирена и успокоена!

С этими речами и мыслями добрался он до вершины горы и по ту сторону на склоне ее увидел причудливое строение, в котором тотчас же признал жилище Лотарио. Старый несуразный замок с несколькими башнями и фронтонами был, очевидно, первоосновой всего сооружения; но еще несуразнее оказались новые пристройки, возведенные частью рядом с главным зданием, частью поодаль от него и соединенные с ним галереями и крытыми переходами. Всякая внешняя симметрия, всякий намек на архитектурную сообразность были явно принесены в жертву внутреннему удобству. От рва и вала, как и от искусственно разбитых садов и больших аллей, не осталось ни малейшего следа. Огород и плодовый сад подступали к самым зданиям, а мелкие огородики были разведены даже между ними. Неподалеку раскинулась нарядная деревенька, сады и поля были па вид в превосходном состоянии.

Вильгельм ехал вперед, углубившись в свои беспокойные думы и не очень вникая в то, что видел. Он оставил лошадь на постоялом дворе и не без волнения поспешил в замок.

Старый слуга встретил его у входа и благодушно объяснил, что нынче ему вряд ли удастся повидать барина; барину надо написать много писем и он велел уже отказать кое — кому из тех, кто приходил по делу. Вильгельм настаивал; в конце концов старик уступил и пошел доложить о нем. Воротившись, он проводил Вильгельма в большую старинную залу и попросил его обождать, потому что барин еще задержался. Вильгельм беспокойно шагал взад и вперед, поглядывая на рыцарей и дам, чьи старинные портреты были развешаны по стенам; он повторял начало своей речи, и здесь, в окружении доспехов и брыжей, она казалась вполне уместной. Заслышав шорох, он поспешил принять подобающую позу, с достоинством встретить противника, сперва вручить ему письмо, а затем пустить в ход оружие упрека.

Несколько раз он обманывался и уже стал раздражаться, когда наконец пз боковой двери показался статный мужчина в ботфортах и простом кафтане.

— Что хорошего привезли вы мне? — приветливо обратился он к Вильгельму. — Простите, что я заставил вас ждать.

Говоря, он складывал письмо, которое держал в руках. Вильгельм не без смущения вручил ему послание Аврелии и сказал:

— Я привез вам последние слова вашей подруги, которые должны вас тронуть.

Лотарио взял письмо и воротился с ним в комнату и, как было видно Вильгельму через раскрытую дверь, сначала надписал и запечатал еще несколько писем, а затем уж вскрыл и стал читать послание Аврелии. По-видимому, он перечел письмо несколько раз, и хотя Вильгельм чувствовал, что его патетическая речь не очень-то соответствует столь естественному приему, однако он собрался с духом, направился к порогу и приготовился было начать свою рацию, когда потайная дверь кабинета растворилась и вошел патер.

— Я получил поразительнейшее известие! — воскликнул ему навстречу Лотарио и добавил, оборотясь к Вильгельму: — Простите мне, но сейчас я не расположен продолжать нашу беседу. Вы переночуете у нас! А вы, аббат, позаботьтесь, чтобы гость наш ни в чем не терпел недостатка.

С этими словами он поклонился Вильгельму, а патер взял нашего друга за руку, и тот неохотно последовал за ним.

Молча шли они причудливыми галереями и пришли в очень приветливую комнату. Патер ввел в нее гостя и удалился без дальнейших извинений. Вслед за тем появился бойкий подросток и объяснил Вильгельму, что приставлен ему служить; подавая ужин, он рассказал, какой распорядок в доме: когда здесь завтракают, обедают, работают и развлекаются, и при этом не уставал восхвалять Лотарио.

Как ни приятен был мальчик, Вильгельм постарался поскорее отделаться от него. Ему хотелось побыть одному, слишком уж неловким и тягостным было его положение. Он попрекал себя за то, что так плохо осуществил свое намерение и лишь вполнину выполнил данный ему наказ. То он давал себе слово завтра же утром наверстать упущенное, то вынужден был признаться, что знакомство с Лотарио настроило его совсем на другой лад. Да и очень уж необычным представлялся ему этот дом, он никак не мог освоиться здесь. Собираясь разоблачиться, он отпер свой чемодан; вместе с ночными принадлежностями он извлек покрывало призрака, которое уложила Миньона. Оно только усугубило тоскливое состояние его духа. «Беги, юноша! Беги!» — воскликнул он. Что означают Эти таинственные слова? Чего бежать, куда бежать? Лучше бы призрак крикнул мне: «Оглянись на самого себя!» Он принялся рассматривать английские гравюры, висевшие в рамках на стене. Почти по всем он скользнул равнодушным взглядом и вдруг увидел одну, изображавшую гибель корабля; отец со своими прекрасными дочерьми ждет смерти от подступающих волн. У одной из женщин было сходство с красавицей амазонкой; неизъяснимая жалость охватила нашего друга. Он ощутил непреодолимую потребность дать волю чувствам, слезы хлынули у него из глаз, он не мог успокоиться, пока сон не сморил его.

Странные сны привиделись ему под утро. Он находился в саду, где часто бывал мальчиком, и с радостью узнавал знакомые аллеи, изгороди и цветники. Ему встретилась Мариана, оп ласково заговорил с ней, не помяная прежних неладов. Тотчас же к ним подошел его отец в шлафроке и, приказав сыну принести из садового павильона два стула, с радушием, не присущим ему, взял Мариану за руку и повел ее к беседке.

Вильгельм бросился в павильон, но тот оказался пуст, только у противоположного окна стояла Аврелия; он приблизился и заговорил с нею, однако она не взглянула на него, и хотя он стоял рядом, лицо ее ему так и не удалось рассмотреть. Он выглянул в окно и увидел в каком-то незнакомом саду скопище людей, некоторых из них он сразу узнал. Под деревом сидела мадам Мелина, играя розой, которую держала в руке; рядом с ней стоял Лазэрт и считал золотые монеты, пересыпая их из руки в руку. Миньона и Феликс лежали в траве, она растянувшись на спине, а он ничком. Появилась Филина и хлопала в ладоши над детьми. Миньона не пошевелилась, а Феликс вскочил и пустился бежать от Филины; сперва он смеялся, когда Филина бросилась ему вдогонку, когда же арфист крупными медленными шагами пошел следом за ним, мальчик испуганно закричал. Он бежал напрямик к пруду. Вильгельм кинулся ему вслед, но опоздал — малыш был уже в воде. Вильгельм стоял как вкопанный. И вдруг па том берегу пруда увидел прекрасную амазонку, она протянула правую руку к мальчику и пошла вдоль берега; малыш пересек пруд по прямой линии, как указывал ее палец, и плыл за ней, пока она шла, наконец она подала ему руку и вытащила его из пруда. Вильгельм тем временем приблизился, малыш был охвачен пламенем, огненные капли скатывались с него. Вильгельм совсем растерялся, но амазонка быстро сняла с головы белое покрывало и окутала им малыша. Огонь

тотчас был загашен. Когда она подняла покрывало, из-под него выскочили два мальчугана, и они принялись вместе играть и резвиться, а Вильгельм рука об руку с амазонкой пошел по саду и увидел, как вдалеке его отец и Мариана прогуливаются по аллее, высокие деревья которой, казалось, окружали весь сад. Вильгельм направился к ним и вместе со своей прекрасной спутницей пересек сад, как вдруг им заступил дорогу белокурый Фридрих, с хохотом и паясничаньем задерживая их. Они попытались, невзирая на него, продолжать свой путь, тогда он отстал и помчался вдалеке, ко второй чете; отец и Мариана, по-видимому, убежали от него, а он мчался все быстрее, и Вильгельм увидел, как те двое почти что летят по аллеям. Голос природы и привязанности принуждал его поспешить им на помощь, но рука амазонки держала его. И как охотно позволял он удерживать себя! С этим смешанным чувством он проснулся и увидел, что комната уже залита ярким утренним солнцем.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Мальчик пригласил Вильгельма к завтраку; в зале уже находился аббат, а Лотарио якобы куда-то выехал верхом; аббат не отличался словоохотливостью да и был явно озабочен; он спросил, как умерла Аврелия, и участливо выслушал рассказ Вильгельма.

— Ах, — вскричал он, — кто живо представляет себе, какое множество манипуляций требуется от природы и искусства, чтобы получился просвещенный человек, кто сам посильно участвует в просвещении своих сограждан, тому впору отчаяться, видя, как безбожно человек зачастую губит себя и еще чаще, по собственной вине или без вины, способствует своей гибели. Когда я думаю об этом, сама жизнь начинает мне казаться случайным даром, и я готов хвалить всякого, кто не ставит ее выше, чем следует.

Не успел он договорить, как дверь с силой распахнулась и в комнату ворвалась молодая женщина, оттолкнув старого слугу, который попытался ее остановить. Она устремилась к аббату, схватила его за руку, сквозь слезы и рыдания едва выговаривая отрывистые слова:

— Где он? Куда вы его дели? Какое чудовищное предательство! Признавайтесь! Я знаю, что творится! Я хочу к нему! Я хочу знать, где он.

— Дитя мое, успокойтесь, — промолвил аббат с деланной невозмутимостью, — пойдите к вам в комнату, вы все узнаете, если пожелаете выслушать меня.

Он предложил ей руку, чтобы увести ее.

— Не пойду я к себе в комнату! — выкрикнула она. — Мне ненавистны стены, в которых вы столько времени держите меня взаперти! А я наперекор вам все узнала: полковник вызвал его, он ускакал, чтобы встретиться с противником и, может быть, именно в эту минуту... мне даже не раз слышались выстрелы. Велите запрягать, и едемте со мной, не то я буду кричать на весь дом, на всю деревню!

Рыдая, она бросилась к окну, аббат удержал ее и тщетно пытался успокоить. Услышав, что подъехал экипаж, она распахнула окно.

— Он убит! — закричала она. — Его привезли!

— Он выходит сам. Взгляните, он жив, — уговаривал аббат.

— Он ранен, — перебила она, — иначе он бы приехал верхом! Его ведут! Он опасно ранен!

Она кинулась в дверь, сбегала с лестницы, аббат поспешил за ней, Вильгельм за ними обоими; он увидел, как молодая красотка встретила возлюбленного, поднимавшегося на крыльцо.

Поддерживаемый своим спутником, в котором Вильгельм сразу же узнал давнего своего покровителя, Ярно, Лотарио пажно и ласково успокаивал неутешную женщину и, опираясь теперь на нее, медленно поднимался по лестнице; он поздоровался с Вильгельмом и с помощью друзей направился к себе в кабинет.

Вскоре оттуда появился Ярно и подошел к Вильгельму.

— Видно, рок судил вам всюду попадать на спектакли и актеров. Сейчас у нас разыгрывается весьма невеселая драма.

— Я рад, что встретил вас в такой необычайной ситуации, — сказал Вильгельм. — Я изумлен, испуган, а ваше присутствие успокаивает меня, приводит в равновесие. Скажите, это опасно? Барон ранен тяжело?

— Полагаю, что нет, — ответил Ярно.

Немного погодя из кабинета вышел молодой хирург.

— Ну, что скажете? — крикнул ему навстречу Ярно.

— Скажу, что положение очень опасное, — отвечал врач, укладывая инструменты в кожаную сумку.

Вильгельм смотрел на ленту, привязанную к сумке. Лента показалась ему знакомой: яркие контрастирующие тона, причудливый узор, золото и серебро в хитрых переплетениях отличали ее от всех лент в мире. Вильгельм был убежден, что перед ним сумка старика хирурга, который делал ему перевязку в достопамятном лесу, и надежда после столь долгого времени напасть на след своей амазонки огнем пронизала все его существо.

— Откуда у вас эта сумка? — вскричал он. — Кому она принадлежала до вас? Умоляю, ответьте мне!

— Я купил ее на аукционе, — ответил врач, — какое мне дело, кому она принадлежала?



С этими словами он удалился, а Ярно сказал:

— От этого молодого человека слова правды не добьешься!

— Значит, неверно, что он купил сумку? — спросил Вильгельм.

— Так же, как и то, что Лотарио в опасности, — ответил Ярно.

Вильгельм стоял, обуреваемый разнородными мыслями: когда Ярно спросил его, как ему все это время жилось.

Вильгельм в общих чертах изложил свою историю, и после того как он под конец рассказал о смерти Аврелии и данном ему поручении, Ярно произнес:

— Чудеса, право же, чудеса!

Из кабинета вышел аббат, кивком головы позвал Ярно сменить его и обратился к Вильгельму:

— Барон просит вас задержаться, на несколько дней примкнуть к нашей компании и поспособствовать его развлечению ввиду таких обстоятельств. Если вам надобно известить своих близких, письмо будет отослано без промедления. А чтобы вам было понятно необычайное происшествие, свидетелем коего вы оказались, я должен осведомить вас о том, что, собственно, не составляет тайны. У барона была интрижка с одной дамой, получившая больше огласки, чем следовало, ибо даме не терпелось насладиться торжеством победы над соперницей. На беду, ее общество вскорости прискучило ему, и он стал ее избегать; но, будучи наделена весьма пылким нравом, она не могла смириться со своей участью. Разрыв произошел публично, на бале. Считая себя крайне оскорбленной, дама искала кого-нибудь, кто за нее отомстил бы; такого рыцаря никак не находилось; наконец ее муж, с которым она давно разошлась, узнав о происшедшем, решил вступить за нее, вызвал барона и нынче его ранил; однако, по слухам, сам полковник поплатился еще сильнее.

С этого времени нашего друга привечали в доме так, словно он был членом семьи.

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Время от времени больного развлекали чтением вслух. Вильгельм с радостью оказывал ему эту скромную услугу. Лидия не отходила от постели, забота о раненом поглощала все ее внимание; но сегодня сам Лотарио был как-то рассеян и даже просил прекратить чтение.

— Нынче я особенно живо чувствую, как нелепо человек упускает дорогое время, — сказал он. — Сколько я строил планов, сколько всего обдумывал, и как же мы медлим с лучшими своими намерениями! Я прочитал предложенные мне прожекты изменений, которые следует ввести у меня в поместьях, и смею сказать, особенно ради этого радуюсь, что пуля не избрала себе пути поопаснее.

Лидия посмотрела на него с нежностью и со слезами на глазах, словно хотела спросить, не вправе ли она и друзья его претендовать на свою долю в этой радости жизни. А Ярно заметил:

— Такие изменения, как вы имеете в виду, надо всесторонне обсудить, прежде чем на них решиться.

— Долгие обсуждения показывают обычно недостаточное знание того предмета, о коем идет речь, а необдуманные действия — полную в нем неосведомленность, — возразил Лотарио. — Мне совершенно ясно, что по части хозяйствования в поместьях я во многих делах не могу обойтись без услуг моих крестьян, и посему должен прямо и строго отстаивать свои права. Но мне не менее ясно, что другие мои права хоть и выгодны, но не так уж необходимы для меня, и я могу частично поступиться ими в пользу моих людей. Отказываясь, теряешь не всегда. Разве я не извлек из своих поместий больше выгоды, нежели извлекал мой отец? Разве я и далее не повышаю свои доходы? Неужто же мне одному пользоваться растущими выгодами? Как же не уделить тому, кто работает со мной и на меня, заслуженную долю доходов, кои мы получаем от расширения познаний и успехов нашей Эпохи?

— Такова человеческая натура! — воскликнул Ярно. — Мне не зазорно ловить себя на этом. Человек жаждет завладеть всем, чтобы по своему произволу распоряжаться добытым, он считает пропащими те деньги, которые расходует не сам.

— Да, конечно, — признал Лотарио, — мы смело могли бы обойтись без значительной части капитала, если бы не так беспечно транжирили проценты.

— Одно я считаю нужным вам напомнить, — продолжал Ярно, — и объяснить, почему не советую вам именно сейчас предпринять преобразования и потерпеть хотя бы временный убыток, — ведь вы еще обременены долгами и находитесь в стесненном положении, пока их не выплатите. Посему примите мой совет и отложите ваши планы.

— А тем временем пуле или черепице с крыши заблагорассудится навсегда уничтожить плоды моей жизни и деятельности! Да, мой друг, — продолжал Лотарио, — в том-то и состоит основная ошибка людей просвещенных, что они рады все отдать идее и мало или ничего определенному предмету. Для чего я входил в долги? Почему я рассорился с дядей и надолго предоставил моих сестер самим себе, как не во имя идеи? Я желал трудиться в Америке, думал за морем приносить пользу и оказывать помощь; если какая-либо деятельность не была сопряжена с уймой опасностей, она представлялась мне незначительной и недостойной. Как изменился ныне мой взгляд на вещи, как ценно и дорого для меня то, что мне всего ближе!

— Я помню письмо, полученное мною из-за моря, — вставил Ярно. — Вы писали мне: я возвращусь и у себя дома, у себя в саду, в кругу своих близких скажу: здесь или нигде моя Америка!

— Да, мой друг, и я не устаю это повторять и все же браню себя за то, что здесь я менее деятелен, чем был там. Для длительного однообразного существования нам нужен только разум, мы и становимся настолько разумны, что уж не замечаем того необычного, чего

требуется от нас любой радой день, а замечать, находим тысячи оснований не заниматься им. Разумный человек — большая ценность для себя, но недостаточная для всего в целом.

— Не будем хулить разум, — заметил Ярно, — лучше признаем, что необычное чаще всего оборачивается нелепицей.

— Конечно, но лишь потому, что, творя необычное, человек ломает установившиеся обычаи. Так зять мой отдает всю отчуждаемую часть своего состояния братской общине, полагая, что тем самым радеет о спасении своей души; пожертвуй он малую толику своих доходов, он осчастливил бы множество людей, создав для себя и для них рай на земле. Наши жертвы редко бывают действительны, мы тотчас отрекаемся от того, что отдаем. Не с решимостью, а с отчаяния отдаем мы свое достояние. Признаюсь, последние дни граф неотступно стоит у меня перед глазами, и я твердо решил по убеждению сделать то, на что его толкает трусливая дурь. Не стану дожидаться полного выздоровления; вот бумаги, остается только привести их в порядок. Возьмите себе в подспорье судейского чиновника, гость наш тоже не откажется вам помочь, вы не хуже моего знаете, о чем идет речь, я же, выздоравливая или умирая, буду твердить одно: «Здесь или нигде — мой Гернгут!»

Когда Лидия услышала слова своего друга о смерти, она упала на колени перед его постелью и разрыдалась, прильнув к его груди. Вошел хирург, Ярно вручил бумаги Вильгельму и принудил Лидию удалиться.

— Бога ради, скажите, что такое с графом? — воскликнул Вильгельм, когда они остались одни в зале. — Кто этот граф, вступающий в братскую общину?

— Вам он отлично известен, — отвечал Ярно. — Вы — тот призрак, что гонит его в лоно благочестия. Вы тот злодей, что привел его любезную супругу в такое состояние, при котором она готова безропотно последовать за мужем.

— Она — сестра Лотарио? — воскликнул Вильгельм.

— Совершенно верно.

— И Лотарио знает...

— Всё.

— Тогда мне надо бежать! — вскричал Вильгельм. — Как посмею я предстать перед ним? Что он скажет?

— Что никто не смеет бросить камень в ближнего своего и что никто не должен сочинять длинные речи для посрамления других или уж держать эти речи перед зеркалом.

— Это вам тоже известно?

— Как и многое еще, — с улыбкой ответил Ярно. — Но па сей раз вы не уйдете от меня так легко, кстати, как вербовщика вам больше нечего меня бояться. Я уже не солдат, впрочем, и будучи солдатом, я напрасно внушал вам подобные опасения. С той поры, как мы встречались, многое переменялось. После кончины моего государя, единственного моего друга и благодетеля, я устранился от мира и от всех мирских дел. Я охотно поощрял то, что почитал разумным, и не молчал, ежели находил что-либо бессмысленным, а люди все толковали, что у меня взбалмошная голова и злой язык. Людская свора ничего так не боится, как разума; ей бы следовало страшиться глупости, если бы она понимала, что по-настоящему страшно; но разум стеснителен — его надо устранять, глупость же только вредна, а это можно претерпеть. Но, так и быть, я еще поживу, а потому слушайте о моих дальнейших планах. Если пожелаете, можете принять в них участие; только сперва расскажите о своих похождениях. Я вижу, я чувствую, вы тоже переменялись. Как обстоит дело с вашей старой фантазией создать нечто прекрасное и ценное в компании бродяг?

— Я достаточно наказан! — вскричал Вильгельм. — Не напоминайте мне, откуда я пришел и куда направляюсь. О театре говорят много, но кто сам не побывал на подмостках, не имеет о них настоящего понятия. Трудно даже вообразить, до какой степени эти люди не знают самих себя, как бездумно занимаются своим делом, как безграничны их притязания. Каждый не только хочет быть первым, но и единственным, каждый желает отстранить всех остальных, а того не видит, что и с ними вместе не способен чего-то достигнуть. Каждый мнит себя чудом своеобразия и при неустанной жажде новизны не в силах найти свой путь вне рутины. Как яростно воюют они между собой и лишь из низменного себялюбия, тупого своекорыстия держатся друг за друга! Об их личных отношениях и говорить не приходится; постоянное недоверие питается скрытыми кознями и злословием; кто не живет распутно, живет бессмысленно. Каждый претендует на безоговорочное уважение, каждый обижается на малейшее порицание. Как же? Он сам все отлично знает! А почему же упорно делает обратное? Вечно нуждаясь в совете и никому не доверяя, они ничего так не боятся, как разума и тонкого вкуса, и ничем так не дорожат, как непререкаемой властью собственного произвола.

Вильгельм перевел дух, намереваясь продолжить свою тираду, но оглушительный хохот Ярно остановил его.

— Бедные актеры! — воскликнул он и бросился в кресло, не переставая смеяться. — Славные бедные актеры! Знаете ли вы, мой друг, — продолжал он, немного отдышавшись, — что ваше описание относится не к театру, а ко всему миру, и я в любом сословии подберу достаточно персонажей и поступков вроде тех, что вы изображаете вашей суровой кистью? Простите, но я не могу удержаться от смеха, — почему вы связываете эти прекрасные качества только с подмостками?

Вильгельм постарался овладеть собой, ибо необузданный и несвоевременный хохот Ярно в самом деле раздосадовал его.

— Вы не можете вполне скрыть свое человеконенавистничество, утверждая, что эти пороки присущи всем, — сказал» он.

— А вы показываете, что плохо знаете мир, ставя все\* подобные явления в укор театру. Право же, я готов простить актеру любой недостаток, проистекающий из самообольщения и жажды нравиться; ведь если он не может казаться чем-то и себе и людям, значит, он

ничто. Его призвание не то, чтобы казаться, и так же должен ценить минутный успех, раз другой награды ему не дано; ему непременно надо блистать — ведь для того он и стоит на сцене.

— Позвольте и мне хотя бы улыбнуться, в свой черед, — вставил Вильгельм. — Никак не ожидал, что вы можете быть столь справедливы, столь снисходительны.

— Клянусь богом, я говорю вполне продуманно и серьезно. Все человеческие пороки я прощаю актеру и ни одного актерского порока не прощаю человеку. Не вызывайте меня на сетования по этому поводу, они прозвучат патетичнее ваших.

Из кабинета вышел хирург и на вопросы, каково самочувствие больного, ответил с подчеркнутой веселостью:

— Как нельзя лучше. Надеюсь вскорости увидеть его совсем здоровым.

И он тотчас же выбежал вон из залы, не дожидаясь расспросов Вильгельма, а тот уже рот раскрыл, чтобы осведомиться, откуда у него сумка. Настоячивое желание хоть что — нибудь узнать о своей амазонке побудило его довериться Ярно. Он поведал ему свое приключение и попросил о содействии.

— Вам столько всего известно, — добавил он, — неужто вы не дознаетесь и до этого?

Ярно задумался на миг, а затем сказал своему молодому другу:

— Будьте покойны и не выдавайте себя, мы уж как-нибудь нападём на след вашей красавицы. Сейчас меня тревожит здоровье Лотарио. Положение опасное, об этом свидетельствует чрезмерная веселость и успокоительные речи хирурга. Я охотно спровадил бы Лидию — от нее здесь ни малейшей пользы. Только не знаю, как это устроить. Надеюсь, сегодня приедет наш старый лекарь, а потом уж мы обсудим дальнейшее.

#### ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Лекарь приехал; это был уже известный нам старичок, который познакомил нас с тем поучительным манускриптом.

Прежде всего он осмотрел раненого и остался явно недоволен его состоянием. Затем он имел долгую беседу с Ярно, но оба ни словом не обмолвились о ней за ужином.

Вильгельм сердечно приветствовал его и осведомился о своем арфисте.

— Мы не теряем надежды вернуть бедняге здоровье, — отвечал врач.

— Этот человек был печальным добавлением к вашему своеобразному и замкнутому образу жизни, — заметил Ярно. — Расскажите, что с ним произошло дальше.

После того, как любопытство Ярно было удовлетворено, врач продолжал:

— Никогда не случалось мне видеть человека в столь странном душевном состоянии. Долгие годы он ничем не занимался и не интересовался, что не касалось его самого; сосредоточась на себе, он созерцал свое пустое и праздное «я которое представлялось ему глубочайшей бездной. Как трс гал он за душу, когда говорил о своем печальном положении!»! «Я ничего не вижу для себя ни впереди, ни позади — одну только нескончаемую ночь, и в ней я пребываю в ужасающем одиночестве, — жаловался он, — никакого иного чувства иг насталося у меня, кроме чувства вины, да и она мерещител мне где-то сзади отдаленным бесформенным призраком. Там нет ни высоты, ни глубины. Ничего впереди, ничего позади; нет таких слов, чтобы выразить мое неизменно одинаковое состояние. Иногда под гнетом этой неизменности я восклицаю: «Навек! Навек!» — и это удивительное, непостижимое слово представляется мне лучом света среди мрака моего состояния. Ни единая искра божества не озарит для меня эту ночь, все свои слезы я стараюсь выплакать про себя и о себе. Всего страшнее мне дружба и любовь, ибо они одни соблазняют меня пожелать, чтобы окружающие меня видения стали действительностью. Но и эти два призрака поднялись из бездны лишь для того, чтобы запугать меня и отнять даже драгоценное сознание этого безумного бытия».

Послушали бы вы, — продолжал врач, — как в минуты откровенности он такими речами облегчает себе душу; я но раз с величайшим волнением слушал его. Если обстоятельства вынуждают его на миг признать, что прошло какое-то время, он будто изумляется этому, а затем снова отвергает изменимость вещей, видя в ней чудо из чудес. Однажды вечером он пропел песню о своей седине, мы все сидели вокруг него и плакали.

— О, достаньте мне эту песню! — вскричал Вильгельм.

— А вы ничего не узнали о том, что именно он называет своей виной и почему он носит такое странное одеяние? — спросил Ярно. — В чем причина его поведения на пожаре и его бешеной злобы против мальчика?

— Лишь путем догадок могли мы кое-что узнать о его судьбе; прямые расспросы были бы противцы нашим правилам. Замечая, что он получил католическое воспитание, мы думали, что ему даст облегчение исповедь; но он непонятным образом скрывается, как только мы делаем попытку привести его к священнику. Чтобы хоть отчасти удовлетворить саше желание что-либо узнать о нем, поделюсь с вами нашими предположениями. Молодость он провел в духовном звании и потому, очевидно, не хочет расстаться с длинной хламидой и с бородой. Радости любви оставались ему незнакомы большую часть жизни. Лишь поздняя греховная связь с близкой родственницей и, возможно, ее смерть, давшая жизнь какому-то злополучному созданию, окончательно помutilи его разум.

Помешан он главным образом на том, что повсюду сеет несчастье и что ему суждена смерть через ни в чем не повинного мальчика. Он

боялся Миюны, пока не узнал, что она девочка; затем его страшило Феликс, и так как при всех своих горестях он бесконечно любит жизнь, его неприязнь к ребенку, очевидно, проистекает отсюда.

— Какие же у вас надежды на его исцеление? — спросил Вильгельм.

— Очень медленно, но все же ему делается лучше, спасибо, что не хуже. Он не манкирует своими занятиями, а мы еще приучили его читать газеты, и он с большим нетерпением ждет их.

— Мне очень любопытно познакомиться с его песнями, — заметил Ярно.

— Я могу показать вам многие из них, — обещал врач. — Старший сын пастора приучен записывать проповеди отца; незаметно для старика он запечатлел многие строфы и мало — помалу составил воедино одну песню за другой.

На следующее утро Ярно явился к Вильгельму и сказал:

— Вы должны сделать нам одолжение, необходимо на некоторое время удалить Лидию. Ее пылкая и, позволю себе сказать, обременительная любовная страсть препятствует излечению барона. Рапа его требует полнейшего покоя, хотя при его крепкой натуре и не представляет опасности. Вы видели, как терзает его Лидия бурной заботливостью, необузданным страхом, неиссякаемыми слезами и... словом, — после паузы добавил он, — лекарь настоятельно требует, чтобы она на время покинула этот дом. Мы уверили ее, что очень ей близкая приятельница находится по соседству, яселяет ее видеть и ждет с минуты на минуту. Она согласилась поехать к судейскому чиновнику, который живет отсюда всего в двух часах пути. Судья предупрежден, он выразит сердечное сожаление, что фрейлейн Тереза сейчас только уехала и что, пожалуй, ее еще можно нагнать. Лидия поспешит ей вослед, и, если нам посчастливится, ее так и будут возить с места на место. Если же под конец она будет настаивать на возвращении, перечить ей нельзя, а надо призвать на помощь ночь, — кучер смысленный малый, с ним надо столкнуться; садитесь с ней в карету, развлекайте ее и руководите всей авантюрой.

— Странное и сомнительное поручение даете вы мне, — заявил Вильгельм, — зрелище обиженной верной любви само по себе достаточно тягостно, а я еще должен быть пособником обмана. Впервые в жизни приходится мне пускаться на такой подвох, я же сам всегда считал, что мы далеко зайдём, если начнем кривить душой ради пользы и добра.

— А ведь детей нельзя воспитывать иначе, — заметил Ярно.

— С детьми еще куда ни шло, — возразил Вильгельм, — их мы и любим нежно, и потворствуем им; но с теми, кто подобен нам и кого сердце не всегда приказывает нам щадить, Это может стать опасным. Впрочем, нет, я не отказываюсь из-за этого выполнить поручение, — продолжал он, подумав. — При том почтении, какое внушает мне ваш ум, при той симпатии, какую я испытываю к вашему превосходному другу, и при горячем желании любыми средствами содействовать его исцелению я рад забыть о себе. Недостаточно рисковать жизнью ради друга, в случае надобности можно поступиться и своими принципами. Мы обязаны жертвовать ради него самой горячей страстью, самыми заветными мечтами. Я беру на себя ваше поручение, хоть и предвижу заранее, каких мук будут мне стоить слезы и отчаяние Лидии.

— За это вас ждет немалое награждение, — ответил Ярно, — вы познакомитесь с фрейлейн Терезой, редкостной женщиной, поистине редкостной. Она стоит сотни мужчин, и я назвал бы ее настоящей амазонкой, меж тем как другие щеголяют в этом двусмысленном обличье премилыми гермафродитами.

Вильгельм встрепенулся — у него вспыхнула надежда обрести в Терезе свою амазонку, тем более что Ярно, к которому он приступил с расспросами, оборвал разговор и ретировался.

Наново надеясь на скорую встречу с возлюбленным, обожаемым созданием, Вильгельм оказался игрищем самых неожиданных чувств. В данном ему поручении он теперь видел явный перст судьбы, а мысль, что ему предстоит обманом разлучить бедную девушку с предметом ее искренней и страстной любви, мелькала у него лишь мимоходом, как пролетает тень птицы над озаренной солнцем землей.

Карета стояла у крыльца, Лидия на миг заколебалась, прежде чем сесть в нее.

— Поклонитесь еще раз вашему барину, — сказала она старому слуге, — к вечеру я ворочусь.

Слезы стояли у нее в глазах, когда она, отъезжая, оглянулась напоследок. Оборотясь к Вильгельму и совладав с собой, она сказала:

— В лице фрейлейн Терезы вы найдете весьма незаурядную особу. Не могу понять, как она очутилась в здешних местах. Вы, надо полагать, знаете, что она и барон страстно любили друг друга. Невзирая на расстояние, Лотарио часто бывал у нее; я в ту пору находилась при ней, и казалось, они друг без друга жить не могут. И вдруг все пошло врозь, а почему — никто не мог понять. Он познакомился со мной; я не буду отрицать, что всей душой завидовала Терезе и не могла скрыть, как он мне нравится, и не оттолкнула его, когда он вдруг стал мне оказывать предпочтение перед Терезой. Она вела себя со мной как нельзя лучше, хотя и могло показаться, что я отбила у нее такого завидного любовника. Но скольких же слез и страданий мне «стоила эта любовь! Сперва мы встречались изредка, украдкой, но я не могла долго терпеть такую жизнь: лишь в его присутствии была я счастлива, счастлива вполне! Вдали от него у меня не просыхали глаза, сердце не билось спокойно. Как-то он не появлялся несколько дней, я не помнила себя от отчаяния, пустилась в путь и нагрязнула к нему сюда. Он принял меня ласково, и, не случись эта злополучная история, мне жилось бы как в раю. Даже сказать нельзя, что я выстрадала с тех пор, как жизнь его в опасности, как он терпит боль, а сейчас я горько каюсь, что могла покинуть его хотя бы на день.

Только Вильгельм собрался поподробнее расспросить о Терезе, как они подъехали к дому судьи, который приблизился к экипажу и выразил сожаление, что фрейлейн Тереза успела уехать. Он предложил путешественникам позавтракать у него, но тут же присовокупил, что карету еще можно нагнать в соседней деревне.

Решено было ехать следом, и кучер не стал мешкать. Опн миновали несколько деревень, никого не настигнув. Лидия настаивала на возвращении, а кучер все ехал дальше, будто не понимал ее слов. Наконец она решительно потребовала повернуть назад; Вильгельм окликнул кучера и подал ему условный знак.

— Нам незачем ехать обратно тем же путем, — ответил кучер, — я знаю другой, поближе и поудобнее.

Свернув в сторону, он повез их лесом, а затем мимо бесконечных пастбищ. Наконец, не видя знакомых мест, кучер признался, что, как на грех, сбился с дороги, но надеется скоро найти ее; кстати, неподалеку видна деревня. Надвигалась ночь, а кучер действовал так ловко, что повсюду спрашивал и нигде не дожидался ответа.

Так они ехали всю ночь. Лидия не сомкнула глаз; при лунном свете ей все виделись с чем-то сходные места, но они тут же исчезали. Наутро окружающие предметы показались ей совсем знакомыми, но тем более неожиданными. Карета остановилась перед небольшим, ладно построенным сельским домом; с крыльца сошла женщина и открыла дверцу. Лидия тупо посмотрела на нее, посмотрела вокруг, потом снова на нее и упала без чувств на руки Вильгельму.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

Вильгельму отвели горенку под крышей: дом был новенький, почти неправдоподобно маленький и весь дышал чистотой и порядком. В Терезе, встретившей его и Лидию у кареты, он не признал своей амазонки; это было совсем иное создание, отличное от нее, как небо от земли: складного сложения, хоть и небольшого роста, она была очень подвижна, а ее голубые, широко раскрытые глаза, казалось, подмечали все вокруг.

Она вошла в комнатку к Вильгельму и спросила, не надобно ли ему чего-нибудь.

— Простите, что я предоставила вам комнату, где еще не выветрился неприятный запах краски; мой домик едва — едва отстроен, и вы обновили эту горенку, предназначенную для гостей. Если бы только вас привел сюда более приятный повод! Бедняжка Лидия не украсит нам жизнь, и вообще будьте снисходительны; кухарка моя уволилась совсем некстати, а работник покалечил себе руку. Придется мне самой управляться со всем, да это и нетрудно наладить, если рассчитывать только на себя, — ни от кого сейчас столько ке терпишь, как от прислуга; никто не хочет прислуживать, даже самому себе.

Она поговорила еще о разных предметах и вообще, по — видимому, была словоохотлива. Вильгельм осведомился, каково состояние Лидии и можно ли ему повидать эту милую девушку, дабы испросить у нее прощенья.

— В этом вы сейчас не успеете, — заявила Тереза, — прощает, как и утешает, одно лишь время. Слова в обоих случаях имеют мало силы. Лидия не желает вас видеть. «Пускай не показывается мне на глаза, — кричала она, когда я от нее уходила. — Как мне не отчаяться в людях! С таким честным лицом, с таким прямодушным обращением — и вдруг столько коварства!» К Лотарио у нее никаких претензий, недаром он в письме уверяет бедняжку: «Меня убедили друзья, меня вынудили друзья!» К ним Лидия причисляет и вас и клянет вас заодно с остальными.

— Она оказывает мне слишком много чести, ругая меня, — возразил Вильгельм. — Пока что я не смею притязать на дружбу этого превосходного человека и на сей раз играю роль слепого орудия. Не стану хвалиться своим поступком, довольно и того, что я способен был его совершить! Речь шла о здоровье, о жизни человека, которого я ценю более всех, кого знал дотоле. Ах, фрейлейн, что это за человек! И какими людьми он окружен! В их обществе, смею утверждать, я впервые вел настоящую беседу, впервые заветнейший смысл моих слов звучал мне из чужих уст куда содержательнее, полнее и шире; то, что я смутно угадывал, становилось для меня ясным, а что предполагал, то научился видеть. К несчастью, этой усладе сперва препятствовали всякие заботы и причуды, а затем и это неприятное поручение. Я покорно взял его на себя, ибо почитал своим долгом оплатить вступление в круг столь замечательных людей, принеся в жертву свои чувства.

Во время этой речи Тереза очень ласково глядела на своего гостя.

— О, как отрадно слышать собственное мнение из чужих уст! — вскричала она. — Мы по-настоящему утверждаемся в себе, лишь когда другой подтверждает нашу правоту. Я думаю о Лотарио точно так же, как и вы; не каждый отдает ему справедливость. Зато им очарованы все, близко его знающие, и щемящее чувство, которое в моей душе сопутствует мыслям о нем, не мешает мне постоянно вспоминать его.

При этих словах глубокий вздох приподнял ее грудь и в правом глазу блеснула светлая слеза.

— Не считайте меня мягкосердечной и чувствительной. Глаз плачет, а не я. У меня была бородавка на нижнем веке, ее перевязали, и она благополучно отпала, но глаз с тех пор остался слабым, и по малейшему поводу у меня набегают слеза. Вот здесь сидела бородавочка, но следа вы не увидите.

Следа он не увидел, зато, заглянув в глаз, ясный, как кристалл, он точно заглянул на дно ее души.

— Итак, мы произнесли пароль, связующий нас, — сказала она, — а теперь нам надобно как можно скорее полностью узнать друг друга. История человека раскрывает его характер. Я расскажу вам, какова была моя жизнь; подарите меня таким же доверием, дабы мы и вдали остались связаны между собой. Мир так пустынен, ежели представлять себе только горы, реки и города, но когда знаешь, что тут и там есть кто-то, с кем мы единокорны, кто безмолвно сопутствует нам, тогда земной шар становится для нас обитаемым садом.

Она поспешила прочь, обещав скоро пригласить его на прогулку. Ее присутствие подействовало на него весьма благотворно; ему захотелось узнать об ее отношениях с Лотарио. Его позвали, она вышла ему навстречу из своей спальни.

Когда им пришлось спускаться друи за дружкой по узкой и довольно крутой лестнице, она объяснила:

— Все здесь могло быть шире и просторней, если бы я приняла помощь вашего великодушного друга; но чтобы остаться достойной его, я должна сохранить в себе то, чем стала ему так дорога. Где же управитель? — спросила она, донизу спустившись по лестнице. — Не подумайте, будто я настолько богата, чтобы нуждаться в управителе; за своими скромными угодами я, конечно, могу присмотреть и сама. А это управитель моего нового соседа; он купил великолепное имение, которое я знаю вдоль и поперек; славный старик лежит в подагре, люди его незнакомы со здешними местами, и я охотно взялась им помочь в устройстве.

Они совершили прогулку по полям, лугам и плодовым садам. Тереза наставляла управителя во всем; она могла объяснить ему любую мелочь, а Вильгельм не уставал дивиться ее познаниям, ее опытности и способности указать верное для каждого случая средство. Она нигде не задерживалась, поспешая к самым важным местам, так что с делами было скоро покончено.

— Поклонитесь вашему хозяину, — на прощанье сказала она управителю. — Я навещу его при первой возможности, желаю ему полного выздоровления. А ведь я могла бы хоть сейчас стать владелицей богатого поместья, — с улыбкой добавила она, когда управитель ушел. — Мой славный сосед не прочь бы предложить мне руку.

— Это подагрический-то старец? — вскричал Вильгельм. — Не поверю, чтобы вы в ваши годы могли прийти к подобному решению. Разве что с отчаяния?

— Да у меня и нет такого поползновения, — возразила Тереза. — В довольстве живет всякий, кто умеет управлять тем, чем владеет; от богатства же одна докука, если не знаешь, как им управлять.

Вильгельм высказал удивление по поводу ее хозяйственных познаний.

— Решительная склонность, рано представившийся случай, поощрение извне и непрерывный труд на благородном поприще творят еще и не такие чудеса, — объяснила Тереза. — А когда вы узнаете, что подвигло меня на это, вы перестанете удивляться моему якобы необычайному дарованию.

Когда они дошли до дому, она оставила его в своем садике, где он еле мог повернуться, так узки были дорожки и так густо все засажено. Он невольно улыбнулся, возвращаясь через двор, — дрова там были до того аккуратно распилены, расколоты и уложены крест накрест, словно составляли часть здания и должны остаться тут навечно. Чисто вымытая утварь стояла по своим местам, на выкрашенный в красное и белое домик весело было глядеть. Все, что может сделать ремесло, не ведающее роскоши, но работающее на потребность, прочность и радость, как будто соединилось здесь. Обед ему подали в его комнату, и у него было довольно времени для раздумья. Особенное впечатление произвело на него то, что вот он и опять свел знакомство с личностью примечательной, да еще тесно связанной в прошлом с Лотарио. «Вполне естественно, что такой незаурядный человек влечет к себе незаурядные женские души, — мысленно рассуждал он. — Какой широтой воздействия наделены мужественные, исполненные достоинства натуры! Только бы другие при этом не были вовсе обделены! Да, признайся в своем страхе! Ежели когда-нибудь доведется тебе встретить твою амазонку, всем дивам диво, вдруг, наперекор твоим надеждам и мечтам, к вящему твоему посрамлению и унижению, она окажется его невестой»,

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Конец дня Вильгельм провел беспокойно и довольно томительно, а под вечер дверь его комнаты растворилась, и с поклоном вошел складный юноша-егерь.

— Не прогуляться ли нам? — спросил юноша.

И в тот же миг Вильгельм по прекрасным голубым глазам узнал Терезу.

— Простите мне этот маскарад, ибо теперь, увы, это всего лишь маскарад, — начала она. — Но я собираюсь рассказать вам о тех временах, когда мне нравилось ходить в такой куртке, и потому хочу возможно живее воскресить у себя в памяти те дни. Пойдемте. Само место, где мы так часто отдыхали после охоты и прогулок, будет способствовать воспоминаниям.

Они вышли, и по дороге Тереза сказала своему спутнику:

— Не годится, чтобы вы только слушали меня — вы и так достаточно знаете обо мне, а я ничего о вас не знаю; расскажите сперва хоть что-нибудь о себе, а я покамест наберусь мужества, чтобы поведать вам свою историю и обстоятельства своей жизни.

— Мне, на беду, только в том и остается признаваться, как громоздились у меня ошибки на ошибки, заблуждения на заблуждения, — отвечал Вильгельм, — а от вас, более чем от кого-либо, желал бы я утаить ту душевную смуту, в которой пребывал и пребываю поныне. Ваш взор и все вас окружающее, ваше существо и поведение говорят мне, что вы вправе быть довольной прошлой своей жизнью, что вы уверенно и последовательно прошли прекрасным, светлым путем, не растрчивая даром времени, и вам не за что себя укорять.

Тереза ответила, улыбнувшись:

— Посмотрим, останетесь ли вы при том же мнении, выслушав мой рассказ.

Они пошли дальше, и среди бесед на разные темы Тереза задала вопрос:

— Вы свободны?

— Полагаю, что да, но не желаю этого, — отвечал он.

— Так! Это говорит о сложном романе и показывает, что и вам есть о чем порассказать.

Под этот разговор они взошли на пригорок и расположились близ большого дуба, бросавшего тень далеко окрест. зг» д

«- Здесь, под этим немецким деревом, хочу я рассказать вам историю немецкой девушки, — промолвила Тереза, — выслушайте ее терпеливо.

Мой отец был состоятельный дворянин здешней провинции, жизнерадостный, простой, деятельный, порядочный человек, верный друг, отменный хозяин, за которым я знаю один недостаток — потворство женщине, не умевшей его ценить. К сожалению, я вынуждена так отзываться о собственной матери! Она по натуре была полной противоположностью отцу. Взыскательная, непостоянная, нерадивая хозяйка, она не питала привязанности даже ко мне, единственному своему ребенку; расточительная, но красивая, остроумная, богато одаренная, она была кумиром целого кружка, который сумела собрать вокруг себя. Правда, общество ее если и бывало многочисленным, то ненадолго. Оно состояло главным образом из мужчин, потому что ни одной женщине не было приятно ее соседство, а она и подавно не могла стерпеть успех другой особы женского пола. Я и наружностью и нравом пошла в отца. Как утенка с первых дней тянет к воде, так для меня родной стихией с малолетства были кухня, кладовая, амбары и чердаки. Порядок и чистота в доме, казалось, были еще в пору детских игр моим единственным интересом, единственной целью. Отец радовался этому и старался удовлетворять мои детские устремления посильными и полезными занятиями; мать же меня не любила и ни минуты не скрывала этого.

Я подрастала, и с годами все множились мои труды, все крепились отцовские чувства ко мне. Когда мы оставались одни и вместе ходили по полям, когда я помогала ему проверять счета, для меня было очевидно, как он счастлив. Когда я заглядывала ему в глаза, мне казалось, будто я смотрю в самое себя, ибо глазами я более всего походила на него. Но в присутствии матери взгляд его становился малодушен, утрачивал привычное выражение; мать резко и несправедливо меня бранила, отец мягко вступался за меня, брал мою сторону, по не для того, чтобы защитить меня, а словно бы стараясь лишь оправдать мои добрые качества. Так и наклонностям ее он не ставил препон; в пору ее бурного увлечения сценой был построен театр; в мужчинах всякого возраста и вида, желавших быть ее партнерами, недостатка не ощущалось, зато женщин зачастую не хватало. Вторые роли поручались Лидии, премилей девушке, которая воспитывалась вместе со мной и с самой ранней юности обещала стать прелестной; матерей и тетушек играла пожилая камеристка, меж тем как за собой моя мать оставила всех первых любовниц, героинь и пастушек. Передать вам не могу, как меня смешило, что хорошо знакомые мне люди переряженными взбирались на подмостки и желали казаться не тем, чем были. Я же не видела в них никого иного, как мою мать и Лидию, такого-то барона либо секретаря, хоть они и представлялись принцами, графами, а то и поселянами; я не могла взять в толк, как это они желают меня уверить, будто им весело или грустно, будто они влюблены или равнодушны, щедры или скарены, когда я точно знаю, что это неправда. Поэтому я редко засиживалась среди зрителей; чтобы не быть праздною, я снимала нагар со свечей, хлопотала об ужине, а на другое утро, пока они спали допоздна, успевала привести в порядок их гардероб, который они накануне пошвыряли как попало.

Матери мои труды, по-видимому, были наруку, но расположения ее я все равно не добились, она презирала меня, и мне доподлинно известно, что она не раз с горечью повторяла: «Если бы в материнстве можно было так же усомниться, как в отцовстве, вряд ли кто-нибудь счел бы эту чумичку моей дочерью». Я не скрывала, что ее отношение мало-помалу совсем отвратило меня от нее, ее поступки казались мне поступками кого-то чужого, а привыкнув зорким ястребиным глазом наблюдать за челядью, — на чем, к слову сказать, зиждется всякое домоводство, — я, конечно, подметила и отношения матери с ее обществом. Не трудно было увидеть, что не на всех мужчин она смотрит одинаковым взглядом; я пригляделась пристальнее, и вскоре мне стало ясно, — что Лидия была ее наперсницей и при этом случае успела ближе познать ту страсть, которую с юных лет изображала столь часто. Я знала о всех их свиданиях, однако молчала и ничего не говорила отцу, боясь его огорчить; но в конце концов я была к этому вынуждена. Многие невозможно было осуществить, не подкупив челяди, а та начала дерзить мне, спустя рукава выполняла распоряжения моего отца, а моими и вовсе пренебрегала; непорядки, приотекавшие отсюда, были мне несносны; я все открыла, на все пожаловалась отцу.

Он выслушал меня невозмутимо:

— Милое дитя, — с улыбкой сказал он под конец, — я все знаю, успокойся, скрепись и терпи. Ведь я со всем этим мирюсь ради тебя.

Я не успокоилась, я не могла терпеть. В душе я осуждала отца, считала, что нет такой причины, ради которой можно сносить нечто подобное; я требовала порядка и была полна решимости настоять на своем.

У матери было собственное состояние, но транжирила она сверх своих возможностей, отчего, по моим наблюдениям, между родителями случались стычки. Долгое время все оставалось без перемен, пока бурные страсти матери сами не привели к развязке.

Первый любовник скандальным образом изменил ей; дом, родные места, все обстоятельства жизни стали ей постылы. Она попыталась было переехать в другое имение, там ей показалось слишком одиноко; она собралась переселиться в город, но там ей не удалось бы блистать. Не знаю, что произошло между нею и отцом, так или иначе, он на каких-то неизвестных мне условиях разрешил ей вояж на юг Франции.

Мы вздохнули свободно и зажили как в раю; на мой взгляд, отец ничего не потерял, если даже и откупился от ее присутствия внушительной суммой. Лишняя челядь была уволена, а счастье явно благоприятствовало распорядку нашей жизни; не\* сколько лет прошло для нас как нельзя лучше; мы преуспевали во всех своих начинаниях. Но, к несчастью, это блаженное бытие длилось недолго; внезапно отца поразил апоплексический удар, у него отнялась правая сторона и речь стала невнятной. Приходилось угадывать, чего он желает, ибо выговаривал он не те слова, какие держал в уме. Поэтому для меня бывали очень тягостны те минуты, когда он настоятельно хотел остаться со мной наедине; нетерпеливыми жестами требовал он, чтобы все удалились, а когда мы оказывались одни, ему не удавалось выговорить нужное слово. Его раздражение доходило до крайней степени, а мне было мучительно его состояние. Я понимала, что ему нужно поведать мне нечто очень важное именно для меня. Как жаждала я узнать, что же это такое! Обычно я все угадывала по его глазам, но теперь было тщетно пытаться. Даже глаза его ничего уже не говорили. Одно было мне ясно: он ничего не желает, ничего не требует, он стремится лишь открыть мне нечто, чего я, увы, так и не узнала. Удар повторился, он стал немощен и недвижим и умер очень скоро.

Сама не знаю, как засела у меня в голове мысль, что он где-то схоронил клад и предпочитает, чтобы после его смерти клад этот

досталась мне, а не матери. Я начала ещё при его жизни, но ничего не нашла; после его смерти мне было очень печатно. Я написала матери и предложила, что останусь управлять имением; она это отвергла, и мне пришлось съехать из дому. Тут было обнаружено завещание, по которому она получала во владение и пользование все имущество, я же, по крайней мере при ее жизни, оставалась в полной зависимости от нее. Лишь теперь, казалось мне, я по-настоящему поняла намеки отца и пожалела его за слабость, вынудившую его и после смерти поступить со мной так несправедливо. Некоторые мои друзья утверждали, что это не лучше, чем вовсе лишить меня наследства, и требовали, чтобы я оспорила завещание. Но я слишком чтла память отца и не могла на это решиться.

Я издавна была в добрых отношениях с владелицей крупного поместья, расположенного по соседству. Она охотно приютила меня в своем доме, и я вскоре без дальних слов взяла в руки ее хозяйство. Она вела строго размеренную жизнь и любила порядок во всем, а я исправно помогала ей сражаться с управителем и прислугой. Во мне нет ни скарденности, ни недоброжелательства, но мы, женщины, куда строже любого мужчины смотрим, чтобы ничего не пропадало зря. Малейшая нечестность нам претит; мы хотим, чтобы каждый получал лишь то, на что имеет право.

Я опять была в своей стихии и лишь про себя горевала о смерти отца. Моя покровительница была мною довольна, и только одно маленькое обстоятельство нарушало мой покой. Возвратилась Лидия; у моей матери достало жестокости избавиться от бедной девушки после того, как она была уже в корне развращена, от матери моей она научилась считать своим назначением пыл страстей и привыкла ни в чем не стесняться себя.

Когда она вдруг объявилась снова, моя благодетельница дала приют и ей. В ту пору родные и будущие наследники хозяйки дома часто наезжали к нам позабавиться охотой. С ними иногда являлся и Лотарио; я почти сразу же заметила, как выделяется он среди остальных, но для себя не делала из этого никаких выводов. Он был равно вежлив со всеми, а вскоре его внимание как будто привлекла Лидия.

Я же из-за множества дел редко присоединялась к обществу гостей; в его присутствии я говорила меньше обычно\* го, хотя не стану скрывать, что оживленная беседа всегда была для меня главной усадой жизни. С отцом я любила обсудить все, что бы ни случилось. О чем не поговоришь, того толком и не продумаешь. Никому на свете не внимала я так охотно, как Лотарио, когда он рассказывал о своих странствиях и походах. Мир был ему так ясен, понятен, так открыт, как мне те места, где я хозяйничала. Я внимала не фантастическим похождениям авантюриста, не маловероятным рассказам узколобого путешественника, нарочито заслонив своей особой те края, которые пообещался описать; нет, он не рассказывал, он вел нас на место действия; редко случалось мне испытывать столь полноценное удовольствие.

Но самое большое наслаждение доставило мне то, что однажды вечером\* он говорил о женщинах. Беседа завязалась сама собой после посещения нескольких дам, обитавших по соседству и затеявших избитый разговор о женском образовании. К нашему полу относятся несправедливо, мужчины хотят завладеть высшими ступенями культуры, а нас не подпускать к науке; они требуют, чтобы мы служили им куклами для забавы и домоправительницами.

Лотарио больше отмалчивался, но когда общество стало малочисленной, он открыто выразил свое мнение по этому поводу.

— Удивительное дело! — вскричал он. — Как можно осыпать упреками мужчину, когда он желает предоставить женщине самое высокое место, какое только она способна занимать, — а что может быть выше, чем править домом? Если мужчина ведет изнурительную борьбу с внешними условиями, если на нем лежит обязанность добывать и сберегать состояние, если он даже участвует в управлении государством — все равно он находится в постоянной зависимости от обстоятельств и, можно сказать, ни над чем не властен, хотя и мнит себя властителем, всегда вынужден поступать политично, когда предпочел бы поступать разумно, скрытничает, когда ему хочется быть откровенным, лукавит, когда ему хочется быть правдивым; если он во имя цели, которой никогда не достигнет, ежеминутно жертвует прекраснейшей целью — внутренней гармонией, зато разумная хозяйка по-настоящему властвует в своем доме, давая целой семье возможность всяческой деятельности и всяческое благополучие. В чем высшее счастье человека, как не в осуществлении того, что мы считаем правым и благим, как не в том, чтобы полновластно распоряжаться средствами, ведущими к нашей цели? А где могут и должны быть наши ближайшие цели, как не в своем доме? Где мы ожидаем, где требуем удовлетворения постоянно вновь возникающих, насущных потребностей, как не там, где мы встаем и ложимся, где кухня и кладовая со всякого рода припасами готовы к услугам нашим и наших близких?

Сколько регулярных трудов надо приложить, дабы в неуклонной живой последовательности поддерживать этот постоянно возобновляемый порядок. Не многим мужчинам дано неуклонно, подобно небесному светилу, возвращаться на круги своя, быть на посту и днем и ночью, обеспечивать совокупность домашних трудов, сеять и пожинать, хранить и расходовать и проходить весь цикл с неизменным спокойствием, с любо-вью и пользой. Утверждаясь в домашнем господстве, женщина тем самым делает по-настоящему господином мужчину, которого любит; в силу своей внимательности она приобретает множество знаний, нужных для ее деятельности. Таким образом, она ни от кого не зависит и мужу своему доставляет независимость подлинную, домашнюю, внутреннюю; он видит, что владение его упрочено, приобретения тратятся с пользой, и это дает ему возможность обратить свой ум на предметы более высокие и, если выпадет такое счастье, — стать для государства тем, чем жене его так пристало быть для дома.

После этого Лотарио начал описывать, какую желал бы иметь жену. Я покраснела, ибо он описывал точь-в-точь меня. Мысленно я упивалась своим торжеством, тем более что по всему видимому он подразумевал не меня лично, да, собственно, и не знал меня. Никогда в жизни не испытала я ничего приятнее сознания, что мужчина столь мною уважаемый воздает хвалу не моей особе, а внутренней моей сущности. Какая это была для меня награда, какое ободрение!

Когда все уехали, почтенная моя приятельница с улыбкой сказала мне:

— К сожалению, мужчины часто говорят и думают то, чего не осуществляют, а иначе моей милой Терезе прямо в руки шла бы превосходная партия.

Я обратила ее слова в шутку и добавила, что разумом мужчины не прочь приобрести себе хозяйку, но сердцем и воображением тянутся к другим качествам, а мы — хозяйки — вряд ли можем взять верх над миловидными и завлекательными девицами. Я с умыслом сказала



это так, чтобы слышала Лидия, ибо она не скрывала, что Лотарио произвел на нее сильное впечатление; да и он с каждым новым визитом как будто обращал на нее все больше внимания. Она была бедна, незнатного рода и о замужестве с ним не могла и мечтать, но она не знала выше блаженства, чем увлекать и увлекаться самой, я же никогда еще не любила, не любила и теперь; однако, хоть мне и было бесконечно приятно, что столь уважаемый человек дает такую лестную оценку моему характеру, не стану скрывать, что я не вполне была удовлетворена этим. Мне хотелось теперь, чтобы он получше узнал меня, проявил участие ко мне лично. Это желание явилось у меня безо всякой мысли о том, к чему оно может повести.

Главной заслугой перед моей благодетельницей было мое старание привести в порядок принадлежащие к поместьям великолепные лесные угодья. В этих богатейших владениях, стоимость которых с течением времени и по ходу обстоятельств все возрастает, к сожалению, дело велось по старинке, нигде ни намек на план и порядок, всюду одно лишь воровство и хищение. Многие холмы стояли голые, и только на самых старых участках деревья росли равномерно. Я все обошла с опытным лесничим, распорядилась измерить участки, а потом уж рубить, сеять, сажать; и в короткий срок работа пошла полным ходом. Чтобы удобнее было ездить верхом и не быть стесненной в ходьбе, я заказала себе мужской костюм, успевала повсюду и на всех нагоняла страх.

Я прослышала, что молодые люди в компании с Лотарио вновь задумали поохотиться. Впервые в жизни мне пришлось на ум покрасоваться, вернее, — зачем возводить на себя напраслину? — предстать в истинном свете перед столь достойным человеком. Я надела мужское платье, через плечо повесила ружье и вместе с нашим егерем отправилась к границе поместья встречать гостей. Они явились. Лотарио узнал меня не сразу; один из племянников моей благодетельницы отрекомендовал меня как умелого лесничего, пошутил над моей молодостью и, продолжая игру, расточал мне похвалы до тех пор, пока Лотарио не признал меня. Племянник, словно по уговору, вошел в мои намерения. Он с признательностью обстоятельно рассказал, сколько пользы я принесла владениям его тетушки, а следовательно, и ему.

Лотарио слушал внимательно, сам заговорил со мной, расспрашивал, как обстоят дела в имении и каковы местные условия, а я рада была развернуть перед ним свои познания; Экзамен я выдержала отлично, представила на его суд проекты кое-каких усовершенствований; он одобрил их, привел сходные примеры и подкрепил мои доводы, связав их воедино. Удовлетворение мое росло с каждой минутой. Но, на свое счастье, я хотела лишь, чтобы меня узнали, я не хотела, чтобы меня полюбили, ибо, когда мы пришли домой, мне больше, чем прежде, бросилось в глаза, что под вниманием, которое он оказывал Лидии, скрывается непритворное увлечение. Я достигла своей цели, но покоя не обрела; с того дня он показывал мне искреннее уважение и лестное доверие, неизменно заговаривал со мной в обществе, спрашивал моего мнения, особенно же в хозяйственных вопросах, доверял мне так, будто я знаю решительно все. Его интерес ко мне был для меня огромным поощрением; даже когда речь заходила о политической экономии и о финансах страны, он вовлекал меня в разговор, а я в его отсутствие старалась приобрести побольше сведений о нашей провинции и обо всей стране. Это не стоило мне труда, ибо повторяло в крупных масштабах то, что было мне хорошо известно в малых.

С того времени он стал чаще навещать нас. Могу смело сказать, что говорили мы с ним обо всем, но, так или иначе, наши разговоры в конце концов, хотя бы косвенно, касались экономических вопросов. Не раз говорили мы о том, как неимоверно много может совершить человек разумным употреблением своих сил, своего времени, своих денег, даже при помощи незначительных с виду средств.

Я не противилась склонности, которая влекла меня к нему, и, увы, слишком скоро почувствовала, сколь сильна и глубока, чиста и непритворна моя любовь, а самой меж тем казалось все бесспорнее, что частые его посещения относятся не ко мне, а к Лидии. Она, по крайней мере, в этом не сомневалась, она взяла меня в поверенные своих тайн, чем я до некоторой степени была утешена. Те доказательства, которые она толковала в свою пользу, были, на мой взгляд, отнюдь не убедительны; ничто не говорило о его намерениях вступить в прочную и длительную связь, но тем яснее была мне решимость пылкой девицы во что бы то ни стало принадлежать ему.

Так обстояли дела, когда хозяйка дома поразила меня неожиданным заявлением:

— Лотарио просит вашей руки и желает, чтобы вы навсегда стали спутницей его жизни. — Она пустилась восхвалять мои качества и закончила тем, что мне всего приятнее было слышать: Лотарио убежден, что нашел во мне ту женщину, о которой так долго мечтал.

Итак, я достигла наивысшего счастья: меня домогался тот, кого я так ценила, подле кого и с кем чаяла полностью, свободно, плодотворно применить врожденную мою склонность и приобретенное опытом искусство; ценность всего моего бытия возросла до бесконечности. Я дала согласие, он явился сам, говорил со мной наедине, взял мою руку, заглянул мне в глаза, обнял меня и запечатлел на моих губах поцелуй.

Первый и последний поцелуй. Он объяснил мне свое положение, во что обошелся ему американский поход, какими долгами он обременил свои имения, из-за чего едва не рассорился со своим двоюродным дедом, и как этот достойный старец думает на свой лад помочь ему, женив его на богатой, когда благомыслящему человеку куда нужнее домовитая; при посредстве сестры он надеется переубедить старика. Он изложил мне, как обстоит дело с его состоянием, каковы его планы, его виды на будущее, и попросил моего содействия. Но до согласия деда намерения наши следовало держать в тайне.

Не успел он удалиться, как Лидия стала меня допрашивать, не о ней ли он говорил. Я ответила отрицательно и нагнала на нее скуку рассказами о хозяйственных делах. Она беспокоилась, дулась, а его поведение, когда он явился вновь, не улучшило состояния ее духа.

Однако солнце клонится к закату. Ваше счастье, мой друг! Иначе вам пришлось бы со всеми мельчайшими подробностями выслушать ту историю, которую я всегда рада воскресить в своей памяти. Теперь я постараюсь быть покороче! Мы приблизились к тому периоду, на котором не стоит долго задерживаться.

Лотарио познакомил меня со своей милейшей сестрой, и ей удалось подобающим образом отрекомендовать меня деду; я понравилась старику, он внял нашим пожеланиям, и я воротилась к своей покровительнице с благоприятным известием. Наша помолвка уже не составляла в доме секрета. Слух дошел и до Лидии, она сочла его невероятным. Когда же сомнений уже быть не могло, она вдруг исчезла, и никто не знал, куда она девалась.

Приближался день нашей свадьбы; я давно уже просила Лотарио подарить мне свой портрет, и тут, когда он совсем собрался домой, я напомнила ему данное обещание.

— Вы забыли дать мне оправу, в которую хотите поместить его.

А дело обстояло так: у меня хранился очень мне дорогой подарок близкой моей приятельницы, чей вензель, сплетенный из ее волос, снаружи был покрыт стеклом, а внутри находилась пластинка слоновой кости, на которой предполагалось нарисовать ее портрет, но тут смерть, к несчастью, отняла ее у меня. Любовь Лотарио дала мне счастье в ту пору, когда еще не утихла боль утраты, и я хотела портретом возлюбленного заполнить пробел в подарке подруги.

Я бегу к себе в комнату, достаю шкатулку с драгоценностями и открываю ее в его присутствии; едва заглянув туда, он видит медальон с женским портретом, берет его, внимательно разглядывает и торопливо спрашивает:

— Кого изображает этот портрет?

— Мою мать, — ответила я.

— А я готов был поклясться, что это портрет некоей госпожи де Сент-Альбаи, с которой я несколько лет тому назад встретился в Швейцарии! — воскликнул он.

— Это одно и то же лицо, — с улыбкой промолвила я, — Значит, вы, сами того не подозревая, свели знакомство со своей тещей. Моя мать путешествует и по сей день пребывает во Франции под романтической фамилией Сент — Альбан.

— Увы мне! Я несчастнейший из смертных! — вскричал он, швырнул портрет в шкатулку и, прикрыв глаза ладонью, поспешил вон из комнаты. Он вскочил на коня, я выбежала на балкон и окликнула его; он оглянулся, махнул рукой, поскакал прочь — и я больше не видела его.

Солнце зашло. Тереза, не отрываясь, смотрела на багрянец заката, в ее прекрасных глазах стояли слезы.

Молча коснулась она руки нового своего друга; он участливо поцеловал ее руку, она осушила слезы и поднялась.

— Пойдемте домой! — произнесла она. — Пора позаботиться о наших!

Разговор на обратном пути шел вяло; приближаясь к садовой калитке, они увидели Лидию, сидящую на скамье; она встала, избегая встретиться с ними, и направилась в дом; в руках она держала листок бумаги, при ней были две маленькие девочки.

— Я вижу, она все еще носит с последним своим утешением — письмом от Лотарио, — заметила Тереза. — Возлюбленный обещает ей, что, выздоровев, он тотчас опять возьмет ее к себе, и просит пока спокойно пожить у меня. Она цепляется за эти слова, утешается ими, но его друзья отнюдь не в чести у нее.

Тем временем подошли девочки, поклонились Терезе и доложили ей обо всем, что происходило в доме, пока она отсутствовала.

— Вы видите здесь еще одну сторону моих обязанностей, — пояснила Тереза. — Я заключила союз с милейшей сестрой Лотарио — мы совместно воспитываем нескольких детей — я готовлю расторопных и услужливых домоправительниц, а она занимается теми, которые проявляют более спокойные и утонченные наклонности; впрочем, нам, женщинам, так или иначе положено заботиться о благополучии мужчин и порядке в доме. Когда вы познакомитесь с моей благородной подругой, вам захочется начать новую жизнь: своей красотой и добротой она заслуживает всеобщего поклонения.

Вильгельм не решился сказать, что, к сожалению, уже знает прекрасную графиню и мимолетная близость с нею останется ему вечным укором; он обрадовался, что Тереза не стала продолжать этот разговор, да и дела принудили ее воротиться в дом. Он оказался один, и ему стало очень грустно от сознания, что молодой красавице графине приходится возмещать благотворительностью недостаток личного счастья; он чувствовал, что для нее это лишь потребность отвлечься и заменить радостное наслаждение жизнью надеждой на чужое благополучие. Он почитал Терезу счастливицей оттого, что при такой грустной и неожиданной перемене ей нет надобности меняться самой.

— Сколь счастлив тот, кому не нужно отречься от всей своей прошлой жизни, дабы примириться с судьбой! — воскликнул он.

В комнату вошла Тереза и попросила прощения, что вынуждена побеспокоить его.

— Здесь, в стенном шкафу, хранится вся моя библиотека, вернее, те книги, которые я не выбрасываю, а не те, которые берегу, — пояснила она. — Лидия просит какую-нибудь книжку духовного содержания, должно быть, здесь найдутся и такие. Люди, круглый год занятые мирскими делами, воображают, что в тяжелую минуту надо заняться делами духовными; доброта и нравственность для них нечто вроде лекарства, которое принимаешь с отвращением, когда дурно себя почувствуешь. Священнослужитель и духовный наставник для них только лекарь, которого они не знают, как поскорее выдворить из дому; я же, должна признаться, вижу в нравственном начале своего рода диету, которая целебна лишь в том случае, если взять ее за житейское правило и не упускать из виду круглый год.

Они порылись в книгах и нашли несколько так называемых назидательных сочинений.

— Искать поддержки в такого рода книгах Лидию научила моя мать, — сказала Тереза, — та жила романами и театральными драмами, покуда был верен любовник; едва он исчезал, как в силу вступали вновь вот эти книжки. Мне же вообще непостижимо, — продолжала она, — как можно было поверить, что бог говорит с нами через книги и легенды. Тот, кому мир не открывает прямо, какова их взаимная связь, кому сердце не подсказывает, каков его долг перед собой и людьми, тот вряд ли узнает это из книг, которые, собственно говоря,

способны лишь давать имена нашим заблуждениям.

Она оставила Вильгельма одного, и он скоротал вечер за просмотром маленькой библиотеки, в самом деле очень пестрой по составу.

Те немногие дни, что Вильгельм провел у Терезы, она оставалась верна себе, в несколько приемов очень подробно рассказав дальнейший ход событий. Она сохранила в памяти каждый день и час, имя и место, мы же вкратце изложим здесь нашим читателям то, что им нужно знать.

Причину поспешного бегства Лотарио, к несчастью, оказалось нетрудно объяснить: он встретился с матерью Терезы во время ее странствий, чары ее привлекли его, она не выказала ему суровости, а теперь эта злополучная мимолетная интрижка не позволила ему связать свою судьбу с женщиной, казалось бы, созданной для него самой природой. Тереза оставалась в беспорочном кругу своих занятий и обязанностей. Выяснилось, что Лидия втайне проживает по соседству. Она была счастлива, когда свадьба расстроилась, хоть и по неизвестным ей причинам, пыталась сблизиться с Лотарио, но он пошел навстречу ее желаниям, казалось, скорее в порыве отчаяния, нежели страсти, необдуманно, неожиданно для самого себя, скорее со скуки, нежели в согласии со своими намерениями.

Тереза отнеслась к этому спокойно, она более не претендовала на него, и, даже будь он ее супругом, у нее, пожалуй, хватило бы мужества помириться с такой связью, лишь бы Этим не нарушался порядок, заведенный ею в доме. По крайней мере, она говорила не раз, что женщина, ежели она властной рукой правит домом, может сквозь пальцы смотреть на легкие мужнины амуры и ни минуты не сомневаться, что он вернется к ней.

Мать Терезы успела привести свое состояние в полное расстройство, и расплачиваться за это пришлось дочери, ибо от матери ей мало что досталось; старая дама, покровительница Терезы, умерла, завещав ей скромное имение и приличный капитал. Тереза сразу же приновилась к узкому кругу своих забот, Лотарио предложил ей лучшее поместье, посредником выступал Ярно, — она отказалась.

— Я хочу на малом показать, что была бы способна помогать ему в большом, — заявила она, — однако, если случай по моей ли или по чужой вине поставит меня в затруднение, я оговариваю себе право прежде всего, без колебаний, прибегнуть к помощи моего достойного друга.

Целесообразная деятельность менее всего может остаться скрытой и бесполезной для других. Не успела Тереза обосноваться в своем маленьком имении, как соседи уже начали домогаться ее знакомства и совета, а новый владелец соседних поместий недвусмысленно дал понять, что в ее воле принять его руку и стать наследницей большей части его состояния. Она уже говорила Вильгельму об этом обстоятельстве и не упускала случая пошутить по поводу альянсов и мезальянсов, удачных и неудачных браков.

— Ничто не дает людям столько пищи для пересудов, как брак, который они почитают неравным. Но равные или неравные, очень многие союзы через короткий срок, увы, оборачиваются неудачей. Смещение сословий в браке заслуживает название мезальянса лишь в том смысле, что одна сторона не понимает смысла в прирожденном, привычном, ставшем необходимостью жизненном укладе другой стороны. У различных классов различны и житейские правила, которыми они не могут ни поделиться, ни обменяться друг с другом; вот почему лучше воздержаться от такого рода союзов; однако бывают исключения, и притом исключения весьма удачные. Брак молоденькой девушки с пожилым мужчиной неравен по самой своей сути. И все же такие браки иногда складываются очень счастливо. Для себя я посчитала бы настоящим мезальянсом союз, который вынудил бы меня жить праздну и красоваться в свете; уж лучше бы я отдала руку любому честному арендаторскому сыну из нашей округи.

Вильгельм подумывал воротиться уже к Лотарио и попросил новую свою приятельницу устроить ему прощальное свидание с Лидией. Пылкая девица снизошла к его просьбе, он сказал ей несколько приветливых слов.

— С первоначальной болью я справилась, — сказала она, — Лотарио навеки останется мне дорог; но приятелей его я раскусила, и мне горько сознавать, кем он окружен. Аббат способен по своей прихоти оставить людей в беде и даже навлечь на них беду; врач норовит все сгладить; Ярно человек бездушный, вы же — мягко выражаясь, — бесхарактерный! А будете продолжать в том же духе и служить орудием этим троице, они поручат вам еще не одну экзекуцию. Долгое время — мне это хорошо известно — они едва терпели мое присутствие, тайны их я не разгадала, но заметила, что у них есть какая-то тайна. А иначе к чему эти запертые комнаты? Эти странные переходы? Отчего никому не удается проникнуть в большую башню? Отчего они при первой возможности старались отправить меня в мою комнату? Должна сознаться, навела меня на это открытие ревность, я боялась соперницы, которую они где-то прячут. Теперь я этого не думаю, я убеждена, что Лотарио меня любит, что у него честные намерения; но так же твердо убеждена я, что фальшивые и лживые друзья обманывают его: ежели вы хотите быть полезным и заслужить прощение за то, как вы поступили со мной, — освободите его из рук этих людей. Впрочем, на что я понадеялась! Передайте ему это письмо и устно повторите то, что тут написано: что я буду вечно любить его, что я полагаюсь на его слова.

— Увы! — вскричала она и, рыдая, бросилась на шею Терезы. — Он окружен моими недругами, они постараются уверить его, что я ничем ему не пожертвовала. О! Даже самый лучший человек рад услышать, что он достоин любой жертвы, но отнюдь не обязан быть благодарен за нее.

Прощание Вильгельма с Терезой было куда веселее; она сказала, что желает поскорее вновь увидеть его.

— Вы узнали меня вполне, — заявила она. — Вам хотелось, чтобы говорила я одна, — в следующий раз ваш долг ответить откровенностью на мою откровенность.

На обратном пути у него было достаточно времени, чтобы созерцать мысленным взором этот новый, светлый образ. Какое доверие она внушила ему! Он подумал о Миньоне и Феликсе, о том, как счастливы были бы дети под таким надзором; потом подумал о самом себе и почувствовал, какое блаженство жить близ такого ясного духом человеческого существа.

Когда он подъезжал к замку, ему особо бросилась в глаза башня со множеством переходов и пристроек; он решил при первом же случае

расспросить о ней Ярно или аббата.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Воротясь в замок, Вильгельм застал благородного Лотарио на пути к полному исцелению; врача и аббата не было, один Ярно оставался в доме. Прошло немного времени, и выздоравливающий начал выезжать верхом то один, то с друзьями. В разговоре он был серьезен и любезен, затрагивая поучительные и занимательные вопросы; часто проскальзывали у него следы тонкой чувствительности, хоть он и старался ее скрыть и сам словно осуждал ее, если она проявлялась помимо его воли.

Так как-то раз он был молчалив за ужином, хоть и казался веселым.

— Видно, у вас нынче не обошлось без приключения, — заметил Ярно, — и притом приятного.

— До чего же вы проникательны в отношении друзей! — ответил Лотарио. — Да, у меня было приятное приключение. В другое время оно, пожалуй, меньше пленило бы меня, а нынче я оказался очень восприимчив к нему. Под вечер я проезжал деревнями на той стороне реки, по дороге, хорошо знакомой мне с прежних лет. Телесный недуг расслабил меня более, чем сам я предполагал. Я чувствовал себя умиленным и словно бы народившимся наново от прилива оживающих сил. Все вокруг являлось мне в том свете, в каком виделось когда-то, таким милым, приветливым, пленительным, каким не являлось уже давно. Я сознавал, что это признак слабости, но она была мне отрадна; я ехал не спеша, и мне было понятно, как людям может стать мила болезнь, способствующая сладостным ощущениям. Вы, должно быть, знаете, ради чего так часто ездил я когда-то этой дорогой?

— Помнится, это было маленькое любовное похождение с арендаторской дочкой.

— Пожалуй, можно назвать его большим, — возразил Лотарио, — мы крепко и довольно долго всерьез любили друг друга. Сегодня все случайно так сошлось, чтобы живо напомнить мне первые времена нашей любви. Мальчишки снова стряхивали с деревьев майских жуков, и листва на ясенях распустилась и была так же молода, как в тот день, когда я впервые увидел Маргариту. Давно уже я не видел ее. Она вышла замуж в дальнюю деревню, а тут я случайно услышал, что недели две тому назад она приехала с детьми погостить у своего отца.

— Значит, прогулка была не такой уж случайной?.

•- Не стану отрицать, что мне хотелось встретить ее, — подтвердил Лотарио. — Проезжая неподалеку от их дома, я увидел, что отец ее сидит на крыльце, а рядом стоит годовалый малыш. Когда я приблизился, из верхнего окна быстро Еыснулась женская голова, а когда я очутился у самых дверей, кто-то стремглав сбежал по лестнице. Я не сомневался, что это она, и должен сознаться, мне лестно было думать, что, узнав меня, она спешит мне навстречу. Как же был я пристыжен, когда она выбежала из дверей, схватила ребенка, потому что лошади слишком к нему приблизились, и унесла его в дом. Это было пренеприятное разочарование, и тщеславие мое отчасти утешилось лишь тем, что я на лету уловил, как вспыхнули у нее уши и шея.

Я остановился, заговорил с папашей, а сам косился па окна, не выглянет ли она в какое-нибудь из них, но она так и не показалась, и я поехал дальше. Досаду мою несколько смягчало удивление: хотя я видел ее лицо лишь мельком, мне показалось, что она почти не изменилась, а ведь десять лет — срок немалый! Она даже как будто помолодела, — та же стройность, та же легкая походка, шея чуть ли не тоньше прежнего, щеки так же легко вспыхивают прелестным румянцем, и при этом она мать по меньшей мере шестерых детей. Это видение так гармонировало с окружающим волшебным миром, что я ехал дальше, как будто еще помолодев душой, и свернул у ближнего леса, лишь когда солнце уже клонилось к закату. Павшая роса настойчиво напоминала мне о предписании врача, и было бы благоразумнее повернуть прямо к дому, я же вновь поехал обратно мимо хутора. Я заметил, что по саду, обнесенному легкой изгородью, взад и вперед бродит женская фигура. Узкой тропинкой подскакал я к изгороди и очутился близ той, кого желал встретить.

Хотя вечернее солнце слепило мне глаза, я заметил, что она с чем-то возится у низенького плетня. Мне казалось, что я узнаю свою прежнюю возлюбленную. Подойдя к ней, я остановился не без трепета в сердце. Вытянутые ввысь ветки шиповника, которые колыхал легкий ветерок, заслоняли ее от меня.

Я заговорил с ней, спросил, как ей живется.

— Очень хорошо, — ответила она вполголоса.

Между тем я заметил, что за изгородью рвет цветы ребенок, и воспользовался случаем спросить, где остальные ее дети.

— Это не мой ребенок, — сказала она, — куда мне так рано. — В этот миг я очень ясно увидел сквозь ветки ее лицо к сам не знал, как понять то, что я вижу. Это была и не была моя возлюбленная, помолодевшая и похорошевшая против того, какой я знал ее тому десять лет.

— Так вы не арендаторская дочка? — пробормотал я в растерянности.

— Нет, — отвечала она, — я ее двоюродная сестра.

. — Вы лицом точь-в-точь она, — заметил я.

. — Это говорят все, кто знал ее десять лет тому назад.

Я продолжал свои расспросы, мне была приятна моя ошибка; хоть я уже и сам обнаружил ее, но не переставал любоваться представшим передо мной живым образом прошлого блаженства. Ребенок тем временем удалился от нее и в поисках цветов направился к пруду. Она попрощалась и побежала за ним.

Я все же успел узнать, что прежняя моя возлюбленная в самом деле живет сейчас у отца, и, едуци обратно, задавался вопросом, сама ли она или сестрица давеча выбежала спасать ребенка от лошадей? Я перебирал в памяти все происшедшее и не скажу, могло бы что-нибудь оказать на меня более отрадное действие. Однако я чувствую себя еще не совсем здоровым, и надо попросить доктора, чтобы он загасил остатки этого возбуждения.

Откровенные признания в милых любовных шалостях обычно подобны рассказам о привидениях: за одним сами собой следуют другие.

В нашей маленькой компании оказалось изрядное количество воспоминаний такого рода; у Лотарио больше всего нашлось что рассказать. Истории Ярно все сплошь имели своеобразный характер, а в чем мог признаться Вильгельм, нам уже известно. Он не переставал побаиваться, что ему напомнят историю с графиней; однако никому она и отдаленно не приходила на ум.

— В самом деле, — говорил Лотарио, — нет в мире ощущения приятнее того, когда после полосы равнодушия сердце открывается для любви к новому предмету, и тем не менее я на всю жизнь отказался бы от этого счастья, если бы судьбе угодно было соединить меня с Терезой. Не век бываешь юпошей, и не век следует быть младенцем. Мужчине, знающему свет и понимающему, как в нем жить, чего от него ждать, всего желательнее найти супругу, которая неизменно будет ему в помощь, все для него подготовит, доделает все, чего ему не удалось закончить, чьи труды простираются в разных направлениях, меж тем как мужнин труд идет прямой дорогой. Какой рай виделся мне в союзе с Терезой! Не рай мечтательного счастья, а рай надежной жизни на земле: порядок в счастье, мужество в несчастье, забота обо всем до последней малости, душа, способная увлечься самым великим и без сожаления отречься от пего. Да! Я наблюдал у нее задатки тех качеств, которые, достигнув полного развития, восхищают нас в знакомых нам из истории женщинах, всемерно превосходящих любого мужчину ясностью в оценке обстоятельств, находчивостью во всех случаях жизни, решительностью в частностях, на чем, с виду без малейших их стараний, так прочно держится целое. Думаю, вы простите мне, что Тереза похитила меня у Аврелии, — улыбаясь, обратился он к Вильгельму, — с первой я мог надеяться на радостную жизнь, а со второй у меня не было бы ни одной счастливой минуты.

— Не отрицаю, что явился я сюда с сердцем, полным горечи против вас, — ответил Вильгельм, — и намерен был строго осудить ваше отношение к Аврелии.

— Оно и заслуживает осуждения, — признал Лотарио, — мне не следовало принимать чувство дружбы за любовь, не следовало вытеснять уважение, которого она заслуживала, склонностью, которую она не могла ни возбудить, ни поддержать. Увы! Она не была привлекательна, когда увлекалась, а это величайшая беда, какая только может постигнуть женщину.

— Пусть так, — отозвался Вильгельм, — мы порой не властны избежать поступков, достойных порицания, избежать того, чтобы наши помыслы и дела непостижимым образом отклонялись от своего естественного и правильного пути; но есть обязанности, которые никогда нельзя упускать из виду. Да покоится с миром прах подруги! Не укоряя себя, не порицая ее, из сострадания осыпем цветами ее могилу. Но у могилы, где покоится несчастная мать, позвольте спросить вас, почему не позаботитесь вы о ребенке, о своем сыне? Он был бы в радость всякому, а вы, очевидно, совсем пренебрегли им. Может ли быть, чтобы у вас, при ваших чистых и нежных чувствованиях, не проснулось отцовское сердце? За все Это время вы ни полсловом не упомянули чудесное создание, о прелести которого можно рассказывать без конца.

— О ком вы говорите? — удивился Лотарио. — Я вас не понимаю.

•- О ком же, как не о вашем сыне, о сыне Аврелии, пре красном ребенке, которому для счастья недостает лишь заботы любящего отца!

— Вы заблуждаетесь, друг мой! вскричал Лотарио. — У Аврелии не было сына, по крайней мере, от меня. Я понятия не имею ни о каком ребенке, иначе я с радостью взял бы его к себе. Но и так я буду считать, что это маленькое существо завещано мне ею, и охотно займусь его воспитанием. Разве она хоть намеком давала понять, что этот мальчик — ее и мое дитя?

— Не припомню, чтобы ею были сказаны какие-то определенные слова, но это подразумевалось само собой, и я ни на миг в этом не сомневался.

— Я могу дать кое-какие объяснения на этот предмет, — вмешался Ярно, — ребенка привела к Аврелии старуха, которую вам, должно быть, не раз случалось видеть. Аврелия приняла его с энтузиазмом, надеясь, что он своим присутствием смягчит ее горе; он и в самом деле немало развлекал ее.

Вильгельма растревожило это открытие, ему живо представилась милая девочка, Миньона, рядом с красавчиком Феликсом, и он высказал желание извлечь обоих детей из тех условий, в которых они находились.

— Мы это устроим без труда, — обещал Лотарио. — Загадочную девочку мы отдадим Терезе, в лучшие руки она вряд ли могла бы попасть, а что до мальчика, его, думается мне, следует, взять вам самому, ибо то, что даже женщинам не удается до конца развить в нас, довершают дети, когда мы занимаемся ими.

— Вообще, на мой взгляд, вам нужно раз и навсегда отказаться от театра, — вставил Ярно, — что делать, раз у вас нет ни малейшего сценического дарования.

Вильгельм был ошеломлен и еле овладел собой, так уязвили его самолюбие жестокие слова Ярно.

— Если вам удастся убедить меня в этом, — с натянутой улыбкой ответил он, — вы, конечно, окажете мне услугу, хоть и не радостная услуга — отнять у человека его заветную мечту.

— Чем обсуждать этот вопрос, вам, на мой взгляд, следует не мешкая поехать за детьми, — заметил Ярно, — остальное уладится само собой.

— Тут за мной дело не станет, — согласился Вильгельм, — мне самому не терпится узнать что-нибудь новое о судьбе мальчика, да и по девочке я соскучился, Она ведь на свой лад так горячо привязалась ко мне.

Решено было, что он сразу же отправится в путь.

Собрался он на следующий день: лошадь была оседлана, ему оставалось лишь проститься с Лотарио. Когда настал час обеда, все, как обычно, уселись за стол, не дожидаясь хозяина: он пришел с опозданием и присоединился к остальным.

— Бьюсь об заклад, — сказал Ярно. — Сегодня вы опять подвергли испытанию свое чувствительное сердце, не устояв перед соблазном увидеть прежнюю возлюбленную.

— Угадали! — подтвердил Лотарио.

— Расскажите же, как было дело, — потребовал Ярно, — я сгораю от любопытства.

— Не стану отпираться — это приключение не в меру разбередило мое сердце, — сказал Лотарио, — а посему я решил еще раз съездить туда и воочию увидеть особу, чья помолодевшая копия создала мне столь приятную иллюзию. Я слез с коня, не доезжая до дома, и велел отвести лошадей в сторонку, чтобы не потревожить ребятишек, игравших у ворот. Я пошел к дому, и по дороге мне случайно встретилась она. Да, она сама, я узнал ее, хоть она и очень переменилась, располнела и словно бы стала выше ростом. Сквозь степенную повадку еще проглядывала юная грация, а тихая задумчивость пришла на смену былой живости. Голова, которую раньше она носила так легко и гордо, теперь слегка клонилась, и чуть приметные морщины протянулись по лбу.

При виде меня она потупила взгляд, но ни тень румянца не выдала волнения души; я протянул ей руку, она подала свою; я спросил ее о муже, — его здесь не было, спросил о детях, — она подошла к двери и позвала их. Все прибежали гурьбой и обступили ее. Нет зрелища прекраснее, чем мать с ребенком на руках, и зрелища достойнее, чем мать в кругу детей. Я спросил, как зовут ребятишек, лишь бы что-то сказать; она попросила меня войти и дождаться ее отца. Я согласился. Она повела меня в чистую горницу, где почти все было на прежних местах и, как нарочно, красotka двоюродная сестрица, ее копия, сидела на той самой скамеечке за прялкой, где я столько раз такой же юной красавицей заставлял свою возлюбленную; маленькая девчушка, сколок с матери, увязалась за нами, и я удивительным образом оказался между прошлым и будущим, точно в апельсиновой роще, где на тесном пространстве соседствуют цветы и плоды. Сестрица вышла за прохладительными напитками, а я подал руку некогда столь любимому созданию, сказав:

— Я от души рад видеть вас вновь.

— Вы очень добры, что говорите мне это, — отвечала она, — могу только вас уверить, что и я рада неизъяснимо. Как часто я желала хотя еще бы раз в жизни увидеть вас. Я желала этого в такие минуты, которые казались мне последними.

Она произнесла это ровным голосом, без внешнего волнения, с той непосредственностью, которая так восхищала меня в ней когда-то. Воротилась сестрица, следом за ней отцу, и... предоставляю вам судить, в каком состоянии духа я остался, в каком удалился.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

По дороге в город Вильгельма неотступно преследовали благородные образы женщин, которых он узнал, о которых услышал. Их необычайные и нерадостные судьбы вставали перед ним до боли явственно. «Увы! — мысленно восклицал он. — Бедняжка Мариана! Что еще мне доведется узнать о тебе? А ты, блистательная амазонка, великодушный ангел — хранитель, я стольким тебе обязан, я повсюду надеюсь встретить тебя и, на свою беду, нигде не нахожу, — при каких печальных обстоятельствах ты, быть может, предстанешь мне, если нам когда-нибудь суждено встретиться вновь?»

В городе никого из его знакомых не было дома. Он поспешил в театр, рассчитывая застать актеров на репетиции; там стояла тишина, здание казалось пустым, но одна из ставен была открыта. Поднявшись на сцену, он увидел старую служанку Аврелии, занятую шиванием холста для новой декорации; света из окна падало здесь не больше, чем требовалось для ее работы. Феликс и Миньона сидели около нее на полу; оба держали в руках книгу. Миньона читала вслух, а Феликс повторял за ней каждое слово, будто он знал буквы, будто тоже умел читать.

Дети вскочили навстречу вновь прибывшему, он нежно обнял их и подвел к старухе.

— Это ты привезла мальчика к Аврелии? — строго спросил он.

Она подняла голову от работы и повернула к нему лицо; он увидел ее на свету и в испуге отступил назад; то была старуха Барбара.

— Где Мариана? — крикнул он.

— Далеко отсюда, — ответила старуха.

— А Феликс?

— Сын этой несчастной, слишком горячо любившей девушки! Дай бог вам никогда не почувствовать, чего вы нам стоили, дай бог, чтобы сокровище, которое я вам вручаю, сделало вас таким счастливым, какими несчастными мы стали из-за него!

Она встала и собралась уйти, Вильгельм удержал ее.

— Я не думаю бежать от вас, — сказала она, — пустите меня, я хочу вам принести документ, который вас обрадует и огорчит.

Она удалась, а Вильгельм смотрел на мальчика с боязливой радостью; он еще не смел считать его своим.

— Он твой! Твой! — вскричала Миньона, прижигая мальчика к коленам Вильгельма.

Вернулась старуха и протянула ему письмо, сказав:

— Это последние слова Марианы.

— Она умерла! — выкрикнул он.

— Умерла, — сказала старуха. — О, я бы дорого дала, чтобы избавить вас от упреков.

В растерянности и смятении вскрыл Вильгельм письмо. Но едва он прочитал первые слова, его пронизала жгучая боль. Он выронил письмо, упал на дерновую скамью и некоторое время лежал без движения. Миньона хлопотала возле него. А Феликс поднял письмо и до тех пор теребил свою подружку, пока она не уступила, встала возле него на колени и принялась читать ему письмо. Феликс повторял слово за словом, и Вильгельм вынужден был слушать их дважды.

«Если письмо это когда-нибудь достигнет тебя, пожалей тогда свою злосчастную возлюбленную, твоя любовь принесла ей смерть. Мальчик, после рождения которого мне осталось жить считанные дни, — твой ребенок; я умираю верной тебе, хотя бы видимость и говорила против меня. Вместе с тобой ушло все, что привязывало меня к жизни. Я умираю успокоенной, меня уверили, что ребенок здоровый и будет жить. Выслушай старую Барбару, прости ее, будь счастлив и не забывай меня».

Какое горестное и отчасти утешительное своей загадочностью письмо, смысл которого он прочувствовал сполна, когда дети, заикаясь и запинаясь, читали и повторяли его!

— Вот вам! — выкрикнула старуха, не дожидаясь, чтобы он опомнился. — Благодарите небо, что, потеряв такую хорошую девушку, вы получили такого прекрасного ребенка. Ничто не сравнится с вашим отчаянием, когда вы услышите, что бедняжка была до конца верна вам, и сколько она хлебнула горя, и чем только не пожертвовала ради вас!

— Дай мне сразу испить кубок скорби и радости! — вскричал Вильгельм. — Уговори, убеди меня, что она была хорошей девушкой, достойной моего уважения, как и моей любви! А потом уж оставь меня скорбеть об этой невозместимой утрате!

— Сейчас не время! — возразила старуха. — Я занята делом и не желаю, чтобы нас застали вместе. Сохраните в тайне, что Феликс ваша кровь; в трупке меня сжили бы со свету за такое скрытничанье. Миньона нас не выдаст, она девочка добрая и не болтливая.

— Я давно это знала и молчала, — вставила Миньона.

— Каким образом? — изумилась старуха.

— Откуда? — подхватил Вильгельм.

— Дух открыл мне это.

— Где? Когда?

— В пристройке, когда старик вынул нож, я услышала голос: «Позови его отца!» — и подумала о тебе.

— Кто же это крикнул?

— Не знаю, кричало у меня в сердце, в голове, мне было ужас как страшно. Я дрожала, молилась, и тут раздался голос, я поняла его.

Вильгельм обнял ее, поручил ей Феликса и ушел. Лишь под конец заметил он, что она сильно побледнела и похудела с их разлуки. Первой изо всех знакомых он застал мадам Мелина; она по-дружески приветствовала его.

— Ах! Если бы все у нас было так, как вам хотелось! — воскликнула она.

— Я ни минуты не ждал этого, — отвечал Вильгельм. — Сознайтесь, сделано все, чтобы не нуждаться во мне.

— Так почему же вы уехали? — спросила приятельница.

— Чем раньше, тем лучше убедиться в том, как мало нужны мы миру. А какими незаменимыми личностями считаем мы себя! Нам кажется, будто мы одни оживляем тот круг, в котором вращаемся. В наше отсутствие, воображаем мы, замирает все: жизнь, питание, дыхание, но возникающий пробел остается незамечен и быстро восполняется, притом нередко если не чем-то более удачным, то более приятным.

— А огорчение друзей в расчет не принимается?

— Друзья поступают разумно, быстро успокоившись и решив про себя: где ты был и остался, там делай что можешь, действуй, и угождай, и радуйся настоящему!

Расспросив ее подробнее, Вильгельм узнал то, чего и ожидал: опера была на ходу и привлекала к себе все внимание публики. Его роли поделили между собой Лаэрт и Горацио, заслужив такое горячее одобрение зрителей, какого он никогда не знал.

Вошел Лаэрт, и мадам Мелина встретила его словами:

— Посмотрите-ка на этого счастливица, который собирается стать капиталистом или еще невесть чем!

Обнимая приятеля, Вильгельм на ощупь заметил, какого тонкого сукна на нем кафтан, остальная одежда была проста, но тоже отменного качества.

— Разрешите мне эту загадку! — потребовал Вильгельм.

— Не торопитесь, — отвечал Лаэрт. — Вы успеете узнать, что моя беготня теперь оплачивается. Хозяин большого торгового дома извлекает прибыль из моей непоседливости, моих сведений и знакомств и малую толику барышей уделяет мне. Я дорого бы дал, чтобы попутно приобрести доверие к женщинам, ибо в доме проживает премилая племянница, и я замечаю, что мог бы скоро стать зажиточным человеком.

— Вы, должно быть, еще не знаете, что за это время у нас отпраздновали свадьбу? — спросила мадам Мелина. — Зерло все-таки честь по чести обвенчался с красавицей Эльмирой, потому что ее папенька не желал терпеть их секретную связь.

Так беседовали они о многом, что произошло в его отсутствие, и ему было ясно, что труппа в душе и в мыслях давно уже дала ему отставку.

С нетерпением ждал он старуху, которая назначила свое таинственное посещение на поздний вечер. Она собиралась прийти, когда все кругом будут спать, и требовала не меньших предосторожностей, чем юная девушка, тайком пробирающаяся к возлюбленному. Он тем временем в сотый раз перечитывал письмо Марианы, с неизъяснимым упоением читал слово верность, начертанное ее милой рукой, и с ужасом — возвешение близкой смерти, по-видимому, не страшившей ее.

Уже за полночь что-то зашелестело у полуотворенной двери, и вошла старуха с корзиночкой в руках.

— Я пришла рассказать вам историю наших бед, — начала она, — хоть и жду, что не трону вас своим рассказом, ибо ждали вы меня так нетерпеливо лишь в чаянии насытить свое любопытство, и что теперь, как и тогда, вы замкнетесь в своем холодном себялюбии, а у нас пускай разрывается сердце. Но взгляните! Вот точно так же достала я в тот счастливый вечер бутылку шампанского, поставила на стол три бокала, и, как вы тогда принялись нас морочить и баюкать невинными детскими сказками, я сейчас хочу открыть вам глаза и развеять ваш сон печальной правдой.

Вильгельм не знал, что сказать, когда старуха в самом деле раскупорила бутылку и наполнила три бокала.

— Пейте! — крикнула она, залпом осушив свой бокал. — Пейте, пока не вышел газ! А этот третий бокал пусть пенится нетронутым в память моей несчастной питомицы. Как в тот раз рдели ее губы, когда она чокалась с вами! Увы, теперь они навеки поблекли и застыли!

— Сивилла! [71] Фурия! — выкрикнул Вильгельм, вскочив, и стукнул кулаком по столу, — какой злой дух владеет и управляет тобой? За кого ты меня считаешь, если думаешь, что бесхитростный рассказ о страданиях и смерти Марианы сам по себе недостаточно больно меня ранит, и, чтобы усугубить пытку, прибегаешь к таким дьявольским уловкам? Если твое неумное пьянство дошло до того, что попускает тебя бражничать на поминках, так пей и говори! Я всегда гнушался тобой и по сей день не могу поверить в невинность Марианы при виде тебя\* ее наперсницы.

— Потихе, сударь мой, — одернула его старуха, — вам не вывести меня из терпения. Вы перед нами все еще в большом долгу, а от должников не положено сносить грубости. Но вы правы, самый мой простой рассказ — достаточная для вас кара. Так послушайте же, как боролась и как победила Мариана, чтобы остаться вашей.

— Моей? — вскричал Вильгельм. — Что за басни ты плетешь?

— Не перебивайте меня, — оборвала она, — сперва выслушайте, а потом думайте что хотите, теперь уже все едино. В последний вечер, что вы были у нас, вам, верно, попалась записка и вы захватили ее с собой.

— Мне она попалась только дома; она была засунута в шейный платок, который я взял и спрятал в порыве страстной любви.

— О чем говорилось в записке?

— О надеждах обиженного любовника, что нынешнюю ночь он будет принят лучше, чем вчера. И он не был разочарован, в чем я убедился, увидев собственными глазами, как она на рассвете вышмыгнул из вашего дома.

— Может, вы его и видели; а вот что происходило у фас, как грустна была Мариана и каково мне пришлось в эту ночь, об этом вы узнаете только сейчас. Буду говорить прямо, ни отпираясь, ни оправдываясь, — это я уговорила Мариану отдаться некоему Норбергу; она согласилась, вернее сказать, подчинилась мне с отвращением. Он был богат, казался влюбленным, и я надеялась на его постоянство. Очень скоро ему пришлось уехать, а Мариана познакомилась с вами. Чего только не пришлось мне тут натерпеться! Чего только не предотвращать, с чем только не мириться! «О, хоть месяц еще пощадила бы ты мою невинность, мою юность, — кричала она мне, — я бы нашла себе предмет, достойный любви, я была бы достойна его и, любя, со спокойной совестью, могла бы отдать то, что теперь продала против воли». Она беззаветно отдалась своему чувству, и мне нет надобности спрашивать, были ли вы счастливы.

Я имела неограниченную власть над ее рассудком, потому что знала все способы удовлетворять ее мелкие прихоти, но над сердцем ее я была бессильна; она никогда не соглашалась с тем, что я делала, на что ее толкала, если этому противилось ее сердце; она уступала лишь непреодолимой нужде, а нужда вскоре навалилась на нее тяжким гнетом. В годы ранней юности она ни в чем не знала недостатка. По несчастливому стечению обстоятельств семья ее лишилась состояния, бедняжка же привыкла удовлетворять разные свои потребности, в ребяческую ее душу были заложены добрые понятия, которые только тревожили ее, а помочь мало чем могли. В делах житейских она была совсем не искушена, можно сказать, по-настоящему невинна. Ей в голову не приходило, что можно покупать, не платя,



и ничего она так не боялась, как долгов; она куда охотнее давала бы, чем брала. И только безвыходное положение вынудило ее отдаться самой, чтобы заплатить уйму мелких долгов.

— А ты не могла ее спасти? — вскричал Вильгельм.

— Конечно, могла бы ценой голода и нужды, маеты и лишений. А это было вовсе не по мне.

— Гнусная, подлая сводня! Ты пожертвовала бедняжкой, лишь было бы чем залить глотку и напитать свою ненасытную утробу!

— Вам бы лучше уgomониться и попридержать язык, — оборвала его старуха. — А браниться ступайте в ваши господские хоромы, там вы найдете матерей, которые не знают покоя, доколе не выдадут своего милого непорочного ангелочка за самого что ни на есть отпетого негодяя, лишь бы он был и самым богатым. Вы увидите, как бедняжка дрожит и трепещет перед такой участью и нигде не находит утешения, покуда опытная подружка не объяснит ей, что супружество дает право как заблагорассудится располагать своим сердцем и своей персоной.

— Молчи! — прикрикнул Вильгельм. — И не считай, что одно преступление можно оправдать другим. Рассказывай и оставь свои замечания.

— Так слушайте, не понося меня! Мариана отдалась вам наперекор моей воле. По крайней мере, в этих шашнях я ни при чем. Норберг воротился, он спешил увидеть Мариану, а она встретила его холодно, с кислой миной и не допустила ни единого поцелуя. Мне потребовалась вся моя сноровка, чтобы оправдать такое поведение. Я дала ему понять, что духовник расшевелил в ней совесть, а совесть, коль скоро она заговорила, надо уважать. Я кое-как выдворила его, пообещав всеми способами содействовать ему. Он был богатый и неотесанный малый, однако не без добродушия и Мариану любил страстно. Он обещал набраться терпения, а я тем усерднее старалась не слишком долго мытарить его. С Марианой я выдержала жестокую баталию, всячески ее уговаривала и, признаюсь, угрозой бросить ее принудила наконец написать любовнику и пригласить его на ночь. Явились вы и случайно прихватили его ответ вместе с платком. Ваш неожиданный приход сильно подвел меня. Не успели вы уйти, как мучительство началось сызнова; Мариана клялась, что не может изменить вам, и дошла до такого исступления, так не помнила себя, что я от души пожалела ее и в конце концов обещала, что и на эту ночь умиротворю Норберга, отправлю его под любым предлогом, я просила ее лечь в постель, но она, как видно, не поверила мне: не стала снимать платье и, наплакавшись, наволновавшись, уснула наконец как была, одетая.

Пришел Норберг; я постаралась его остановить, в самых мрачных красках рисовала ее угрызения, ее раскаяние. Он желал только взглянуть на нее, и я отправилась в спальню ее предупредить; он пошел следом, и мы в одно время очутились у ее кровати. Она проснулась, в ярости вскочила и вырвалась от нас; она заклинала и просила, умоляла, грозила и божилась, что не уступит. По неосторожности она обронила несколько слов о своей подлинной страсти; бедняга Норберг, как видно, истолковал их в духовном смысле. Наконец он покинул ее, и она заперлась на ключ. Я долго не отпускала его, говорила о ее состоянии, о том, что она беременна, и надо щадить бедняжку. Он так возгордился своим отцовством, так обрадовался будущему сыну, что был согласен на все, чего она требовала, и обещал лучше на время уехать, нежели беспокоить свою возлюбленную и вредить ей излишними волнениями. Вот с такими намерениями он незадолго до рассвета убрался от меня, а коль вы, сударь мой, уже стояли на страже, вам для полного блаженства следовало только заглянуть в душу вашего соперника, которого вы почитали таким счастливецом, таким баловнем судьбы, что от одного его появления погрузились в отчаяние.

— Это верно? — спросил Вильгельм.

— Не менее верно, чем то, что я надеюсь снова погрузить вас в бездну отчаяния. Да, вы, конечно, пришли бы в отчаяние, если бы я сумела живо изобразить вам, каково было наше состояние на следующее утро. Какой веселой проснулась она! Как приветливо меня окликнула! Как горячо благодарила! Как ласково прижала меня к своей груди! «Ну вот, — сказала она, с улыбкой подходя к зеркалу, — я снова могу любоваться собой, своей фигурой, ведь я снова принадлежу себе и своему единственному любимому другу. Как сладостно одержать верх! Какое райское блаженство следовать велению сердца! Как я признательна тебе за то, что ты встала на мою защиту, что весь свой разум и весь здравый смысл употребила на сей раз мне во благо. Помоги мне, придумай, как сделать, чтобы я стала вполне счастливой».

Я поддакивала ей, не желая ее раздражать, я поощряла ее надежду, а она ласкала меня как нельзя нежнее. Стоило ей на миг отойти от окна, как она требовала, чтобы я караулила вместо нее. Ведь вы должны были во что бы то ни стало пройти мимо, ведь можно было хотя бы увидеть вас. Так тревожно прошел весь день. Вечером мы уже не сомневались, что вы придете в урочный час. Я ждала вас на лестнице, наконец потеряла терпение и воротилась к ней. Как же я была изумлена, увидя ее одетую офицером, на диво веселую и пленительную. «Разве я не заслужила явиться нынче в мужской одежде? Разве не держалась я молодцом? — спросила она. — Пусть возлюбленный увидит меня такой, как в первый раз, а я с той же нежностью, но с большей свободой, чем тогда, прижму его к сердцу: ведь правда же, я нынче больше принадлежу ему, чем до того, как благородная решимость освободила меня? Однако, — подумав, добавила она, — я еще не одержала полной победы, мне еще надо отважиться на крайний шаг, чтобы стать достойной его, чтобы с уверенностью считать его своим; я должна открыться ему во всем без утайки, и пусть он сам тогда решает — остаться со мной или оттолкнуть меня. Эту сцену я готовлю ему и сама готовлюсь к ней; и если любовь допустит его оттолкнуть меня, я тогда буду опять всецело принадлежать себе и в этой каре почерпну свое утешение, снесу всякое бремя, которое возложит на меня судьба».

С такими помыслами, с такими надеждами, сударь мой, ждала вас эта благородная девушка; вы не пришли. Ах, как описать мне эту муку ожидания и упований! Я доселе вижу тебя перед собой, слышу, с какой любовью, с каким обожанием говорила ты о человеке, чью жестокость еще не успела испытать!

— Милая, добрая Барбара, — воскликнул Вильгельм, схвативши старуху за руку. — Довольно притворствовать и готовить меня! Невозмутимый, спокойный, самодовольный тон рассказа выдал тебя. Верни мне Мариану! Она жива, она где-то тут, рядом, не зря ты назначила для своего прихода этот поздний укромный час, не зря готовила меня своим завлекательным повествованием. Куда ты ее дела? Куда спрятала? Я верю тебе во всем, я обещаю во всем тебе поверить, только покажи мне ее, верни ее в мои объятия. Тень ее

уже мелькнула передо мной, так вольно же мне вновь звать ее в своих объятиях. Я кинусь перед ней на колени, я буду молить о прощении, я буду восхвалять ее борьбу и победу над собой и над тобой, я приведу к ней моего Феликса. Идем же! Где ты ее скрываешь? Перестань томить неизвестностью ее и меня. Твоя цель достигнута! Где ты ее прячешь? Идем, вот свеча! Я хочу осветить, я хочу увидеть ее пленительный лик!

Он насильно поднял старуху со стула, она тупо смотрела на него, слезы неизбывного горя хлынули у нее из глаз.

— Какое несчастное заблуждение напоследок питает ваши надежды! — воскликнула она. — Да, я укрыла ее, только под землей! Ни свету солнца, ни мерцанию свечи больше не дано озарить ее пленительный лик. Поведите милого Феликса на ее могилу и скажите ему: тут лежит твоя мать, которую отец твой осудил, не выслушав. Дорогое сердечко больше не стучит от нетерпения увидеть вас, и не ждет она в соседней горнице, чем кончится мой рассказ или моя сказка; ее приняла темная горница, куда не последует за ней жених, откуда она не выйдет навстречу возлюбленному.

Старуха упала наземь возле стула и горько зарыдала. На сей раз Вильгельм уверился в том, что Мариана умерла, и скорбь овладела им.

Старуха поднялась.

— Больше мне нечего вам сказать! — выкрикнула она и бросила на стол какой-то сверток. — Прочитайте эти листки — вам вдвойне станет стыдно своей жестокости! Не знаю, можно ли читать их без слез.

Она бесшумно выскользнула вон, а у Вильгельма в эту ночь не хватило духу открыть портфельчик, который он сам подарил Мариане и знал, что она бережно хранила там каждую записочку, полученную от него. На другое утро он пересилил себя, развязал ленту, и из портфеля выпали листочки бумаги, исписанные его собственной рукой; они воскресили в его памяти все события прошлого, от первого радостного дня знакомства до последнего страшного дня разлуки. И с жгучей болью прочитал он пачку записок, обращенных к нему. Их отсылал назад Вернер.

«Ни одно из моих писем не попало к тебе. Мои мольбы и заклинанья не достигли тебя; неужто сам ты дал такой жестокий приказ? Неужто я никогда больше тебя не увижу? Попытаюсь еще раз. Молю тебя: приди, о, приди! Я не требую, чтобы ты остался, только бы хоть раз еще прижать тебя к сердцу».

«Когда в прежние дни я сидела возле тебя, держала твои руки, заглядывала тебе в глаза и от всего сердца, полного любви и доверия, говорила: «Милый, милый, добрый мой муж!» — тебе так нравилось слушать это и ты хотел, чтобы я все повторяла эти слова; вот я повторяю их еще раз: «Милый, милый, добрый мой муж, будь таким же добрым, как был, приди и не дай мне погибнуть от горя!»

«Ты считаешь меня виноватой, я и виновата, но не тал, как ты думаешь. Приди, дай мне последнее утешение, что ты знаешь меня, какая я есть, а там будь что будет».

«Не только ради себя, но и ради тебя самого молю я, чтобы ты пришел, я чувствую, какую ты терпишь муку, избегая меня. Приди, чтобы смягчить жестокость расставания!»

«Может быть, больше всего я была достойна тебя как раз в ту минуту, когда ты оттолкнул меня и бросил в бездонную пропасть отчаяния!»

«Во имя всего святого, во имя всего, что может тронуть человеческое сердце, взываю я к тебе! Дело идет о душе и о жизни, о двух жизнях, из которых одна должна быть тебе навеки дорога. В своей подозрительности ты и этому не придашь веры, и все же я говорю тебе в смертный свой час: твое дитя я ношу под сердцем. С тех пор как я тебя полюбила, никто другой даже руку не посмел мне пожать. О, почему твоя любовь, твое прямотушие не были от юности моими спутниками!»

«Ты не хочешь меня выслушать? Что же, придется мне умолкнуть, но эти письма не должны погибнуть; может быть, им еще суждено воззвать к тебе, когда мои уста уже покроет надгробная пелена и голос твоего раскаяния не достигнет моих ушей. За всю мою печальную жизнь вплоть до последней минуты единственным утешением будет мне, что нет у меня вины перед тобой, хоть я и не смею назвать себя невинной».

Вильгельм не мог продолжать — горе захлестнуло его; но еще тягостнее было ему скрывать свои чувства, когда в комнату вошел Лаэрт с кошельком, полным дукатов; он их считал и пересчитывал и уверял Вильгельма, что в мире нет ничего лучше, чем быть на пути к богатству; богатому нет ни в чем помех и препон.

Вильгельм вспомнил свой сон и улыбнулся, но тут же спохватился, с содроганием припомнив, что в том же сновидении Мариана покинула его и последовала за его умершим отцом, а потом оба, точно духи, воспарили над садом.

Лаэрт оторвал его от грустных дум и повел в кофейню, где Вильгельма обступили люди, весьма одобрявшие его как актера; они порадовались встрече с ним, но выразили сожаление, что он, по слухам, намерен покинуть сцену; они так уверенно и разумно говорили о нем, об его игре и даровании, о том, какие надежды возлагали на него, что под конец Вильгельм, расчувствовавшись, воскликнул:

— Как ценно было бы мне ваше участие несколько месяцев тому назад! Как поучительно и как радостно! Ни за что бы я тогда не отрешился так безоговорочно от театра и не дошел бы до того, чтобы разочароваться в публике.

— До этого уж никак нельзя было дойти, — выступая вперед, заявил пожилой мужчина. — Публика многочисленна, подлинное понимание и умение чувствовать встречаются не так редко, как принято думать; только артисту нельзя ждать от публики безоговорочного одобрения всего, что бы он ни создавал, — именно безоговорочное-то недорого стоит, а оговорки господам артистам не по нутру. Я знаю, в жизни, как и в искусстве, прежде чем что-то сделать или создать, надо прислушаться к своему внутреннему голосу; когда же все кончено и завершено, вот тогда следует внимательно выслушать многих и при помощи навыка составить из этих многочисленных голосов полноценное суждение, ибо те, кто мог бы избавить нас от такого труда, предпочитают помалкивать.

— Им не следовало бы так себя вести! — сказал Вильгельм. — Я не раз слышал, как люди сами словом не обмолвятся об удачных произведениях, а при этом скорбят и сетуют, что о них молчат!

— Так поговорим же сегодня всласть! — крикнул какой — то молодой человек. — Если вы с нами отобедаете, мы сквитаем свой долг перед вами, а отчасти и перед милейшей Аврелией.

Вильгельм отклонил приглашение и отправился к мадам Мелина потолковать с ней о детях, которых думал забрать у нее.

Тайна старухи оказалась не в надежных руках. Он не замедлил проговориться, как только увидел красавчика Феликса.

— Дитя мое! Дорогое мое дитя! — воскликнул он, поднял его и прижал к своему сердцу.

— Папа, что ты мне привез? — спросил мальчик. Миньона поглядела на обоих, как бы наказывая им не выдавать себя.

— Что это еще за новость? — удивилась мадам Мелина.

Детей поспешили выдворить, и Вильгельм, не считая себя обязанным блюсти тайну старухи, поведал приятельнице всю историю. Мадам Мелина с улыбкой посмотрела на него.

— Ох, и легковверный же народ мужчины! — воскликнула она. — Как легко навязать им все, что бы ни попало на их пути; зато в другие разы они не глядят по сторонам и не придают цены ничему, кроме того, что когда-то отметили своей любовной прихотью. — Ей не удалось подавить вздох, и, ие будь Вильгельм совершенно слеп, он заметил бы в ее поведении следы так и не изжитой склонности.

Он заговорил с ней о детях, о том, что Феликса думает оставить у себя, а Миньону отправить в деревню. Как ни огорчилась мадам Мелина разлуке сразу с обоими детьми, однако сочла такое решение удачным и даже необходимым. Феликс совсем одичал у нее, а Миньона явно нуждалась в свежем воздухе и других условиях жизни; бедная девочка была слаба здоровьем и никак не могла окрепнуть.

— Не приписывайте легкомыслию мои сомнения в том, действительно ли вы отец ребенка, — продолжала мадам Мелина. — Конечно, старуха не очень-то заслуживает доверия; но кто ради своей выгоды измышляет неправду, тот может разок сказать и правду, коль скоро она покажется ему полезной. Аврелии старуха нащептала, будто Феликс — сын Лотарио, а мы, женщины, отличаемся той особенностью, что горячо привязываемся к детям наших любовников, либо вовсе не зная матери, либо ненавидя ее всей душой.

Тут вприпрыжку вбежал Феликс, и она прижала его к себе с горячностью, ей совсем не свойственной.

Вильгельм поспешил домой и позвал к себе старуху, однако она пообещала прийти только в сумерки; он встретил ее неприветливо и сразу заявил:

— Что может быть постыднее, чем сочинять сказки и враки. Ты уж и прежде натворила этим много зла, а ныне, когда от твоего слова зависит счастье моей жизни, ныне я полон сомнений и не смею заключить в свое объятие дитя, спокойное обладание коим сделало бы меня поистине счастливым. Не могу без ненависти и презрения смотреть на тебя, мерзкая тварь!

— Скажу напрямик, я долше не в силах терпеть ваше поведение, — ответствовала старуха. — Допустим, он не был бы ваш сын, все равно это самый красивый, самый милый ребенок на свете, и всякий рад бы любой ценой приобрести его. Разве не стоит он того, чтобы вы взяли на себя попечение о нем? А разве я, положив на него столько трудов и забот, не заслужила скромной поддержки на остаток дней? Да, вам, господам, хорошо рассуждать о правде и прямоте, вы бедности не знавали; но горемычной старухе, которая нигде не находит подспорья в самых насущных своих нуждах, которую в трудную минуту никто не поддержит ни участием, ни советом, ни помощью, каково-то ей пробиваться сквозь людскую черствость и бедовать в тиши, — вот о чем много бы можно сказать, только вы не умеете и не желаете слушать. Прочитали вы письма Марианы? Их она писала в ту злосчастную пору. Тщетно пыталась я добраться до пас, напрасно билась, чтобы передать вам эти письма; ваш бесчеловечный зять огородил вас таким заслоном, который я не могла одолеть ни хитростью, ни сметкой, а когда он под конец пригрозил нам с Марианой тюрьмой, мне поневоле пришлось оставить всякую надежду. Разве все это не совпадает с моим рассказом? И разве письмо Норберга не устраняет всякие сомнения?

— Что за письмо? — спросил Вильгельм.

— Неужто вы не нашли его в портфеле?

— Я еще не все прочитал.

— Так дайте мне портфель! Это самый важный документ. Норбергова злополучная записка положила начало роковому недоразумению, пускай же другая, писанная его рукой, распутает узел, пока нить еще не порвана окончательно.

Она достала листок из портфеля, и Вильгельм узнал ненавистную руку, однако овладел собой и прочитал:

«Объясни мне, детка, каким манером ты так околдовала меня. Никогда не думал, чтобы даже богиня ухитрилась обратить меня в томного воздыхателя. А ты нет того, чтобы бросаться навстречу с распростертыми объятиями, ты еще отталкиваешь меня; право же, по твоему поведению может показаться, что я тебе постыл. Где это видано, чтобы мне пришлось провести ночь в каморке на сундуке со старухой Барбарой? А моя милашка была всего лишь за двумя дверьми. Это уж совсем из рук вон, скажу я тебе! Я обещал дать тебе время на размышление, обуздать себя, а теперь взбеситься готов из-за каждой потерянной четверти часа. Чем только я не задаривал тебя! Неужто ты еще сомневаешься в моей любви? Чего тебе хочется? Скажи слово, тебе ни в чем не будет отказу. Чтоб поп, который вбил тебе в голову всю Эту чушь, онемел и ослеп на месте! И напала же ты на такого! Когда столько найдется других, имеющих снисхождение к молодежи. Так или иначе, говорю тебе, переменись и дай мне ответ в ближайшие дни — мне ведь нужно скоро опять уехать, и ежели ты не будешь опять мила и покладиста, ты меня больше не увидишь...»

В этом роде было все пространное письмо; к мучительному удовлетворению Вильгельма, оно без конца возвращалось к одному и тому же предмету, свидетельствуя о правдивости старухино рассказа. Второе письмо ясно подтверждало, что Мариана не уступила и в дальнейшем, а Вильгельм из этих и других писаний с глубокой скорбью узнал всю историю несчастной девушки вплоть до смертного ее часа.

Старуха мало-помалу усмирила того мужлана, сообщив ему о смерти бедняжки и поддержав в нем уверенность, будто Феликс его сын; он несколько раз посылал ей деньги, которые она оставляла себе, навязав Аврелии попечение о ребенке. На беду, эта тайная пожива скоро кончилась. Норберг вел беспутную жизнь и промотал львиную долю своего состояния, а частые любовные связи остудили его чувство к мнимому первенцу.

Хотя все это звучало вполне правдоподобно и до точности сходилось между собой, Вильгельм еще не решался предаться радости, словно страшась взять подарок из рук злого гения.

— Вашу недоверчивость может излечить только время, — » сказала старуха, угадав его душевное состояние. — Считайте ребенка чужим и тем пристальнее приглядывайтесь к нему, изучайте его склонности, его характер, его способности, и ежели вы постепенно не будете узнавать самого себя, значит, у вас плохое зрение. Послушайте меня, будь я мужчиной, никому не удалось бы подсунуть мне чужого ребенка; но, к счастью для нас, женщин, у мужчин в таких случаях менее зоркий глаз.

После всех этих толков Вильгельм договорился со старухой, что Феликса он возьмет к себе, а она отвезет Миньону к Терезе, после чего может жить, где заблагорассудится на небольшую пенсию, которую он ей обещал.

Он велел позвать Миньону, чтобы приготовить ее к предстоящей перемене.

— Мейстер! — взмолилась она. — Оставь меня при себе на радость и на горе.

Он убеждал ее, что она уже не маленькая и надо заняться ее дальнейшим образованием.

— Ни так довольно образованна, чтобы жить и горевать, — возразила она.

Он напомнил ей, что она слаба здоровьем и нуждается в постоянной заботе, в наблюдении сведущего врача.

— Зачем заботиться обо мне, когда и без того забот не оберешься, — говорила она.

Сколько он ни бился, стараясь доказать ей, что покамест не может взять ее к себе, что отвезет ее к людям, у которых часто будет видеться с ней, она пропускала мимо ушей все его доводы.

— Ты не хочешь взять меня к себе? — твердила она. — Тогда уж лучше отправь меня к старому арфисту! Бедный старик так одинок!

Вильгельм старался ей втолковать, что старику живется хорошо.

— Я постоянно тоскую по нем, — сказала девочка.

— А пока он жил с нами, я не замечал, что ты так привязана к нему, — возразил Вильгельм.

— Я боялась его, когда он не спал. Мне было страшно видеть его глаза; зато когда он засыпал, я любила садиться около него, отгоняла мух и не могла на него наглядеться. О, он помог мне в страшные минуты! Никто не знает, как я ему обязана. Знай я дорогу, я сейчас же побежала бы к нему.

Вильгельм пространно объяснил ей все обстоятельства, заключив словами: она девочка разумная, значит, и на сей раз послушается его.

— Разум жесток, сердце добрее! — воскликнула она. — Я пойду, куда ты захочешь. Только оставь мне твоего Феликса!

После долгих уговоров и споров она настояла на своем, и Вильгельм в конце концов решился поручить обоим детям старухе и вместе с ней отправить их к фрейлейн Терезе. Так ему самому было легче, ибо он все еще боялся по-отцовски привязаться к прелестному малышу. Он взял его на руки и принялся носить по комнате; мальчику хотелось дотянуться до зеркала, и Вильгельм, подняв его, стал безотчетно искать сходства между собой и мальчиком. На миг ему показалось, что сходство есть, и он крепко прижал ребенка к своей груди, но тут же, испугавшись, что это самообман, поставил его на пол и отпустил побегать.

— Ах, — вздохнул он, — если бы я признал это бесценное сокровище своим, а потом его отняли бы у меня, я был бы самый несчастный человек на свете.

Дети уехали, и Вильгельм вознамерился распоститься с театром по всей форме, почувствовав, что внутренне уже простился с ним и теперь остается только уйти. Марианы не стало, два его ангела-хранителя удалились, и он мыслями стремился им вслед. Прелестный мальчик чарующим смутным видением витал перед его мысленным взором, ему представлялось, как малыш, держась за руку Терезы, бегаёт по лесам и полям, как развивается телом и духом на вольном воздухе под надзором вольнолюбивой и веселой спутницы.

Он еще больше стал ценить Терезу с тех пор, как воображал себе ребенка в ее обществе. Даже сидя в театре как зритель, он улыбался, вспоминая ее; он почти дошел до ее умонастроения, — спектакль не создавал ему больше ни малейшей иллюзии.

Зерло и Мелина держали себя с ним весьма учтиво с тех пор, как поняли, что он не притязает на свое прежнее место. Часть публики желала увидеть его на сцене; для него это было бы теперь немислимо, да и среди актеров этого не желал никто, если не считать мадам Мелина.

Процаясь с этой своей приятельницей, он расчувствовался и сказал:

«— Зачем человек дерзает что-то сулить на будущее, а сам и малого осуществить не в силах, не говоря уже о значительных замыслах? Как мне стыдно вспомнить, чего только я не наобещал всем вам в ту злосчастную ночь, когда мы, ограбленные, больные, избитые, израненные, теснились в убогом заезде двора. Мужество мое удвоилось от несчастья, и я открыл в себе целый клад благих намерений. Но из всего этого ничего, ровно ничего не получилось! Покидая вас, я чувствую себя вашим должником, и счастье мое, что никто не придал большой цены моему обещанию и ни разу не напомнил мне о нем.

— Не возводите на себя напраслины, — возразила мадам Мелина. — Пускай другие не желают признавать, как много вы сделали для нас, — я-то вполне сознаю это. Наше положение было бы совсем иным, если бы вы не оказались с нами. Наши намерения подобны нашим желаниям: стоит их осуществить, стоит им сбыться, как они перестают быть похожи на себя и нам кажется, что мы ничего не сделали, ничего не достигли.

— Своими дружескими уговорами вам не успокоить мою совесть, я знаю, что навеки остаюсь вашим должником, — заявил Вильгельм.

— Пожалуй, это верно, — признала мадам Мелина, — только не в том смысле, как вы полагаете. Мы считаем для себя позором не исполнить обещания, высказанного нашими устами. Друг мой, хороший человек одним своим присутствием обещает слишком много. Он вызывает доверие, он внушает симпатию, он пробуждает надежды, и все эти чувства не имеют предела, а он, сам того не ведая, становится и остается должником. Прощайте! Если наши внешние обстоятельства сложились столь счастливо под вашим руководством, то во внутреннем моем мире разлука с вами оставит пустоту, которую не так легко будет заполнить.

Перед отъездом из города Вильгельм написал пространное послание Вернеру. Правда, они за это время обменялись несколькими письмами, но, не придя к согласию, в конце концов прекратили переписку. Теперь же Вильгельм сделал шаг к сближению — он решился на то, чего так домогался Вернер; он мог сказать: «Я покидаю театр и завожу связи с людьми, чье общество должно во всех смыслах поощрять меня к положительной и благонадежной деятельности». Далее он спрашивал о своем состоянии и сам теперь удивлялся, что столько времени даже не думал о нем. Он не знал, что людям, сугубо озабоченным внутренним своим развитием, свойственно negliжировать внешними делами. В таком именно положении был Вильгельм; ему, как видно, впервые пришло в голову, что для солидной деятельности не обойтись без обеспечения извне. Он уезжал совсем с иными помыслами, чем в первый раз; перед ним открывались заманчивые виды на будущее, и он надеялся встретить немало радостного на своем пути.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Воротясь в имение Лотарио, он застал там большие перемены. Ярно встретил его известием, что скончался дядюшка и Лотарио поехал вступить во владение отказанными ему поместьями.

— Вы приехали очень кстати, чтобы помочь нам с аббатом, — заявил он. — Лотарио поручил нам сторговать обширные угодья по соседству от нас; дело было затеяно уже давно, а теперь мы как раз вовремя получили деньги и кредит. Нас смущало только, что один посторонний торговый дом тоже имел виды на эти угодья; и вот мы решились, не долго думая, войти с ним в соглашение, вместо того чтобы без нужды и смысла вздуть цену. По всей видимости, мы имеем дело с умным человеком. Сейчас мы заняты сметами и подсчетами; кроме того, надо еще определить с точки зрения финансовой, как делить земли, чтобы каждому досталась выгодная часть.

Перед Вильгельмом разложили планы, затем обозрели поля, строения, луга, и, хотя Ярно и аббат, очевидно, разбирались во всем, Вильгельм предложил привлечь к делу еще и фрейлейн Терезу.

Они провозились с этой работой несколько дней, и Вильгельм едва выкроил время рассказать приятелям о своих приключениях и о своем спорном отцовстве, но те крайне равнодушно и легкомысленно отнеслись к столь важному для него вопросу.

Он не раз замечал, что во время дружеской беседы то ли за столом, то ли на прогулке они вдруг умолкали, давали своим речам другой оборот и тем самым прежде всего показывали, что их между собой связывает многое такое, чего он не должен знать. Он припомнил слова Лидии и придал им тем больше веры, что целое крыло замка оставалось для него недоступным. Он тщетно искал пути и доступа к ряду галерей и особенно к старой башне, которую досконально изучил снаружи.

Однажды вечером Ярно сказал ему:

— Отныне мы с уверенностью можем считать вас своим, а посему несправедливо было бы не посвятить вас глубже в наши тайны. Человеку, едва вступающему в жизнь, хорошо быть о себе высокого мнения, рассчитывать на приобретение всяческих благ и полагать, что его стремлениям нет преград; но, достигнув определенной степени развития, он много выиграет, если научится растворяться в толпе, если научится жить для других и забывать себя, трудясь над тем, что сознает своим долгом. Лишь тут ему дано познать себя самого, ибо только в действии можем мы по-настоящему сравнивать себя с другими. Скоро вам станет известно, что целый мир в миниатюре находится по соседству с вами и что вас хорошо знают в этом малом мире; завтра на рассвете будьте одеты и готовы.

Ярно пришел в назначенный час и повел Вильгельма знакомыми и незнакомыми покаями замка, а потом несколькими галереями, пока они не достигли огромной старинной двери, накрепко обитой железом. Ярно постучался, дверь приотворилась ровно настолько, чтобы мог протиснуться один человек. Ярно втолкнул Вильгельма, а сам за ним не последовал. Вильгельм очутился в темном и тесном помещении; кругом царил мрак, а сделав шаг вперед, он снова натолкнулся на препятствие. Голос, как будто ему знакомый, крикнул: «Войди!» — и тут только он заметил, что пространство, где он находится, по сторонам завешено коврами, а сквозь них пробивается слабый свет. «Войди!» — повторил голос; он приподнял ковер и вошел.

Зала, в которой он оказался, по всему видимому, раньше была капеллой; вместо алтаря на возвышении в несколько ступеней помещался огромный стол, покрытый зеленым ковром, задернутый занавес позади стола, очевидно, закрывал какую-то картину, а по бокам стояли шкафы искусной резной работы с решетками из тонкой проволоки, как бывает в библиотеках, только вместо книг он увидел множество

свитков. Зала была безлюдна; восходящее солнце светило сквозь цветные стекла окон навстречу Вильгельму.

— Садись! — приказал голос, как будто исходивший из — за алтаря.

Вильгельм сел в тесное креслице у самого входа: другого сидища в зале не было, и ему пришлось удовольствоваться этим. Хотя утреннее солнце и слепило его, кресло нельзя было сдвинуть с места, так что оставалось лишь прикрыть глаза рукой.

Но вот с легким шорохом раздвинулся занавес над алтарем, и внутри пустой рамы обнаружилось темное отверстие.

Из него выступил мужчина в обычной одежде и, поклонившись Вильгельму, обратился к нему:

— Конечно, вы узнаете меня? Конечно, помимо всего прочего, вы желали бы узнать, где находится теперь художественная коллекция вашего деда? Припоминаете вы картину, так пленившую вас? Где же изнывает в тоске больной царский сын?

Вильгельм без труда узнал незнакомца, который в ту достопамятную ночь беседовал с ним в гостинице.

— Быть может, на сей раз нам легче будет столкнуться касательно судьбы и натуры?

Вильгельм не успел ответить, как занавес вновь поспешно задвинулся.

«Удивительное дело, — подумал он, — неужто между случайными событиями существует взаимная связь? И то, что мы именуем судьбой, — всего лишь случайность? Где может находиться дедушкина коллекция? И почему в эти торжественные минуты надо напомнить мне о ней?»

Мысли его были прерваны, потому что занавес раздвинулся снова и глазам его предстал человек, в котором он сразу же узнал сельского священника, совершившего прогулку по реке с ним и с его веселой компанией. Он напоминал аббата, но как будто и не был одним с ним лицом. С достойным видом и с улыбкой на устах тот повел такую речь:

— Воспитателю людей должно не ограждать от заблуждений, а направлять заблуждающегося и даже попускать его полной чашей пить свои заблуждения — вот в чем мудрость наставника. Кто лишь отведал заблуждения, тот долго будет привержен ему, будет ему рад, как редкостному счастью, кто же до конца испил чашу, тот неминуемо поймет, что заблуждался, ежели только он в своем уме.

Занавес задвинулся снова, и у Вильгельма было время поразмыслить.

«О каком заблуждении говорил этот человек, — думал он, — как не о том, что всю жизнь преследовало меня, ибо я искал образования там, где его не найдешь; я воображал, что могу развить в себе талант, к которому у меня не было ни малейших задатков!»

Занавес раздвинулся теперь стремительно, в раме показался офицер и проронил как бы мимоходом:

— Научитесь узнавать людей, достойных доверия!

Занавес сомкнулся, и Вильгельму не пришлось ломать голову, дабы признать того самого офицера, что обнимал его в графском парке и по чьей вине Вильгельм заподозрил в Ярно вербовщика. Но каким образом тот попал сюда и кто он такой, — осталось для Вильгельма полнейшей загадкой.

«Ежели столько людей принимали в тебе участие, наблюдали твой жизненный путь и знали, что бы следовало тебе делать, почему они не направляли тебя строже, решительнее? Почему потворствовали твоим забавам, а не отвлекали тебя от них?»

— Не обвиняй нас, — раздался голос. — Ты спасен, ты па пути к цели. Ни в одной своей глупости ты не раскаешься и ни одну не захочешь повторить, — лучший удел не может выпасть человеку.

Занавес разверзся, и во всех своих доспехах в раме явился старый король Датский.

— Я дух твоего отца, — промолвил образ на портрете, — и удаляюсь утешенный, ибо упования мои исполнились для тебя в большей мере, чем дано было мне постичь их. На кручи взбираются лишь обходными тропами, а на равнине от одного места к другому ведут прямые пути. Прощай и вспоминай меня, когда будешь вкушать то, что я тебе уготовал.

Вильгельм был потрясен, ему слышался голос отца, но Это был тот и не тот голос; смешение действительности и воспоминания привело его в полнейшее замешательство.

Не успел он опомниться, как появился аббат и встал за зеленым столом.

— Подойдите сюда! — позвал он изумленного друга.

Вильгельм подошел и поднялся по ступеням. На столе лежал небольшой свиток.

— Вот предназначенное вам Наставление, — заявил аббат. — Проникнитесь им, оно содержит мысли первостепенной важности.

Вильгельм взял свиток, развернул его и прочел: НАСТАВЛЕНИЕ.

Искусство вечно, жизнь коротка.[72] суждение трудно, случай быстротечен. Действовать легко, мыслить трудно, претворять мысль в действие — нелегко. Всякое начало радостно, порог — место ожидания. Мальчик дивится, впечатление руководит им, он учится, играя, суровая правда его пугает. Подражание присуще нам от рождения, но трудно распознать, что достойно подражания. Редко открываем

мы прекрасное, еще реже умеем его оценить. Нас манит высота, но не ступени к ней; обратя взор на вершину, мы предпочитаем идти равниной. Преподавать художество можно лишь отчасти; художнику оно нужно целиком. Кто научился ему вполнину, постоянно ошибается и много говорит; кто овладел им полностью, тот занят делом, а говорит редко или погодя. У тех нет тайн и нет силы, учение их — точно испеченный хлеб, вкусный и сытный на один день; но муку нельзя сеять, а семена незачем молоть, слова хороши, но они не самое лучшее. Лучшее в словах не выразить. Превыше всего дух, что вдохновляет нас к действию. Действие постигается лишь духом и воспроизводится им. Никто не знает, что делает, поступая как должно. Но недолжное мы всегда сознаем. Кто орудует только знаками, тот педант, ханжа или тупица. Таких великое множество, и вместе им раздолье. Их болтовня отталкивает ученика, а упрямая их посредственность запугивает самых лучших. Учение настоящего творца служит к вразумлению, ибо где недостает слов, там за себя говорит дело. Настоящий ученик научается извлекать неизвестное из известного и тем приближается к мастеру.

— Довольно! — крикнул аббат. — Остальное в свое время. А теперь поройтесь по шкафам.

Вильгельм подошел и стал читать надписи на свитках. К своему удивлению, он обнаружил стоявшие в ряд свитки, содержащие годы учения Ярно, а также Лотарио, его самого и еще многих других, чьи имена были ему неизвестны.

— Могу я надеяться, что мне дозволено будет развернуть Эти свитки?

— Отныне здесь, в зале, для вас нет ничего запретного.

Могу я задать один вопрос?

— Разумеется. И вы вправе рассчитывать на исчерпывающий ответ, если дело идет о чем-то, что близко вашему сердцу и должно быть ему близко.

— Так вот! Вы, загадочные и мудрые люди, проникающие взором во многие тайны, можете вы сказать мне, правда ли, что Феликс мой сын?

— Хвала вам за этот вопрос! — вскричал аббат и от радости захопал в ладоши. — Да, Феликс ваш сын. Клянусь самым священным, что таим мы между собой, Феликс — ваш сын! И его усопшая мать помыслами своими не была недостойна вас. Примите же это милое дитя из наших рук, оглянитесь и позвольте себе быть счастливым!

Услышав за своей спиной шорох, Вильгельм обернулся и увидел детское личико, которое плутовато выглядывало из — за ковров у входа, — это был Феликс. Как только его увидели, мальчик сразу же шаловливо спрятался.

— Иди сюда! — крикнул аббат.

Ребенок вбежал. Отец бросился ему навстречу, схватил его в объятия и прижал к своему сердцу.

— Да, я чувствую — ты мой! — воскликнул он. — Каким небесным даром обязан я своим друзьям! Мальчик мой, как ты очутился здесь именно в эту минуту?

— Не спрашивайте, — приказал аббат, — хвала тебе, юноша. Годы твоего учения миновали — природа оправдала тебя.

## КНИГА ВОСЬМАЯ

### ГЛАВА ПЕРВАЯ

Феликс побежал в сад, Вильгельм с великой радостью поспешил за ним, все кругом казалось по-новому пленительным в свете сияющего утра, и Вильгельм переживал блаженнейшие минуты. Феликс был новичок в этом прекрасном и вольном мире, а его отец сам не очень-то смыслил в предметах, о которых настойчиво по нескольку раз спрашивал малыш. Под конец они прибегли к помощи садовника, чтобы тот объяснил им, как называются и для чего употребляются разные растения; Вильгельм смотрел на природу новым взглядом — любопытство и любознательность ребенка впервые показали ему, как был он безразличен ко всему, что находилось вне его, как мало по-настоящему видел и знал. Этот день, самый отрадней в его жизни, как будто положил начало его собственному образованию; он чувствовал необходимость учиться, меж тем как призван был учить.

Ярно и аббат больше не показывались; они появились лишь к вечеру и привели с собой какого-то гостя. Вильгельм поспешил ему навстречу в изумлении, не веря своим глазам, — это был Вернер, который тоже на миг остолбенел при виде его. Они обнялись очень нежно, и оба не могли скрыть, что нашли друг в друге немалые перемены. Вернер утверждал, что Вильгельм вырос, окреп, выровнялся, приобрел лоск и приветливость в обхождении.

— Правда, я не чувствую прежнего твоего простосердечия, — добавил он.

— Оно, конечно, вернется, как только мы опомнимся от неожиданности, — ответил Вильгельм.

Однако сам Вернер произвел на Вильгельма куда менее выгодное впечатление. Бедняга явно был не на подъеме, а в упадке. Он сильно исхудал, острые черты лица еще истончились, нос стал длиннее, лоб и темя облысели, голос звучал резче, пронзительнее и крикливее; впалая грудь, выступающие вперед плечи и бескровные щеки выдавали в нем работающего ипохондрика.

У Вильгельма достало деликатности весьма сдержанно отозваться о столь разительной перемене, тем паче что Вернер дал волю дружеским восторгам.

— Право же, — восклицал он, — пускай ты попусту растратил время и, как я подозреваю, ничем не разжился, все же такой молодчик, каким ты стал, может и должен устроить свое счастье. Только, смотри, не промотай и не потеряй его снова; с эдакой наружностью как не

высватать богатую и красивую наследницу!

— Ты верен себе! — заметил Вильгельм. — Не успел после долгой разлуки встретить друга, как уже видишь в нем товар, предмет торговли, на котором можно нажиться.

Ярно и аббат как будто совсем не удивились этой встрече и предоставили друзьям вволю распространяться о прошлом и настоящем. Вернер со всех сторон оглядывал друга, поворачивал его туда и сюда, так что тот даже засмутился.

— Нет, нет! — восклицал он. — Такого мне еще не доводилось видеть, и все же я уверен, что не ошибаюсь. Глаза у тебя стали глубже, лоб шире, нос тоньше, а рот привлекательнее. Гляньте-ка, какая у него стать! Как все ладно и складно! До чего же полезно бить баклуши! А я-то, горемыка, — он посмотрел на себя в зеркало, — не наживи я за это время изрядную сумму денег, вовсе ничем бы не был хорош.

Вернер не получил последнего письма Вильгельма: их контора и была тем торговым домом, совместно с коим Лотарио намеревался купить земельные угодья. Именно это дело и привело Вернера сюда. Он никак не ожидал столкнуться здесь с Вильгельмом. Явился судейский чиновник, были показаны бумаги, и Вернер счел условия сходными.

— По всей видимости, вы желаете добра этому молодому человеку, — заявил он, — так постарайтесь, чтобы наша доля не была урезана. От моего друга зависит стать владельцем имения и вложить в него часть своего состояния.

Ярно и аббат заверили, что нет нужды напоминать им об Этом. Едва все было оговорено в общих чертах\* как Вернер пожелал сыграть в ломбер, и Ярно с аббатом не замедлили составить ему партию; он, видите ли, так пристрастился к картам, что вечер был ему не в радость без игры.

Оказавшись после ужина наедине, друзья наперебой выспрашивали друг у друга обо всем, что им хотелось узнать.

Вильгельм не уставал твердить, как он доволен своим положением и какое для него счастье вступить в круг столь замечательных людей. А Вернер на это только качал головой и говорил:

— Верить следует только лишь тому, что видишь собственными глазами! Не один угодливый приятель заверял меня, что ты живешь с неким молодым распутником из дворян, водишь к нему актерок, помогаешь транжирить денежки и портишь ему отношения со всей родней.

— Мне было бы обидно за себя и за этих славных людей, что о нас судят так превратно, — отвечал Вильгельм. — Но на своем актерском поприще я привык к любым кривотолкам. В самом деле, как могут люди составить себе правильное мнение о наших поступках, когда те предстают перед ними без связи, урывками, в самой небольшой своей доле, ибо добро и зло творится втайне и наружу выходит лишь самое несущественное. Актеров и актрис — тех ставят на подмостки, со всех сторон зажигают свет, все действие проворачивается в считанные часы, однако даже тут мало кто способен разобраться в происходящем.

Дальше пошли расспросы о семье, о «друзьях юности, о родном городе. Вернер спешил сообщить, какие произошли перемены, что осталось по-прежнему, что случилось нового.

— Женщины в доме живут, весело и беспечно, — говорил он, — в деньгах нехватки нет. Половину времени они наряжаются, вторую половину — щеголяют своими нарядами перед другими. Хозяйством занимаются не больше, чем надобно. Малыши мои растут смышленными ребятишками. Я уж мысленно вижу, как они сидят, строчат и считают, бегают, хлопчут, промышляют; когда приспееет время, каждый получит самостоятельное дело, а что до нашего состояния — тут тебе только глядеть да радоваться. Когда все будет улажено с земельными угодьями, мы сразу же поедем вместе домой, — по всей видимости, ты способен не без толка заняться обычными человеческими делами. Спасибо твоим новым друзьям, что они натолкнули тебя на верный путь. Право же, я, дурак, сейчас только понимаю, как люблю тебя, — гляжу и не могу наглядеться, до чего же у тебя здоровый и хороший вид. Совсем не то, что на портрете, который ты как — то прислал своей сестре. Из-за него дома разгорелся настоящий спор. Мамаша и дочка находили, что молодой кавалер очень даже мил — открытая шея, грудь наполовину обнажена, сборчатый воротник, волосы по плечи, круглая шляпа, короткий камзольчик, длинные панталоны болтаются на ногах. А я доказывал, что такой наряд в пору Гансвурсту. Вот сейчас ты на человека похож, не хватает только косы, в которую не мешаешь заплести волосы, иначе тебя, чего доброго, примут в дороге за еврея[73] и потребуют уплатить пошлины и подорожную.

Тем временем в комнату проник Феликс и, видя, что на него не обращают внимания, улегся на софу и уснул.

— Что это за козявка? — спросил Вернер.

У Вильгельма в ту минуту не хватило духу сказать правду да и не хотелось поведать эту все же двусмысленную историю человеку, донельзя недоверчивому от природы.

Вся компания отправилась обозреть угодья, прежде чем заключить сделку. Вильгельм не отпускал от себя Феликса и ради мальчика чистосердечно радовался будущим владениям. Мальчик бросал алчные взгляды на созревавшие вишни и ягоды, напоминая ему о поре собственного отрочества и о многообразной отцовской обязанности заблаговременно готовить, добывать и сберегать для своих детей источники довольства. С каким вниманием осматривал он питомники и постройки, как горячо желал восстановить заброшенное и обновить разрушенное! Отныне он не смотрел на мир глазами перелетной птицы, в жилище уже не видел наскоро сложенный из веток шалаш, который засохнет, прежде чем его покинут. Все, что он замыслил насадить, должно произрасти для мальчика, а все, что он восстановит, должно быть рассчитано на много поколений. В этом смысле годы его учения пришли к концу, с чувством отцовства он обрел и все добродетели гражданина. Он сознавал это, и радость его не знала себе равных.

— О, сколь излишни строгости морали, — восклицал он, — раз природа любовно воспитывает нас такими, как нам надлежит быть. И сколь же нелепы требования бюргерского общества, которое сперва сбивает нас с толку и направляет по ложному пути, а затем требует



от нас больше, нежели сама природа! Плохо то воспитание, которое разрушает действенные средства воспитания подлинного и напоминает нам о конце, вместо того чтобы одарять нас счастьем еще на пути к нему!

Хотя он в жизни на многое насмотрелся, — лишь наблюдая ребенка, он вполне уяснил себе человеческую природу. Театр, как и мир, представлялся ему кучкой высыпанных игральных костей, где каждая кость показывает на верхней грани раз больше, раз меньше очков, но вместе они так или иначе составляют значительный итог. А здесь, в ребенке, он, можно сказать, видел отдельную игральную кость, на разных гранях которой глубоко врезаны достоинства и недостатки человеческой натуры.

В мальчике день ото дня росла потребность различать предметы между собой. Узнав однажды, что у каждого из них есть название, он желал услышать, как называются они все; считая, что отец знает все на свете, он донимал его вопросами, тем самым принуждая знакомиться с такими предметами, каким обычно тот уделял мало внимания. Так же рано обнаружилось в малыше врожденное стремление познать начало и конец всего сущего. Когда он спрашивал, откуда берется ветер и куда деваается огонь, отец впервые живо ощутил свое невежество; ему захотелось узнать, до каких пределов дозволено проникать человеческой мысли и в чем есть у него надежда дать со временем отчет себе и другим. Наблюдая, как мальчик вспышивает от ярости, когда при нем обижают какое-нибудь живое существо, отец искренне радовался, ибо видел в этом признак отзывчивой души. Мальчуган яростно набросился на кухарку, зарезавшую нескольких голубей. Впрочем, восторженное умиление Вильгельма поблекло, когда он увидел, как мальчик безжалостно убивает лягушек и обрывает крылья у бабочек. Эта черта напомнила ему многих людей, которые представляются крайне справедливыми, когда их не обуревают страсти и они спокойно наблюдают чужие поступки.

Приятное сознание, что мальчик оказывает неподдельно благотворное воздействие на его жизнь, чуть было не поколебалось, когда Вильгельм заметил, что на самом деле скорее мальчик воспитывает его, нежели он мальчика. Он не мог порицать сына, не будучи способен что-то указывать ему, и после смерти Аврелии тот сам был себе указчик и успел вернуться к тем дурным привычкам, которые она так старалась искоренить. Мальчуган опять уже не закрывал за собой дверей, опять не желал есть из своей тарелки и был в восторге, когда ему не запрещали брать кушанье прямо с блюда, оставлять нетронутым полный стакан и пить из бутылки. Зато он бывал очень мил, когда усаживался с книжкой в уголок и пресерьезно заявлял:

— Посмотрим, что тут за учерсть! — хотя совсем еще не умел и не желал разбирать буквы.

А стоило Вильгельму вспомнить, как мало он до сих пор сделал для ребенка и как мало способен сделать, в нем поднималась щемящая тревога, грозившая перевесить все его счастье.

«Неужто мы, мужчины, родились такими себялюбцами, что не можем заботиться ни о ком, кроме собственной персоны? — мысленно вопрошал он себя. — Ведь я сейчас так поступаю с мальчиком, как раньше поступал с Миньонной. Я привязал к себе милую малютку, услаждался ее присутствием и при этом был к ней непростительнейшим образом невнимателен. Что сделал я для ее образования, к которому она страстно рвалась? Ровно ничего. Я предоставил ее самой себе и всем случайностям, каким она могла подвергнуться в обществе необразованных людей. А неужто сердце ни разу не приказало тебе хоть немножко подумать о мальчике, который запал тебе в душу, прежде чем стать таким для тебя дорогим? Теперь уже не время расточительно тратить и свои и чужие годы; соберись с силами и подумай-ка, что обязан ты сделать для себя и для милых созданий, которых так прочно спаяли с тобой природа и привязанность».

Этот монолог был, собственно, предисловием к признанию, что он уже подумал, позаботился, поискал и принял решение; дольше он не мог таиться от себя. После частых и бесплодных приступов тоски по Мариане ему стало ясно, что мальчику нужна мать и лучше, чем в Терезе, ее ни в ком не обрести. Он успел хорошо узнать эту превосходную женщину. Такой супруге и помощнице можно без колебаний вверить себя и своих близких. Ее возвышенная любовь к Лотарию не смущала его. По прихоти судьбы они были разлучены навеки. Тереза считала себя свободной и о замужестве говорила, правда, равнодушно, но как о чем-то вполне естественном.

После длительных размышлений он решил рассказать ей о себе все, что знал сам. Пускай поймет его, как он понимает ее. И вот он начал продумывать свою собственную историю: она показалась ему так бедна событиями, и каждое признание, в общем, так мало говорило в его пользу, что у него не раз было поползновение отступить от своего намерения. Наконец он надумал потребовать, чтобы Ярно добыл ему из башни свиток его годов учения.

— Просьба ко времени. — сказал Ярно; и Вильгельм получил свиток.

Страшная минута наступает для человека благородного, когда он доходит до убеждения, что ему надо познать самого себя. Перелом в жизни — тот же кризис, а разве кризис не болезнь? С какой неохотой подходим мы после болезни к Зеркалу! Мы чувствуем себя лучше, а видим только следы миновавшего недуга. Однако Вильгельм был достаточно к тому подготовлен, сами обстоятельства красноречиво взывали к нему, друзья не слишком его цдили, и, хотя развернул он свиток с лихорадочной торопливостью, по мере чтения он успокаивался. Летопись его жизни была составлена в крупных и резких чертах; ни отдельные события, ни преходящие впечатления не отвлекали его, дружелюбные замечания общего характера служили указующим перстом, не унижая его; впервые перед ним предстал его образ, увиденный извне, но не второе «я», как в зеркале, а другое «я», как на портрете; правда, некоторых своих черт мы не узнаем, зато радуемся, что мыслящий ум постарался так нас постичь, а большой талант — так запечатлеть, что сохранился образ того, каким мы были, и ему суждено пережить нас самих.

Воскресив в памяти с помощью манускрипта все обстоятельства своей жизни, Вильгельм начал писать свою биографию для Терезы и чуть ли не стыдился, что ее высоким добродетелям не может противопоставить ничего такого, что бы свидетельствовало о полезной деятельности. Насколько пространно было его сочинение, настолько кратким постарался он быть в письме к ней: он просил ее дружбы и, если возможно, ее любви. Он предлагал ей свою руку и просил не медлить с решением.

После некоторых внутренних колебаний, не обсудить ли сперва столь важное дело с друзьями, с Ярно и с аббатом, он предпочел промолчать. Решимость его была слишком тверда, а дело слишком важно, чтобы подвергать их суждению даже самого мудрого, самого хорошего человека; мало того, он самолично доставил письмо на ближайшую почту. Быть может, ему неприятно было думать, что во многих обстоятельствах жизни, когда он полагал, что поступает скрытно и свободно, на самом деле за ним наблюдали, его даже

направляли, как недвусмысленно было написано в свитке, и он желал хотя бы в этом случае прямо говорить от сердца сердцу Терезы и своей участью быть обязанным ее решению и приговору, а потому не считал зазорным обойтись без своих стражей и согладатаев, хотя бы в таком важном вопросе,

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Едва было отправлено письмо, как воротился Лотарио. Все радовались, что подготовка важных сделок окончена и вскоре они будут заключены, а Вильгельм с нетерпением ждал, как же многие нити частью завяжутся заново, частью порвутся вовсе и как определятся его виды на будущее. Лотарио приветливо поздоровался со всеми, он вполне оправился, был добр и весел, как и положено человеку, который знает, что делать, и беспрепятственно может делать то, что хочет.

Вильгельм не в силах был ответить ему столь же сердечным приветом.

«Ведь это друг, возлюбленный, жених Терезы, а ты пытаешься занять его место, — невольно думал он. — Уж не надеешься ли ты когда-нибудь избыть, изгнать из памяти это сознание?»

Не будь письмо отправлено, он, пожалуй, не осмелился бы послать его. По счастью, жребий был уже брошен, Тереза, может статься, уже решила, и счастливая развязка скрывалась только за дымкой расстояния. Скоро решится, выиграл он или проиграл. Он пытался успокоить себя такими рассуждениями, однако сердце у него билось лихорадочно. Ему трудно было сосредоточиться на важной сделке, от которой в известной мере зависела судьба всего его состояния. Ах! сколь ничтожным представляется человеку в минуты страстного волнения все, что его окружает, все, что ему принадлежит!

К его счастью, у Лотарио был широкий взгляд на дело, а у Вернера легкомысленный. При всей своей жажде наживы он простодушно радовался прекрасному поместью, которое достанется ему, или, скорее, его другу. У Лотарио же были совсем иные соображения.

— Меня не столько радовало бы само приобретение, — сказал он, — сколько его законность.

— Боже правый! — вскричал Вернер. — Уж мы ли не действовали по закону!

— Не вполне! — возразил Лотарио.

— Да ведь мы же выложили наличные денюжки.

— Да, конечно, — признал Лотарио. — Быть может, вы сочтете излишней щепетильностью то, что я вам сейчас скажу. Мне приобретение представляется вполне законным и чистым, лишь когда с него вносится положенная доля государству.

— Как? Вы предпочли бы, чтобы свободно приобретенные угодья подлежали обложению? — изумился Вернер.

— В известном смысле — да! — пояснил Лотарио. — Ибо уравнение со всеми прочими владениями само собой обеспечивает надежность приобретения. В наше время, когда многие понятия становятся шаткими, что главным образом побуждает крестьянина считать владения дворянина менее законными, нежели его собственные? Лишь то, что сам дворянин не обременен налогами, которые лежат бременем на нем, па крестьянине.

— А как же будет с процентами на наш капитал? — спросил Вернер.

— Никак не хуже, если против небольшой регулярной подати государство избавит нас от мудрований ленного права и позволит нам по своей воле распоряжаться нашими поместьями, чтобы мы не обязаны были сохранять их такими грогаг дами, а могли бы более равными долями делить их между нашими детьми и таким образом вовлекать всех в живую, независимую деятельность, вместо того чтобы оставлять в наследство ограниченные и ограничивающие привилегии, для пользования коими нам вечно приходится взывать к теням предков. Насколько счастливее были бы и мужчины и женщины, если бы могли независимым взглядом осмотреться вокруг и по собственному выбору возвысить достойную девушку или хорошего юношу, не считаясь ни с какими другими соображениями. Государство имело бы больше граждан, может быть, даже лучших, чем ныне, и не терпело бы столь часто недостатка в хороших головах и руках.

— Уверю вас, я в жизни не думал о государстве, — сказал Вернер, — все подати, пошлины и налоги я уплачивал потому, что так уж заведено.

— Ну, я еще рассчитываю сделать из вас хорошего патриота, — заявил Лотарио. — Как хорош лишь тот отец, который за столом сперва раздаст кушанье детям, так хорош лишь тот гражданин, что прежде всех других расходов уделяет положенную долю государству.

Эти общие соображения были отнюдь не в ущерб, а даже на пользу личным их делам. Когда они почти совсем уже столкнулись, Лотарио сказал Вильгельму:

— А теперь я должен послать вас в такое место, где вы будете нужнее, чем здесь: моя сестра просит вас не мешкая\* приехать к ней; бедняжка Миньона чахнет на глазах, и вся надежда, что ваше присутствие еще может приостановить педуг. Сестра послала это письмецо мне вдогонку, из чего видно, какое значение она этому придает.

Лотарио протянул записку Вильгельму, который слушал его с большим замешательством, а теперь, узнав по беглым карандашным строкам, руку графини, совсем растерялся и не знал, что отвечать.

— Возьмите с собой Феликса, — посоветовал Лотарио, — детям будет веселее вместе. Отправляться вам надо завтра поутру; экипаж сестры, в котором приехали мои люди, задержался здесь, лошадей я вам дам до полдороги, а дальше возьмете почтовых. Счастливого вам пути, очень кланяйтесь от меня моей сестре. Скажите, что я скоро ее навещу и пускай готовится принять еще гостей. Друг нашего

дядюшки, маркиз Чиприани, направляется сюда. Он надеялся заставить старика в живых, а вместе вспоминать старину и усладить себя общей им любовью к искусству. Маркиз много моложе дяди и преимущественно ему обязан своим образованием; мы должны всячески постараться хотя бы отчасти восполнить пустоту, которую он почувствует, а успешнее всего Это сделать, собрав большое общество.

Лотарио удалился с аббатом в свой кабинет, Ярно еще раньше уехал верхом. Вильгельм поспешил к себе в комнату, — у него не было никого, кому бы довериться, никого, кто помог бы ему уклониться от шага, который так его страшил. Явился юный слуга и поторопил его со сборами; им надо было еще ночью погрузить и увязать поклажу, с тем чтобы на рассвете тронуться в путь. Вильгельм не знал, что ему делать.

«Только бы выбраться из этого дома, — решил он наконец, — дорогой можно обдумать, как быть, во всяком случае, надо остановиться на полпути и послать сюда гонца, написавши то, что трудой высказать, а там будь что будет!»

Невзирая на такое решение, он провел бессонную ночь; только вид сладко спавшего Феликса несколько ободрял его.

«Ах, кому ведомо, какие испытания ждут меня впереди, сому ведомо, долго ли не перестанут меня мучить содеянные ошибки, часто ли будут терпеть крах мои добрые и разумные намерения! Но вот это мое сокровище сохрани мне, жалостливая или безжалостная судьба! Если же этой лучшей части коего «я» суждено погибнуть раньше меня, этому сердцу быть оторзану от моего сердца, тогда прощай разум и рассудок, прощай всякая бережность и осторожность, исчезни инстинкт самосохранения! Пропади все, чем мы разнимся от животного. И ежели не дозволено добровольно кончать печальный свой век, тогда пусть преждевременное слабоумие помрачит сознание раньше, чем смерть, навсегда разрушив его, найдет нескончаемую ночь!»

Он схватил мальчика в объятия, целовал его, прижимал к себе и орошал обильными слезами. Ребенок проснулся; его ясные глаза и ласковый взгляд тронули отца до глубины души.

«Что предстоит мне испытать, когда я представлю тебя несчастной красавице графине, когда она прижмет тебя к своей груди, жестоко раненной твоим отцом! — восклицал он. — Как страшно мне, что бедняжка с криком оттолкнет тебя, едва твое прикосновение пробудит ее подлинную или мнимую боль!»

Кучер не дал ему времени размышлять и решать далее, принудив до рассвета сесть в экипаж; он потеплее укутал своего Феликса, потому что утро было холодное, но ясное, и ребенок впервые в своей жизни увидел, как восходит солнце. Его изумление при виде первого огненного луча и все нарастающей мощи света, его восторги и забавные возгласы восхитили отца и помогли заглянуть в детскую душу, над которой солнце встает и плывет, как над чистым тихим озером.

В небольшом городке кучер выпряг лошадей и поскакал обратно. Вильгельм тотчас взял комнату и стал обдумывать, оставаться ли здесь или ехать дальше. В таких колебаниях он отважился достать записочку, которую не дерзал развернуть вторично; она содержала следующие слова: «Пришли мне своего молодого друга, да смотри, поскорее. За последние два дня Миньоне стало еще хуже. Хоть и по грустному поводу, я буду рада познакомиться с ним».

В первый раз Вильгельм не заметил последних слов. Они испугали его, и он сразу же решил не ехать дальше. «Как? — мысленно восклицал он. — Лотарио знал все обстоятельства и не пожелал открыть ей мое имя? Она не ждет скрепя сердце знакомого, с которым предпочла бы не встречаться, она ждет кого-то незнакомого, и вдруг вхожу я! Отсюда вижу, как она отшатнется, как покраснеет! Нет, я не в силах пережить эту сцену».

Тут как раз вывели и впрягли лошадей, Вильгельм твердо решил распаковать вещи и остаться здесь, Он был вне себя от волнения. Услышав, как поднимается по лестнице служанка сказать ему, что все готово, он стал наскоро придумывать причину, вынуждавшую его задержаться, и рассеянным взглядом остановился на записке, которую держал в руке.

— Господи! Что это? — вскричал он. — Это вовсе не рука графини, это рука амазонки!

Вошла служанка, позвала его вниз и увела с собой Феликса.

— Неужели это возможно? — восклицал он. — Неужели Это правда? Что мне делать? Остаться, выждать и выяснить? Или мчаться туда? Мчаться навстречу развязке? Как! Быть на пути к ней и медлить? Нынче вечером ты можешь ее увидеть и по доброй воле заточишь себя в темницу? Это ее рука, да, да, ее! Бе рука зовет тебя, ее экипаж запряжен, чтобы везти тебя к ней. Вот она, разгадка: у Лотарио две сестры. Он знает о моих отношениях с одной, а чем я обязан второй, ему неизвестно. Не знает и она, что раненый бродяга, обязанный ей если не жизнью, то здоровьем, с таким незаслуженным радушием был принят в доме ее брата.

Феликс уже качался на подушках экипажа и кричал снизу:

— Папенька, иди! Ну, иди же! Посмотри, какие красивые облака! И какие они яркие!

— Иду, иду! — крикнул Вильгельм, сбегая с лестницы. — Все чудеса небес, каким ты, милое дитя, не успел надивиться, ничего не стоят рядом с видением, которого я жду.

Сидя в экипаже, он мысленно сопоставлял все обстоятельства. «Итак, эта Наталия — еще и подруга Терезы! Какое открытие, какие надежды, какие возможности! Удивительное дело — боязнь услышать что-нибудь об одной сестре едва не скрыла от меня существования другой!» С великой радостью смотрел он на своего Феликса, надеясь, что они вместе будут встречены наилучшим образом.

Надвинулся вечер, солнце зашло, дорога была не из лучших, возница ехал медленно, Феликс уснул, а в душе нашего друга вставали новые сомнения и заботы.

«Какие безумные мечты владеют тобой, — одергивал он себя, — спорное сходство почерков сразу же успокаивает тебя и дает повод сочинять самые что ни на есть фантастические сказки!»

Он снова достал записочку, и в свете сумерек ему померещилось, что это почерк графини; глаза отказывались в отдельных чертах усмотреть то, что сердце открыло ему в целом.

«Значит, лошади влекут тебя навстречу ужасающей сцене! Может статься, через несколько часов они уже повезут тебя обратно. Хоть бы застать ее одну! Вдруг там окажется и ее супруг, а чего доброго, и баронесса!»

Какую я найду в ней перемену? Устою ли я на ногах при виде ее?»

Лишь слабый луч надежды, что его ждет встреча с прекрасной амазонкой, временами пробивался сквозь пелену мрачных дум. Наступила ночь, когда экипаж прогрохотал по дворовым плитам и остановился. Слуга с восковым факелом вышел из пышного портала и по широким ступеням спустился к самому экипажу.

— Вас давно уже дожидаются, — заявил он, откидывая фартук.

Выйдя из экипажа, Вильгельм взял на руки спящего Феликса, а первый слуга крикнул второму, стоявшему со светильником в дверях:

— Проводи барина прямо к баронессе!

Молнией мелькнула в голове Вильгельма мысль:

— Какое счастье! Случайно или намеренно баронесса Здесь! Первой я увижу ее! Графиня, должно быть, легла уже спать. Духи благие, помогите, чтобы эти тяжкие мгновений миновали без позора.

Он вошел в дом и очутился в таком торжественном, по его восприятию, в таком священном месте, в какое никогда еще не вступал. Прямо перед ним висячий фонарь ярко освещал широкую, пологую лестницу, наверху у поворота разделяющуюся на два крыла. Мраморные статуи и бюсты стояли на пьедесталах и в нишах; некоторые из них показались ему знакомыми. Впечатления юности не изглаживаются вплоть до мельчайших штрихов. Он узнал музу из дедовской коллекции, но не по ее облику и художественной ценности, а по реставрированной руке и восстановленным частям одеяния. Казалось, он попал в сказочный мир. Ему стало тяжело нести Феликса; он замешкался на лестнице и опустился на колени, будто для того, чтобы поудобнее держать ребенка. На самом деле ему нужно было перевести Дух. Он едва мог подняться. Освещавший дорогу слуга хотел взять у него мальчика, но Вильгельм не решался расстаться с сыном.

Затем он вошел в аванзалу и, к вящему своему удивлению, увидел на стене хорошо знакомую картину, изображавшую больного царского сына. Он едва успел взглянуть на нее, как лакей провел его через две комнаты в кабинет. Там за абажуром, бросавшим тень на ее лицо, сидела женщина и читала.

«Ах, хоть бы это была она!» — подумал он в этот решительный миг. Он опустил на пол ребенка, который как будто проснулся, а сам собрался приблизиться к даме, но мальчик повалился наземь, еще не очнувшись, тогда дама встала и пошла навстречу Вильгельму. То была амазонка. В неудержимом порыве он бросился перед ней на колени, восклицая: «Это она!» С беспредельным восторгом схватил он и поцеловал ее руку. Мальчик лежал между ними обоими на ковре и сладко спал.

Феликса положили на софу, Наталия села около него, а Вильгельму указала на кресло, стоявшее рядом. Она предложила ему подкрепиться, от чего он отказался, все еще стараясь увериться, что это она, и вновь взглянуть в ее затененные абажуром черты и вновь их узнать. Она обрисовала ему общие симптомы болезни Миньоны: девочку постоянно снедают какие-то глубокие переживания, а при ее крайней возбудимости, которую она скрывает, как может, с ней случаются такие жестокие и опасные спазмы в сердце, что этот наиважнейший жизненный орган при неожиданных потрясениях вдруг останавливается и в груди бедняжки совсем не чувствуется целительного биения жизни. Как только грозный припадок проходит, сила природы дает о себе знать частым пульсом и угрожает теперь избыточностью в работе сердца, как раньше пугала ее недостаточностью.

Вильгельм припомнил, что был свидетелем такого припадка, а Наталия сослалась на врача, который подробнее поговорит с ним об этом и обстоятельнее изложит причину, по которой решено было вызвать друга и благодетеля девочки.

— Вы найдете в ней разительную перемену, — продолжала Наталия, — она носит теперь женское платье, которое раньше внушало ей такое отвращение.

— Как вы этого добились? — спросил Вильгельм.

— Хотя это и было желательно, добились мы этого по чистой случайности. Послушайте, как обстояло дело. Быть может, вам известно, что у меня постоянно живет несколько девочек-подростков; они растут при мне, и я стараюсь направить их помыслы на путь истины и добра. Из моих уст они слышат лишь то, что сама я почитаю правильным, однако я не могу и не хочу препятствовать тому, чтобы другие внушили им понятия, которые слывут заблуждениями и предрассудками. Когда девочки приступают ко мне за объяснениями, я по силе возможности пытаюсь в каком-то пункте связать эти чуждые, неуместные понятия с понятиями правильными и тем самым сделать их если не полезными, то, на худой конец, безвредными. За последнее время мои девочки наслушались от крестьянских ребят рассказов про ангелов, про рождественского деда, про младенца Христа, которые в свой срок являются во плоти, награждают хороших деток, а плохих наказывают. Девочки заподозрили, что это, верно, переодетые люди, я не стала их разубеждать и, не пускаясь в долгие объяснения, при первом же случае решила устроить для них подобное представление. Оказалось, что близится день рождения двух сестер-двойняшек, которые всегда вели себя примерно; я пообещала, что на сей раз придет ангел и принесет им подарочки, которые они заслужили. Они с нетерпением ждали такого гостя. Для этой роли я выбрала Миньону, и в назначенный день ее премило нарядили в

длинное легкое белое одеяние. Грудь была перехвачена золотым поясом, в волосах сияла такая же диадема. Сперва я думала обойтись без крыльев, но наряжавшие ее женщины настаивали на двух золотых крылах, на которых хотели показать свое искусство. Так, с лилией в одной руке и корзиночкой в другой, чудесное видение вступило в круг девочек, поразив даже меня.

— Это явился ангел, — сказала я.

Дети сперва даже отшатнулись, потом закричали хором: «Да это Миньона!» — однако не решились подойти ближе к чудесному явлению.

— Вот вам подарки, — сказала Миньона и протянула корзиночку. Ее окружили, ее оглядывали, ощупывали, расспрашивали:

— Ты ангел? — спросил один ребенок.

— Я бы хотела им быть, — отвечала Миньона.

— Почему ты держишь лилию?

— Будь мое сердце так же чисто и открыто, я была бы счастлива.

— А откуда у тебя крылья? Дай-ка взглянуть!

— Они покамест заменяют другие, более прекрасные, еще не расправленные крылья.

Так многозначительно отвечала она на каждый пустой, простодушный вопрос.

Когда любопытство малолетнего общества было удовлетворено, а впечатление от чудесного образа понемножку притупилось, с Миньоны хотели снять воздушный наряд. Она воспротивилась, взяла в руки люльку, уселась вот на этот высокий секретер и с несказанным очарованием пропела песню:

Я покрасуюсь в платье белом,

Покамест сроки не пришли,

Покамест я к другим пределам

Под землю не ушла с земли.

Свою недолгую отсрочку

Я там спокойно пролежу

И сброшу эту оболочку,

Венок и пояс развяжу.

И, встав, глазами мир окину,

Где силам неба все равно,

Ты женщина или мужчина,

Но тело все просветлено.

Беспечно дни мои бежали,

Но оставлял следы их бег.

Теперь, состарясь от печали,

Хочу помолодеть навек.[74]

— Я сразу же положила оставить ей это одеяние, — закончила Наталия, — и сшить еще несколько в таком же роде. В них она теперь и ходит, отчего, как мне кажется, весь ее облик приобрел совсем другое выражение.

Час был поздний, и Наталия отпустила своего гостя, который не без опасения расстался с ней. «Замужем она или нет?» — думал он. От малейшего шороха он поминутно пугался, что сейчас откроется дверь и пожалует ее супруг. Слуга, проводивший его в отведенную ему комнату, удалился скорее, чем он собрался с духом задать такой вопрос. Тревога долго не давала ему заснуть, и он без конца сопоставлял образ амазонки с образом этой новой своей приятельницы. Ему пока что не удавалось слить их воедино; тот образ был, в сущности, рожден им, а этот как будто намеревался переродить его самого.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

На другое утро, пока все кругом было тихо и спокойно, он отправился осмотреться в доме. Это был совершеннейший, прекраснейший, благороднейший образец архитектурного искусства, какой ему когда-либо доводилось видеть.

«Право же, истинное искусство подобно хорошему обществу, — мысленно восклицал он, — оно наименее приятным образом дает нам познать ту меру, по которой и для которой построен наш внутренний мир». Неизъяснимо приятное впечатление произвели на него статуи и бюсты из собрания его деда. В нетерпении поспешил он к той картине, что изображала больного царского сына, и она, как и в детстве, пленила и умилила его. Слуга отворил перед ним двери ряда других покоев: он увидел и библиотеку, и естественно-историческую коллекцию, и физический кабинет и ощутил себя совершенно несведущим во всех этих предметах. Тем временем проснулся Феликс и побежал за ним следом, а он был озабочен мыслью, как и когда дойдет до него письмо Терезы; он боялся увидеть Миньону, а отчасти и Наталию. Как непохоже было нынешнее состояние его духа на те мгновения, когда он запечатывал письмо к Терезе и радостно, всей душой, отдавался столь благородному созданию.

Наталия послала пригласить его к завтраку. Он вошел в комнату, где несколько опрятно одетых девочек, на вид не старше десяти лет, накрывали на стол, а особа пожилого возраста расставляла всевозможные напитки.

Вильгельм внимательно взгляделся в картину, висевшую над диваном; он вынужден был признать в ней портрет Наталии, нимало его не удовлетворивший. Вошла Наталия, и сходство исчезло окончательно. Несколько примирил его лишь орденский крест на груди портрета и такой же точно на груди Наталии.

— Я разглядывал этот портрет, — обратился он к ней, — и диву давался, до какой степени живописец может быть правдивым и лживым одновременно. В целом портрет весьма схож с вами, но ни черты, ни выражение совсем не ваши.

— Скорее нужно удивиться большому сходству, — возразила Наталия. — Портрет-то вовсе не мой, а тетушки, которая напоминала меня даже в преклонных летах, когда я была еще ребенком. Она изображена примерно в моем возрасте, и по первому взгляду ее всегда принимают за меня. Вам надо бы знать эту превосходную женщину, Я многим обязана ей. Слабое здоровье, пожалуй, чрезмерная сосредоточенность на себе самой и при этом болезненно развитое нравственное и религиозное чувство помешали ей стать для мира тем, чем она могла стать при иных обстоятельствах. Она была светочем, который светил лишь немногим близким, а мне в особенности.

— Может ли быть, — начал Вильгельм, задумавшись на миг и сопоставив многие пришедшие ему на ум обстоятельства, — может ли быть, чтобы та прекрасная, высокая душа, чьи заветные признания стали известны и мне, оказалась вашей тетушкой?

— Вы читали ее рукопись? — спросила Наталия.

— Да, — ответил Вильгельм, — читал с величайшим волнением и не без влияния на всю мою жизнь. В этом манускрипте особенно поразила меня, я бы сказал, безупречная чистота бытия не только ее самой, но и всех, кто ее окружал, самостоятельность ее натуры и неприятие всего, что не было созвучно ее благородному, любвеобильному душевному строю.

— Значит, вы относитесь к этой прекрасной душе правильнее и, смею сказать, справедливее, нежели многие другие, тоже имевшие случай познакомиться с ее рукописью. Каждый образованный человек знает, как трудно ему бороться с некоторого рода грубостью в себе и в других, как дорого ему дается его образование и как много он в иных случаях думает о себе, забывая, чем обязан другим. Нередко хороший человек упрекает себя в не деликатности поведения; однако если прекрасная душа развивает в себе чрезмерную деликатность, чрезмерную совестливость, если, скажем так, она себя переразвивает, свет не знает к ней ни снисхождения, ни пощады. Тем не менее люди такого рода во внешней жизни для нас то же, что идеалы в жизни внутренней, — образцы, которым мы должны бы не подражать, а следовать. Над чистоплотностью голландок принято смеяться, но была бы моя подруга Тереза тем, что она есть, если бы подобный идеал домоводства не стоял перед ее взором?

— Значит, в подруге Терезы я вижу ту самую Наталию, которой дарила свою привязанность ее достойнейшая родственница, ту Наталию, что с юных лет была так сострадательна, так полна любви и участия! Только такая кровь могла породить такую натуру! Что за картина открывается передо мной, когда я единым взглядом охватываю ваших предков и весь круг, к которому вы принадлежите!

— Да! — подтвердила Наталия. — В известном смысле вы не могли узнать нас лучше, как через рукопись нашей тетушки. Правда, будучи привязана ко мне, она слишком расхваливала меня ребенком. Когда говорят о ребенке, обычно имеют в виду не его, а возложенные на него надежды.

Тем временем Вильгельм успел сообразить, что теперь он осведомлен о происхождении и о ранней юности Лотарио; красавица графиня предстала перед ним девочкой с тетушкиными жемчугами вокруг шеи; в свое время и он касался Этих жемчугов, когда ее нежные прелестные уста склонились к его устам; он попытался другими мыслями вытеснить эти сладостные воспоминания, стал перебирать знакомства, которые доставила ему та рукопись.

— Так я нахожусь в доме почтеннейшего дядюшки! — вскричал он. — Это не дом, это храм, и вы его достойная жрица, а то и само божество; у меня до конца дней не изгладится впечатление вчерашнего вечера, когда передо мной предстали произведения искусства, знакомые с самого детства. Мне припомнились скорбящие мраморные изваяния из песни Миньоны; но этим изваяниям нечего было горевать обо мне, они с величайшей строгостью взирали на меня, смыкая детские мои годы непосредственно с этим мгновением. Эти старинные наши семейные сокровища, усладу жизни моего деда, я нахожу здесь среди других столь многих отменных творений искусства, и я, кого природа сделала любимцем этого доброго старика, я, недостойный, тоже обретаюсь здесь, боже правый, в какой связи и в каком обществе!

Девочки одна за другой покинули комнату, чтобы приняться за свои мелкие обязанности. Вильгельм, оставшись наедине с Наталией, должен был подробнее объяснить ей свои последние слова. Открытие, что значительная часть собранных здесь творений искусства принадлежала его деду, настроило обоих на веселый, общительный лад. Благодаря манускрипту Вильгельм освоился в этом доме, а теперь он как бы вновь обрел свою наследственную долю. Он выразил желание увидеть Миньону; новая приятельница просила его не терпеть, пока воротится врач, которого вызвали к соседям. Нетрудно было догадаться, что это был тот самый деятельный человек, уже знакомый нам и упоминавшийся также в «Признаниях прекрасной души».

— Коль скоро я нахожусь в кругу вашей семьи, — предположил Вильгельм, — значит, и аббат, упомянутый в манускрипте, — одно лицо с тем странным загадочным челове-» ком, которого по ходу удивительнейших событий я повстречал в доме вашего брата? Не откажите подробнее поведать мне о нем.

— О нем можно рассказать многое; лучше всего я осведомлена о его воздействии на наше воспитание. Он был убежден, по крайней мере, некоторое время, что воспитывать надо с оглядкой на природные склонности. Как он мыслит сейчас, мне неизвестно. Он утверждал: деятельность — первое и главное для человека, и без склонности, без врожденного тяготения к ней делать ничего нельзя. «Люди признают, — имел он обыкновение говорить, — что поэтом рождаются, Это же признается и для других видов искусства, потому что иначе нельзя и потому что таким проявлениям человеческой природы трудновато подражать с мало-мальски заметным успехом, но если приглядеться внимательнее, окажется, что всякая, даже скромная, способность нам врождена, а неопределенных способностей не бывает вовсе. Но наше непоследовательное, беспорядочное воспитание порождает в человеке неуверенность, возбуждает желания, вместо того чтобы поощрять склонности и вместо того чтобы развивать врожденные способности, направляет старания на предметы, зачастую несогласные с нашей природой, которая силится освоить их. Подросток, юноша, которому случается плутать на своем собственном пути, более мне по душе, нежели люди, твердо шагающие по пути, чуждому им. Если первые самостоятельно или под чьим-то водительством отыщут верный, то есть согласный с их природой путь, они уже больше не сойдут с него, меж тем как вторым грозит ежеминутная опасность сбросить чуждое иго и предаться безудержному своевольству».

— Как странно, что этот удивительный человек принял участие и во мне и, как видно, если не направлял меня по — своему, то некоторое время укреплял в моих заблуждениях, — сказал Вильгельм. — Теперь мне остается лишь терпеливо ждать, чем он оправдывается в том, что совместно с другими лицами, прямо сказать, дурачил меня.

— Я-то не вправе жаловаться на его причуды, если можно назвать их таковыми, — сказала Наталия, — мне они принесли больше пользы, чем остальным детям. Да и не знаю, мог ли мой брат Лотарио получить лучшее образование; пожалуй, только такую натуру, как милая моя сестрица графиня, следовало воспитать по-иному, внушить ей больше серьезности и силы воли. А что получится из брата Фридриха, далее вообразить себе трудно; боюсь, как бы не пал он жертвой подобных педагогических экспериментов.

— У вас есть еще один брат? — спросил Вильгельм.

— Да, — ответила Наталия, — и притом очень веселый и ветреный по натуре; а так как никто не мешал ему слоняться по свету, не знаю, что выйдет из этого вертопраха. Я давно уже его не видела. Меня успокаивает только одно: аббат и члены их общества всегда знают, где он находится и чем занимается.

Вильгельм собрался было расспросить Наталию, каково ее отношение к столь парадоксальным взглядам, и получить от нее сведения о таинственном сообществе, но тут явился лекарь и, поздоровавшись, сразу же заговорил о состоянии Миньоны.

Наталия взяла за руку Феликса, сказав, что хочет отвести его к Миньоне и подготовить девочку к встрече с ее другом.

Когда Вильгельм и врач остались наедине, последний продолжал свой рассказ:

— Я должен сообщить вам нечто неожиданное, чего вы даже не подозреваете. Наталия дала нам возможность откровенно поговорить о том, что я, правда, узнал от нее же, но столь открыто обсуждать в ее присутствии счел бы неуместным. Странности характера бедной девочки, о которой идет речь, почти полностью проистекают от глубокой тоски — страстное яселание увидеть свою родину и видеть вас, мой друг, рискну сказать, пожалуй, единственное, что есть в ней Земного; то и другое брезжит ей где-то в неоглядной дали, то и другое представляется недостижимым этой удивительной душе. Родилась она, по-видимому, в окрестностях Милана и в самом раннем детстве была уведена от родителей труппой канатных плясунов. Поточнее узнать у нее ничего не удастся, отчасти потому, что она была слишком мала и не могла запомнить ни имена, ни местность, а главное, потому, что она дала себе клятву никому на свете не говорить, кто она и откуда родом. Тем людям, которые нашли ее, когда она заблудилась, она подробнейшим образом описала, где живет, умедляя проводить ее домой, но они тем поспешней увели ее\* с собой, а ночью, на постоялом дворе, думая, что ребенок уснул, шутили по поводу удачной добычи и уверяли, что она не найдет дороги домой. На бедняжку напало страшное отчаяние, и тут ей явилась божья мать и обещала взять ее под свою защиту. Тогда девочка дала себе нерушимую клят\* ву впредь никому не верить, не рассказывать о себе, жить и умереть, уповая на неусыпное божественное попечение. Даже то, что я вам рассказываю, она поведала Наталии не так вразумительно, наша достойная приятельница вывела все это из обрывочных фраз, из песен и детски опрометчивых обмолвок, которые выдают то, что им надлежало бы утаить.

Теперь для Вильгельма стали понятны многие песни и слова бедной девочки. Он настойчиво просил своего друга лекаря ничего не скрывать от него из услышанных им песен и признаний этого удивительного существа.

— Тогда приготовьтесь услышать неоязданнейшее признание, — отвечал врач, — рассказ о событии, к которому, сами того не помня, в большой мере причастны вы. Боюсь я, что это событие оказалось решающим для жизни и смерти бедного создания.

— Говорите же, — воскликнул Вильгельм. — Я сгораю от нетерпения.

— Помните, в ночь после премьеры «Гамлета» вас посетила таинственная незнакомка? — спросил врач.

— Еще бы, конечно, помню, — смущенно произнес Вильгельм. — Но я не ожидал, что мне именно сейчас напомним об этом.

— А вы знаете, кто это был?

— Нет! Вы пугаете меня! Не Миньона же? Так кто? Говорите!

— Мне это неизвестно.

— Значит, не Миньона?

— Нет, конечно, не она. Но Миньона тоже пробиралась к вам и, забившись в угол, с ужасом наблюдала, что се опередила соперница.

— Соперница! — вскричал Вильгельм. — Договаривайте же! Вы окончательно сводите меня с ума!

— Благодарите судьбу, что можете сразу узнать об этом от меня, — сказал врач. — Мы с Наталией, хоть и причастны к этому весьма отдаленно, и то совсем извелись, пока дознались, откуда проистекает смятение бедной девочки, которой мы хотели помочь. Легкомысленная болтовня Филины и других девиц и вдобавок игривая песенка той же Филины натолкнули ее на соблазнительную мысль провести ночь у воз\*любленного в блаженном состоянии душевной близости, — больше ничего она, разумеется, и представить себе не умела. Чувство к вам уже прочно завладело ее сердцем, у вас в объятиях бедная девочка уже не раз отдыхала от разных своих горестей и лишь такое счастье мечтала испытать во всей его полноте. Она все собиралась по-дружески попросить вас об этом, но затаенный трепет удерживал ее. Наконец от веселого ужина и выпитого в избытке вина у нее прибыло мужества, и она отважилась прокрасться к вам в ту ночь. Она побежала вперед, чтобы спрятаться в незапертой комнате, но, поднявшись по лестнице, услышала какой-то шорох; она спряталась и увидела, что к вам в комнату шмыгнула белая женская фигура. Вскоре пришли вы, и она услышала, как задвигают засов. Миньона терпела невыразимую муку\* жестокие терзания страстной ревности смешивались с неведомыми ей дотоле порывами неосознанного вождения, беспощадно сотрясая незрелый организм подростка. Сперва сердце у нее колотилось от нетерпеливого ожидания, теперь же оно вдруг стало замирать и свинцовой тяжестью навалилось на грудь; она не могла вздохнуть, не знала, что делать;% услышав звуки арфы, она бросилась на чердак к старику и всю ночь корчилась в судорогах у его ног.

Врач сделал паузу, но Вильгельм не проронил ни слова, и он продолжал:

— Наталия уверяла меня, что ничем в жизни не была так испугана и потрясена, как состоянием девочки во время ее рассказа; наша благородная приятельница не могла себе даже простить, что наводящими вопросами выманила эти признания и, напомнив бедной девочке прошедшее, с такой жестокостью дала новый толчок ее мучениям. «Дойдя до этого места в своем рассказе, — так говорила мне Наталия, — или, вернее, в своих ответах на мои вопросы, все более настойчивые, бедняжка у меня на глазах вдруг упала на пол и, прижав руку к груди, стала жаловаться, что боли той ужасной ночи возвратились снова. Она, как червь, извивалась по земле, и мне пришлось собрать все свое самообладание, чтобы припомнить и применить те средства, какие, по моему опыту, приносят в подобных случаях облегчение духу и телу».

— Вы ставите меня в ужасное положение! — вскричал Вильгельм. — Именно в ту минуту, когда мне предстоит увидеть милую мою девочку, вы так живо даете мне почувствовать, сколь много я перед нею виноват. Раз я скоро ее увижу, зачем вы отнимаете у меня мужество спокойно встретиться с ней? И, признаться, я не понимаю, чем при таком состоянии ее духа может помочь мое присутствие? Вы, как врач, полагаете, что эта двойная тоска настолько подорвала ее организм, чтобы стать угрозой для жизни. Тогда зачем же мне своим присутствием возобновлять ее страдания и, быть может, ускорить ее конец?

— Друг мой, — отвечал врач, — в тех случаях, когда мы бессильны помочь, долг наш — облегчить страдания, а насколько присутствие любимого предмета способно ослабить губительную силу воображения и обратить тоску в безмятежное созерцание, тому я могу привести разительнейшие примеры. Главное — помнить меру и цель! Ибо присутствие возлюбленного может и наново разжечь гаснущую страсть. Повидайте бедную девочку, будьте с ней ласковы, а дальше мы выждем и поглядим, что из этого получится.

Тут воротилась Наталия и потребовала, чтобы Вильгельм пошел с ней к Миньоне.

— По-моему, она вполне счастлива, что Феликс с нею, и, надеюсь, хорошо встретит своего друга.

Вильгельм послушался не без внутреннего сопротивления; он был потрясен тем, что услышал, и опасался драматической сцены. Когда он вошел, случилось совсем обратное.

Миньона в длинном белом женском платье, с кудрявой копной частью подвязанных темных волос сидела, держа на коленях Феликса, и прижимала его к груди; она была точно бесплотный дух, а мальчик — воплощенная жизнь, — казалось, это земля в объятиях небес.

Миньона с улыбкой протянула руку Вильгельму и сказала:

— Спасибо тебе, что ты вернул мне ребенка. Его бог ведь как похитили у меня, и я с тех пор не жила. Пока душе моей что-то надобно на земле, пускай он заполняет пустоту.

Спокойствие, с каким Миньона приняла своего друга, порадовало всех.

Врач потребовал, чтобы Вильгельм навещал ее как можно чаще, дабы поддержать в ней телесное и душевное равновесие. Сам он уехал, обещав скоро вернуться.

Теперь Вильгельм мог наблюдать Наталию в ее привычном кругу: ничего лучше нельзя было желать, как жить подле нее. Своим присутствием она оказывала благотворнейшее действие на девушек и женщин различного возраста, которые либо жили у нее в доме, либо навещали ее по — соседски.

— Не правда ли, жизнь ваша всегда текла очень равномерно? — однажды спросил ее Вильгельм. — То, как ваша тетушка описывает вас ребенком, если я не ошибаюсь, можно отнести к вам и теперь. Чувствуется, что вы никогда не заблуждались, никогда не бывали вынуждены отступить хотя бы на шаг.

— Этим я обязана дяде и аббату, — ответила Наталия, — они правильно понимали мои особенности. Не помню, чтобы с детских лет какое-либо чувство владело мною сильнее, нежели живой отклик на людские нужды, которые я видела повсюду, и непреодолимая потребность их удовлетворять.



Глаза мои как бы самой природой назначены были обнаруживать повсюду и дитя, еще не стоящее на ножках, и старца, уже неспособного держаться на ногах, и желание богатой семьи иметь детей, и невозможность для бедняков прокормить своих ребятишек, и затаенную потребность иметь в руках ремесло, и мечту о таланте, и задатки к сотне мелких полезных способностей. Я видела то, к чему никто не привлекал моего внимания, а я словно затем и была рождена, чтобы это видеть. Многие люди крайне восприимчивы к красотам неодушевленной природы, на меня же они не оказывали действия, еще меньше, пожалуй, пленяли меня красоты искусства. Приятней всего мне было и остается по сей день, встретив в мире утрату или нужду, тотчас мысленно найти облегчение, замену, помощь.

При виде нищего в лохмотьях, я вспоминала, сколько лишней одежды висит в шкафах моих домашних, и при виде детей, что чахли без присмотра и заботы, мне приходила на ум та или иная женщина, которая томится от скуки, живя в холе и богатстве; при виде того, как большая семья ютится в тесной каморке, я думала, что их следовало бы переселить в огромные хоромы богатых домов и дворцов. Этот взгляд на жизнь сложился у меня вполне естественно, а не в итоге всяких умствований, недаром я еще ребенком придумывала невесть что и своими несуразными требованиями не расставила людей в затруднительное положение. Была у меня еще одна особенность: очень нескоро и с большим трудом согласилась я признать деньги средством удовлетворения всяких нужд; все свои благодеяния я оказывала натурой и знаю, что частенько становилась предметом насмешек. Один только аббат как будто понимал меня, он во всем шел мне навстречу. Он открыл мне глаза на самое себя, на мои желания и стремления и учил меня разумно осуществлять их.

— Значит, воспитывая свой маленький женский мирок, вы руководствуетесь принципами этих странных людей? — спросил Вильгельм. — Вы тоже предоставляете каждой натуре развиваться самостоятельно? Позволяете своим питомцам искать и заблуждаться, совершать ошибки, счастливо достигать цели или, на свое несчастье, сбиваться с пути?

— Нет, такой способ поведения с людьми в корне противоречил бы моему образу мыслей, — возразила Наталия. — Кто не помогает в нужде сразу\* тот, на мой взгляд, не помогает вовсе, кто не подает совета сразу, тот не советует вовсе. Столь же насущным представляется мне преподавать и внушать детям известные правила. Я даже готова утверждать, что лучше заблуждаться по правилам, нежели кидаться из стороны в сторону по прихоти своей природы; и как я погляжу на людей, мне кажется, в каждом из них всегда остается\* ся пробел, который может быть заполнен только лишь стро\* го выраженным правилом.

— Итак, ваш образ действий решительно отличен от того, какого придерживаются наши друзья? — спросил Вильгельм.

— Да, — отвечала Наталия. — Отсюда лишний раз можете судить о необычайной терпимости этих людей — они не только ничем не хотят мешать мне на моем пути, именно потому, что это мой путь, но даже наоборот, идут мне навстречу во всем, чего бы я ни пожелала.

Обстоятельный рассказ о том, как обращалась Наталия со своими питомцами, мы отложим до другого случая.

Миньона часто желала быть в обществе со всеми, и ей уступали тем охотнее, что она постепенно вновь привыкала к Вильгельму, открывала для него свое сердце и вообще становилась веселее и жизнерадостнее. Быстро уставая на прогулках, она любила опираться на его руку.

— Миньона уже больше не прыгает и не лазает, — говаривала она, — и все же ей хочется разгуливать по горным высям, шагать с крыши на крышу, с дерева на дерево. Как мне завидно смотреть на птиц, особенно когда они вьют себе такие складные и уютные гнезда!

Вскоре у Миньоны вошло в привычку звать своего друга в сад. А когда он бывал занят или куда-то пропадал, Феликсу приходилось его заменять, и если в иные минуты девочка как будто отрешалась от всего земного, то в другие она особенно крепко держалась за отца и сына, словно превыше всего боялась разлуки с ними.

Наталия была явно озабочена.

— Мы надеялись, что от вашего присутствия вновь от — кроется ее доверчивое сердечко, — сказала она, — а теперь не знаю, правильно ли мы поступили.

Она замолчала, как будто выжидая, что ответит Вильгельм. А ему вдруг пришло в голову, что при существующих обстоятельствах Миньону глубоко оскорбит его союз с Терезой; но в своей неуверенности он не решался заговорить об Этом намерении, не думая, что Наталии оно известно.

Также недостало ему душевного равновесия, чтобы поддержать беседу, когда его благородная приятельница, заговорив о своей сестре, принялась хвалить ее отменные качества и сожалеть о ее плачевном состоянии. Он был немало смущен, когда Наталия ему объявила, что вскоре графиня придет сюда.

— У ее супруга одна мечта, — пояснила она, — заменить в общине скончавшегося графа, своими заботами и трудами укрепляя и развивая это замечательное начинание. Он едет сюда вместе с женой, чтобы проститься с нами; затем он посетит различные места, где обосновалась община; по всему видимому, он встречает к себе такое отношение, как ему желательно, и чуть ли не отваживается предпринять с моей бедной сестрицей путешествие в Америку, дабы вполне уподобиться своему предшественнику, а поскольку он почти уверен, что может почитаться святым, его, чего доброго, манит снискать в конце концов ореол мученика.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Часто за это время разговор заходил о фрейлейн Терезе, часто ее поминали мимоходом, и почти всякий раз Вильгельм собирался признаться своей новой приятельнице, что он предложил этой превосходной женщине свою руку и сердце. Какое-то безотчетное чувство удерживало его; он колебался до тех пор, пока Наталия не сказала ему с обычной своей пленительной скромной и светлой улыбкой:

— Итак, приходится мне в конце концов нарушить молчание и насильно вторгнуться в ваше доверие! Почему вы, друг мой, скрываете от меня столь важное для вас обстоятельство, которое и мне далеко не безразлично? Вы сделали предложение моей подруге; мне дано

право вмешаться в это дело. Вот мое полное право! Вот письмо, которое она шлет вам через меня!

— Письмо от Терезы! — вскричал он.

— Да, сударь! И судьба ваша решилась счастливо. Позвольте мне поздравить вас и мою подругу.

Вильгельм замолчал и уставился в одну точку. Наталия посмотрела на него и увидела, как он побледнел.

— Ваша радость так велика, что она принимает обличив страха и отнимает у вас дар речи, — продолжала она. — В моем участии не менее сердечности оттого, что я еще способна говорить. Надеюсь, вы будете мне благодарны, ибо, смею признаться, я оказала немалое влияние на решение Терезы; она спросила моего совета, а вы, точно по волшебству, оказались как раз здесь, и мне удалось счастливо разрешить те немногие сомнения, что еще оставались у моей подруги. Нарочные носились от нее ко мне и обратно. И вот оно — решение! Вот она — развязка. А теперь прочитайте все ее письма, ясным, открытым взором загляните в прекрасную душу своей невесты.

Вильгельм развернул письмо, которое она протянула ему незапечатанным, и прочел следующие ласковые слова:

«Я ваша, такая, как я есть, какой вы меня знаете. Я зову вас своим, таким, как вы есть и каким я вас знаю. С тем, что супружество изменит в нас самих и в наших отношениях, нам помогут справиться разум, бодрость духа и добрая воля. Нас с вами соединяет не страсть, а склонность и доверие, а посему мы рискуем меньше, нежели тысячи других. Вы, конечно, простите меня, если я с душевной теплотой вспомню своего старого друга; я же, в свой черед, по-матерински прижму к груди вашего сына. Пожелаете вы сейчас же разделить со мной мое маленькое жилище, так считайте себя в нем господином и повелителем, а тем временем будет совершена купчая на поместье. Мне бы хотелось, чтобы никакие новшества не вводились там без меня, дабы я сразу могла показать, что заслуживаю вашего доверия. Будьте благополучны, милый, милый мой друг, возлюбленный жених, дорогой мой муж! Тереза с радостным упованием прижимает вас к своей груди. Моя подруга скажет вам больше, скажет вам все».

От этого письма Вильгельму так живо представилась вновь Тереза, что он вполне овладел собой. Во время чтения различные чувства стремительно сменялись в его душе. С ужасом уловил он в сердце следы увлечения Наталией; он бранил себя, клеймил всякую подобную мысль как безрассудство, рисовал себе Терезу во всем ее совершенстве, вновь перечитывал ее послание и повеселел или, вернее, настолько взял себя в руки, что мог казаться веселым. Наталия отдала ему письма, которыми обменивалась с Терезой. Приводим кое-какие выдержки из них.

По-своему изобразив своего жениха, Тереза писала далее:

«Таким я представляю себе человека, который предлагает мне свою руку. Как он сам думает о себе, ты узнаешь со временем из тех записей, в коих он вполне откровенно характеризует себя; я не сомневаюсь, что буду счастлива».

«Что до звания, то тебе известно, какого я всегда была мнения на этот предмет. Некоторые люди крайне чувствительны к несоответствию внешнего положения и не желают с ним мириться. Я никого не хочу убеждать, равно как и сама хочу поступать по собственному убеждению. Я не собираюсь подавать пример, ибо сама следую чужому примеру. Меня пугают лишь внутренние несоответствия, когда сосуд не отвечает своему содержанию. Много блеска и мало радости, богатство и скарденность, знатность и грубость, молодость и педантство, чувство и притворство — вот несоответствия, которые способны меня доконать, как бы ни обзывал и ни оценивал их свет».

«В своей надежде, что мы подойдем друг другу, я опираюсь преимущественно на его сходство, милая Наталия, с тобой, кого я безмерно ценю и почитаю. Вас роднит благородное влечение и стремление к совершенству, в силу коего мы сами творим добро, полагая, что обретаем его извне. Сколько раз я порицала тебя втайне за то, что ты иначе, чем я, отнеслась к тому или другому человеку, иначе поступила в том или другом случае, а в итоге по большей части оказывалось, что права была ты. Ты говорила: «Принимая людей такими, как они есть, мы делаем их только хуже; относясь к ним так, будто они таковы, какими им надлежит быть, — мы приводим их к тому, к чему их следует привести». Я прекрасно знаю, что не способна так думать и поступать. Разумение, порядок, послушание, приказ — это мое дело. Я хорошо запомнила слова Ярно: «Тереза муштрует своих питомиц, а Наталия своих воспитывает». Однажды он даже дошел до того, что отказался признать за мной три прекраснейших качества: веру, надежду и любовь. «Взамен веры, — говорил он, — она обладает разумением, взамен любви — постоянством, а взамен надежды — уверенностью». Сама я должна сознаться, прежде чем узнать тебя, выше всего ставила зоркость и пронизательность, лишь твое присутствие переубедило, возродило и победило меня, и твоей прекрасной, возвышенной душе я охотно уступаю первенство. И друг мой мне дорог по той же причине. Его биография — это вечное и безуспешное искание, но движет им не искание как таковое, а искание на диво простодушное, он надеется получить извне то, что может исходить лишь от него самого. Итак, дорогая, мне и на сей раз одна только польза от моей зоркости — я знаю своего супруга лучше, нежели он знает самого себя, и тем более его уважаю. Я вижу его, но при всем своем разумении не могу провидеть, что он способен сделать. Когда я думаю о нем, его образ неизменно сливается с твоим, и я не знаю, чем заслужила близость таких двух людей. Но я заслужу ее тем, что буду исполнять свой долг и осуществлять возлагаемые на меня надежды».

«Вспоминаю ли я о Лотарио? Очень живо и ежедневно. В том обществе, которым я мысленно себя окружаю, я пи на миг не могу обойтись без него. О, как я жалею, что этот превосходный человек, которого со мной породнило прегрешение юности, узами крови связан с тобой! Такая женщина, как ты, воистину была бы достойнее его, нежели я. Тебе я могла бы и должна бы уступить его. Будем же для него всем, чем только возможно, пока он не найдет достойной су «пруги, но и тогда позволь нам быть и остаться вместе».

— Что же мы скажем теперь нашим друзьям? — заговорила Наталия.

— Ваш брат ничего об этом не знает?

— Нет, так же, как и ваши близкие! На сей раз все слажено нами, женщинами. Не знаю, какими вздорными выдумками напичкала ее

Лидия, но Тереза, как Тереза, не доверяет аббату и Ярно. Лидия успелаосторожить ее против неких секретных связей и прожектов, о которых я осведомлена в общих чертах, но глубже вникать в них не имела поползновения. И вот перед решительным шагом в своей жизни Тереза пожелала услышать только мое мнение. С братом моим они давно договорились лишь известить друг друга о своем браке, не прося никакого совета.

Теперь Наталия написала брату и попросила Вильгельма присовокупить к письму несколько слов. Таково было желание Терезы.

Они уже собрались запечатать конверт, как вдруг им доложили о приезде Ярно. Его приняли как нельзя приветливее, он был в самом игривом и веселом расположении духа и, не утерпев, сразу же объявил:

— Собственно говоря, я приехал затем, чтобы сообщить вам весьма неожиданное, но приятное известие — оно касается нашей Терезы. Вы, прекрасная Наталия, не раз попрекали нас, что нам до всего дело; но сейчас вы увидите, как полезно иметь повсюду своих соглядатаев. Ну-ка, догадайтесь, покажите свою проницательность!

Самодовольный тон, каким он произнес эти слова, лукавый взгляд, каким окинул Вильгельма и Наталию, убедили обоих, что тайна их раскрыта.

Наталия ответила с улыбкой:

— Мы гораздо хитрее, чем вы думаете, и закрепили на бумаге решение загадки еще раньше, чем нам ее задали.

С этими словами она протянула ему письмо к Лотарио, радуясь, что может достойно парировать приготовленный для их посрамления сюрприз. Несколько удивившись, Ярно взял листок, едва пробежал его, остолбенел, выронил письмо из рук, вытаращив глаза, воззрился на обоих с выражением растерянности и даже ужаса, столь непривычным на его лице, и при этом не произнес ни слова.

Вильгельм и Наталия были совсем озадачены. Ярно шагал по комнате взад и вперед.

— Что мне сказать? — вскричал он наконец. — И надо ли сказать? Нет, это не может остаться тайной. Все равно смятения не избежать. Значит, тайна против тайны! Неожиданность против неожиданности! Тереза вовсе не дочь своей матери! Запрет снят; я приехал просить вас, чтобы вы приготовили эту благородную девушку к замужеству с Лотарио.

Ярно увидел изумление обоих друзей, увидел, как они стоят, потупив взоры.

— Такого рода события очень трудно переносить на людях, — начал он. — То, что каждому нужно при этом обдумать, лучше всего обдумывается наедине; я, во всяком случае, прошу часовой передышки.

Он устремился в сад, Вильгельм машинально последовал за ним, но на расстоянии.

По истечении часа они сошлись опять. Первым заговорил Вильгельм:

— Раньше, когда я жил без цели и плана, вел легкую, даже легкомысленную жизнь, дружба, любовь, увлечение и доверие шли мне навстречу с распростертыми объятиями, даже стремились ко мне; теперь же, когда пора принимать жизнь всерьез, фортуна, как видно, намерена отнестись ко мне по-иному. Решение предложить руку Терезе, пожалуй, было первым, что в чистом виде исходило от меня самого. Продуманно строил я свой план с полного одобрения разума, а согласие этой превосходной девушки увенчало все мои надежды. Ныне же волей причудливой судьбы я вынужден опустить протянутую руку. Тереза издалека подает мне свою, а я, как во сне, не могу взять ее, и прекрасный образ покидает меня навеки. Так прощай же, прекрасный образ! Прощайте и вы, образы щедрого блаженства, обступившие его!

Он замолчал на миг, глядя в пространство. Ярно хотел что-то сказать, но Вильгельм перебил его:

— Позвольте мне договорить, ибо сейчас на карту поставлена вся моя судьба. В этот миг мне на помощь приходит впечатление от первой встречи с Лотарио, оставшееся у меня неизменным. Этот человек заслуживает всемерной привязанности и дружбы, а разве мыслима дружба без жертв? Ради него мне нетрудно было обманывать незадачливую девушку, так пусть же ради него у меня хватит силы отказаться от достойнейшей невесты. Ступайте к нему, расскажите эту необычайную историю и передайте ему, на что я готов.

Ярно ответил:

— В подобных случаях я считаю, что главное — не торопиться, и все сладится само собой. Нам не следует ничего предпринимать без согласия Лотарио! Я поеду к нему, а вы спокойно дожидаетесь моего возвращения или его писем.

Он ускакал прочь, оставив обоих друзей в превеликом унынии. У них было вдоволь времени, чтобы со всех сто-«рон обсудить происшедшее и высказать свои мнения. Тут только они спохватились, что приняли на веру удивительное сообщение Ярно, не осведомившись у него о подробностях\* Вильгельм чуть было не усомнился во всем; но их растерян\* ность и даже смятение достигли высших пределов, когда на «завтра явился гонец от Терезы с нижеследующим неожидан\* ным письмом к Наталии:

«Как это ни странно, я вынуждена отправить вдогонку первому моему письму второе с просьбой срочно прислать ко мне моего жениха. Он должен стать моим супругом, какие бы ни затевались козни с целью отнять его у меня. Передай ему прилагаемое письмо! Только без свидетелей, кто бы они ни были».

Письмо к Вильгельму заключало следующее:

«Что подумаете вы о своей Терезе, если она будет горячо ратовать за союз, казалось бы, решенный лишь по спокойном размышлении? Не задерживаясь, отправляйтесь в пугь тотчас по получении письма. Приезжайте же, милый, милый друг, втройне любимый ныне, когда

мне грозит потерять вас или хотя бы встретить преграды к обладанию вами».

— Что же делать? — воскликнул Вильгельм, прочитав письмо.

— Никогда еще не случалось, чтобы сердце мое и разум так безмолвствовали, как сейчас, — после раздумия откликнулась Наталия. — Я не знаю, что делать, что вам посоветовать.

— Может ли быть, чтобы сам Лотарио ничего об этом не знал, — гневно воскликнул Вильгельм, — а зная, был, как и мы, игрой потаенных козней? Что, если Ярно придумал эту басню экспромтом, как только прочел наше письмо? Не сказал бы он нам нечто иное, если бы мы не опередили его? Чего же хотят эти люди? Какие таят намерения? Что за угрозы подразумевает Тереза? Да, нельзя отрицать, Лотарио находится в кругу скрытых влияний и связей, я на себе испытал, сколь деятельны те люди, как в определенном смысле озабочены поведением и судьбой своих избранников, как умеют управлять ими. Конечная цель этих тайных замыслов мне непонятна, но последняя их затея — отнять у меня Терезу — слишком для меня очевидна. С одной стороны, мне, быть может, лишь для видимости рисуют вновь забрезжившее счастье Лотарио, с другой — я вижу, как моя возлюбленная, моя обожаемая невеста призывает меня в свои объятия. Как мне быть? От чего отступить?

— Потерпите немного, дайте подумать! — сказала Наталия. — В этом странном сплетении событий мне ясно одно: нельзя торопиться, нельзя делать непоправимые шаги. Нелепой басне, хитроумному замыслу надо противопоставить выдержку и рассудительность; скоро мы узнаем — сказали нам правду или ложь. Ежели у моего брата вновь явилась надежда соединиться с Терезой, тогда будет жестокостью отнять у него счастье в ту минуту, когда оно поманило его.

Давайте повременим, пока не выяснится, знает ли сам он об Этом, верит ли, надеется ли.

К счастью, в подкрепление ее доводов пришло письмо от Лотарио.

«Я не посылаю Ярно назад, — писал он, — одна строка, написанная мною, для тебя убедительнее пространной речи посланца. Я твердо знаю, что Тереза не дочь своей матери, и не могу отказаться от надежды обладать ею, пока она сама не уверится во всем вполне и тогда уже, спокойно поразмыслив, сделает выбор между мною и нашим другом. Исполни мою просьбу, ни на шаг не отпускай его от себя! От этого зависит счастье и даже жизнь твоего брата. Обещаю тебе, что эта неопределенность долго не продлится».

— Видите, как обстоит дело! — ласково обратилась она к Вильгельму. — Дайте мне честное слово, что не вздумаете покинуть этот дом!

— Даю! — вскричал он, протягивая ей руку. — Против вашей воли я из этого дома не уйду. Благодарю господа и моего доброго гения, что на сей раз у меня есть руководитель, и притом такой, как вы.

Наталия описала Терезе весь ход событий, заявила, что не отпустит их друга от себя, и заодно переслала ей письмо Лотарио.

Тереза отвечала:

«Меня крайне удивляет твердая уверенность самого Лотарио, — ведь не стал бы он до такой степени притворствоваться перед собственной сестрой. Я огорчена, до крайности огорчена. Лучше мне ничего не говорить. А лучше всего приехать к тебе, только сперва мне нужно пристроить бедняжку Лидию, с которой обходятся так беспощадно. Боюсь, что всех нас обманывают и будут обманывать, пока не запутают окончательно. Будь у нашего друга мое умонастроение, он, невзирая ни на что, улизнул бы от тебя и бросился в объятия своей Терезы, которую тогда никто не отнял бы у него; по боюсь, что его я потеряю, а Лотарио не обрету снова. У Лотарио отнимают Лидию, маня его отдаленной надеждой обладать мною. Не стану распространяться дальше, чтобы не усугубить путаницу. Время покажет, не будут ли пока что настолько расстроены, расшатаны, извращены самые прекрасные отношения, что и после того, как все придет в ясность, ничего не удастся поправить. Если мой друг не ухитрится вырваться, я в ближайшие дни приеду к тебе за ним, чтобы удержать его при себе. Ты удивляешься, каким образом столь пылкая страсть завладела твоей Терезой. Это не страсть, а уверенность, что, коль скоро Лотарио не мог стать моим, этот новый друг составит счастье моей жизни. Скажи ему об этом от имени малыша, который сидел с ним под дубом и радовался его поличию. Скажи от имени Терезы, которая с открытой душой пошла навстречу его предложению. Да, прежняя моя мечта о совместной жизни с Лотарио отодвинулась куда-то далеко, а мечта о том, как я располагала жить с моим новым другом, поныне стоит передо мной. Неужто меня так мало уважают, если думают, что мне легко мигом опять перевернуться от одного к другому?»

— Я полагаюсь на вас, — сказала Наталия, протягивая Вильгельму письмо Терезы. — Вы от меня не сбежите. Подумайте, что счастье моей жизни у вас в руках! Наши существования — мое и брата — так тесно связаны и сплетены между собой, что всякая его боль отзывается у меня, всякая радость составляет мое счастье. Скажу по совести, лишь через него я узнала, что сердце может испытать умиление и восторг, что на свете бывает радость и любовь и такое чувство, которое дает удовлетворение выше всякой меры.

Она остановилась, Вильгельм схватил ее руку и воскликнул:

— Договаривайте же! Настал час полной взаимной доверенности; никогда еще нам не было так нужно по-настоящему узнать друг друга.

— Да, друг мой! — ответила она, улынувшись с присущей ей спокойной, ласковой, неподражаемой величавостью. — Пожалуй, с моей стороны ко времени будет вам признаться: все, что книги и люди называют любовью, представлялось мне только лишь сказкой.

— Вы не любили? — воскликнул Вильгельм.

— Никогда или всегда, — отвечала Наталия.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Во время этого разговора они вглядывались взад и вперед по саду, и Наталия срывала необыкновенного вида цветы, которые были совершенно неизвестны Вильгельму, и он спрашивал их названия.

— Вы, верно, не подозреваете, для кого я собираю букет? — сказала Наталия. — Он предназначен моему дядюшке, которого мы сейчас проведем. Солнце как раз ярко светит в Залу Прошедшего, вот я и спешу повести вас туда, а я никогда не бываю там без тех цветов, которые особенно нравились дяде. Это был удивительный человек, весьма своеобразный в своих восприятиях. К определенным растениям и животным, людям и местностям и даже к некоторым породам камней он питал особое тяготение, иногда трудно объяснимое. «Ежели бы я смолоду не старался побороть себя самого, не стремился к широкому всестороннему развитию своего ума, из меня вышел бы самый ограниченный и пренесносный человек, ибо ничего нет отвратительнее узкой своеобычности интересов у того, от кого следует требовать честной, достойной деятельности». Тем не менее сам он сознавался, что не мог бы жить и дышать, если бы время от времени не давал себе поблажки и не наслаждался вволю тем, что не всегда сам счел бы извинительным и похвальным. «Моя ли вина, — говаривал себе, — если мне так и не удалось вполне согласовать свои склонности и свой разум». В подобных случаях он обычно подтрунивал надо мной, говоря: «Наталию можно при жизни причислить к праведникам, ибо природа ее требует лишь того, что желательно и потребно свету».

Тут они как раз вернулись к главному зданию. Широкий коридором она провела его к двери, перед которой лежали два гранитных сфинкса. Сама дверь, на египетский лад, слегка суживалась кверху, и ее медные створки приуговлялись к строгому и даже страшному зрелищу. Как же приятна была неожиданность, когда опасение разрешалось чистой радостью, ибо посетитель вступал в залу, где искусство и жизнь вытесняли всякую мысль о смерти и могиле. В стенах были сделаны углубления для стоявших там саркофагов, в колоннах между ними имелись ниши, украшенные погребальными урнами и вазами, остальные поверхности стен и свода сплошь были поделены на поля различных размеров, где в обрамлении веселых и пестрых гирлянд, венков и орнаментов помещались веселые и глубокомысленные картины. Отдельные архитектурные детали были облицованы прекрасным мрамором, желтым с красноватым оттенком, голубые полосы удачного химического состава под лазурный камень, радуя глаз в силу контраста, сообщали всему вкупе цельность и связность. Роскошь этого убранства была выдержана в безупречных архитектурных соотношениях, и каждый входящий как бы возносился над самим собой, через гармоническую стройность искусства впервые познавая, что такое человек и чем он может быть.

Напротив двери была изваяна из мрамора статуя почтенного мужа, который покоился на великолепном саркофаге, опершись на подушку. Перед собой он держал свиток и как бы углубился в него с безмолвным вниманием. Свиток был расположен таким образом, чтобы каждый свободно мог прочитать начертанные на нем слова, они гласили: «Помни о жизни!»[75]

Убрав увядший букет, Наталия положила свежий перед изваянием дяди; ибо статуя изображала его, и Вильгельму показалось, что он узнает черты старого вельможи, которого видел тогда в лесу.

— Мы провели здесь немало часов, покуда длилось сооружение залы, — пояснила Наталия. — В последние годы своей жизни дядя привлек к работе искусных живописцев и не знал лучше удовольствия, чем придумывать и подбирать рисунки и картоны для этой росписи.

Вильгельм не мог наглядеться на окружающие его предметы.

— Сколько жизни в этой Зале Прошедшего, — вскричал он, — с тем же основанием можно назвать ее Злой Настоящего и Грядущего. Так все было и так все будет! Преходящи лишь те, что наслаждаются и созерцают. Вот этот образ матери, прижимающей к груди свое дитя, переживет много поколений счастливых матерей. Быть может, через ряд столетий какой-нибудь отец порадует, глядя на бородатого мужчину, который, откинув степенность, резвится со своим малышом. Во все века в такой же стыдливой позе будет сидеть невеста и, затаив свои желанья, будет ждать, чтобы ее утешили и ободрили; так же нетерпеливо будет томиться на пороге жених, прислушиваясь, можно ли ему войти.

Взгляд Вильгельма блуждал по бесчисленным картинам. От присущего ребенку первого радостного стремления не оставлять праздною и упражнять в игре каждую мышцу своего тельца — до спокойной и строгой отрешенности мудреца здесь можно было в стройной и живой последовательности наблюдать, как ни одного своего врожденного влечения и дарования человек не оставляет праздным, из каждого извлекает пользу.

От первого робкого самопознания, когда девушка медлит вынуть кувшин из прозрачной воды, любясь своим отражением, до тех высоких торжеств, когда короли и народы у алтаря призывают богов в свидетели своих союзов, все здесь было показано убедительно и ярко. Вся твердь земная и весь небесный свод окружали здесь созерцателя, и, помимо мыслей, что внушали эти рукотворные образы, помимо ощущений, которые они вызывали, тут присутствовало еще нечто иное, захватывавшее всего человека целиком. Вильгельм тоже это почувствовал, хоть и безотчетно.

— Что же это такое, что независимо от внутреннего смысла, вне всякого сочувствия к человеческим делам и судьбам так сильно и вместе с тем отраднo действует на меня? — восклицал он. — Оно исходит от всего в целом, оно исходит от каждой частицы, и мне непостижимо первое, и мне не вполне доступно второе! Какое волшебство чудится мне в этих плоскостях, в этих линиях, этой высоте и широте, в этих камнях и красках. Почему даже при поверхностном взгляде так радуют эти образы, просто как украшения? Да, я чувствую, здесь можно пробыть долго, отдохнуть, все охватить взором и ощутить счастье, чувствуя и думая нечто совсем иное, чем то, что видно взору.

Конечно, если бы нам удалось описать, как счастливо было все расположено, как через подобие или противопоставление, однотонность или пестроту все оказывалось на своем месте, все было именно таким, как ему быть определено, все производило вполне отчетливое впечатление совершенства, тогда мы перенесли бы читателя в такое место, которое он не скоро пожелал бы покинуть.

Четыре больших мраморных канделябра стояли в углах залы, четыре поменьше были поставлены посередине вокруг саркофага превосходной работы, по величине могущего вместить юное существо среднего роста.

Наталия остановилась возле этой робницы и, положив ча нее руку, промолвила:

— Мой дорогой дядя питал большое пристрастие к этому творению древности. Он говаривал иногда: «Опадает не только первый цвет, который вы можете схоронить там, наверху, в тесных вместилищах, но и плоды, что висят на ветках и долгое время подают нам радужные надежды, а между тем червь исподтишка готовит им раннюю зрелость и погибель». Боюсь я, — заключила она, — дядино прорицание относилось к милой девочке, которая мало-помалу ускользает от нас и тянется к этому мирному обиталищу.

Когда они собрались уходить, Наталия сказала:

— Вот на что я еще хочу обратить ваше внимание. Посмотрите наверх, на полукруглые отверстия по обе стороны залы! Здесь могут скрытно помещаться хоры певчих, а на медных украшениях под карнизом укрепляются ковры, которые дядя завещал развешивать при каждом погребении. Он не мог жить без музыки. Особливо без пения, но у него была одна странность — он не любил видеть певчих. «Нас развращает театр, где музыка прежде всего споспешествует утехе для глаз, — говаривал он, — она сопровождает движение, а не чувствования. При ораториях и концертах нам всегда мешают вид музыкантов; истинная музыка назначена только для слуха. Хороший голос обобщеннее всего, что можно себе представить, и когда ограниченная особь, от которой он исходит, маячит перед глазами, разрушается непосредственное впечатление от этой обобщенности. Я желаю видеть каждого, с кем говорю, ибо это отдельный человек, чей облик и натура придают разговору цену или обесценивают его; но кто поет, для меня должен быть невидим, его облик не должен ни подкупать, ни обманывать меня. Здесь голос говорит слуху, не душа душе, не многообразный мир глазу, не небо человеку». При исполнении инструментальной музыки он тоже предпочитал, чтобы оркестр был по возможности скрыт, ибо механические усилия и вызванные необходимостью странные ужимки музыкантов рассеивают и смущают слушателя. Поэтому он имел обыкновение внимать музыке, закрыв глаза, дабы все свое существо сосредоточить на чистом наслаждении слуха.

Они уже выходили из залы, когда услышали стремительный детский топот по коридору и выкрики Феликса:

— Нет, я! Нет, я!

Миньона первая ворвалась в дверь; она запыхалась так, что не могла слова вымолвить, а Феликс еще издали кричал:

— Маменька Тереза тут!

Как видно, дети бежали взапуски, поспорив, кто первый принесет новость. Миньона лежала в объятиях Наталии, сердце у нее бешено колотилось.

— Гадкая девочка! Ты забыла, что тебе запрещены быстрые движения? — выговаривала ей Наталия. — Видишь, как у тебя бьется сердце!

— Пускай оно разорвется! — с глубоким вздохом произнесла Миньона. — Оно бьется слишком долго.

Не успели все опомниться от растерянности и даже смятения, когда появилась Тереза. Бросившись к Наталии, она обняла и ее, и бедную девочку. Затем обернулась к Вильгельму, посмотрела на него своим ясным взглядом и спросила:

— Как дела, друг мой? Вы не дали сбить себя с толку?

Он сделал шаг по направлению к ней, она кинулась к нему и повисла у него на шее.

— О, моя Тереза! — воскликнул он.

— Мой друг, мой возлюбленный! Мой супруг! Да, я навек твоя! — восклицала она, осыпая его горячими поцелуями.

Феликс теребил ее за платье и кричал:

— Маменька Тереза, я тоже здесь!

Наталия стояла, глядя в пространство; Миньона внезапно схватилась левой рукой за сердце, порывисто вытянула правую руку и с криком замертво упала к ногам Наталии.

Велик был общий испуг: ни биение сердца, ни пульс не прощупывались. Вильгельм взял девочку на руки и поспешно понес наверх. Безжизненное тело свисало у него с плеча. Приход лекаря дал мало утешения: и он, и уже знакомый нам молодой хирург старались тщетно. Вернуть милое создание к жизни не удалось.

Наталия сделала знак Терезе. Та взяла своего друга за руку и увела его из комнаты. Он не произносил ни слова и боялся встретиться с ней взглядом. Так сидели они рядом на той самой софе, где первый раз он застал Наталию. С быстротой молнии проносились у него в мыслях превратности судеб, вернее, он не мыслил, а терпел, как душу ему терзало то, что он не в силах был отогнать. Бывают в жизни минуты, когда события, подобно ткацким челнокам-самолетам, снуют перед нами взад и вперед, неудержимо завершая ту ткань, которой в той или иной степени сами мы заложили и укрепили основу.

— Друг мой! Возлюбленный! — промолвила Тереза, прерывая молчание и беря его за руку. — Нам надо в эту минуту крепко держаться друг друга, как, без сомнения, еще не раз придется в подобных случаях. Такие события в жизни нужно переносить вдвоем. Подумай, друг мой, почувствуй, что ты не одинок, докажи, что ты любишь свою Терезу, для начала приобщи ее своему горю.

Она обняла его и нежно привлекла к себе на грудь; он крепко стиснул ее в объятиях.

— Бедная девочка в тяжелые минуты искала защиты и прибежища у моего непостоянного сердца, — воскликнул Вильгельм. — Так пусть

же постоянство твоего сердца будет мне поддержкой в этот страшный час.

Они сидели, крепко обнявшись, он чувствовал, как у его груди бьется ее сердце, но на душе у него было пусто и мертво; лишь образы Миньоны и Наталии, точно тени, витали перед его мысленным взором.

Вошла Наталия.

— Благослови и соедини нас в эту скорбную минуту! — воскликнула Тереза.

Вильгельм спрятал лицо на плече Терезы. На свое счастье, он мог плакать. Он не слышал, как вошла Наталия, не видел ее, лишь при звуке ее голоса слезы сильнее полились у него из глаз.

— Я не стану разобщать то, что связал господь, — с улыбкой промолвила Наталия, — но и соединить вас я не могу, как не могу назвать похвальным, что горе и взаимное влечение, как видно, совсем вытеснили из ваших сердец память о моем брате.

При этих словах Вильгельм вырвался из объятий Терезы.

— Куда вы? — в один голос воскликнули обе женщины.

— Я хочу видеть убитое мною дитя! — выкрикнул он. — Зрелище несчастья менее мучительно, чем мысль о нем, которая впивается в душу. Пойдемте посмотрим на отлетевшего ангела. Ясный лик его покажет нам, что он умиротворен!

Будучи не в силах удержать потрясенного юношу, обе подруги поспешили следом, но добрый врач вышел им навстречу вместе с хирургом и, не позволив приблизиться к опочившей, сказал:

— Воздержитесь от этого горестного созерцания и дозвольте мне в меру моего искусства продлить век останкам Этого удивительного существа. На этом дорогом нам создании я хочу немедленно применить прекрасное искусство не только бальзамировать тело, но и придать ему видимость жизни. Предвидя ее кончину, я все подготовил и надеюсь преуспеть при содействии моего помощника. Дайте мне несколько дней срока и не пытайтесь вновь увидеть милое дитя, доколе мы не перенесем его в Залу Прошедшего.

В руках у молодого хирурга была та же диковинная сумка с инструментами.

— От кого она досталась ему? — спросил Вильгельм у врача.

— Мне она хорошо знакома, — вставила Наталия. — Он получил ее от своего отца, который перевязывал вас тогда, в лесу.

— Так, значит, я не ошибся, — вскричав Вильгельм, — я сразу же признал ленту! Уступите мне ее! Она первая навела меня на след моей благодетельницы. Сколько радостей и горестей перевидал такой вот неодоушевленный предмет. Скольким страданиям была свидетельницей эта лента, а нити ее все еще крепки. Скольких людей провожала она в последний путь, а краски ее еще не поблекли. Она причастна к прекраснейшим мгновениям моей жизни, когда я, израненный, лежал на земле и ваш сердобольный образ явился передо мной, а девочка с окровавленными волосами была полна нежнейшей заботы о моей жизни, мы же оплакиваем ныне ее безвременную смерть.

Друзьям не дали времени поговорить об этих печальных событиях и рассказать фрейлейн Терезе о бедной девочке и вероятной причине ее внезапной смерти, — лакей доложил о приезде посторонних лиц, которые на поверку оказались отнюдь не посторонними.

В комнату вошли Лотарио, Ярно и аббат.

Наталия поспешила навстречу брату; остальные мгновенно смолкли.

Тереза с улыбкой обратилась к Лотарио:

— Вряд ли вы ожидали увидеть меня здесь. Как бы то ни было, нам не стоило встречаться в такую минуту, тем не менее я от души говорю вам — добро пожаловать после столь долгой разлуки.

Протянув ей руку, Лотарио ответил:

— Раз уж нам судьба страдать и отказаться от счастья, пусть хоть это будет в присутствии того, кто нам всего желанней и дороже. Я не смею воздействовать на ваш выбор, а мое мнение о вашем сердце, вашем разуме и здравом смысле по-прежнему настолько высоко, что я охотно верю вам судьбу мою и моего друга.

Разговор тотчас же перешел на общие, можно сказать, даже незначительные предметы. Вскоре общество собралось совершить прогулку, разбившись на пары. Наталия пошла с Лотарио, Тереза с аббатом, а Вильгельм остался в замке с Ярно.

Появление трех приятелей в ту минуту, когда тяжкое горе легло на сердце Вильгельма, вместо того чтобы его рассеять, только вызвало в нем раздражение и усугубило гнетущее состояние его духа; он был полон досады и недоверия и не мог, не желая это скрыть, когда Ярно спросил у него, почему он так угрюмо молчалив.

— Мудрено ли? — возмутился Вильгельм, — Лотарио является сюда со своими приспешниками, и трудно поверить, чтобы таинственные силы башни, и без того столь неумные, не воздействовали на нас именно теперь для достижения через наше посредство невесть какой непонятной цели, связанной с нами же: насколько я успел узнать этих благочестивых мужей, они неизменно питают похвальное намерение разъединять связанное и связывать разъединенное. Что за хитросплетения получаются из этого, навеки остается загадкой для нашего нечестивого взора.

— Вы язвительны с досады, это неплохо, — заметил Ярно, — когда вы окончательно выйдете из себя, будет еще лучше.

— Этого ждать недолго, — заявил Вильгельм, — боюсь, что природное и привитое мне терпение на сей раз решено раздражить до крайности.

— Покуда станет ясно, к чему приведут наши замыслы, мне, пожалуй, не мешает рассказать вам кое-что о башне, которая, как видно, внушает вам большое недоверие, — сказал Ярно.

— Дело ваше, — ответил Вильгельм, — если вы думаете отвлечь меня этим, но душа моя полна стольких забот, что навряд ли мне удастся уделить должное внимание сим назидательным историям.

— Ваше приятное расположение духа не отпугнет меня от намерения просветить вас на этот предмет. Вы считаете, что я малый смывленный, мне же хочется быть в ваших глазах и честным малым, а главное, на сей раз я только исполняю поручение.

— Лучше бы вы по собственному почину и по доброй воле решили меня просветить, — заявил Вильгельм. — И раз я не могу слушать вас без недоверия, зачем мне вообще выслушивать вас?

— Коль скоро у меня сейчас нет дела важнее, нежели тешить вас сказками, так и у вас, надо думать, найдется время приклонить к ним слух; чтобы вы слушали внимательнее, скажу вам сразу: все виденное вами в башне, собственно, лишь наследие юношеского увлечения, которое поначалу почти всем посвященным внушало самые уважительные чувства, а ныне обычно вызывает лишь усмешку.

— Значит, этими высокими символами и словами попросту играют, — вскричал Вильгельм, — нас торжественно вводят в помещение, вселяющее благоговейный трепет, поражают нас загадочными видениями, вручают нам свитки с премудрыми, замысловатыми изречениями, в которых мы, правда, мало что можем уразуметь, сообщают нам, что доселе мы были только учениками, выдают нам аттестат, хотя мы не стали ни на волос умнее...

— Пергамент при вас? — спросил Ярно. — Он содержит много ценного, ибо те изречения общего характера взяты не с потолка; конечно, они представляются пустыми и темными тому, кто не может связать их с личным опытом. Дайте же мне так называемое Наставление, ежели оно у вас недалеко.

— Еще бы, совсем близко, — отвечал Вильгельм, — такой талисман надо постоянно носить на груди.

— Ну, кто знает, не придет ли время, когда для его содержания найдется место у вас в сердце и в голове, — с улыбкой заметил Ярно.

Ярно заглянул в свиток и пробежал глазами первую его половину.

— Здесь речь идет о развитии художественного вкуса, Это пускай обсуждают другие; во второй части говорится о жизни, и тут я более сведущ.

Он начал читать отдельные места, перемежая их соответствующими замечаниями и рассказами.

— Склонность молодежи к тайне, к торжественным действиям и к громким словам чрезвычайно велика и нередко служит признаком незаурядной натуры. В эти годы человека, хоть смутно и неясно, тянет к чему-то, что затронуло и потрясло бы все его существо. Юноша, предчувствуя многое, думает много обрести, познав тайну, и, много вкладывая в тайну, считает, что действовать нужно через тайну. Такое умонастроение аббат поддерживал в одном молодом обществе, частью исходя из своих принципов, частью по склонности и привычке, ибо в свое время был связан с неким обществом, которое многое вершило втайне. Мне такой образ действий был не по душе. Я был старше других, смолоду смотрел окрест ясным взглядом и во всем добивался ясности; превыше всего желал я познать мир, каков он есть, и заразил Этой страстью лучших из своих собратьев, так что все наше образование чуть было не пошло по неверному пути — мы подмечали теперь только пороки и ограниченность ближних, а себя мнили безупречными созданиями. Аббат пришел нам па помощь, объяснив, что не следует наблюдать людей, ие думая об их развитии. Да и самих себя мы, пожалуй, способны наблюдать и познавать только лишь в деятельности. Он советовал нам сохранить первоначальные формы нашего Общества, вследствие чего в наших собраниях оставались теперь следы прежнего устава, первоначальные мистические веяния сказывались на структуре целого, в дальнейшем символически уподобившегося ремеслу, которое возвысилось до искусства. Отсюда и появились названия учеников, подмастерьев и мастеров. Мы желали смотреть на все своими глазами и создать собственный архив познания мира; отсюда возникли многочисленные исповеди, которые мы частично писали сами, частично побуждали писать других, из чего затем составлялись «Годы учения». Отнюдь не все люди пекутся о своем развитии; многим требуется лишь своего рода домашнее средство для укрепления здоровья, рецепты, как достичь богатства и всяческого благополучия. Всех, кто не научился мыслить самостоятельно, мы либо дурачили разными мистификациями и фокусами, либо попросту отстраняли. Лишь тех напутствовали мы на свой лад, кто живо чувствовал и ясно сознавал, к чему он рожден, и кто достаточно был искушен, чтобы легко и радостно идти своей дорогой.

— Значит, со мной вы зря поторопились, — заметил Вильгельм, — именно с той минуты мне уже совсем непонятно, что я могу, чего хочу и в чем мой долг!

— Мы неповинны в этом замешательстве, дай бог, чтобы счастливый случай помог нам выйти из него; а пока слушайте: «Тот, в ком многое еще надо развивать, с опозданием познает себя и мир. Мало таких, что богаты умом и способны к действию. Ум расширяет кругозор человека, но парализует волю, действие животворит, но ограничивает».

— Прошу вас, перестаньте читать эти загадочные речения, — перебил Вильгельм. — Они и без того уже совсем запутали меня.

— Тогда я ограничусь рассказом, — согласился Ярно, наполовину скатав свиток и лишь время от времени заглядывая в него. — Лично я меньше всего принес пользы и обществу и людям; я очень плохой учитель, мне не вмоготу смотреть на чьи-то беспомощные попытки, я



непреренно окликну заблудшего, будь он даже лунатик, и тем поставлю его под угрозу тут же сломать шею. В этом вопросе я никак не мог поладить с аббатом; он утверждает, что от ошибок можно излечиться, только ошибаясь. По поводу вас мы тоже часто спорили: вы очень полюбились ему, а привлечь его особое внимание — дело непростое. Вы должны признать, что, где бы мы с вами ни встречались, я всегда говорил вам чистую правду.

— Вы не слишком меня щадите, — ответил Вильгельм, — и, как видно, остались верны своим принципам.

— Что же тут щадить, если разносторонне одаренный молодой человек явно идет по неверному пути? — возразил Ярно.

— Простите, но вы слишком уж сурово отказали мне в каких бы то ни было актерских способностях, — сказал Вильгельм, — однако сознаюсь вам, хоть я и окончательно поставил крест на театре, про себя мне невозможно признать свою полную бездарность.

— А я про себя вывел такое заключение, — подхватил Ярно, — кто умеет играть лишь самого себя, тот не актер. Кто и внутренне и внешне не может перевоплощаться во множество образов, не заслуживает этого звания. Вы, к призеру, превосходно сыграли Гамлета и еще несколько ролей, где ваша натура, ваш облик и настроение минуты благоприятствовали вам. Этого было бы, на худой конец, достаточно для любительского театра и для каждого актера, который не видит для себя иного пути. «Следует опасаться такого таланта, в котором не имеешь надежды достичь совершенства, — продолжал Ярно, заглянув в свиток. — Сколько пи старайся, но в конце концов, полностью осознав все значение мастерства, горько пожалеешь о времени и силах, загубленных на жалкие потуги».

— Бога ради, не читайте! — взмолился Вильгельм. — Говорите, рассказывайте, вразумляйте меня! Значит\* аббат помог мне сыграть Гамлета, прислав актера на роль призрака?

— Да, он утверждал, что это единственный способ излечить вас, ежели вы излечимы.

— И потому оставил мне покрывало и заклинал меня бежать?

— Да, он даже надеялся, что представлением «Гамлета» исчерпается весь ваш пыл. После этого вы не пожелаете переступить порог театра — утверждал он; я полагал противное и оказался прав. Мы поспорили с ним в самый вечер представления.

— Вы видели мою игру?

— Ну, разумеется!

— А кто же исполнял роль призрака?

— Этого я не знаю доподлинно, не то сам аббат, не то его брат-близнец, скорее всего последний, он повыше ростом.

— Значит, у вас друг от друга тоже есть тайны?

— У друзей могут и должны быть тайны друг от друга, но один для другого они не составляют тайны.

— У меня полный разброд в мыслях от одного только воспоминания об этой неразберихе. Скажите, что же представляет собой человек, коему я стольким обязан и могу предъявить столько упреков?

— Вот за что мы так ценим его и что дало ему некую власть над всеми нами, — начал Ярно, — за независимый и зоркий взгляд, дарованный ему природой, которым он улавливает все силы, присущие человеку и способные развиваться каждая по-своему. Люди, даже самые лучшие, всегда ограничены; каждый ценит в себе и в другом лишь определенные качества, и лишь их поощряет, и лишь их развитию способствует. Аббат действует прямо противоположным образом, все его интересует, все радуется, все он желает понять, всему помочь.

Но тут мне надо снова заглянуть в свиток! — вставил Ярно. — «Только вся совокупность людей составляет человечество, только все силы, взятые вместе, составляют мир. Между собой они часто приходят в столкновение и стремятся уничтожить друг друга, но природа связывает их и воссоздает снова. От неосмысленной животной тяги к ремеслу до высшего проявления одухотворенного искусства, от лепета и радостных возгласов ребенка до великолепного мастерства певца и оратора, от мальчишеских драк до чудовищных средств обороны и захвата государств, от мелкого благоволения и мимолетной влюбленности до пылкой страсти и крепчайших уз, от простейшего ощущения чувственного бытия до тончайшего предчувствия и чаяния духовного существования в отдаленном будущем, — все это и еще немало другого заложено в человеке и ждет своего совершенствования, но не в одном, а и во многих. Каждый задаток важен и требует развития. Если кто-то способствует только прекрасному, а другой — только полезному, они лишь вместе составят человека. Полезное помогает само себе, ибо оно зарождается в гуще народа и никто без него не обходится, прекрасное же требует помощи, ибо немногие творят его, а нуждаются в нем многие».

— Перестаньте! — вскричал Вильгельм. — Я все это уже читал.

— Еще несколько строк, — возразил Ярно, — в них сказывается весь аббат: «Одна сила господствует над другой, но ни одна из них не может создать другую; в каждом задатке заложена только своя сила совершенствования, а понимают это очень немногие из тех людей, что берутся учить и действовать».

— Я тоже этого не понимаю, — признался Вильгельм.

— Обо всем здесь изложенном вы еще не раз услышите от аббата. Итак, постараемся всегда ясно видеть и запоминать, чем мы одарены и что можем в себе развить; постараемся быть справедливыми к людям, ибо мы заслуживаем уважения лишь в той мере, в какой сами способны отдавать должное другим.

— Бога ради, довольно сентенций! Я чувствую по себе — это негодное лекарство для раненого сердца. Лучше скажите мне со всей своей жестокой откровенностью, чего вы от меня ждете и как, каким образом хотите пожертвовать мною?

— Смею вас уверить, что впредь вам придется избавить нас от всяческих подозрений. Ваше дело — обдумывать и выбирать, а наше — быть вам в помощь. Человек не может быть счастлив, доколе его неограниченные стремления сами не поставят себе предела. Опирайтесь не на меня, а на аббата; думайте не о себе, а о том, что вас окружает. Так, например, научитесь видеть превосходные качества Лотарио, видеть, сколь нераздельны между собой его воззрения и труды, сколь упорно он идет вперед, расширяя поле своей деятельности и каждого увлекая за собой. Где бы он ни был, всюду с ним входит целый мир, его присутствие воодушевляет и живит. А взгляните на нашего почтенного лекаря. Это натура прямо противоположная. Если Лотарио своей деятельностью охватывает целое и дальше, то доктор обращает свой пронизывающий взор лишь на ближайшие предметы, он скорее способствует деятельности, нежели действует сам; его следует уподобить хорошему хозяину, чьи труды незаметны и кто радуется об одном: чтобы каждый действовал исправно в кругу своих обязанностей. Его знание — это постоянное накопление и расходование. Он получает и раздает по мелочам. Лотарио мог бы, пожалуй, в один день разрушить все, над чем тот трудился годами, но Лотарио также способен, пожалуй, за один день наделить других достаточной силой, чтобы стократно восстановить разрушенное.

— Невеселое занятие думать об очевидных чужих преимуществах в ту минуту, когда никак не поладишь сам с собой, — заметил Вильгельм, — такие размышления подходят человеку спокойному, а не тому, кто обуреваем страстью и сомнениями.

— Спокойно и разумно размышлять нехудо в любое время, и, привыкая думать о чужих преимуществах, мы неприметно ставим на должное место собственные преимущества и тем самым без труда отказываемся от неподходящей нам деятельности, к которой влечет нас фантазия. Постарайтесь очистить душу от всяческих подозрений и опасений! Вот идет аббат, будьте приветливы с ним; скоро вы узнаете, сколь многим еще обязаны ему. Эдакий хитрец! Глядите, как он выступает между Наталией и Терезой; бьюсь об заклад, у него наготове какой-то хитроумный замысел. Он охотно играет роль провидения и любит при случае устраивать свадьбы.

Мудрые и добрые речи Ярно не могли смягчить возбужденно-раздраженное состояние Вильгельма, который счел весьма нетактичным и несвоевременным намек приятеля на такого рода обстоятельства, и хотя с улыбкой, но не без досады ответил:

— Лучше бы любитель устраивать свадьбы предоставил Это дело самим любящим,

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Все общество сошлось снова, и наши приятели были вынуждены прервать разговор. Вскоре доложили о курьере, желавшем вручить письмо в собственные руки Лотарио; его ввели; это был мужчина крепкий и ловкий на вид, одетый в богатую и красивую ливрею. Вильгельм подумал, что видел его раньше, и не ошибся, — этого самого человека он когда — то посылал вдогонку Филине и мнимой Марнани, но тот так и не воротился. Только было Вильгельм собрался с ним заговорить, как Лотарио, прочитав письмо, строго и даже сердито спросил:

— Как звать твоего господина?

— На этот вопрос я никак не могу ответить, — почтительно произнес курьер, — смею надеяться, в письме сказано все, что потребно; устно мне ничего не велено передавать.

— Допустим, — улыбаясь, заметил Лотарио, — и раз твой господин не побоялся прислать мне такое дурашливое письмо — что ж, прошу его пожаловать.

— Он не преминет прибыть, — с поклоном заявил курьер и удалился.

•- Выслушайте это бестолковое и глупое послание, — указал Лотарио. «Поелику из всех гостей, — пишет незнакомец, — дух веселья — гость наимприятнейший, а поелику при мне он состоит постоянным попутчиком, то для меня нет сомнения, что визит, который я намерен нанести вашей милости, не будет принят неблагоприятно. Напротив того, я лелею надежду доставить полное удовольствие всему сиятельному семейству, а засим вновь удалиться, с чем имею быть, и прочее и прочее, граф Улитконог».

— Фамилия незнакомая, — заметил аббат.

— Возможно, это какой-то викариатный граф,[76]- предположил Ярно.

— Разгадка проста, — вставила Наталия, — готова поспорить, это братец Фридрих; после смерти дядюшки он все грозитя навещать нас.

— Угадала, прекрасная и мудрая сестричка, — послышался голос, и в ту же минуту из ближних кустов появился резвый юнец приятной наружности.

Вильгельм так и ахнул.

— Как! — вскричал он. — Наш белокурый плутишка и здесь настиг меня?

Фридрих насторожился, взглянул на Вильгельма и воскликнул в свой черед:

— Право же, я не так бы удивился, если бы знаменитые пирамиды, что столь прочно стоят на земле Египта, или гробница царя Мавзола,[77] которой, по слухам, больше не существует, вдруг очутились бы здесь, в дядюшкином саду, вместо вас, моего старинного друга и многократного благодетеля. Вас я приветствую с особой почтительностью и сердечностью.

Поздоровавшись и перечеловавшись со всеми подряд, он вновь кинулся к Вильгельму, восклицая:

— Смотрите мне, держите в холе этого героя, этого полководца и театрального философа. При первом нашем Знакомстве я прескверно причесал его, сознаюсь честно, орудя железным гребнем, а он потом уберег меня от свирепой порки. Он великодушен, как Сципион, щедр, как Александр; случается, бывает влюблен, но не питает ненависти к соперникам. Он не только благотворил своим врагам, а это считается самой плохой услугой, какую лишь можно придумать, — нет, приятелям, увозящим его возлюбленную, он посылает вслед хороших и верных слуг, дабы не преткнулись они пятой о камень.

В таком роде он молол без остановки, и никто не мог бы пресечь его болтовню, отвечать ему в тон тоже никто не был способен, а потому говорил почти что он один.

— Не удивляйтесь моей необычайной начитанности в творениях духовных и светских сочинителей, скоро вы узнаете, как я постиг всю эту премудрость.

Его пытались расспросить, как он живет, откуда явился; но он так увлекся назидательными изречениями, стародавними сказаниями, что не спешил с вразумительным ответом.

Наталия шепнула Терезе:

— От его балагурства у меня сжимается сердце; готова поклясться, что ему самому совсем не весело.

Не встречая, кроме отдельных ответных шуток Ярно, подобающего отклика своему паясничанью, Фридрих заявил:

— В таком серьезном семействе мне ничего не остается, как посерьезнеть самому, а ввиду того, что при столь затруднительных обстоятельствах бремя моих грехов тяжким гнетом ложится мне на душу, я немедля готов в оных покаяться по совокупности, однако вы, милостивые мои государи и государыни, из сего ни единого слова не узнаете. Исповедь мою услышит один лишь этот вот благородный мой друг, более или менее осведомленный о перипетиях моей жизни, тем паче что он один имеет некоторое право на спрос. Неужто вам не любопытно узнать, как и где? Кто? Когда и почему? — обратился он к Вильгельму. — Как обстоит дело со спряжением греческого глагола *phileo*, *philo*[78] и с производными этого прельстительнейшего из глаголов.

С тем он схватил Вильгельма под руку и повлек за собой, обнимая и целуя его на все лады.

Едва придя в комнату Вильгельма, Фридрих обнаружил на подоконнике ножичек с надписью «Помни обо мне».

— Хорошо же вы сберегаете свои сокровища, — заметил он. — Ведь это ножик Филины, который она подарила вам в тот день, когда я так драл вам волосы. Надеюсь, беря его в руки, вы прилежно поминали нашу красавицу, и смею вас заверить, она тоже вас не забыла, и, не вытрави я давно уже из сердца малейший след ревности, меня брала бы зависть при виде вас.

— Не упоминайте больше эту тварь! — отрезал Вильгельм. — Не скрою, я долго не мог избавиться от воспоминания о приятностях ее общества, только и всего.

— Фу! Постыдитесь! — вскричал Фридрих. — Можно ли отрекаться от возлюбленной, а ваша любовь была столь полновластна, что лучше и не пожелаешь. Дня не проходило, чтобы вы не делали ей подарка, а уж если немец дарит, значит, любит. Мне ничего не оставалось, как утащить ее у вас, и красному офицеру это в конце концов удалось.

— Вы были тот офицер, которого мы застали у Филины и с кем она уехала?

— Тот самый, кого вы приняли за Мариану. Мы немало смеялись этой ошибке, — ответил Фридрих.

— Какая жестокость оставить меня при таких подозрениях! — воскликнул Вильгельм.

— И вдобавок тут же взять в услужение курьера, которого вы послали догнать нас, — подхватил Фридрих, — он дельный малый и все это время неотступно находился при нас. А Филину я по-прежнему люблю до безумия. Она меня совершенно околдовала, так что я, можно сказать, уподобился мифологическим персонажам и каждый день боюсь превращения.

— Объясните мне одно — откуда у вас такая обширная ученость? — спросил Вильгельм. — Я не могу надивиться усвоенной вами странной привычке то и дело ссылаться на старинные легенды и сказания.

— Учился я и стал не на шутку учен самым веселым манером, — сказал Фридрих. — Филина ныне со мной, мы сняли у арендатора старинный замок в дворянском поместье, где и ведем превеселую жизнь шаловливых кобальдов. Там мы нашли библиотеку малого объема, но отменного содержания, куда входит Библия *in folio*, [79] хроника Готфрида, два тома «*Theatrum Europaeum*», «*Acerra philologica*» [80], Грифиусовы [81] творения и еще несколько менее фундаментальных трудов. Перебесившись, мы стали временами скучать, взялись за чтение, но не успели оглянуться, как заскучали еще пуще. Наконец Филину осенила блестящая идея разложить все книги на большом столе; усевшись друг против друга, мы стали попеременно читать друг другу только отдельные места из разных книг. Вот это было веселье! Мы будто попали в настоящее хорошее общество, где считается неприличным подолгу задерживаться на одном предмете беседы или чересчур углубляться в него; мы будто очутились в очень оживленном обществе, где один перебивает другого. Так мы развлекаемся регулярно каждый день и мало-помалу становимся до того учены, что сами себе дивимся. Для нас уже нет ничего нового под солнцем, наша премудрость ко всему способна подобрать примеры. Мы всячески разнообразим свою методу обучения. Иногда мы читаем по старым неисправным песочным часам, где песок высыпается в несколько минут. Быстро переворачивает их второй чтец и начинает новую книгу, а едва песок очутится в нижней склянке, как другой принимается бубнить свое, так мы и обучаемся на самый что ни на есть академический лад, с той разницей, что часы занятий у нас короче, а предмет их куда разнообразней.

— Такое ребячество мне вполне знакомо, особенно когда сойдется столяр и гравировщик, — сказал Вильгельм, — но чтобы эта ветреная парочка так долго была неразлучна — вот чего я никак не могу понять.

— В этом-то все наше счастье и несчастье, — вскричал Фридрих. — Филина не может показываться на люди, да и сама на себя глядеть не может — она в положении. Смешней и уродливей ее никого на свете не сыщешь. Незадолго до моего отъезда она невзначай подошла к зеркалу. «Тьфу ты, черт! — воскликнула она, отворачиваясь. — Вылитая госпожа Мелина! Гаже некуда! Вот уж мерзкая образина!»

— Должен сознаться, что вы оба вместе в качестве отца и матери должны представлять довольно комическое зрелище, — улыбаясь, промолвил Вильгельм.

— Мне как-то уж очень глупо оказаться отцом, — изрек Фридрих. — Она это утверждает, да и по времени как будто сходится. Поначалу меня сильно смущал пресловутый визит, который она нанесла вам после «Гамлета»...

— Какой визит?

— Неужто вы окончательно проспали воспоминание о нем? Обольстительным и осязаемым призраком той ночи, коли вам это еще неизвестно, была Филина. Конечно, эта история для меня не слишком сладкое приданое, но кто не хочет мириться с такими делами, тому нельзя и любить. Отцовство вообще основывается только на убеждении; я убежден, значит — я отец. Как видите, я умею, где надобно, пользоваться логикой. И ежели ребенок, едва появившись на свет, не умрет со смеху, из него выйдет пускай не полезный, зато приятный гражданин мира.

Пока приятели весело болтали о легкомысленных предметах, остальное общество завело серьезный разговор. Не успели Фридрих и Вильгельм удалиться, как аббат, будто невзначай, увел друзей в садовый павильон и, когда все расселись, начал свой доклад.

— Ранее мы кратко заявили, что фрейлейн Тереза не дочь своей матери, — сказал он, — ныне же приспела необходимость объясниться подробно. Вот та история, которую я обяжусь затем всесторонне доказать и подтвердить.

Первые годы своего супружества госпожа фон \*\* прожила с мужем в добром согласии; одно лишь удручало супругов: всякий раз, как появлялась надежда на потомство, дети рождались мертвыми; при третьих родах врачи даже пророчили матери смерть, решительно заявив, что четвертых она не переживет. Поневоле пришлось искать какой-то выход; расторгнуть брачный союз они не желали, ибо с точки зрения общепринятых понятий все у них было ладно. Госпожа фон \*\* стала искать возмещения материнского счастья, которого была лишена, поощряя свои таланты, блистая в свете и теща свое тщеславие. Она спокойно относилась к увлечению мужа особой, которая ведала их хозяйством и обладала красивой наружностью, а также положительным нравом. Госпожа фон \*\* не замедлила поспособствовать тому, что славная девушка отдалась отцу Терезы, продолжая вести хозяйство и, пожалуй, больше прежнего показывая хозяйке дома услужливость и почтительность.

Некоторое время спустя она забеременела, что навело обоих супругов на одинаковые мысли, хоть и по совершенно разным побуждениям. Господин фон \*\* желал по закону признать своим дитя своей возлюбленной, а госпожа фон \*\*, досадуя, что по нескромности врача состояние ее здоровья было разглашено среди соседей, рассчитывала через подставного младенца рассеять унижительные толки и своей уступчивостью сохранить главенство в доме, которое, в силу обстоятельств, боялась утратить. Она была более скрытной, нежели ее супруг, и, угадав, о чем он мечтает, не опередила его, но облегчила ему признание. Поставив свои условия, она добилась почти всего, чего требовала; так возникло завещание, где почти не было проявлено заботы о ребенке; старик врач успел умереть, взамен его был приглашен другой — человек молодой, деятельный и сметливый. Его щедро наградили, и он даже мог поставить себе в заслугу старание оспорить и исправить неуместный, поспешный диагноз покойного коллеги. Настоящая мать отнюдь не противилась, все на славу разыграли комедию: Тереза появилась на свет, была признана дочерью своей мачехи, меж тем как настоящая мать пала жертвой подтасовки — она слишком рано поднялась с постели и умерла, оставив неутешным своего почтенного друга.

А госпожа фон \*\* вполне достигла своей цели — она имела в глазах света премилое дитя, которым кичилась сверх меры, а заодно была избавлена от соперницы, чье положение все же внушало ей зависть и чьего влияния, по меньшей мере в будущем, она втайне опасалась; она осыпала ребенка нежностями, а в интимные минуты умела так расположить к себе супруга живейшим участием к его утрате, что он, можно сказать, всецело, подчинился ей, отдал в ее руки судьбу свою и своего ребенка и лишь незадолго до кончины, и то главным образом через посредство подросшей дочери, стал снова хозяином дома. Вот, прекрасная Тереза, какова тайна, которую отец ваш, заболев, должно быть, жаждал вам открыть. Я же хотел обстоятельно изложить вам все это, пользуясь отсутствием среди нас молодого человека, который, в силу удивительнейшего стечения обстоятельств, стал вашим женихом. Вот бумаги, неопровержимо доказывающие правоту моих слов. Из них вы узнаете также, что я уже давно напал на след этого открытия и лишь теперь мог добиться полной уверенности, а другу моему не смел даже намекнуть на возможность счастья, ибо ему слишком тяжело было бы перенести вторичную утрату надежды. Поймете вы и раздражение Лидии: признаюсь откровенно, я отнюдь не поощрял склонности нашего друга к этой милой девице с тех пор, как вновь мог помышлять о его союзе с Терезой.

Выслушав этот рассказ, никто не промолвил ни слова. Спустя несколько дней женщины возвратили бумаги и более о них не упоминали.

В доме и без того было достаточно способов занять общество, когда все собирались вместе; да и окружающая местность была достаточно привлекательна, чтобы обзоревать ее то поодиночке, то в компании, пешком ли, верхом ли или в коляске. При одном из таких случаев Ярно выполнил взятое на себя поручение, показал Вильгельму бумаги, но прямо не потребовал от него никакого решения.

— В тех крайне сложных обстоятельствах, в какие я попал, — заявил Вильгельм, — мне остается лишь повторить вам то, что я сразу же и, конечно, от чистого сердца сказал в присутствии Наталии: Лотарио и его друзья вправе потребовать от меня любых жертв, следовательно, я отдаю в ваши руки свои притязания на Терезу, а вы взамен сделаете так, чтобы я получил отставку по всей форме. О, друг мой, чтобы решиться, мне не о чем долго думать, за эти дни я успел почувствовать, что Терезе трудно проявлять хотя бы проблеск той горячности, с какой она сперва встретила меня здесь. Я лишился ее благоволения или, вернее, никогда не пользовался им.

— Столь запутанные случаи надо разрешать без спешки, молча и терпеливо, — заметил Ярно, — а многословие только порождает неловкость и смущение.

— На мой взгляд, именно в этом случае возможно самое спокойное и прямое решение, — возразил Вильгельм. — Меня частенько упрекали за то, что я не в меру склонен к сомнениям и колебаниям; почему же ныне, когда я полон решимости, против меня грешат тем же, что прежде вменяли мне в вину? Уж не потому ли мир так усердно нас воспитывает, чтобы мы почувствовали, сколь мало сам он поддается воспитанию? Так порауйте меня поскорее, помогите найти выход из щекотливого положения, в которое я угодил с самыми благими намерениями.

Невзирая на его просьбу, он несколько дней ничего не слышал об этом деле, не замечал новых перемен в своих друзьях; разговоры обычно касались общих и безразличных предметов.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Однажды, когда Наталия, Ярно и Вильгельм сидели втроем, Наталия обратилась к Ярно:

— Вы чем-то озабочены — я уже который день это замечаю.

— Я и вправду озабочен, — отвечал ей друг. — Мне предстоит важное дело, оно давно готовилось нами, а теперь нужно без отлагательств приступить к нему. Вы в основном осведомлены об этом деле, а при нашем друге я, конечно, могу говорить открыто, ибо он сам волен принять в нем участие или нет. Меня вы уже недолго будете видеть — я намереваюсь плыть в Америку.[82]

— В Америку? — с улыбкой переспросил Вильгельм. — Я не считал, что вы способны на такую авантюру, а тем паче, что вы пожелаете взять меня в спутники!

— Когда вы вполне познакомитесь с нашим замыслом, вы будете отзываться о нем менее пренебрежительно, и, может статься, он увлечет и вас. Выслушайте меня! Надо хоть мало-мальски быть осведомленным в делах политических, дабы приметить, что нас ждут большие перемены: собственность почти нигде не надежна.

— Я не составил себе ясного понятия о делах политических, — вставил Вильгельм, — а недавно всерьез занялся своей собственностью. Пожалуй, мне следовало бы подольше не думать о ней, ибо, как видно, заботы об ее сохранности настраивают человека на ипохондрический лад.

— Дослушайте меня до конца! — потребовал Ярно. — Заботы пристали пожилым, дабы молодежь некоторый срок могла жить беспечно. Равновесие в человеческих делах устанавливается, увы, лишь посредством контрастов. По нынешним временам никак не рекомендуется иметь владения только лишь в одном месте, одним людям доверять свои деньги, а с другой стороны — трудно будет повсеместно надзирать за ними; по этой причине мы нашли иной выход: паша старая башня положит начало компании, которая распространится по всем частям света, и вступить в нее могут представители любой части света. Мы боимся существования друг друга на тот случай, ежели революция в какой-нибудь стране лишит кого-либо из нас его владений. С этой целью я и направляюсь в Америку, дабы воспользоваться добрыми отношениями, кои завязал там наш друг. Аббат собирается поехать в Россию. А вам, коли вы согласны примкнуть к нашему Обществу, предоставляется выбор либо помогать Лотарию в Германии, либо отправиться со мной. Я полагаю, вам следует выбрать второе, ибо совершить большое путешествие весьма полезно для молодого человека.

Вильгельм собрался с духом и ответил:

— Подобное предложение стоит всемерно обдумать, ибо моим девизом вскоре будет: чем дальше прочь, тем лучше. Надеюсь, вы подробнее познакомите меня со своим проектом. Быть может, тому виной мое незнание света, но мне кажется, такой союз встретит непреодолимые трудности.

— Трудности в большинстве своем облегчаются тем, что доселе еще нас мало, людей честных, разумных и решительных, связанных неким общим духом, из коего только и может вырасти дух общественный, — ответил Ярно.

Фридрих все время молча слушал, а теперь подал голос:

— Ежели вы меня попросите по-хорошему, я тоже примкну к вам.

Ярно покачал головой.

— Что, собственно, вы имеете против меня? — не сдавался Фридрих. — В новой колонии потребуются молодые колонисты, а их я приведу с собой, и притом превеселых, смею вас уверить. Кроме того, я знаю славную молодую девицу, которая здесь больше не к месту, — милую, прелестную Лидию. Куда бедной крошке деваться со своим горем и злосчастьем, коли ей не удастся бросить их в пучину вод и коли хороший человек не пожалеет ее? Я думаю, что вы, друг моей юности, привыкнув утешать покинутых, решитесь я на этот шаг; каждый возьмет под руки свою красотку, и мы последуем за старым приятелем.

Это предложение разозлило Вильгельма. Он ответил с напускным спокойствием:

— Я даже и не знаю, свободна ли она. И будучи вообще незадачлив в сватовстве, я не собираюсь делать новую попытку.

— Братец Фридрих, — вставила Наталия. — Сам поступая легкомысленно, ты склонен считать, что и другие разделяют твоё умонастроение. Друг наш достоин женского сердца, которое всецело принадлежало бы ему, а не билось бы подле него чуждыми ему воспоминаниями; только ради столь разумной и чистой натуры, как Тереза, можно присоветовать ему пойти на такой риск!

— Что там риск! — вскричал Фридрих. — В любви всё риск. В беседе ли или перед алтарем, с объятиями или с обручальными кольцами, под стрекот сверчка или под трубы и литавры — риск один, а решает все случай.

— Я всегда замечала, что наши принципы — лишь дополнение к нашему бытию, — заявила Наталия. — Мы куда как охотно облакаем свои недостатки в тогу обязательного закона. Смотри только, на какой путь увлечет тебя красotka, которая так неотразимо тебя пленила и привязала к себе.

— Она сама сейчас на очень хорошем пути, — ответил Фридрих, — на пути к святости. Правда, путь этот окольный, но тем он веселее и вернее; им прошла и Мария Магдалина, и бог весть сколько еще других! Кстати, сестрица, когда речь заходит о любви, тебе бы лучше помолчать. По-моему, ты выйдешь замуж не раньше, чем где-то будет недоставать невесты, и ты с присущим добросердечием поспешишь стать дополнением к чьему-то бытию. А пока что дай нам сторговаться с этим продавцом душ и договориться, каков будет состав путешественников.

— Вы опоздали со своими планами, — заявил Ярно, — » судьба Лидии обеспечена.

— Каким образом? — спросил Фридрих.

— Я сам сделал ей предложение, — отвечал Ярно.

— Ну, дружисще, и выкинули же вы шутку! — воскликнул Фридрих. — Ежели рассматривать ее как существительное, можно подобрать к ней разные прилагательные, а следственно, ежели рассматривать ее как подлежащее, можно подобрать к ней разные сказуемые.

— Признаться откровенно, — вставила Наталия, — опасное предприятие — завладеть девушкой, когда она доведена до отчаяния любовью к другому.

— Я на это отважился, — ответил Ярно, — при известных условиях она будет моей. И, верьте мне, в мире нет ничего ценнее сердца, способного на любовь и страсть. Неважно, любило ли оно, любит ли еще. Та любовь, которой любят другого, для меня, пожалуй, привлекательнее той, которой мог быть любим я сам. Я вижу силу и мощь прекрасного сердца, и себялюбие не омрачает мне чистоту созерцания.

— Вы уже говорили с Лидией в последние дни? — спросила Наталия.

Ярно кивнул, улыбнувшись. Наталия покачала головой и промолвила, вставая:

— Я, право, отказываюсь руководить вами. Но меня-то вы уж не проведете.

Она собралась удалиться, когда вошел аббат с письмом в руке и сказал, обращаясь к ней:

— Останьтесь! Я получил одно предложение, и ваш совет будет тут весьма кстати. Друг вашего покойного дядюшки, маркиз, которого мы ожидали с некоторых пор, прибудет, на этих днях. Он пишет мне, что оказался менее силен в немецком языке, чем полагал, а посему ему необходим компаньон, в совершенстве владеющий этим языком и наделенный рядом других познаний; намереваясь завязать по преимуществу научные, а не политические знакомства, он крайне нуждается в такого рода переводчике. Я не вижу никого более подходящего для этой роли, нежели наш молодой друг. Он знает язык, обладает обширными сведениями и сам почерпнет немалую пользу из поездки по Германии в таком хорошем обществе и при таких благоприятных обстоятельствах. Кто не знает своего отечества, у того нет мерил для чужих стран. Что вы скажете на это, друзья? Что скажете вы, Наталия?

Никто не нашел, что возразить против этого предложения. Ярно, как видно, не считал помехой даже свой план совместного путешествия в Америку, ибо все равно не собирался ехать немедленно. Наталия промолчала, а Фридрих привел много различных поговорок о пользе путешествий.

Вильгельм был в душе до того возмущен новым предложением, что едва мог скрыть свою досаду. Он с полной очевидностью усмотрел тут сговор возможно скорее избавиться от него, и, что всего обиднее, делалось это вполне открыто, без малейшего старания пощадить его. Вместе с тем подозрения, которые разбудила в нем Лидия, да и собственные впечатления наново ожили в его душе, а естественный тон, каким все было изложено устами Ярно, представился ему искусной игрой.

Он сдержался и ответил:

— Во всяком случае, это приглашение следует трезво продумать.

— Но здесь нужно быстро решиться, — заметил аббат.

— К этому я пока что не готов, — ответил Вильгельм. — Нам лучше дождаться гостя и посмотреть, подойдем ли мы с ним друг другу. Но главное мое условие должно быть оговорено заранее — я хочу повсюду возить с собой моего Феликса.

— Такое условие вряд ли будет принято, — возразил аббат.

— А я не вижу, почему кто бы то ни было имеет право диктовать мне условия! — воскликнул Вильгельм. — И почему я нуждаюсь в обществе какого-то итальянца, чтобы узнать свое отечество?

— Потому что молодому человеку всегда есть\* смысл состоять при ком-то, — промолвил аббат веско и внушительно.

Почувствовав, что далее он не в силах владеть собой, ибо только присутствие Наталии несколько умиротворяло его, Вильгельм проговорил торопливо:

— Прошу дать мне еще короткий срок на размышление, и смею надеяться, что вскоре станет очевидно, есть ли мне смысл и впредь состоять при ком-то или же сердце и ум безоговорочно повелевают мне вырваться из всяческих пут, грозящих навеки обречь меня на унизительное рабство.

Так говорил он в сильнейшем возбуждении. Только встретив взгляд Наталии, он несколько успокоился, ибо в эту критическую минуту ее прекрасный образ, ее нравственная высота с особой силой поразили его душу.

«Да, — мысленно твердил он, оставшись один, — сознайся, ты любишь ее и чувствуешь вновь, что значит любить всеми силами души. Так я любил Мариану и жестоко в ней ошибался; я любил Филину и поневоле ее презирал. Аврелию я уважал, но не мог ее полюбить; я чтит Терезу, и отеческая любовь приняла облик склонности к ней; а сейчас, когда в твоём сердце все чувствования соединились в единое чувство, долженствующее дать человеку счастье, сейчас ты вынужден бежать! Ах, почему от этого чувства, от этого убеждения неотделима властная жажда обладания? И почему без обладания именно это чувство и эта уверенность убивают всякую иную возможность счастья? Будешь ли ты впредь радоваться солнцу и миру, людям и любым сокровищам? Не будешь ли ты постоянно повторять: «Наталии нет здесь!» И все же, увы, Наталия будет неотступно с тобой. Закроешь ты глаза, и она явится тебе, откроешь их — и она будет парить перед тобой, заслоняя все предметы, подобно видению, что оставляет в глазах ослепительная картина. Разве мимолетный образ амазонки еще прежде не стоял неотступно перед твоим мысленным взором, а ведь ты тогда ее только видел, ты не знал ее. Ныне же, когда ты узнал ее и был так близок к ней, когда она показала тебе столько участия, ныне ее достоинства еще глубже запечатлелись в твоей душе, чем некогда ее образ в твоём сознании. Страшно всегда искать, но куда страшнее найти и быть вынуждену расстаться. Чего мне ждать отныне? Чего доискиваться? В каком краю, в каком городе хранится сокровище, равное этому? Стоит ли странствовать, чтобы всегда находить худшее? Неужто жизнь подобна ристалищу, где надо тот же час поворачивать вспять, едва достигнув предела? Неужто добро и совершенство высится подобно твердой неподвижной цели, от которой надо столь же стремительно скакать прочь на быстрых конях, едва нам покажется, что она достигнута. А между тем всякий, кто льстит на мирские блага, может приобрести их в разных странах света, а то и попросту па базаре или на ярмарке».

— Иди сюда, милый малыш! — крикнул он сыну, прибежавшему в эту минуту. — Будь и навеки останься всем для меня! Ты был мне дан взамен твоей возлюбленной матери, теперь ты должен заменить вторую мать, которую я предназначал тебе, — тебе надлежит восполнить еще больший пробел. Займи мое сердце, займи мой ум своей красотой, своей ласковостью, своей любознательностью и своими дарованиями.

Мальчик был занят новой игрушкой, отец помог ему лучше, правильнее, целесообразнее приспособить ее, но мальчик сразу же потерял к ней интерес.

— Ты истинный человек! Идем, сын мой! Идем, брат мой! Давай вместе, бродя по свету, играть без цели, как умеем!

Решение удалиться, взять с собой ребенка и отвлечься мирскими делами прочно утвердилось в нем. Он написал Вернеру с просьбой о деньгах и кредитных письмах и отправил Фридрихова курьера, строго наказав ему воротиться как можно скорее. Как ни был он раздражен против остальных друзей, отношение его к Наталии сохранилось во всей чистоте. Он поверил ей свое намерение. Она подтвердила, что он может и должен ехать, и хотя наружное равнодушие с ее стороны огорчило его, он был вполне утешен ее приветливостью и ее присутствием. Она назвала города, где ему следовало побывать и где он мог познакомиться кое с кем из ее приятелей и приятельниц. Курьер воротился и привез все, чего требовал Вильгельм, хотя Вернер явно не был доволен его новой авантюрой.

«Мои надежды, что ты образумишься, снова отсрочены на неопределенное время, — писал он, — где это все вы там витаете? И куда девалась та женщина, на чью хозяйственную помощь ты мне подал надежду? Да и прочих друзей что-то не видно; вся деловая канитель свалена на меня и на судейского чиновника. Счастье еще, что он такой же хороший юрист, как я финансист, и что обоим нам не привыкать с чем-то возиться. Прощай, надо простить тебе твои сумасбродства — без них наши дела так бы не процветали в этих краях».

По внешним обстоятельствам ему теперь смело можно было уехать, но душевно он был связан двумя препятствиями. Ему решительно не желали показать тело Миньоны до погребального обряда, который собирался совершить аббат, но к торжеству этому еще не все было готово. Кроме того, врача загадочным письмом вызвал сельский священник. Речь шла о старом арфисте, об участии которого Вильгельм хотел получить более точные сведения.

В таком состоянии он и ночью и днем не знал ни душевного, ни телесного покоя. Когда все погружалось в сон, он без устали бродил по дому. Присутствие знакомых с детства произведений искусства и влекло и отталкивало его. Ни за что из окружающего он не мог ухватиться, ни от чего отвлечься: все напоминало ему обо всем; он обозревал кольцо своей жизни, но, увы, оно лежало перед ним разломанное и, казалось, не сомкнется уже вовек. Произведения искусства, проданные его отцом, как будто служили знаменем того, что и он частью отторгнут от спокойного и надежного владения заманчивыми благами мира, частью лишен их по своей или чужой вине. Он так глубоко погружался в эти странные и печальные думы, что порой самому себе начинал казаться призраком, и хотя воспринимал на ощупь окружающие предметы, все же не мог отрешиться от сомнения, жив ли он, тут ли он.

Лишь жгучая боль, которая пронизывала его минутами при мысли, что он должен кощунственно, но неизбежно бросить все обретенное и вновь дарованное ему, лишь застилавшие глаза слезы возвращали его к сознанию своего бытия. Тщетно приводил он себе на память, сколь счастливо, в сущности, нынешнее его положение.

«Значит, все ни к чему, раз нет того единственного, что челе веку дороже всего!» — мысленно восклицал он.

Аббат сообщил присутствующим о прибытии маркиза.

— Хоть вы, очевидно, намерены уехать вдвоем с сыном, — обратился он к Вильгельму, — все же познакомьтесь с этим человеком: где бы вы с ним ни встретились, в случае чего он может быть вам полезен.

Появился маркиз; это был человек средних лет, статный и привлекательный ломбардец. Юношей он в армии свел знакомство с

дядюшкой, который был много старше годами, а затем их связывали деловые интересы; они вместе объездили пол-Италии, и большая часть тех произведений, которые маркиз вновь увидел здесь, были найдены и куплены в его присутствии при памятных ему счастливых обстоятельствах.

Итальянцам, более нежели другим народам, свойственно благоговение перед высотой искусства; каждый из них, чем бы он ни занимался, желает, чтобы его величали художником, мастером, профессором, и уж одна эта претензия на звание показывает, что ему недостаточно быть подражателем или приобретать ремесленные навыки; по его разумению, каждый должен быть способен размышлять над тем, что делает, устанавливать свои правила и уметь разъяснить себе и другим, почему надо действовать так, а не иначе.

Маркиз был растроган созерцанием этой драгоценной коллекции без самого коллекционера и обрадован, что дух друга говорит ему устами его достойных наследников. Они вместе осмотрели все многообразное собрание и с большим удовлетворением убедились, что вполне понимают друг друга. Говорили преимущественно маркиз и аббат; Наталия будго вновь была перенесена в общество дяди и с легкостью воспринимала их мнения и понятия; Вильгельму приходилось все переводить на театральный язык, дабы понять хоть что — либо. Острословие Фридриха удавалось обуздать с великим трудом. Ярно редко присоединялся к остальным.

В ответ на замечание, что прекрасные творения стали редки в нынешний век, маркиз сказал:

— Нелегко в полной мере понять, как воздействуют на художника обстоятельства, да и при величайшей гениальности, при неоспоримом таланте по-прежнему безграничны требования, которые он должен себе ставить, невообразимо усердие, потребное для его развития. Если же обстоятельства оказывают на него мало действия, если он понимает, что угодить миру не так уж трудно, и сам добивается лишь легкой, приятной и покойной видимости, так было бы только удивительно, если бы себялюбие и тяготение к удобствам жизни не удержали его на уровне посредственности; странно было бы, если бы он не предпочел обменивать свой ходкий товар на деньги и похвалы, а избрал правильный путь, который с большей или меньшей вероятностью обрек бы его на мученическое прозябание. Оттого-то художники нашего времени вечно обещают, никогда не исполняя. Они стремятся соблазнить, никогда не удовлетворяя; все у них лишь намечено, а нигде не найдешь ни основы, ни осуществления. Но стоит некоторое время спокойно побродить по художественной галерее и понаблюдать, какие произведения привлекают толпу, какие ее восхищают, какие оставляют равнодушной, — и вы мало радости почерпнете в настоящем и мало надежды на будущее.

— Да, — подтвердил аббат, — таким образом любители искусства и художники воспитывают друг друга; любитель ищет лишь общего неопределенного наслаждения; он хочет, чтобы творение искусства нравилось ему примерно так же, как нравится творение природы; люди полагают, что органы, посредством коих мы наслаждаемся творениями искусства, развились сами собой, как язык и небо, и судят о творении искусства, как о кушанье. Им непонятно, что возвыситься до истинного наслаждения искусством можно, лишь обладая совсем особой культурой. Самое трудное, на мой взгляд, это умение обособляться, которому должен научиться человек, если он вообще помышляет о своем развитии; оттого мы так часто сталкиваемся с однобокой культурой, притязающей судить о целом.

— Мне не очень понятен смысл ваших слов, — вставил Ярно, подходя к собеседникам.

— Нелегкое дело вразумительно истолковать их вкратце, — ответил аббат. — Скажу одно, ежели человек претендует на разнообразную деятельность или на разнообразие наслаждений, он должен развить в себе разнообразные органы, как бы независимые друг от друга. Кто хочет творить или наслаждаться во всю полноту человеческой природы, кто хочет включить в такого рода наслаждение все, что находится вне его, тот будет тратить свое время на вечно не удовлетворенное стремление. Трудное дело, хоть и естественное с виду, созерцать прекрасную статую, превосходную картину как таковую, слушать пение ради пения, восторгаться актером в актере, ценить здание его соразмерности и долговечности ради. А вместо этого мы видим, что люди в большинстве своем смотрят на признанные создания искусства, как на мягкую глину. В угоду их вкусам, мнениям и капризам изваянный мрамор должен мигом менять свою форму, крепко сбитое здание должно расширяться или сжаться, картина обязана поучать, спектакль исправлять, и из всего нужно сделать все. На самом же деле люди по большей части аморфны и бессильны придать образ себе и своему существу, вот они и стараются отнять образ у предметов, дабы все обратить в рыхлую, расплывчатую массу, к которой принадлежат они сами. В конце концов они сводят все к пресловутому эффекту, все у них относительно, все и становится относительным, исключая глупость и пошлость, которые забирают абсолютную власть.

— Я понимаю вас, вернее, вижу, как все вами сказанное совпадает с теми принципами, коих вы так крепко держитесь, — заметил Ярно, — однако я не способен так сурово судить горемычное человечество. Правда, я знаю немало таких людей, которые при виде величайших творений искусства и природы первым делом вспоминают свои жалкие нужды и, отправляясь в оперу, берут с собой свою совесть и мораль, созерцая стройную колоннаду, не отрешаются от любви и ненависти, а все прекрасное и великое, что может быть привнесено им извне, умаляют по мере сил, дабы хоть как-то связать его со своей убогой сущностью.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Вечером аббат пригласил обитателей замка на погребение Миньоны. Все общество направилось в Залу Прошедшего,[83] ныне удивительным образом освещенную и украшенную. Стены были почти сверху донизу завешены небесно-голубыми коврами, так что виднелись лишь цоколи и фризы. В четырех канделябрах по углам горели огромные восковые факелы и соответственно меньшие — в четырех малых, окружавших саркофаг посреди залы. Возле него стояли четыре мальг чика в небесно-голубых с серебром одеждах и большими опалами из страусовых перьев словно оведали фигуру, которая покоилась на саркофаге. Все уселись, и два незримых хора сладкозвучно спросили:

«Кого принесли вы в наш мирный приют?»

А четверо детей неясными голосами отвечали:

«Мы принесли усталую подругу детских игр, пусть среди вас покоится она, доколе не воскресит ее ликующий призыв сестер небесных».



Хор

Привет тебе, первенец юности в нашем кругу! Скорбный тебе наш привет! Ни отрок, ни девушка пусть не стремятся вслед за тобой. Старцам одним подобает охотно, без грусти, вступать в этот тихий покой, и строгий их круг пусть лелеет милое, милое наше дитя!

Мальчики

Увы, как горестно нести ее сюда! Увы, рок ей судил остаться здесь навеки! И мы хотим остаться с нею и плакать, плакать у ее гробницы!

Хор

Взгляните на эти могучие крылья! Взгляните на легкий и светлый покров! Вокруг молодого чела блестит золотая повязка. Взгляните, как ясен и величав ее лик!

Мальчики

Увы, крылья уже не поднимут ее! Легкими волнами не будут струиться покровы! Когда мы венчали розами ее головку, она приветно и нежно смотрела на нас.

Хор

Воззрите ввысь духовными очами! Пускай живет в вас творческая сила, что жизнь над звездами возносит, ибо жизнь и выше и прекраснее всего!

Мальчики

Увы! Мы здесь утратили подругу, она не бродит боле по садам, цветов не собирает на лугу. Плачьте, мы оставляем ее здесь! Плачьте, мы хотим остаться с нею!

Хор

Дети! Воротитесь к жизни! Слезы вам осушит свежий ветер, что играет над извивами ручья. Бегите мрака ночи! День, радость, бытие — удел живых.

Мальчики

Воспрянем и вернемся к жизни! Пусть день дарует радость и работу, а вечер принесет покой и сон ночной вселит в нас силы.

Хор

Дети, к жизни торопитесь воспарить! В светлом одеянии красоты да встретит вас любовь с небесным взором, с венцом бессмертия вокруг главы!

Мальчики удалились, аббат поднялся с кресла и встал позади гроба.

— Волеизъявлением человека, соорудившего это тихое жилище, каждому новому пришельцу должен быть оказан торжественный прием, — начал он. — После него, строителя Этого дома, создателя этого пристанища, мы принесли сюда молодой чужеземный цветок, и, следовательно, это тесное пространство вмещает ныне две совсем различных жертвы суровой, самовластной и неумолимой богини смерти. Согласно строгим законам вступаем мы в жизнь, сосчитаны дни, кои дают нам созреть для созерцания света, но для продолжительности жизни законов нет. Слабенькая жизненная нить растягивается в непредвиденную длину, а крепчайшую насильственно перерезают пояски Парки, которая, как видно, любит забавляться противоречиями. Мы мало чем можем помянуть дитя, которое погребаем сейчас. Родителей ее мы не знаем, а годы ее жизни можем определить лишь наугад. Столь глубоко и замкнуто было сердце бедняжки, что нам дано только догадываться об ее сокровенных чувствованиях; все в ней было облечено туманом, все лишено ясности, кроме любви к человеку, который вырвал ее из рук жестокого варвара. Эта нежная привязанность, эта горячая благодарность, казалось, были пламенем, снедавшим соки ее жизни; умение врача не могло спасти эту прекрасную жизнь, дружеская забота оказалась бессильна ее продлить. Но искусство, бессильное удержать отлетающий дух, применило все средства, дабы сохранить тело, оградить его от тления. Бальзамический состав пропитал все сосуды и ныне, заменив кровь, окрашивает преждевременно поблекшие щеки. Подойдите ближе, друзья, и посмотрите на чудо искусства и старания!

Он поднял покров: девочка в своих ангельских одеждах точно почивала, приняв грациозную позу. Все подошли я дивились этому подобию жизни. Только Вильгельм не встал с кресла, не в силах овладеть собой; он не смел осмыслить, что ощущал, каждая мысль грозила разрушить его ощущения.

Из внимания к маркизу речь была произнесена по-французски. Гость подошел вместе с остальными и пристально вглядывался в усопшую. Аббат продолжал:

— Но это замкнутое для людей чуткое сердце было неизменно с благоговением обращено к своему богу. Казалось, в ее натуре заложено смирение и даже склонность к самоуничтожению! Свято придерживалась она католической веры, в которой была рождена и воспитана. Часто она кротко выражала желание покоиться в освященной земле, и мы, следуя церковным правилам, освятили это мраморное вместилище и горсть земли, положенную в ее изголовье. Как истово лобызала она в последние свои мгновения образ распятого, множеством точек умело наколотый на ее нежной руке!

Говоря это, аббат обнажил правую руку покойницы, и на белой коже обнаружилось голубоватое распятое, окруженное различными

письменами и знаками.

Маркиз низко наклонился над телом и разглядывал эту новую неожиданность.

— О, боже! — воскликнул он и, выпрямившись, воздел руки к небу. — Бедное дитя! Несчастливая племянница! Вот где я вновь нашел тебя! Какая горькая отрада, давно уже утратив надежду свидеться с тобой, обрести твое милое возлюбленное тело, которое мы почитали добычей озерных рыб, обрести тебя хотя и мертвой, но неприкосновенной. Я оказался свидетелем твоих похорон, которые прекрасны внешним великолепием и еще прекраснее присутствием хороших людей, кои провожают тебя к месту вечного упокоения. Когда я буду в силах говорить, я выражу им свою благодарность, — добавил он срывающимся голосом.

Слезы помешали ему вымолвить еще хоть слово.

Нажав скрытую пружину, аббат опустил тело в недра мрамора. Четверо юношей, одетых, как были одеты мальчики, выступили из-за ковров и, покрывая гроб массивной, богато украшенной крышкой, запели:

Юноши

Ныне надежно укрыто сокровище наше, образ прекрасный минувшего! В мраморе этом оно почует нетленным, таким да пребудет оно в ваших сердцах! В жизнь воротитесь скорее, несите с собой святую и строгую правду, ибо лишь правда святая — залог вечной жизни.

Незримый хор подхватил последние слова, но никто из присутствующих не внял утешительным словам, каждый был слишком поглощен удивительными открытиями и собственными переживаниями. Аббат и Наталия сопровождали маркиза, а Вильгельма — Тереза и Лотарио; и лишь когда отзвучали песнопения — печали и думы, размышления и любопытство с такой силой вновь обрушились на них, что им страстно захотелось вернуться в ту, другую стихию,

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Маркиз избегал говорить о происшедшем, но втайне вел долгие беседы с аббатом. Когда общество собиралось вместе, он часто просил музыки. Его желание спешили исполнить, ибо каждый рад был уклониться от разговоров. Так прошло несколько дней, пока не стало очевидно, что маркиз собирается в дорогу. Однажды он сказал Вильгельму:

— Я не хочу тревожить прах бедной девочки, пускай покоится в том краю, где она любила и страдала, но от друзей ее я требую обещания посетить меня в ее отчизне, там, где бедняжка родилась и росла; они должны увидеть те изваяния и колонны, о которых у нее сохранилось смутное представление.

Я повезу вас в те бухты, где она любила собирать камушки. Надеюсь, вы, милый юноша, не посмеете уклониться от признательности семейства, столь многим вам обязанного. Завтра я уезжаю. Всю историю я поверил аббату, он передаст ее вам; он был ко мне снисходителен, когда скорбь прерывала мой рассказ, и, как третье лицо, он более связно изложит цепь событий. Ежели вы захотите принять предложение аббата и сопутствовать мне в поездке по Германии — милости прошу! И мальчика своего вам незачем оставлять тут. Стоит ему причинить нам малейшее беспокойство, как мы приведем себе на память ваше попечение о моей бедной племяннице.

В тот же вечер неожиданно пожаловала графиня. Когда она появилась, Вильгельм затрепетал всем телом, а ей, хоть она и была предупреждена, пришлось опереться на сестру, которая поспешила подать ей стул. Как непривычно прост был ее наряд, как изменился ее облик! Вильгельм не смел на нее взглянуть; она приветливо с ним поздоровалась, и несколько общих фраз не могли скрыть ее мысли и ощущения. Маркиз рано отправился спать, остальному же обществу не хотелось расставаться. Аббат достал какую-то рукопись.

— Я сразу же закрепил на бумаге доверенную мне удивительную историю, — сказал он, — меньше всего следует жалеть чернила и перо, записывая подробности примечательных событий.

Графине объяснили, о чем идет речь, и аббат приступил к чтению:

«Хоть я и вдоволь повидал свет, но мало встречал людей, достоинствами могущих сравниться с моим отцом, — так говорил маркиз, — характер у него был благородный и прямой, круг понятий широк и, можно сказать, возвышен; к себе он был строг, во всех его замыслах чувствовалась неуклонная последовательность, во всех действиях — постоянная размеренность. С одной стороны, это помогало общаться с ним и вести дела, с другой же — именно эти качества мешали ему ужиться в мире, ибо он требовал и от государства и от соседей, от детей и челяди соблюдения тех же законов, которые предписал сам себе. Самые умеренные его требования отягчались его строгостью, и никогда не бывал он вполне удовлетворен, потому что все получалось не так, как он задумал. Я наблюдал его в те минуты, когда он сооружал дворец, разбивал сад, приобретал превосходно расположенное новое большое поместье и при этом неизбежно пребывал в мрачной уверенности, что рок судил ему обуздывать себя и терпеть. В поведении своем он проявлял величайшее достоинство, в шутках показывал превосходство своего ума; ему было несносно малейшее порицание; лишь раз за всю мою жизнь видел я, как он потерял над собой власть, — это было, когда он услышал насмешку над каким-то своим начинанием. В таком же духе распорядился он своими детьми и своим имуществом. Старшего моего брата воспитывали как будущего наследника больших владений; мне было определено духовное поприще, а младшему из нас — военная карьера. Я был живой, пылкой, деятельной, подвижной натурой, ловкой во всякого рода телесных упражнениях. Младший скорее тяготел к мечтательному покою, к наукам, к музыке и поэзии. Лишь после жестокой борьбы, окончательно убедившись, что иной выход невозможен, отец неохотно дозволил нам обменяться призваниями, и хотя видел, сколь довольны мы оба, никак не мог успокоиться и не переставал твердить, что не будет от этого проку. С годами он все более устранился от людей и под конец жил почти совсем один. Единственное его общество составлял старый приятель, который служил в немецких войсках, потерял в походах жену и привез с собой дочку лет десяти. Он приобрел по соседству приличное имение, навещал моего отца в определенные дни и часы недели, а иногда привозил с собой и дочку. Он ни в чем не прекословил отцу, который под конец вполне свыихся с ним и терпел его как единственного сносного собеседника. Правда, после смерти отца мы обнаружили, что наш старик отменно обеспечил своего знакомца, не терявшего даром времени; тот расширил свои владения, а дочь его могла рассчитывать на

хорошее приданое. Девушка выросла редкостной красавицей, старший брат часто подтрунивал надо мной, советуя к ней присвататься.

Тем временем брат Августин, проводя жизнь в монастыре, впал в очень странное состояние; он услаждал себя благочестивой мечтательностью, теми полудуховными, полуфизическими ощущениями, которые то возносили его на небеса, то низвергали в бездну бессилия и бесплодной тоски. При жизни отца ни о каких переменах нельзя было даже помыслить, да и что могли мы пожелать или предложить? После смерти отца брат усердно навещал нас; состояние его духа, вначале столь сильно нас огорчавшее, мало-помалу менялось к лучшему. Как видно, разум одержал верх. Однако, чем крепче уповал он добиться полного исцеления и умиротворения на прямом пути природы, тем настойчивее требовал от нас, чтобы мы разрешили его от обета; он дал нам понять, что имеет виды на соседку нашу, Сперату.

Старший брат, столько выстрадав от суровости отца, не мог остаться равнодушен к душевному состоянию младшего. Мы поговорили с духовником нашей семьи, почтенным старцем, открыли ему двоякие намерения нашего брата и попросили подготовить и ускорить это дело. Против своего обыкновения, он колебался, и, когда брат стал торопить нас, а мы принялись настойчиво упрашивать патера, — он наконец поневоле решился поведать нам необычайную историю.

Оказалось, что Сперата нам сестра, как по отцу, так и по матери; чувственное влечение вновь обуяло старика в те преклонные годы, когда супружеские права обычно сами собой упраздняются; над подобным случаем незадолго до того потешалась вся округа, и отец, не желая, в свой черед, выставить себя на осмеяние, решил столь же тщательно утаить поздний плод законной любви, как обычно скрывают ранние случайные плоды увлечения. Наша мать тайно разрешилась от бремени. Ребенка отослали в деревню, и старинный друг дома, один только вместе с духовником посвященный в тайну, без долгих уговоров согласился выдать девочку за свою дочь. Духовник только выговорил себе право в случае крайности открыть тайну. Отец умер, хрупкая девочка жила под присмотром одной старухи; мы знали, что пение и музыка уже открыли доступ к ней нашему брату, и он упорно настаивал, чтобы мы разрешили его прежние узы и помогли заключить новые. Нужно было не медля осведомить его, в каком опасном положении он находится. Он посмотрел на нас безумным и презрительным взглядом.

— Приберегите свои нелепые сказки для детей и левоверных глупцов! — вскричал он. — Вам не вырвать из моего сердца Сперату — она моя. Сейчас же отрекитесь от этой дикой фантазмагии, ею меня не запугать. Сперата не сестра мне, а жена!

И он с восторгом описал нам, как эта чудесная девушка вывела его из противоестественного отчуждения от людей и вернула в настоящую жизнь, как, подобно двум голосам, созвучны две их души и как благословляет он свои муки и заблуждения за то, что они доселе держали его вдалеке от всех женщин и теперь он может безраздельно принадлежать пленительнейшей девушке в мире.

Мы ужаснулись этому открытию и, оплакивая его положение, не знали, как нам быть. А он с горячностью твердил, что Сперата носит под сердцем его дитя. Духовник наш сделал все, что повелевал ему долг, и тем только усугубил беду. Брат яростно восстал против отношений природы и религии, нравственных нрав и гражданских законов. Для него не было ничего священнее, чем его отношение к Сперате, ничего достойнее, чем зваться отцом и супругом.

— Это одно согласно с природой! — восклицал он. — Все прочее — предрассудки и домыслы. Разве не было благородных пародов, допускавших брачный союз с сестрой? Не называйте мне ваших богов, — восклицал он, — вы поминаете их лишь для того, чтобы дурачить нас, совращать с пути, начертанного природой, и постыдным насилием возводить в преступление благороднейшие порывы. К величайшему смятению ума, к постыдному надругательству над телом вынуждаете вы ведомую на закланье жертву, которую хороните заживо.

Я вправе поднять голос, ибо выстрадал все — от высочайшей, сладчайшей полноты блаженства до страшных, выжженных пустынь бессилия, одиночества, отрешения и отчаяния, от высочайших предчувствий неземного бытия до полнейшего неверия, неверия в самого себя. Я испил весь этот ужасный осадок на дне кубка, с краев ласкающего вкус, и душа моя была отравлена до самых своих глубин. Ныне, когда милосердная природа исцелила меня величайшим своим даром — любовью, когда на груди пленительной девушки я вновь ощутил, что я существую, что существует она, что мы с пей едины и что из этой живой связи возникнет третья жизнь и улыбнется нам, — тут-то вы выпускаете на волю пламень ваших преисподних, ваших чистилищ, могущий опалить лишь больное воображение, — и противопоставляете его живому, истинному, несокрушимому блаженству чистой любви! Придите к нам, под сень тех кипарисов, что возносятся свои строгие вершины к небу. Найдите нас в той роще, где вокруг цветут лимоны и померанцы, где стройный мирт протягивает к нам нежные лепестки, а потом попытайтесь запугать нас своими темными, серыми сетями, сплетенными человеком.

Так он долгое время упрямо отказывался верить нашему рассказу, а под конец, когда мы поклялись, что говорим истинную правду, и сам духовник поддержал нас, брат, не поколебавшись и тут, воскликнул:

— Не спрашивайте эхо ваших монастырских сводов, ваши замшелые пергаменты, ваши путаные измышления и предписания, спросите свое сердце и природу — она вас научит, чего вам страшиться, строжайше перстом своим укажет, что ею навеки и нерушимо предано проклятию. Взгляните на лилии — не из одного ли стебля вырастает супруг и супруга? Не соединяет ли их цветок, породивший обоих, а разве ли\* лия не символ невинности и союз брата и сестры у нее неплоден? Природа открыто отринет то, что ей противно; творение, коему быть не должно, не может возникнуть, творение, которое живет не по праву, обречено рано погибнуть. Бесплодие, жалкое прозябание, довременное разрушение — вот недобрые приметы ее суровости. Она карает сразу и прямо\* Вот! Оглянитесь и вы тут же увидите, на чем лежит ее запрет и проклятие. И в монастырской тиши, и в шуме света освященные и почтены тысячи поступков, проклятых ею. На вольготную праздность, как и на чрезмерный труд, на избыток и произвол, как и на стеснение и скудость, она взирает ниц печальными глазами, она зовет к умеренности, правильны все ее побуждения и спокойны ее действия. Кто страдал, как я, — тот вправе быть свободен. Сперата — моя. Одна лишь смерть отнимет ее у меня. Как мне сохранить ее, как стать счастливым — это уж не ваша забота. А я сейчас же еду к ней, чтобы больше с ней не разлучаться.

Он хотел сесть в лодку, чтобы переправиться к ней; мы удержали его, умоляя не совершать шага, который повлечет за собой ужасные последствия. Пускай подумает, что живет он не в свободном мире своих мыслей и понятий, а в государстве, чьи законы и установления обрели непреложность законов природы. Мы вынуждены были обещать духовнику, что не выпустим брата из глаз, а тем паче из замка,

после чего тот удалился, обещая возвратиться через несколько дней. Случилось то, чего мы ожидали; брат наш был силен разумом, но слаб сердцем; в нем ожили прежние религиозные чувства, и мучительные сомнения овладели им. Он провел ужасные два дня и две ночи; духовник снова пришел ему на помощь, но тщетно. Не связанный путами свободный разум оправдывал его, а чувство, вера, все привычные понятия говорили ему, что он преступник.

Однажды утром мы нашли его комнату пустой, на столе лежала записка, в которой он заявлял, что считает себя вправе вырваться на свободу, раз мы насильно держим его в плену; он уходит, он спешит к Сперате и надеется бежать вместе с ней; ежели их попытаются разлучить, он решится на все.

Мы немало испугались, однако духовник просил нас успокоиться. За бедным нашим братом следили зорко; вместо того чтобы переправить его на другой берег, гребцы отвезли его в монастырь. Утомившись сорокачасовым бдением, он заснул, как только челнок принялся качать его при лунном свете, а проснулся, лишь увидев, что находится в руках своих духовных братьев, и опомнился, лишь услышав, как захлопнулась за ним монастырская дверь.

Мы были глубоко потрясены участью брата и приступили с горькими упреками к духовнику; но почтенный старец постарался успокоить нас, пользуясь доводами хирурга, что наша жалость погубила бы несчастного страдальца. Он же, священнослужитель, действовал не по собственному почину, а по приказу епископа и высокого Совета. Их намерения были — избежать публичного соблазна, замаять этот прискорбный случай, прикрыв его негласной епитимьей. Сперату решено было пощадить, утаив от нее, что возлюбленный ее приходится ей братом. Ее поручили заботам священника, которому она еще раньше открыла свое положение. Ее беременность и роды удалось скрыть. Она по-матерински радовалась своему младенцу. Как и большинство девушек у нас, она не умела ни писать, ни разбирать писаное и потому внушала патеру, что говорить от нее возлюбленному. А патер, считая, что обязан щадить кормящую мать благочестивой ложью, приносил ей вести от нашего брата, которого не видал в глаза, его именем заклинал быть спокойной, просил думать\* о себе и о ребенке и вручить в руки божии попечение о будущем.

Сперата была набожна от природы. А положение ее и одиночество усугубляли эту черту, чему способствовал и священник, дабы малопомалу приготовить ее к вечной разлуке. Едва только дитя отлучили от груди, едва патер почел Сперату достаточно окрепшей телесно, чтобы терпеть душевные муки, как начал устрашающими красками рисовать ей любовную связь с духовным лицом, которую изображал как грех против природы, все равно что кровосмешение, ибо у него явилась странная мысль приравнять силу ее раскаяния к тому, что она испытала бы, узнав истинную суть своего прегрешения. Он наполнил ее душу таким сокрушением и смятением, так возвеличил в ее глазах идею церкви и ее владыки, показал, как страшно для спасения душ человеческих потворствовать провинившимся в подобных случаях и, чего доброго, награждать их законным союзом; он показал ей, сколь целительно во благовремени искупить покаянием подобный грех и стяжать венец блаженства, так что она как бедная грешница добровольно подставила голову под топор и теперь уже слезно молила навеки разлучить ее с возлюбленным. Добившись от нее столь многого, ей дозволили свободно, хоть и под надзором, проживать либо дома, либо в монастыре, по собственному усмотрению.

Девочка ее подрастала и вскоре обнаружила необыкновенное свойство природы. Она рано стала бегать и двигаться с большим проворством и ловкостью, вскоре начала премило петь и самостоятельно научилась играть на лютне. Только речь давалась ей нелегко, но затруднение происходило не столько от неисправности голосового аппарата, сколько от особенности ее мышления. Несчастливая мать с тягостным чувством смотрела на свое дитя; уговоры патера внесли такой сумбур в ее представления, что, не будучи безумной, она находилась в крайне неуравновешенном состоянии. Проступок ее казался ей чем дальше, тем отвратительнее и достойнее кары. Оттого что священник часто уподоблял его кровосмешению, эта мысль так глубоко засела в ней и вызвала такой ужас, словно ей была известна истина. А духовник очень гордился своей выдумкой, хоть и терзал ею сердце бедной женщины. Горестно было смотреть, как мать в любви своей всей душой стремилась радоваться бытию ребенка и при этом боролась со страшной мыслью, что ему не следовало быть. Иногда эти два чувства боролись между собой, иногда ужас побеждал любовь.

Ребенка давно уже взяли у нее и отдали на воспитание хорошим людям, жившим близ озера. Тут-то, пользуясь большей свободой, девочка обнаружила особое пристрастие к лазанию. Ее неудержимо влекло взбираться на верхушки высоких деревьев, бегать по бортам кораблей и подражать самым головоломным фокусам канатных плясунов, изредка навещавших эти места.

Чтобы легче было упражняться, она любила меняться платьем с мальчиками, и, хотя приемные родители считали Это крайне неприличным и непозволительным, мы старались, в чем можно, потворствовать ей.

Увлечшись своими необычайными похождениями и кунштюками, она порой забиралась очень далеко, плутала где — то, подолгу отсутствовала, но всегда возвращалась назад. Воротившись, она обычно усаживалась под колоннами одной из соседних вилл; ее теперь уже не искали, ее поджидали. Она, как видно, отдыхала на ступенях портала, потом забежала в большую залу, рассматривала статуи, и, если ее ие упрасивали остаться, спешила домой.

В конце концов наши ожидания были обмануты и поблажки наказаны. Девочка однажды не вернулась, и только шляпка ее плавала по воде неподалеку от того места, где горный поток впадает в озеро. По общему мнению, девочка сорвалась, прыгая между скалами, но, сколько ни искали, тела ее не нашли.

Из неосторожной болтовни подруг Сперата скоро узнала о смерти своего ребенка; с виду она оставалась спокойной и веселой и недвусмысленно давала понять, какое это благо, что господь прибрал бедное создание, не попустив ему то ли претерпеть, то ли посеять вокруг еще более жестокие беды.

По этому случаю пошли всякие рассказы о наших водах. Толковали, что озеро каждый год требует себе невинное дитя; мертвых тел оно не терпит и рано или поздно выбрасывает их на берег; пусть даже самая мелкая косточка опустилась на дно — все равно она выплывет наверх. Рассказывали, будто одна неутешная мать, чье дитя утонуло в озере, молила господа и его угодников даровать ей хотя бы кости для погребения; и что же, с первой бурей на берег выбросило череп, со второй — скелет, а когда все кости были собраны, она увязала их в платок и понесла в церковь. Но, — о, чудо! — когда она вошла в храм, узел стал делаться все тяжелее, а под конец, когда она положила его на ступени алтаря, ребенок закричал и, всем на диво, выбрался из платка; недоставало только косточки мизинца с правой руки,

Впрочем, мать, усердно все обыскав, нашла ее под конец, и косточка эта хранится в церкви, как память, среди других реликвий.

Такого рода рассказы западали в душу несчастной матери, поощряя полет ее воображения и усугубляя сердечную тревогу. Она уверила себя, что дитя искупило свою и родительскую вину, что проклятие и кара, тяготевшие на них, отныне окончательно сняты; теперь остается лишь пайти кости ребенка, дабы отвезти их в Рим, и тогда дитя, вновь облекшись своей цветущей плотью, восстанет перед всем народом на ступенях большого алтаря в соборе святого Петра. Собственными глазами узрит оно отца и мать, и, убедившись в благоволении господина и святых угодников, папа под громкие клики народа отпустит родителям их грех, простит их и сочетает брачными узами.

Отныне ее взор и внимание были неотступно обращены на озеро и на берег. Когда вочью волны плескались в свете луны, ей чудилось, что каждый искристый гребень выносит на поверхность ее дитя, и кому-нибудь для вида приходилось бежать за ним на берег.

Днем она, не зная устали, бродила по тем местам, где отлогий песчаный берег спускается к озеру, и собирала в корзинку все кости, какие находила; никто не смел сказать ей, что это кости животных; крупные она зарывала в песок, мелкие брала с собой. В этом занятии проходила ее жизнь. Священник, неуклонным исполнением своего долга доведший ее до такого состояния, оберегал теперь ее, как умел. Его стараниями она слыла в округе не блажной, а блаженной; при виде нее люди молитвенно складывали руки, а дети целовали ей руку.

Старой ее приятельнице и провожатой духовник согласился отпустить грех пособничества злополучному союзу лишь на одном условии: чтобы она неотступно сопровождала бедняжку всю дальнейшую жизнь, и та на редкость терпеливо и старательно до конца исполнила свой долг.

Мы между тем не выпускали из виду своего брата; ни врачи, ни духовенство его монастыря не позволяли нам показываться ему, однако, желая убедить нас в том, что живет он на свой лад хорошо, нам дали разрешение когда угодно наблюдать за ним в саду, в монастырских переходах и даже сквозь окошко в потолке его кельи.

После периодов отчаяния и смятения, которые я опускаю, брат впал в странное состояние душевного покоя и телесного беспокойства. Он присаживался, только когда, взяв в руки арфу, играл на ней, чаще всего сопровождая игру пением. Впрочем, он больше находился в движении и всегда был сговорчив и уступчив, ибо все его страсти как бы растворились во всеобъемлющем страхе смерти, Его маягио было подвигнуть на что угодно, напугав опасной болезнью или смертью.

Помимо той странности, что он без устали ходил взад и вперед по монастырю и недвусмысленно намекал, насколько приятнее было бы бродить по горам и долам, он еще говорил о видении, которое Есегда его пугало. По его словам, когда бы он ни проснулся в ночи, в ногах его кровати неизменно стоит красивый мальчик и грозит ему блестящим ножом. Его переселили в другую келью, однако от твердил, что и там, и в любом закулке монастыря мальчик подстерегает его. Это непрерывное блуждание становилось все беспокойнее, а потом уж монахи припомнили, что в ту пору он чаще обычного стоял у окна и смотрел на другой берег озера.

Тем временем бедную нашу сестру совсем извела единственная ее забота и одно неизменное занятие, и врач порекомендовал постепенно подмешивать к собранным ею костям косточки детского скелета и тем укрепить ее надежду. Попытка была рискованная, но обещала, по крайней мере, что после того, как все части скелета будут собраны, бедняжку можно будет отвлечь от вечных поисков, посулив ей путешествие в Рим.

Так и сделали; верная спутница неприметно подмешала данные ей кости к найденным, и несказанный восторг охватил бедную страдальицу, когда кости были постепенно собраны и оставалось только определить, каких недостает. С великим тщанием лентами и нитками прикрепила она каждую кость, куда положено, а промежутки заполнила шелками и вышивками, как украшают мощи святых.

Так были соединены все части скелета, не хватало лишь нескольких косточек от конечностей. Однажды утром, когда она еще спала, доктор пришел осведомиться о ее самочувствии, старуха достала священные останки из ларца, стоявшего в спальне, желая показать, чем столь усердно занимается больная. Вскоре оба услышали, как она спрыгнула с постели; подняв платок, она увидела, что ларец пуст. Она бросилась на колени, и вошедшие услышали ее жаркую благодарственную молитву.

— Да! Это правда, — восклицала она, — это был не сон, а явь! Радуйтесь со мной, друзья мои! Я снова видела живой мигую, славную мою крошку! Она встала, сбросила покрывало с лица и светом своим озарила горницу; красота ее воссияла, и как ни хотела она, но не могла ступить на землю. Ее, словно пушинку, вознесло ввысь! Она не успела даже протянуть мне руку. Тогда она позвала меня за собой и указала путь, каким мне идти. Я последую за ней, последую скоро, я это чувствую, и мне от этого легко на душе. Скорби как не бывало, и одно лишь созерцание воскресшей из мертвых было мне предвкушением небесного блаженства.

С того часа вся душа ее преисполнилась радостных чаяний, ничто земное не привлекало ее внимания, она почти не вкушала пищи, и дух ее мало-помалу отрешался от телесных уз. В конце концов ее однажды нашли без сознания и без кровинки в лице; она не открывала глаз, она была то, что мы называем мертва.

Молва об ее видении быстро распространилась в народе, и благоговейное чувство, которое она внушала при жизни, по смерти ее не замедлило превратиться в убеждение, что ее должно почитать праведницей и даже святой.

Когда ее собрались хоронить, люди толпами с невообразимым одушевлением стекались ко гробу; каждый хотел коснуться ее руки или, по крайней мере, одежды. В этом страстном порыве многие недужные переставали ощущать терзавшую их боль и, почитая себя исцеленными, во всеуслышание объявляли об этом, славили господина и новую его угодницу.

Духовенству пришлось выставить тело в часовне, люди требовали, чтобы их допустили поклониться усопшей, приток народа был невообразимый. У жителей горных краев и без того особо развито религиозное чувство, а тут они дружно прихлынули из своих долин; молитвы, чудеса и поклонение множились день ото дня. Епископские указы, имевшие целью ограничить, а затем и упразднить этот новый культ, так и не могли быть выполнены; при каждой попытке пресечения народ возмущался и готов был употребить силу против каждого

маловера.

— Ведь обитал же святой Боромео[84] среди наших предков, и матери его дано было счастье дожить до того, как он был причислен к лику святых. Ведь воздвигнуто на скале близ Ароны гигантское его изображение, дабы воочию показать нам его духовное величие. Ведь живут еще среди нас его потомки. И ведь обещал господь вновь и вновь творить чудеса среди верующих.

Когда по прошествии нескольких дней тело не обнаружило признаков разложения, а скорее даже побелело и стало как был прозрачным, вера в народе еще окрепла, и среди толпы участились случаи исцеления, которые самый придирчивый наблюдатель не мог ни объяснить, ни счесть прямым обманом. Весь округ волновался, и кто не приходил сам, тот долгое время ни о чем другом не слышал.

В монастыре, где обитал мой брат, как и повсюду, шли толки об этих чудесах, и никто не остерегался говорить о них в его присутствии, ибо обычно ничто его не трогало, а история его жизни никому не была известна. На сей раз он, как видно, расслышал все очень точно и бегство свое скрыл столь искусно, что никто так и не узнал, каким способом он выбрался из монастыря. Впоследствии стало известно, что он переправился на тот берег с несколькими паломниками, а гребцов, не заметивших в нем ничего странного, просил только быть как можно осторожнее, чтобы лодка, чего доброго, не перевернулась. Глубокой ночью добрался он до часовни, где его злосчастная возлюбленная вкушала отдых от своих страданий; малочисленные богомольцы преклоняли колени по углам; в головах гроба сидела старая приятельница усопшей; он подошел к ней, поклонился и спросил, как поживает ее госпожа.

— Вы сами видите, — отвечала та не без смущения.

Он искоса посмотрел на покойницу. После минутного колебания взял ее руку, испугавшись холодного прикосновения, тотчас выпустил ее, тревожно огляделся и сказал старухе:

— Я не могу сейчас остаться при ней, мне предстоит еще очень долгий путь. Но я ворочусь вовремя; скажи ей это\* когда она проснется.

Так он ушел; мы не сразу узнали об этом событии, начали доискиваться, куда он девался, но тщетно! Непостижимо, как мог он одолеть горы и долины. Наконец много времени спустя в Граубюндене мы напали на его след, но с большим опозданием, след вновь затерялся.

Мы подозревали, что он направился в Германию, однако война совершенно стерла столь слабые приметы»,

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Аббат окончил чтение, все слушали его со слезами. Графиня не отрывала платка от глаз, под конец она встала и вместе с Наталией покинула комнату. Все остальные молчали; тогда заговорил аббат:

— Теперь встает вопрос, допустить ли, чтобы добрейший маркиз уехал, не узнав нашей тайны. Ибо кто может усомниться в том, что Августин и наш арфист — одно лицо? Надо обдумать, как нам поступить, памятуя о несчастном страдальце и обо всей семье. Мой совет не действовать сгоряча, а подождать, какие вести привезет нам врач, возвращение которого мы ожидаем нынче.

Все согласились с аббатом, и он продолжал:

— При этом возникает еще один вопрос, его, пожалуй, следует решить скорее: маркиз безмерно растроган радушием, которое его бедная племянница встретила у нас и особенно у нашего молодого друга. Мне пришлось обстоятельно дважды рассказать ему всю историю, и он выразил живейшую признательность. «Молодой человек отказался ехать со мной, еще не зная, какие отношения нас связывают, — заявил он. — Теперь я уже не чужой ему, чьи привычки и причуды могут его коробить, а свой и даже родной, и ежели раньше сын его, которого он не хотел оставить, был помехой для нашего совместного путешествия, пускай отныне Этот мальчуган станет чудесным звеном, еще крепче соединяющим нас. Помимо благодарности, коей я обязан вашему другу, он может быть мне полезен в пути; ежели я привезу его с собой на родину, мой старший брат с радостью примет его. И не должно ему пренебрегать наследством своей питомицы, ибо, по тайному уговору нашего отца с его другом, состояние, завещанное им дочери, переходило к нам, а мы, конечно, не станем отнимать у благодетеля нашей племянницы то, что он заслужил.

Взяв руку Вильгельма, Тереза промолвила:

— Вот мы и вновь убеждаемся на прекрасном примере, что бескорыстное благодеяние влечет за собой наивысшую, прекраснейшую награду. Последуйте нежданному призыву и, оказывая маркизу двойную услугу, спешите посетить ту прекрасную страну, которая не раз влекла к себе ваше воображение и ваше сердце.

— Я всецело предаюсь руководству моих друзей, — ответил Вильгельм, — в нашем мире тщетно отстаивать собственную волю. Я упускаю то, что хотел удержать, а неожиданная награда сама идет ко мне.

Пожав руку Терезы, Вильгельм высвободился от ее пожатия.

— Я всецело предоставляю вам решать мою участь, — обратился он к аббату, — раз мне не надобно расставаться с моим Феликсом, я рад буду ехать куда угодно и делать все, что друзья почтут правильным.

В ответ на это заявление аббат тотчас начертил свой план.

— Пускай маркиз уезжает, — сказал он, — а Вильгельм должен дожидаться известия от врача и, после того как мы решим, что делать, пусть едет следом вместе с Феликсом.

Маркизу же он рекомендовал осмотреть покамest достопримечательности города, дабы не задерживаться сборами в путь молодого друга. Маркиз отбыл, многократно повторив свою признательность, веским доказательством коей явились оставленные им дары,

украшения, резные камни и расшитые ткани.

Вильгельм совсем уже собрался в дорогу, и теперь никто не знал, как поступить дальше, потому что от врача не было никаких известий и приходилось опасаться, что несчастного арфиста постигла беда, как раз в то время, когда явилась надежда решительно улучшить его положение. Был послан курьер, но едва он уехал, как под вечер прибыл врач с незнакомцем внушительного, строгого и примечательного вида. Никто его не знал. Новоприбывшие некоторое время молчали, наконец незнакомец приблизился к Вильгельму и, протянув ему руку, спросил:

— Неужто вы не узнаете старого друга?

Это был голос арфиста, но от прежнего его облика не осталось ни следа. Он был в обычном дорожном платье, опрятном и пристойном, кудри старательно причесаны, борода исчезла, но более всего изменился он от того, что выразительные его черты утратили отпечаток старости.

Вильгельм обнял его с величайшей радостью; он был представлен всем остальным и вел себя вполне разумно, не подозревая, сколь многое узнали о нем присутствующие незадолго до того.

— Надеюсь, вы будете снисходительны к человеку, с виду взрослому, но после длительного недуга вступающему в мир несмышленным младенцем, — непринужденно заявил он. — Вот этому доброму другу я обязан тем, что вновь могу явиться в человеческом обществе.

Все приветствовали его, а врач сразу же предложил пойти погулять, чтобы пресечь этот разговор, переведя его на безразличные темы.

Когда друзья остались одни, врач сообщил следующее:

— Исцелить этого человека нам помог удивительнейший случай. Мы долго пользовали его нравственно и физически по нашей методе; все шло до известной степени успешно, однако страх смерти не оставлял его, а внять нашим просьбам — *пожертвовать бородой и длинной хламидой* — он никак не соглашался. Впрочем, он стал принимать больше участия в мирских делах, а понятия его и даже песни заметно приблизились к жизни. Вам известно, каким неожиданным письмом вызвал меня отсюда священник. Я приехал и застал в нашем больном большую перемену: он добровольно расстался с бородой, позволил подстричь свои кудри на общепринятый манер, потребовал себе обычную одежду и как будто сразу стал другим человеком. Нам не терпелось узнать причину такого превращения, но приступить с расспросами к нему самому мы не решались, пока случайно не обнаружилось одно странное обстоятельство. Из домашней аптеки священника исчезла склянка жидкого опия. Мы нашли нужным произвести строжайшее дознание, каждый старался обелить себя, между домочадцами вспыхивали бурные перебранки. Наконец явился этот человек с признанием, что склянка находится у него. Его спросили, не пил ли он из нее, он сказал: «Нет! — И продолжал: — Ей я обязан возвращением разума. В вашей власти отнять у меня этот пузырек и вернуть меня навеки в прежнее состояние. Сознание того, как хорошо, когда смерть кончает земные муки, впервые толкнуло меня на путь исцеления; отсюда выросла мысль окончить их добровольной смертью, и с этим намерением я взял склянку. Возможность вмиг прекратить мои великие страдания придала мне силы терпеть их; и вот с тех пор, как у меня есть этот талисман, близость смерти влечет меня назад к жизни. Не бойтесь, — добавил он, — я не воспользуюсь ядом. Лучше возьмите на себя смелость вы, знатоки человеческого сердца, позвольте мне быть независимым от жизни и тем самым укрепить мою зависимость от жизни».

По зрелом размышлении мы решили более не настаивать, и теперь он носит при себе в закупоренном флакончике этот яд как своеобразное противоядие.

Врачу рассказали обо всем, что обнаружилось за это время, сговорившись хранить глубокое молчание при Августине. Аббат дал себе слово не отпускать его ни на шаг и вести далее по благому пути, на который он вступил.

Между тем Вильгельм должен был вместе с маркизом совершить путешествие по Германии. Если удастся вновь внушить Августину любовь к отечеству, тогда близким его откроют все обстоятельства и Вильгельм привезет его в родной дом.

Вильгельм закончил приготовления к путешествию, и хотя поначалу казалось непонятным, почему Августин обрадовался, услышав о скором отъезде своего старого друга и благодетеля, аббат вскоре обнаружил причину столь странного душевного движения. Августин не мог преодолеть давний страх перед Феликсом и желал, чтобы мальчика поскорее увезли.

Постепенно съехалось такое множество гостей, что их едва удавалось разместить в самом замке и во флигелях, тем более что заблаговременно не были сделаны приготовления к приему такого большого общества. Завтракали и обедали все вместе и старались себя уверить, что живут в приятнейшей согласии, однако же втайне не прочь были оказаться врозь. Тереза выезжала верхом — иногда с Лотарио, но чаще одна; успев свести знакомство со всеми помещиками и помещицами в округе, она придерживалась, надо думать не без основания, того хозяйственного принципа, что с соседями и с соседками надо быть в добром согласии и постоянно оказывать взаимные одолжения. О союзе ее с Лотарио даже и речь не заходила, обеим сестрам было о чем потолковать друг с другом; аббат искал общества арфиста, Фридрих не отходил от Вильгельма, а Феликс сновал всюду, где ему было хорошо.

Во время прогулок общество обычно разбивалось на пары, а когда приходилось быть вместе, все тотчас искали прибежища в музыке, всех связующей, обособляя каждого.

Неожиданно общество увеличилось прибытием графа, который хотел увезти супругу и сказать торжественное прощание своей мирской родне. Ярно поспешил встретить его у самой кареты, и когда новоприбывший спросил, что за общество застанет он здесь, на Ярно, как всякий раз при виде графа, напал озорной стих.

— Вы застанете здесь всю знать мира, — ответил он, — итальянских и французских маркизов, лордов и баронов, недоставало только графа.

С тем они поднялись по лестнице, и Вильгельм первым встретился им в аванзале.

— Милорд, я весьма рад столь неожиданно возобновить да же знакомство, — обратился к нему граф на французском языке, взглядевшись в него. — Если я не ошибаюсь, мне случилось видеть вас в свите припца.

— Я имел тогда счастье свидетельствовать свое почтение вашему превосходительству, — отвечал Вильгельм, — однако вы оказываете мне чрезмерную честь, принимая меня за англичанина, и притом высокопоставленного, я немец и...

— ...притом весьма достойный молодой человек, — вставил Ярно.

Граф с улыбкой посмотрел на Вильгельма и собрался было что-то ответить, но тут подоспели остальные и радушно приветствовали его. Пришлось извиниться, что нет возможности сразу отвести ему приличную комнату, обещав без промедления приготовить таковую.

— Так, так! — заметил он с улыбкой. — Я вижу, квартирмейстерские обязанности отданы на волю случая. А чего не добьешься предусмотрительностью и распорядительностью! Но, прошу вас, не вздумайте для меня хоть туфель стронуть с места, иначе, я вижу, не оберетесь беспорядка. Всем будет неудобно, а ради меня никто не должен терпеть даже час неудобства. Вы были свидетелем, — обратился он к Ярно, — и вы также, мистер, — повернулся он к Вильгельму, — сколько людей я тогда с удобством разместил у себя в замке. Дайте мне список господ и слуг, укажите, как все сейчас расквартированы, я составлю план дислокации, и каждый без особых хлопот получит просторное жилище, да еще останется место для случайно завернувшего к нам гостя.

Ярно тотчас напросился к графу в адъютанты, доставил ему все нужные сведения и, по своему обычаю, потешался над стариком, норовя сбить его с толку. Но граф не замедлил добиться полного торжества. Все гости были размещены, он приказал в его присутствии надписать имена на всех дверях, и, надо признаться, цель была достигнута без особых хлопот и перемен.

Кстати, Ярно изловчился поселить вместе людей, связанных в то время взаимным интересом.

После того как все утряслось, граф сказал Ярно:

— Помогите мне разобраться, кто этот молодой человек, — вы зовете его Мейстер, и он как будто немец.

Ярно промолчал, отлично понимая, что граф принадлежит к тем людям, которые спрашивают, чтобы показать собственную осведомленность. И правда, тот, не дожидаясь ответа, продолжал:

— Вы давеча представили мне его, отменно аттестовав от имени принца. Допустим, его мать была немкой, но поручусь, что отец у него англичанин, и притом знатного рода. Кто подсчитает, сколько английской крови за последние тридцать лет примешалось к немецкой! Я не буду настаивать, мало ли у всех у вас таких семенных тайн, но меня-то уж не проведешь.

Он тут же стал вспоминать множество событий, якобы происшедших с Вильгельмом у него в замке; Ярно снова промолчал, хотя граф совсем запутался, то и дело смешивая Вильгельма с молодым англичанином из свиты принца. Когда-то у бедного старика была превосходная память, и он по сей день хвастался, что может вспомнить мельчайшие события своей юности, и с тем же апломбом выдавал за достоверность нелепицу, смесь былей с небылицами, состряпанную его воображением по вине заметно слабеющей памяти. Впрочем, он стал очень кроток и приветлив, своим присутствием благотворно влияя на общество. Он любил, когда вслух читали назидательные книги, даже затевал салонные игры; сам в них не принимал участия, но усердно ими командовал, а когда люди удивлялись, как он снисходит до этого, объяснял, что человека, удалившегося от важных мирских дел, меньше всего унижает обращение к делам ничтожным.

Во время этих игр Вильгельму не раз случалось пережить минуты смущения и досады: легкомысленный Фридрих пользовался любым случаем, чтобы намекнуть на чувства Вильгельма к Наталии. Как он доискался до этого? Что дало ему Это право? Ведь остальные могли подумать, что, проводя с ним много времени, Вильгельм сделал ему столь неосторожное и неуместное признание.

Однажды за игрой царило особо бурное веселье, как вдруг дверь распахнулась и вбежал Августин. Вид его был страшен — лицо бледное, взгляд дикий, он пытался говорить, но язык ему не повиновался. Лотарио и Ярно, заподозрив возврат безумия, бросились к нему, чтобы удержать его.

Сперва глухо и прерывисто, а потом громко и надрывно он принялся выкрикивать:

— Не меня держите! Бегите! Помогите! Спасите ребенка! Феликс отравлен!

Его отпустили, он ринулся в дверь, и все общество в ужасе бросилось вслед за ним. Позвали врача, Августин устремился в комнату аббата, ребенок был там, он испугался и смутился, когда ему еще издали закричали:

— Что ты натворил?

— Папенька, милый! — крикнул Феликс. — Я не пил из бутылки, я пил из стакана, мне очень хотелось пить!

Августин всплеснул реками и с криком: «Он погиб!» — протиснулся сквозь толпу и бросился прочь.

На столе оказался стакан миндального молока, а рядом наполовину пустой графин; явился врач, узнал то, что другим было известно, и с ужасом обнаружил лежащую на столе хорошо знакомую пустую склянку от жидкого опия; он велел принести уксуса и пустил в ход все свое искусство.

Наталия приказала перенести мальчика в другую комнату и с тревогой хлопотала около него. Аббат побежал разыскивать Августина,



чтобы добиться от него объяснения. Так же тщетно искал его несчастный отец, а когда воротился, увидел на всех лицах тревогу и озабоченность.

Врач тем временем исследовал миндальное молоко в стакане, где оказалась огромная примесь опия; ребенок лежал в постели, вид у него был совсем больной. Он просил отца, чтобы ему только ничего больше не давали глотать, чтобы его перестали мучить. Лотарио разослал своих слуг и сам ускакал на розыски Августина. Наталия сидела с ребенком, он нашел прибежище у нее на коленях и трогательно просил ее заступничества, просил дать ему кусочек сахара, потому что уксус очень кислый! Врач разрешил дать; ребенок ужасающе возбужден, пусть хоть немного успокоится, сказал он, все, что нужно, сделано, он постарается сделать все, что возможно. Граф как будто нехотя приблизился к ребенку, со строгой и даже торжественной миной возложил на него руки, поднял взор горе и на несколько мгновений замер в этой позе. Лежавший в кресле безутешный Вильгельм вскочил, бросил Наталии исполненный отчаяния взгляд и вышел из комнаты.

Вскоре после него удалился и граф.

— Мне непонятно, как это у ребенка не видно ни малейших признаков тяжелого состояния, — помолчав, промолвил врач. — В каждом выпитом глотке содержалась чудовищная доза опия, а между тем я не нахожу у него более частого пульса, чем можно приписать моим снадобьям и страху, какой вы нагнали на ребенка.

Вскоре явился Ярно с известием, что Августина нашли на чердаке в луже собственной крови, рядом валялась бритва, по-видимому, он перерезал себе горло. Врач бросился туда и столкнулся с людьми, несшими тело вниз по лестнице. Его положили на кровать и тщательно обследовали: разрез затронул дыхательное горло, сильная потеря крови привела к обмороку, однако вскоре стало очевидно, что жизнь в нем не погасла и есть еще надежда. Врач привел тело в надлежащее положение, соединил разрезанные ткани и наложил повязку. Ночь для всех прошла без сна и в тревоге. Ребенок не же лал расставаться с Наталией.

Вильгельм сидел перед ней на скамеечке, ноги мальчика покоились у него на коленях, голова и грудь — у нее, — так делили они отрадную ночь и горестные заботы, до рассвета пребывая в неудобной и печальной позе: Наталия протянула руку Вильгельму, они не произносили ни слова, только глядели на ребенка и друг на друга. Лотарио и Ярно сидели на другом конце комнаты и вели между собой очень важный разговор, который мы гут же охотно пересказали бы нашим читателям, не будь мы так озабочены происходящими событиями. Мальчик сладко спал, рано утром проснулся очень веселый, вскочил и потребовал хлеба с маслом.

Едва только Августин несколько оправился, от него попытались добиться хоть каких-нибудь объяснений. Не без труда и лишь постепенно удалось у него выведать, что вследствие пресловутой графской дислокации он попал в одну комнату с аббатом и нашел рукопись, а в ней историю своей жизни; ужас его не знал границ, и тут он окончательно убедился, что дальше жить не может: тотчас же решил он, как всегда, прибегнуть к опию, вылил его в стакан с миндальным молоком и все же, поднося к губам, содрогнулся, отставил стакан, чтобы еще раз пробежаться по саду и посмотреть на божий свет, а воротясь, увидел мальчика, который заново наполнял выпитый им стакан.

Несчастливого умоляли успокоиться, он судорожно схватил руку Вильгельма.

— Увы! — говорил он. — Почему я раньше не покинул тебя! Ведь знал же я, что погублю мальчика, а он погубит меня.

— Мальчик жив! — перебил его Вильгельм.

Врач, внимательно слушавший, спросил Августина, весь ли напиток был отравлен.

— Нет — только стакан! — отвечал тот.

— Значит, по счастливому случаю ребенок пил из графина! — воскликнул врач. — Добрый гений отвел его руку от смерти, бывшей наготове.

— Нет, нет! — выкрикнул Вильгельм, закрыв глаза руками. — Как страшно это слушать! Мальчик сказал определенно, что пил не из бутылки, а из стакана. Здоровый вид его обманчив. Он умрет у нас на глазах.

Вильгельм бросился прочь, врач сошел вниз и, лаская мальчика, спросил его:

— Правда ведь, Феликс, ты пил из бутылки, а не из стакана?

Ребенок расплакался.

Доктор шепотом объяснил Наталии, как обстоит дело; она тоже напрасно пыталась выведать у ребенка правду, он только плакал еще пуще, пока не заснул в слезах.

Вильгельм бодрствовал при нем, ночь прошла спокойно. Наутро Августина нашли в постели мертвым; он обманул внимание своих стражей притворным покоем, но, потихоньку распустив повязку, истек кровью. Наталия пошла гулять с ребенком; он был весел, как в самые свои счастливые дни.

— Вот ты добрая! — говорил ей Феликс. — Ты не бранишься, не бьешь меня! Я только тебе скажу, я пил из бутылки! Маменька Аврелия всегда била меня по пальцам, когда я хватался за графин. Папа был такой сердитый, я думал, он меня побьет.

Как на крыльях, летела Наталия к замку. Вильгельм, все еще озабоченный, шел ей навстречу.

— Счастливый отец! — громко крикнула она, подняла ребенка и бросила ему на руки. — Вот тебе твой сын! Он пил из бутылки, непослушание спасло его!

О счастливом исходе рассказывали графу, тот слушал с улыбкой затаенной и скромной уверенности, с какой терпят заблуждения хороших людей. Обычно столь догадливый Ярно на сей раз не понимал, чем объяснить такое непоколебимое самодовольство, пока окольными путями не дознался вот до чего: граф убежден, что мальчик в самом деле принял яд, но он молитвой и наложением рук чудесно спас ему жизнь.

Затем он решил тут же уехать и, как всегда, собрался в один миг. При прощании красавица графиня, держа руку сестры, схватила руку Вильгельма, крепким пожатием соединила все четыре руки, быстро повернулась и вспрыгнула в карету.

Такое нагромождение страшных и необычайных событий поневоле изменило общий строй жизни, привело его в полное расстройство, сообщив всему дому какую-то лихорадочную суету. Часы сна и бодрствования, еды, питья и совместного времяпрепровождения сдвинулись и перемешались. Кроме Терезы, все были выбиты из колеи. Мужчины пытались восстановить бодрость духа спиртными напитками и, поднимая себе настроение искусственным путем, лишали себя настоящей веселости и жизнерадостности.

Вильгельм был сам не свой, разнородные чувства раздирали его душу. После всех ужасных неожиданностей, пережитых им, у него не стало сил побороть страсть, всецело завладевшую его сердцем. Феликс был ему возвращен, а он чувствовал себя обездоленным. Кредитные письма от Вернера пришли в срок, все было готово для путешествия, недоставало лишь решимости уехать. Все понуждало его к этому путешествию, он мог предполагать, что Лотарио и Тереза только и ждут его отъезда, чтобы обвенчаться. Ярно, против своего обыкновения, как-то присмирел, словно бы утратил привычную веселость. По счастью, врач в известной степени вывел нашего друга из затруднения, объявив его больным и прописав ему лекарство.

Общество постоянно собиралось по вечерам; Фридрих, присяжный балагур, по своему обычаю, выпив лишнего и овладев разговором, смешил остальных сотнями цитат и проказливых намеков, а нередко и смущал их, позволяя себе думать вслух.

В болезнь своего друга он, как видно, не слишком верил. Однажды, когда все были в сборе, он громко спросил:

— Доктор, как вы называете недуг, который напал на доброго нашего друга? Неужто к нему не подходит ни одно из трех тысяч названий, которыми вы прикрываете свое невежество? Однако в» подобных примерах как будто недостатка не было! Такого рода казус имел место не то в египетской, не то в вавилонской истории! — высprenним тоном закончил он.

Присутствующие переглядывались и улыбались.

— Как же звали того царя? — выкрикнул шалун и помедлил одно мгновение. — Если вы не желаете мне помочь, — продолжал он, — я сам приду себе на помощь.

Распахнув дверь, он показал на большую картину, висевшую в аванзале. — Как зовут того козлобородого в короне, который сокрушается о больном сыне в ногах кровати? Как зовут красотку, которая входит в покой, неся в своем целомудренно-лукавом взоре яд вместе с противоядием! Как зовется тот горе-лекарь, которого осенило лишь в этот миг и он впервые в жизни прописывает дельный рецепт, дает лекарство, излечивающее радикально, притом столь же вкусное, сколь и целительное?

Он еще долго пустословил в том же роде. Остальные по мере сил старались скрыть смущение под принужденной улыбкой. Легкая краска проступила на щеках Наталии, выдавая волнение сердца. На ее счастье, она прогуливалась по комнате вместе с Ярно; приблизясь к двери, она ловко вы\* Скользнула вон, несколько раз прошлась по аванзалу и удалилась к себе в комнату.

Все молчали. Фридрих принялся приплясывать, напевая:

Будет чудо вам дано!

Что свершилось — свершено,

Что сказалось — верен сказ,

Близок час:

Чудо — вот оно![85]

Тереза последовала за Наталией, Фридрих подвел врача к картине в аванзале, произнес шутовской дифирамб врачебному искусству и улизнул прочь.

Лотарио все время стоял в оконной амбразуре и, не шевелясь, смотрел в сад. Вильгельм был в ужасающем состоянии. Даже оказавшись наедине с другом, он некоторое время не произносил ни слова: беглым взглядом окидывал он свою жизнь; всмотревшись под конец в нынешнее свое положение, он содрогнулся, вскочил с места и воскликнул:

— Ежели я повинен в том, что творится, что происходит со мной и с вами, тогда покарайте меня! В довершение всех моих бед, лишите меня своей дружбы и пустите безутешным мыкаться по свету, где мне давно бы пора сгинуть. Но ежели вы увидите во мне жертву случайного и жестокого сплетения обстоятельств, из которого я не мог выпутаться, тогда благословите меня в дорогу вашей любовью и дружбой, — долее я не могу мешкать. Настанет час, когда я осмелюсь вам сказать, что произошло во мне за последние дни. Быть может, я потому и наказан, что раньше не разоблачил себя перед вами, потому что я колебался показать себя вам, каков я есть; вы бы мне помогли, вовремя вызволили бы меня. Вновь и вновь открываются у меня глаза на себя самого, но всякий раз слишком поздно, всякий раз понапрасну. Как заслужил я обличительные слова Ярно! Как был уверен, что проникся ими, как надеялся, что они мне помогут завоевать себе новую жизнь. А имел ли я на это силы и право? Напрасно мы, люди, клянем самих себя, клянем свою судьбу. Мы жалки и обречены на жалкое прозябание, и не все ли равно, собственная ли вина, веление ли свыше или случай, добродетель или порок, мудрость или безумие ввергают нас в погибель? Прощайте, больше минуты не пробуду я в доме, где не по своей вине так чудовищно

нарушил закон гостеприимства. Болглливость вашего брата непростительна, она доводит мое горе до высшего предела, до отчаяния.

— А что, если, — промолвил Лотарио, беря его руку, — ваш союз с моей сестрой был тем тайным условием, на котором Тереза решила отдать мне свою руку? Вот какое возмещение придумала для вас эта благородная девушка: она поклялась, что только двойной четой, в один день, пойдем мы к алтарю. «Он разумом избрал меня, — сказала она, — а сердцем тянется к Наталии, и мой разум придет на помощь его сердцу». Мы договорились наблюдать за Наталией и за вами, и после того, как мы доверились аббату, он взял с нас слово ни шагу не сделать, чтобы способствовать этому союзу, — пускай все идет своим ходом. Так мы и поступали. Природа взяла свое, а озорник-братец лишь стряхнул созревший плод. Раз уж мы неисповедимыми путями сошлись вместе, не будем вести заурядную жизнь; будем вместе деятельны на достойный лад! Трудно даже вообразить, что может образованный человек сделать для себя и для других, коль скоро не власти ради почувствует потребность опекать многих, побудит их вовремя делать то, что они сами рады бы сделать, и поведет к целям, которые они чаще всего ясно видят перед собой, только идут к ним неверными путями. Заключим же на этом союз! Это не пустая мечта, это мысль вполне осуществимая, и хорошие люди нередко осуществляют ее, хоть и не до конца отдавая себе в том отчет. Живой тому пример — моя сестра Наталия. Навсегда останется недосыгаемым образ действий, внушенный природой этой прекрасной душе. Да, она заслуживает чести быть названа так преимущественно перед многими другими, смею сказать, даже перед нашей благородной тетужкой, которая в ту пору, когда наш славный доктор так озаглавил ее рукопись, была прекраснейшей натурой, какую мы только знали в нашем кругу. Тем временем подросла Наталия, и человечество радуется такому явлению.

Он собрался продолжать, но в комнату с громкими воз\* гласами вбежал Фридрих.

— Каких венцов я достоин? Чем вы меня наградите? — восклицал он. — Сплетайте мирты и лавры, плющ, дубовые листья, самые свежие, какие найдете, — столько заслуг вам нужно увенчать в моем лице. Наталия твоя! Я чародей, открывший этот клад!

— Он бредит, и я ухожу, — вымолвил Вильгельм.

— Ты говоришь то, что тебе поручено? — спросил барон, удерживая Вильгельма.

— Я говорю свою волю и властью, — ответил Фридрих, — и божьей милостью, если угодно; такой я был сват, такой я теперь посланец; я подслушивал под дверью, она без утайки открылась аббату.

— Бесстыдник! — произнес Лотарио. — Кто велел тебе подслушивать?

— А кто велит ей запираться? — возразил Фридрих. — Я слышал все в точности. Наталия очень волновалась. В ту ночь, когда, казалось, ребенок так болен, когда он покоился наполовину у нее на коленях, а ты делил с ней милую ношу, в полном отчаянии сидя перед ней, — она дала себе обет, ежели ребенок умрет, признаться тебе в любви и самой предложить свою руку; ныне, когда ребенок жив, зачем ей менять свои намерения? Что обещано в такую минуту, от того потом не отрекаются при любых условиях. Сейчас явится поп, полагая, что принес невесть какую новость.

В комнату вошел аббат.

— Нам все известно! — крикнул ему навстречу Фридрих. — Будьте кратки, ваш приход — чистая формальность, ни для чего другого такие господа и не требуются.

— Он подслушивал, — пояснил барон.

— Какое неприличие! — вскричал аббат.

— Не тяните! — перебил Фридрих. — Какие предстоят церемонии? Их можно перечесть по пальцам. Вы отправитесь путешествовать, приглашение маркиза пришлось всем очень кстати. Как только вы перевалите через Альпы, все уладится наилучшим образом; какую бы причуду вы себе ни позволили, люди будут вам только признательны, вы доставляете им развлечение, за которое не надобно платить. Это будет как бы всенародный карнавал; все сословия могут принимать в нем участие.

— Вы успели снискать себе огромную популярность такими народными праздниками, — заметил аббат, — а мне, как видно, нынче не придется вставить слово.

— Если я привираю, так вразумите меня! — заявил Фридрих. — Идемте, идемте живее! Нам не терпится посмотреть на нее и порадоваться.

Лотарио обнял друга и повел его к сестре, она вышла им навстречу вместе с Терезой. Все молчали.

— Медлить ни к чему! — вскричал Фридрих. — За два дня вы можете собраться в дорогу. Что скажете, мой друг? — *обратился он к Вильгельму.* — *Когда мы с вами свели знакомство, я выпросил у вас пышный букет. Кто бы ожидал, что пройдет время и вы получите из моих рук такой цветок!*

— В минуту высочайшего счастья я не хочу вспоминать о тех временах!

— Вам не следует их стыдиться, как людям не надобно стыдиться своего происхождения. Неплохие то были времена, и меня разбирает смех, как я погляжу на тебя; ты напоминаешь мне Саула, сына Кисова, который пошел искать ослиц отца своего и нашел царство.

— Я не знаю цены царству, — ответил Вильгельм, — знаю только, что обрел такое счастье, которого не заслуживаю и которое не променяю ни на что в мире.

КОММЕНТАРИИ

Первое издание «Годов учения Вильгельма Мейстера» вышло в Берлине, у Иоганна Фридриха Унгера, в четырех томах малого формата (по две книги в каждом), с подзаголовком: «Роман, изданный Гете» — и с приложением музыкального сопровождения Рейхердта к семи песням — трем Миньоны, трем арфиста и к одной песне Филины. Первые три тома романа (первая — шестая книги) были изданы в 1795 году, четвертый (седьмая и восьмая книги) — осенью 1796 года. Во всех последующих изданиях «Годов учения» автор уже не выдает себя за «издателя» романа. Причину, побудившую Гете прибегнуть к такому отрицанию своего авторства при первом обнародовании «Годов учения Вильгельма Мейстера», обычно объясняют желанием писателя предупредить, «что второй его роман отнюдь не является тем другим Вертером», которого ждали от него немецкие и зарубежные читатели и книготорговцы. «Да упасет меня бог, — так пишет Гете Шарлотте фон Штейн из Женевы 2 ноября 1789 года, — от возможности еще раз написать нечто подобное». Насколько «Вертер» был трагическим уходом от гнета «земной юдоли» — от невыносимой жизни в феодальной, разорванной на куски Германии, настолько в «Вильгельме Мейстере» уже намечается тема мужественного поединка личности с исторически сложившейся действительностью во имя лучшего будущего, «образующегося из разросшихся элементов былого».

Судя по записи в дневнике писателя от 16 февраля 1777 года («Диктовал в саду В. Мейстера...»), Гете вплотную приступил к работе над романом, задуманным еще во Франкфурте, лишь на втором году своего пребывания в Веймаре. 21 ноября 1782 года автор послал на просмотр другу Кнебелю три первые книги романа и впервые сообщил первоначальное его заглавие: «Театральное призвание Вильгельма Мейстера».

Тогда же он заявил и о твердом своем решении: каждый год «выдавать» очередную книгу своего театрального романа. Так он и поступал, несмотря на свою все возрастающую занятость по управлению герцогствами Саксен-Веймарским и Эйзенахским. В ноябре 1785 года шесть книг «Театрального, призвания...» были написаны, и Гете тут же приступил к работе над седьмой книгой. Но до конца ее не довел: двухгодичное пребывание в Италии (1786–1788), совпавшее с трудной подготовкой первого — восьмитомного — Собрания сочинений поэта, было только началом многолетней разлуки с рукописью начатого романа. Необходимо было включить в Собрание тогда еще не завершенные пьесы — «Ифигению», «Эгмонта» и «Тассо». От мысли закончить также и «Фауста» Гете отказался: пополненный некоторыми сценами, написанными в Италии, «Фауст» был представлен в восьмитомнике в виде фрагмента, оборванного на случайной реплике. Созданные еще во Франкфурте последние сцены первой части, сообщавшие ему подобие «мнимой завершенности», были опущены до «лучших времен».

Также до «лучших времен» была отложена и работа над «Вильгельмом Мейстером». Ни во время итальянского путешествия, ни по возвращении в Веймар 18 июня последнего предреволюционного 1788 года — руки до нее не доходили. А там — встреча с Христианой, долгодетней его подругой и позднее законной женой, создание вдохновленных ею «Римских элегий». К тому же приспело время подготовки к печати также и его естественнонаучных наблюдений и заметок — оптических, остеологических и морфологических. Нельзя не упомянуть в этой связи и об участии Гете в качестве «стороннего наблюдателя» в австро-прусской войне 1792–1793 годов против революционной Франции, по настоянию веймарского герцога Карла-Августа, в то время прусского генерала.

Только в 1794 году Гете вернулся под мирный кров своего веймарского дома, где в его кабинете девять лет пролежала без движения рукопись театрального романа. Она и притягивала и отталкивала от себя слишком долго пропадавшего автора. Притягивала — потому что в шести завершенных книгах «Театрального призвания...» были избыточно представлены и вдохновенные рассуждения об искусстве и театре, и горячее чувство первой любви Вильгельма к Мариане, и пестрая суতোлка жизни труппы странствующих комедиантов. Их бесподобно изваянные образы, мужские и женские, принадлежат к лучшим из когда-либо созданных Гете.

Отталкивала же от себя рукопись неоконченного романа уже тем, что Гете внутренне отошел от первоначальной центральной его идеи — идеи создания национального театра в политически разорванной на части Германии XVIII века. Ничто не предвещало в ту историческую пору национально-политического сплочения его многострадального отечества; но тем настойчивее требовали передовые немецкие писатели создания общегерманского театра, способного воспитать широкие народные массы в духе высоких идеалов гуманизма и национального самосознания. «Если бы мы создали наш национальный театр, — так восклицал молодой Шиллер в своем мангеймском докладе 1784 года, — мы были бы уже нацией!» Воспитанные на образцах классической древности, поборники идеи национального театра представляли себе таковой неким подобием афинского театра времен Эсхила, Софокла и Еврипида, куда стекались зрители из всех городов-республик Древней Греции.

Первая попытка претворить эту манящую мечту в действительность была предпринята в 1767 году богатым ганзейским городом Гамбургом по почину нескольких самоуверенных заурядных актеров и любителей. Возникший здесь, впервые в Германии, театр с постоянной сценой и постоянным составом исполнителей выгодно отличался от ансамблей бродячих комедиантов, потворствовавших грубым вкусам ярмарочной толпы, а также от княжеских придворных театров, на подмостках которых, как правило, выступали итальянские и французские гастролеры. И все же Гамбургский театр не отвечал высоким требованиям, предъявлявшимся национальному театру. Его труппа не блистала звездами первой величины; отсутствовал и высококачественный репертуар, тем более немецкий: ведь классическая немецкая драматургия только-только начинала слагаться.

Дирекция Гамбургского театра, как ни слаб был ее состав, не могла не сознавать стоявших перед нею трудностей, почему она и поспешила заручиться сотрудничеством Лессинга, бесспорно, первого драматурга, критика и эстетика Германии и к тому же давнего борца за идею национального театра немцев. От кого, как не от Лессинга, было ждать и пополнения репертуара, и содействия популярности Гамбургского театра специально о нем и для него писавшимися статьями и рецензиями в единолично им издававшемся журнале — «Гамбургская драматургия». Но пьесы Лессинг, в отличие от своих критических и теоретических работ, писал весьма неторопливо. Ко времени открытия Гамбургского театра им была написана только одна из трех его первоклассных пьес — «Минна фон Барнхельм» (1767); «Эмилию Галотти» он завершил только в 1772, а «Натана Мудрого» — в 1779 году. Что же касается руководящей мысли Лессинга о превосходстве театра Шекспира над ложноклассической трагедией французов, то она пугала дирекцию своей опасной новизной. Ни одно произведение Шекспира не было поставлено Гамбургским театром, как и талантливая трагедия Вильгельма фон Герстенберга «Уголино» (1768), вдохновленная гением Шекспира. Впрочем, этот «постоянный» национальный театр не просуществовал в общей сложности и года из-за отсутствия средств. Расчеты на доброхотные даяния гамбургцев, которыми тешили себя учредители театра, не оправдались: именитые граждане ганзейского города на поверку оказались вполне «равнодушными ко всему, кроме своего кармана», как отозвался о них Лессинг.

Но идея постоянного независимого театра — национального театра немцев — не испарилась из-за неудачи, постигшей безвременно основанный театр. Не прошло и трех лет, как в том же Гамбурге возник новый театр, возглавлявшийся гениальным актером и режиссером Фридрихом Шрёдером (1733–1816), на подмостках которого шли драмы лучших современных немецких писателей, а также великие произведения Шекспира. В 1776 году открылся аналогичный театр в Вене, в 1779 — в Мангейме под руководством Даль\* берга (первого постановщика «Разбойников» Шиллера), в 1786 в Берлине и, наконец, в 1791 году в Веймаре, под руководством Гете, при ближайшем сотрудничестве Шиллера.

Но как ни значительны были все эти бесспорные успехи немецкого театрального искусства, как ни блестящи достижения новой, послелессинговской немецкой драматической литературы последних десятилетий XVIII века, идея национального театра казалась многим лучшим умам Германии далеко еще не осуществленной. Так думал и Гете, приступая в 1777 году к работе над «Театральным призванием Вильгельма Мейстера»; так думал и его герой, Вильгельм, считавший своим «призванием и долгом» создать — как артист, как режиссер, как писатель — вожделенный национальный театр, «о котором вздыхают столь многие».

Когда Гете вновь обратился к рукописи незавершенного романа, он уже не тешил себя утопической мечтой, будто бы театр и только театр способен пробудить в его соотечественниках недостававшее им национальное самосознание. Перед Гете вставал другой, более общий вопрос: как должен жить и мыслить современный человек, и, в частности, немецкие его современники, чтобы стать достойными «превысшего из звапий: человек»? Какие силы — почерпнутые в природе, в духовной культуре, в конкретном, исторически обусловленном социальном бытии человечества могут и должны способствовать этой цели. Надо жить с открытыми глазами, учась всему и у всех даже у малого ребенка с его безотчетными «почему», — утверждает Гете. Общась с сыном Феликсом, Бильгельм отчетливо сознает, как мало ему известно из «открытых тайн» природы: «Человек знает самого себя, лишь поскольку си знает мир, каковой он осознает только в соприкосновении с собою, себя же — только в соприкосновении с миром», с действительностью; и каждый новый предмет, зорко увиденный, порождает в нас новый орган для его восприятия.

«Годы учения...», в отличие от «Театрального призвания Вильгельма Мейстера», — не только роман о художнике и об искусстве. Тема, поднятая Гете в «Годах учения...», — восприятие мира и формирование человека под воздействием всех проявлений окружающей его действительности. Но именно такое тематическое расширение и позволило включить в этот воспитательный роман многое из того, что содержалось в театральной романе. Ибо кто станет отрицать (и уж меньше всего сам Гете) воспитательное воздействие театра на публику, на отдельного человека

«...достичь полного развития самого себя, такого, каков я есть, — вот что с юных лет было моей смутной мечтой, шей целью... — Так пишет Вильгельм другу своей ранней юности купеческому сыну Вернеру. — Не знаю, как в других странах, во в Германии только дворянину доступно некое всестороннее, я бы сказал, всецело личное развитие. Бюргер... может в лучшем случае образовать свой ум; ко личность свою он утрачивает, как бы он ни ухищрялся». Помышлять о «гармоническом развитии» он не может уже потому, что, «желая стать годным на что-то одно, оп вынужден пожертвовать всем остальным». Молодой энтузиаст Вильгельм полагает, что открыл средство, способное восстановить утраченную «гармонию», и это средство — театр: «На подмостках человек образованный — такая же полноценная личность, как и представитель высшего класса». Вернее, как Вильгельм позднее догадывается, каким мог бы стать представитель феодальной знати, если бы умел и хотел воспользоваться «своими великими привилегиями» — достатком, досугом, унаследованным богатством.

Надо сказать, что Гете отнюдь не идеализирует дворянство на страницах своего романа. И принц, и граф, и барон, и окружающие их представители знати, и щеголеватые офицеры, грубо ухаживающие за хорошенькими артистками, ни в малой мерс ве шлятся полноценными личностями, отличаясь от низших классов разве лишь более изысканными манерами и светским умением непринужденно обращаться с высшими и с низшими. Большинство представителей дворянского сословия твердо верит в устойчивость феодального строя. Но имеются среди них и сомневающиеся в неизменности существующих порядков. Так, Лотарио считает, что дворянство поступило бы разумнее, добровольно отказавшись от своей привилегии не платить никаких государственных налогов, чтобы не дразнить крестьянство этой очевидной несправедливостью, способной вызвать «нежелательные волнения». Тем более что при «законной», капиталистической, эксплуатации крестьян доходы с земельной собственности едва ли даже убавятся — «хуже не будет», как утверждает Лотарио в беседе с другом юности Вильгельма Вернером. Лотарио весьма по-своему борется с бедственным положением крестьян в некоторых немецких областях — путем «разумного поощрения» эмиграции части жителей Германии. Этот широкий план «переселения» Лотарио думает осуществить с помощью общества, которым руководит некий аббат, формально принадлежащий к католическому духовенству, но, по сути, являющийся убежденным сторонником идей французского Просвещения.

Наиболее яркий деятель общества — Ярно, человек недюжинных способностей и широкого кругозора, своим положением и деятельностью связанный с высшей знатью империи, секретарь владетельного князя, его правая рука. Трезвый наблюдатель, он с беспощадной точностью взвешивает деловые качества и скрытые возможности каждого; да и общий «ход земных дел» для него не книга за семью печатями. На первый взгляд он кажется эгоистом и скептиком, ценящим превыше всего свою «независимость» (то есть полную свободу своего острого и сильного ума), человеком, довольствующимся отчетливостью своих не знающих снисхождения критических оценок. Таким он представал перед читателем еще в театральной романе, таким же — поначалу — и в «Годах учения...». Но именно он, Ярно, вводит Вильгельма в общество, напоминающее масонскую ложу; и ему же принадлежат напутственные слова, обращенные к Вильгельму: «Человеку, едва вступающему в жизнь, хорошо быть о себе высокого мнения, рассчитывать на приобретение всяческих благ и полагать, что его стремлениям нет преград; но, достигнув определенной степени духовного развития, он много выиграет, если научится растворяться в толпе, если научится жить для других и забывать себя, трудясь над тем, что сознает своим долгом. Лишь тут ему дано познать себя самого, ибо только в действии можем мы по-настоящему сравнивать себя с другими». В этих словах уже намечается тема романа-продолжения — «Годы странствий Вильгельма Мейстера», где вместо обособившегося мечтателя, стремящегося к эстетическому обогащению своего духа, к гармонии в пределах своего внутреннего мира, действует человек, действуют люди, ставящие себе целью «быть полезными для всех», мечтающие о разумном сочетании личного с коллективным.

Удивительно, что Ярно, человек, в котором трезвый рассудок превышает все прочие его духовные силы, проявляет ту же непогрешимую зоркость, и соприкасаясь с менее близкой ему, эстетической, сферой. Никто как он вводит Вильгельма не только в Общество башни, но также и в огромный поэтический мир Шекспира. С плодотворного общения с Ярно, собственно, и начинаются годы сознательного учения

Преобразование театрального романа в роман воспитательный потребовало от автора не только существенного дополнения ранней редакции «Мейстера» новыми главами, но и значительной переработки тех глав, которые входили в состав «Театрального призвания...». Меньше всего сказалось это обновление первичного текста на театральном мире, перенесенном на страницы «Годов учения...». Вычеркнуты были из действующих лиц театрального романа всего лишь два образа (мадам де Ретти и ее молодого любовника, неотесанного, грубого парня) да сверх того отпала одна и впрямь уж слишком «колоритная» сцена грубой расправы, учиненной публикой над участниками и реквизитом провалившегося спектакля. Но все прочие артисты и артистки, допущенные на подмостки воспитательного романа, ни в малой мере не утратили своей полнокровной жизненности. Каждый из них наделен ярко выписанным характером, своей долей профессиональной пригодности (или непригодности) к лицедейству, своим особым отношением к театру. Для одних театр — дело жизни (Зерло, Лаэрт), для других — случайная профессия (Мелина), для Филины, при всей ее одаренности, — повод для изящного кокетства.

Однако и в эту, казалось бы, такую беспечную, карнавалю — пеструю артистическую среду дважды вторгается трагическое дыхание смерти (гибель Марианы и, позднее, — Аврелии). Письма Марианы и ее предсмертная записка, в которой она сообщает Вильгельму о рождении сына — Феликса, принадлежат к самым ярким и трогательным страницам романа. Ни одно письмо не доходит до ее возлюбленного по вине расчетливого Вернера, как огня боявшегося нового сближения Вильгельма с Марианой.

И еще два трагических образа сопутствуют театральным скитаниям Вильгельма — Миньона и старый арфист, олицетворения бездомной дикости и обреченности на фоне бездушного рационализма предреволюционной эпохи. Успеху «Мейстера» немало содействовали чудесные песни Миньоны («Ты знаешь край...» с ее надрывным «Туда, туда!») и «Я покрасуюсь в платье белом, покуда сроки не пришли...»), а также песни арфиста («Кто с хлебом слез своих не ел...» и «Кто одинок, того звезда горит особняком...»).

Образы арфиста и Миньоны, над которыми тяготеет созидание неискупленного греха, особенно потрясли поэтов романтической школы. Для них эти два горестных образа — как бы внятное подтверждение незримого сопутствия таинственных трансцендентных сил в скудной, обезбоженной повседневности. Новалис, наиболее последовательный из романтиков, никогда не мог простить Гете «бесчудсного» объяснения их трагически сложившихся судеб: в восьмой книге романа аббат оглашает письмо маркиза, из которого мы узнаем ужасную историю одной высокородной итальянской семьи, к которой принадлежали арфист и Миньона. Новалис видит в этом возобладание рационализма, явное проявление «эстетического атеизма» Гете. Весь «Мейстер» представляется Новалису «неким «Кандидом», обращенным против поэзии», против «природы и мистики». Напротив, Шиллер ставил в особую заслугу Гете то, что он и здесь не изменил реализму. «Как хорошо, — так пишет он Гете 2 июля 1796 года, — что Вы житейски несуразное, мученическую судьбу Миньоны и арфиста, возводите к теоретической несуразнице... Только во чреве нелепого суеверия могли возникнуть те чудовищные представления, которые неотступно преследовали Миньону и старика арфиста».

Воспитательная идея «Годов учения...» почти не прорывается в первых книгах романа, хотя внутренний разрыв с отчим домом и сознательное стремление Вильгельма переинициализировать всю свою судьбу и возмещают предстоящее восхождение героя к еще неведомой ему цели. Только в шестой книге — в «Признаниях прекрасной души» — более отчетливо приоткрывается внутренний смысл предлагаемого жизненного пути Вильгельма. В разговоре с Наталией, его суженой, Вильгельм признается, что автобиографические записки ее тетушки — этой «прекрасной души», поглощенной нравственным познанием глубоко религиозной женщины, оказали немалое влияние на всю его жизнь. Он видел в ней, как правильно угадала Наталия, образец «не столько для подражания» (Вильгельм не был ни церковником, ни пиевистом-гернгутером), «сколько для следования ее примеру». Ведь и он, Вильгельм, хочет, как хотела и достигла того она, добиться полного гармонического слияния непосредственного влечения сердца с тем, что каждый из них, в силу своего убеждения, почитал своим долгом. Встреча с другом детства а ранней юности — Вернером, состоявшаяся в начале восьмой книги, сразу же после принятия Вильгельма в Общество башни, особенно ясно показывает, как духовно вырос заглавный герой романа.

«Признания прекрасной души» кажутся поначалу вполне самостоятельной, законченной исповедью мемуаристки, главой, резко обособившейся от плавно нарастающей сюжетной линии романа. Но так — только на первый взгляд. На самом деле в шестой книге выступают перед читателем чуть ли не все действующие лица из седьмой и восьмой книг «Годов учения...» — племянники и племянницы мемуаристки, их воспитатель аббат и многие другие, в двух последних книгах романа составившие тесный круг новых «ДРУЗЕЙ и единомышленников» Вильгельма. Иначе говоря, «Признания...» занимают строго предусмотренное и к тому же существенное место в композиции романа. В двух заключительных книгах темп нарастающих событий заметно убыстряется. Тугие узлы былых взаимоотношений развязываются и завязываются новые с почти комедийной скоропалительностью. Так, роман кончается тремя «неравными браками», и Вильгельм обретает в спутницы жизни прелестную Наталию, племянницу прекраснородной мемуаристки.

Целый ряд вдумчивых современников Гете (в том числе Шиллер и Гумбольдт) тотчас же после завершения «Годов учения Вильгельма Мейстера» не могли не отметить, что автор так и не познакомил читателей с деятельностью и целями новых друзей Вильгельма; более того, не скрыли своего недоумения по поводу того, что Наставление, врученное вновь принятому собрату — Вильгельму — было произвольно оборвано: «Довольно! — воскликнул аббат. — Остальное в свое время». В такой преднамеренно «зашифрованной» форме Гете, как видно, сообщал читателям, что «Годы учения...» будут продолжены другим романом, непосредственно посвященным деятельности Вильгельма и его новых единомышленников. Об этом же, и уже без всякого скрытничанья, Гете высказался и в письме от 12 июля 1796 года, обращенном к Шиллеру: «Судя по Вашему письму, мой роман нуждается в продолжении. Желание продолжить его у меня имеется... Оставлены для этого и нужные зацепки в самом тексте напечатанного романа». Но время, потребное для осуществления задуманного романа-продолжения, все не выбиралось. Только в 1807–1809 годах Гете написал несколько вставных новелл, предназначенных для «Годов странствий Вильгельма Мейстера». Но потом наступил долгий перерыв, вызванный неустанной работой поэта над «Поэзией и правдой», над «Западно-восточным диваном» и т. д. В окончательном виде роман-продолжение был обнаружен только в 1829 году — по прошествии тридцати трех лет со времени напечатания «Годов учения Вильгельма Мейстера».

Сын Иессея — Давид, преемник Саула (Библия, Первая Книга Царств, 16). Кукольное представление о Давиде и Голиафе излагает библейский сюжет (Первая Книга Царств, 17 и 18.)

Линдор, Леандр — имена любовников, повторяющиеся во многих комедиях и музыкальных водевилях XVIII в.



«Немецкий театр» — составленная И.-К. Готшедом (1700–1766) антология немецкой драмы в 6-ти томах («Немецкий театр, основанный на правилах древних греков и римлян», Лейпциг, 1741–1745). Хаумигрем — имя индийского тирана из представленной в антологии трагедии Мельхиора Гримма (1723–1807) «Баниза» (драматическая обработка приключенческого романа Г.-А. фон Циглера «Азиатская Баниза», 1689). Катон — герой трагедии Готшеда «Умиравший Катон» (по роману Аддисона). Дарий — герой одноименной трагедии Ф.-Л. Пичела (1700–1768).

«Освобожденный Иерусалим» — поэма итальянского поэта Торквато Тассо (1544–1595); Гете знал ее еще с детства как по итальянскому оригиналу, так и по немецкому переводу Фридриха Коппа (1744) (см. «Поэзия и правда», кн. 2, т. 3 наст. изд.).

«Но мера бытия Клоинды уж полна...» — Тассо. Освобожденный Иерусалим (XII, 64).

Путаница, одно вместо другого (лат.).

„он уже видел себя великолепным актером, создателем будущего национального театра... — См. о национальном театре с. 509–510 настоящего издания.

Суперинтендант — старшее по званию духовное лицо в лютеранском церковном округе или в полусуверенном княжестве.

Под благодатным покровом ночи... — Начинающееся этими словами письмо Вильгельма написано ритмической прозой, знакомой читателям по «Страданиям юного Вертера».

По соседству, на вольных дворянских землях... — Речь идет о дворянских владениях, независимых от законов местного суверена и подчиненных непосредственно имперским властям.



Царский сын. — Так называется картина, которую в XVIII в. приписывали итальянскому художнику Андреа Челести (1637–1706), а в настоящее время Антонио Белуччи (1654–1726). Художник вдохновился темой, почерпнутой из Плутарха («Деметриос», гл. 38): врач выслушивает больного сына царя Селевка I Сирийского — Антиоха; в комнату входит молодая мачеха царевича, и по тому, как участился пульс больного, врач убеждается, что тот любит ее. Гете три раза проезжал через Кассель (в 1779, 1783 и, по-видимому, в 1792 гг.) и каждый раз видел в тамошней галерее названную картину, которую Винкельман (1717–1768) признавал выдающимся произведением.

Аэндорская колдунья. — Библия, Первая Книга Царств, 1, 28. Ирида — в греческой мифологии — вестница.

«Pastor fido» («Il Pastor fido», 1585; «Верный пастух», и т а л.) — пастушеский водевиль итальянского поэта Дж.-Б. Гварини.

После короткого перерыва вперед вышел рудокоп с киркой... — Описанное драматическое представление Гете видел в Ильменау в 1780 или 1781 г.

Нам интересен танцор, а не скрипка... — Непосредственность этого восклицания Филины поддерживает, не без юношеского педантизма, Вильгельм: «Вы правы... человек человеку интересней всего, да, пожалуй, это должно быть единственным, что ему интересно». Ту же мысль Гете вкладывает позднее в уста Отtilии, («Избирательное сродство»), а восходит она к известной сентенции французского ученого, философа и писателя Блеза Паскаля (1623–1662).

В ту пору вновь были немецкие рыцарские драмы... — Рыцарские драмы вошли в моду в Германии после чрезвычайного успеха, выпавшего на долю «Геца фон Берлихингена» Гете (1773).









Литург — духовное лицо, исполняющее литургию, то есть обедню, главное христианское церковное богослужение. Непременной частью литургии являлись песнопения, которые иногда исполнялись попеременно то литургом, то общиной.



...граф говорил о прологе... — Пролог, каким его задумал меценатствующий граф, ничем не отличался от торжественных представлений в стиле позднего барокко, с обязательными в них аллегорическими образами добрых гениев, олицетворенных добродетелей и укрощенных демонов, с пышным славословием в честь августейшего гостя и с эффектной вспышкой его инициалов на фоне декораций. Вильгельм противопоставляет этому проекту свой более драматический и непринужденно-жизненный план чествования гостя.

Монфокон, Берпар — выдающийся французский знаток античного мира, автор пятнадцатитомного иллюстрированного сочинения, посвященного античному искусству (1719–1724).

Благодаря его изобретательности и сноровке его кондитера... — В обязанности кондитера в XVIII в. входило не только кулинарное искусство, но и все виды декоративного оборудования придворных празднеств, как-то: устройство фейерверков, иллюминаций и прочих увеселений.

... страстно привержены к монстрам английской сцены, — В своем сочинении о немецкой литературе 1780 г. Фридрих II Прусский назвал пьесы Шекспира «чудовищными». Это утверждение почти дословно повторил драматург К.-Х. фон Ауленгоф, назвав их «монстрами», в посвящении своей трагедии известному немецкому писателю К.-М. Виланду (1733–1813). Многие немецкие литераторы, в частности Виланд, горячо оспаривали это отрицательное суждение о пьесах Шекспира.

... пагубные ласки Цирцеи. — Ом. «Одиссея» (X, 230–243).



Я могу вам ссудить несколько книжек... — Ярно имеет в виду восьмитомное собрание двадцати двух избранных пьес Шекспира в немецком прозаическом переводе Виланда. Этот перевод в значительной степени повлиял на драматическое творчество писателей «Бури и натиска». Метафоры Шекспира, особенно броские вне стихотворного контекста, каковым Виланд поступился, наложили свою печать на драматическую прозу «штурмеров» — не столько даже Гете, сколько его менее самобытных и менее талантливых соратников. В дальнейшем говорится о том, что Вильгельм играл «Гамлета» «в своем переводе»; но речь здесь, видимо, идет лишь об отдельных местах, им переведенных, в большинстве же случаев, судя по цитатам Гете, он пользовался пере\*водом Виланда, повторяя иные неточности, встречающиеся в следнем (в комментариях не оговорено). Классический немецкий перевод Шекспира — пятистопным ямбом и прозой (в отдельных сценах) — был осуществлен в 1797–1810 гг. А.-В. Шлегелем и Л. Тиком.

Перевод С. Заяцкого. Капитул — здесь: феодальный рыцарский орден.

Овы (л а т. «яйца») — архитектурный орнамент, имеющий форму яйца.

Аргандова лампа — лампа с круговым фитилем, изобретенная в 1783 г. в Лондоне женевским физиком Арганом.



... Шекспир... познакомил его с неким принцем... — Речь идет о принце Гарри из шекспировской хроники «Генрих IV».

...коли я люблю тебя, что тебе до того? — В «Поэзии и правде» (кн. 14) Гете вспоминает это признание Филины в связи со словами Спинозы: «Кто доподлинно возлюбил бога, не станет требовать, чтобы бог отвечал ему тем же».

Клоринда — отважная дева из поэмы Тассо «Освобожденный Иерусалим» (см. коммент. к с. 21).



... предстать перед своим господином и другом без масличной ветви. — То есть без всякого успеха (ср.: Библия, Бытие, 8 и 11).



Она — женщина, и общее для ее пола имя... — Вольная цитата из «Гамлета» Шекспира (I, 2).

«Разлажен жизни ход...» — «Гамлет» (I, 5).

Мистерии — народные театральные действия на библейские темы (прежде всего о «Страстях господних»), которые исполнялись в XVIII в. во всех католических землях Германии; обычай этот по сей день сохранился в деревне Обраммергау.

... в ту образованную, но безобразную часть Германии... — Имеется в виду северная, протестантская Германия, весьма отличная от южных католических немецких земель с их сакральной символикой и пышной обрядностью. Зерло основал свой театр в Гамбурге, — это намек на то, что прототипом Зерло послужил знаменитый артист и руководитель Гамбургского театра Фридрих Людвиг Шрёдер (1774–1816).

...художник должен подавать своим гостям золотые яблоки в серебряных чашах. — Зерло прибегает к этой неточной цитате из Соломоновой притчи, отстаивая свою мысль о необходимости «инсценировать» пьесы Шекспира, считаясь с требованием Дидро от театра «возможно полной жизненной иллюзии». Шекспир писал свои пьесы в расчете на театр с ничтожным количеством реквизита, каковой лишь в малой мере отмечал изменение в обстановке, в которой протекало сценическое действие. Немецкий театр и немецкая публика XVIII в. слишком привыкли за двести пятьдесят лет, прошедших со времен Шекспира, к иллюзорности сценического оформления, чтобы резко порвать с господствующим стилем установившейся театральной культуры. Отсюда — возникновение многочисленных инсценировок шекспировских драм, ставивших себе целью приблизить динамику его театрального стиля к привычному обличью театральных зрелищ, что и было Зерло названо «подавать гостям золотые яблоки в серебряных чашах». «Гамлет» в удачной инсценировке Шрёдера (1777) навсегда ввел Шекспира в репертуар немецких театров.

Гете неоднократно высказывался о Шекспире; как о поэте — всегда восторженно. Но нельзя не оговорить, что он читал его больше как «поэта вообще», чем как «поэта театрального» (см. статью Гете «Шекспир и несть ему конца», т. 10 наст. изд.). Отсюда вывод писателя, с которым едва ли можно согласиться: «...вот уже много лет, как в Германию прокралось предрассудочное мнение, что Шекспира следует ставить на немецкой сцене слово в слово, хотя бы от этого задыхались и актеры и зрители... кто хочет видеть на нашей сцене Шекспира, должен вновь обратиться к переделкам Шрёдера». Правда, эти строки были написаны Гете под живым впечатлением недовольства публики рядом его постановок шекспировских пьес без каких-либо купюр на сцене руководимого им Веймарского театра.

...разграничить декламацию и выразительное чтение. — Об этом разграничении Гете пишет в своих «Правилах для актера» (§§ 18–30).



..который прочитает нам о свирепом Пирре. См.: «Гамлет» (И, 2).

Грандисон, Кларисса, Памела — герои романов английского писателя С. Ричардсона (1689–1761); «Векфилдский священник» — роман английского писателя Оливера Голдсмита (1728–1774); Том Джонс — герой романа Генри Филдинга (1707–1754); все эти герои романов были так хорошо знакомы немецким читателям, что Гете мог и не называть авторов.

Вольные каменщики — масоны, члены тайного религиозно-философского общества, возникшего в Европе в XVIII в.

...самую чудесную мысль в пьесе. — Филина имеет в виду слова Гамлета, сказанные Офелии: «А ведь это чудная мысль — лежать у девушки меж ног» («Гамлет», III, 2).



«Благой ли дух ты или ангел зла...» — «Гамлет» (I, 4).

...громовыми аплодисментами был встречен Горацио, когда вышел объявить следующее представление. — Театральный обычай XVIII в.: один из актеров после окончания спектакля объявляет о следующей постановке.

Варган — музыкальный инструмент, широко распространенный в эпоху Гете, но позднее вытесненный сходной с ним губной гармоникой.





«Признания прекрасной души» — заглавие шестой книги «Годов учения Вильгельма Мейстера» (все прочие книги романа названий не имеют). Появление этой книги, проникнутой духом пиетизма, весьма удивило читающую Германию: Гете слыл антиклерикальным писателем еще со времен «Вертера», чуть ли не проповедовавшим «безбожную идею самоубийства»; более того, за несколько месяцев до напечатания «Признаний прекрасной души» Гете обнародовал свои «Римские элегии», окончательно закрепившие за ним репутацию «эпикурействующего вольнодумца». И вдруг — эти «Признания» глубоко верующей праведницы, сторонницы пиетизма, влиятельного религиозного течения XVIII в. «Признания» воспроизведены писателем, отлично знакомым с языком и с религиозными представлениями близкой пиетистам секты гернгутеров, — по имени поместья Гернгут ее основателя графа Н.-Л. Цинцендорфа (1700–1760), — восходящей к учению «моравских», иначе «богемских братьев». Распространился слух, что шестая книга отнюдь не является оригинальным сочинением Гете, а всего лишь литературной обработкой попавших в его руки автобиографических мемуаров. Этот слух окончательно рассеялся только в 1922 г., когда были найдены письма Гете, адресованные его старшему другу Эрнсту Теодору Лангеру, свидетельствующие о серьезном увлечении юного Гете учением гернгутеров, а также процветавшей в их кругах вполне анахроничной магией и алхимией. В «Поэзии и правде» Гете только вскользь упоминает об этом: «Мой постепенный отход от христианского вероучения объясняется тем, что я чрезмерно серьезно, со страстным увлечением старался постичь его». «Признания прекрасной души» — с первой и до последней строки написаны Гете, но он и сам показывает в письме к Шиллеру от 18 марта 1795 г., что никогда не справился бы с этой книгой, «если бы не прикопил предварительно немало этюдов с природы»; иными словами, если бы не почерпнул в живом общении, устном и эпистолярном, с уважаемой родственницей его матери, девицей Сусанной фон Клеттенберг, факты ее биографии и весь высокий строй ее душевной жизни. Другое дело, что все эти превосходные «этюды с природы» нельзя было не увязать с сюжетной линией романа. Страницы, посвященные дядюшке мемуаристки, его дому, а также семье ее сестры, ее племянникам и племянницам, являются свободным вымыслом писателя.

«Прекрасная душа» — термин, обиходный в XVIII в. в кругах немецких сентименталистов и поборников нового гуманизма; генетически этот термин восходит к философскому языку Платона и Плотина. Точное классическое определение этому понятию дано Шиллером в его статье «О грации и достоинстве» (1792). «Прекрасной душой», по Шиллеру, обладает человек, у которого осознанный долг и естественная склонность к добру совпадают (в отличие от кантовского ригоризма, признающего главенствование долга над склонностями). Стремлению к гармоническому слиянию долга со склонностями и посвящены автобиографические записки прекраснодушной мемуаристки.



«Христианско-немецкий Геракулес» (1669) — назидательный роман лютеранского богослова Андреаса Генриха Бухгольца (1607–1671). Его полное название — «Чудесная история христианско-немецкого князя Геракулеса и богемской принцессы Валиски» (1669).

Незримый (или ниже незримый друг) — так назывался Христос в братских общинах пиетистов и гернгутеров.

«Римлянка Октавия» (1677) — роман герцога Антона — Ульриха Брауншвейгского (1633–1714).



Канонисса. — Так называли девиц, причастных светскому ордену дам-патронесс, занимавшихся благотворительностью. Членами этого евангелического ордена могли быть только дворян — ни, располагавшие внушительным количеством высокородных предков. Канониссы занимали высокое положение в обществе; в торжественных случаях они носили пышные наряды, напоминающие облачение католических игумений. Связанные обетом целомудрия и послушания старшей наставнице, они свободно располагали своим имуществом и причитавшейся им значительной рентой, предполагающей солидный денежный вклад, вносимый их семейством в кассу ордена.



Beloved ones — английское обращение пиелистов, принятое в XVIII в.

...подчинялась системе обращения, принятой в Галле... — Имеется в виду особое направление в немецком пиетизме, восходящее к учению галлевского богослова Августа Германа Франке (1663–1727), написавшего свою автобиографию в духе «Исповеди» Августина (354–430). По Франке, обращение человека в истинно верующего христианина проходит три ступени: первая ступень — пребывание души «в грехе и скверне», вторая ступень — осознание своей греховности и вслед за тем впадение в безнадежное отчаяние; и третья ступень «—озарение свыше и приобщение к божественной благодати», «возрождение и обновление уверовавшей души». Франке полагал, что пройденный им путь поучителен и неизбежен для всех людей. Ближайшие его ученики выработали своего рода «систему обращения». Город Галле, точнее, богословский факультет Галлевского университета, был цитаделью этого ответвления немецкого пиетизма, почему учение Франке в обиходе и называлось «галлевской системой обращения».

...смотрела я на Агатона, взлелеянного в Дельфийских рощах, не рассчитавшегося еще за учение.... — Агатон — горен одноименного романа К.-М. Виланда. Благодаря этому сравнению приоткрывается смысл признаний Филона: Агатон был воспитан в полном неведении и целомудрии, благодаря чему, возросши, не сумел противостоять соблазнам чувственности, от которой, однако, в конце концов освободился.

Жирар — французский иезуит, обвиненный в соращении своей духовной дочери; осудивший его процесс состоялся в Париже в 1731 г. Картуш Луи-Доминик (1693–1721) — знаменитый бандит, казненный в Париже. Дамьен Робер-Франсуа (1714–1757) — был предан в 1757 г. мучительной казни на Гревской площади за покушение на жизнь короля Людовика XV.



...неотступно молил сотворить в нем сердце чистое. — Библия, Псалт., 51, 12.

Община гернгутеров, — См. комент. к с. 293.

... многие сочинения графа. — Имеется в виду граф Цинцендорф (см. коммент. к с. 293).



Сборник эберсдорфских песнопений. — Этот сборник вышел в 1742 г. для пиетистской общины в местечке Эберсдорф; его составителем был богослов М.-Ф.-К. Штейнхоф.

...что едино есть на потребу... — Цитата из Евангелия от Луки (10, 42).

Адвокат дьявола. — Так называет католическая церковь духовное лицо, которому поручается при обсуждении кандидатуры лица, «причисляемого к лику святых», выступить с возражениями против его канонизации.

..я испытывала такое чувство, словно мне дали пощечину, когда майорша и другие... лобызали епископу руку — Обычай лобызать руку духовному лицу категорически отвергался гернгутерами.

Сивилла — в античной мифологии женщина-прорицательница.

Искусство вечно, жизнь коротка... — Начало латинского афоризма Гиппократ.

...иначе тебя, чего доброго, примут... за еврея и потребуют уплатить пошлины и подорожную. — В XVIII в. в Германии евреи, которым было запрещено носить общепринятые тогда парики и косички, должны были платить особые дорожные пошлины при переезде из одного немецкого государства в другое. Эти пошлины были отменены в Австрии в 1781 г., в Пруссии — в 1787 г.

74 Перевод Б. Пастернака

75 «Помни о жизни!» — девиз, противопоставленный Гете монашескому девизу «Помни о смерти!» («Memento mo-ri!»).

76 Викариатный граф. — В избирательной Германо-римской империи власть главы государства во время междуцарствий переходила к «викариям», то есть к курфюрстам-избирателям, каковые нередко злоупотребляли своим временным положением, возводя в графское достоинство нетитулованных дворян и баронов. Эти новые носители графского титула пренебрежительно назывались «викарными» или «викариатными» графами.

77 Гробница царя Мавзола — одно из семи чудес света, усыпальница Мавзола, царя Кари, в Галикарнасе (середина IV в. до н. э.). Отсюда происходит слово «мавзолей».

78 Люблю, любил (греч.).

79 Библия in folio — Библия большого формата с иллюстрациями, изданная франкфуртским книготорговцем Мериапом. Хроника Готфрида — «Историческая хроника, или Описание всемирной истории с начала мира до 1619 года» Иоганна Людвиг Готфрида, вышла в том же издательстве в 1619 г.; седьмая часть Этого труда написана страсбургским историком Иоганном Филиппом Абеле. Позднее Абеле издал у Мериана и продолжение «Хроники» с 1633 до 1718 г. в двадцати одном томе, под заглавием «Theatrum Europaeum». Сборник *насега philologica* — хрестоматия, состоящая из двухсот лучших образцов латинских и греческих авторов, под редакцией Петера Лауремберга (1633).

80 «Европейский театр», «Филологическая кадьница» (лат.).

81 Грифиус Андреас (1616–1664) — немецкий поэт, один из виднейших представителей литературы позднего барокко.

82 ..я намереваюсь плыть в Америку... — Мотив, в «Годах учения...» упомянутый мимоходом, был позднее шире затронут в «Годах странствий Вильгельма Мейстера».

83 Все общество направилось в Залу Прошедшего. — В Зале Прошедшего происходит отпевание Миньоны аббатом. Хор мальчиков, чередующийся здесь с «невидимым хором» (символизирующим хор ангелов), написан ритмической прозой. Отпевание во многом отступает от ритуала католической церкви, да и сам аббат в своей надгробной речи произвольно вводит образы, заимствованные из античной мифологии. Этот своеобразный язык нового гуманизма напоминает язык гуманистов позднего средневековья, называвших богиню «Jovis alma parens» (мать-корми. ш- ца Юпитера, лат.).

84 Святой Боромео (1538–1584) — родился в Ароне, на западном берегу южной части Лаго-Маджоре, канонизирован» 1610 г.; в 1697 г. во славу этого святого была воздвигнута близ Ароны колоссальная статуя.

85 Перевод С. Заяицкого